НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
АЛЕКСЕЕВ-КУНГУРЦЕВ

БРАТ НА БРАТА





серия
ИСТОРИЧЕСКИЕ
РОМАНЫ

БРАТ НА БРАТА

ЗАМОРСКИЙ ВЫХОДЕЦ

ТАТАРСКИЙ ОТПРЫСК

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
АЛЕКСЕЕВ-КУНГУРЦЕВ

БРАТ НА БРАТА

РОМАНЫ

УТД «ПОСЫЛТОРГ»
Екатеринбург
1994

ББК 84 Р1
А 47

АЛЕКСЕЕВ Николай Николаевич (1871—1905), прозаик.

Из дворян Петербургской губернии, сын штабс-капитана. Всю жизнь бедствовал, занимался репетиторством, зарабатывал литературным трудом. Покончил жизнь самоубийством.

Его исторические рассказы, очерки, повести, романы печатались во многих журналах («Беседа», «Новый мир», «Живописное обозрение» и др.), выходили отдельными изданиями и были очень популярны.

Освещение событий разных периодов русской истории сочетается в его произведениях с мелодраматическими сюжетными линиями, с любовной интригой, с бушующими страстями.

РОМАНЫ: **«Розы и тернии»** (СПб., 1898); **«Лжецаревич»** (СПб., 1899); **«Игра судьбы»** (СПб., 1913); **«Брат на брата»** (СПб., 1904); **«Заморский выходец»** (СПб., 1900); **«Татарский отпрыск»** (СПб., 1896).

Художник *А. Мареев*

А $\frac{4702010100\text{-}64}{97\text{В}(03)\text{-}94}$

ISBN 5—85464—017—1

© УТД «Посылторг», 1994

БРАТ НА БРАТА

I

ПОСЛЕДНИЙ «ТЫСЯЦКОЙ»

Был вечер 17-го сентября 1374 года.

Краски заката играли на маковках московских церквей, далеко еще не столь многочисленных, как ныне.

Было еще довольно светло, но в келье старца монаха, куда мы вводим читателя,— полутьма: слишком скупо пропускает свет маленькое переплетчатое слюдяное оконце.

Тускло мерцают лампады. К одной из них протянулась рука и затеплила тонкую свечку желтого воска.

Огонек вспыхнул и слегка озарил серые стены, простые, деревянные, некрашеные лавки и такой же стол. Человек, затепливший свечу, был молод и богатырски сложен; лицо его — красивое, безбородое — выражало странную смесь чувств; преобладающим, однако, казалась печаль; но часто также в глазах его мелькала искорка нетерпеливого ожидания.

Рядом с ним виднелась наклоненная фигура священника в рясе из «бязи» * и в епитрахили.

Склонился священник над умирающим; колеблющийся свет падал на лежавшего на лавке, отходящего в вечность, бросая тени по желтому морщинистому лицу. Он был старец; седая борода закрывала грудь. Лежал он на лавке, на подостланном монашеском подряснике, прикрытый монашеской же ряской.

Как ложе, так и вся обстановка кельи свидетельствовали о скудости.

А между тем умирающий мог бы обставить себя со всею роскошью, какая была достижима в то время; у дверей его жилища, обшитых драгоценным алым сукном, стояла бы стража с секирами, тысячи слуг были бы готовы к его услу-

---

* Бязь — бумажная дешевая ткань.

гам. Ото всего этого он отринулся, жаждая молитвы и уединения, и заперся в тесной келье, в которой теперь и умирал, лежа на узкой лавке.

Старец был «тысяцкой». Это звание уцелело с того времени, когда славяне жили «вечевым порядком». Граждане выбирали себе начальника, который должен был предводительствовать их народной дружиной. При князьях обязанность тысяцкого потеряла свой смысл, но все же они, «тысяцкие», занимали почетное положение — быть может, были первыми после князя — имели отряды своего войска и некоторую власть над гражданами.

«Тысяцкой» звался Василием Васильевичем Вельяминовым. Он презрел мирскую суету, удалился от власти и света и принял монашество. Однако звание тысяцкого, несмотря на постриг, осталось за ним.

Василью Васильевичу должен был наследовать его сын — Иван, тот самый молодой человек, который затеплил свечу.

Священник был духовник старца, отец Михаил, более известный под прозвищем Митяя, из села Коломенского.

Он только что приобщил больного Святых Таин, и Василий Васильевич лежал спокойный, недвижный, с закрытыми глазами.

— Умирает? — шепотом спросил Иван Вельяминов Митяя.

— Кажись, отходит,— ответил духовник и, раскрыв требник, приготовился читать отходную.

В это время старый умирающий пошевелился, веки дрогнули и приподнялись. Он уставил мутный взгляд на сына и едва слышно прошептал:

— Ваня!

Иван опустился на колени у отцовского ложа и наклонил голову.

Тысяцкий с величайшим усилием поднял руку и положил на голову сына. Это движение, вероятно, утомило его, потому что он некоторое время лежал молча и переводил дух.

В келье стояла глубокая тишина, прерываемая только глубокими вздохами больного.

Наконец умирающий собрался с силами.

— Благослови... тебя... Господь...— снова зашептал он.— Прощай... Ваня... отхожу к Отцу... нашему... Сын, помни... живи... так... как Христос повелел... Соблюдай заповеди... Божии... люби ближних... Духа... зла... гордыни... отгоняй.

Силен... Ваня... враг рода человеческого... Знаю,— нрав... у тебя... горячий... Смиряй себя... Помни... наперед всего... душу блюди... в чистоте... Один ты... остаешься... так Бог тебе... заступник... и покровитель... Не прогневи... Его... Ваня...

Умирающий смолк и плотнее откинулся на подушку. Последние силы его покинули, веки смежились, на лицо лег землистый оттенок, грудь начала подниматься медленно и неровно.

Иван чувствовал, как холодеет лежавшая на его голове рука отца.

Митяй перекрестился и начал читать отходную.

В келью неслышно вошли несколько монахов и, опустившись на колени, стали молиться.

У молодого Вельяминова сердце рвалось от боли, а где-то в тайниках души коварный голос шептал:

— Отец умирает... Теперь ты тысяцким будешь.

Он сам пугался этой мысли.

— Время ль о сем думать?

Хотел весь отдаться своей грусти и не мог. Беспокойная змейка честолюбия не унималась.

Внезапно умирающий приподнялся и широко открыл глаза. Он смотрел прямо перед собой и, быть может, созерцал то, что оставалось невидимым для окружающих.

Взгляд был радостен и светел.

Затем старец упал на подушку и вытянулся.

Глубокий вздох вылетел из груди, и больше она не поднялась.

Отец Митяй закрыл требник и промолвил, крестясь:

— Царстьо небесное.

Иван, плача, припал к недвижной груди отца.

Он скорбел, скорбел неподдельно, а в мозгу проносилось:

— Теперь я — тысяцкой!

Несколько часов спустя умерший уже лежал на столе под образами.

Чтец-монах уныло, нараспев, читал псалмы; двое других монахов трудились в сенях, при свете фонарей, над «колодой» для покойника, которая должна была непременно поспеть к утру: назавтра должно было состояться погребенье: в те времена не принято было выжидать, как ныне, трех дней.

Молодой Вельяминов хотел провести последнюю ночь с тем, кто при жизни звался его отцом.

Он присел в уголку на лавочке и в грустном раздумье смотрел на колеблющееся пламя свеч.

Теперь он был один, совсем один на свете... Мать давно умерла, братьев, сестер он не имел. Не было даже дядей и теток, двоюродных братьев и сестер. Один!.. Его это и пугало, и радовало. Свободен, как ветер! Но зато ему вспоминалось: один в поле не воин. И тут же мелькало:

— А с кем воевать?

Будущее казалось ясным. Он станет «тысяцким», будет в почете и «власти».

Даже свои ратные люди будут... А разве этого мало? Сам — что князь...

И честолюбивые думы наполняли голову, отгоняя грустные.

От лампад, от свеч в келье было жарко и душно. Юношу клонило ко сну; он перемогался, но сон морил.

Он негодовал на себя:

— Нешто можно спать в такую ночь?

Но природа брала свое. Дрема охватывала.

Он прижался к уголку. Голова стала клониться...

Мечты и тоска слились как-то в одно. И это «одно» было чем-то смутным. Какой-то хаос...

Но потом блеснул свет, перед которым померкли свечи. Словно кто-нибудь унес их в высь недосягаемую. Они двигались медленно, а следом за ними уносились грезы Ивана Вельяминова.

И вдруг свечи померкли. И стал мрак.

Что-то сверкнуло во мраке; точно стрела молнии проблеснула и смеркла.

И опять тьма, но полная жизни. Точно тысячи незримых духов веют кругом.

Даже слышен шум их крыльев... Даже видно, как светится в темноте серебристое оперение...

— Что за диво? Куда я попал?

А шуму все больше... Сверканье крыльев все сильнее.

— Али это призраки? Знаменье!

Вдруг яркий сноп лучей прорезал мрак; свет был так силен, что его не могло вынести зрение.

Серебристые духи пали ниц. И откуда-то с выси, вернее, из выси высот, послышалось пение, от которого «таяло сердце».

— Слава в вышних Богу...— пели сладостные голоса.

И в это время юный Вельяминов услышал шепот.

Он узнал, кто говорит: его отец.

— Сладко тебе, сыне...— лился шепот,— ужели от этой сладости уйдешь? Гони лукавого... Я — в обители горней... Взыскал меня Господь милостью не по грехам моим... Приходи ко мне.

— Батюшка, оставь меня с собой! — как бы восклицает Иван Васильевич.

— Поживи, заслужи. Судьбы Божии неисповедимы.

— Как мне жить?

— Сие Христос заповедал. Гони лукавого... Он вьет гнездо в твоем сердце...

Шепот смолк.

Постепенно затихло пение.

Снова мрак.

Тишина жуткая, таинственная.

Что-то проблеснуло багряное... Померкло и вдруг разлилось целым морем пламени. Огненные языки вздымались, как волны... Все выше, выше; казалось, они достигнут до неба — черного, без проблеска.

Потом огненная пучина раздалась, словно раскололась. Из середины поднялся гигантский, блистающий трон.

Страшен был сидящий на нем.

Его глаза метали молнии. Венец из кроваво-красного пламени покрывал голову.

Лицо было черно, как земля. Алые губы искривлены зловещей улыбкой.

Задрожал от ужаса Иван.

— Кто ты? — спросил он замирающим голосом.

В раскатах грома послышался ответ:

— Имя мне — Сатана. Я твой помощник и повелитель... Служи мне...

И вдруг захохотал, и огненные волны всколыхнулись от его хохота:

— Ты уже мой!

И откуда-то снизу, из-под пламенного покрова, глухо донеслось, как вздох тысячи тысяч:

— Ты — наш.

Волосы зашевелились на голове Вельяминова.

Он хотел перекреститься — рука не повиновалась ему.

— Боже! Спаси! — воскликнул он... и проснулся.

Чтец-монах стоял перед ним и с испугом смотрел на него.

— Чтой-то ты, батюшка, как кричал,— сказал он.

— Привиделось такое, что просто страсти,— ответил Иван, вытирая холодный пот.

— А ты помолись: это лукавого наваждень.

Монах снова принялся за чтение.

Вельяминов встал и подошел к телу отца. Он приподнял ткань, закрывавшую лицо покойника. Василий Васильевич производил впечатление спящего, выражение лица было безмятежно спокойное.

Сын прильнул устами к холодному лбу отца.

— Батюшка! — зашептал он потом,— обещаюсь тебе не впадать в соблазн. Получу власть — буду добрым господином... Как отец буду для рабов своих... Голодного — накормлю, бесприютному дам пристанище... Все несчастные будут ближними мне... Не дам поселиться в сердце моем злобе и корысти... Смирю гордыню мою...

Он шептал, и что-то вроде умиления наполняло его душу. Лились слезы тихие, умиротворяющие.

Иван Вельяминов говорил искренне; он действительно хотел так жить, как клялся над безжизненным телом отца. Ему казалось, что он сможет исполнить свой обет.

Если бы кто-нибудь ему в этот момент предсказал, что не пройдет дня, как его добрые намерения словно ветром сметет, он рассмеялся бы предсказателю в глаза и решительно заявил бы, что этого никогда не может быть.

II

ПО ВОЛЕ КНЯЖЕСКОЙ

Есть один великий духовный порок, принесший много бед человечеству.

Порок этот — честолюбие.

Мы разумеем здесь не то благородное стремление выделиться из толпы благодаря своим действительным заслугам, знаниям, способностям, а мелкое тщеславное чувство, заставляющее человека желать выделиться из среды других во что бы то ни стало, и не каким-нибудь великим деянием, а чисто внешним отличием, чином, положением.

Это служение самому себе, высшее себялюбие, недостойное человека вообще, а христианина в особенности. К сожа-

лению, этот порок присущ многим, только не все могут достигнуть цели своих желаний.

Иван Вельяминов, человек не злой от природы, честный и набожный, был далеко не исключением из числа «многих», и на этой слабой стороне юношу легко мог уловить «лукавый».

Первое серьезное препятствие на пути тщеславных помыслов способно было совратить Вельяминова с прямого пути и кинуть на ложный.

Тысяцкий был слишком важным лицом в Москве, чтобы его смерть прошла незамеченной. Поутру о кончине Василия Васильевича знал уже весь город, и к Чудову монастырю спешили и стар и млад, и знатные князья да бояре, и простолюдины.

Перед кельей опочившего старца колыхалась целая стена разного люда, а внутри келийка была полным-полна.

Стечение народа было тем более значительным, что ожидался приезд великого князя московского Дмитрия Иоанновича.

Для юного Вельяминова это утро было началом его торжества. На него, по-видимому, уже все смотрели как на преемника умершего тысяцкого. Бояре «рассыпались» перед ним и, хваля добродетели покойного, не забывали похвалить и самого Ивана; уже обращаясь к нему, они прибавляли почетную частичку «ста», на которую имели право только люди «больших чинов», другие должны были довольствоваться лишь прибавкой «су», а то даже и на нее не могли рассчитывать *.

— Сделай милость, Иван-ста Василич, уважь, в мой домишко загляни,— приглашал его какой-нибудь седобородый боярин.

И это «ста» и самое приглашение приятно щекотали самолюбие юноши.

Когда он выходил из отцовской кельи, стоявший на дворе люд приветствовал его низкими поклонами:

— Здравствуй, батюшка Иван Васильич!

Все головы обнажались, как по приказу.

Высоко вздымалась при этом грудь Ивана, глаза радостно блестели. В эти мгновения он забывал даже утрату отца;

---

* Частица «ста» всегда прибавлялась к имени боярина 1-й степени и окольничего; боярину 2-й степени прибавлялась частица «су»; остальных именовали без прибавки.

грусть заменяло чувство удовлетворенного мелкого тщеславия.

Вельяминов тихо разговаривал с каким-то боярином, когда извне донесся шум голосов.

— Верно, великий князь,— воскликнул Иван Васильевич и побежал к выходу.

За ним гурьбой пошли бояре; поп Митяй поспешно облекся в ризу и с крестом в руке вышел вслед за другими.

Странный человек был Митяй. Несмотря на то, что он состоял только священником небольшой церкви села Коломенского, т. е. скромным сельским пастырем, змейка честолюбия свила себе прочное гнездо и в его сердце. Часто он мечтал о почестях, о власти и, сознавая, что едва ли ему возможно этого добиться, негодовал на судьбу. Что-то горделивое было в его красивом лице. Быть может, основой его гордости было то, что он действительно выделялся по уму, по образованию из ряда других служителей алтаря того времени, в большинстве едва грамотных.

Он знал кое-что по-гречески, имел возможность читать поучения святых отцов и, обладая прекрасною памятью, некоторые знал наизусть, как, например, сочинение святого Дионисия Ареопагита о небесной иерархии.

Кроме того, он был красноречив, и на его проповеди народ стекался толпами.

Такие качества, выделяя о. Михаила, заставляли его чувствовать себя выше других, а тщеславие подсказывало, что он мог бы быть не простым попом.

Он жаждал случая выделиться, отличиться чем-нибудь.

Иван Васильевич не ошибся: подъезжал великий князь Дмитрий Иоаннович. Он ехал верхом на белом коне, покрытом богатым чепраком. За ним следовали также верхами несколько приближенных бояр.

Когда Дмитрий Иоаннович остановил коня, Иван Васильевич подбежал и поддержал князево стремя.

— Тоскуешь, чай? — сказал великий князь, легко спрыгнув с седла,— что поделать! Божья воля. Жаль его очень — хороший был старичок. Ну, веди меня в келийку.

В сенях перед кельей его встретило монастырское духовенство и Митяй.

Пользуясь преимуществом духовника покойного, отец Михаил никому не хотел уступить чести поднести великому князю крест для целования и окропить его святою водой.

Несмотря ни на что, он настоял на своем, и едва пока-

зался Дмитрий Иоаннович, сопровождаемый Вельяминовым и боярами, он выступил вперед и осенил крестом князя.

Великий князь благоговейно приложился к кресту, потом с любопытством взглянул на Митяя: он был очень богомолен и знал всех духовных лиц Чудова монастыря, но лицо отца Михаила было ему незнакомо.

— Ты что, батюшка, верно, недавно еще в сей обители? — спросил он.

— Я не отселе, великий княже. Я из села Коломенского... Духовник я покойного...— с низким поклоном промолвил Митяй.

— Так... То-то мне и лик твой незнаком,— сказал Дмитрий Иоаннович и еще раз окинул взглядом отца Михаила.

Ему понравился этот высокий священник с его красивым, умным лицом, с его медлительною, тихою речью.

— Пойдем помолимся об опочившем,— сказал князь.

Все прошли в келью.

Прозвучали скорбные слова панихиды.

Потом гроб подняли и понесли в собор. В числе несших был сам Дмитрий Иоаннович.

На заупокойную обедню и отпевание в храм прибыл сам владыка — святой Алексий митрополит. Он был уже очень стар — ему шел девятый десяток,— но, хотя стан его сильно качнулся вперед, хотя руки старчески дрожали, однако глаза были ясны, как у юноши, и светились кротостью и умом.

Торжественно раздавались по храму слова молений.

Усердно молился коленопреклоненный великий князь. Усердно молился и Иван Васильевич. Но его молитве мешали суетные думы.

Он жаждал скорейшего окончания богослужения, чтобы, когда прах отца будет скрыт земным покровом, услышать из уст княжеских утверждение в высоком звании «тысяцкого».

— Превыше всех бояр стану! — бродила в голове Вельяминова тщеславная мысль.

Закончилась литургия; ей последовало короткое отпевание; простились с тем, кто недавно еще был московским «тысяцким».

Глухо ударили молотки, заколачивавшие гроб.

«Земля еси и в землю отыдеши»...

Молчание царило в храме...

Святой Алексий, муж ученейший, в совершенстве знавший греческий язык и знакомый с латынью, смотрел сосредоточенно спокойно на гроб и думал классической фразой, полной глубокого смысла и так хорошо сознаваемой и передаваемой русским народом:

— Hodie tibi, cras mihi.

И, быть может, у каждого молящегося в мозгу шевелилась та же мысль, только, конечно, выражалась она не на мертвом языке, а на живом:

— Сегодня тебе, завтра мне.

И у всех, даже у врагов покойного (и он имел врагов; кто не имеет их!) тихою грустью щемило сердце.

Иван Васильевич плакал, как женщина. В этот — и, быть может, *только* в этот миг — оставили его честолюбивые помыслы.

Он страдал, невыносимо страдал душевно.

Он глубоко верил, что отец его будет блаженствовать в обители вышних, что оплакивать судьбу почившего нечего — он счастлив,— но ему-то, Ивану, человеку из плоти и костей, была невыносима разлука.

Он готов был разбить себе голову о дубовую крышку гроба-колоды.

В минуту его величайшей скорби к нему приблизился Дмитрий Иоаннович и положил руку на его плечо.

— Ты не изводись,— сказал великий князь,— всем нам то же будет... Тело что? — тлен, прах... А душа у него была чиста. Господь возлюбил его... Он в обителях райских за нас грешных теперь молится... Ты не сокрушайся — «там» свидитесь... А пока ты жив, я тебя не забуду. Я дам тебе вотчину богатую, в бояре возведу... Ладно ль? Вестимо, тысяцким ты не будешь, потому зачем, правду-то сказать, тысяцкие? Но всем ты от меня взыскан будешь... Не убивайся, молодец!

И князь, ласково потрепав его по плечу, отошел.

Иван Васильевич и точно перестал сокрушаться. Грусть как рукой сняло. Слова князя вернули его к земле и кольнули, как ножом, в сердце.

«Вестимо, ты не будешь тысяцким»... Это был приговор, страшный приговор для юного Вельяминова.

Все его существо было потрясено.

— Отец в обителях райских... Ему, конечно, хорошо. А я живу... Почему я не могу быть тысяцким, ежели он был? «Зачем тысяцкие?» Зачем?! Да, мне это надобно. Мне!

В своем волнении он не слышал, как заколотили последний гвоздь в крышку гроба.

Но зато хорошо слышал Митяй. Он, испросив благословения у владыки, предстал на амвоне печальный и безмолвный.

Все глаза обратились к нему.

Он выжидал. И только когда прозвучал последний удар молотка, он заговорил...

Речь его лилась, как ручей с отлогого холма: не быстро, но неудержимо. Он хотел сказать ее для князя, но когда начал говорить, то в душе его поднялось и закипело все лучшее, что в ней таилось. И он стал говорить поистине вдохновенно.

Он говорил — и был искренен в это время,— что человек не должен «прилепляться» к земному, что настоящая отчизна людская не здесь, на темной земле, а там — за пределами, не доступными оку человеческому. И не только оку, но и уму. Разве поймет даже и великий ум человеческий райские блаженства, которые заключены в созерцании Божества? Разве это достижимо? Только светлыми душами может быть понято это блаженство. А много ли их, светлых душ? Убивающий плоть пустынник стремится не к убийству своего тела (это делают и самоубийцы), а к возвышению духа над телом. Но подвижник, питая душу, хранит и тело свое. Потому что и оно не только «очаг страстей», но и подобие Божие. Он, святой, не станет уродовать себя — он не выколет себе глаз, он не лишит себя слуха — потому что Господь сотворил человека не бестелесным, но телесным, и каждый посягающий на жизнь тела посягает и на определение Божие... Почему отшельники и святые люди долго живут? Восемьдесят, сто лет — заурядный возраст для подвижников. Ответ ясен: потому, что *они приближают свою плоть к первоначальной чистоте*, к той чистоте, в которой явился первобытный человек, к чистоте Адама до его грехопадения. Святые не убивают, но *восстановляют* плоть такою, какою она должна быть, если исключить все то, что мешает ее естественному развитию, т. е. всякие излишества, роскошь, лень и т. п.

Долго говорил отец Михаил, и каждое слово его находило отклик в сердцах молящихся.

Многие плакали, на глазах Дмитрия Иоанновича блестели слезы.

Всем было и грустно и сладко, потому что в эти мгнове-

ния душе мелькнул божественный свет. Дух жаждал очищения, стремился на свою небесную родину.

Один только человек составлял исключение среди молящихся.

Это был Иван Васильевич.

Он стоял бледный как смерть, с воспаленными сухими глазами. Едва ли он слышал речь Митяя. Для его души не мелькнул проблеск божественного света: в ней были злоба и мрак. Он чувствовал себя обиженным, оскорбленным.

Когда настала пора нести гроб к месту вечного упокоения, Вельяминов шатался как хмельной.

Это приписали его горести по умершему отцу. Его жалели:

— Эх, убивается, бедный!

— Изводится. Да ведь и то сказать — отца родного хоронит.

На могиле великий князь вновь пожалел его, вновь подтвердил свое обещание «не забыть его», но снова заметил и о том, что чин тысяцкого он решил уничтожить, как совершенно излишний.

Слова князя слышали окружающие бояре и отношение их к молодому Вельяминову разом переменилось. Куда делись их медовые речи! Их заменило ледяное молчание да насмешливые улыбки.

Кое-кто перешептывался, кивая в сторону Ивана Васильевича.

Все это заметил Вельяминов, и злоба с удесятеренной силой закипела в сердце.

— Добьюсь своего! — думал он, стиснув зубы.— Дойму не мытьем, так катаньем... А не станет по-моему, так отплачу же я князю-ворогу.

А Дмитрий Иоаннович между тем, не предчувствуя, что рядом с ним стоит заклятый враг, спокойно беседовал с владыкой, и, когда могила была засыпана, сделал знак Митяю подойти.

— Красно говоришь ты, батюшка,— сказал ему великий князь,— почаще слушать тебя хотелось бы... Как тебя звать, отец?..

— Михаилом, государь-княже...

— Умилительно говоришь... Тебе не в селе Коломенском сидеть... Мы сие устроим...

И ласково кивнув ему головой, Дмитрий Иоаннович

принял благословение от святого Алексия и удалился с погоста.

Дольше всех оставался у могилы Иван Васильевич; он упросил распорядиться поминками, которые были устроены в его доме у Покрова, одного из своих приятелей, а сам остался у могильного холма и, когда все ушли, кинулся лицом в землю и зарыдал озлобленно, отчаянно.

— Батюшка! Слышишь ли меня? — взывал он,— меня обидели, отнимают твое наследье.

Но безмолвна была могила. Только ропот берез, шелестевших пожелтевшей листвой, смешивался с причитаниями юноши.

III

СВЯТЫЙ ВЛАДЫКА

В ту эпоху, к которой относится наш рассказ, жил в Москве человек, имя которого с глубоким уважением произносилось всеми — от великого князя до последнего смерда.

Человек этот — был святой митрополит Алексий.

Полна подвигами и глубоко поучительна жизнь этого святителя.

Святой Алексий родился в Москве в 1300 году. Родом он был из черниговских бояр. Родители его Феодор Бяконт и Мария, переселились в Москву из Чернигова, желая найти более спокойную местность для житья, так как Чернигов того времени подвергался частым татарским набегам. В Москве княжил тогда сын св. князя Александра Невского, Даниил Александрович.

У Феодора и Марии было несколько человек детей. Старший из них носил имя Елевферия и был воспринят от купели сыном московского князя Иваном Даниловичем. Этот Елевферий Бяконт и был будущий святой митрополит московский Алексий. Мальчик учился под руководством своих родителей и рос как другие дети, пока не произошло событие, чрезвычайно повлиявшее на него. В числе его любимых детских забав была ловля сетями птиц; однажды,

когда ему шел двенадцатый год, он раскинул в поле сетку для ловли и вдруг им овладел глубокий сон. Среди сна он услышал голос: «Алексий, что напрасно трудишься? Будешь человеков ловить». Мальчик проснулся, но никого не увидел.

С этих пор Елевферий совершенно изменился. Он стал уклоняться от всяких забав, полюбил уединение и безмолвие, проводил время в чтении душеполезных книг, в посте и молитве. Родители, заметив в нем такую перемену, отнесли ее к пошатнувшемуся здоровью сына и не раз при нем высказывали сожаление и грустили. Он их утешал:

— Не печальтесь, а скорее радуйтесь... Как Господу угодно устроить со мною, так и да будет.

На пятнадцатом году жизни он принял решение оставить родителей и посвятить себя иноческой жизни. Решение еще более окрепло к двадцати летам: в эту пору жизни он удалился в московский Богоявленский монастырь, где и принял пострижение от брата преп. Сергия, игумена Стефана, причем был наречен тем именем, каким был назван некогда в сонном видении.

Через Стефана, между прочим, он познакомился и вскоре подружился с преподобным Сергием Радонежским.

В монастыре святой Алексий повел самую суровую жизнь: непрерывная молитва, строгое воздержание выделяли его из числа других монахов; он всех приводил в изумление своими подвигами благочестия. Святой Алексий оставался в обители до 40 лет; когда митрополит Феогност взял его к себе для управления церковными судами на митрополичьем дворе. В этой должности, именуясь наместником митрополичьим, он пробыл 12 лет. При митрополите жило много греков, от которых св. Алексий выучился греческому языку и затем занялся сличением славянского перевода Нового Завета с греческим подлинником и исправлением текста славянского по греческому; перевод этот отличается буквальною близостью к греческому тексту.

«Сей подвиг,— говорит митрополит московский Филарет,— важен, между прочим, потому, что через него святитель, Богом просвещаемый, предварительно обличил неправое мнение людей, явившихся после него, которые даже доныне утверждают, будто в священных и церковных книгах и описку переписчика исправить, и непонятное слово перевода заменить понятным — непозволительно и противно православию; он поверял и исправлял; а потому, очевидно, не так рассуждал, как новые ревнители не очень старой стари-

ны, а точно так же, как и древле и ныне рассуждает православная церковь» *.

Митрополит Феогност, а также и великий князь московский Симеон Иоаннович очень полюбили святого Алексия за чистоту его жизни и кротость характера. С согласия великого князя митрополит поставил святителя епископом г. Владимира, а когда владыка и Симеон Иоаннович пали жертвою моровой язвы, наследовавший престол брат умершего князя Иоанн Иоаннович собором избрал св. Алексия на митрополию.

В это время святителю впервые пришлось претерпеть от человеческого тщеславия и мирской суеты.

По требованию Константинопольского патриарха св. Алексий должен был явиться в Константинополь, что владыка и исполнил. Патриарх благословил его на митрополию, но каково же было изумление святителя, когда он, вернувшись в Россию, нашел себе совместника в лице Романа: под давлением юго-западных князей Константинопольский собор поставил Романа митрополитом для запада России. Церковь русская была очень смущена этим разделением и желала иметь своим первосвятителем одного Алексия.

Роман между тем рассылал по епархиям своих посланных с требованием дани и изъявлял притязания на Киев и Тверь; ни там, ни тут он не был принят.

В церкви русской поднялась великая смута.

Чтобы положить ей конец, св. Алексий решился вновь предпринять путешествие в Константинополь, куда прибыл и Роман. Патриарх Каллист подтвердил Роману, чтобы он был митрополитом только Литвы и Волыни, а Киев и Великую Россию предоставил управлению св. Алексия.

На возвратном пути из Византии владыке пришлось претерпеть жестокую бурю на Черном море. Волны яростно кидали утлое и полуразбитое судно. Ужас овладел всеми. Один

---

* Высокопреосвященный Филарет, митрополит московский, в слове в день обретения мощей святого Алексия. Слова и речи митрополита московского и коломенского. Том IV, 1836—1848 годов, стр. 48, 49.

В 1892 году по поводу пятисотлетия памяти преп. Сергия — друга св. Алексия — покойным митрополитом московским Леонтием было предпринято издание всей рукописи святителя, посредством фототипии. В конце предисловия, издатель, обращаясь к преп. Сергию, говорит: «Не нахожу ничего благопристойнее для почтения Твоей исторической памяти, как возложить на Твою гробницу этот Новый Завет, переведенный и переписанный собственною рукою великого всероссийского митрополита и святителя Алексия, Твоего наставника и друга».

св. Алексий остался спокоен, уповая на милость Божию. Среди криков отчаяния, среди царившего смятения он жарко молился и дал обет построить храм во имя того, кого православною церковью назначено праздновать в день, когда корабль пристанет к твердой земле.

Крепка была его вера, жарка молитва, и свершилось чудо; буря притихла.

Корабль благополучно достиг северного побережья; владыка сошел на землю: это случилось 16 августа — в день, посвященный православною церковью празднованию Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа; стечение обстоятельств тем замечательнее, что и самый нерукотворный образ св. Алексий имел при себе на корабле.

Согласно обету, святитель, дивясь милости Божией, явленной ему, создал не только храм, но целый монастырь во имя Спаса. Этот монастырь находится в четырех верстах от Кремля и именуется Спасо-Андрониевым.

Приняв бразды первосвятительского правления, владыка издал поучение к пасомым им православным христианам. Оно поражает своею простотою, теплою любовью и заботливостью о духовном преуспеянии чад церкви. «Напоминаю вам,— пишет он, например,— слово Спасителя, сказанное Им к Своим ученикам и апостолам: «Сия заповедаю вам, да любите друг друга... О сем разумеют вси, яко мои ученицы есте, аще любовь имате между собою». Так и вы, дети, имейте между собою мир и любовь...

«Также имейте, дети, в сердцах своих страх Божий, ибо при нем человек может стяжать всякую добродетель. Сказано: «Начало премудрости — страх Господень». И Григорий Богослов пишет: «Где страх Божий, там очищение плоти и соблюдение заповедей; где соблюдение заповедей, там возвышение души в горний Иерусалим».

Святой Алексий, не переставая учить свою паству, сам подавал пример праведной жизни. Слава о его святости достигла даже до неверных. Жена хана Джанибека Тайдула долгое время страдала разными болезнями и слепотою. Хан, сведав, что по молитве святого Алексия творятся чудеса, послал грамоту великому князю Московскому с просьбою прислать к нему святителя, угрожая, в случае неприезда его для молитвы об исцелении Тайдулы, войною и разорением. По усиленным просьбам великого князя и ради спасения Руси от татарского нашествия владыка решился поехать в орду. Когда, перед отправлением в путь, он молился в цер-

кви Успения Божией Матери, у гроба св. Петра митрополита сама собою загорелась свеча на глазах у всех. Это было ему предзнаменованием, что путь его благословляет Бог. Св. Алексий слепил из воска чудесно загоревшейся свечи маленькую свечку и, твердо уповая на милость Божию, поехал к хану.

Еще до его прибытия в Орду Тайдула видела во сне святителя Алексия в полном облачении, окруженного священниками. По пробуждении она приказала сделать архиерейское облачение по тому покрою, какой видела во сне.

Хан встретил святителя с великою честью и сам ввел его в палату. Святой муж, служа молебен, возжег свечу, слепленную из воска той, на которой явилось знаменье, молился долго и жарко, потом окропил Тайдулу святою водой.

Каково было изумление, радость и благоговейный ужас всех окружающих, когда Тайдула вдруг с сияющим лицом воскликнула:

— Я вижу, вижу!

В благодарность и в память своего чудесного исцеления она подарила святителю перстень, хан осыпал его дарами и отпустил с честью и миром в Россию. Кроме того, Тайдулою была дарована святителю обширная земля в московском Кремле; здесь был впоследствии св. Алексием построен монастырь в память чуда Архангела Михаила в Колоссах; обитель эта более известна под названием Чудовской.

Едва владыка успел вернуться в Москву, как ему снова пришлось ехать в Орду по совершенно другому поводу.

Хан Джанибек, муж Тайдулы, был убит своим сыном Бердибеком. Захватив власть в свои руки, новый хан перебил всех своих братьев и изъявил намерение напасть на Россию.

Казалось, предстояло новое нашествие Батыя.

Разрозненная Русь того времени не могла бороться с несметными полчищами.

Все трепетали от ужаса. Уже мерещились спаленные и разграбленные города и деревни, тысячи окровавленных трупов, над которыми с зловещим карканьем носились стаи воронов и ворон, плачущие дети, лишившиеся родителей, жены и дочери, влекомые в полон на потеху хищным дикарям...

Конец Руси!

Великий князь Иоанн Иоаннович, занимавший в это грозное время престол московский, печалясь о судьбе своей державы, обратился за помощью к тому, кто равно был

почитаем и русскими, и татарами. Он слезно молил владыку поехать в Орду и смягчить сердце кровожадного хана.— Для нас, простых людей, непосильно это, а для тебя, святого, все возможно,— говорил князь.

Митрополит отверг наименование святого, но на просьбу князя согласился, желая, хотя бы под опасением мученической кончины, отвратить бедствие от пасомых им чад церкви Христовой.

Он отправился в Орду.

Не выдержало жестокое сердце Бердибека, когда его коснулись полные скорби, всепрощающей любви и милосердия слова святого.

Хан, который проливал кровь как воду, не тронул и волоса святителя и отпустил Алексия в Москву с вестью о мире, и, кроме того, подтвердил, что русское духовенство свободно от всяких даней и налогов.

Всем сердцем любил святитель свое отечество и служил ему, не жалея себя. Всюду и везде сказывалось его благодетельное влияние: то он советует и дает средства юному великому князю Дмитрию Иоанновичу обвести Москву каменными стенами, то старается примирить враждующих князей, то едет в Киев, то в Нижний Новгород; наконец, строит храмы, воздвигает монастыри.

Таков был он — светильник веры, ярко горевший на Руси.

Время брало свое. Наступили преклонные годы, и святой владыка заметно слабел.

И у князя и у многих зарождался тревожный вопрос:

— Кто может стать преемником святителю?

И казалось осиротеет земля русская, когда святой Алексий отойдет в обитель вечного упокоения.

Все видели свою надежду и опору в святителе, все спешили к нему за помощью и советом.

Не был исключением из числа других и Иван Вельяминов.

К кому прибегнуть с просьбой о заступничестве перед великим князем? Кого просить, чтобы походатайствовал перед Дмитрием Иоанновичем об отмене неприятного для него, Ивана, решения?

Конечно, можно было обратиться с такими просьбами только к нему, ко всеобщему печальнику, митрополиту Алексию.

Вельяминов так и сделал. На другой день после погребения отца Иван явился в митрополичьи палаты.

Владыке недужилось, но он все-таки принял его.

— Что тебе, чадо? — спросил святитель, благословив юношу.

— Владыка! Горе у меня великое...— начал Вельяминов, стоя на коленях.

— Знаю, чадо, знаю,— промолвил Алексий, полагая, что Иван разумеет смерть отца,— но что ж делать? Божья воля. Одного ныне отзовет Господь к себе, другого — после. Все мы гости в сем мире.

— Да,— сказал юноша,— конечно, сие горе велико... Да... Но у меня есть еще и другое великое... Ты слыхал, святый владыка, что тысяцких больше не будет?

— Говорил мне государь князь...

— Заступись за меня, владыка... Заступись. Почто же князь меня наследия моего лишает? Али я чем провинился? Всегда был ему верный слуга.

— Князь к тебе милостив, он тебе вотчину хочет дать. А чин тысяцкого не по нем. Что ж я могу, чадо? Мое дело Бога молить, а не в князьи дела мешаться. А скорбеть тебе, сдается, и не о чем. Кабы князю ты был не люб...

— Не люб! — воскликнул Вельяминов, вспыхнув и вскочив на ноги,— не люб и есть! Испокон века тысяцкие были... И отец мой, и дед, и прадед в тысяцких сидели. Что же я за бессчастный? Вотчину даст... Да не надо мне ее. Хочу тысяцким быть.

— Нет, я тебе не заступник,— с некоторою строгостью промолвил святой владыка,— абы нужда была большая, абы точно обижен был, тогда бы я заступился... А у тебя суетность. Тебе хочется власть над людьми иметь, превыше других стать...

Святитель взглянул на бледное, со следами слез лицо Ивана, и его доброму сердцу стало жаль юноши.

— Ты не крушись,— заговорил он мягко,— я не в осуждение, а в назидание... Гони мысли суетные, Богу молись, служи князю-государю верой-правдой, и он тебя не забудет. А коли что, тогда и я тебе пособлю. Иди с миром, чадо.

Странную противоположность один другому представляли эти два человека. Один из них, старец, смотрел ясным, глубоким взглядом; тихою ласкою веяло от его величественного лица, обрамленного белоснежною бородою; сказывалась какая-то мощь духа в этом слабом, согбенном теле.

Второй — юноша, стройный как тополь, могучий, как богатырь, стоял понурый, со злобно блестящими глазами и

искаженными чертами лица; брови сдвинулись, словно кому-то грозя, около глаз залегли темные полосы. В этот миг он казался олицетворением злобы.

Не отозвались слова святого старца в душе Ивана: «дух зла» овладел им и ожесточил сердце. Он ушел от владыки еще более озлобленным, еще более отчаявшимся.

Когда он шел по улице, прохожие с удивлением и боязнью сторонились от него: таким «волчьим» взглядом окидывал он их. В нем едва признавали юного Вельяминова, которого привыкли видеть с открытым приветливым лицом и ясным взглядом.

Он словно постарел на десяток лет.

— И владыка не заступился! Кто же заступится? Ужели так-таки ничего и не поделать? Нет же, нет! Не буду тысяцким, буду еще большим. А князю-государю отплачу... Погоди, дай срок!

И злобные мысли вихрем теснились в голове.

Он вернулся в свой дом — обширный и крепкий — и затворился в «одрине» *.

Он не вышел к обеду, не сел за ужин.

Слуги перешептывались и дивились, прислушиваясь к его шагам — ровным, непрестанным.

— Чай, все по отце скорбит.

— Не ест, не пьет — уж это Бог знает что.

— За сердце взяло.

Оно и точно — крепко «за сердце взяло» Ивана. Он не знал, что делать с собой, как затушить пламень, жегший душу.

Он пробовал молиться — молитва не ладилась. Он решал пересилить думы и не мог.

Несколько раз шевелилась отчаянная мысль:

— Лучше не жить бы.

Но все существо восставало против «бездны смерти».

Жить, жить! Но так, как ему хочется.

Но как устроить? Где искать помощи?

И откуда-то из неведомых тайников души словно прозвучало:

— У меня!

И в соображении его пронеслось грозное, черное лицо Сатаны.

Он вздрогнул, оперся на тяжелый дубовый поставец и бессильно, чуть слышно прошептал:

---

* Одрина — спальня.

— У тебя?!

Ужас объял его.

Но злоба была сильнее ужаса.

— А что ж бы... хоть и у тебя...— промолвил он побледневшими губами.

— Хоть бы и у тебя! Ты-то дашь ли мне, чего желаю?

Где-то откликнулось в душе:

— Дам.

Твердою решимостью наполнилось сердце Ивана.

— Так пусть же! Пусть хоть сатана мне поможет!

И он снова зашагал по своей одрине, грозный, нахмуренный, со сжатыми в кулаки руками.

Мысли теснились в его мозгу и давили его.

Черные, страшные думы. Он мысленно отдавал свою душу дьяволу, он мысленно прибегал к чарам.

И воображение рисовало ему будущее его могущество.

Он видел себя богатым властелином.

Он водил полчища, лилась кровь «его ворогов».

Он видел Москву спаленную, и князя Дмитрия Иоанновича, лежащего в прахе у копыт его коня.

— Так тебе, так тебе! Так больше тысяцких не надобно, княже?

И злобно хохочет он и вот-вот готов раздавить великого князя конской пятой.

— Разве за все это не стоит душу продать? — размышляет он.

И сам себе отвечает:

— Это ли души не стоит? Если бессильны руки сотворить, если на силу есть сила большая, помогут чары. Для волшебства и колдовства все можно. Не спасут ворога ни его ратные люди, ни крепкие стены.

Чара, как пыль, сквозь щель пройдет, как вода, через чуть приметную скважину проберется. Сказал — не мытьем, так катаньем. Дойму...

И работают думы, и то застывает, то трепетно бьется сердце его.

Время идет. Стало темнеть.

Кое-кто из слуг, не дождавшись выхода своего господина, стал приваливаться на покой.

Затих дом.

Вдруг среди тишины громко прозвучал и поднял всех на ноги господский приказ:

— Оседлать коня!

Через несколько минут оседланный конь фыркал у крыльца, а еще немного спустя вышел туда же Иван Васильевич.

Он был в одном кафтане, без охабня; у пояса покачивался тяжелый меч и сабля в бархатных ножнах, за плечами — лук и колчан.

Он изготовился, как к бою.

Нахлобучив поплотней шапку, Иван вскочил на седло, склонился вперед, гикнул и вихрем вынесся за ворота и скрылся от глаз удивленной челяди во мраке осенней ночи.

IV

НЕКОМАТ СУРОВЧАНИН

Не то дорога, не то просека пролегла через лесные дебри.

Луна чуть проглянет и вновь спрячется за покровом облаков, которые медленно и неустанно ползут по небу, серея, как столбы дыма.

Немало надо храбрости, чтобы ехать одному в глухую полночь по лесной чаще.

В ней много волков, но что еще страшней — много лютых людей. Зверь помилует, побоится тронуть, а человека не возьмешь страхом или мольбой. Не тронутся слезами окаменелые сердца, и бердыш с размаху размозжит голову.

Вероятно, это хорошо знал путник, пробиравшийся по просеке на бойком аргамаке. Он держал наготове копье, жало которого серебром светилось при проблеске месяца.

На мгновенье луна вырвалась из-за облаков и озарила ехавшего.

Он молод. Ему лет тридцать, не больше.

Плечи широки, стан крепок. Для злых людей — он не легкая добыча: сможет постоять за себя.

Лицо, окаймленное темно-русой бородкой, красиво, но бледно и угрюмо.

Брови сдвинулись, а глаза вспыхивают недобрым огоньком.

Если бы встретился москвич, то без труда признал бы в ночном путнике богатого купца прозвищем Некомат Суровчанин.

Тот же встречный, конечно, подивился бы:

— Что ему здесь надобно?

Удивление москвича было бы тем более понятно, если мы поясним, что путь-просека вел ни более, ни менее как только к мельнице некоего Хапилы, пользовавшегося недоброй славой колдуна.

Чтобы объяснить читателю смысл путешествия Некомата, мы должны оставить его продолжать путь к колдовской мельнице, а сами вынуждены взглянуть на жизнь купца Суровчанина вообще и, главным образом, на те события, которые разыгрались в доме Некомата всего несколько дней тому назад.

Итак, забудем на время про его поездку и перенесемся в усадьбу, окруженную добрым тыном, за которым, куда глаз ни глянь, раскидывались поля и луга, окаймленные вдали темной полосой леса...

...Ясное осеннее утро.

Некомат стоит у окна и смотрит на окрестности.

Поля со щетиною сжатой ржи, луга с сильно поднявшейся отавой. Дальше лес с темными пятнами хвои и желтыми и красными набросками отживающей листвы.

Вились думы:

— Ишь, земли! Глазом не охватишь. Тут тебе и луга, и поля, и бор... Бо-о-гатство! Сена к Петрову дню что накашиваем! А хлеба сбираем, а овса... Уйма! Да еще старания, какого нужно, не приложено. А постараться,— приглядеть здесь-там, пораньше встать, попозже лечь — огребай добро лопатами! Э-эх! Было бы мое, сумел бы постараться. А так, чужое-то обхаживать, кому охота? Честь-то все равно одна будет: пройдет мало времени — помелом погонит. Мне бы пока что хоть малую толику припрятать... Люди думают: Некомат гость богатый, большой торговый человек... Знали бы они, что я только пасынковым добром и дышу. Сполнится ему двадцать годов, все он и заберет. И останусь я чист молодец. Плохо распорядилась покойница, что говорить. Обидела меня. Его, говорит, отец наживал, так ему всем и володеть. А все толковала, бывало, «муженек любимый». Вот те и любимый.

Угрюмое лицо Суровчанина покрылось пятнами от желчного волнения. В тусклых, впалых глазах сверкнули злые искорки. Он нервно бороду дернул и отошел от окна.

— Грехи одни! — пробормотал он, прохаживаясь.— Кабы отделаться от этого парнишки. А-ах кабы!

Тихо стукнули в дверь светлицы.

— Кто там? — спросил Некомат.

В дверь выставилась кудлатая седая голова.

— Что тебе, Пахомыч?

В комнату бочком пролез приземистый старик с обезьяньим лицом, испещренным морщинами, и юркими лукавыми глазами, полуприкрытыми клоками седых бровей.

— Я к твоей милости,— проговорил Пахомыч.

— А что?

— Силушки нет сладить с пасынком твоим. Помилуй, совсем заморил он Чалого.

— Этакого коня?!

— Пропала лошадь. Вхожу сейчас в конюшню, гляжу — сена не ест и сама дрожит. На ней теперь разве впору воду возить да и то годится ль!

— Любимый мой жеребчик. Растил его, холил красавца, вскормил — и вот! И как Андрюшке помогло такого коня зарезать?

— Вчерась оседлать приказал и поехал. Знамо дело, от безделья скука берет. Сам знаешь, какая вчерашний день погода была — дождик, буря, не приведи Бог. А ему, вишь, дома не сидится. С утра до вечера это он по полям шаркал. Конь не поен, не кормлен, ну и заморил. Как он вернулся, я так и ахнул: мыло с коня так клочьями и сыпется что снег. Тогда же подумал я: ой зарезал коня.

Суровчанин присел на лавке, тяжело дышал и покачивал головой.

— Вот тебе и Чалый. А конек-то был!

— Уходил, уходил его, что и толковать. Сегодня я ему говорю: Андрей Алексеич! Зарезал ведь ты коня. А он меня же винит: ты, говорит, что смотрел? Верно, грит, опоили его. И знаешь, господине, уж ты меня прости, не в гнев твоей милости будь сказано, а сдается мне, что он тебе назло извел коня: знает — твой любимый.

— Может быть и очень может быть. От него уваженья не дождаться, а этакого чего-нибудь, чтобы назло, сколько хошь. Уж паренек! Вот он где у меня!

Некомат указал на свою шею.

— Испытанье, тебе Господом посланное,— сказал Пахомыч, сочувственно вздохнув, и продолжал: — потому думаю, что он назло тебе сделал, потому... Ведь ни ты, ни я, ни другой кто не поедет по доброй воле в этакую непогодь, как вчерась. А его понесло. И зачем? Даром коня гонять. Один-

одинешенек поехал и воров-душегубов не побоялся... А ноне у нас их страсть развелось: намедни Трифоновского ключника среди бела дня зарезали, только малость от дома отошел. Дивно, как Андрей Лексеича не полоснули.

— Кабы полоснули! — пробурчал Суровчанин так, что ключник мог и не слышать.

Но он слышал. Весь как-то дернулся, подался вперед и тихонько промолвил:

— Управились бы с ним воры — благодать бы была.

— Н-ну,— промычал Некомат, смущенно глянув в сторону.

— Нет, в сам деле,— зашептал старик, еще ближе пододвинувшись к нему.— Оно, конечно, грех желать такое. Но от слова ничего ему не сделается. А только как не сказать, что легче стало бы без него.

Суровчанин не останавливал холопа и нервно щипал бороду.

— То взять,— продолжал шептать ключник,— что вот теперь ты всем володеешь, а малость времени пройдет,— приберет все к своим рукам Андрей Лексеич. Мы, рабы, попадем в его лапы, а тебя,— ты не осерчай на меня,— может, из дома ногонит.

— От него дождешься.

— Чего от него не дождаться? Всего ждать можно. Меня он со свету сживет, уж это — как пить дать. Он меня страсть не любит. Беда всем будет...

Старик замолчал. Юркие глаза его так и бегали.

— Тяжело,— со вздохом промолвил Некомат.

— Легко ли!

— А поделать ничего нельзя.

Пахомыч наклонился к самому уху купца и прошептал:

— Кабы греха не бояться, то можно бы...

— Отыди, сатана! — вскричал Суровчанин, покраснев.

Поднялся с лавки и зашагал по комнате.

Старик отскочил к двери и забормотал с покорным видом:

— Ведь я не говорю, чтобы беспременно. Я сказал, коли не бояться греха. А мы, вестимо, хрестьяне православные, мы греха боимся. Я так к слову, тоись... А ты меня сейчас уж и сатаной.

Некомат ходил, опустив голову. Лицо его словно потемнело. В глазах выражались тревога и злоба.

Вдруг он круто остановился перед Пахомычем и спросил:

— Ну, а... ну, а как было бы можно?

Ключник встрепенулся.

— Как? Придумать недолго. Кликни — руки найдутся... На воров-душегубов свалим,— прошептал он.

— Где найдешь? — напряженно шептал купец.— Да после эти же руки, может, и к нашему горлу потянутся

— Не посмеют потянуться. Устроим. У меня, сказать правду, на примете есть.

— Будто?

В это время в сенях послышались быстрые шаги. Дверь распахнулась, и на пороге появился юноша лет девятнадцати, высокий, голубоглазый, краснощекий. Его плечи еще не вполне развились, но, по-видимому, он обещал стать богатырем. На мощной шее сидела красивая голова в целом венке кудрявых белокурых волос.

Это был пасынок Суровчанина, владелец усадьбы и земель, Андрей Алексеевич Кореев.

Увидев его, Некомат угрюмо спросил:

— Что, Чалого-то загнал?

— Я загнал Чалого? Когда мне было его загнать? Конь, правда, теперь вконец испорчен, да только оттого, что его опоили,— ответил пасынок.

Пахомыч, успевший отдалиться от Некомата, с жаром возразил:

— Грех тебе, Андрей Лексеич, на людей напраслину взводить. Сам виноват, так зачем на других вину складывать? Вьюнош ты еще молоденький и на этакое пускаешься. Непригоже.

Молодой человек пожал плечами и промолвил:

— Да когда я мог коня загнать?

— А вчерась.

— Много ли вчера я ездил?

— А от обеда да вплоть до вечерка.

— Полно врать-то! — с негодованием воскликнул Кореев.

— Я что? Я человек маленький,— смиренно сказал ключник, злобно блестя глазами.— Одно слово — раб. Я все должен с покорством стерпеть. Говоришь, вру — ну, пусть вру. Пусть твоя правда, мне спорить нельзя. А только вспомяни то, что я еще твоей матушке с батюшкой служил, когда тебя и на свете еще не было. У меня уж борода сивая, а у тебя еще ус не пробился... Грех старика обижать. А снести я все снесу. Все снесу, не привыкать стать. За жизнь-то свою чего не натерпелся... А только обидно...

И, ворча, он вышел.

— Коня, конечно, жаль,— сказал вотчим по его уходе,— доморощенный конек... Потому я и говорю... Но ты волен делать, как знаешь. Не мое добро... И ежели я печалюсь, то потому, что о тебе пекусь...

Он примолк, потом продолжал, стараясь придать голосу задушевный тон:

— Я ведь тебя этаким знал (он указал на аршин от пола), можно сказать, ты на моих руках вырос. Люблю я тебя, как сына родного... Денно и нощно заботушка о тебе меня берет. Вот пройдет годик, сдам я тебе все хозяйство, тогда делай как знаешь, слова не скажу... Сам будешь в возрасте... Ты будешь хозяйствовать, а я пойду угодникам молиться, либо постриг приму... Уйду из усадебки.

— Зачем уходить? Как жил, так и живи. Я только рад буду.

— Нет, брат. Двум медведям в одной берлоге не ужиться.

— Не стоит об этом толковать, батюшка: я тебя не пущу; ведь еще не скоро мне и хозяйство принимать: больше года еще осталось. Чего раньше думать да загадывать: мало ль что еще может случиться! День сегодня погожий,— добавил Андрей Алексеевич, глядя в окно,— взять лук да пойти зайцев пострелять: много их у нашего огорода шмыгает.

Он ушел.

Вотчим посмотрел на захлопнувшуюся за ним дверь, и благодушное выражение разом соскочило с его лица.

— Да,— пробормотал он,— еще срок есть. Мало ль что еще может случиться. А с Пахомычем надобно как след потолковать.

И он зашагал по комнате, полный черных, смутных дум.

Скажем теперь несколько слов в пояснение того, каким образом торговый человек Некомат очутился в роли опекуна (разумеется, называем его так современным нам языком) Андрея Алексеевича.

В то время не существовало еще крепостного права, не существовало также и права на владение землей только какому-нибудь одному сословию.

И крестьяне стали «крепки» земле, и право владения ими и землей сосредоточилось исключительно в руках высшего сословия гораздо позднее той эпохи, к которой относится наше правдивое повествование. Приобретать землю мог человек всякого «звания», а равно и покупать рабов. В рабы, в свою очередь, мог продаться всякий желающий — стоило

только выдать на себя кабалу. Мы не будем входить в рассмотрение разных видов рабства того времени.

Сказанного достаточно, чтобы понять, что Суровчанин хотя был купцом, или, как тогда называли, «гостем», мог и мечтать о присвоении себе имения Кореева, и фактически владеть землей и людьми.

Лет десять тому назад Некомат был мелким торговым человеком; он торговал холстом и *суровским* товаром, отчего и получил прозвище Суровчанина. Он наезжал в имение матери Андрея Алексеевича — вдовы княжего боярина — за закупом холста. Красавец в то время собой, он приглянулся молодой еще вдове, и вскоре она вышла за него замуж, не раздумывая о том, что она — боярыня, а он простой гость.

С женою Некомат прожил лет пять. Она скончалась от какой-то долгой и мучительной болезни.

— Что свеча растаяла,— говорили про нее.

Умирая, она позаботилась о сыне от первого брака: все имущество она завещала ему, а своего второго мужа оставила только «пестуном»:

— Пока Андрюша в возраст не придет.

Суровчанин, впрочем, мог также все наследовать:

— Ежели, чего Боже упаси, Андрюшенька помрет раньше.

Таким образом Некомат стал опекуном пасынка и фактическим, временным владельцем имения, но не собственником его.

В первые годы купец чувствовал себя очень довольным:

— Еще покуда малыш в возраст придет. Может, еще его Господь и приберет.

Но по мере того, как проходили годы, а мальчик превращался в цветущего юношу, Некомат становился грустней и задумчивей: «добро» ускользало из рук. Недалек был день, когда предстояло расстаться с этакой «благодатью». Правда, «гость» успел припрятать добрую толику про черный день, но ему этого казалось мало. Его торговля шла плохо и, в сущности, поддерживалась только деньгами, которые он извлекал из пользования поместьем опекаемого. Люди этого не знали, но он-то хорошо знал: не будет имения — придется и торговлю бросить.

А имение было — золотое дно. Лежало оно всего в какой-нибудь версте от Москвы; земля хорошая: пажити, леса — все есть, чего хочешь.

Опекун с ненавистью стал думать о своем пасынке. Андрей Алексеевич был в его глазах врагом его счастья.

— Кабы помер! — частно проносилось в его голове, когда он смотрел на пасынка.

И все чаще и чаще стала вспадать дума о желательности смерти Андрея Алексеевича.

В одно из таких мгновений подвернулся Пахомыч со своими речами.

К чему привел разговор между ключником и купцом, читателям известно.

Чем руководился старый ключник, подбивая своего господина на преступление?

Конечно, только личной выгодой. Андрей Алексеевич не терпел бы его за злобу и пронырство, и, со вступлением Кореева в свои права, ключник должен был лишиться своего первенствующего значения среди челядинцев; кроме того, если бы удалось «отделаться» преступным образом от Андрея Алексеевича, Пахомыч держал бы в своих руках Некомата и мог бы забрать власть над ним и над «людишками».

Подозревал ли сам юноша, какая опасность грозит ему?

К вотчиму у него никогда не лежало сердце. Он инстинктивно чувствовал затаенную вражду со стороны Некомата. Но молодой человек гнал такие думы, старался переломить себя, был с отчимом ласков и почтителен. О том же, какие планы зреют у Суровчанина и ключника, он ничего не подозревал.

Быть может, злые замыслы удались бы, если б случайно в них не проник один преданный юноше человек.

Это был старик Матвеич, прозванный Большерук. В то время, когда жила еще мать Андрея Алексеевича, Матвеич был ключником, но после ее кончины Некомат поставил на эту должность Пахомыча, а его вернул в положение заурядного раба. Произошло это потому, что Суровчанин видел, что Матвеич более тянет на сторону пасынка, а не на его. Таким образом, старик был большою помехой для опекуна.

Бывший ключник не очень печалился, что его «сровняли» с другими. И как простой раб, он не утратил уважения своих товарищей-челядинцев; как в былое время, к нему шли за помощью и советом, и он пользовался среди дворни куда большим значением, чем новый ключник, который к тому же был жесток и придирчив. Пахомыч видел, что «людишки» его терпеть не могут и, наоборот, «льнут» к Матвеичу; он стал завидовать старику и преследовал его как мог.

Много пришлось претерпеть Большеруку, но он все покорно сносил.

Не многие знали, что причиною такой покорности была его глубокая привязанность к Андрею Алексеевичу.

Юноша, можно сказать, вырос на его руках; мать, умирая, поручила мальчика заботам Матвеича, и старик не обманул ее доверия; он возился с ребенком не хуже любой няньки. Всегда смирный и молчаливый, он становился буйным и гневным, если видел, что чем-нибудь обижают его питомца; он всегда стоял за него горой перед всеми, не исключая и самого Некомата.

— Меня хошь прибей, хошь убей, а мальца не трожь: не дам! — говаривал он Суровчанину или Пахомычу в минуту подобной вспышки.— Сироту-то всяк рад обидеть.

Душа ребенка отзывчива на теплую ласку и любовь; дети чутьем понимают, кто их искренно любит. Не удивительно поэтому, что Андрей Алексеевич, в свою очередь, полюбил Большерука как родного и во всяком случае больше, чем отчима.

Этот-то истинный пестун юноши и проник в планы Суровчанина и Пахомыча.

Однажды в послеобеденную пору, когда весь дом был погружен в безмолвие, так как все обитатели от мала до велика, по русскому обычаю, «прилегли» после обеда, легкий стук в дверь горницы пробудил Андрея Алексеевича от легкой дремы.

Он нехотя спросил:

— Кто там?

— Я... Тише... Впустит-ко меня,— послышался из двери сдержанный голос Большерука.

Юноша, лениво поднявшись, откинул засов.

Матвеич тихонько вошел в комнату и снова запер двери.

Он был бледен и имел расстроенный вид.

— Случилось что, Матвеич? — спросил Кореев, глядя на взволнованное лицо старика.

Большерук молча покрестился на икону, потом промолвил:

— Случилось такое, что не узнай я, быть бы великому греху. Благодари Бога, что спас Он тебя.

Юноша смотрел на него с недоумением.

— Подле тебя лютые злодеи живут... Подстерегают, как бы извести... И все уже у них подстроено,— продолжал Большерук.

— Злодеи? — пробормотал Андрей Алексеевич, пожимая плечами.

— Да, лютые злодеи. И с тобою вместе живут и твою хлеб-соль едят. Послушай-ка-сь, что я тебе скажу... Сегодня, ты знаешь, работали мы в огороде. Овощ снимали. Стало близко к полудню. Приходит в это время сам Некомат-от. Поглядел этак на Пахомыча и говорит: гони их обедать. Тот сейчас и запищал: кончай работу, иди за обед...

«Вестимо, холопишки радешенки. Живой рукой к дому. А я позамешкался с чего-то. Все ушли, а я еще спину гну. Работать мне довелось, надо тебе сказать, у самой загороди, в конце то ись. Знаешь там, где малинник поднялся. Кустарник высокий да густой. Меня за ним и не видать. И вот слышу я, братец ты мой, что за кустами ходят да говорят. Поприслушался. Твой вотчим да Пахомыч. Мне сперва было и ни к чему, а потом стал их слушать...

Ну, тут-то вот и услышал! Вотчим-то твой говорит, и в голосе словно бы дрожь:

— Невтерпеж,— говорит,— пора нам с этим приканчивать. Извелся я весь. Надо разом конец.

— Да уж теперь будет твоя милость спокойна: нашел я кого след.

Это, значит, отвечает ключник. Мне каждое ихнее слово запомнилось. Умирать стану — не забуду.

— Ой ли! — грит вотчим-то,— нашел?

— Нашел,— тот грит,— доброго паренька. О Фильке Непутном слыхал?

— Еще бы не слыхать. Всем ведомый душегуб.

— Вот он,— ключник говорит,— и трое приятелей его. И пограбят его и убьют. Я им, с твоего дозволенья, награжденьице обещал.

— Дам сколько захотят, только б прикончили Андрея.

Услыхал я это, да так и обмер. Присел за кустами не шелохнусь, и через веточки проглядываю.

Вотчим-то белый что снег, а Пахомыч — красный и все волосы ерошит.

— Когда ж они вершить будут?

А Пахомыч грит:

— А с сегодня засядут выжидать. Как он в лесок выдет, нагонят и либо бердышем, либо копьецом, либо стрелку пустят. И вся недолга. Потом ищи их, как ветра в поле. А наше дело сторона.

— Так. Нарочно завтра ж пошлю его зайцев стрелять.

Ну, Пахомыч, удастся мне его сбыть — озолочу тебя. Первым ты человеком у меня станешь. И Фильки не забуду. А только скажи ему, чтоб он не зевал: не терпится мне Андрюшку спровадить. Пусть они голову ему разрубят, в воде потопят, аль в огне спалят, только бы убрали. А то руки чешутся самому за нож взяться, либо зелья ему в кушанье подсыпать. Ждать не могу...

И пошли это они себе помаленьку к дому.

Я пождал, когда они ушли, да пробрался домой, а теперь вот к тебе прибег. И мой сказ тебе: надобно от злодеев спасаться. Изведут они тебя, как пить дать, изведут. Бога они не боятся, людей и подавно».

Андрей Алексеевич сидел бледный и удрученный.

Он несколько раз прерывал речь пестуна то возгласами недоверия, то гнева.

Когда старик закончил, он быстро поднялся и в волнении заходил по комнате.

— Знаешь, Матвеич,— сказал он,— и надо мне тебе верить, и не верится. Ну, можно ль, чтобы отчим... Да что же он за злодей такой?

— Злодей и есть. Какой же не злодей?

— Да на что ему смерть моя?

— На что? Да ведь, ежели ты помрешь, он всем владеть будет. Так и в духовной прописано. Сам слышал, как отец Василий читал твоей матушке, когда она Богу душу отдавала. Ежели ты помрешь,— все вотчиму. Из-за этого он тебя и хочет спровадить.

— Пойду-ка я к нему,— с гневом вскричал юноша,— и скажу, что мне все ведомо. Что он сущий злодей, Бога позабывший, и чтоб он убирался бы поскорей из моего дома.

Большерук замахал руками.

— Тише!.. Не кричи,— промолвил он.— А о сем и думать нельзя. Он только и скажет одно: знать ничего не знаю, ведать не ведаю, мало ль, дескать, тебе наговорили! А тебя за продерзости он еще в подклеть запрет. И ничего ты не сделаешь, потому пока тебе двадцати годов нет, он здесь хозяин. А в подклети они тебя и заморят. Нет, пока что надобно тебе отсюдова уйти. Это уж, как люблю тебя, говорю.

— Покидать кров родимый? Из-за чего?

— Чтоб жизнь спасти. Пройдет мало времени, вернешься сюда хозяином и Некомата прогонишь. А пока послушайся — уезжай.

— Куда уехать? — грустно промолвил молодой человек.

— Ты вот что, не печалься, не убивайся,— сказал Большерук, и голос его задрожал,— всякому Господь испытанье посылает. И тебе тоже... Ты не бойся, а на Бога надейся. Я ж тебя не оставлю: какую могу, завсегда помощь окажу. Сам знаешь, люб ты мне, как сын родной. Поедем мы, родненький, отсель, времени не вадя. У тебя в Рязани дядя живет, отца твоего брат родной. Лет десяток, как он от Москвы к рязанскому князю отъехал... Вот мы к нему и будем путь держать.

— Из своего дома бежать. Матушка! Кабы встала ты из своего гроба...— как стон вырвалось у юноши.

Он тяжело опустился на лавку и сжал руками виски. Все существо его было полно горем и негодованием.

Хотелось бы кинуться к отчиму, назвать его злодеем и с позором выгнать его из дому.

Но он сознавал, что пестун прав, что этого сделать невозможно, что только ему же хуже будет.

Приходилось покоряться необходимости.

Приходилось покидать родной дом, могилу матери и ехать за тридевять земель, чтобы укрыться от козней.

Этого требовало благоразумие.

Это казалось единственным средством спасения.

Лицо матери, как живое, стало перед ним.

Доброе лицо с ласковым, кротким взглядом.

И рядом другое — угрюмое лицо отчима, с глазами, в которых застыло выражение подозрительности и затаенной злобы.

— Ты не убивайся, родненький, говорю,— бормотал между тем Матвеич.— Ну, что ж, у дяденьки поживешь годик, а там вернешься. Дяденька родной, не обидит. А я все приготовлю — и коней, и запасец. Прихватим и верного человека... Знаешь Андрона, племяша моего? Помолился Богу, да и в путь. Как стемнеет, я лошадок выведу за изгородь к огороду. Тихохонько сядем на коней — и след наш простыл.

Юноша поднял голову.

— Хорошо,— сказал он,— знать, Божья воля. Я согласен... Сегодня же ночью едем.

— Ну, вот и ладно, и отлично. Я коников приготовлю и обо всем позабочусь, спокоен будь. А близко к полуночи выберись за огород. Понимаешь, я рад-радешенек: от погибели, родной, спасешься. Нешто сладко под нож злодеев голову подставлять. Даже сие и грех. Это вроде как на себя самому руки наложить. Так едем сегодня! Я и Андрону скажу.

А теперь надобно наутек от тебя, пока все спят: заприметят, так, пожалуй, еще догадаются. Прощай пока, соколик! Все я изготовлю.

Старик ушел довольным, а юноша долго еще сидел в грустном раздумье.

В этот день отчим был с ним особенно ласков.

Андрея Алексеевича эта ласковость резала, как ножом. В особенности трудно было ему сдержать себя, когда Некомат сладеньким голосом сказал:

— Что ты сегодня хмуришься, родной? Скушно, чай? Ты бы пошел по леску побродил али б зайчишек пострелял.

Юноша вспыхнул от негодования.

«Сам под бердыш злодея посылает,— подумал он,— не терпится ему меня спровадить».

Он едва не выдал себя резким ответом, но успел овладеть собой.

— Что-то недужится маленько. Я, чай, как-нибудь застудился... Пойду полежать,— ответил он и ушел в свою горенку, чтобы только не видать ненавистного теперь для него лица отчима.

Затих господский дом.

Сам Суровчанин угомонился в своей опочивальне. Андрей Алексеевич приподнялся на постели и прислушался.

Тихо. В окно смотрит лунная ночь.

Встал, высек огня и затеплил огарок.

— Теперь скоро. И не хотелось бы, и сердце рвется, да ничего не поделаешь. Что сделаешь супротив злобы людской?

Он печально поник головою.

— Из своего дома приходится бежать... Божья воля.

Чуть скрипнула дверь.

Выставилась косматая голова Матвеича.

— Пора! — сказал пестун.— Напрасно свечку вздул: не заприметили бы!

— Сейчас. Вот только образок возьму, да тут кой-что...

— Кони уж выведены.

— Иду.

Андрей Алексеевич закрестился:

— Господи помози!

— Его святая воля. А где твой тулупчик? Ночь холодна да и после пригодится. Мешкать негоже, одначе.

Юноша поспешно оделся и потушил огонь.

Тихо прошли сени, выбрались на двор.

У ворот гулко храпел сторож.

— Крепко Левка спит,— сказал Большерук,— я давеча мимо него лошадей провел, и то не слышал.

Вступили в сад, он же и огород. Деревья недвижны, как колонны, сетью раскинулись ветви, не шелохнутся. По тропинке разбросались пятна лунного света.

— Ночь-то! А? — с восхищением промолвил старик.

— Хороша ночка,— ответил юноша и подумал:

«Можно сказать, что всю жизнь переламываем, а говорим так, словно вот погуляем да и домой повернем».

За садом-огородом ждал Андрон, племянник Большерука, рослый, сильный парень из тех, про которых говорят: неладно скроен да крепко сшит.

Он сидел верхом на лошади, двух других держал за узду.

— Вот вы, а я было заждался — думал, не случилось ли чего,— промолвил Андрон.

Пришедшие молча вскочили на седла.

— Сейчас мы в перерез поля,— сказал Матвеич,— в лесок, а там окольным путем.

Тронулись ходкою рысью.

— Стой! — приказал юноша, когда въехали на невысокий пригорок близ леса.— Дай взглянуть в последний раз.

Он повернулся лицом к усадьбе.

— Прощай, кров родимый,— прошептал он с глубокою грустью.— Возвращусь ли, увижу ль тебя когда-нибудь?

Тихим, мирным пристанищем казалась озаренная месяцем усадьба с высоким господским домом,— с разбросавшимися в беспорядке службами, крытыми побурелой соломой, с темным пятном сада-огорода...

А там, за лесом, неведомый, чуждый, шумный мир...

Матвеич и Андрон были задумчивы.

Для них, холопов-рабов, усадьба была только обширной тюрьмою; мир нес свободу. О чем жалеть?

Но что-то похожее на тоску шевелилось в их сердце.

Тут их родина!

И что бы ни сулила, что бы дала чужая сторона, все нет-нет да перелетит тоскливая дума сюда, к этому полю, к этому лесу, к усадьбе, к селу, что вон блестит крестом колокольни; сюда, где мать слышала их первый крик, где мирно отдыхают в сырой земле усталые кости отцов, дедов и прадедов...

Все сняли шапки и перекрестились.

Андрей Алексеевич круто повернул коня, чтобы скрыть от спутников навернувшуюся слезу, и, крикнув: «Гайда!», вскачь понесся к лесу.

Холопы поскакали за ним.

Неширокая тропа вилась змеей и пропадала вдали.

— Я ларец взял,— сказал «пестун», ровняясь со своим молодым господином,— уложил в него твой новенький кафтанчик, кой-какие пожитки... Ну, и деньжонок малую толику.

— Их-то откуда взял?

— А из укладочки твоего вотчима,— промолвил Матвеич равнодушно.

— Вот это худо. Ведь это выходит, что ты украл,— вскричал молодой человек.

— Не для себя взял, а для тебя. А деньги-то больше твои, чем Некомата: от тебя же он их нажил. Да и много ль я взял? Ему вдосталь осталось.

— А все-таки я бы...

— Э, господине! — перебил его Большерук,— старый человек, знаю, как без денег быть на чужой стороне... Не о себе пекусь — что мне! Я уж и жизнь больше, как наполовину, прожил,— о тебе заботушка. Помню я, как матушка твоя в смертный час сказала: «Береги Андрюшу, Матвеич, не дай сироту обидеть». Побожился я ей перед святой иконой. И вот те крест, не было у меня с тех пор иной заботы, окромя как о тебе.

Что-то нежное зазвучало в голосе старика.

— Спасибо, Матвеич,— с чувством промолвил юноша.— Тоже люблю тебя, как родного.

— Спасибствовать за что же? Сердце у меня трепыхалось, как узнал я, что вотчим супротив тебя задумал. И слава Тебе, Господи, что теперь мы ослобонились от него.

— Ослобонились ли?

— Бог поможет. Он, милостивый, все устроит. Уйдем от погони. Да и знаю я здесь один путек скрытный. Одначе, подгоним коней...

Лошадей подхлестнули, и мерный топот понесся по тихому лесу...

Странный сон пригрезился Суровчанину.

Ему снилось, будто он — Некомат — большой паук, а пасынок его, Андрюшка,— крупная оса.

И Андрюшка-оса будто бы — зуу! — летает, жужжит вокруг отчима-паука; и жало выпустила и кольнуть готова:

А он-паук за ней гоняется, челюстями шевелит, протягивает мохнатые ноги — вот-вот схватит.

И как будто — цап! — схватил. А оса вдруг как ужалит... Забился, заметался паук...

Вскрикнул купец и проснулся.

В доме мертвая тишина.

Чуть мерцают лампады.

Сквозь окно брезжит тусклый рассвет.

Уставился Некомат на оконный переплет и перевел дух.

— Фу! Вот сон! — проворчал Суровчанин и сел на постели.— К чему такое приснилось? Надо думать — не к добру.

Прилег было снова.

Не спится.

Встал, накинул старенький охабень и зашагал по опочивальне.

— Даже во сне снится,— думал он.— И тут покоя не дает. И во сне и наяву... Да, отделаться, отделаться от него поскорей. Сбыть с рук. Тогда я сам себе голова. Мне с ним не житье, прямо не житье... Можно сказать, век мой заедает. Что я при нем? Ничего. Долго ль ждать, как все от меня отнимет? Ступай, дескать, на все четыре стороны. У него уж ус пробивается...

Он шагал крупно и быстро, и его широкая фигура колыхалась в такт шага.

По тихому дому гулко раздались чьи-то торопливые шаги.

Потом голос Пахомыча за дверью спросил:

— Не спишь, господине?

— Нет. Что тебе?

Ключник, кое-как одетый, бледный, предстал на пороге опочивальни.

— Беда стряслась,— промолвил он,— Матвеич и Андрон убегли. И трех коней угнали.

Как ни был Суровчанин изумлен этим известием, однако не мог не заметить некоторой странности: бежали двое, а коней увели трех... Почему именно трех? Если б хотели ехать одвуконь, так взяли бы четырех — у каждого был бы один конь под верх, другой в запасе.

— Дивно, что трех,— прошептал он.

Потом стал соображать под плаксивый голос ключника.

— Андрон — племяш Большерука. Дядя пошел наутек, ну и его прихватил, чтобы я на Андроне злобы не срывал... Это все так... А вот с чего Матвеич на старости лет в бега ударился? Жил-жил и вдруг на! Да и как он смог своего любимца Андрюшку оставить? Что-то тут не так... Не Андрюшкины ль тут штуки?.. Да какие ж могут быть? Может, без моего спросу послал их куда? А не спросил нарочно, чтобы власть свою показать... Лучше всего будет самого Андрюшку и порасспросить. Ему, верно, поболе нашего ведомо. Может, ему Матвеич что-нибудь за тайность и раньше сказал. Недаром вчера Андрей кислым таким ходил...

Придя к такому заключению, Некомат сказал Пахомычу:

— Пойдем к Андрею... Не знает ли он чего.

Он пошел к горнице пасынка. Ключник, вздыхая, поплелся за ним.

Каково же было изумление Суровчанина, когда он нашел комнату пустою! При отблеске рассвета можно было видеть царивший в ней беспорядок; там и сям были раскиданы вещи; какой-то узелок, вероятно забытый второпях, лежал на лавке.

— Вот для кого третья-то лошадь понадобилась,— вскричал он.— Убег... Знать, проведал... Теперь все пропало!

Он схватил себя руками за голову.

— Господи помилуй! — воскликнул испуганно Пахомыч.

— Что ж делать теперь? — растерянно прошептал Некомат.

Лицо его исказилось злобой.

— Ускользнул... Ушел... Так нешто мне теперь погибать? Так нет же, нет! Поймаю, и тогда...

Он погрозил кулаком.

Потом крикнул ключнику:

— Подними всех холопов... Седлать коней! Поскачем в погоню.

Вскоре весь дом пришел в движение.

Некомат сам осмотрел следы. Они поставили его втупик.

— Путь не к Москве... Али они кружным путем?

Холопы на конях были разосланы во все стороны.

Сам Суровчанин во главе конной ватаги поскакал по следам.

Он был вооружен, как для битвы; глаза его метали искры, брови нахмурены.

Не добром веяло от его лица; если погоня удастся, Андрею Алексеевичу предстояло мало хорошего.

Следы то тянулись «гусем», то, когда тропка становилась шире, выравнивались в линию; то они были ясно видны на сырой почве, то о них приходилось только догадываться, когда путь шел мелкой травой или пушистым мхом.

— Догоним! — ворчал Некомат, кусая усы, и погонял коня не жалея.

Рабы неотступно следовали за ним.

По их сумрачным лицам трудно было угадать, как они относятся к побегу двух своих товарищей и Андрея Алексеевича.

Но иногда в глазах некоторых, когда они взглядывали на гневного господина, мелькало словно злорадство.

Скачка по лесной тропе продолжалась несколько часов.

Вдруг следы круто свернули в сторону, в чащу, и разбежались между деревьями.

Выслеживать стало значительно труднее.

Суровчанин напряг все свое внимание, чтобы не потерять их.

Ехать приходилось медленно.

— Этак мы до вечера проплутаем,— сердито ворчал Некомат.

Слышно было, как вдали журчит ручеек.

К нему-то и привели следы и разом оборвались. Они в буквальном смысле канули в воду.

— По нем ехали, благо не глубок,— сказал купец.

Он слез с коня и внимательно стал рассматривать песчаное дно. Ручей был очень неглубок и вода прозрачна, но течение быстрое. Дно казалось совершенно ровным; никаких следов не виднелось.

Суровчанин был близок к отчаянию.

Но все же он еще не хотел «слагать оружия».

— Ручей не велик... В ту сторону им не рука была ехать... Где-нибудь должны же были на берег выехать...— соображал он.

Хлестнул коня и поскакал по берегу вниз по течению ручья.

Холопы безмолвно последовали за ним.

Вскоре ручей стал шире, а дно его, по-видимому, более илистым.

Далее появилась обильная осока, а затем глазам представилось обширное болото с там и сям разбросавшимися кочками.

Некомат хотел было ехать далее, но одни из рабов удержал его коня за узду, промолвив:

— Дальше нельзя... Трясина засосет...

Купец смотрит на болото с искаженным от отчаяния и злобы лицом.

— Ускользнули!..— проносилось в его голове.— Но как? Не на крыльях же они перелетели трясину.

Конечно, они не перелетели на крыльях: и для многих из сопровождавших Суровчанина холопей не было тайной: что через болото тянется, чуть поправей от устья ручья, полоска твердой земли. По ней беглецы и выбрались.

Ни один из рабов, однако, по какой-то причине, не захотел поделиться с господином своим знанием.

На некоторых лицах мелькали насмешливые полуулыбки.

Опустив на грудь голову, недвижный, как статуя, сидел на коне Некомат.

В груди его клокотало бессильное бешенство и отчаяние. Он понимал, что дальнейшее преследование невозможно, что беглецы ускользнули.

Медленно повернул он коня и глухо промолвил:

— Домой!..

К его приезду большинство из посланных на разведки холопей уже вернулись. Он видел по их лицам, что поиски не увенчались успехом, и не стал расспрашивать.

Пахомыч встретил его с грустным лицом и, увидев, что беглецов не поймали, всплеснул руками и заахал.

Некомат прошел в дом и стал раздумывать, что предпринять.

Положение его было не из веселых.

— Ежели ему все известно,— думал купец,— так, может, он прямо поехал к великому князю ударить на меня челом... Тогда дело плохо. Тимошка выдаст беспременно... Пожалуй, и моей голове не уцелеть. А ежели он не в Москву уехал, так куда ж? Может быть, думает где-нибудь побыть до поры до времени, а там и нагрянуть... Коли и так, то сладко ль мне здесь сидеть да дожидаться его. Небось, не помилует?.. По всему видать, что мне здесь оставаться не рука, а тоже надо наутек. Эх, вот горе! Да и бежать-то куда не знаю... Хорошо, что хоть деньжонки есть...

Он достал из одной из укладочек, стоявших в простенках, дубовый ларец, окованный железом, и раскрыл его.

Взглянул и ахнул:

— Ахти, добрая половина отсыпана! Добрался Андрюшка до моих денег.

Рядом со злобой шевельнулось в душе жгучее чувство жадности.

— Обокрал! А я-то копил — хранил...

«Казны» еще оставалось много, но это мало утешало купца.

— Лучше бы всего, чем мне отсюда бежать,— продолжал он размышлять,— узнать бы, где он укрылся, да как-нибудь и того... Это было б ладно... Тогда бы и денег не жаль. Да где его найдешь? Как узнаешь? И выходит, либо сиди у моря да жди погоды, либо беги... К знахарю, что ль, съездить? Колдовство поможет, пожалуй... Пусть знахарь мне только скажет, где Андрей и что замыслил он... А там я уж зевать не стану... Да это было бы ладно!..

Суровчанин был сыном своего века и, как все в ту эпоху, суеверен. Он твердо верил во всяких ведьм и колдунов, в русалок, леших, домовых и водяных. Он не сомневался, что чарами можно «напустить порчу на человека», проникнуть в будущее, привлечь любовь и т. д.

Не удивительно поэтому: что он ухватился за мысль о колдовской помощи.

В его глазах это было единственным средством, могущим привести к цели.

А колдуна не надо было долго искать.

У запруды на Яузе жил всем ведомый колдун, мельник Хапило.

Про него ходили разные россказни. Поговаривали даже, что из трубы его избенки однажды вылетел бес, в виде черного ворона. Ночью мимо мельницы ходить побаивались.

К этому-то чародею и надумал обратиться Некомат.

Однако действовать надо было осторожно.

Узнают, что он был у Хапилы, пойдут толки. На него даже начнут смотреть косо и чураться.

— С колдуном возится... Может, и сам с нечистым знается!

Такая молва не могла быть приятна для купца. К тому же колдуном прослыть было и небезопасно: при народных бедствиях, вроде повального падежа скота, засухи и т. п., зачастую обвиняют колдунов, что это они «напускают», и тогда с ними жестоко расправляются.

Все это было хорошо известно Суровчанину, и он решил пробраться к мельнику ночью, в глубокой тайне.

Приняв решение побывать у Хапилы, он даже как будто повеселел. В сердце зародилась маленькая надежда.

Когда стемнело и все в доме заснули, он осторожно вывел коня, сам оседлал и, разобрав часть плетня в огороде, выбрался из усадьбы.

V

ЧАРОДЕЙ ХАПИЛО

К северу от Москвы из болот, за нынешней деревней Большие Мытищи, среди дремучего леса, вытекает на юг река Яуза * и впадает в Москву-реку «ниже города».

Нынешняя Яуза едва ли имеет какое-нибудь сходство с прежней. Она славилась чистотою воды, так как принимала в себя много лесных родников.

Берега ее были пустынны. Только шум лесов вторил звучному плеску ее волн.

В Яузу впадает речка Сосенка.

На этой-то речке, над запрудой, и высилась мельница Хапилы **.

Было около полуночи, когда к воротам двора колдуна подъехал всадник.

Он легко спрыгнул с седла, привязал коня к кольцу у ворот и постучал.

Проглянувший месяц озарил бледное, красивое, молодое, безусое лицо.

На стук за забором неистово залаял огромный пес.

Другого отклика не было.

Приезжего брало нетерпение. Он снова постучал так, что ворота затрещали.

На этот раз стук был услышан.

— Кто тут в полночь ломится? — послышался ворчливый старческий голос.— Угомону на вас нет.

---

* Впервые река Яуза упоминается в тверской летописи под годом 1156: «Князь великий Юрий Всеволодович заложи град Моску на устьи Неглинны, выше реки Аузы».

** Вследствие запруды, образовался пруд, который был назван Хапиловским. Позднее к северу от мельницы появилась деревушка Хапиловка. Еще позже к северу от пруда построилось село Преображенское, с которым слилась и деревушка Хапиловка.

— Пусти, знахарь, дело к тебе есть! — ответил путник, который был не кто иной, как Иван Вельяминов.

— Какое такое дело по ночам? Поезжай своим путем-дорогой, а я спать пойду.

— Отвори, старче, отвори! Совет от тебя, помочь нужна... А заплачу хорошо. Ничего не пожалею...

Колдун точно некоторое время был в нерешимости, потом послышались шаги босых ног, и ворота отворились.

Пес залился и клубком бросился под ноги входившего.

— Убери пса! — не без некоторого испуга сказал Вельяминов.

— Небось, не съест, коли добрый человек! — ответил колдун.

Однако крикнул собаке:

— Не трожь!

Лай стих, и собака стала смирней ягненка.

Знахарь провел гостя к себе в жилье и, когда тот переступал порог, предупредил:

— Лоб не расшиби! Притолка низкая!

Потом выгреб углей из печи и зажег от них лучину.

Трепетное пламя осветило закоптелую, низенькую избу, наполовину занятую огромною печью из сырцового кирпича.

Повсюду были развешены по стенам и свешивались с потолка пучки высушенных трав.

Воздух, напитанный их пряным запахом, был удушлив.

На лежанке печи сидел большой кот, совершенно черный, «без отметин» — настоящий колдовской — и, мурлыча, пристально смотрел на Ивана своими желтыми глазами.

Сам ведун был маленький, тощий старик с крючковатым носом, жидкой бородкой, лысиной на темени и странно блестящими глазами.

— Садись — гость будешь! — сказал ведун, снимая с лавки пучок каких-то свежих трав и очищая место для Вельяминова.

Тот сел.

Знахарь внимательно посмотрел на него и промолвил:

— Сынок тысяцкого?

— Да, «сынок тысяцкого», а не сам тысяцкий, как мне пристало быть! — с невольным раздражением ответил молодой человек.

— Знаю, знаю... По княжей воле... А от меня-то чего ты хочешь?

— Чего хочу? — протянул Иван и спросил: — правда ль, старче, что ты с нечистым знаешься?

В глазах ведуна блеснул хитрый огонек.

— Может быть,— процедил он.— Для чего тебе сие знать? Много будешь знать — скоро состаришься.

— Видишь серебро?

Иван подкинул на руке несколько грубо обделанных кусков серебра.

— Все будет твоим, ежели ты...

Тут юноша пододвинулся ближе к знахарю и закончил дрожащим шепотом:

— Ежели ты мне поможешь душу нечистому продать.

Хапило вперил в Вельяминова пристальный взгляд, помолчал и вдруг залился неприятным, резким смехом.

— Чего ее, душу то-ись, тебе продавать — хи-хи! — ежели она уж продана?

— Как?! Нет,— с некоторым испугом проговорил Иван.

— Я тебе говорю продана... Нечистый-то эва с левого плечика стоит, сторожит ее...

В этот момент кот, наежась, быстро прыгнул прямо на левое плечо юноши.

Вельяминов вскочил, бледный, с искаженным от ужаса лицом, и делал усилия стряхнуть с плеча кота, но тот цепко держался, проникая когтями сквозь одежду до тела.

— Ты его оставь,— спокойно заметил знахарь,— он не слезет, он у меня умный... Будешь трогать — поцарапает... Старик я слабый, живу один, только двое у меня и защитников, что пес да кот. Подвернется лихой человек,— пес его за горло, а нет, так кот ему в глазеньки вцепится... Умные они у меня. Сиди, Васька, смирно.

Кот точно этого и ждал: он сел на плече Ивана Васильевича так же спокойно, как раньше сидел на лежанке.

— Он тебя не тронет теперь, молодчик, ты его не трожь. Так нечистому душу? Хе-хе!

— Чего ж смеешься? — с сердцем промолвил Вельяминов.

— Да на тебя мне смешно. Проданную душу продавать хочет!

Потом лицо его сделалось серьезным.

— Погляжу я на тебя — молоденек, силы да здоровья не занимать стать, жил бы себе помаленьку, трудился б во славу Божию и счастье получил бы... А тебе надо все сразу — тяпляп да и корап. Ни смиренья нет, ни терпенья... Этакое надумал! Душу продать нечистому. Да уж ты продал ее, продал, как только тебе это на мысль впало. Тебя лукавый враг рода человеческого уж уловил.

И думается мне, что ты не вырвешься из его когтей. Дивишься, что от знахаря-ведуна такие речи слышишь? Да, молодчик, вот я и знахарь и ведун; иного полечу, иному — грешным делом — и погадаю, да души-то я нечистому не продавал и помыслить о сем страшусь... И все знахарство-то мое, может, оттого, что жил долго и побольше других знаю... Да... Ты серебрецо свое спрячь — не помощник я тебе в этаком деле. Да ты и без меня сумеешь, ой сумеешь!

Он рассмеялся прежним неприятным смехом.

Вельяминов сидел с угрюмым, почерневшим лицом.

В ворота сильно застучали.

— Чтой-то сегодня! Опять кого-то Бог несет,— проворчал знахарь и вышел из избы.

Иван попробовал было встать, чтобы как-нибудь укрыться от взоров нового посетителя, но кот напомнил о себе таким грозным ворчаньем и так расправил когти перед его глазами, что он счел за лучшее более благоразумным остаться в прежнем положении до возвращения Хапилы.

Со двора доносились окрики знахаря и переговоры, подобные тем, какие пришлось вести раньше Вельяминову.

Пес неистово заливался.

Потом он разом затих: очевидно, колдуну пришлось впустить посетителя.

Послышался скрип ворот.

— Ну, идут сюда,— подумал юноша с таким чувством, что был готов провалиться сквозь землю, только бы укрыться от непрошеного свидетеля его посещения избенки колдуна.

Дверь отворилась, и в избу следом за знахарем вошел Некомат Суровчанин.

Войдя, он остановился как вкопанный.

Он был очень неприятно поражен, застав у Хапилы другого посетителя.

Однако быстро овладел собою и, слегка поклонясь Вельяминову, промолвил, обращаясь к ведуну:

— Кое зачем ты мне, старче, надобен.

Иван и Некомат не были близко знакомы, но в лицо знали друг друга.

— А надобен, так говори,— сказал колдун.

— Вот что,— заговорил купец, отведя знахаря в дальний угол и понизив голос до шепота,— мой пасынок с двумя рабами убежал... Не ведаю, куда скрылся. Не узнаю, где он, али что замыслил супротив меня, так беда... Выручи, погадай... Заплачу как следует...

Как ни тихо говорил Суровчанин, Иван расслышал. Любопытство его было затронуто.

Хапило, не говоря ни слова, взял большую медную кружку с блестящим дном, наполнил ее до половины водой и поставил на столе.

— Пасынка твоего ведь Андреем Кореевым звать? — спросил знахарь.

— Да.

— Племяш Епифана, что к рязанскому князю отъехал...— пробормотал Хапило, словно соображая.

Взяв щепоть какого-то порошка, бросил его в кружку, отчего вода потемнела, но дно ярко просвечивало.

— Подь сюда да смотри сквозь воду на донышко... Там ты, может, увидишь своего пасынка... Глаз не отрывай и мигай поменьше...

Суровчанин склонился над кружкой, а знахарь что-то забормотал быстрой скороговоркой, плавно проводя в то же время руками над головой и вдоль щек купца.

Через некоторое время Некомат почувствовал словно сонливость. Дно ярко блестело сквозь воду.

— Видишь пасынка? — спросил знахарь таким голосом, словно приказывал.

На гадающего словно налетела какая-то пелена, потом быстро ниспала, сияющее дно исчезло. Вместо него он увидел поляну среди леса и трех всадников, из которых один был Андрей, двое других — Большерук и Андрон.

— Вижу,— ответил купец странным, глухим, не своим голосом.

— Смотри дальше!

И одна за другой проходили картины.

То Некомат видел пасынка в дремучем лесу, у багряного костра, среди ночной тьмы, то переплывающим реки, то подъезжающим к городу, окруженному крепкой стеной с башнями, с бойницами...

Вон какой-то муж обнимает его, как родного...

Старец в княжеском наряде... Величественный, как патриарх...

И старый князь смотрит ласково на Андрея и приветливо улыбается...

Потом Андрей опять, но не прежним скромным юношей. На нем алый плащ... Огнем горит из-под плаща панцирь тонкой заморской работы.

И смотрит куда-то юноша... Словно на него, на Некомата...

И вот словно встречаются их взгляды.

Грозно смотрят очи пасынка на отчима и словно говорят:

— Я не забыл... Вернусь... Идет погибель твоя...

Вскрикнул Некомат, опрокинул кружку и обвел мутным взглядом каморку, словно внезапно проснулся.

— Значит, беда... Значит, надо все бросать... Бежать...— пробормотал он, еще словно в каком-то забытьи.

Провел рукой по разгоряченному лбу и окончательно очнулся.

Взглянул на Вельяминова и вспыхнул.

А тот жадным взглядом впивался в его лицо, следя за всеми переменами выражения. Расслышал он и последние слова Некомата и подумал:

«Нашего поля ягода».

Суровчанин встал, кинул несколько грубых монет на стол и сказал:

— Иду... Выпусти меня...

— Я тоже... Поедем вместе. Вдвоем побезопасней,— промолвил Иван и добавил: — знахарь, возьми свою кошку!

Хапило сделал знак, кот спрыгнул на лежанку.

Вельяминов поднялся и прошел вслед за Некоматом.

Молча вышли за ворота, молча вскочили на седла и тронулись в путь. Обоим надо было в сторону Москвы. Каждый был занят своими думами.

Тусклая луна по временам освещала угрюмые лица. Первым прервал молчание Некомат.

— Ты не сказывай о том, что у знахаря меня видел.

— А ты про меня.

— Вестимо ж.

Помолчали.

— Э-эх! Пропади пропадом буйна головушка,— сказал Вельяминов,— покину родную сторонку... Поеду в чужой край искать счастья...

Эта мысль совпала с думами Некомата.

Он даже вздрогнул.

— С чего так? — спросил он, стараясь принять равнодушный тон.

— От добра добра не ищут. Что мне здесь делать? То ль дело у князя тверского! У него и почет и казны добудешь... Такому князю и служить любо... У тебя тоже беда стряслась?

— Н-да,— процедил Суровчанин.

— Слышал я, как ты у знахаря говорил, что пасынок

убег. Я его знаю — Андрей Лексеичем звать... Да и тебя тоже. Чай, и меня признал?

— Признал: сын тысяцкого.

— Да сын его, а не сам тысяцкий, как должно бы быть... Изобидел меня Димитрий Иоанныч... Прямо скажу — отъеду от него в Тверь.

На минуту он замолк, потом спросил решительно:

— Ты ведь тоже бежать задумал?

— Я? Да... Нет...— замялся застигнутый врасплох купец.

— Ты не виляй. Чего таиться? Не выдам. Сам слышал, как ты говорил, что «беда» и что «бежать надо». Хочешь — едем вместе. Говорю — у тверского князя нам будет не жизнь, а масленица. Он московских ласкает. Сразу первыми людьми станем.

— Об этом, брат, надобно подумать. Тебя в Москве дома ждут?

— Кому ждать? Бобыль.

— Так езжай ночевать ко мне. Ну, и потолкуем.

— Что ж, можно.

Результатом этой ночевки и «толкования» было то, что через несколько дней Некомат спешно продал свои московские лавки, а Вельяминов свой дом.

А еще некоторое время спустя оба они бесследно исчезли из Москвы, прихватив с собою нескольких людишек.

Усадьба и поместье Кореева были брошены на произвол судьбы.

Конечно, этим с большой пользой для себя воспользовались «добрые» соседи.

Не положил охулки на руку и Пахомыч, которого Некомат почему-то не счел удобным взять с собою.

VI

ПОП МИТЯЙ

После погребения последнего тысяцкого отец Михаил — он же Митяй — вернулся в село Коломенское.

Какою убогою показалась ему маленькая деревянная церковь, в которой он служил, после величественных храмов Чудова монастыря!

Каким тесным и жалким представлялось ему Коломенское после Москвы,— уже и тогда довольно обширной,— с ее палатами бояр, с ее церквами, блещущими золотыми маковками!

— Разве здесь мне место? — думал он однажды, стоя у окна в одной из горниц своего маленького дома и смотря на десятки в беспорядке разбросанных лачужек, с потемневшими соломенными крышами.— Другие в Москве священствуют, а меня вон куда кинуло. А нешто они ровня мне? Будь я в Москве, на глазах у великого князя, чего б я не добился... Протопопом-то, наверно, давно бы был... Эх-эх!..

И сердце его усиленно билось от себялюбивых помыслов и от зависти к другим, более его счастливым.

— Великий князь сказал, что не забудет меня, что охочь почаще слышать... Дал бы Бог. А только теперь уже которая седмица идет с той поры, а нового мало...

В это время он заметил молодого человека, в подряснике, подъезжавшего к его дому в маленьком волоке * и оглядывавшегося по сторонам, как будто он что-то искал глазами.

Митяй вгляделся и узнал в проезжавшем одного из митрополичьих келейников.

Затем он услышал, как келейник спросил какого-то прохожего:

— Где тут поп Михайло живет?

— А вот издеся,— донесся ответ.

— Ко мне от владыки! — мелькнуло в голове Митяя, и он поспешил в сени навстречу приезжему.

Вскоре келейник вошел в дом.

При виде Митяя он сказал:

— Ты отец Михайло будешь? Собирайся сейчас и едем: владыка тебя требует.

— Зачем? — не без робости спросил поп.

— А уж это мне неведомо.

Через несколько минут Митяй уже мчался в волоке с келейником к митрополичьим палатам.

Когда он приехал, его тотчас же ввели к владыке.

Святой Алексей был не один: с ним находился Димитрий Иоаннович и несколько княжеских приближенных.

Почтительно поклонившись великому князю и приняв благословение от митрополита, Митяй остановился в нескольких шагах от них, склонив голову.

---

* Волок — тележка на двух колесах.

Он чувствовал на себе пытливые взгляды нескольких десятков глаз и слегка смущался.

— Подойди поближе, отец Михаил,— ласково промолвил великий князь.

И когда тот приблизился, продолжал:

— Не забыл я, как сладостно говоришь ты... Хочу почаще слушать...

— По воле княжеской,— промолвил митрополит,— перевожу я тебя из села Коломенского в князеву церковь... И будешь ты духовником великокняжеским.

— Рад? — спросил, улыбаясь, Димитрий Иоаннович.

— Рад ли, рад ли? — проговорил дрожащим голосом Митяй.

И не мог продолжать — дух захватило.

Он только земно поклонился владыке и великому князю.

Святой Алексий зорко взглянул на нового княжеского духовника, и по лицу владыки словно пробежала тень.

Быть может, его чистое сердце подсказало, что только мирскими помыслами полна душа Митяя.

Великий князь вскоре его отпустил, приказав «собирать свой скарб не мешкая, чтобы дня через два и перебраться».

Возвращаясь домой, Митяй, что называется, не чувствовал под собой ног от радости.

«Наконец-то!» — думал он.

Он понимал, что в его жизни наступает перелом, что он находится на пути к богатству и почестям.

Приближаясь к своему домику, он самодовольно подумал: «Скоро мы в палатах заживем!».

Снимая дома свою рясу из грубой, дешевой ткани, он презрительно посмотрел на свою скромную одежду и думал: «Чай, таких-то не станем носить. Нет, нам шелки теперь надобны».

Дьякон, уже слышавший, что за отцом Михаилом приезжали от владыки, подивился перемене, которая произошла в Митяе в продолжении немногих часов: глаза сияли, голова была гордо закинута. Он смотрел спесиво и ходил «гоголем».

— Уезжаю, дьякон, из вашего болота,— сказал он,— пора. И то зажился. Здесь ли мне место? Ну, да теперь все пойдет по-новому. Слыхал? — духовником я сделан великокняжеским.

Дьякон сделал удивленное лицо.

— Да,— продолжал Митяй,— в княжих палатах буду жить... Есть-пить с княжего стола... Сильным я, дьякон, стану человеком.

— Нас, сирых, отец Михаил, своей милостью не оставь,— униженно кланяясь, сказал собеседник.

На это Митяй покровительственно заметил:

— Не оставлю.

Уйдя от отца Михаила, дьякон поспешил разнести весть по всему Коломенскому о счастье, выпавшем на долю Митяя.

В этот и в следующий день часто скрипели, отворяясь, ворота двора Митяева, впуская разнообразных гостей, приходивших поздравить «с князевой и владычной милостью».

Перед Митяем заискивали, унижались.

Прежние враги его теперь пришли на поклон.

Митяй держал себя с посетителями свысока, слова ронял с таким видом, как будто делает великую честь слушающим.

Его сердце было переполнено радостным чувством удовлетворенного тщеславия.

Мечты его все возрастали.

Уж ему теперь казалось мало быть только великокняжеским духовником. Он мечтал о большем.

Он надеялся приобрести влияние на Димитрия Иоанновича, стать его «правой рукой».

Впоследствии оказалось, что мечты не были не осуществимы.

Счастье благоприятствовало Митяю.

Духовник, умный, начитанный, речистый, с каждым днем все больше нравился великому князю. Димитрий Иоаннович заслушивался его проповедями, любил подолгу вести с ним душеспасительные беседы.

Часто Митяй — намеренно или нет — во время бесед брал примеры из ближайших внешних или внутренних государственных событий, высказывая вскользь свое мнение о них.

И великий князь каждый раз убеждался, что мнение Митяево здраво и разумно.

Раза два случайно Димитрий Иоаннович заговорил с ним о государственных делах, и Митяй дал хороший совет.

Великий князь оценил это и мало-помалу стал советоваться со своим духовником о делах, ничего общего с церковью и религией не имеющих.

Митяй, действительно, становился «правой рукой» князя.

Вскоре это стало ясным для всех, когда великий князь назначил его «печатником», т. е. хранителем своей печати.

Это звание было очень почетным и высоким.

Тут-то Митяй и дал себе волю. Он зажил сам с княжескою роскошью. Он, прежде носивший рясы из крашенины, теперь не довольствовался и алтабасной; он, не имевший

прежде во всем своем домишке двух хороших оловянных тарелок, теперь и «ел и пил на серебре».

Его,— недавно скромного сельского пастыря, одиноко проживавшего в маленьком домике под соломенной крышей,— теперь окружала целая толпа слуг, богато одетых и послушных малейшему его знаку. На его конюшне стояли десятки великолепных аргамаков; его сани были обделаны серебром, а заморскому ковру, покрывавшему их, как говорили, «нет цены».

Пышно, слишком пышно жил отец Михаил.

Недаром же святой Алексий, когда до него доходили слухи о роскоши Митяевой жизни, сокрушенно вздыхал и укоризненно покачивал головой. От светлого ума не укрылось, что великокняжеский любимец печется только о благах земных, что душа его далеко от Бога.

Наряду с тем, как возрастало расположение великого князя к своему духовнику, росло и высокомерие Митяево. Для просителей, для всякого ниже его стоящего люда он был недоступнее самого Димитрия Иоанновича.

Даже с боярами и приближенными княжескими он держал себя несколько свысока.

Его не любили, многие даже ненавидели, но, зная его силу у великого князя, большинство заискивало перед ним.

Это, конечно, только подливало масла в огонь.

В конце концов он сам стал считать себя каким-то особенным, высшим существом.

Честолюбию человеческому нет границ.

Он, когда-то мечтавший, как о счастье, выбраться из села Коломенского в Москву, теперь уже не был удовлетворен даже высоким званием царского печатника.

Он метил выше и мечтал уже не более, не менее как о первосвятительской митре.

VII

ВРАГ ДИМИТРИЕВ

Время, в которое пришлось жить и действовать Димитрию Иоанновичу, принадлежит к эпохе собирания земли Русской, раздробленной на множество уделов, терзаемой междоусобиями и слабой вследствие такого разделения.

Московское княжество уже крепло и первенствовало, но все же были соперники, желавшие вырвать первенство из рук московского князя.

Такими соперниками были, например, Олег рязанский и Михаил тверской.

Оба видели усиление Москвы и старались сломить ее могущество.

Князь Михаил Александрович тверской был молод, умен и отважен; он ясно видел, что рано или поздно Москва может поглотить Тверь. Поэтому он всеми силами домогался отнять от Димитрия Иоанновича для себя великокняжеский сан и, таким образом, первенство перенести на Тверское княжество.

Независимо от этих причин князь Михаил был личным недругом Димитрия.

Вражда началась сравнительно с неважного.

Тверская область, подобно многим другим, была раздроблена на мелкие уделы, подчиненные Твери.

По смерти князя тверского Симеона Константиновича возник спор, кому наследовать его область. Притязания предъявили — князь Василий Михайлович кашинский и его племянник Михаил Александрович, княживший в Микулине.

Каждый доказывал свои права.

Чтобы решить спор, они прибегли к суду митрополита.

Владыка поручил рассудить их спор тверскому епископу Василию, который признал правым Михаила.

Однако в Москве это решение вызвало неудовольствие.

Великий князь Димитрий Иоаннович знал, что Михаил смел, властолюбив и имеет сильную поддержку в лице грозного Ольгерда, князя литовского, женатого на сестре Михаила. Поэтому он мог рассчитывать, что новый князь тверской едва ли будет мирно сидеть в своем княжестве и спокойно смотреть на усиление Москвы.

Желательнее было видеть тверским князем Василия кашинского.

Разумеется, обвиненный дядя не оставался доволен решением третейского судьи и приехал в Москву с жалобой на неправильное решение епископа.

Димитрий Ионнович принял сторону Василия.

Сведав об этом, князь Михаил Александрович покинул уделы и уехал в Литву.

В его отсутствие Василий с князем Иеремией Констан-

тиновичем, снабженные войском от Димитрия, опустошили Михаилову область.

Но Михаил тоже не сидел сложа руки.

Ольгерд снабдил его людьми, и он неожиданно нагрянул с литовскою ратью.

Он быстро взял Тверь и пошел к Кашину, где заперся Василий, но епископ Василий сумел примирить князей.

Михаил Александрович получил старшинство над дядей и стал именовать себя *Великим князем тверским.* Однако на этом дело не кончилось.

На тверского князя приехал с жалобой в Москву Иеремия Константинович, прося Димитрия Иоанновича распределить уделы тверского княжества.

Великий князь московский этим поспешил воспользоваться.

Он сумел заманить в Москву самого Михаила и тут предписал ему отдать Городок князю Иеремии, но большего не смог добиться от упорного князя тверского.

Михаил уехал из Москвы озлобленный.

С этих пор вражда Димитрия и Михаила принимала все более и более острую форму.

Князь Василий кашинский умер; Димитрий Иоаннович, как бы для защиты от притеснений сына умершего князя, послал войско на Тверь.

Михаил Александрович снова ушел в Литву, к своему грозному родственнику, и на этот раз его уход печально отразился на Москве.

Ольгерд, князь литовский, неоднократный победитель немцев, поляков и русских, хорошо видел старания Димитрия Иоанновича укрепить Русь посредством единодержавия; он видел, что власть великого князя московского, действительно, возрастает и что вообще Русь начинает крепнуть и дала себя почувствовать Литве, вырвав Ржев из рук литовцев.

Разумеется, ему хотелось ослабить соседа, становившегося опасным.

Вероятно, именно это желание, а не уговоры шурина заставило его взяться за оружие.

Ольгерд с многочисленным войском, братом Кейстутием и племянником Витовтом, а также с князем смоленским, пошел к границам Руси.

Цель похода он тщательно скрывал даже от своих приближенных. В Москве о его походе узнали только тогда, когда литовская рать вторглась в русские пределы.

Изумленный неожиданным вторжением Димитрий Иоаннович поспешно разослал гонцов по всем областям с требованием войска, а навстречу неприятелю мог выслать только одни московские, коломенские и дмитровские полки под начальством боярина Димитрия Минина.

Князь литовский свирепствовал на Руси, как новый Батый.

Путь его был устлан трупами и пеплом сожженных деревень и городов.

Не было пощады ничему и никому.

Близ Тростенского озера встретился он с Мининым и обрушился на малочисленную московскую рать всем своим войском.

Полки московские были истреблены совершенно.

Потом он двинулся к Москве, к которой еще не успело собраться русское войско.

Великий князь Димитрий Иоаннович затворился в Кремле, так как средств для отражения врага не было.

Три дня Ольгерд неистовствовал под кремлевскими стенами, грабя церкви и монастыри, но на приступ Кремля, тогда уже защищенного каменными твердынями, не решился.

Он ушел от Москвы, а вскоре и из пределов России, но русские долго еще помнили ужасы литовского нашествия.

Спорить теперь великому князю московскому с тверским было не время.

Он помирился с ним, выжидая, пока соберется с силами.

Михаил сел на княжение, добытое русскою кровью, но ненадолго.

В 1371 году Димитрий Иоаннович объявил ему войну, взял Зубцов и Микулин и увел множество пленников.

Тверское княжество было ослаблено.

Михаил Александрович опять было убежал в Литву, а потом в Орду, чтобы свергнуть Димитрия посредством татар.

В Орде в то время господствовал Мамай: он сумел соединить в одну две разделенных орды — Золотую и свою Волжскую; номинальным ханом над обеими объявил Мамант-Салтана, а фактически правил сам.

Подобно Ольгерду, Мамай косо смотрел на усиление Москвы; поэтому Михаил, как враг Димитриев, нашел у него ласковый прием и получил ярлык на звание Великого князя; ханский посол должен был ехать с Михаилом во Владимир и там провозгласить его.

Но Димитрий успел предупредить своего соперника: во

Владимир Михаилу пробраться не удалось — он всюду натыкался на московские отряды, которые по пятам преследовали его.

Кончилось тем, что ему едва удалось убежать в Вильну.

Жена Ольгерда, тронутая несчастиями брата, просила мужа оказать помощь ему.

Воинственный князь литовский в то время «скучал миром».

Он внял просьбам жены, и Литва снова двинулась на Русь.

Однако результат этого зимнего похода был не тот, что прежде.

Правда, литовцы добрались до Москвы беспрепятственно и опять расположились под кремлевскими стенами, но вскоре они увидели себя окруженными русскими войсками, готовыми ударить на них по первому знаку.

Ольгерд тогда попросил *вечного* мира, но Димитрий Иоаннович согласился только *на перемирие* — с декабря до июля месяца.

Князь литовский ушел домой, а Михаил Александрович, покинутый им на произвол судьбы, опять кинулся к Мамаю и опять получил от него ярлык на великое княжение владимирское *.

Он явился на Русь с послом ханским Сарыхожей, но не был признан ни владимирцами, ни другими подданными московского князя.

— У нас есть великий князь... Иного не ведаем,— получал всюду он ответ.

Сарыхожа звал Димитрия во Владимир слушать ханский ярлык.

Московский князь отказался:

— К ярлыку не еду. Михаила в Москву не впущу, а тебе, послу, в нее путь свободный.

После этого Сарыхожа счел возможным только оставить ярлык у князя Михаила, а сам отправился в Москву. Здесь его приняли с честью, щедро одарили, и сочувствие татарского вельможи склонилось на сторону Димитрия.

Михаил, сознав свое бессилие, уехал в свой удел, засел в Твери и, злобясь на великого князя московского, разорил часть его владений, лежавших по соседству.

---

* Великокняжеским городом считалась в то время еще не Москва, а Владимир.

Дважды ослушавшись грозного Мамая, Димитрий Иоаннович сознавал, что этим навлек на себя ханский гнев. Не было сомнения, что хан вторгнется на Русь и все предаст огню и мечу.

Бороться с ним Русь еще не была в состоянии.

Заботясь о судьбе своих подданных более, чем о своей личной, Димитрий Иоаннович решился на отважное дело: чтобы умилостивить раздраженного хана, он решился сам съездить к нему в Орду.

Народ, помня участь Михаила Ярославича тверского, замученного татарами, плакал, провожая великого князя.

Но Димитрий был непоколебим. Святой Алексий сопровождал его до берегов Оки, здесь благословил великого князя и его спутников и расстался с ним, поручив его милосердию Божию.

Бог помог Димитрию.

В Орде он был принят Мамаем с почетом. Хан не только утвердил его в великом княжении, но согласился уменьшить дань. Очевидно, татары уже чувствовали силу князей московских и тем дороже ценили покорность Димитрия.

Таким образом, Михаил должен был оставить надежду стать великим князем.

Разумеется, это только еще более его озлобило.

Он делал набеги в московские пределы, великокняжеские воеводы вторгались в тверскую область.

Забавляясь этими незначительными военными действиями, князь тверской лелеял еще мысль сломить могущество Москвы.

Он снова прибег к помощи Литвы. Разорив с помощью литовцев несколько городов, он, однако, опять не достиг цели: встреченные в поле московским войском литовцы заключили мир и ушли к себе.

Михаил по-прежнему остался князем тверским.

Около двух лет прошло в мире между Тверью и Москвою.

Но тишина эта была перед бурей.

Михаил выжидал только удобного случая, чтобы обрушиться на великого князя.

Наше повествование относится именно к тому времени, когда буря готовилась разразиться.

Князь тверской зорко наблюдал за соперником и подумывал, не пора ли начинать борьбу.

Тут-то к нему и подоспели Некомат и Вельяминов.

VIII

ИЗМЕННИКИ

В сырой осенний день стражники — тверичи заметили группу всадников, приближающихся к Твери со стороны московской границы.

Зоркий глаз часовых разглядел, что двое ехавших впереди были одеты богаче, чем их спутники, а потому заключили, что — первые господа, а вторые — их холопы.

Рассмотрели они также, что все путники хорошо вооружены, а так как направлялись они прямо к городским воротам, то стражники сочли благоразумным преградить им доступ в город и ранее опросить и разведать, что они за люди и что им в Твери надобно.

Так и было сделано.

Несколько копейщиков стали в ворота и, когда всадники приблизились, очень недвусмысленно направили на них копья.

— Стой!

Путники остановились, но никто из них не думал вынимать оружия.

— Кто такие будете и зачем вам в Тверь? — начал допрос один из стражников.

— Не тебе нас о сем спрашивать,— надменно промолвил передовой всадник, красивый юноша с гордым выражением лица,— о том мы князю скажем.

— Как же так...— замялся копейщик, смутившийся от надменного тона говорившего.— Пока до князя...

Но юноша еще надменнее приказал:

— Веди нас к князю.

И, тронув коня, сделал знак своим следовать за ним.

Стражники растерянно переглянулись и расступились, а один из них пошел впереди в качестве путеводителя.

Путники с любопытством осматривали город. На их лицах было написано разочарование: по-видимому, они находили, что далеко Твери до Москвы!

Вскоре они подъехали к брусяным палатам, на подклетях, с резным теремом и несколькими вышками-башенками, смотрельнями тож.

Палаты были окружены обширным двором.

— Вот княжьи хоромы. А коли вам к князю, так надобно кого-нибудь из бояр позвать,— проговорил страж.

— Поди и позови,— сказал юноша.

Он говорил тоном власть имущего, и воин беспрекословно повиновался.

Юноша между тем спокойно спрыгнул с седла.

То же сделали и все остальные.

— Твери-то до Москвы далеконько,— промолвил спутник молодого человека, широкоплечий, бородатый мужчина с угрюмым лицом.

— Есть грех. Ну, да вот, когда Москву осилим, так и Тверь приукрасим. Почище московских соборы построим.

Стражник в скором времени вернулся с каким-то княжеским придворным, который, по-видимому, был очень недоволен, что его потревожили, и потому очень неприветливо спросил приезжих:

— Что надоть?

— Нужно нам пред очи князевы... Прибыли мы с Москвы челом бить князю, чтоб принял он нас под свою руку... От великого князя Дмитрия Иваныча мы отъехали... Я сын помершего московского тысяцкого Иван Вельяминов, а этот вот — богатый гость московский Некомат Суровчанин. Сделай милость, доведи до князя о нашем приезде и просьбишке.

Узнав, кто такие приезжие и цель их прибытия, придворный смягчил тон.

— Ладно, я скажу князю. Принять не принять — его воля. А вы подите во двор, у крылечка подождите... Может, князю сегодня-то и недосуг.

Вместе с ним Вельяминов и Суровчанин прошли к крыльцу, где остановились, а придворный скрылся в сенях.

Прошло немного времени, как он вернулся и сделал знак следовать за собой, сказав вполголоса:

— Охоч вас видеть.

Можно было бы подивиться такой поспешности приема, если бы прибывшие не были людьми московского князя.

Но в данном случае являлись несколько причин, заставлявших князя без колебания и даже торопливо принять приезжих.

Во-первых, их приезд льстил его самолюбию:

— От великого князя ко мне отъезжают, стало быть, чуют, что и я князь сильный.

Во-вторых, перебежчики — или по крайней мере один из них — были в Москве не малыми людьми: сын тысяцкого что-нибудь да значил.

В-третьих, не принять их значило, быть может, не узнать

каких-нибудь важных новостей о своем исконном враге — новостей, которые, разумеется, могли бы послужить ко вреду московского князя и на пользу ему, Михаилу.

Когда Вельяминов и Некомат шли по княжеским палатам, сердца их бились учащенно.

Иван был бледен и нервно кусал губы. Руки его, державшие шапку, слегка дрожали.

Суровчанин шел понурым и бледным, не менее своего спутника. Где-то в глубине сердца шевелился неприятный червячок совести и мучительно сосал.

Оба понимали, что наступает решительный момент задуманного дела и что сейчас они совершат величайшее преступление — измену.

Но... отступать было уж поздно.

Княжой придворный ввел их наконец в обширную светлицу с громадным образом в углу, увешанную дорогими коврами и пестро расписанной подволокой *; лавки были покрыты алым сукном, расшитым по краю золотою каймой.

В глубине комнаты, как раз против двери, стояло на некотором возвышении дубовое кресло с резными ручками. На нем сидел мужчина лет тридцати пяти, с умным лицом и живым, несколько жестким взглядом серых глаз.

Это был князь тверской Михаил Александрович.

Рядом стояли два стражника в алых кафтанах, держа в руках блестящие секиры.

Позади толпились несколько ближних бояр.

Войдя, перебежчики покрестились на образ, потом поклонились князю, коснувшись пальцами пола.

Князь окинул их внимательным взглядом, потом проговорил звучным и мягким голосом:

— От Москвы отъехали?

— Да,— заговорил Вельяминов,— не можно служить у князя московского... Изобидел он меня до смерти. Сын я тысяцкого Иван Вельяминов... Бью тебе, княже, челом, прими под свою высокую руку.

Почти в тех же словах выразил свою просьбу и Некомат, назвав себя.

— Так вам московский князь не люб? — сказал Михаил Александрович с улыбкой,— чаете, что я боле люб буду.

— Вестимо, ты не обидишь... А мы тебе верой-правдой послужим,— сказал Иван.

---

* Подволока — потолок.

— Головы своей не пожалеем,— добавил Некомат.

— Добро,— промолвил князь,— принимаю я вас к себе на службу...

Оба разом низко поклонились.

— Служите хорошо, а я вас не забуду... Надобно мне с вами потолковать. Сегодня за вечерней вы мне крест поцелуете. А после вечерни вот он вас ко мне приведет,— при этом князь указал на боярина, который вел с ними переговоры.— Мы и потолкуем как надо. Теперь, чай, с пути отдохнуть хочется. Он вас пока что сведет в боковушку. Там поотдохните...

Кивком головы князь отпустил их.

Помещение им было отведено довольно-таки неважное. Вельяминов, взглянув на голые лавки, невольно вздохнул по своем московском доме.

Некомат грузно сел и задумался. Лицо его было невесело.

— Что голову повесил? — спросил Иван.

— Так. Скушно.

— А ты не скучай! Все, братику, устроится. Заживем с тобой! Князь ласков, чего ж больше?

Он утешал, но и самому ему было не по себе.

Порою мелькала тревожная мысль.

«Как-то здесь повезет. Ну, ежели так же, как в Москве?»

Он прогонял такие думы и старался строить планы один другого заманчивей.

— А главней всего — это подбить князя Михаила на войну с Димитрием... Теперь время — ой, время! — я все князю расскажу, как надобно.

И он стал, обдумывать, о чем поведет вечером речь с князем.

Что касается Некомата, то он никаких заманчивых планов не строил. О будущем он вообще как-то не думал, а, напротив, размышлял о прошедшем.

— Как-то Пахомыч в усадьбишке хозяйствует. Чай, грабит как может... Карман набьет... А может, Андрюшка вернулся?

И невольно мысль его перенеслась к пасынку. Что-то болезненно защемило сердце.

— За что я его убить хотел? Правду сказать, парень ничего себе и добер. Всему делу — корысть вина. Да еще Пахомыч з-зу да зу-зу... Захотел зла другому, а сделал себе... Вот теперь и в перебежчиках очутился.

Он вздрогнул.

— Скоро крест позовут целовать. Значит, делу крышка — прощай Москва, сторонушка моя родимая! Ничего не поделаешь — будем Твери служить. Эх, ты, жизнь наша!

Время тянулось убийственно медленно.

Оба почти обрадовались, когда зазвонили к вечерни. Во время ее, как и хотел князь, они поцеловали крест на верность и поклялись на Евангелии служить Михаилу верой-правдой.

Теперь из москвичей они стали тверитянами.

После вечерни их позвали к князю пить сбитень. Михаил Александрович был один; никого из приближенных бояр при нем не находилось.

Он встретил своих новых подданных приветливо.

— Садитесь — в ногах-то правды нет,— сказал князь.— За сбитень принимайтесь да московские новости выкладывайте.

— Новостей не больно много,— промолвил Вельяминов, принимаясь за душистый медовый сбитень.— Одна только и есть, что теперь самая пора Москву бить.

В глазах Михаила Александровича мелькнул огонек. Но он быстро принял спокойный вид и спросил равнодушно:

— Почему пора?

— Рано ль, поздно ль воевать тебе снова с Москвой придется,— вставил свое слово Некомат.— Чем дольше времени проводить, тем Москва сильней станет. Дмитрий-то Иванович давно на Тверь зубы точит.

— Это правда,— промолвил Иван.— А почему теперь пора воевать, сейчас скажу. Слыхал ты, что в Нижнем Новегороде приключилось?

— Нет. Пока не слышал.

— А слыхал ты, как татарва на реках Кише да Пьяной расправу чинила?

— Тоже нет.

— Так вот что. Приехали в Нижний послы Мамаевы и с ними татар человек тыща... Ну, и эти послы не поладили с тамошним князем Дмитрием Константиновичем. Тот спросил великого князя, можно ль с татарами расправиться. Московский князь прислал весть, что можно.

Тогда Дмитрий Константинович напустил черный народ на татар. Всех их нижегородцы и перебили, а главного посла, Сарайку, засадили в темницу, а мало времени спустя и его прикончили. Как смекаешь, любо Мамаю о сем было сведать?

— Чай, не любо. Ну, и задаст же он Дмитрию Иванычу!

— Малость уж задал: его рать огнем выжгла волость нижегородскую. Да этого мало: Мамай только ждет не дождется, как на Москву кинуться.

— И доброе дело — кинулся бы.

— Надо только уськнуть,— проговорил Некомат.

— Да если б с другой стороны еще Литву напустить,— вполголоса, словно в раздумье, промолвил князь.

— Да еще ты ударишь... Нешто Москве можно бы справиться? Конец ей был бы! — воскликнул Вельяминов, и глаза его заблестели.

— Очень ты, кажись, Дмитрия Иваныча недолюбливаешь? — с полуулыбкой промолвил князь.

— Лютый он ворог мой! Головы бы я своей готов не пожалеть, только б ему отплатить. Княже! Послушайся доброго совета: пойди на Москву. Поднимем татар да Литву — разгромим нашего ворога.

Михаил Александрович сидел задумавшись.

Глаза его блестели, грудь дышала усиленно.

Он встал и прошелся по комнате.

— А пойдет ли Орда? — вдруг спросил он, остановясь перед Вельяминовым.

— Пойдет. Голова моя порукой. В Москве только и ждут, что вот-вот она поднимется.

Князь помолчал, потом промолвил:

— Ладно, будь по-вашему: тряхнем Москвой.

— Ой, любо! — радостно воскликнул Иван.

Лицо Некомата оставалось равнодушным.

— Стой, уговор дороже денег: никому об этом ни полслова до поры, до времени,— проговорил князь.— И вы меня маните к войне, вы же и помогайте. Валяйте-ка, поезжайте послами от меня в Орду.

— А что ж, хорошо,— сказал Вельяминов.

Суровчанин слегка поморщился.

— Да помните: уговорите хана — озолочу, а не сумеете — так лучше мне и на глаза не показывайтесь. Сам я, пока вы в Орде, поеду в Литву... Отовсюду на Москву тучи двинутся... Сломаем Дмитрия. Ведь сломаем?

— Вестимо ж,— промолвил Иван.

— Ну, теперь идите к себе да отдыхайте. Когда в путь — скажу. И казны вы от меня получите и людишек. Служите верой-правдой; сшибем Дмитрия — вы первыми моими боярами будете.

Он отпустил их кивком головы.

По их удалении он долго еще сидел в глубоком раздумье.

Вельяминов вернулся от князя очень довольным.

«Покается теперь Дмитрий Иванович, что не сделал меня тысяцким» — думал он.

Некомат, наоборот, был очень не в духе.

— Поезжай к татарам! — вырвалось у него.— Нечего сказать, любо! Не того я ожидал.

— Э, братику! Зато сполним княжий приказ, так первыми людьми станем,— утешил его Иван.

Он строил воздушные за́мки.

IX

В ЛИТОВСКОМ БОРУ

Суровый край!

Бесконечные сумрачные леса, которые кое-где перерезанные извилистыми мутными ручьями да тропками, по которым удобнее пробираться зверью, чем человеку.

А зверья здесь немало.

Начиная от юркой лисы и кончая страшным, гигантским медведем-стервятником.

А порою затрещит хворост, раздадутся кусты и выставится грозная рогатая голова бородатого тура или зубра.

Глаза налиты кровью, рога — взрывают землю.

Беда встретиться с ним, если он свиреп: всадника вместе с конем опрокинет, убьет рогами, затопчет, и только кровавое пятно останется на седом мху памятью о недавно полных жизни существах.

Знают свою силу тур и зубр и никому не покорствуют.

Даже «мишка» — уж на что ему силы не занимать — и тот с опаской к ним подходит.

Только в зимнюю пору рискуют на них нападать обезумевшие от голода волки.

Навалятся десятком, вцепятся и рвут на куски.

Половина их падет, другие зато напьются теплой крови.

Не любо тоже встретиться и с вепрем, когда он пробирается сквозь чащу, срезая трехгранными клыками, как прутья, молодые деревца, и мигая тусклыми, маленькими глазками...

А дичины всякой иной что! Сила неисчерпаемая.

В летнюю пору стон по лесу стоит от крика, писка и рева.

Теперь, осенью, не то.

Притих бор. Пообсыпались кусты и не слыхать в них возни неугомонных пичужек. «Мишка» уж подыскивает берлогу, чтобы, как только дохнет стужей да снегом с полуночи, залечь на ложе из листьев и сладко дремать под своею теплою шкурой.

Волки стали поближе к деревням пробираться. Целыми ночами уныло плачет голодная рысь...

Смерклось.

В поле, быть может, еще светло, но под деревьями литовского бора теснится тьма.

Отряд «гусем» растянулся вдоль по узкой тропе.

Кони заморились, у всадников вид усталый. Видно, всем охота на ночлег.

С земли плывет чуть приметная сизая пронзительно-серая дымка.

Хорошо бы теперь костерок из валежника или из сухостоя да кашки бы отведать!

Ехавший впереди всадник поглядел на вершины сосен, на которых мерк свет, и придержал коня.

— Нет, сегодня до Вильны не добраться — промолвил он как бы про себя, и потом приказал:

— Стой. Будет. Станем на ночлег.

Повторять приказания не пришлось.

Всадники живо спрянули с коней, привязали кто где и разбрелись.

Вскоре по бору пошла гулкая перекличка, а еще немного времени спустя задымились и приветливо затрещали костры.

У самого большого из них сел, на разостланной медвежьей шкуре, набольший, отдававший приказ,— князь тверской Михаил Александрович.

Вид у него усталый и угрюмый.

Вышла незадача: думал засветло до Вильны добраться, а пришлось заночевать довольно далеко от нее.

— Не первый раз езжу, а впервой такое. Не к добру.

А пора бы быть в Вильне: и люди, и кони притомились в далеком и трудном, многонедельном пути.

— Изволь покушай, княже,— предложил ему какой-то боярин.

Чуть отведал князь вкусной каши и отбросил ложку:

— Не хочу.

Лег на спину на шкуре и смотрит на небо, на котором уже загорелись нечастые звезды.

— Где моя звездочка? Не та ль вон, что то вспыхнет ярко, то чуть мерцает.

И вдруг вздрогнул: сорвалась его звезда и скатилась к востоку.

— Нет, должно не моя,— постарался утешить он себя.

А сердце тоскливо заныло.

Его давно уж мучают злые предчувствия.

Словно чуется что-то недоброе.

И отчего? Разве ему в дивковинку воевать с Димитрием?

Правда, на сей раз война будет полютее.

Зато он, Михаил, к ней и подготовится как следует.

Орда да Литва чего-нибудь да стоят. Нахлынут — сметут Москву.

А не пойдут они, и он не станет войны затевать. Только бы согласом заручиться, тогда вали...

Беда, что стар стал зятек Ольгерд-то. На подъем тяжел. Видано ли дело: два года Русь не тревожил.

Ну, да авось — тряхнет стариной.

Опять же сестра уговорить поможет...

Закрылся плащом князь, положил голову на седло.

От костра веет теплом. Слышится сдержанный говор и мерный шум лошадей, жадно жующих овес.

Подкралась дрема, запутались мысли.

Куда-то далеко унесся лес.

Сладкий сон охватил усталого князя.

Очнулся он, когда сквозь вершины дерев брезжил рассвет.

Было прохладно и тянуло сыростью.

Со всех сторон несся дружный храп.

Князь собирался повернуться на другой бок, когда почувствовал на себе чей-то взгляд.

Посмотрел в ту сторону и разом сел, протирая глаза.

По другую сторону чуть тлеющего костра сидел человек могучего телосложения, одетый в звериную шкуру, мехом вверх, и шапку, украшенную парой турьих рогов. Человек этот смотрел на Михаила Александровича и насмешливо улыбался во все свое широкое, плоское, с выдающимися скулами лицо, с обветрившейся загрубелой кожей.

Князь без труда признал в нем одного из приближенных Ольгерда — литвина Свидрибойлу.

Михаил Александрович всегда недолюбливал этого лито-

вца, похожего больше на разбойника, чем на княжеского вельможу.

Быть может, в этой нелюбви играло роль и то обстоятельство, что Свидрибойло был убежденный язычник, и князю тверскому «претила его поганая вера».

— Как ты сюда попал? — спросил наконец князь.

— На ногах дошел. Вон и мои молодцы тоже.

При этом он указал на группу литвин, сидевших или лежавших невдалеке.

— А посмотрю — хороши вы, русские,— продолжал литовец, громко хохоча,— вас всех хоть голыми руками забери. Ну, что бы мне стоило перерезать всю твою дружину, как баранов: спят как у себя дома на печи.

— Голыми-то руками не бери — обожжешься,— проворчал князь, которому не нравился смех литвина.

— Будто? — продолжал тот на своем картавом, ломаном языке.— Мы и не сонных русских бивали. Гикнешь, ухнешь — бегут, как бабы.

— Одначе эти бабы и вам бока не раз мяли,— ответил князь, все еще стараясь сдерживаться.

И продолжал, переменив тон:

— Скажи лучше, как здесь очутился.

— А пошел с людьми туров бить. Да ночь в лесу застала. Назад далеко, надо было дождаться рассвета. Хотели костры разложить. Глядь, будто мерцает вдали. Мы на огонь пошли да вот к вам и выбрались. Смотрим, лежат человек десятка три и храпят себе знай. И хоть бы кто на страже... Я хотел было уж поучить как следует, по-свойски, как спать чужакам в литовском бору, да узнал тебя. Княжий шурин! Не замай, значит, а стоило бы, право, стоило.

— Ученье-то твое не больно нужно,— угрюмо процедил князь.

Свидрибойлу словно радовало, что Михаил Александрович злится. Он не любил русских вообще, а князя тверского в особенности: причина крылась в том, что Михаил, как шурин великого князя литовского, пользовался довольно большим значением у Ольгерда, а это вызывало зависть Свидрибойлы — одного из ближайших советников Ольгерда.— Русский, да в такую честь попал,— раздраженно говаривал порою литвин.

Он искал случая уронить тверского князя в глазах литовского. Но пока это ему не удавалось, и ему приходилось только злобствовать да «изводить» недруга насмешками и глумлением.

— Ой ли, не нужно? Нет нужно, нужно поучиться. Ратные люди — а что малые ребята. Диво бы еще вас боги охраняли.

— Зачем нам ваши боги?

— Да ведь вы же, русские, безбожный народ.

— Что погани-то вашей не кланяемся?

— Погани? — переспросил литовец, бледнея.

— А то чему же? Разным пням да колодам. Истинного-то Бога не знаете.

— Истинного? У нас настоящие боги, хорошие боги,— проговорил литвин прерывистым голосом.— Ваша вера никуда не годится... Вас боги не слышат. Не хочу и слышать о вашей вере и вашем Боге...

Михаил Александрович вскочил, как от удара, и крикнул, топнув ногой:

— Молчи, раб, литовский пес. Не богохульствуй!

— Я раб? — шипящим голосом промолвил литовец, тоже встав.— Я раб? Я — литвин свободный... Я такой же князь, как и ты... Я литовский пес?.. Покажу же я тебе, как этот пес кусается. Эй, люди!

Литовцы вскочили.

Михаил Александрович тоже не дремал. Он схватил рог, висевший у него через плечо на стальной цепочке, и гулкие, поющие звуки тревоги пронеслись по лесу.

Тверитяне разом проснулись и схватились за оружие.

Толпа их быстро окружила князя.

Свидрибойло стоял во главе своих литовцев, которые по численности не уступали тверитянам.

Казалось, два отряда вот-вот кинутся друг на друга.

Но Свидрибойло медлил подавать знак. Он знал, что каков бы ни был исход побоища, его постигнет лютая кара от сурового Ольгерда, который не любил прощать своеволия.

Со своей стороны, Михаил Александрович не спешил с нападением, так как тоже опасался, что эта стычка может иметь неприятные для него последствия у литовского князя.

— Стой! — сказал наконец литвин, простирая руки к своим воинам.— Зачем станем зря кровь лить? Он меня обругал рабом и псом... Нам с ним и ведаться. Князь, тебя я вызываю на поединок!

— Хоть сейчас.

При всех своих недостатках Михаил Александрович был очень храбрым человеком; он не раз смотрел в лицо смерти и не испугался вызова могучего Свидрибойлы.

— Пусть боги нас рассудят,— продолжал литвин.

— Не боги, а Бог. Я согласен на суд Божий, хоть сейчас.

— Нет, подождем, когда приедем в Вильну. Там будем биться перед самим князем и иными людьми. Никто не скажет, что я убил тебя из засады: я тебя честно убью в открытом бою.

— Ты думаешь, что убьешь меня? Ладно. Я готов ждать. А теперь на коней и в путь.

Все поспешили к коням, и вскоре оба отряда, почти смешавшись, потянулись по лесу.

Вражда между литовцами и русскими была как-то сразу забыта.

Только князь да Свидрибойло старались держаться поодаль один от другого.

Солнце всходило.

Румянец загорелся на вершинах угрюмых сосен. Березы с остатками пожелтевшей листвы рдели, как золотые.

Из чащи полз, поднимаясь, пригретый, туманный пар.

Промелькнула поляна, еще темная среди озаренных деревьев, но уже обласканная отсветом поцелуя зари.

Запоздалые улететь пичужки кое-где встрепенулись в кустах.

Пронеслось и замерло протяжное мычанье зубра...

X

ПОЕДИНОК

Ольгерд пировал.

За огромным столом, протянувшимся во всю длину лучшей комнаты Виленского замка, сидели литовские вожди, русские князья и польские паны.

Литвины первенствовали — русские и поляки были только гостями и не все добровольными.

Князь смоленский, например, приехал потому, что был данником Литвы.

Быть может, он себя вовсе не весело чувствовал на пирушке полудиких язычников-литовцев.

Вероятно, и многие из поляков чувствовали себя не лучше. По крайней мере, они очень задумчиво покручивали усы.

Но Ольгерд мало заботился о настроении духа гостей-чужеземцев.

Он хотел веселиться, и его желание было законом.

И раскинулся стол, и уставился яствами, и полный вином турий рог передавался из рук в руки, и войделот вдохновенно запел, прославляя подвиги великого князя литовского.

Как старый лев, сидел седовласый старик Ольгерд среди шумного, но трепетавшего одного его взгляда собрания.

Положил он на стол могучие руки, обросшие, как у зверя, шерстью, откинул голову и слушает войделота и гордая улыбка скользит по его лицу.

— Да, да, он могуч, и никто не сравнится с ним!..

Слушает Кейстут, старый вождь литовский, слушает Витовт — молодой орленок, и по их лицам также скользит горделивая улыбка и огнем светятся очи.

Но невеселы польские паны, угрюмо сидит посол немцев-крестоносцев, понурились русские князья.

Для них эта песня тяжка, их позор воспевает старый войделот.

Прозвучали последние аккорды. Замерли. Оборвалась песня...

Среди всеобщего молчания слышно только, как звякают кубки да глухо звучит турий рог от удара о другой.

В узкие окна льется солнечный свет и играет на золоченой коже, покрывающей скамьи.

Задумалась сестра Михаила, великая княгиня литовская.

Задумался и Ольгерд, но дума его — гордая дума.

— Кто меня осилит? Кто дерзнет стать противу меня? Польша? Немецкие рыцари-монахи? Ха-ха!

И ему хочется смеяться.

— Славен ты, великий княже,— раздался голос князя тверского,— всех ворогов ты сломил. Но один еще у тебя остался.

Ольгерд нахмурился и спросил:

— Кто?

— Великий князь московский.

Ольгерд хмуро усмехнулся.

— Не боюсь я его.

— Конечно. Я знаю, что ты силен и никого не боишься. Но его надо сломить, а то... а то он соберется с силой и... тебя самого сломит.

— Меня?! Да он и с Ордой не может справиться.

— Дай срок; придет время — справится. А ты попомни, зятек, о чем я тебя просил, что говорил: помоги мне сломить Москву — от этого тебе же будет великая польза.

— Я сказал тебе — подумаю,— нехотя промолвил в ответ Михаилу зять.

Дело в том, что до пира у них была об этом беседа. Князь литовский, по-видимому, был не особенно склонен выступать на поддержку тверского.

Он отлично понимал, что Тверь не чета Москве, успевшей собрать «под себя» множество областей.

Он не раз оказывал помощь шурину, но каждый раз Михаил проигрывал.

Очевидно, дело безнадежно. Тверскому князю не тягаться с московским.

Варвар Ольгерд везде и всюду ценил силу.

Ему начинало казаться, что не стоит поддерживать Михаила, бессильного, вялого...

Свидрибойло, сидевший невдалеке от тверского князя и Ольгерда и слышавший фразы, которыми они обменялись, грубо расхохотался.

— Помогать тебе? Есть нужда! — воскликнул он.— Зря лить литовскую кровь: московцев-то тоже голыми руками не возьмешь. Тебе с князем московским не совладать, а нам что за дело? Наберись силенки. Но, конечно, московский князь не тебе чета.

Князь литовский недовольно покосился на вмешавшегося в разговор Свидрибойлу.

Михаил Александрович вспыхнул и вперил в литвина-врага пылающий взгляд.

— Лес-то ты не забыл? — промолвил он.— Или струсил, да уж на попятный.

— Я струсил! — вскричал Свидрибойло.— Ладно, покажу я тебе, трус ли я.

Он встал и, низко поклонясь Ольгерду, сказал среди притихших гостей:

— Великий княже! Меня на днях князь тверской обидел... И решили мы меж нами устроить суд богов. Дозволь нам выйти «на поле».

Князь литовский посмотрел на тверского и спросил с удивлением:

— Ты с ним хочешь биться?

— Да, и если можно, сегодня же,— ответил Михаил Александрович.

— О том и я прошу,— заметил Свидрибойло.

— Добро. Как будете биться?

— Пешими на бердышах,— промолвил тверской князь.

— Хорошо, согласен,— ответил его противник.

Ольгерд посмотрел на окно.

— Солнце за полдень... Времени терять нечего... Идите, приготовьтесь к бою, а я велю землю утоптать.

Он встал.

Все поднялись. Пир был прерван.

Поединки в эту эпоху были обычным явлением. Бились все — и знатные, и простолюдины. Рыцарских турниров, как в Западной Европе, не существовало ни на Руси, ни в Литве, но вызов на «суд Божий» или «в поле» никого не удивлял.

Кровавый поединок являлся только интересным зрелищем.

Спустя каких-нибудь полчаса галерея замка, выходившая на обширный двор, была сплошь покрыта любопытными участниками недавнего пира.

Ольгерд и его жена, трепетавшая за участь брата, находились тут же.

— Он убьет Михайлу,— шептала она мужу.

Тот в ответ только пожимал плечами.

Даже если бы желал, он не мог отменить поединка, «Суд Божий» являлся чем-то священным в глазах всех, не исключая и самого великого князя.

На дворе спешно огородили веревкой пространство в несколько квадратных сажен, плотно умяли влажную почву и посыпали песком.

Послышался звук рога, и противники вышли «на поле» с разных сторон.

Михаил Александрович был одет в кольчугу тонкой византийской чеканки и такие же поножки. Голову прикрывал шелом овальной формы, со стальной пластиной для защиты лица.

На левой руке был надет круглый, выпуклый к середине щит, с золотой насечкой; в правой он держал превосходной стали обоюдоострый бердыш на длинной рукояти из крепкого дерева.

На Свидрибойле был темный панцирь, очевидно, немецкой работы, поверх которого была наброшена на плечи волчья шкура. На голове — плоский шишак с двумя рогами по бокам. Щит был овальный и блестел, как зеркало: средство ослепить противника отраженным солнечным лучом.

Бердыш его был громадных размеров. Владеть им могла только такая сильная рука, как у Свидрибойлы.

Противники остановились в нескольких шагах друг от друга и ждали сигнала.

Зрители имели время сравнить их.

Сравнение клонилось не в пользу тверского князя.

Он был среднего роста, плотен, очень широк в плечах и тонок станом; его стройная фигура казалась слабой рядом с литвином.

Тот производил впечатление настоящего Голиафа.

Огромного роста, широкий, с могучею грудью и длинными руками с широкою и большою кистью, он являлся страшным противником.

Князь тверской оглянулся на зрителей. Кроме небольшого числа русских, на лицах которых выражалось сожаление, остальные — и немцы, и поляки, и литвины — смотрели на него насмешливо.

Казалось, они думали:

«Куда же сунулся биться с Свидрибойлой. Ужо он задаст тебе!»

Сестра — великая княгиня — была бледна и едва сдерживала слезы.

Князь тяжело вздохнул, снял шелом и троекратно перекрестился. Потом туже затянул пояс, крепко сжал рукоять бердыша и стал ждать.

Свидрибойло стоял, помахивая бердышем, и улыбался,

Он заранее был уверен в победе. До сих пор еще никто не побеждал его в поединках, а своего противника он считал неопасным. Он полагал, что тверской князь не выдержит и первого удара.

Послышался отрывистый звук рога.

Все смолкли и с жадным любопытством уставились на бойцов.

Толпа разного люда, сбежавшаяся смотреть на поединок, плотнее придвинулась к огороженному «полю».

Противники стали медленно сходиться.

Когда между ними оставалось всего несколько шагов, литвин, дико вскрикнув, одним прыжком очутился подле Михаила Александровича и нанес удар.

Князь принял удар на щит и, слегка подавшись в сторону, с быстротой молнии ударил Свидрибойлу.

Этим ударом он обнаружил и удивительную ловкость, и страшную силу: оплошавший противник не успел прикрыть-

ся щитом; бердыш князя опустился на его правое плечо, и кусок вороненого панциря со звоном упал на землю.

Литвин пошатнулся. На мгновение его рука, державшая оружие, онемела и бессильно опустилась.

Между тем князь не медлил. Второй удар в бок привел в ярость Свидрибойлу.

Он забыл осторожность и, собрав все силы, стал бешено наступать на противника.

Страшный бердыш литвина со свистом прорезал воздух, грозя, по-видимому, пополам разрубить князя, но везде на пути встречал ловко подставленный щит. Князь оставался хладнокровным. Казалось, он словно не ведет смертельный бой, а забавляется. Глаза его неотступно следили за противником, и он то подставлял щит, то ударял, то отскакивал в сторону.

С обоих бойцов градом лился пот, у того и другого щиты были иссечены.

Вдруг Свидрибойло с удвоенною силою завертел бердышем и с размаху опустил его.

Князь отпрянул в сторону.

Бердыш литвина встретил пустое пространство; великан не удержал равновесия и тяжело рухнул на землю всем, своим громадным телом, звеня доспехами.

Михаил Александрович подбежал и занес бердыш над его головой.

Свидрибойлу ждала неминуемая смерть.

Литвины громко вскрикнули.

Но князь внезапно опустил бердыш, не нанеся удара.

— Живи, дарю жизнь! — промолвил он и усталою походкой пошел «с поля».

Свидрибойло тяжело поднялся и схватился руками за голову.

— Лучше бы убил, лучше бы...— не сказал, а скорее простонал он, смотря вслед князю полным ненависти взглядом.

Люди того времени больше всего на свете ценили силу и отвагу. Все те, которые до поединка смотрели на Михаила Александровича с насмешкою, теперь приветствовали его громкими криками.

Во мнении Ольгерда он также разом возвысился.

— Нет, он молодец... Он настоящий воин... Умеет постоять за себя.

Он ласково взглянул на подошедшего тверского князя и промолвил:

— Ты мастер биться... хорошо, хорошо бьешься... И знаешь, я решил: я тебе помогу против Москвы.

Михаил Александрович просиял: его победа принесла великолепный плод.

Сестра приветствовала его возгласом:

— Я так боялась, так боялась за тебя...

На глазах ее блестели радостные слезы.

— Господь помог,— ответил ей брат.

Про Свидрибойлу словно все забыли.

Он между тем пробрался со двора, озираясь, как гонимый волк.

В душе его кипело бессильное бешенство.

Подарив жизнь, тверской князь нанес ему этим новое оскорбление.

Значит он, Свидрибойло, настолько ничтожен в глазах Михаила Александровича, что князь не опасается оставить его живым.

Князь кинул ему жизнь, как собаке подачку...

Если так, то он, Свидрибойло, отомстит. Тверской князь увидит, что он опасный враг.

Да, да! Для того только и жить останется, чтобы отомстить.

Он прошел в свой дом, стоявший неподалеку от дворца Ольгерда, снял доспехи и приказал оседлать коня. Он бешено носился на коне по пустынным полям, подставляя ветру разгоряченную голову. Скачка его несколько успокоила. Вернувшись домой, он стал усиленно обдумывать свое положение.

Ему казалось самым важным сохранить свое влияние при дворе.

Результатом его размышлений было то, что на другой день он как ни в чем не бывало появился во дворце.

Он даже улыбался, объясняя всем и каждому победу тверского князя простою случайностью.

— Я поскользнулся... Он и налетел... Не будь этого, разве он смог бы меня одолеть?

Ольгерд принял его сначала суховато. Но затем, по-видимому, остался доволен его объяснением победы князя случайностью: в глубине души Ольгерду было неприятно, что литвин побежден русским. Объяснение Свидрибойлы, так сказать, спасало честь литовцев.

С Михаилом Александровичем Свидрибойло круто изменил обращение.

Он сказал, что теперь, когда князь подарил ему жизнь, всякие счеты между ними должны быть забыты, что теперь он, Свидрибойло, его преданнейший друг, что он готов пожертвовать за него, в случае надобности, своею жизнью, которую он будет вечно считать принадлежащею князю.

Он повторял это ежедневно, и Михаил Александрович поверил его преданности.

Конечно, он не мог видеть, каким злым огнем вспыхивают иногда глаза литвина, когда он смотрит вслед князю, какая злобно-насмешливая улыбка кривит порою его губы.

В княжеском совете новый «преданнейший друг» тверского князя горячо ратовал за необходимость поддержки Михаилу Александровичу.

Тверской князь, разумеется, знал об этом и был искренне благодарен «другу».

Но он не мог знать, что когда Свидрибойло остается наедине с Ольгердом, он поет иную песню. Он, правда, не отказывается от того, что Твери надо помочь, иначе сильно возвысится Москва, но добавляет, что подать помощь надобно не теперь.

— Зачем торопиться? — говорил он.— Пусть они подерутся, а мы потом успеем пристать к Твери. Зачем нам первым лить за чужих литовскую кровь? Пусть, наконец, тверскому князю вперед поможет Орда. Нам будет выгоднее прийти тогда, когда Москва будет обессилена.

Слушал старый князь литовский эти речи и не мог не согласиться, что Свидрибойло судит здраво.

Вследствие этого, хотя Ольгерд твердо обещал помощь Михаилу Александровичу, но когда тот требовал немедленного выступления, ему отказывали.

Причины приводили разные. То, что часть войска надобно теперь выслать к немецкому рубежу, то, что поход глубокою осенью неудобен: надо подождать зимы, когда реки замерзнут и дороги станут хороши.

Как ни бился тверской князь, кроме обещания он ничего не получал.

Видя Михаила Александровича грустным, Свидрибойло выказывал ему притворное сочувствие.

— Будь моя воля, я бы сейчас пошел с войском,— говорил он,— но великий князь не хочет. Я его и то уговаривал... Он все говорит, что еще время терпит.

Время-то, может быть, действительно терпело, да князю-то не терпелось.

Напрасно он прибегал к сестре с просьбой «похлопотать» за него перед мужем; хлопоты ее не увенчались успехом: влияние советов коварного княжеского друга было сильнее.

Однажды, как бы желая утешить печального Михаила Александровича, Свидрибойло подал ему совет:

— А знаешь, княже, что было бы лучше всего? Поезжай к себе и начни войну с Москвой. Как только об этом узнает Ольгерд, он сейчас двинет рать тебе в помощь.

— Так ли?

— Голова моя в том порукой.

Князь тверской ухватился за эту мысль.

Совет казался ему хорошим; тем более, что он засиделся в Вильне, да и хотелось поскорей вернуться на Москву.

Заручившись снова твердым обещанием Ольгерда оказать ему помощь, он уехал в Тверь, полный надежды, что теперь справится с Дмитрием Иоанновичем.

Ко времени его прибытия в свою область Вельяминов и Некомат еще не вернулись из Орды.

Приходилось ждать их и медлить с открытием военных действий.

Литва — Литвой, но и Орда нужна.

Кроме того, посланцы должны были привезти от хана новый ярлык на великое княжение. Тогда повод к войне был бы самый законный.

XI

В ОРДЕ

Долог путь до станицы Орды — Сарая. Сперва — дремучие леса, потом степи бесконечные, унылые, прерываемые порою еще более унылыми солончаковыми пустынями.

Утомились в дороге Некомат и Вельяминов со своими спутниками.

Поэтому, когда однажды около полудня вдали показались многочисленные сараевские юрты, они были рады, что кончен трудный путь. Быть может, их в Орде ждала горькая участь, но все же они радовались, что вырвались из угрюмых лесов, из унылых степей и пустынь.

Когда они приблизились к городу — если так можно на-

звать множество в беспорядке раскинутых юрт и кибиток,— им навстречу с гиком вылетел конный отряд татар и кольцом окружил их.

Путники сразу сделались пленниками.

Какой-то татарин, получше других одетый, вероятно набольший, повел расспрос.

Ему отвечал толмач, что они послы к хану от князя тверского, везут дары ему и должны вести переговоры.

Набольший при имени хана приложил руку ко лбу и сердцу и стал заметно почтительнее с путниками, так как особа посла была неприкосновенна даже в глазах диких татар.

Он передал своим подчиненным, кто едет, и лица их заметно вытянулись: степные хищники давно уже бросали алчные взгляды на поклажу путешественников, а теперь славная добыча ускользала из их рук.

Их прямо провели к большой юрте из узорных ковров и оставили перед нею.

Конвойный перемигнулся с начальником стражи, стоявшей у входа, и тот, окинув прибывших беглым взглядом, вошел в юрту и вскоре вернулся со стариком, одетым в богатый, тканный золотом халат.

Старик через толмача приказал прибывшим выдать все имевшееся у них оружие и, когда они, хотя и не без колебания, на это согласились, сделал знак следовать за ним.

Пошли толмач, Некомат, Вельяминов и трое слуг, несших дары.

Юрта разделялась на несколько отделений. В первом из них послам пришлось долго ждать, пока куда-то скрывшийся старый мурза снова не вернулся.

— Хан допускает вас до своих очей,— сказал он и ввел во вторую, гораздо более обширную часть юрты.

На мягкой подушке, поджав ноги, сидел плечистый татарин с угрюмым лицом и хищным взглядом раскосых глаз.

Это был всесильный хан Мамай.

Старик мурза заставил прибывших пасть ниц, что сделал также и сам.

Послам крепко было не по сердцу подобное унижение, но они принуждены были покориться необходимости.

«Перед великим князем московским так не кланялись, а тут на! — перед бритым нехристем»,— с неудовольствием думал Некомат, лежа на ковре ханской юрты.

Наконец послышался скрипящий голос хана:

— Встаньте, рабы мои урусы!

Толмач немедленно перевел.

Некомат и Вельяминов встали, разложили, с помощью своих слуг, подарки, после чего Иван Васильевич сказал:

— Господин наш, князь тверской Михаил Александрович, шлет тебе, великий хан, сии дары, как дань, и просит его пожаловать — не побрезговать принять их. А еще приказал он нам передать, что шлет свой низкий поклон... И еще велел вопросить, в добром ли ты здравии находишься. При сем же он приказал нам отдать сие письмо в твои державные руки.

Он бережно развернул письмо, обернутое в красную шелковую ткань, и с низким поклоном вручил хану. Тот приказал толмачу:

— Прочти.

В письме князь тверской просил о помощи против лютого врага князя московского, который и против «пресветлого хана, злоумышление имеет».

Потом добавлял, что Димитрий Иванович не достоин великого княжения, «а посему не будет ли,— писал князь тверской,— милость твоя отнять от него великое княжение и мне, рабу твоему, отдать».

Выслушав письмо, хан ответил:

— Спасибо конюху моему, князю тверскому, за дань и за покорство. Князя московского я раздавлю, как конь давит змею под копытами. Дары принимаю. О помощи и ярлыке — подумаю. Таков мой сказ. А вам пока жить в Орде и ждать да пить наш кумыс татарский...

Он хлопнул в ладоши и вбежавшим слугам приказал немедленно изготовить юрты для послов и для слуг их и пищу давать со стола ханского.

С этих пор потянулась для Ивана и Некомата скучная жизнь в Орде.

Хан медлил ответом, а торопить его было нельзя. К тому же он был в это время сильно раздражен и огорчен. Дело в том, что любимый ханский кречет зашиб ногу и заболел. Узнав об этом, хан пришел в ярость. Старший сокольничий и его помощник были обезглавлены. Вельяминов и Суровчанин видели, как их казнили. Медленно один за другим подходили осужденные; на их тупых лицах не выражалось страха смерти; с таким же равнодушным видом опускались они на колени и опускали голову; палач, сильный как бык, одним ударом сабли отделял ее от туловища...

Казнь, однако, ничего не поправила. Кречет чах. Каждый

день приходил Мамай смотреть на птицу, и каждый день все более мрачным удалялся от юрты, где помещался кречет.

Вельяминов, когда жил в Москве, очень любил соколиную охоту, держал много соколов и хорошо знал уход за ними.

Ему пришло на мысль попытаться вылечить ханского кречета.

Он спросил разрешения, и хан с радостью согласился.

— Вылечишь, урус, выбирай любой из моих конских табунов, сколько хочешь овец дам...

— Я постараюсь. А ежели не удастся, не погневайся.

— Воля Аллаха,— смиренно сказал Мамай.

Но взглянул при этом так, что Иван Васильевич понял, что при неудаче может поплатиться своей головой.

Он уже начинал каяться, что предложил свои услуги. Но теперь рассуждать было поздно. Оставалось только положиться на милость Божию и приниматься за лечение.

Ханский кречет был великолепной крупной и сильной птицей с серебристо-белым оперением. Но было ясно, что он очень болен. Крылья бессильно повисли, клюв был открыт...

Вельяминов осмотрел больную ногу кречета и увидел, что кость цела, а всю болезнь происходила от того, что ранка была сильно засорена и воспалилась. Иван Васильевич промыл ранку, наложил на нее мокрую тряпку и завязал. Это повторял он несколько раз ежедневно.

Не прошло трех дней, как кречет ожил. Он стал принимать пищу, подбодрился.

Было несомненно, что птица выздоравливала.

Грозный Мамай радовался как ребенок.

Когда кречет окончательно поправился, хан потребовал наконец к себе послов тверского князя.

Он принял их торжественно, в присутствии знатнейших мурз и ханских советников.

Вельяминова удивило то обстоятельство, что Мамай обратился с речью не к обоим послам, а только к одному Некомату.

— Скажи рабу моему, князю Михайле тверскому,— сказал хан Суровчанину,— что я дам ему войско, чтобы воевал он область неверной собаки Димитрия. Нарекаю я Михайлу великим князем, и мурзы изготовят ему ярлык за моею печатью. А за верность Михайлову посылаю я ему в дар лучшего коня моего и перстень с руки моей... Пусть князь, раб мой, славит Аллаха за милость мою и молится обо мне.

Некомат и Вельяминов земно поклонились.

— А тебе, мой верный,— обратился хан к Ивану,— я готовлю другую милость. Незачем тебе возвращаться к тверскому князю. Я полюбил тебя и хочу, чтобы ты мне служил. Ты получишь и золота, и коней, и лучшую юрту... Я назначаю тебя моим старшим сокольничим... Рад ли, раб мой, моей милости?

Вельяминов от такой «милости» растерялся и побледнел.

Но отказаться — значило приговорить себя к смерти.

Он распростерся на ковре и глухо ответил:

— Твоя ханская воля... Я рад...

Когда через несколько дней Некомат, со слезами расставшись с приятелем, уезжал из Орды, Вельяминов долго смотрел вслед «своим», пока они не скрылись за курганом.

Потом упал лицом на землю и заплакал, как женщина.

XII

НА МОСКВЕ

Не остались тайной для великого князя Димитрия Иоанновича приготовления князя Михаила к борьбе.

У него были при тверском дворе свои люди, и от них он узнал о поездке Михаила в Литву, об обещании Ольгердом помощи, о посылке Некомата и Вельяминова в Орду и о возвращении первого из них с ханским ярлыком и обещанием Мамая прислать войско.

Димитрий Иоаннович не боялся Твери, но гроза надвигалась с трех сторон: со стороны Твери, Литвы и Орды. Двое союзников Михаила — Ольгерд и Мамай — были куда страшнее его самого.

Приближалась такая опасность, какой давно не переживало Московское княжество.

И вот в сопутствии святого Алексия и неразлучного Митяя великий князь предпринял путешествие на богомолье в Троицко-Сергиеву лавру, чтобы поклониться святыням и упросить святого Сергия, в то время проживавшего там, присоединить свои молитвы к молитвам князя.

Святой Сергий Радонежский — это был второй светоч веры, сиявший в княжение Димитрия.

Есть избранники, самим Богом отмеченные для служения Ему. К таким избранным принадлежал святой Сергий.

Родился он в городе Ростове и был наречен при крещении Варфоломеем; он с детства выделялся из среды сверстников своею задумчивостью и недетскими подвигами поста и воздержания. Когда он был еще очень юн, родители переселились в город Радонеж; с этим городом и связаны первые подвиги благочестия будущего светоча православной церкви.

Отец и мать юноши Варфоломея вскоре умерли один вслед за другим, и он стал наследником всего их имущества. Он мог бы вести безбедную и благополучную жизнь, имея средства к приобретению «благ земных».

Но не того просила его душа.

Помня слова Спасителя, что легче верблюду пройти сквозь игольные ушки, чем богатому войти в Царство Небесное, помня также, что сам Сын Божий пришел на землю в бедности и часто не имел где преклонить Свою главу, юноша решился отказаться от богатства: все свое имущество он раздал бедным, не оставив себе решительно ничего.

После этого он удалился в лесные дебри, сам построил себе хижину и поселился в ней в одиночестве, проводя время в чтении Священного Писания и в размышлении.

Несколько времени спустя случайно пришел к нему священно-инок Митрофан, который и постриг его в монашество, с именем Сергия.

Инок Митрофан вскоре удалился, и преподобный снова остался один.

Природа человеческая так создана, что человек всегда стремится искать общества себе подобных; поэтому святому Сергию пришлось выдержать сильную душевную борьбу, когда одиночество угнетало, мир манил к себе и воображение рисовало всякие ужасы.

Но не пал духом двадцатитрехлетний подвижник и переборол стремления плоти.

Оружием против мирских или греховных помыслов ему служили пост и молитва.

Его смущали то потребности тела — голод и жажда, то боязнь погибнуть от недостатка во всем, то тоска и угнетенное настроение духа и наконец даже сон, одолевавший изнеможенное тело, когда дух был бодр.

Жить одинокому святому Сергию пришлось не долгое время. Понемногу прошла молва, что в лесу скрывается свя-

той муж. К нему стали приходить кто за советом и духовною помощью, кто — чтобы, подобно ему, укрыться от соблазнов мира.

Вскоре собралось до двенадцати братий.

Тогда он построил первую маленькую церковь, которая по повелению владыки Феогноста была освящена во имя Пресвятой Троицы, а вокруг нее стали келийки.

Так было положено основание знаменитой Троицко-Сергиевой лавре.

Долгое время преподобный не хотел, несмотря на настояние братии, принять ни иерейского, ни игуменского сана; наконец он сдался на просьбы братии и был рукоположен в священно-иноки епископом Афанасием и сделался игуменом маленькой обители.

Влияние его на других монахов сказывалось, главным образом, в примере, который он являл своею жизнью.

Он своими руками построил несколько келий, сам рубил дрова в лесу и приносил в обитель, молол рожь на ручных жерновах, пек хлебы, варил пищу, даже шил одежду и обувь. Смирение и трудолюбие его простиралось до того, что он сам носил воду с подножия горы на верх ее и у каждой кельи ставил по ведру. Он же делал свечи, варил кутью, пек просфоры.

Имея столь разнообразные дела, он успевал, однако, ежедневно служить обедню и приходил на все другие службы.

Сделавшись игуменом, святой Сергий ввел некоторые правила монастырского обихода.

Например, сделалось обычаем, чтобы после повечерия иноки не ходили из кельи в келью для бесед друг с другом, но каждый оставался бы в своей, отдаваясь молитве или занимаясь работой.

За соблюдением этого правила он следил сам.

В долгие осенние вечера или глубокой ночью он обходил обитель и иногда заходил в кельи. Застав инока за работой или молитвой, хвалил его, если же случалось встретить беседующих, он старался объяснить им, почему необходимо подчиниться общему уставу и какой грех они делают, нарушая уставы.

В большинстве случаев он не входил в келью, а только, услышав говор, стучал в дверь своим посохом, давая знак прекратить беседу, и уже наутро увещал, а на отрицающих свою вину налагал эпитемию.

Другое правило, которое преподобный ввел в монастырский уклад, было то, что братии, какова бы ни была недостача или нужда в пище, не дозволялось ходить просить ее по окрестным деревням.

— Должно просить и ждать милости токмо от Бога,— говорил он.

При этом надо заметить, что окрестные поселяне могли только с большим трудом достигать обители, потому что к ней, в продолжение пятнадцати лет, не было доступа через лесные дебри, исключая узкой, едва проходимой тропы.

Случалось так, что недоставало вина для совершения литургии, воска для свеч и ладана. Тогда зажигали лучину и, при ее трепетном свете, совершали утреннюю или всенощную службу.

Чтобы судить о смирении подвижника, достаточно сказать следующее:

Однажды в монастыре явился недостаток хлеба и соли, а у святого Сергия уже давно ничего не было, и трое суток преподобный буквально ни крошки не имел во рту. На четвертые сутки, на рассвете, пришел он к одному из братии, некоему Даниилу, и сказал:

— Слышал я, что ты хочешь пристроить двери к своей келийке. Так я поставлю тебе их, чтобы не сидеть без дела. А за работу дорого не возьму: у тебя есть хлеб гнилой, так ты его мне и отдай.

У Даниила, действительно, было несколько кусков хлеба, который он отложил за гнилостью.

Он вынес их, но преподобный не взял:

— Ты побереги хлеб до девятого часа: я платы не могу взять, пока работы не кончу.

После этого он принялся за работу, к вечеру окончил ее и тогда взял условленную плату.

Перекрестясь, святой тут же съел гнилой хлеб, даже не посолив и только запивая его водой.

Скудость, часто посещавшую обитель, не все иноки могли вынести безропотно.

Как-то в течение двух суток пришлось инокам голодать. Некоторые возроптали.

— Мы умираем с голода,— сказал один из них Сергию.— Завтра уйдем отсюда и больше никогда не вернемся.

Тогда преподобный игумен собрал всю братию и увещал их не падать духом и надеяться на Бога.

— Помните,— молвил он,— слова Господа нашего Иису-

са Христа: «Ищите прежде царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам. Воззрите на птицы небесные, яко ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их: кольми паче вас, маловеры» *. Верьте и вы так, и Господь даст по вере вашей.

И, действительно, Бог дал по вере праведника: неизвестный благотворитель прислал в обитель множество хлеба и иных яств, и в монастыре, вместо прежней нужды, наступило изобилие.

— Видите,— сказал Сергий,— Господь не оставляет своею милостью места сего.

Игумен совершил молебствие и только тогда прикоснулся с братией к пище.

Вера преподобного творила чудеса.

Приведем некоторые из них.

Иноки роптали, что далеко ходить за водой. Святой Сергий с одним из монахов пошел в лес под монастырем и, увидав немного дождевой воды, помолился над ней. С этих пор на этом месте открылся источник превосходной воды.

Братия назвали источник Сергиевым. Но преподобный, узнав об этом, запретил так называть его.

— Не я, а Господь дал сию воду нам недостойным,— сказал он.

У одного человека, проживавшего в окрестностях монастыря, сильно захворал единственный сын. Отец принес мальчика в обитель и просил святого Сергия помолиться над болящим. Пока преподобный готовился к молитве, отрок умер. Убитый горем отец пошел приготовить гроб, а святой начал молиться над телом умершего.

Когда отец вернулся с гробом, Сергий сказал:

— Сын твой не умер. У него случился припадок от стужи, которую он претерпел в дороге... Теперь припадок прошел... Отрок — жив.

Обрадованный отец, увидев сына живым, бросился к ногам преподобного, благодаря его за воскрешение мальчика, но Сергий поднял его и не только запретил благодарить, но и рассказывать о происшедшем.

Слава о духовных подвигах Сергия и о творимых им чудесах росла со дня на день. К нему стали стекаться и простолюдины, и вельможи с просьбой помолиться за них.

---

* Мате. VI, 31. 26. 30.

Монашествующие оставляли свои обители и приходили жить в монастырь Сергия.

Обитель росла и ширилась.

Вернемся теперь к путешествию великого князя на богомолье.

Когда Димитрий Иоаннович въезжал в монастырские врата, зазвонили во все колокола обители.

На паперти соборного храма его встретил преподобный игумен с крестом и святою водою. Когда князь приложился к кресту и был окроплен святою водою, преподобный Сергий сам принял благословение от митрополита Алексия, потом облобызался с ним.

Затем преподобный облобызался и с Митяем.

Странную противоположность представляли друг с другом великокняжеский духовник и великий игумен.

Отец Михаил был одет в богатую рясу, на груди красовался осыпанный драгоценными камнями крест; он выглядел красивым, сильным и смотрел гордо.

Святой же Сергий был облачен в старенькую ризу, такую же эпитрахиль и ветхую, заплатанную рясу из грубой домотканой бумажной материи; он был невысок ростом, худ и имел болезненный вид.

Не было на нем ни камней драгоценных, ни дорогой одежды; он выглядел беднейшим иноком...

Но стоило взглянуть в его кроткие, глубоко запавшие глаза, чтобы понять, что ему не нужны никакие внешние отличия, что он отмечен самим Богом: так ласкал, и манил, и проникал в душу его взгляд.

Отслушав литургию, которую совершил святый владыка в сослужении с преподобным игуменом, великий князь прошел в келью святого Сергия.

Это была очень маленькая, полутемная каморка с простым некрашеным столом и такими же скамьями.

— Потрапезуйте со мной,— предложил Сергий,— есть у меня хлебушка свежий — сам сегодня испек,— водица хорошая, ключевая, да малость рыбки печеной...

Великий князь и владыка разделили с преподобным скромную трапезу, только отец Михаил ни до чего не дотро-

нулся и с оттенком пренебрежения смотрел на скудные снеди.

По окончании трапезы Димитрий Иоаннович сказал преподобному:

— Черные времена приходят, отче... На Москву вороги ополчаются...

Он передал святому о замыслах Михаила тверского, о возможности одновременного нападения на Русь Литвы и Орды.

— Твои молитвы, отче, доходны до Господа. Помолись за меня да за Русь православную.

— Доходны ль мои молитвы до Господа, о сем и мыслить не смею. По неизреченной милости Своей Господь порою дает мне по вере моей. А я за тебя, княже, первый молитвенник. Молитвы мои, княже, всегда с тобою. А ты не робей духом — сие грех. На милость Божию надейся. Бог поможет... Не хощет Он, милостивый, погибели чад Своих...

И долго говорил святой Сергий. Слова его были просты, безыскусственны. Он говорил о неисчерпаемом милосердии Божием, о Его любви к людям, о том, что нет такого трудного дела, такого подвига, который нельзя было бы свершить, уповая на помощь Божию.

Целительным бальзамом была речь преподобного для смятенной души великого князя.

Он приехал в монастырь унылым, полным смутным тревог, а уезжал с успокоенным духом, с сердцем, полным надежды.

Когда великий князь, распрощавшись со святым игуменом, выходил из кельи, преподобный, дотронувшись до ризы Митяя, с которым до сих пор не обмолвился ни одним словом, спросил, пробуя на ощупь ткань:

— Кажись, алтабас? Чай, дорогонек? Да, да... Сколько на эти деньги можно было бы сирых и голодных согреть и накормить...

Отец Михаил, вспыхнув, с недовольствием взглянул на святого и вышел вслед за князем, ничего не сказав.

Замешкавшийся святой Алексий и Сергий посмотрели друг на друга.

— Суета... И гордость житейская...— промолвил преподобный.

Владыко только тяжело вздохнул в ответ.

Проводив своих именитых богомольцев, святой Сергий вернулся к себе в келийку, плотно запер двери и стал на молитву.

Когда он начал молиться, время было недалеко за полдень, а когда поднялся с колен, уже стояла глубокая тьма.

Он был изнеможен, и с его лба крупными каплями падал пот.

Присел на лавку, чуть вздохнул и пошёл будить звонаря, чтобы ударил в колокол к полунощнице.

В церковь он явился первым из братии.

Такова была сила духа в его немощном теле.

Насколько великий князь, умиротворенный беседою с преподобным игуменом, уезжал из монастыря полным бодрости душевной и надежды, настолько беспокойно и смутно чувствовал себя Митяй.

Святость и простота жизни Сергия вместо того, чтобы умилить, только раздражила его.

Гордый дух отца Михаила не мог помириться, что высшее счастье в жизни достигнуто простотой житейской и смирением.

А что святой Сергий счастлив — в этом Митяй не сомневался. Разве это не высшее счастье, что Господь внимает его молитвам? Разве не должно назвать счастливцем того человека, в сердце которого нет доступа ни злым помыслам, ни гневу, ни зависти, ни неисполнимым желаниям и дух которого всегда величаво спокоен?

И этого преподобный достиг отвержением от благ земных, от тех благ, которые составляли все для Митяя.

Значит, ему, Митяю, никогда не быть поистине счастливым.

Он задавал себе этот вопрос. И ответ был ясен: для этого надо поступить так, как поступил святой Сергий: отречь себя, уйти в пустыню, молиться, работать...

И чувствовал царский духовник, что ему не под силу, что не сможет он отрешиться от сладких яств, от алтабасных ряс, от крестов с самоцветными камнями.

Сознавал он это и... в душе его поднималось черное, завистливое чувство к преподобному игумену: высокомерному Митяю была нестерпима мысль, что при все своем внешнем блеске, значении у великого князя он все же в глазах всех неизмеримо ниже скромного игумена затерявшейся в лесных дебрях обители.

Даже то, чем он, по-видимому, превосходил всех,— его красноречие,— оказалось имеющим менее цены, чем простая бесхитростная речь святого Сергия. Преподобному достаточно было немногих слов, самых обыденных, чтобы заставить воспрянуть духом впавшего в уныние великого князя.

Быть может, Митяй не достиг бы этого целою долгою и витиеватою речью.

Настроение духа его было настолько скверным, что князь заметил:

— Что с тобой, отец Михаил?

— Так. Что-то не по себе...

— А я как у отца Сергия побываю, так словно выкупаюсь душой. Легко этак становится...

— То же и со мною,— вставил слово святой Алексий,— душеспасительна и преполезна с ним беседа.

Митяй ничего не сказал.

— Стар становлюсь я, немощи одолевают,— промолвил, помолчав, владыка.— Скоро отзовет меня Господь к Себе...

— Ради нас Бог продлит тебе дней,— проговорил Димитрий Иоаннович.

— Смерть готов всегда приять с радостью,— продолжал святитель,— одно только заботит, кому отдам кормило корабля церкви. Вот, ежели бы отец Сергий охоч был приять митрополию!

— Подумаем еще, владыка,— сказал великий князь и посмотрел на Митяя.

«Отец Сергий никак не согласится,— думал Димитрий Иоаннович,— скромен он, своей обители не покинет, в шум мирской не перейдет. Кого наречь владыкой? Жаль, что отец Михаил белый поп... Будь он черноризец, то по кончине Алексия,— чего Боже сохрани,— я бы его поставил владыкой... Да из белого попа в черноризца обратить недолго...»

Он опять взглянул на Митяя и повторил:

— Подумаем еще, владыка, подумаем...

Отец Михаил уловил на себе взгляд великого князя, и в его голове мелькнуло:

«Что на меня так князь смотрит?»

Вслушался в сетованье святого Алексия и подумал:

«Будь я монахом, может, великий князь меня бы устроил во владыки».

От такой мысли даже дух захватило.

Он сам себя остановил:

«Нешто можно».

Но честолюбивая дума продолжала шептать:

«А почему нельзя? Стал же я из простого Спасского попа великокняжеским духовником и печатником. Могу стать и большим. Чернецом стать долго ль?»

Дурное настроение духа как рукой сняло.

Он продолжал размышлять.

«Захочет великий князь, велит постричь. А там уговорит владыку благословить меня... Благословенного и собор выберет. Может быть, очень может быть... Надобно на счет этого после легонько удочку закинуть...»

Он совсем повеселел.

Митрополит, между тем, продолжал говорить с великим князем о том, как было бы желательно, чтобы владыкой стал святой Сергий и почему именно.

— Да окромя отца Сергия кому и быть? — вставил свое слово Митяй.

И стал расхваливать добродетели преподобного, его святую жизнь; говорил, что и его, Митяя, тянет к такой же затворнической и подвижнической жизни.

XIII

ТОРЖЕСТВО ЛИТВИНА

Князь тверской принял с распростертыми объятиями Некомата, привезшего ему ханский ярлык на великокняжение.

Он сделал Суровчанина своим боярином и первым советником, подарил вотчину и снабдил казною.

Но Некомат мало радовался княжеской милости. Его и совесть мучила да и все устраивалось не так, как ему хотелось.

Быть боярином у Михаила Александровича это значит вместе с ним вступать в битвы, начальствовать полками, а Суровчанини вообще был мало склонен к ратному делу. Вотчинка, подаренная князем, была не из важных и находилась вблизи московского рубежа, так что, в случае войны Твери с Москвой, должна была подвергнуться разорению от войск великого князя.

Некомат ожидал спокойной и «сладкой» жизни, а вышло не то.

Князь Михаил Александрович остался довольно равнодушным к тому, что хан задержал у себя Вельяминова. Дело относительно получения ярлыка на великое княжение удалось; этого только и нужно было. А какая судьба постигла Ивана Васильевича,— это князя мало интересовало.

К тому же голова его была занята иным.

Он теперь раздумывал, дожидаться ли войск Ольгерда и Мамая, или самому начать войну с Москвой до их прихода.

Благоразумие требовало дождаться их.

Но Михаилу Александровичу вспоминался совет Свидригойлы; самому начать военные действия, чтобы вызвать к себе на помощь Литву.

К тому же не терпелось помериться с врагом. Ждал до лета, потом кинулся в войну очертя голову. Война началась с того, что тверской князь послал своих наместников в Торжок и сильный отряд к Угличу.

Со своей стороны Димитрий Иоаннович, предвидя серьезную войну, быстро собрал значительные силы.

Под его знаменами собрались все князья удельные, служащие Москве: составилось многочисленное ополчение.

Великий князь быстро перешел в наступление.

Он взял Микулин; его воеводы заполонили войсками всю область Михаила; все города были взяты, многие жители уведены в плен.

5 августа Димитрий Иоаннович осадил Тверь, в которой заперся тверской князь.

Тверитяне показали себя мужественными воинами и верными подданными своего князя. Они бились на стенах, как львы, отражая приступы московских ратников, несли все тягости осады, но не сдавались.

Три недели продолжалась осада. Михаил Александрович надеялся на помощь от литовцев и узнал от гонца, сумевшего пробраться через московский стан, что они шли.

Он воспрянул духом, но ненадолго — вскоре он узнал, что литовцы отступили.

Мудр, хитер и осторожен испытанный вождь литовский старый Ольгерд.

Он сдержал свое княжеское слово, двинул войска на помощь своему шурину, но идет медленно, опасливо, озираясь, как волк.

Ему нужна прежде всего польза Литвы.

А получит ли он здесь пользу?

У него есть верные люди, которые все разведают, обо всем донесут.

И вот от них он узнал, что Михаил едва держится в Твери с остатком войска, что все города его взяты неприятелем, область опустошена...

Он узнает далее, что под стягами Димитрия находятся со своими отрядами князья ростовские, Иоанн смоленский, Василий ярославский, Федор моложский, Федор белозерский,

Василий кашинский, Андрей стародубский, Роман брянский, Роман новосильский, Семен оболенский, Иоанн торусский; кроме того многочисленная новгородская рать находится в пути.

Приходилось иметь дело с сильным противником.

Литовцев ждет свежее, готовое к бою войско, а они утомлены походом.

Если Литва победит, что принесет ей победа? А если победят русские, тогда все литвины сложат свои головы под их мечами и померкнет слава литовского княжества.

Замечает Ольгерд, что и воины его идут неохотно.

Видно, между ними уж прошел слух, что впереди их ждет не добыча, не грабеж, а лютая битва, может быть бойня,— бойня в чужой стране, за много верст от родных лесов.

Понурились литвины...

Все чаще и чаще берет раздумье Ольгерда, идти ли вперед, не вернуться ли назад?

В один из таких моментов подъехал к нему Свидрибойло.

— Не погневайся, великий князь,— заговорил он, укорачивая поводья коня,— выслушай своего верного слугу.

— Говори. Ты знаешь, я тебя всегда рад слушать с охотой,— ответил Ольгерд.

— Князь! Не лей напрасно литовскую кровь: прикажи вернуться в Литву.

— А помощь Михаилу?

— Пусть делает, как знает. Разве ты виноват, что он начал войну, не дождавшись тебя. Вдвоем легко можно бы справиться с Москвой, а теперь придется биться нам одним: ведь у Михаила скоро не останется ни одного ратника. Его дела теперь не поправишь. Ты знаешь, я его друг (при этих словах Свидрибойло не смог удержать злой улыбки) и хочу ему только добра, но... теперь я вижу, что ему нельзя помочь... Посмотри ты также на наших литвинов — еще мы не прошли и половины пути, а они уже истомлены. А впереди ждет сильное войско московское. Подумай, князь, и послушайся совета доброго слуги.

— Подумаю,— коротко ответил Ольгерд.

На другой день литовцы отступили.

Разумеется, не таков был старый литовский князь, чтобы послушаться совета кого бы то ни было, если совет этот шел вразрез с его намерениями и желаниями. Но в данном случае Свидрибойло посоветовал как раз то, чего хотелось князю. Поэтому-то и вышел приказ отступать.

Но Свидрибойло приписывал отступление литовцев тому, что он к этому побудил великого князя. Он обманывался, литвины удалились бы обратно и без его совета: слишком умен и осторожен был Ольгерд.

Свидрибойло думал иначе и злорадствовал:

— Отомстил моему ворогу! Сам я подбил его начать войну, сам же теперь устроил, что помощи не будет от Литвы. Конец ему: князь Московский его в бараний рог свернет. Будет другой раз Михаил знать, как оскорблять литвина!

Узнав об уходе литвинов — о чем мстительный Свидрибойло постарался сообщить,— князь тверской понял, что он пропал.

Как бы долго ни затянулась осада, она должна была окончиться взятием Твери.

Он был близок к отчаянью.

Однажды, в обеденную пору, в княжьи хоромы прибыл епископ тверской Евфимий.

Он застал князя обедающим. Скудность в Твери доходила до того, что обед самого Михаила Александровича состоял только из кваса с накрошенным в него черствым хлебом.

— Отведай моего хлебца, владыка,— предложил князь.

— Благодарствуй, я хлебца уж пожевал. Я инок, мне к скудости не привыкать, а тебе-то, княже, я чай, тяжело.

— Что поделаешь? Плохо все это кончится... Возьмет Димитрий Тверь... Нам не отсидеться...

— И я так думаю, княже,— печально промолвил Евфимий.— По сему делу я к тебе и приехал. Надо бы людей пожалеть: смотри, как мухи, валятся от голода. Да и не пора ли перестать проливать кровь христиан православных...

— Так что же мне покориться, что ли? — сурово спросил князь.

— А почему ж нет.

— Не быть сему! — вскричал Михаил Александрович.

— Гордыня в тебе говорит, княже. Ради нее ты не жалеешь крови людской. Русские русских режут да убивают, брат встал на брата... Горе и грех. Ведь сам говоришь, что Твери не устоят, так чего же зря народ губить.

Князь угрюмо молчал.

Владыка поднялся и уехал недовольный.

Прошло несколько дней.

Голод в Твери усилился. Начались болезни. Половина ратников была переранена. Когда князь глядел на их печальные лица, он понимал, что и они не надеются на спасение Твери.

Приходилось Михаилу Александровичу выбирать одно из двух: умереть или покориться.

Бледный и сумрачный, приехал он как-то в келью Евфимия.

О чем-то поговорил, и несколько времени спустя из широко распахнувшихся тверских ворот двинулось шествие.

Впереди шел с крестом в руке владыка, окруженный духовенством, несшим иконы; за ними следовали знатнейшие бояре...

Не было в шествии только князя Михаила и Некомата.

Суровчанин в это время сидел у окна в светлице, облокотясь на подоконник и сжав руками голову, и смотрел на выходящее из города шествие. Лицо его было искажено страхом...

Шествие было замечено из московского стана, и там все пришло в движение.

Доложили Димитрию Иоанновичу, и он выехал навстречу процессии, окруженный ближними боярами и отрядом телохранителей.

Великий князь понимал, что обозначает это посольство:

— Мир! Тверь сдается!

Поравнявшись с владыкой, Димитрий Иоаннович соскочил с седла, обнажил голову, набожно перекрестился и приложился к кресту.

— Мир ти, княже! — приветствовал его Евфимий.

Потом заговорил:

— Великий княже! Господь Бог, по грехам нашим, попустил восстати брату на брата, пролить кровь христиан православных. Долго ли будет сие? Не больше ли пристало соединиться вкупе всем мужам тверским и московским в братском лобзании? Князь тверской послал меня к тебе. Молит он, чтоб ты забыл гнев свой и смягчил сердце свое. Просит он у тебя милости и мира.

— Сам я рад миру. Легко ли кровь проливать христианскую? Пойдем, отче, в стан мой. Там согласимся, на чем мир ставить.

В тот же день был заключен мирный договор.

Великий князь выказал великодушие к побежденному, не предъявив особенно тягостных условий.

Главнейшим было: Михаил признавал Димитрия Иоанновича старейшим братом, обязывался «не искать великого княжения» и не вступать, помимо согласия великого князя, в союз с Литвою и Ордой, и, при нашествии врагов на Москву, помогать московскому князю.

Так разрушились мечты Михаила Александровича о великом княжении и об обессилении Москвы.

Во всех храмах служили благодарственные молебны, народ радовался миру, а князь тверской ходил мрачнее тучи.

Ему хотелось на ком-нибудь сорвать гнев.

Как раз ему попался на глаза Некомат; известно, что «у сильного всегда бессильный виноват»; как было и в данном случае. Князь напустился на Некомата, что это он с Вельяминовым втянул его в войну, что через них теперь разорена тверская область...

Одним словом, Суровчанин и Иван Васильевич являлись причиною всех бед.

В заключение князь прогнал его и запретил показываться ему на глаза.

Через несколько дней ранее подаренная Некомату вотчинка была отобрана «под князя».

Суровчанин поселился в убогом домике и жил на накопленные деньги, ежедневно опасаясь, что его с позором выгонят из Твери.

Однажды в город вошел изнеможенный, одетый в рубище путник.

Он прошел к княжему дворцу и остановился у высокого резного крыльца, ожидая, кому сказать, чтобы о нем доложили.

Выглянул княжий челядинец и спросил:

— Что надоть?

— Не узнал меня? Еще бы,— промолвил путник и потом добавил надменным тоном, столь не соответствовавшим его одежде: — скажи князю, что я, Иван Вельяминов, из Орды убежал и к нему вернулся.

Челядинец ушел.

Стосковалось в Орде сердце Ивана, хотя жилось ему там хорошо и хан его ласкал. Потянуло на Русь. Выбрал он ночку потемнее, коня побыстрее и ускакал. Татары его не нагнали. Но зато несколько дней спустя он попался в руки грабителей, которые отобрали казну и коня. Дальше ему пришлось идти пешком, питаться именем Христовым.

Теперь он был у цели. Конец страданиям! Он уже видел себя сидящим в княжеском тереме за кружкой душистого медового сбитня.

— Князь приказал тебя помелом гнать,— насмешливо промолвил вернувшийся челядинец,— и чтобы ты ему на глаза не смел показываться.

— Меня!? Я?..— пробормотал Иван Васильевич, вздрогнув от гнева.

— Да, да... Ну, проваливай!

Шатаясь вышел он с княжего двора.

Голова кружилась. Дух захватывало от стыда и бессильного бешенства.

Несколько придя в себя, он кое-как, расспрашивая прохожих, узнал, где живет Некомат, и добрался до его лачужки.

В худом, бледном человеке он едва признал Суровчанина.

С своей стороны тот подивился происшедшей в Вельяминове перемене.

Некомат приютил своего «приятеля», дал ему кров, пищу, хорошую одежду, но целыми днями изводил его упреками, что причиной всех бед он — Вельяминов,— сманивший Суровчанина в Тверь и насуливший горы золотые.

Гордый Иван Васильевич, не хотевший в былое время смириться перед великим князем, теперь должен был смиренно выносить попреки купца Некомата.

Но вскоре «приятелям» пришлось распрощаться с Тверью.

Однажды князь Михаил как-то увидел проходивших мимо дворца Вельяминова и Некомата. На их беду князь был не в духе.

— Что эти Иуды здесь шатаются,— сказал он ближнему боярину,— Да и жить в Твери им незачем: изменники своему князю изменят и мне. Прогнать их!

На другой день «приятелям» сообщили княжий приказ: выехать немедля из Твери и не показываться в тверской области под опасением смертной казни.

К вечеру они уехали, сами не зная, куда укрыться от гнева князей тверского и московского.

XIV

ГОРДЫНЯ И СМИРЕНИЕ

Святой митрополит Алексий, достигший восьмидесятипятилетнего возраста, стал чувствовать приближение скорой кончины.

Смерти святитель ждал с радостью, но его смущала только мысль о том, как бы найти достойного преемника. Все помыслы его в этом направлении останавливались на преподобном Сергии Радонежском, но, как нам уже известно, он опасался, согласится ли на это смиренный игумен.

Однажды, будучи уже слабым, чтобы самому ехать в Троицкую пустынь, митрополит через посланного попросил святого Сергия прибыть к нему для беседы.

Преподобный не замедлил прибыть. Во время последовавшей затем беседы святой владыка вдруг приказал келейнику принести золотой, осыпанный драгоценными камнями крест, подаренный митрополиту константинопольским патриархом.

Взяв крест, владыка сказал святому Сергию:

— Приими сие.

Преподобный поклонился до земли и промолвил:

— Прости мя, владыка, яко от юности не был златоносец, в старости же наипаче хощу в нищете пребывати.

— Вем, возлюбленне,— ответил митрополит,— яко сие исправил еси, но сотвори послушание, приими от нас подаваемое тебе благословение...

С этими словами владыка возложил на него крест и продолжал:

— Ведый буди, блаженне, чего ради призвах тя и что хощу о тебе устроити. Се аз, Богу ми вручившу, содержах российскую митрополию, елико. Он хотяше, ныне же вижду себе к концу приближившася, токмо не вем дне скончания моего. И желаю обрести мужа, могуща по мне пасти стадо Христово. Не обретаю же такового, кроме тебе единого. Вем же, яко и великодержавнии князи, и вси людие мирстии и духовнии, даже до последнего, возлюбят тя и не иного кого, точию тебе на престол той требовати будут, яко достойна суща. Ныне убо, преподобне, приими сан епископства, по моем же исходе престол мой восприимеши.

Преподобный в ответ на это снова поклонился земно и сказал:

— Прости мя, владыко, яко выше моея меры хощеши ми наложити бремя, но сему невозможно быти никогда же. Кто бо есмь аз грешный и худейший паче всех человек, да такова сана дерзну коснутися?

Святой владыка приложил все усилия, чтобы уговорить Сергия. Он говорил долго и убедительно, но смирение преподобного не позволяло принять столь высокого сана.

Он повторял только:

— Выше меры моея есть делое сие!

Владыка понял, что всякие уговоры бесполезны, с печалью прекратил речь об этом и с миром отпустил преподобного.

Святитель сообщил великому князю о своей неудачной попытке и с грустью заметил, что не знает, кого благословить себе преемником.

Димитрий Иоаннович сам задумался над этим вопросом, который все чаще и чаще становился предметом его разговоров с Митяем.

Отец Михаил при этом говорил, что с таким делом нельзя спешить, что надобно выбрать действительно достойнейшего, человека большого ума и испытанного благочестия.

Говоря так, царский печатник думал:

«Ах, зачем я не инок! Может, быть бы мне владыкой!..»

У великого князя тоже зрела эта мысль. Ему казалось, что умный, красноречивый духовник его был бы на своем месте на митрополичьем престоле.

В это время случилось событие, послужившее на пользу Митяю.

Спасский архимандрит Иоанн, достигший глубокой старости, удалился от дел, возложив на себя обет молчания.

Димитрий Иоаннович решил на место спасского архимандрита поставить отца Михаила.

Когда впервые об этом сказал ему великий князь, Митяй притворно запротестовал. Он сказал, что недостоин принять ангельский чин, а тем более сан архимандрита.

Говорил это... и боялся, как бы Димитрий Иоаннович не передумал.

Но великий князь не любил менять раз принятых решений. Не обращая внимания на притворное несогласие Митяя, он приказал привести его силою в монастырь и постричь в монашество.

Вместе с клобуком на Митяя сразу же надели и мантию архимандрита.

Это было нечто беспримерное. Народ весьма этому дивился:

— До обеда был бельцом, а после обеда стал архимандритом.

Отец Михаил, слыша эти толки, смиренно опускал глаза, говоря:

— Воля княжая.

Но сердце его было полно радости. Зная любовь к себе великого князя, он был почти уверен, что станет митрополитом всея Руси.

Честолюбивые мечты его осуществлялись все более, и по мере того возрастала и его гордыня. Он уже видел себя на митрополичьем престоле, уже строил планы, как он будет повелевать.

Царский духовник стал иноком; теперь Димитрий Иоаннович мог просить святого Алексия благословить Митяя себе преемником.

Великий князь так и сделал. Он просил об этом сперва через бояр, потом сам.

Но здесь ему пришлось столкнуться с твердой волей святого Алексия.

Своим прозорливым умом владыка видел, кто такой Митяй. Он знал, что это умный, но суетный человек, стремившийся только к благам земным.

Не такого пастыря хотел видеть владыка во главе русской церкви.

Великий князь просил благословить Митяя, митрополит не соглашался.

Наконец, после долгих настояний, чтобы не обидеть Димитрия Иоанновича, святитель очень незадолго до своей кончины согласился благословить отца Михаила, но условно:

— Я благословляю его,— сказал владыка,— если Бог, патриарх и вселенский собор удостоят его править российскою церковью.

Митяй торжествовал.

Между тем святитель заметно слабел телом. Кончина его была близка.

Святой владыка предугадал ее. Однажды за великим князем пришел посланный от митрополита, сказавший:

— Владыка зовет тебя, княже... Хочет благословить тебя перед своею кончиной. Предузнал он ее.

Димитрий Иоаннович поспешил к святителю.

Он нашел святого Алексия сидящим на постели. Выражение лица его было светлое, глаза смотрели радостно.

— Отзывает меня Господь к себе,— тихо сказал он князю,— путь мой земной свершен... Отхожу я из сей жизни в жизнь вечную и оставляю тебе, также и сыну твоему, благоверному князю Василию, и всем потомкам твоим мир и благословение Божие до века...

Он благословил коленопреклоненного и растроганного великого князя. Потом сказал:

— Исполнь, чадо, прошение мое... Погреби тело мое не в храме, ибо сего не мню себя достойным, а у стены храма, за алтарем... Должно мне еще свершить последняя моя...— добавил он и попросил свести себя в церковь.

Облачившись в священные одежды, он, пересиливая немощь тела, отслужил в последний раз литургию.

Телесная слабость не помешала святому архипастырю горячо молиться за покидаемую им паству.

Вернувшись в келью после богослужения, святитель слег в постель и более не вставал.

Кончина его была тихая и светлая.

Он скончался к утру 12 февраля 1378 года, благословив всех присутствовавших и сам начав читать молитвы на исходе своей души.

Едва разнеслась весть об его кончине, народ толпами потянулся к монастырю, собрались все епископы, бояре и князья.

Отовсюду неслись глухие рыдания.

Усопший святитель лежал, как живой, с светлым, спокойным лицом.

С печальным надгробным пением понесли на смертном одре тело святого Алексия в созданный им храм Архистратига Михаила, положили во гроб и погребли в приделе Благовещения Богоматери.

Великий князь помнил смиренный завет святителя о погребении его вне стен храма, но по совету епископов решился отступить от него.

Впоследствии, много лет спустя, явились мощи святого Алексия.

Произошло это таким образом.

Верх церкви, в которой был погребен святитель, обрушился. Разбирая основание для восстановления церкви, нашли тело святого Алексия нетленным, вынули его из земли и, после отстройки нового храма, поставили в нем раку с мощами святителя.

Вскоре последовал около раки целый ряд чудесных исцелений.

Слух об этом быстро разнесся, и к мощам святого стали стекаться толпы верующих со всех концов русской земли.

Из многих чудес, совершавшихся и совершающихся от мощей святителя, некоторые крайне достопримечательны.

Так, например.

Трехлетний мальчик Димитрий умер от неизвестной изнурительной болезни. Родители принесли умершего сына в церковь и, после совершения божественной литургии, поставили гроб у раки святого Алексия, так как братия пошла в трапезу.

Они оставили на время его там и сами также удалились. Когда же родители вернулись, чтобы отнести гроб на кладбище, то какова была их радость при виде младенца ожившим и спокойно играющим у священной раки!

Сравнительно недавно, в 1864 году, был удивительный случай исцеления от слепоты одного воспитанника гимназии.

«Обучаясь в Т. гимназии,— рассказывал исцеленный *,— от усиленных ли занятий, или от ревматизма, как полагали врачи, или от другой какой причины, я с год тому назад совершенно ослеп левым глазом. Вслед затем стало и постепенно слабеть зрение в правом глазу, так что месяцев за семь тому назад я перестал видеть и этим глазом. С продолжением времени болезнь более и более увеличивалась, и, наконец, глаза мои обложились непроницаемою тьмою: зажженная свеча, поднесенная на самое близкое расстояние к глазам, не производила на них действия или не более давала света, как какой представляется закрытым глазом среди ясного дня.

Врачебные пособия в Т. оказались безуспешными.

По предложению некоторых особ, принявших во мне участие, один знакомый, отправляясь в Москву, взял меня с собою, чтобы посоветоваться относительно моей болезни со здешними врачами.

Прибыли мы в Москву в конце прошлого года и остановились в гостинице, а потом товарищ мой, уезжая из Москвы, поместил меня у знакомых ему г-ж Х., в доме протоиерея. Лучшие московские врачи, в том числе окулисты, внимательно рассматривали мои глаза, совещались между собою и, наконец, признали мою болезнь неизлечимою.

Больно было моему сердцу.

Потеряв надежду на помощь человеческую, я стал посещать соборные храмы столицы и прикладываться к святым мощам, в надежде, не получу ли облегчения свыше.

Второго числа января этого (1864) года отправляюсь с

---

* «Душеполезное Чтение», 1864 г., апрель, стр. 145.

одною из госпож Х. в Чудов монастырь и там при мощах святителя Алексия выслушал литургию, прося ходатайства этого угодника Божия, причем отслужил молебен.

При выходе из церкви, признаюсь, подумал, что другие от мощей получают исцеление, а мне грешному и мощи не помогают. Едва мелькнула эта мысль, как я правым глазом увидел свет и в радости говорю спутнице:

— Я вижу.

Видя, что она не обратила внимания на мои слова или не поняла их, снова говорю:

— Я вижу.

Не понимая или не веря этому, она спрашивает:

— Что же ты видишь?

Я в доказательство стал указывать на предметы, какие были перед нами.

С этой минуты я вижу правым глазом так, как видел до болезни.

К большей моей радости, присовокупляю, что со вчерашнего числа, именно на обратном пути из Чудова монастыря, я стал видеть и левым глазом, хотя еще не совсем ясно».

Таковы поразительные чудеса, происходящие у мощей святого Алексия.

Поистине это был избранник Божий — пастырь добрый, готовый положить душу за овцы своя, и истинный русский муж, готовый пожертвовать жизнью для блага родины.

XV

ЧЕСТОЛЮБЦЫ

Всех опечалила кончина святого Алексия, исключая Митяя.

Его честолюбие, ранее тайное, сразу вырвалось наружу. Он, ссылаясь на условное благословение покойного святителя, назвал себя наместником митрополичьего престола, самовольно надел белый клобук и первосвятительскую мантию, с источниками и скрижалями, взял владычний посох, печать, казну, ризницу митрополита, поселился в митрополичьем доме и начал судить самовластно дела церковные.

Он был высокомерен и даже груб.

Еще не имея посвящения, но дерзко облачившись в первосвятительские одежды, Митяй осмеливался требовать к ответу епископов.

Ему, как митрополиту, служили владычные бояре и так называемые отроки, священники присылали в его казну оброки и дани.

Честолюбие его, казалось, могло бы быть удовлетворено. Но на самом деле вышло не то. Он нашел кару в своей собственной гордыне. Он теперь перестал выносить малейшее противоречие, малейший косой взгляд. Все должно было падать перед ним ниц и смиряться. Но его поступки вызвали порицание со стороны многих.

Конечно, и святой Сергий не мог не порицать самовольства и гордыни Митяевой.

Узнав об этом, Митяй пришел в ярость. Он поносил святого, грозил уничтожить его обитель, когда станет митрополитом, говорил, что Сергий завидует ему и хочет сам занять митрополичий престол.

Когда о словах отца Михаила довели до сведения преподобного, он не стал возражать на них, но только заметил пророчески:

— Не получит он желаемого престола владычнего, понеже гордостью обуян... Не узреть ему и Царьграда *...

С отъездом в Византию Митяй не спешил, так как желал, чтобы прежде этого великий князь приказал русским святителям посвятить его, Митяя, в епископский сан.

Димитрий Иоаннович готов был исполнить желание своего любимца.

Был созван собор епископов. Воля князя была законом: епископы готовы были посвятить отца Михаила, согласно с Номоканоном.

Но нашелся человек, который восстал против такого решения.

Это был Дионисий, епископ суздальский.

Он был умен, и быть может, честолюбив не меньше Митяя. Ему думалось, что митрополичий престол достойнее отдать кому-нибудь из епископов, а не «новоуку в монашестве» архимандриту Михаилу, притом и по летам сравнительно молодому.

Шевелилась мысль и о том, почему бы не сесть на митрополичий престол самому ему, Дионисию.

---

* Четьи-Минеи и Никон. Лет. IV, 234.

Как бы то ни было, он поднял голос против посвящения отца Михаила.

— В нашей церкви русской испокон века в обык вошло и в закон, что епископов ставит токмо митрополит... Так должно быть и ныне.

Митяй возражал, но кое-кто из епископов согласился с Дионисием, а затем, к большому неудовольствию отца Михаила, на сторону епископа суздальского склонился и великий князь.

Состоялось постановление: не посвящать отца Михаила в епископы, а ехать ему в Царьград и там принять, буде вселенский патриарх пожелает, не только епископскую благодать, но и сан русского митрополита.

Это не входило в расчеты Митяя: он все же оставался по степени благодати ниже многих из тех, кем повелевал или, по крайней мере, хотел повелевать.

Епископский сан ему был нужен для того, чтобы хоть несколько оправдать своеволие, с которым он надел мантию: ведь благодать почиет одинаковая, что на епископе, что и на митрополите. Разница только в внешних знаках сана и в степени власти над пасомыми.

Отец Михаил рвал и метал. Преосвященный Дионисий ликовал.

Оба они, конечно, и не сознавали, какая пропасть лежит между ними и почившим владыкой Алексием со смиренным Троицким игуменом Сергием.

Первые двое жаждали власти и влияния, вторые — только спокойствия духа и угождения Богу.

Первые, несмотря на духовный сан, были люди, «к земле приверженные», вторые — стремились к небу.

Святой Алексий, если и ценил сам митрополита, то только потому, что, будучи главой российской церкви, можно было делать много добра.

Святой Сергий прямо отказался от первосвятительского престола, считая, по своему смирению, себя недостойным этого.

А архимандрит Михаил сам добивался первосвященнического сана, не рассуждая, достоин или нет занять его, стремился к нему только ради удовлетворения своего самолюбия, только ради «благ земных».

Епископ Дионисий соревновал ему, сам хотел этой чести и завидовал «новоуку».

Помыслы его были помыслами «земными».

Митяй не простил Дионисию его противодействия.

Как-то он потребовал его к себе.

Тот приехал, но гневный.

— Почему ты до сих пор не был у меня на поклоне? — спросил отец Михаил.

— Почему? Зачем мне быть у тебя? — насмешливо ответил Дионисий.— Я епископ, а ты архимандрит; как же ты можешь повелевать мною?

Митяй задрожал от злости.

— Стану митрополитом, так не оставлю тебя и попом! — воскликнул он.

— Ладно, я еще допрежь сего поеду к вселенскому патриарху и позову тебя на суд. Тебе, может, из-за твоего своевольства не увидеть и престола митрополичьего.

Они расстались открытыми врагами.

Митяй передал эту беседу князю и сообщил, конечно, об угрозе суздальского епископа.

— Не уедет. Не пустим,— успокоил Димитрий Иоаннович своего духовника.

Он приставил стражу к жилищу Дионисия.

Однако тот упросил заступиться за него преподобного Сергия.

Святой игумен упросил великого князя, и, за порукой преподобного, епископ был выпущен на свободу.

Не оправдал Дионисий доверия святого инока и великого князя: он тайно выехал из Москвы в Константинополь.

Следом за ним поспешил в путь и отец Михаил, пробыв наместником уже полтора года.

Князь отпустил его с лаской и в знак особой милости дал ему несколько белых хартий, снабженных великокняжеской печатью, чтобы он воспользовался ими в Константинополе сообразно с обстоятельствами: или для написания грамоты от имени Димитрия, или для займа денег.

В путь отправился Митяй с большою пышностью: сам великий князь, все бояре старейшие, епископы проводили его до Оки. В Грецию отправились с ним три архимандрита, один московский протоиерей, несколько игуменов, шесть митрополичьих бояр, два толмача и, как выражается летописец, целый полк разных людей под главным начальством «большого» великокняжеского боярина Юрия Васильевича Кочевина-Олешинского.

Путь был долог и небезопасен. Великого князя очень беспокоила судьба его духовника.

Но вскоре внимание его было отвлечено тою грозой, которая надвигалась на Русь: ополчались татары.

XVI

КНЯЖИЙ ЛЮБИМЕЦ

Вернемся теперь к давно оставленным нами Андрею Алексеевичу Корееву, верному Матвеичу и его племяннику Андрону.

Долог и труден был их путь до Рязани по осенней непогоде. Но, как бы то ни было, они добрались благополучно, если не считать того, что нежное лицо Андрея загрубело от воздуха и одежда его, прежде довольно щегольская, загрязнилась и порядочно поистрепалась на ночлегах где и как попало.

С трепетно бьющимся сердцем приближался юноша к стенам Рязани.

«Что-то будет? Как-то дядюшка встретит? Брат отца, своя кровь...» — думал он, въезжая в ясный полдень в ворота города.

Он думал, что будет трудно разыскать дядю, но оказалось наоборот: первый же встречный указал его хоромы неподалеку от княжих.

— Он, знать, здесь большой человек,— не то подумал вслух, не то спросил старик Матвеич.

— И-и! Первеющий. Правая рука князева,— последовал ответ.— А вы откуда?

— Из Москвы.

— Из Москвы-ы?! Чудно.

— А что?

— Нет так. Наш князь Москву не больно любит... Епифан-от Степаныч теперя дома: видал я, как он с церкви вернулся.

Прохожий пошел своим путем-дорогой, а наши путники двинулись к палатам Епифана Степановича.

Ближний боярин князя Олега рязанского, Епифан Степанович Кореев, смачно обедал — любил старик побаловать себя сладким куском! — когда слуга доложил:

— Спрашивают тут твою милость.

— Кто такие? — с неудовольствием спросил хозяин.

— Не ведаю... Один будто из господ, только поистрепавшись, а двое холопов. Хотели тебя немедля видеть, да я не смел пустить.

— И ладно. Не вставать для всякого из-за обеда. Скажи, коли надобность ко мне, пусть подождет.

С этими словами он отпустил слугу.

И еще добрый час жена Епифана Степановича выбирала ему на «тарель» — большая редкость в то время даже у богачей — лучшие куски. Наконец он приказал подать себе квасу и лениво добавил:

— Позови этого... ну, приезжего...

И тут же сказал жене:

— Ты уйди, мать.

Она вышла.

Старый Кореев был мужчина лет под шестьдесят, тучный, крепкий, краснощекий, с чуть заметною проседью в темно-русых волосах. У него были маленькие, заплывшие жиром глаза, часто вспыхивавшие хитрым огоньком, широкое, несколько скуластое лицо, обрамленное темною бородой, и целая шапка волос, набегавших на виски и редких на темени.

В ожидании пришельца он имел вид спесивый и недовольный.

Андрей Алексеевич, поджидая, когда его примет дядя, рисовал в своем воображении сцену свидания и расспрашивал Большерука про Епифана Степановича.

Тот отвечал очень коротко:

— Нравен малость... А ничего... Известно, боярин...

Юный Кореев нарочно не сказал докладывавшему холопу, кто он, желая поразить Епифана Степановича радостною неожиданностью.

Он готовился кинуться к дяде в объятия, расцеловать его. Ведь родной брат отца!

Сердце юноши жаждало теплой привязанности.

Когда холоп наконец позвал его в покои, следом за Андреем Алексеевичем увязался Матвеич на том основании, что дяденька может не признать племянника.

Молодой человек вошел в светлицу с улыбкой, но она разом скрылась при виде недовольного и холодного лица дяди.

Он остановился посреди комнаты. Большерук выглядывал из двери.

— Что надоть? — промолвил хрипло Епифан Степанович.

Андрей Алексеевич почувствовал, что робеет.

— Я, видишь ли, к тебе... Потому самому, что я тебе племянник...— пробормотал он.

Старый Кореев широко открыл глаза и подался вперед.

— Как ты сказал? — воскликнул он.

— Племянник твой...

Епифан Степанович, видимо, изумился, потом окинул внимательным взглядом убогую одежду юноши и, приняв равнодушный вид, проговорил:

— А у меня и племянника-то никакого нет.

— Как нет! — раздался голос Матвеича, и сам верный слуга влез в комнату.— Вот те раз, нет! Меня, чай, признаешь? Матвеич я, ключник братца твоей милости Алексея Степаныча... А это его сынок Андрей Лексеич. Как же не племянник?

Старый Кореев поглаживал бороду и соображал.

— Может, и в сам деле братнин сын. Старик-от будто знаком... А только парень, по всему видать, голяк. Кормиться ко мне, чай, приехал... Знаю я роденьку. Брат Лексей у меня точно был... Да помер... А ты, парень, уж как-то больно чудно, словно с неба свалился... Народ же ноне разный бывает... Опять же и вид у тебя...— сказал дядюшка, барабаня пальцами по столу и презрительно косясь на племянника.

Юноша стоял обескураженный. Но Матвеич разом смекнул, в чем дело.

— Вид, оно верно... Да где ж в дороге купишь? А денег есть... Нако-сь,— промолвил он, вынув кошель, и, раскрыв, показал его старому Корееву.

Потом добавил обиженным тоном:

— Не объедать тебя племяш приехал.

Тут впервые Андрей Алексеевич познал магическую силу золота.

Лицо Епифана Степановича разом прояснилось, глаза забегали.

— Да разве я потому, что объедать? — заговорил он, словно оправдываясь.— Нешто я для родного когда пожалею? Ни в жисть. А токмо нельзя же и так. Пришел человек незнаемый и говорит: я твой племяш. Стало быть, и верить? Я человек старый, видал виды. Опаска завсегда нужна... Теперь я вот смекаю, что и в лице у него с покойным Алешей есть сходственность... Вот уж который год, как в землю убрался. Идет время...

Он принял грустный вид.

Затем внезапно добавил:

— Ты скидай кожухчик свой, племянничек... Да поцелуемся...

Он встал и распростер объятия.

Несколько времени спустя Андрей Алексеевич сидел уже

за столом, уставленным яствами, и рассказывал дяде о своих приключениях.

Дядя вздыхал, качал головой и, подливая племяннику наливки, говорил:

— Мы тебя здесь устроим.

Потом выплыла к столу и тетушка Анна Петровна — жена хозяина дома.

Беседа пошла родственная, задушевная.

Матвеич и Андрон в то же время угощались в поварне.

— Я тебя к князю введу, мне это ничего не стоит,— сказал в разговоре дядя,— а только тебе надо приодеться. Да вот как раз (он хлопнул себя по лбу), хорошо на память пришло, у меня есть чуга * новешенька... Малость только тебе перешить. Хочешь, продам? Возьму что мне стоила. Не наживать же с тебя стану.

Андрей Алексеевич охотно согласился.

На этой чуге дядюшка нажил с племянника ровно в полтора раза ее стоимости.

Через несколько дней юный Кореев был представлен князю Олегу.

Он стал бывать в княжих палатах ежедневно, но князь мало обращал на него внимания, пока не произошел один случай.

Это случилось уже глубокой зимой, когда сковались реки и снег залег на полях и в лесах толстым слоем, а морозы стояли такие, что дух захватывало.

К стуже русскому человеку не стать привыкать. Он даже любит крепкий морозец и подшучивает над ним.

Старый князь Олег,— несмотря на преклонный возраст, богатырь телом,— не был исключением из числа соотечественников.

Мороз не заставил его отказаться от любимого развлечения: медвежьей травли. Князь любил поднять медведя и взять его на рогатину. На сей раз медведь залег недалеко от города: тем более трудно было устоять Олегу, чтобы не побаловать себя.

Рано утром в назначенный день отправились на охоту князь, несколько приближенных, в числе которых находился и старый Кореев, и Андрей Алексеевич, увязавшийся за дядей.

Доехали до опушки, там слезли с коней и пошли по сугробам.

---

* Чуга — узкий кафтан без воротника и с короткими рукавами.

Князь Олег, старец с лицом патриарха, казалось, помолодел. Держа рогатину в руке, он шел впереди всех и беспрестанно спрашивал у мужика-вожака, скоро ли берлога.

Наконец он успокоился: вожак, остановясь у снежного сугроба, навеянного к пню, остановился и сказал:

— Здесь зверь.

Стали вонзать копья в снег, чтобы поднять медведя.

Долго не удавалось.

Потом сугроб словно дрогнул, разом рассеялся, и огромный медведь, взбешенный, страшный, с приставшими комьями снега к косматой шерсти, с ревом поднялся из берлоги.

Все отпрянули, кроме князя Олега, который спокойно ждал зверя.

Медведь заметил неприятеля и, вытянувшись на задних лапах и помахивая передними, пошел на князя, переваливаясь, как утка.

Князь стоял неподвижно.

Зверь совсем близко. Слышно его хриплое, порывистое дыхание.

Вдруг Олег поднял рогатину и вонзил в медведя.

Оружие глубоко впилось. Удар был верен. Кровь оросила снег.

Медведь заревел, полез дальше, все глубже всаживая в себя рогатину и стараясь переломить ее лапой, что не позволял ему сделать охотник, зорко следя за его движениями.

Но притупился ли от лет взгляд князя рязанского, утратилась ли былая ловкость, только он сделал неловкий поворот.

Послышался треск ломающегося дерева, рогатина переломилась, как тонкая щепка.

Медведь насел на Олега и подмял под себя.

Все испуганно ахнули.

Не потерялся только один Андрей Алексеевич. Одним прыжком очутился он рядом с медведем, поднял обеими руками свой бердыш, с которым никогда не расставался, и страшным ударом раскроил череп медведю.

Зверь тяжелой массой рухнул на снег.

Старый князь лежал без чувств. Его подняли, потерли виски снегом и осмотрели. Было несколько ран, но не опасных: кости были целы.

Придя в себя, князь пожелал видеть своего избавителя.

Он обнял юношу и поцеловал.

— Отныне ты будешь другом моим,— сказал он.— Первым после меня станешь в княжестве рязанском.

Олег сдержал слово. Несмотря на молодость, Андрей Алексеевич занял место ближнего боярина князя. С ним князь часто советовался и осыпал милостями.

Время быстро пролетало.

Юный Кореев уже мог бы вернуться на родину и отнять вотчину у опекуна, но медлил возвращением: не хотелось покинуть князя, полюбившего его, как сына, и он привязался к семье дяди.

Мало видевший ласк, сирота полюбил Епифана Степановича. Тот казался ему таким добрым, истинно родным.

Старый Кореев часто говаривал:

— Ты считай меня заместо отца. Полюбился ты мне.

Порою он даже точно заискивал перед молодым племянником.

Неопытный и доверчивый юноша принимал все за чистую монету, и привязанность его с каждым днем возрастала.

Раз как-то Матвеич, поймав Андрея Алексеевича наедине, сказал:

— Юлит старый... Ты смотри не очень-то того. С опаской.

Молодой Кореев только подивился такому предостережению.

Часто он думал, что как хорошо сделал, приехав в Рязань. Там, дома, были только косые взгляды вотчина да порою ложная ласка, а здесь он нашел искреннюю ласку и родную семью.

Что он служит чужому князю, это его не беспокоило. Олег, казалось, был верен Димитрию Иоанновичу, а, кроме того, Андрей Алексеевич ведь не приносил клятвы служить рязанскому князю. Он мог свободно «отъехать», когда хотел.

На душе юноши было мирно и спокойно.

Даже мстительные замыслы относительно Некомата оставили его.

Молодой Кореев был очень незлобив от природы и если способен был причинить кому-нибудь зло, так только разве в минуту крайнего раздражения.

— Бог с ним,— решил он,— на чужое позарился — свое потеряет.

Он и не думал, что уж эта мысль сбылась, что Некомат почти нищий, мечется из княжества в княжество, из Руси в Литву, вечно боится за свою жизнь и проклинает судьбу и кается в содеянном.

Если бы Андрей Алексеевич встретил в это время своего опекуна, то, вероятно, простил бы его.

А действительно ли все были такими добрыми и ласковыми вокруг юного Кореева?

Юноша не знал, что князь рязанский, открывая перед ним якобы все помыслы, глубоко таит свою ненависть к великому князю московскому и уже ведет переговоры с Литвой, где в то время место умершего Ольгерда занял жестокий Ягелло. Старый Олег был не чета Михаилу тверскому. Наученный опытом, он понимал, как трудно тягаться с Москвой. Он притворялся другом Димитрия, а втайне строил козни и выжидал удобного случая, чтобы скинуть личину.

Юноша не знал, что все эти ласковые вельможи потому только ласковы, что к нему милостив князь. Они заискивают, низкопоклонничают перед ним, но в душе ненавидят «мальчишку».

Юноша не знал наконец, что сам этот такой добрый дядя завидует ему. Если бы он мог проникнуть в думы дяди, когда тот бродил ночною порой, как тень, по покоям, одолеваемый бессонницей, то ему пришлось бы и огорчиться и испугаться.

Он тогда понял бы, что первый враг его — дядя.

Епифан Степанович не находил себе покоя с тех пор, как его племянник попал в милость к князю.

Его ела зависть.

— И надо мне было его принимать к себе да к князю вводить!.. Ведь он оттер меня, оттер... Хитрющий мальчишка!

Так рассуждал старик Кореев, забывая, что только случай помог его племяннику выдвинуться.

— И как он ловко меня обошел! Дяденька да дяденька... А теперь и ступай к нему на поклон. За свою глупость кланяйся безбородому парнишке. Ну, да все до поры до времени. Княжая-то любовь переменчива. Придет и моя пора, и он мне поклонится. Хотелось бы мне очень у князя супротив него поработать... Сшибить, значит...

Но планы, каких козней он ни строил, все выходили неудачны.

Надобно было так устроить, чтобы исподволь и незаметно: чтобы и князю невдомек, что со зла говорит, да чтобы и племянник не узнал.

Лучшим средством, в конце концов, ему показалось действовать через других.

Он повел игру осторожно.

То с тем, то с другим посмеется над племяшом:

— А пустая еще у него голова! Какой он княжий советник. Ему бы голубей гонять.

А этот — «тот или другой» — уж в свою очередь постарается разнести:

— Вот что сам дядя родной говорит...

А после, может быть, и до князя дойдет.

Олег, может быть, только поморщится.

Но ведь поморщится раз, поморщится два, а там и покосей взглянет на Андрея Алексеевича.

Быть может, в княжей голове даже мелькнет:

«И в самом деле, какой он советчик».

Пускал дядюшка в ход и другое средство.

Нет-нет, да кому-нибудь и шепнет про племяша скверную небылицу и сам же тут прибавит:

— Мне не верится... Да и ведь душа болит: родной племянник, своя кровь. Да как не поверить? Человек сказывал верный.

И пойдет кружить сплетня.

И вновь поморщится старый Олег.

А юноша в простоте сердечной ничего не подозревал. Продолжал думать, что вокруг него все добрые, славные.

Он не замечал даже того, что князь с ним становится холодней.

Тем тяжелей ему было, когда грянул гром с безоблачного неба.

Конечно, безоблачным оно только ему казалось.

XVII

ВЕРНЫЙ РАБ

1380 год застал Андрея Алексеевича все там же, в Рязани, и все в прежнем положении якобы княжего любимца.

Протекшие со времени его приезда годы наложили на него свой след: он развился и физически, и умственно. Теперь он глядел богатырем-мужчиной с умным и приветливым взглядом.

Но душевные качества его не изменились: он все так же был незлобив и доверчив.

Зато и дядя с приспешниками не изменили себе: они сплели вокруг молодого Кореева целую сеть интриг, которой не замечал только сам Андрей Алексеевич.

Он даже думал, что князь Олег по-прежнему расположен к нему. Правда, старый князь выказывал ему некоторые внешние признаки внимания, но сердцем уже сильно остыл к нему. Подвиг, совершенный Андреем, с течением времени словно потускнел.

В уме князя даже являлись соображения такого рода:

— Что ж особенного сделал он? По башке медведя бердышем хватил. Не он бы, так другой кто-нибудь сие свершил бы: нешто дали бы зверю сломать меня?

Князь почти жалел, что так приблизил к себе Кореева.

— Человек он московский... Может, тут у меня соглядатничает... Надо б его верность попробовать...

Проба пришла само собою, неожиданно и для Олега, и для молодого Кореева, и разом перевернула все.

Однажды Андрей Алексеевич застал князя чрезвычайно веселым, смеющимся.

С Олегом сидел Епифан Степанович, находившийся тоже в прекраснейшем расположении духа.

Андрей Алексеевич с некоторым удивлением посмотрел на престарелого князя, которого редко видел не то что смеющимся, но даже улыбающимся. Обыкновенно он бывал серьезен, почти угрюм.

Заметив взгляд юного Кореева, князь спросил:

— Что смотришь? Что я больно весел? Еще бы, братику, когда великий — от князь-то твой московский, умник-то-разумник, у нас вот где.

Он указал на сжатый кулак.

— В кулачок зажат! — в тон Олегу сказал старый Кореев.

Молодой человек только пожал плечами в недоумении.

— Не понимаешь? — с усмешкой спросил Олег,— так я тебе скажу: на Русь идет хан Мамай с великою силой.

— Боже мой! — воскликнул Андрей Алексеевич.

— Подожди. А с другой стороны идет Ягайло тоже с силой немалой...

— Мало одной беды.

— А с третьей — хе-хе! — я на Димитрия — свет Иваныча нападу.

Молодой Кореев не верил ушам.

— Ты?!

— А конечно же я. Буде прикидываться-то мне. Надо правду молвить: московский князь мой ворог старинный. Я смирился, да молчал до поры до времени. Он меня, чай, другом считает. А мне Рязань дороже его дружества. Хан Мамай обещал, как завоюет, всю Русь отдать мне с Ягайлом. Мы поделим... Татары уж у Дона... Ягайло уж перешел рубеж... О сем я сам — хе-хе! — известил Димитрия: «Идет, дескать, Мамай на тебя и на меня и Ягайло тоже, но еще рука наша крепка — справимся!». Пусть догадается, что я ему ворог. До последнего не надобно ему сего знать. Как литовцы подойдут поближе, тогда иной будет сказ.

Андрей Алексеевич слушал князя в каком-то остолбенении.

Дядя смотрел на него и язвительно улыбался: он предвидел, что теперь племяннику «карачун».

Наконец молодой человек вымолвил побледневшими устами:

— Стало быть, ты вместе с неверными будешь бить христиан православных?

— Что ж, коли это на пользу Рязани,— пожав плечами, ответил князь.

— А греха-то не боишься? — пылко воскликнул Андрей Алексеевич.— Побойся Бога, стар человек!

— Молоденек учить меня,— угрюмо отозвался князь.

— Да, да... Где уж тебя учить. Прощай, княже! Я сейчас уезжаю.

— Еще как-то тебя пу́щу.

— Я вольный человек, тебе креста не целовал.

— Это все равно. Пустить тебя, чтобы ты пошел Димитрия обо мне оповещать. Ловок! Нет, братику, пока все не кончится, останешься ты у меня.

— Не останусь.

— Будто?

Олег сделал знак Епифану Степановичу.

Тот быстро вышел и вскоре вернулся с двумя дюжими молодцами с копьями в руках.

— Возьмите-ка этого паренька. Ты, Епифан, устрой его как следует.

— Будь надежен, княже!

Стражи взяли молодого Кореева за руки.

Он мог бы их обоих отбросить одним махом, но понял, что сопротивляться бесполезно.

— Дашь ты Богу ответ, князь! — сказал он.

— Ладно, ладно, проваливай!

По его знаку юношу увели.

Дядя, действительно, распорядился как следует: по его приказанию племянника посадили в подклеть с одним окошком и толстою дубовою дверью. Туда бросили ему ворох соломы, поставили воды да кусок хлеба.

— Посиди, княжий любимчик! — насмешливо промолвил Епифан Степанович и захлопнул дверь.

Андрей Алексеевич стал узником.

Он кинулся на солому, изнеможенный, разбитый от страшного душевного потрясения.

— Злодеи, злодеи!..— шептал он.

Сердце было полно скорби и негодования.

По временам ему хотелось кричать, неистовствовать. Он вскакивал, озирался, как пойманный зверь, потом бессильно падал на солому.

— Боже мой, не попусти злодеям свершить злое дело! — воскликнул он, воздев руки.

И, встав на колени, начал молиться.

Он молился долго и горячо. Молился не за себя, а за Русь, за князя Димитрия.

Жарка была его молитва и подействовала на него успокоительно.

В сердце воскресла надежда, почти уверенность, что Бог не допустит торжества «злых изменников».

Утомительно долгие потянулись часы заключения.

Настала ночь, но сон бежал от глаз узника; рассвет, скудно проникавший сквозь оконце, застал его не спящим; он полулежал, подперев рукой голову, в глубокой задумчивости.

В обеденную пору опять ему кинули хлеба, сменили воду; он забыл и думать о пище.

Обошел кругом свою темницу... Толстые стены, дубовая дверь... Нет, не выбраться отсюда...

А у дверей, наверно, еще страж.

Снова смерклось, наступала уже вторая ночь его заключения.

За дверью послышался говор.

— Нашел время! — ворчливо сказал один голос.— На ночь глядя притащился.

— А ежели мне раньше было не свободно? — ответил второй.— А ты должен: у меня княжий пропуск. Вишь, печать!

— Разглядишь в этакой тьме. Да иди, только долго хороводиться не дам.

Послышался звук отодвигаемого затвора. Дверь приоткрылась, и кто-то вошел. Кто — этого сразу разглядеть молодой человек не мог.

— Андрей Лексеич! Сердешный,— сказал посетитель.

Кореев сразу узнал голос Матвеича.

Кинулся к нему и замер в его объятиях.

— Времени вадить нельзя,— зашептал Большерук.— Надевай-кась скорей...

Он снял с себя и накинул на Кореева широкий и длинный мужицкий армяк.

— Роста-то мы одного... Смекаешь... Шапку на... Да дай-кась я тебе бороду прицеплю... Из пакли я сделал, вчера всю ночь сидел... В темноте он не разберет.

Андрей Алексеевич понял, в чем дело.

Сердце его радостно забилось.

Но тотчас же его охватило беспокойство за участь Матвеича.

— А как же ты? Тебе ведь беда будет.

— Э, родненький! Я стар человек, пожил. Коли и казнят — не беда... Тебе еще жить надо, а мне...

— Почто я тебя губить стану? Я не пойду.

А сердце мучительно просило воли.

— Не пойдешь, так я сейчас сторожа придушу и все равно сгину ни за грош,— решительно промолвил старик.

Потом добавил:

— Андрон одвуконь ждет тебя за углом у твоего дома... А твоя казна вот, возьми.

Он сунул ему кошель.

— Ах, Матвеич, родимый, за тебя боязно!

— Не бойся, соколик. Ну, иди с Богом!

Старик закрестил его.

— Скоро, что ли? А то и тебя здесь запру,— послышался окрик сторожа.

Большерук толкнул Кореева к дверям, а сам упал на солому.

Дрожащей рукой схватился юноша за скобу, распахнул дверь и вышел, низко наклонив голову.

Караульный тотчас же запер за ним дверь.

Обман удался.

Не спеша, чтобы не подать подозрения, тяжелой старческой походкой побрел он к своему дому среди сгустившейся темноты.

За углом чуть вырисовывались силуэты двух коней и всадника.

— Андрон! — тихо позвал Кореев.

— Я-сь! — откликнулся всадник.

Сбросить армяк и привязную бороду было делом одной секунды.

В следующую он был уже в седле.

— Дядька там? — спросил Андрон.

— Там...— ответил Андрей Алексеевич, и голос его дрогнул.

— Помоги ему Господь! Едем!

Выбрались за город единственными открытыми ночью воротами, где их было окликнули.

Андрей Алексеевич ответил, что холопы они боярина Епифана Кореева и посланы им по спешному делу.

Их не стали расспрашивать и пропустили, а лиц в темноте нельзя было разглядеть.

За городом поехали с возможной быстротой.

В душе Кореева было смешанное чувство радости и скорби. Он радовался свободе и печалился о верном Матвеиче.

Обман, конечно, не замедлил открыться. Страж, принесший по обыкновению, воды и хлеба, тотчас же узнал подмену.

Узнав о побеге узника, Олег пришел в ярость. За Андреем Алексеевичем была послана погоня, но не имела успеха.

Участь Матвеича была решена князем коротко:

— Казнить!..

Старик был безмятежно спокоен, когда его вели на казнь.

Он помолился, поклонился на все стороны и сам положил на плаху седую голову.

Сверкнул топор. Раздался глухой удар.

И верного раба не стало.

XVIII

ЗА ВЕРУ И СВОБОДУ

Страшное бедствие грозило Руси.

Надвигалось новое Батыево нашествие, усугубленное еще нападением Литвы.

Вся Русь всколыхнулась от мала до велика.

У всех на устах было:

— Хан Мамай идет воевать Русь с силой несметной!

И сила его, действительно, была несметна.

Он, злобясь на московского князя за его «непослушание», за его смелость противостоять татарам с оружием в руках, когда они вторгались в русские пределы, и побеждать их, долго готовился к нашествию. Он хотел одним ударом решить судьбу великого княжества Московского, могущество которого росло не по дням, а по часам.

Он собрал огромное войско; ядро его составляли татары, а к ним присоединились как подданные хана или его наемники половцы, харазские турки, черкесы, ясы, буртаны, т. е. кавказские евреи, армяне и крымские генуэзцы.

Перед походом Мамай объявил на совете мурз:

— Иду по следам Батыя истребить Русь. Казним рабов строптивых, обратим в пепел их города и села и церкви христианские. Разбогатеем русским золотом.

Не довольствуясь тем, что имел сильную рать, Мамай еще заключил союз с Ягеллой, условившись напасть на Русь одновременно с ним. Не побрезгал он даже союзом с Олегом рязанским.

Казалось, он соединил все, чтобы покорить Русь.

Он в этом был уверен и в конце лета 1380 года двинулся со своими полчищами к пределам России.

Олег не солгал, сказав Корееву, что известил Димитрия о нашествии Мамая и Ягелло: он, действительно, это сделал, продолжая играть роль коварного друга.

Горячо молился в этот день великий князь во храме Богоматери.

По лицу его катились слезы, когда он шептал:

— Не за себя молю, Заступница, а за сынов земли русской... Если нужна моя жизнь, да возьмет ее Господь и спасет русскую землю!..

Молясь, он мог плакать, как женщина, но когда настала пора действовать, он явил себя сильным мужем.

Немедленно по всем городам полетели гонцы с приказом:

— Сбираться к Москве, спасать землю русскую!

Поднялась Русь, как один человек.

Рвение выказалось необычайное. В несколько дней вооружались и поднимались целые города.

Отовсюду, со всех концов России, стремились к Москве тысячи ратников, готовых умереть за веру и свободу.

И простой смерд, и знатный боярин — равно взялись за оружие, чтобы встать в ряды бойцов.

Как лавина, катящаяся с горы, вырастала могучая рать.

Шум оружия не умолкал на улицах Москвы.

Юноши и мужи готовились к бою, старцы и женщины молились. Храмы были переполнены... Горячие моленья не умолкали.

Нищих не было в это время в Москве; на них щедрою рукою сыпались благотворения.

Подавая милостыню, говорили:

— Помолись за спасенье Руси.

Димитрий Иоаннович устраивал полки, а, устроив их, поспешил в Троицкую обитель — помолиться со святым Сергием.

Преподобный, истинный сын русской земли, ободрил князя.

— Иди против татар не колеблясь... Бог поможет тебе... Многие падут честно, но сломится сила татарская... Ты вернешься здрав и невредим и с победою.

Целый день пробыл Димитрий Иоаннович в монастыре, укрепляясь беседой с преподобным.

Прощаясь с великим князем, святой игумен благословил его, окропил святою водою бывших с ним военачальников и дал ему в помощь двух иноков: Александра Пересвета, бывшего в мире брянским боярином и храбрым воином, и Ослябю.

На их схимы он велел нашить изображение креста и сказал, напутствуя:

— Вот оружие нетленное, да служит он вам вместо шлемов!

Вскоре после поездки великого князя в Троицкую лавру было назначено выступление.

Медленным, но неудержимым потоком потекли войска к воротам Флоровским, Никольским, Константино-Еленским *...

Духовенство сопровождало их с иконами и хоругвями, окропляло святою водой.

День был ясный.

Солнце сверкало на оружии ратников, золотило ризы духовных, озаряло толпы плачущих женщин и детей.

---

* Ворота эти давно заделаны; они были первыми от Флоровских или Спасских ворот к Москве-реке.

В это время великий князь молился в храме Михаила Архангела над прахом погребенных там его предков.

Когда он вышел, ему подвели боевого коня.

Он обнял жену рукою, уже одетою кальчужной рукавицей, вскочил на коня и промолвил:

— Бог наш заступник!

И поскакал к воинству.

Словно невиданная, сверкающая река заструилась, разлилась на много верст среди полей.

Звенит оружие, ржут кони... Висит в воздухе плач проезжающих... Но все меньше и меньше их... Редеют толпы...

Вот уж воинство одиноко стремится вдаль от родных святынь...

Молчаливы воины. Их лица серьезны, и спокойным огнем горят очи...

В Коломне с Димитрием Иоанновичем соединились полки полоцкие и брянские, предводимые сыновьями умершего Ольгерда, перешедшими на службу Москве — Андреем и Димитрием.

Великий князь под Коломной сделал смотр воинству.

В стройном порядке растянулась необозримая русская рать.

Тихо шелестели десятки знамен, осеняя стальные шеломы и шишаки.

Гордо реяло черное знамя великокняжеское с золотым изображением Спасителя.

В рядах оказалось более ста пятидесяти тысяч воинов.

Князь с умилением смотрел на этих ратников, поднявшихся на защиту родины, и печалью сжималось его сердце при мысли, скольким из них не придется больше увидеть своих оставленных отцов, матерей, жен и детей.

Он медленно проезжал вдоль рядов, когда вдали показались два запыленных всадника.

Они подскакали к великому князю. Один из них поспешно спрянул с коня и приблизился к Димитрию Иоанновичу.

— Великий княже! — сказал он с низким поклоном,— я боярский сын Андрей Кореев... Был в Рязани и убег оттуда... Привез скорбную весть — князь рязанский Олег изменил тебе... Он заодно с Мамаем и Ягайлой...

Лицо великого князя омрачилось.

— Хоть и грустна весть, но спасибо тебе... Был некогда на Руси Святополк Окаянный, таким же хочет, видно, быть и князь Олег.

Он тронул коня.

— Великий княже! — воскликнул Кореев,— окажи милость, дозволь мне с холопом в войско стать.

— Становись, друже,— с ласковой улыбкой ответил князь.

Андрей Алексеевич и Андрон тотчас вмешались в ряды воинов.

XIX

МАМАЕВО ПОБОИЩЕ

Русское войско подошло к Дону, за которым стояли татары.

Возник вопрос: переходить реку или нет?

Голоса в великокняжеском совете разделились. Между тем, надобно было спешить, чтобы не дать Мамаю соединиться с Ягайлой.

Во время этого разногласия и разномыслицы прибыл в стан Димитриев запыленный, усталый инок и вручил великому князю письмо.

Оно было от преподобного Сергия. В нем святой игумен убеждал Димитрия Иоанновича не медлить и идти вперед.

— Час суда Божия наступает,— сказал великий князь и отдал приказание перейти реку.

7 сентября 1380 года воды Дона кишели людьми.

В брод, вспеняя воду, переправлялась конница. По наскоро устроенным мостам тяжко шагала пехота. На том берегу, у речки Непрядвы, стали готовиться к битве.

Наступила ночь на восьмое сентября, сырая и холодная. Андрей Алексеевич, кутаясь в широкий кожух, грелся у костра и думал:

«Увижу ли я завтра после боя те звезды, что теперь мерцают? Или примет меня мать сыра земля? Сбудется по воле Божьей, а не по моей. А драться буду лихо».

На противоположной стороне костра сидел Андрон, тихо мурлыча песню.

— Бердыш я наточил, а сабля востра ли? — проговорил Кореев и, вынув саблю, попробовал лезвие.

— Туповато. Как думаешь, надо поточить, Андрон?

— Малость надо. Это я тебе живой рукой.

И, раздобыв мягкий камень, холоп принялся за работу.

— Может, завтра кого-нибудь из нас и не будет,— промолвил Андрей Алексеевич.

— А не стоит об этом думать. Помирать когда-нибудь надоть. Завтра али через десять годов... А за веру да за родную землю как не постоять! И ей-ей я не думаю, убьют меня али нет. Что Бог даст — и шабаш.

Речь согласовалась с выражением его лица: оно было совершенно спокойно.

Кореев помахал саблей и вложил ее в ножны.

— А что, боярин, не спать ли? — спросил Андрон.

— А и доброе дело. Давай соснем.

И оба, повернувшись ногами к костру, поплотней завернулись, поудобнее устроили головы на седлах, заменявших подушки, и чуть не одновременно заснули.

Подобно им поступили и все другие воины Димитриевой рати, разбросанной на пространстве нескольких верст. У всех была одна мысль:

«За родную землю постоять — постою. А жив ли, мертв ли буду,— на то Божья воля».

Чуть блеснул свет — загудели рожки.

Проснулись, оправились московские ратники и начали стягиваться к знаменам.

Наступил грозный день 8 сентября 1380 г.

Остатки войска перешли за Дон и присоединились.

Близился час битвы.

Димитрий Иоаннович построил войско в боевой порядок и определил, какой части войска быть в засаде, под начальством внука Калиты князя Владимира Андреевича, Димитрия Михайловича волынского и некоторых других.

В этот отряд попали и Кореев с Андроном.

Кореев был в прекрасной кольчуге и стальном островерхом шеломе; на левой руке он держал щит, в луке седла высилось копье, у пояса покачивалась сабля, а в правой руке он держал тяжелый бердыш, похожий на тот, его любимый, но, к его сожалению, оставленный в Рязани, которым он убил медведя.

Вооружение холопа Андрона было гораздо проще, но «основательнее».

Его господин ссудил кольчугой, но грубой и тяжелой; однако ее едва ли мог бы перерубить топор. Щита и шлема он совсем не имел, а вооружен был огромным топором на длин-

ном древке и ужаснейшей дубиной, способной расплющить, казалось, любого панцирника.

Оба они были на конях и находились в первых рядах «засадного» отряда.

Войско тронулось навстречу врагу.

Дорогой Кореев не раз сетовал, что довелось ему попасть в «засадный» отряд.

«Другие будут драться, а я только смотреть буду»,— думал он.

Но как бы то ни было, приходилось покоряться.

В шестом часу дня достигли Куликова поля — обширной равнины, кое-где с небольшими холмами — и увидели неприятеля.

Казалось, на них ползло не войско, а туча «тьма тем».

Оба войска остановились на расстоянии нескольких десятков сажен одно от другого.

Русский засадный отряд ушел за лесок, откуда наблюдал за ходом сражения, оставаясь скрытым от татар.

Наступил страшный момент ожидания.

В обеих громадных ратях наступило на мгновение безмолвие.

Говор смолк.

Слышен был шелест стягов и звон вынимаемого оружия.

Тишина.

Вдруг из неприятельских рядов выделился огромный всадник и поскакал к русскому войску.

Ему навстречу вынесся на белом коне инок Пересвет, наклоня копье.

Темная схима реяла, как крылья; наконечник копья блестел, как серебро.

Миг и... два пустых коня побежали по равнине.

Инок лежал мертв, татарский богатырь бился в предсмертной агонии.

Два потрясающих рева вырвалось с той и с другой стороны.

Великий князь, Ослябя и многие военачальники ринулись вперед.

За ними двинулась вся рать, сверкнув доспехами.

Татары кинулись навстречу, как бешеные...

Все смешалось среди пыли и неистовых криков.

На пространстве десяти верст триста тысяч людей убивали друг друга.

Пощады не было.

Тетивы луков молчали. Резались грудь на грудь.

Страшное, кровожадное чувство поднималось в груди Кореева.

«Скоро ли?» — думал он, судорожно сжимая бердыш и жадными глазами следя за ходом битвы.

И вдруг, о ужас! Часть русской рати поколебалась. Татары врезались в нее, как железный клин в мягкое дерево,— рубят, гонят...

Сейчас они возьмут великокняжеские знамена.

Димитрий волынский промолвил:

— Теперь и нам пора!

Засадные полки вылетели из-за леса и, как буря, ударили на неприятеля.

Татары дрогнули, стали отступать, сперва медленно, потом все скорее.

Еще раз собрались, чтобы дать отпор, не выдержали и вдруг побежали, охваченные ужасом.

На бегу оборачивались, наносили удары и... вновь бежали.

Мамай, наблюдавший с кургана, заскрежетал зубами и воскликнул:

— Велик Бог христианский!

И поскакал с поля битвы.

Кореев ринулся в битву вместе со всеми.

Его бердыш работал на славу, а рядом тяжко бухала дубина Андрона.

Вдруг какой-то конный татарин сбоку ударил его бердышем.

Удар был неожиданным, и юноша не успел прикрыться щитом. Шлем погнулся, в глазах потемнело.

Он лишился сознания и рухнул с коня...

Когда он пришел в себя, то первое, что увидел, было лицо Андрона.

— Слава Богу, ожил,— сказал холоп.— А я и вижу: ран нет, только обмер. Давай водой поливать. Стать можешь?

— Могу. А что татары?

— Фью, татары! Я чай, и теперь не опомнились. Вконец побиты.

Андрей Алексеевич разом вскочил на ноги.

Он был на небольшом пригорке. Внизу колыхалась победоносная русская рать. Великий князь в страшно иссеченных латах проезжал по рядам.

Отовсюду неслись радостные крики.

Юноша закрестился часто-часто. Потом побежал с холма, вмешался в ряды и сам закричал неистово-радостно.

Верный Андрон ему вторил густым и хриплым басом.

XX

РАЗБИТЫЕ НАДЕЖДЫ

Отец Михаил, двинувшийся в путь с такою пышностью и почти уверенный в получении ему престола митрополита всея Руси, подвергся очень скоро, почти на первых порах, опасности.

Едва путешественники миновали рязанское княжество, как в степях половецких были приведены в ужас: на них надвигалось громадное скопище татар.

Однако в данном случае Митяй явил себя истинным, сильным духом мужем.

Он один не растерялся.

Зная, что татары уважают русское духовенство, он выехал вперед и закричал надвигавшимся хищникам, что хочет видеть хана.

Имя хана было священно в глазах татар.

— Он хочет к хану — поведем к нему!

И Митяя с его спутниками привели в город Сарай.

Отец Михаил и там сумел повести себя так, что новый главный хан Тюлюбек,— номинальный владыка, так как всем управлял Мамай, его дядя,— выдал ему ярлык для безопасного проезда. Ярлык этот начинался очень оригинально: «Мы, царь Тюлюбек, дядиною Мамаевою мыслию»...

После этого наши путники благополучно добрались до Крыма, там сели в Кафе на корабли и поплыли к Константинополю.

И плавание было также благополучно.

Недалеко было до царственной Византии, когда Митяй вышел на палубу освежиться.

У него болела голова и во всем теле чувствовалось недомогание.

Лучи месяца серебрили воду. Вдали, как неясный призрак, возносился купол святой Софии — Божьей Премудрости...

Константинополь был виден. Цель была почти достигнута. Патриарх его непременно посвятит. Разве он осмелится

ослушаться главного своего благотворителя, великого князя московского?

Быть может, через несколько дней он, отец Михаил, будет уже стоять в храме св. Софии, как признанный и посвященный митрополит всея Руси.

Что-то кольнуло в боку... Что-то ударило в голову...

И вдруг Митяй покачнулся, ухватился за борт и крикнул слабым голосом:

— Помогите!

Его свели, вернее снесли, в каюту. Он впал в беспамятство и к утру скончался, когда корабль был у самого Константинополя.

Его похоронили в предместье Галате.

Таким образом предсказание святого Сергия исполнилось.

Судьба другого честолюбца — епископа Дионисия — оказалась также печальной.

Он достиг Царьграда, но так как не имел княжей грамоты, был наречен не митрополитом, а только архиепископом; в судьбище же ему входить не пришлось, так как Митяй умер.

Дионисий вернулся в Россию.

Великий князь полюбил его за ум и начитанность и на этот раз сам отправил его к патриарху, чтобы тот нарек его митрополитом всея Руси.

Воля княжая была исполнена. Дионисий получил сан митрополита всея Руси, но... на возвратном пути его остановил князь киевский Владимир Ольгердович.

Дело в том, что в Киеве находился ранее поставленный митрополит Киприан, которого, однако, Димитрий Иоаннович не хотел признавать общерусским духовным владыкой.

Теперь так же поступил с Дионисием и князь киевский:

— У Руси есть уже митрополит — Киприан. Тебе незачем ехать!

Дионисий был взят под стражу и скончался в неволе.

Было позднее утро.

Пахомыч, несколько постаревший, но значительно раздобревший, сидел в барских палатах и, выслушивая доклады ключников, зычно покрикивал.

За несколько лет он совсем вошел во вкус владения большою вотчиною и чувствовал себя уже не холопом, а настоящим господином.

Тем более, что и копеечка про черный день была отложена немалая.

Вбежал холоп растерянный, не то обрадованный, не то испуганный, и крикнул:

— Боярин прибыл.

На мгновение стало молчание.

— Полно врать-то. Какой боярин,— проговорил Пахомыч, и в то же время лицо его стало покрываться бледностью.

Но в это время послышались в сенях шаги, и вошел Андрей Алексеевич в сопровождении Андрона.

Пахомыч сидел остолбенев. Потом встал, качаясь, и пробормотал:

— С приездом-с!

— Спасибо. А ключником у меня Андрон. Он тебя и усчитает.

Андрон и усчитал так, что долго потом Пахомыч кряхтел: все незаконно нажитые деньги были от него отняты.

Это была единственная «месть», которую себе позволил молодой человек.

На Кучкове поле, где ныне монастырь Сретенский, толпилось неисчислимое множество народа.

Из-за голов видна была большая плаха на высоком лобном месте, в ночь построенном.

— Ведут! — послышался говор.

Вели Некомата и Вельяминова.

Перебегая то в Литву, то на Русь, они нигде не могли найти себе пристанища; наконец они вернулись — больно уж потянуло их — в родные места, а тут их и накрыли.

Изменникам нет пощады. Решение княжее было — казнь.

Некомат шел угрюмый. Вошел на эшафот, молча перекрестился и положил голову под топор.

Вельяминов, ставший красавцем еще пуще прежнего, сказал:

— Братцы! Много я грешил. Грех до добра не доводит... Вот чего я добился... Живите, как Бог велит. Простите, православные!

Поклонился во все стороны, перекрестился и склонил свою прекрасную голову.

Много лет прошло с тех пор. Кто помнит о Митяе, о Некомате и Вельяминове, о князе Михаиле?

Имя Олега, если и запомнилось, то память о нем не добрая.

Но кто не знает о Димитрии Донском? Кто не знает святых угодников Алексия и Сергия, к мощам которых стекаются тысячи богомольцев?

В чем разница первых и вторых? В том, что первые служили *только себе* и стремились к благам земным, а вторые — *отринули себя,* служили *общему благу* и стремились к Богу.

И еще через много веков не умрет память о Димитрии Иоанновиче, и всегда будут стекаться толпы к святым мощам Алексия и Сергия.

ЗАМОРСКИЙ ВЫХОДЕЦ

Часть первая

I

ПОД РОПОТ ВОЛН

Июнь месяц 1582 года. Жарко, только легкий ветерок с моря слегка смягчает жару. На темно-синем небе ни облака, и солнце, жаркое южное солнце, заставляет сверкать серебром глубокие воды Адриатики, огнем гореть купол святыни, красы и гордости Венеции — собора Св. Марка. Зной загнал венецианцев в их палаццо и лачуги, на каналах и лагунах не видно гондол, и зеленоватые воды не плещут, не бьются о мраморные ступени дворцов. Но море шумит. Волна за волной набегает на берег, взбивается, падает и, ропща, скатывается обратно. Это не просто море шумит — это говорит оно: так кажется тому молодому человеку, который вот уже с добрый час лежит на берегу, прислушиваясь к звукам волн. Он широкоплеч и, по-видимому, высок ростом. Ветер слегка шевелит его сильно отросшие золотистые волосы. Такого же цвета борода едва начинает расти. Лицо густо загорело, но в таких местах, которых не коснулся загар, кожа бела, как у северянина. Не югом веет от него. О северном происхождении говорят его слегка выдавшиеся скулы, глубокие голубые глаза. Юноша красив, но красота его своеобразна — она должна кидаться в глаза, когда он находится в кругу стройных, тонких черноволосых и смуглолицых венецианцев.

Молодой человек подпер рукой голову и задумчиво смотрит на море. Ему давно знаком язык моря, язык волн. Еще мальчиком выучился он понимать его. В детстве оно рассказывало ему чудные сказки о чудовищах, которые копошатся на тинистом дне, о волшебном дворце морского владыки, о подводных садах, полных разных чудес, о полях, по которым проносятся стада золотистых рыб, испуганных смехом и иг-

рами зеленокудрых и белых, как мрамор, дочерей морского царя... Теперь оно говорит об ином. Плещут, бьются, скатываются в море волны с мелодичным, печальным ропотом, и слышится юноше в этих звуках чья-то далекая скорбная песня, такая же мощная, необъятная и в скорби своей, как это зелено-синее море, и находит эта песня отзвук в его сердце, и хочется ему также запеть о своей тоске непонятной, о своей боли сердечной, неведомо откуда взявшейся; набежит посильней порыв ветра, загудит, зарокочет море — и новое ему чудится: кажется, что он слышит шум далекого леса, что это ели и сосны, колыхаясь своими вершинами, зовут его к себе, грозят и стонут, видя, что он не повинуется их призыву... А на сердце все тоскливей становится...

Тяжелая рука легла на плечо юноши. Он вздрогнул и обернулся. На него смотрели лукавые глаза его приятеля Беппо.

— Что это ты уединился, Марко? — заговорил Беппо, стройный черноволосый венецианец с веселыми черными глазами.— А я думал тебя встретить у Джованни. Прихожу — говорят, и не был... Кстати, тебе поклон от Бригитты,— продолжал приятель Марка, располагаясь рядом с ним.

— Я прямо из дома направился сюда. Здесь так хорошо! Как море поет! — ответил Марко, не глядя на приятеля и пропустив мимо ушей, случайно или намеренно, замечание о поклоне Бригитты.

Беппо поглядел на море.

— Да, шумит,— заметил он равнодушно.— Скучно, Марко!

Он зевнул и потянулся.

— А скажи, что ты думаешь о Бригитте? — внезапно вымолвил он.

Легкая краска появилась на лице Марка.

— Она — хорошая девушка,— пробормотал он.

— Хорошая, только хорошая! Да разве можно так говорить о Бригитте? Она — первая красавица среди здешних девушек, она... Да что говорить! Разве тебя расшевелишь? У тебя, должно быть, в жилах не кровь, а вода! — вскричал Беппо с таким жаром, что его приятель невольно улыбнулся.

— Ну, уж и вода!

— Не вода, я ошибся, а снег, лед... У! Северный медведь!

— Ты, кажется, злишься, Беппо?

— Да как же не злиться? Красивейшая девушка вздыхает по нем, дарит его улыбками...

— Ты порешь чушь! — воскликнул Марко и опять покраснел.

— Еще бы не чушь! Ты — известный простофиля, а другие видят... Она тоскует по нем, а этот белый увалень, вместо того, чтобы ни на шаг не отойти от красотки, сидит себе на берегу и глупо смотрит в воду. Ты знаешь, за ней ухаживал толстый богач-трактирщик Джузеппе?

— Ну?

— Ну, он вчера посватался за нее, и она ему отказала. Теперь он клянет тебя на чем свет стоит!

— Меня? За что?

— Да пойми ты, глупая голова, что Джузеппе было отказано потому, что красавица предпочла твои глаза цвета морской воды тем золотым кружкам, которыми набит у него не один сундук.

Марко пожал плечами.

— Что ж! Тем лучше, что она не вышла за Джузеппе, не польстилась на деньги. Ты, может быть, иначе думаешь?

— Я?!. С чего ты взял?

— Да уж очень ты напал на меня! Знаешь ли, мне кажется, что будто ты сам немножко задет за сердце Бригиттой?

Беппо покраснел в свою очередь.

— Ну, да, да! Что ж скрывать! Конечно, она мне нравится,— забормотал он.— Разве она может не понравиться кому-нибудь? Если б не ты, может быть, я и посватался бы, а теперь — плоха надежда! Э-эх! — тяжело вздохнул он, потом добавил:— А хоть ты и отбил у меня Бригитту, все же ты славный малый, Марко!

— Спасибо,— ответил последний и поднялся.

Встал и Беппо; венецианец едва хватал до плеча своему приятелю.

— Надо идти... Я думаю, дядя Карлос уже меня поджидает,— сказал Марко.

— А я думал с тобой поговорить еще. Ну, да делать нечего. Вечером зайдешь к Джованни?

— Да, хочу побывать. До свидания, Беппо.

Легкая гондола покачивалась невдалеке на прибрежном прибое. Марко вспрыгнул в нее. Морская вода запенилась под сильными ударами весел. Через несколько минут гондола уже свернула в лагуну и плавно неслась по ее зеленоватой воде.

Машинально, привычным движением опуская и подни-

мая весла, юноша думал о своем разговоре с Беппо. Образ Бригитты мелькал перед ним. Стройная черноокая девушка, со смугловатой кожей, с ярким румянцем на пухлых щеках, она была красива, как ни одна из ее подруг. Когда она улыбалась, в ее глазах искрились огоньки. Нравилась молодым людям эта улыбка, и они наперебой старались заставить улыбаться красавицу, но она чаще вместо этого хмуро сдвигала свои тонкие брови. Только одному она всегда улыбалась — ему, Марку. Да, Беппо, не солгал — сам Марко давно уже заметил все то, о чем тот ему говорил. Отчего же у Марко от этих улыбок не бьется сильнее сердце? Или в самом деле в его жилах не кровь, а вода? Отчего же иногда от иных дум так клокочет кровь, так трепещет сердце? Значит может же он волноваться, страдать... Страдать? Он давно страдает и не знает сам, откуда это страданье берется.

Почему всегда тоска гложет его сердце? Почему его тянет куда-то от этого прекрасного города? Ведь он вырос здесь, ведь здесь знаком ему каждый изгиб лагуны, здесь живет его добрый дядя Карлос. А между тем ему хочется бежать отсюда, он чувствует себя как орел в клетке. Расправить бы крылья! Но почему, почему?

Быстро скользила гондола, тихо всплескивала вода под ударами весел, но не находил в этом плеске ответа на свои думы молодой Марко.

II

СТАРЕЦ И ЮНОША

Небольшая сводчатая комната. В широкое и высокое окно врываются целые потоки света. На длинном дубовом столе уголка нет свободного, до того он завален всякой всячиной. Толстые книги в кожаных переплетах, со стальными застежками, свитки пергамента, листки бумаги, испещренные рядами цифр, чертежи и географические карты, подзорная труба, реторты и сосуды странной формы — все это перемешалось в хаотическом беспорядке. Седая сильно облыселая старческая голова низко склонилась над столом. Морщинистая рука что-то быстро чертит на бумаге.

Скрипнула дверь.

— Ты, Марко? — спросил старик и поднял голову.

Свет упал на его лицо. Глубокие морщины тянулись по нему; седая борода спускалась на грудь; ясные глаза кротко смотрели из-под нависших бровей. Это было прекрасное лицо, полное величавого спокойствия старости.

— Я, дядя Карлос,— ответил звучный молодой голос.— Прости, я запоздал — уже давно наступила обеденная пора. Я сейчас принесу плодов и вина...

— Напрасно ты просишь прощения — ты ни в чем не провинился. А за обедом ходить не трудись: добрая Бригитта уже принесла все необходимое.

— Как! Бригитта была здесь?

— Да, она навестила меня, старого отшельника. Я уже пообедал, подкрепись и ты. Вон вино и плоды. Впрочем, тебе, быть может, надоела такая пища? Тогда...

— Нет, нет! — с живостью возразил молодой человек.— Я с удовольствием ем наш неприхотливый обед. Кроме того, с тех пор, как я последовал твоему примеру и перестал есть мясо, и питаюсь одними плодами, я чувствую себя бодрее и свежее.

— Да, эта пища не отягчает желудка, а легкое вино придает бодрость. Мне кажется, что только благодаря такой пище я дожил до моих лет. Обедай же, а я тем временем закончу свою работу.

Старческая голова снова низко наклонилась к столу, рука опять забегала по бумаге. Марко принялся за обед.

Обедал он вяло. Он медленно съел несколько плодов, выпил кружку вина с ломтем белого хлеба, налил еще, отхлебнул глоток и задумался. В своей задумчивости он не замечал, что старец Карлос часто отрывает свои глаза от бумаги и останавливает на нем взгляд, полный грусти.

Вот старик отбросил перо и откинулся на спинку обитого кожей кресла.

— Покончил ли с обедом, Марк? — спросил он.

Если б в это время в комнате находился кто-нибудь из венецианцев — приятелей Марка, то, наверно, подивился бы тому языку, на котором были произнесены эти слова. Язык этот не имел ничего общего с итальянским, этот язык был русский.

Молодой человек встрепенулся.

— Да, я отобедал,— по-русски же ответил он, залпом осушив кружку вина.

— Подойди сюда и посмотри на мою работу.

Марк повиновался.

— Гороскоп! — с удивлением вскричал он, взглянув на бумагу, лежавшую перед дядей Карлосом.

— Да, гороскоп. Твой гороскоп... Пододвинь скамью и садись: мне надо с тобой поговорить.

Когда молодой человек сел, Карлос некоторое время молча смотрел на него. Казалось, он хотел проникнуть взглядом в самую душу юноши. Марк невольно смущался под его пытливым взглядом.

— Марк, дитя мое,— тихо заговорил старик.— Твой дух не спокоен, ты страждешь... Скоро исполнится девяносто лет, как я живу на свете. Я многое повидал, многому научился, я привык читать в душе тех людей, которые мне дороги... Марк! Скажи мне, о чем ты страдаешь?

Слава Карлоса глубоко взволновали молодого человека. Тоска, которая не покидала его, теперь, казалось, удвоилась, слезы подступали к глазам.

— Дядя! Нет! Отец! Учитель! — заговорил он прерывистым голосом, опустившись на колени перед старцем и покрывая поцелуями его морщинистую руку.— Отец! Я страждду, ты прав, прав, как всегда! Непонятная тоска гложет мое сердце. Я задыхаюсь здесь, мой отец, мой учитель! Меня тянет на простор, куда-нибудь далеко-далеко. Я часто грежу наяву. Мне слышится, что кто-то зовет меня так жалобно, что мое сердце замирает от горя. Едва я задремлю — меня посещают дивные сны. То я вижу себя в глубине дремучего леса. Зима... Снег густым слоем покрывает землю, целые сугробы нанесло у подножья деревьев. Лунная ночь. Месяц светит так ярко, как мне никогда не случалось видеть здесь. На ветвях колючих деревьев лежит белый налет, искрящийся под лучом месяца. Тихо — так тихо, что кровь стынет в жилах от непостижимого ужаса. И вдруг словно стон проносится по лесу. Смолкает, и снова, снова, уже не один, десятки, сотни... Лес говорит! От каждого дерева исходит вопль: «Наш! Наш!» Колючие оледенелые ветви обвивают меня... Я вскрикиваю от ужаса и просыпаюсь, покрытый холодным потом... Иногда я вижу большой город. Блещет на солнце многое множество церковных куполов. Узкие улицы полны народом. Гудят колокола. Я в толпе. У меня легко и радостно на сердце. Мне кажется, что я в своей семье, что вокруг меня мои братья. Толпа влечет меня, и я иду. Куда — не знаю сам, кажется, в родимый дом. Родным веет на меня от всего: от домов, покрытых черепичными или тесовыми кры-

шами, от церквей, разливающих по городу могучие звуки, от садов... Кажется, что ветки деревьев, покрытые свежею светло-зеленою листвою, приветливо кивают мне... Иногда, отец-учитель, мне в дреме кажется, что к моему изголовью слетают две девы, прекрасные как ангелы. Они не похожи на здешних. У них золотистые косы, их кожа белизной напоминает снег... Они целуют меня, называют милым, своим. Я, кажется, и теперь слышу их серебристые голоса, говорящие: «Милый! спеши в край родной!» Горячие поцелуи их жгут меня, кровь кипит у меня в жилах... Отец! Учитель! ты мудр! Объясни же, что это такое! Я стражду, стражду! Ах, отец, отец!

Марк припал лицом к коленям старца. Голос его прервался от рыданий.

Карлос гладил рукою белокурые волосы юноши. Бледные губы его тихо шевелились.

— Судьба! Судьба! — шептал он, покачивая седою головой, и потом добавил: — Успокойся, дитя мое! Сейчас ты поймешь, что значит твоя тоска. Судьба зовет тебя! Успокойся — нам еще о многом нужно говорить. Встань и сядь!

Последние слова Карлос произнес повелительным тоном. Марк опустился на скамью и взглянул на старика. Лицо Карлоса было серьезно, почти строго.

III

КОЕ-ЧТО О ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ

— Ты уже знаешь, Марк,— начал старик,— что родина твоя не здесь, а далеко на севере, что тот язык, на котором мы говорим теперь, есть русский; знаешь ты также, что судьба случайно забросила тебя сюда еще в то время, когда ты был пятилетним ребенком, но каким образом пришлось тебе очутиться здесь, кто твои родные, где они живут — обо всем этом я еще не говорил с тобой: я ждал, «когда исполнится полнота времени». Теперь пора пришла...

— Кое-что у меня сохранилось в памяти,— задумчиво проговорил Марк.— Я смутно припоминаю бледное исхудалое лицо, обросшее густою золотистою бородою; впалые глаза, обведенные темными кругами, с тоской устремленные на

меня; руку, с до того белою кожею, что сквозь нее синеют жилки, прикасающуюся к моему лбу; тихий шепот...

— Это — твой умирающий отец.

— Я помню также, что я называл его тятей... Как сквозь сон, еще мне припоминаются толпы размахивающих оружием людей, языки пламени, треск горящего дерева, вопли, стоны...

— Ты запомнил, насколько может запомнить ребенок. Когда ты выслушаешь меня, быть может, новые воспоминания воскреснут в твоей памяти. Однажды,— это было пятнадцать лет тому назад,— в такой же ясный летний день, как теперь, в нашем городе царило необыкновенное оживление: прибыла галера, одержавшая победу над турецким разбойничьим судном. Говорили, что победа стоила венецианцам дорого, что разбойники дрались с дикой храбростью — тем более чести было нашим отважным морякам. В храме Св. Марка был пропет Te Deum *. Было привезено множество добычи и само турецкое судно с залитой кровью палубой, иссеченное, но еще годное для плавания. Говорили, что было освобождено более сотни христиан, томившихся в мусульманской неволе — они были гребцами у турок. Знаешь ли, что значит быть гребцом на турецкой галере? Более жестокой пытки нельзя придумать! Прикованный к скамье так коротко, что едва может приподняться, несчастный томится под палубой без света и воздуха, без устали поднимая и опуская тяжелое весло. Удивительно ли, что, как говорили, эти несчастные, когда вырвались на Божий свет, почти обезумели от радости? Радость заразительна, и венецианцы сами радовались не меньше освобожденных, братались с ними, пировали. Я вел тогда такую же затворническую полумонашескую жизнь, как теперь, и, если бы не мой старый слуга Жуан — он умер лет девять назад...

— Я хорошо помню Жуана,— прервал Карлоса Марк.— Высокий старик с седыми усами... Каких только игрушек он мне ни делывал!

— Да, он тебя любил. Так вот, если бы не Жуан, сообщивший мне все то, что я тебе сейчас рассказал, я, пожалуй, и до сих пор не узнал бы о причине шума в нашем городе, и тебе, вероятно, не пришлось бы делить со мной мое одиночество. Рассказав мне о городской новости, Жуан добавил:

— «Только одному из освобожденных не приходится веселиться и радоваться».

---

* Тебе бога хвалим

— Почему же? — спросил я его.

— «Даже не одному, а двум, потому что с ним находится маленький мальчуган».

— Да объясни ты мне только, в чем дело!

— «Чем объяснять, я лучше сведу тебя, господин мой, к тем несчастным. Они тут недалеко. Я знаю, ты — добрый господин и сжалишься над ними».

Я отговаривался, но он так пристал ко мне, что я наконец согласился. Жуан сказал правду — нам, действительно, пришлось не особенно далеко отойти от дома.

Никогда я не забуду того зрелища, Марк, которое я увидел! Представь себе ясное синее небо; яркое солнце обливает лучами палаццо, богаче, прекраснее которого трудно придумать, смотрится в тихо плещущиеся воды лагуны. Стройные колонны из мрамора и цветных камней возносятся ввысь и ласкают взор своей легкостью и красотой, теплый воздух нежит тело... Благодать! И представь себе теперь, как больно должно сжаться твое сердце, когда ты увидишь, что есть человек, для которого эта благодать является мукой, пыткой. Солнечные лучи, которые обдают тебя теплом, для него источник страданья — они жгут его изнуренное тело; веселый плеск воды заставляет его сильнее чувствовать жажду; какая пытка видеть воду и не иметь возможности освежить каплей воды свои запекшиеся губы! До красоты ли ему палаццо, если страдалец лежит у его входа на мраморной плите, до того нагретой солнцем, что камень жжет.

Передо мной лежал человек во цвете лет, богатырь складом, но исхудалый, изможденный. Жалкое рубище едва прикрывало его тело. Широкая грудь была открыта, и на ней зияла глубокая кровавая рана. Камень, на котором он лежал, шел несколько вкось, кровь прилила к голове, и лицо казалось багровым. Солнце било ему прямо в глаза — он лежал на спине, бессильно распластав руки. Рядом с ним сидел маленький полуобнаженный мальчик. Детское личико его было печально, крупные слезы повисли на ресницах. Когда мы подошли, мальчик взглянул на нас испуганно и недружелюбно. Он схватил ручонками голову лежавшего, как будто желая защитить его от нас,— видно, малютка привык считать всех людей своими врагами. Я наклонился над раненым. Расслышал ли он наше приближение, или от того, что я заслонил собою лучи солнца, но он открыл глаза и посмотрел на меня мутным взглядом. Губы его зашевелились, но слов не было слышно; лишь по тому, что он, с боль-

шим усилием приподняв руку, поднес ее ко рту, я понял, что он просит пить. Я знаками объяснил ему, что понял и исполню его просьбу.

— «Вот видишь, господин... Правда, несчастный! Те там пируют, а его больного бросили на солнцепеке»...— проговорил Жуан.

— Как ты думаешь, сможем ли мы с тобой вдвоем донести его до нашего дома? — спросил я Жуана.

— «Конечно, сможем! А нет — так я живо достану помощника».

Несмотря на уверенность моего доброго слуги, когда мы попробовали приподнять больного, нам, старикам, сделать это оказалось не под силу. Пришлось искать помощников. Как мы переносили раненого, об этом не буду говорить, скажу только, что скоро он лежал уже на мягком ложе в этой самой комнате, рана его была омыта и перевязана, жажда утолена, и он заснул крепким сном. Мальчик был вымыт, одет, накормлен и напоен.

Этот раненый был твой отец, мальчик — ты. Твой отец болел долго, рана была глубока и опасна, но благодаря хорошему уходу она начала мало-помалу заживать и силы возвратились к больному; рана еще не вполне затянулась, а он уже мог вставать и ходить — правда, слабыми, неверными шагами. Но вполне он никогда не оправился; какой-то тяжкий медленный недуг снедал его. Постоянная тоска виднелась в его глазах. Он похож был на орла, посаженного в клетку.

Я легко выучивался языкам, и мне были знакомы почти все европейские языки, но тот, на котором говорил с тобой отец, был мне не известен. Я попытался выучиться ему, и выучился скорее, чем мой жилец научился говорить по-итальянски. После этого мы с ним больше сблизились, и, бывало, целые вечера проводили в беседах. Он мне рассказывал о своем прошлом. Он был родом из Москвы и жил вблизи этого города в своем поместье, был женат и, кроме тебя, имел еще дочь Анну — она была года на два младше тебя. Звали его Даниилом, по отцу Степановичем. Его прозвище было — Кречет-Буйтуров.

— Кречет-Буйтуров — это имя знакомо мне. Точно я его когда-то, давно-давно, часто слышал,— задумчиво промолвил Марк.

— Это отзвук детских воспоминаний. Рядом с поместьем твоего отца было поместье младшего брата — Степана.

— Не говорил батюшка, как звали мою мать? — перебил молодой человек.

— Говорил. Ее звали Марьей, по отцу Петровной... Жизнь его текла тихо и мирно. Тогда царствовал, да, кажется, и теперь царствует царь Иван Грозный. Бояре один за другим попадали в опалу, но Даниил Степанович избегал часто показываться при дворе, держался в стороне и мало опасался царской немилости. Тем более неожиданным был гнев царя.

Оклеветал ли его кто-нибудь перед царем, по другой ли причине — неизвестно, но только вышел царский приказ Даниилу Степановичу: не мешкая покинуть свое поместье и удалиться в дальнюю вотчину, к литовскому рубежу. «А что дальше учинить с тобой, крамольником, о том мы подумаем»,— такими неласковыми словами заканчивался приказ. Царская воля — закон. Делать нечего, поднялся Даниил Степанович с давно насиженного гнезда и перебрался со всей семьей в дальнюю сторону. Новая жизнь пошла на новых местах — неспокойная. И день, и ночь приходилось быть на стороже — рубеж близко, а между Литвой и Московией редко когда мир бывал. Однако, как ни береглись, враги застали врасплох. Напали литовцы глубокою ночью, слуг перебили, дом сожгли...

— То-то мне вспоминается шум битвы и треск пожарища,— заметил Марк.

— Сам Даниил Степанович,— продолжал Карлос,— был раненым увезен в плен. Вместе с ним и ты...

— А моя мать, а сестра?

— Что сталось с ними, этого не знал и сам твой отец. На Литву сделали набег крымские татары и тот литвин, в доме которого находился ты с отцом, разделил теперь участь со своим пленником: как тот, так и другой сделались рабами татар. Крымцы продали свой полон в Турцию, и таким образом Даниилу Степановичу выпала на долю тяжкая турецкая неволя. Ты делил вместе с ним все его испытания. Когда он рассказывал, что ему пришлось перенести во время турецкого рабства, сердце обливалось кровью от жалости...

Старик замолк и задумался. Молчал и Марк. Страдальческая тень несчастного Даниила Степановича, казалось, пронеслась над ним в тишине комнаты. Молодой человек заговорил первый:

— Скажи мне, как умер мой отец.

— Он умер так, как должен умирать христианин; с полною покорностью воле Божьей, с глубокою верою в Его благость. Мне много раз случалось видеть, как умирают люди, но более светлой кончины я не видал. Его болезнь длилась около полугода, он угасал медленно... Как я сказал уже, его

съедал какой-то тяжкий недуг. Ни наше яркое солнце, ни морской воздух не могли ему помочь... Мне кажется, ему нужен был простор полей, шум лесов его родины, а этого не могли заменить ни наше солнце, ни наше море. Быть может, тоска по отчизне и была его смертельным недугом. Умирая, он умолял меня приютить тебя, сохранить в тебе чистоту той веры, в какую ты окрещен, стараться, чтобы ты не забыл родного языка и родины, и, когда ты вырастешь, отправить тебя в родную страну. Я поклялся и сдержал клятву: ты русский не только по крови, но по духу, по вере, по языку. Остается докончить то, в чем я клялся: отправить тебя на родину,— сказал старик и тяжело вздохнул.

— Учитель! — вскричал Марк.

Тот остановил его знаком.

— Марк! Дитя мое! Я тебя вырастил, я слышал твой младенческий лепет, видел, как впервые в твоих глазах промелькнула уже не детская мысль, я передал тебе те скудные знания, которыми обладаю... Ты — мой ученик, ты — мой сын не по плоти, так по духу, я люблю тебя, как отец сына... Но время разлуки пришло! Мне тяжело, мне больно; не знаю, как я переживу день нашей разлуки, но повторяю, нам надо расстаться — это веление судьбы. Родина зовет тебя. Твоя тоска, твои сны — это ее зов.

— Да, она зовет меня! — воскликнул Марк,— да, она зовет! Но... учитель! У меня не хватит сил расстаться с тобою. Моя тоска пойдет следом за мной и в родную землю: каждый день, каждый час я буду вспоминать о тебе. Отец! Не гони от себя своего сына!

Карлос был растроган. На его глазах блестели слезы.

— Сын мой, сын мой! — я ли гоню тебя! Судьба гонит! Я давно с тайным страхом ждал этого времени, трепетал при мысли, что оно наступает... А теперь уже оно наступило! — горестно воскликнул старец.— Я составил твой гороскоп... Ты дивишься, что при моей опытности, при моих знаниях я могу верить, что судьба человека начертана на звездном небе?.. Друг мой! Слишком холодна была бы наша жизнь, если б мы иногда не позволяли себе верить во что-нибудь такое, что не может быть нами измерено, взвешено, высчитано. Знаешь, такая вера, пожалуй, даже несколько возвышает человека; отличает от животного, которому чуждо все то, что не касается его чисто земных потребностей. Я изучал небесные тела, я понимаю, что Венера, Марс, Сатурн — есть нечто подобное нашей Земле, так же, как она, совершают

свой путь вокруг солнца, быть может, служат обиталищем разумных существ, что вовсе они не для того созданы, чтобы служить земному человеку — червю, копошащемуся во прахе... Все это я отлично понимаю, но... но я все же составил твой гороскоп, узнал твою судьбу и... и верю, что все должно совершиться так, как сказали звезды, а не иначе.

— Что же сказали они? — спросил Марк и почувствовал, что суеверное чувство зашевелилось в его сердце.

— Звезды сказали,— торжественно заговорил старик,— что тебе предстоит бурная жизнь. Много в ней будет мрака, много и света... Мрака больше! Много раз ты будешь на краю гибели. Бойся женщин! И любовь, и ненависть их будут тебе равно опасными. Полосу тишины ты пережил, теперь начинается полоса бурь. Тебе скоро придется покинуть ту землю, где прошло твое детство, и уйти по доброй воле или бежать от погибели в страну, где ты родился, но не вырос, где все тебе чуждо и в то же время мило твоему сердцу... Слышишь — звезды сказали, что ты должен уйти отсюда!

— И все-таки я останусь! — вскричал молодой человек.— Ничто не заставит меня расстаться с тобой!

— Даже страх бедствий?

— Да!

— Но ведь, если не уйдешь добровольно, тебе придется поневоле бежать отсюда.

— Придется ли еще? Будь что будет! Я остаюсь!

— Пусть же решает судьба... Я исполнил свой долг и, наперекор рассудку, рад, что ты остаешься,— тихо промолвил Карлос.

— Учитель! Отец! Я никогда не расстанусь с тобой! — говорил Марк, обнимая его.

— Да, да! Хорошо бы, но судьба, судьба! — тихо шептал старик.

IV

НЕПОКОРНАЯ ДОЧЬ

— Бригитта! Бригитта! Да оглохла ты, что ли? — с досадой крикнула полная небольшого роста женщина и хлопнула жирной рукой по плечу молодой девушки.

Та вздрогнула и обернулась.

— Что, матушка?

— Что ты на меня смотришь, словно неживая? Вбила дурь в голову, так вот теперь... Э-эх! послал мне Господь наказанье! Помоги-ка мне поднять этот кувшин. Силы-то, я думаю, побольше моего... Сама не могла догадаться помочь матери! — ворчала старуха.

Девушка послушно ухватилась за ручку кувшина. Стройный стан ее перегнулся, лицо покраснело от усилия. В этот миг она казалась еще прелестнее, чем обыкновенно, и, будь тут теперь Беппо Аскалонти, приятель Марка, он, наверно, не удержался бы от возгласа восхищения. Бригитта, казалось, была создана для того, чтобы привлекать к себе сердца всех. Стройная, грациозная, с лучистыми черными глазами, со смугловатой кожей, с ярким румянцем, с чуть приметным пушком над верхней губой — она была типичной южной красавицей. Тонкие брови слегка срастались у переносицы, подбородок был резко очерчен — признаки твердой воли и жестокости. Что касается твердой воли, то это она уже проявляла не раз, недаром же ее мать, толстая Марго, вдова резчика, называла ее упрямой, непокорной; но жестокости в ней никто не подметил, и она слыла за девушку с очень добрым сердцем. «Толстуха Марго», как звали соседки мать Бригитты, была далеко не довольна своей дочерью и, бывало, по целым дням ворчала на нее. Правда, у «толстухи» были очень веские причины для недовольства,— это единогласно утверждали все окрестные кумушки: Бригитта должна была благословлять судьбу, что она ей послала такого жениха, как богач Джузеппе Каттини; шутка сказать! у него было два дома, да не каких-нибудь лачужек, а настоящих каменных, и пяток таверн в разных концах Венеции; его жене, верно, не пришлось бы много работать, и она бы жила, как принцесса, и вдруг — неслыханное дело! — красавица отказала такому жениху. Действительно, можно было жалеть бедную «толстуху Марго», что у нее такая дочь! Зоркие соседки, конечно, открыли и причину отказа: всем в глаза бросается, говаривали они, что Бригитта бегает за этим огромным белобрысым северным еретиком, приемным сыном «колдуна» Карлоса. Сотни проклятий сыпались на голову бедного Марка; негодовали, почему такого «безбожного еретика» оставляют гулять на свободе и смущать христианские души; находили, что и сама наружность у него бесовская: «можно ли вырасти таким нечеловечески огромным без помощи дья-

вольской силы?» Дочери досужих кумушек были иного мнения о наружности Марка, но они не смели спорить и молчали, скромно потупив глазки.

Марк и не подозревал, какие толки идут о нем, как враждебно настроены против него многие. Да трудно было и подозревать: в глаза с ним все были ласковы, даже заискивали перед ним. «Кто знает, какие чары может напустить этот белый еретик?» — думали в тайне души враги Марка. Кроме того такою могучею силою веяло от каждого движения «северного медведя», что вступить в открытую вражду против такого богатыря ни у кого не хватало смелости. Бригитта знала о толках, но ее мало беспокоили ядовитые замечания, улыбки и взгляды соседок. Гордая и непокорная, она повиновалась только влечению своего сердца. Единственный человек, чье слово для нее было бы законом, был Марк, но этот единственный владыка не знал и не хотел знать о своей власти над ней. А девушка страдала. Давно уже перестал звучать ее серебристый смех, постоянная грусть виднелась в ее глазах.

— Ты опять, верно, будешь бездельничать? — заворчала мать, когда кувшин был поставлен.— Работы хоть отбавляй, а она и не думает за нее приниматься! не живая... У! Ах, был бы жив мой Маттео, не позволил бы он тебе дурь на себя напускать, а что сделаю я, слабая женщина, с этаким идолом? — и «слабая женщина», с плечами раза в полтора более широкими, чем у дочери, коренастая, стояла, скрестив на груди мускулистые руки, и злобно смотрела на Бригитту.

— Не знаю, за что ты сердишься, матушка?

— Ты все не знаешь, ты все не знаешь! Ты не знала и тогда, когда отказывала Джузеппе Каттини! Ты не знала, что можно подготовить матери спокойную старость, что можно нашу нищету заменить богатством! Ты ничего не знаешь, ничего, кроме глупых дум о глазах этого проклятого белобрысого еретика.

— Матушка!

— Чего, доченька? — ядовито спросила Марго,— неправду я говорю, а? Неправду? И люди, должно быть, тоже лгут? Да мне теперь соседок моих стыдно: всякая взглянет да подумает: «Вот мать той, которая за еретиком безбожным бегает!»

Бригитта только слегка махнула рукой. Выражение глубокой тоски легло на ее лицо.

— Маши, маши на мать! Домахаешься! Ничего. Бог за-

платит... Кого бог несет? — добавила она, слыша скрип двери.— А, это ты, Джузеппе! А мы про тебя только что говорили. Входи! Что же ты стал на пороге?

— Боюсь, не рассержу ли я своим приходом твою дочь. Вон она как смотрит на меня, будто съесть хочет,— хрипловатым голосом проговорил Джузеппе Каттини, входя в комнату и снимая шляпу.

Это был очень полный сильно лысый человек средних лет, с красным лоснящимся лицом, украшенным грушевидной формы носом; маленькие темные глаза его бегали, как мыши; он был гладко выбрит, и толстая нижняя отвислая губа не закрывала гнилых черных корней, заменявших зубы.

— Как здорова, Марго? Слава Богу? Очень рад! Ну, а ты, красавица? Хорошеешь с каждым днем! Что, еще не положила свой гнев на милость? А? Хе-хе! — и толстяк жирной, украшенной перстнями, рукой попытался ущипнуть Бригитту за подбородок.

Она сердито отстранилась.

— Ну-ну, не буду, не буду, если не нравится! А многим бы понравилось, если б Джузеппе Каттини так взял, да! — говорил Джузеппе, снова приближаясь к красавице.

Речь его была слишком оживленной, от него пахло вином: белки глаз были красны.

«Он пьян»,— подумала Бригитта, и этот богатый толстяк, такой обрюзглый, жирный, уродливый, стал ей еще противнее, чем всегда.

— А я тебе подарочек принес. На, получи, хоть и не стоила бы ты этого за свою грубость. А! Какова вещица! Взгляни, Марго! — Каттини держал в приподнятой руке и слегка покачивал золотые серьги. Мелкие алмазы сияли всеми цветами радуги; крупный жемчуг казался молочным.

— Какая прелесть! — воскликнула Марго.

Бригитта отошла, едва взглянув.

— На же, бери! — крикнул ей толстяк.

— Мне не надо. Вон, матери нравится — отдай ей,— сказала девушка и слегка усмехнулась.

— Не издевайся! — закричал Джузеппе, побагровев.

— Как ты смеешь! — воскликнула Марго.

Бригитта ничего не отвечала, она поспешно подошла к двери и, выйдя из комнаты, остановилась у порога. Прямо перед нею тянулась, уходя вдаль, лагуна, сжатая с боков громадами домов. Заходящее солнце кидало багряный налет на верх зданий, розоватый отблеск ложился на лагуну. Отрезок

неба, видневшийся в пространстве между домами, казался пылающим, и «Мост Вздохов», выделяясь на багровом фоне, словно висел в воздухе.

Картина была величественная, но чем-то грозно-зловещим веяло от нее. Она не могла подействовать успокоительно на взволнованную душу Бригитты. Тоска сжимала ее сердце. Ей хотелось плакать — более того, рыдать. Вдруг она вздрогнула и, вся вытянувшись, уставилась глазами на поверхность лагуны. Там плыла гондола, и в ней сидел Марк вместе с братом Бригитты, Джованни, и Беппо. Он работал веслом. Девушка жадно следила, как мирно покачивалось его мощное туловище. Радость, жгучая радость наполнила ее сердце: он едет сюда, едет к ней. А гондола все ближе. Вон, уже Беппо заметил ее и, улыбаясь, кивает головой.

Бригитта торопливо вернулась в комнату

— Сюда едут,— с видимым волнением сказала она,— сюда едут Джованни, Беппо и... и Марко.

И девушка отвернулась, чтобы скрыть яркую краску, выступившую на ее лице.

— Несет черт! — пробурчал Каттини.

— И не говори! Повадился этот еретик, свел дружбу с Джованни,— недовольно проворчала Марго, однако приготовилась встретить гостей: пододвинула к столу скамьи, поставила на него несколько кубков и вино.

V

ССОРА

Когда Беппо и Марко вместе с братом Бригитты, Джованни, вошли, то первое, что им попалось на глаза, была фигура тучного кабатчика, сидевшего на скамье против входа и разговаривавшего с Марго. При виде его явное неудовольствие выразилось на лице Джованни, Беппо покосился на Джузеппе и плюнул, сделав гримасу. Он даже не кивнул головой Каттини и прямо направился к старухе Марго. Джованни холодно поздоровался с отвергнутым женихом своей сестры, один Марко приветливо кивнул ему головой и спросил:

— Как поживаешь, Джузеппе?

Тот свирепо посмотрел на него.

— Живу хорошо, с помощью Божьей. Да отчего Богу и отказать мне в помощи? Ведь я — не еретик какой-нибудь, а правоверный католик,— ответил он.

Марко улыбнулся такому ответу и пожал плечами.

— Садитесь-ка, приятели, да отведаем винца,— сказал Джованни.— Матушка, что ж ты не приглашаешь гостей выпить по кружке?

— Пейте, пейте! Вино хорошее. Дорого оно теперь, ох, как дорого! Приходится так, что разве только в праздник хлебнешь глоток. Ну, да уж что толковать, пейте! — проговорила хозяйка.

Беппо и Марко переглянулись между собой. Джованни вспыхнул.

— Для моих добрых приятелей можно поставить вина, хоть бы оно было вдвое дороже,— воскликнул он.— Потчуешь же ты всякую дрянь!..

— То есть, это кого же? Меня что ли? — заносчиво спросил Каттини.

— Я не сказал, что тебя, а, впрочем, понимай, как хочешь.

— Та-ак! — протянул кабатчик и закусил губу.

— Так выпьем,— промолвил Джованни, наполняя кружки приятелей.

— А мою? — сказал Джузеппе.

— Ах, да! Я и забыл! Вот, пей!

— За что же мы выпьем? — спросил Беппо.

— За любовь! — напыщенно проговорил Каттини, поднимая кружку.— За это не откажется хлебнуть глоточек и Бригитта, я полагаю. А? Кто любит, тот выпьет, а ты — о! От меня ничто не укроется! — ты любишь кое-кого!

— Может быть, и любит, да не тебя,— вполголоса пробормотал Беппо.

Кабатчик метнул на него злой взгляд и осушил кружку. Выпили и остальные. Каттини быстро налил себе вторую и опять осушил ее одним духом.

— Это не в счет! — промолвил он, отирая пальцами губы.

Благодаря присутствию Джузеппе беседа не вязалась. Все чувствовали себя неловко, и включая самого Каттини. Он наливал и опоражнивал кружку за кружкой и говорил без умолку о своих делах, о своем богатстве, о своих знакомствах, о своей наружности, о своем характере, одним словом, предмет, на котором сосредоточивалась вся его речь,

был сам он и только он. Марго с недовольным лицом сидела поодаль от стола и изредка поддакивала Джузеппе или восклицала: «О! А! Неужели!» Бригитта сидела рядом с матерью и как будто была занята работой, но на самом деле не спускала глаз с Марка. Он чувствовал на себе ее горячий взгляд, и мысль, что он любим этой красивой девушкой, приятно щекотала его мужское самолюбие, но, с другой стороны, что-то вроде угрызений совести поднималось в его душе и вызывало краску на лицо.

Вино было старое, крепкое, и Джузеппе заметно пьянел. Лицо его все более багровело, речи становились менее связными. Но он все продолжал пить; казалось, он намеренно старался привести себя в пьяное состояние. В его маленьких воспаленных глазах все чаще и чаще стали посверкивать злобные огоньки, и все чаще и чаще стал он угрюмо посматривать то на Бригитту, то на Марка. Вдруг он громко расхохотался, перегнувшись назад туловищем. Джованни и его приятели с удивлением посмотрели на хохотавшего.

— У меня руки чешутся дать хорошего тумака этой пьяной скотине,— проворчал сквозь зубы Беппо.

— Марго! — вскричал Джузеппе, продолжая смеяться и указывая пальцем на Бригитту.— Ну, разве не смешно смотреть, как твоя девчонка пялит глаза на красивого еретика!

Марго взвизгнула и напустилась на дочь.

— Бесстыдница! Развратница! Люди замечают. Хоть бы при матери сдержалась.

Девушка готова была расплакаться. Беппо сидел, сжав кулаки, глубокая морщина прорезалась над переносьем у Марка. Джованни вспылил.

— Ты много на себя берешь, господин кабатчик! — закричал он.— Какое тебе дело до моей сестры? Пока ты не появлялся в нашем доме, мы жили мирно, а теперь ссоры каждый день. Ты, как злой дух, внес раздор к нам. Провалился бы ты лучше в свой кабак, в ад или в другое подходящее для тебя место.

— Ты на меня не кричи, мальчишка, щенок! — яростно завопил Каттини.— Ты — не хозяин тут, и я не твой гость, а твоей матери, ты еще и не родился, когда я с ней был знаком. А что я сказал про девчонку, так это — сущая правда: вся Венеция знает, что она бегает за еретиком. И раздор внес не я, а он — принимайте больше еретиков-безбожников, так и не то еще будет. Я, слава Богу, верю в римского отца и

во все, чему учит католическая церковь, за то Бог и взыскал меня своими милостями: я вас всех, сколько тут есть, могу купить и продать.

— Только чистой совести не купишь,— вставил замечание Беппо.

— Ишь, все на меня! Понятно, от чего вы злитесь: я — богач, а вы — голыши, зависть берет! Но хоть бы вас напало на меня и втрое больше, все же я скажу, что девчонку развратил безбожный еретик, и девичья честь ее, должно быть...

Не успел он еще договорить последнее слово, как кубарем скатился со скамьи от полновесной пощечины Марка. Каттини, не помня себя от ярости, быстро поднялся с пола и кинулся на оскорбителя. Но Марк не дал ему возможности нанести даже одного удара; он схватил кабатчика за плечи и тряс в воздухе, потом отшвырнул его к дверям.

Все примолкли во время этой сцены. Даже Марго не посмела вступиться за своего друга и только размахивала руками от ужаса: слишком страшен был этот «северный варвар» в своем гневе, чтобы рискнуть к нему подступиться. Отбросив свою жертву, Марк опустился на скамью и залпом осушил кружку вина.

— Молодец! — хлопнув его по плечу, промолвил Беппо.

Между тем Джузеппе медленно поднялся, кровь струилась по его лицу, он обтер ее рукавом и потом надел шапку.

— Прощай, Марго,— тихо заговорил он,— больше я не появлюсь в твоем доме: хоть и не по твоей вине меня здесь оскорбили, избили. С божьей помощью я отплачу за обиду. Прощай и ты, Бригитта! Советую тебе меньше заглядываться на проклятого еретика и пожалеть мать.

Марко грозно повернулся к Каттини, но тот поспешил выйти за дверь.

С его уходом все оживились. Джованни и Беппо наперебой хвалили своего приятеля, Бригитта молчала, но в ее глазах выражалось восхищение. Одна Марго сидела насупившись. Ее угрюмость мало мешала беседовать молодежи, как не мешала веселому смеху Бригитты.

Была уже ночь, когда Беппо и Марко ушли от Джованни. Гондола тихо скользила по темной лагуне. Друзья молчали, занятые своими думами. Только прощаясь, Беппо сказал приятелю:

— Счастливец ты, Марко!

Тот ничего ему не ответил.

VI

ТАИНСТВЕННЫЕ ПОЕЗДКИ МАРГО

Вот уже несколько дней подряд Бригитта замечала, что ее мать уходит из дома в определенное время. Куда она ездит, об этом невозможно было узнать, так как сосед, старик Маттео, отвозивший в своей гондоле Марго, куда ей требовалось, молчал, словно немой, на все расспросы. Гораздо удобнее для Марго было бы велеть Джованни отвезти себя, но она почему-то предпочитала ездить в чужой гондоле. Возвращалась она обыкновенно в очень хорошем расположении духа и даже с ней, с Бригиттой, была ласкова, от чего девушка за последнее время почти отвыкла. Что отлучки эти не были случайными, в этом Бригитта не сомневалась, и предчувствие говорило ей, что так или иначе дело касается ее. Долго раздумывала она над тем, как бы выведать материнскую тайну, и наконец прибегла к помощи брата.

Однажды она сказала ему:

— Джованни, заметил ты, что наша матушка очень часто куда-то отлучается?

— Еще бы не заметить!

— Не спрашивал ты ее, куда она ездит?

— Спрашивал.

— Ну, и что же она?

— Говорит, по делам.

— Какие такие дела, по которым нужно ездить так часто, да еще в чужой гондоле! Тут что-то таится!

— Я и сам о том подумываю.

— Надо бы разузнать.

Брат пожал плечами.

— Как узнаешь!

— Я и придумала кое-что.

— Ну?

— Когда матушка с Маттео отправится в путь, кто тебе мешает поехать незаметно следом за ними в своей гондоле?

— Гм... Можно попытаться.

В следующую же поездку матери Джованни «попытался» и вернулся взволнованным.

— Открыл! — сказал он сестре, едва вошел.— Она ездит к Джузеппе Каттини.

Бригитта слегка побледнела.

— Я так и предполагала,— прошептала она.

— Должно быть, дело идет о Марко,— мрачно проговорил ее брат.— Проклятый толстяк не может забыть его пощечины.

— Он поклялся отомстить. Наша мать — его союзница. Что устроить придумали они? Я узнаю, узнаю непременно! — закончила она так решительно, что Джованни с удивлением посмотрел на нее.

— Можно ли говорить «непременно»? Сказала бы лучше «если Бог даст». Впрочем, раз дело идет о Марко, пожалуй, ты на все решишься. Признайся, сестренка, он совсем заполонил твое сердце? — шутливо добавил он.

— Я его люблю,— просто ответила девушка.

Лицо Джованни стало серьезным.

— Марко — славный парень, что и говорить! Если б ты вышла за него замуж, наверно, была бы счастлива. В одном я не уверен: любит ли он тебя?

— Не знаю.

— У вас не было разговора?

— Нет. Я знаю одно, что я его люблю и готова отдать жизнь за него,— побледневшими губами шептала Бригитта.

— Даже если он тебя не любит?

— Ах, все равно, все равно! Послушай, Джованни, я не могу больше говорить... Сил нет!

Она закрыла лицо руками и заплакала.

— Бедная ты! Ну какая же ты хорошая! — проговорил тронутый ее горем Джованни, подойдя и обнимая сестру.

VII

ХИТРОСТЬ ЗА ХИТРОСТЬ

Косы лучи клонящегося к закату солнца проникли в комнату и осветили белые чисто вымытые столы и скамьи, кинули светлые отражения на стены из серого камня, с прибитыми вдоль них полками, уставленными незатейливой утварью, на выточенное из дерева изображение Пресвятой Девы. Уютной и мирной кажется эта комнатка, трудовой и скромной жизни служит она приютом. На самом деле не то.

Далеко не мирно на душе у двух женщин, которые сидят здесь за работой. Разнообразных страстей полны их сердца, и возмущенный дух заставляет угрюмо сдвигаться их брови и чертить морщины на лбу.

Вяло работает Бригитта, больше делает вид, что занята трудом. Не до работы ей, не таковы думы в голове, чтобы работе спориться. Прошло уже немало времени с того дня, как Джованни открыл цель таинственных отлучек матери, а тайна совещаний Марго с Каттини оставалась неразгаданной, и Бригитта напрасно пускалась на всякие хитрости, чтобы вызвать мать на откровенность. А между тем сознание говорило ей, что, чем больше проходит времени, тем больше усиливается таинственная опасность, грозящая Марку. Девушка страдала. Ее душа была постоянно полна страха и беспокойства. Она побледнела и осунулась, как будто перенесла тяжкую болезнь. Теперь, сидя за работой, она посматривает на мать. У матери сегодня какое-то зловещее лицо, а в глазах, когда она смотрит на дочь, выражается что-то похожее на злорадство. У Бригитты зреет план. Собственно говоря, план этот зародился давно, только не нравился он ей тем, что слишком много в нем было обмана и лжи. Она берегла его, как крайнее средство. Если нет иного способа, надо прибегнуть к нему. Грех? Правда, но разве ради спасения Марка не сладко принять и грех на душу? За грехи, говорят, ждут адские муки... Бог милосерд. Он простит ту, кто умеет «много» любить.

Марго отбросила работу и, прищурясь, посмотрела сквозь окно на солнце.

— Пора! — тихо сказала она и направилась к двери, открыла ее и крикнула: — Маттео!

— А? — отозвался сосед.

— Пора бы нам в путь.

— Что ж, сборы недолги. За мной дело не станет — вспрыгнуть в гондолу да и все тут.

— Так я сейчас,— ответила Марго и начала собираться к пути.

Сердце Бригитты часто забилось. Красные пятна от волнения выступили на щеках.

«Надо решиться, потом, может быть, будет поздно!» — шептал ей внутренний голос, но она колебалась.

Уже ее мать оделась, направилась к двери, когда наконец Бригитта собралась с духом.

— Матушка!

— Ну? — повернулась немного в сторону Бригитты мать, стоя у порога.

— Куда ты едешь?

Марго взялась за ручку двери.

— По делу.

— Отчего ты не подождешь Джованни? Он бы тебя отвез, стоит ли брать лодку у Маттео? Он такой ворчун, после будет толковать.

— Пустяки, не все ли равно, кто меня свезет. Да и Бог знает когда приедет Джованни.

— А время не терпит?

— Не терпит. Ну, прощай! Не забудь припереть за мной дверь!

— Матушка! Постой! Мне нужно с тобой поговорить,— дрожащим голосом, вся пылая, проговорила Бригитта.

— После, когда вернусь.

— Нет, матушка, у меня время не терпит.

— Ну, говори скорей! — нетерпеливо промолвила толстуха.

Бригитта медленно подошла к ней и вдруг упала на колени.

— Матушка! дорогая! Прости, прости меня!

Марго от неожиданности даже растерялась.

— Бригитта! Встань! Боже мой, я — не Мадонна, чтобы падать передо мной на колени.

— Нет, нет, не встану! Скажи, что прощаешь. Я была злая, непокорная, теперь я стану иной... Прости, прости меня!

Бригитта обнимала ноги матери. Лицо ее было в слезах. Марго растрогалась и, вытирая слезы, невнятно бормотала:

— Ну-ну, прощаю. Встань, встань!..

Бригитта поднялась с колен и села на скамью, продолжая плакать. Это не были притворные слезы — девушка оплакивала свою невеселую молодость, разбитые мечты о счастье; горе, жгучее горе выжимало эти слезы.

— Матушка! Я... Он меня не любит, этот варвар. Я ненавижу его... Скажи Джузеппе, что я согласна выйти за него замуж.

Марго крепко обняла дочь.

— Спасибо, спасибо тебе! Ты осчастливишь всех нас — меня, Джованни.

— Согласится ли теперь Джузеппе?

— О, без сомнения! Он только и думает что о тебе.

— Но я хочу предложить ему условие.

— Какое?

— Я сказала, что ненавижу Марко. Он надсмеялся над моею любовью, он не хочет обратить на меня малейшего внимания. Негодный скверный медведь! Я хочу мщения, матушка, мщения! Каттини должен мне помочь.

Всю эту речь девушка проговорила быстро, прерывистым голосом. Казалось, страшный гнев кипел в ее груди.

В ответ «толстуха» весело рассмеялась.

— Что ты, матушка?

Марго хлопнула дочь по плечу.

— Ха-ха! уж все готово, моя девочка!

— Что готово?

— Отмщение.

— Как так? — спросила Бригитта, делая наивные глаза, но лицо ее побледнело.

— Ты думаешь, куда я езжу?

— Не знаю.

— Ни более ни менее, как к Джузеппе Каттини.

— Да неужели! — воскликнула девушка.

Мать самодовольно улыбалась ее удивлению.

— А ты ничего и не подозревала? Мы с Джузеппе придумали хорошую штуку. Скоро гром грянет над головой еретика.

— Что же именно вы надумали?

— Да не только надумали, а и исполнили. Ты знаешь, ведь Марко — еретик.

— Знаю.

— А его названый отец, Карлос, что-то вроде колдуна.

— И это знаю.

— Ну, мы и подали жалобу на Марка куда следует. Мы обвиняем его в ереси и в колдовстве. Да не мы одни — Джузеппе подобрал довольно-таки людей, которые вместе с ним обвиняют Марка.

— Откуда он взял их?

— Все наши соседи и соседи Карлоса с нами... Вон и Маттео тоже... Такому богачу, как Джузеппе, не трудно найти людей на что хочешь.

— Он подкупил их?

— Ну, разумеется, не без этого.

Бригитта сидела бледная как полотно.

— Джузеппе мстит за пощечину, ну, а ты, матушка, за что же? — тихо спросила она.

Марго вскипятилась:

— Как за что, как за что? Да если б не этот проклятый еретик, ты давно была бы женою Каттини! Я зла на него и за себя, и за тебя. Он хотел помешать твоему счастью, а значит, и моему. Будешь ты богата, ты ведь и мне поможешь. Хорошо, что ты одумалась, а то бы... Ах, доченька, доченька! Я боюсь за твое счастье, дорогая моя,— нежно добавила толстуха.

Девушка молчала.

— Теперь ему недолго осталось гулять на воле,— продолжала Марго, помолчав.

— Скоро возьмут? — встрепенувшись, спросила Бригитта.

— Святая инквизиция не дремлет! Радуйся! Сегодня за твоим врагом явятся сбирры.

Девушка вздрогнула всем телом.

— Что ты? — спросила мать, подозрительно посмотрев.

— Знаешь, все-таки я еще недавно любила его, так сразу-то как будто и жаль. Но это так, это пройдет... Я его ненавижу, ненавижу! Его, верно, будут пытать?

— Непременно! А потом, должно быть, сожгут.

Бригитта опять вздрогнула.

В дверь постучали.

— Это Маттео торопит меня. И в самом деле пора. Поеду последний разок. Прощай, дочурка! Так я скажу Джузеппе. Вот обрадуется-то!

— Скажи, скажи! — едва смогла прошептать Бригитта посиневшими губами.

VIII

СЛЕДСТВИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ

Едва затворилась дверь за Марго, как силы изменили Бригитте, и она, рыдая, упала на скамью. Она готовилась услышать от матери недобрые вести, но то, что услышала, превзошло ее ожидания. Она знала, что Джузеппе Каттини мстителен, но не думала, что он — такой злодей. Марку готовилась ужасная участь. Мало того, что предстояла мучительная казнь, еще до нее нужно было вытерпеть такие

муки, перед которыми бледнело даже сожжение на костре. Когда солнце будет снова восходить, Марко уже будет в темнице, в цепях, быть может, уже будет мучиться в пытках... Его надо спасти... Надо ехать к нему сказать, чтобы он скрылся из дому до наступления ночи. Нельзя терять времени... Ах, что же это не едет Джованни! Где взять гондолу для поездки?

Бригитта поднялась со скамьи и неровными шагами заходила по комнате.

Время шло, а Джованни не приезжал. Девушка в отчаянии ломала руки.

Наконец раздался желанный стук в дверь — брат приехал.

Он еще не успел перешагнуть порога, как уже Бригитта кричала:

— Бога ради, скорее в гондолу! Вези меня к Марку.

— Помилуй, я страшно устал. Да и зачем ехать к Марку в такую пору?

— Ах, не медли, не расспрашивай! По пути расскажу... Пойдем, пойдем скорей, если тебе дорога жизнь Марка!

Последние слова сестры и отчаянное выражение ее лица заставили Джованни безмолвно покориться. Скоро гондола стрелою неслась по лагуне. Бригитта тоже взяла весла и работала наравне с братом.

Во время пути она сообщила Джованни, какая опасность грозит его другу.

— Однако же, и негодяй этот Каттини! — сказал он, выслушав сестру.— Беппо прав, говоря, что ему следует хорошенько посчитать ребра.

— Это — очень слабая месть, я придумаю иную,— промолвила Бригитта, сурово сдвинув брови.

IX

НЕПРЕКЛОННЫЙ

Когда Бригитта с братом подплыли к дому, где жил Карлос, в комнате старца уже горел огонь.

— Боже мой! Успеет ли он скрыться? Ведь ночь почти уже наступила,— беспокойно шептала Бригитта, стучась в дверь.

Им отворил Марк.

— Ба! Джованни со своей сестрой! Вот дорогие гости! — вскричал он.

Карлос обернулся к вошедшим и ласково промолвил:

— Я рад не меньше Марка — мои старческие глаза любят отдыхать на свежих и прекрасных молодых лицах. Но сегодня почему-то не видать обычного румянца на твоих щечках, Бригитта, а ты, Джованни, что-то сумрачен.

— Напрасно вы радуетесь нашему приходу — мы приехали к вам с печальными вестями...

— Что случилось? — спросил Марк.

Джованни мешкал, Бригитта стояла потупившись. Ни сестра, ни брат не решались сообщить страшную весть.

— За свою долгую жизнь я привык ко всяким ударам судьбы, а Марк слишком юн и поэтому силен духом, чтобы прийти в отчаяние от какой бы то ни было печальной новости. Говорите, дети мои,— проговорил старик.

— Марк не медля должен бежать отсюда,— решилась сказать Бригитта.

На лице молодого человека выразилось удивление.

— Я?! Зачем?

— Сегодня ночью придут тебя схватить по приказу святой инквизиции,— промолвил Джованни.

— Джузеппе Каттини обвинил тебя в ереси и в колдовстве,— добавила его сестра.

Марк слегка побледнел.

— Вот какую месть придумал кабатчик! — сказал он.

Карлос, все время молчавший и сохранявший величавое спокойствие, поднял опущенную голову.

— Звезды правду сказали, сын мой: не уйдешь по доброй воле, вынужден будешь удалиться по необходимости. Ты должен бежать.

— Да, да, ты должен бежать не медля,— в один голос воскликнули брат и сестра.

— Я тебя могу сейчас же отвезти к Беппо. У него ты пока укроешься, а после тайком выберешься из Венеции,— добавил Джованни.

Марк отрицательно покачал головой.

— Нет, я этого сделать не могу.

— Как! Ты хочешь остаться! — с удивлением вскричал Джованни.

— На верную гибель! — воскликнула Бригитта.

— Мне надо остаться.

— Но почему же? Что мешает тебе спастись? — промолвили брат и сестра.

— Долг,— коротко ответил Марк.

— Дитя мое! Ты должен бежать. Не испытывай напрасно судьбы: остаться — значит погибнуть,— тихо проговорил Карлос.

— Нет, отец, я останусь,— ответил молодой человек, потом обратился к Джованни: — Поручишься ли ты, что если «они» меня не найдут, они не выместят своей неудачи на моем учителе?

Джованни не нашелся, что ответить, и только пожал плечами.

— Я уже прожил свою жизнь, Марк, а тебе еще предстоит долгая жизнь. Если б и случилось, как ты говоришь, то что за беда?! — сказал старец.

— Нет, отец, учитель, я бы не вынес этого! Купить свою жизнь ценою твоей... Нет!

— Марко! Марко, подумай! Ведь тебя ждут лютые пытки, сожжение на костре! — вскричала с волнением Бригитта.

— Разве будет лучше, если всему этому подвергнется мой учитель? — спокойно заметил ей Марк.

— Ах, Боже мой! Наставь меня, как убедить его! — вскричала, заламывая руки, Бригитта.

Джованни понял, что всякие уговоры бесполезны.

— Мы сделали что могли, Гитта,— сказал он сестре.— Надо спешить домой — мать может вернуться раньше нас.

— Сейчас, сейчас,— ответила девушка, не трогаясь с места.

— Марк, дорогой мой! Сознаешь ли ты, на что решаешься? — заговорил Карлос.— Знаешь ли ты, что такое жизнь? Ведь это — величайшее благо! Правда, в жизни бывает много невзгод, бывают долгие дни страданий, но все это искупается мгновеньями счастья, только мгновеньями, не более, но их достаточно, чтобы примириться со всем злом житейским. Не верь тому, что жизнь — это сплошное страдание; такой жизни нет и не может быть. Возьми голодного нищего, который и родился и вырос в нищете; его ли жизнь не тяжела, а между тем и у него бывают мгновенья счастья... Пожалуй, счастья такого, которое для иного вовсе и не показалось бы счастьем, но для него-то оно является искуплением всех тягот земных. Каждый по-своему понимает счастье.

Не верь и тому, будто бывает сплошь счастливая жизнь. Нет, и такой не бывает и быть не может. Жизнь, друг мой,

сцепление бед и благ, зла и добра, тьмы и света. Тьма борется со светом и эта борьба длится бесконечно — это и есть бытие. Быть — значит бороться, все равно с кем или с чем — быть может, с преградами к счастью, быть может, с окружающими людьми, быть может, с самим собой. Когда ты борешься, ты сознаешь, что живешь, и вот это-то сознание своего бытия и есть величайшее благо, есть жизнь.

А ты хочешь отказаться от этого блага, хочешь предпочесть ему небытие. Смерть — небытие для нас, существ из плоти и костей, потому что она прекращает борьбу. За нею полная свобода духа; за нею нет борьбы, совершенное спокойствие; быть может, это — только новая форма бытия, но, во всяком случае, такая, какую мы, живущие борьбой, постичь не можем, и нас страшит это спокойствие, нас тянет к борьбе. Ты знаешь, я много прожил и каждый день готов встретить смерть, но я не скажу, чтобы я не хотел жить. Нет! Я хочу жить, пока возможно и пока я нахожу борьбу по своим силам — вон хотя бы с лживостью тех фолиантов, которые лежат передо мною. Я, повторяю, хочу жить, как же не хочешь жить ты, существо, полное сил?

Старец остановился и вперил пытливый взгляд в Марка.

— Я не сказал, что я не хочу жить, учитель. Конечно, я хочу жить! — ответил молодой человек.

— Как же ты стремишься к смерти? Спасай же жизнь, спасай же величайшее благо, дарованное нам Господом! Беги отсюда, где веет смертью, беги скорее туда, где нет этого страшного веяния, где ты будешь бороться, страдать и радоваться... Беги, беги!

Марк выпрямился во весь свой высокий рост.

— Я остаюсь! — решительно проговорил он.

Бригитта печально склонила свою прелестную головку. Карлос встал — он был очень мал ростом и казался рядом с Марком почти карликом — и положил руку на его плечо.

— Счастлив ты, сын мой, что Бог вложил в тебя такую благородную душу! — тихо проговорил он, положив руку на плечо Марка, и его глаза увлажнились.

Джованни крепко пожал руку Марко.

— Прощай, дружище! Авось Бог пронесет грозу... Я, знаешь, понимаю теперь!.. Правда, нельзя тебе бежать, сказал он.

Попрощалась и Бригитта. Она плакала и не скрывала слез.

— Прощай, Марко,— сказала она и добавила слышным

только ему одному шепотом: — Знаешь, если тебя будут сжигать... я... тоже брошусь в костер.

Потом она быстро повернулась к брату и промолвила:

— Пойдем скорей! Мать, верно, вернулась уже и ждет нас у соседей; я ведь и ключ от двери увезла с собой... Пойдем, пойдем!

И она первая вышла из комнаты.

X

ЗАХВАТ

— Марк! Я слышу топот многих ног у наших дверей,— говорит Карлос, и легкая дрожь слышна в его голосе.

Марк уже сам давно слышал шум и сидел насторожившись.

В дверь постучали так, что она едва не сорвалась с петель.

— Пришли за мной! — прошептал Марк и твердой поступью пошел отворять дверь.

Несколько сбирров в стальных шлемах, с алебардами вошли в комнату, стуча тяжелыми сапогами; за ними, как мрачные тени, выступили темные фигуры монахов, с лицами, закрытыми капюшонами, и последним вошел Джузеппе Каттини. Его обыкновенно красное лицо было теперь бледно, и он дрожал так, что зубы щелкали. Войдя в комнату, он поспешил спрятаться за спиною монахов.

— Кого брать? — спросил один из сбирров.

Каттини выставился из-за монахов и указал на Марка.

Сбирры взглянули на монахов. Стоявший впереди других монах приказал:

— Возьмите еретика!

Два сбирра подошли к Марку и наложили руки ему на плечи.

— Цепи! — снова приказал монах.

Послышался лязг железа.

Теперь Каттини набрался смелости, он выступил вперед и остановился перед Марком, однако на довольно почтительном расстоянии

— Да! Возьмите этого проклятого еретика, этого безбожника! — закричал он.— Посадите его в темницу, закуйте его в цепи, чтобы он не сбивал с пути истинно правоверных ка-

толиков, чтобы он не опутывал колдовскими чарами чистые души наших красавиц. Не смотрите, что он прекрасен лицом и имеет вид честного человека — его красота от дьявола, и сам он не более как сосуд бесовский.

Марк презрительно посмотрел на Джузеппе.

— Тебе, кабатчик, должно быть, очень памятна моя пощечина, что ты так озлоблен? — насмешливо заметил он.

У Джузеппе от ярости пена выступила на губах.

— Да, да! Памятна! Памятна она будет и тебе, когда ты будешь жариться на костре,— крикнул Джузеппе и хотел продолжать, но его остановил монах:

— Замолчи, безумец!

Между тем приготовили цепи.

Старец Карлос колеблющимися шагами подошел к Марку и обнял его.

— Прощай, сын мой! Прощай, радость моя! — едва слышно шептал он.

Марк покрыл поцелуями его морщинистое лицо.

— Ну, будет! Нацеловались! Давайте цепи! — сказал сбирр и грубо оттолкнул Карлоса.

Старик едва не упал от точка. В ту же минуту сбирр отлетел в дальний угол комнаты от могучего удара Марка.

— Не тронь старца! — прогремел юноша.

Если бы пушечное ядро влетело в комнату, оно произвело бы не большее впечатление, чем этот удар. Товарищ сбирра, державший руку на плече «еретика», отскочил в сторону как ошпаренный. Монахи всплеснули руками и попятились к дверям, два других сбирра, размахивая алебардами, последовали за ними, а Джузеппе Каттини прижался к стене, словно желал пройти сквозь нее, и шептал молитвы посиневшими губами.

Но Марк не думал пользоваться своей силой. Он протянул вперед руки и сказал:

— Заковывайте!

Нерешительно приблизились сбирры, и тяжелые цепи были надеты на руки Марка.

После этого все тотчас же оправились. Сбирры снова приняли свой горделиво-заносчивый вид, монахи отошли от двери и застыли в прежнем спокойствии, Джузеппе присвистнул и молодцевато закинул голову.

— Ведите! — прозвучал приказ монаха.

— Прощай, учитель! — кидая последний взгляд на Карлоса, промолвил Марк и беспрекословно направился к дверям в сопровождении сбирров.

— Возьмите и этого старого колдуна заодно! — крикнул Каттини.

— У нас нет на это приказания,— ответили ему.

Большая гондола дожидалась у выхода. Марка втолкнули в нее. Туда же сели сбирры и монахи. Несколько пар весел с шумом опустились в воду.

«Прощай, воля и жизнь»! — подумал Марк.

XI

ПРЕД «ТРЕМЯ»

В палаццо Дожей еще до сих пор сохранилась комната «трех». «Три» — это слово заставляло бледнеть венецианца, заставляло его испытывать суеверный ужас. Никто не знал в лицо этих «трех» — трех инквизиторов; они были таинственны — самому дожу они были ведомы настолько же, насколько последнему нищему на площади св. Марка. А кто их видел, тот не мог ничего никому рассказать или потому, что за этим свиданием следовала его смерть, или — если это был свидетель — потому, что обязывался страшной клятвой молчания: у кого могло найтись смелости нарушить, на верную гибель себе, клятву, данную «трем»? «Три» были всеведущи и беспощадны. Их наказание обрушивалось неожиданно, поражало, как молния: вчера свободный и веселый человек к утру пропадал без вести, и никто не знал, что с ним сталось, только его родственники и знакомые шепотом передавали друг другу догадку:

— Он взят по приказу «трех».

«Взят тремя» было равносильно «помер», и жена взятого смело могла идти заказывать по нему заупокойную мессу; ждать, пока ей выдадут его обезглавленный труп, было бы бесполезно: виновный в буквальном смысле стирался с лица земли, и его могилой был омывающий стены палаццо мрачный, глубокий, узкий канал, в который бросали тело казненного.

Впрочем, иногда судьи хотели быть милосердными: обвиняемому даровалась жизнь. Но такая жизнь была хуже смерти: несчастный умирал медленною смертью без света и воздуха в тюрьмах — piombi или страшных camerotti — «каменных колодцах», как их называл народ.

Стены комнаты, где заседали эти страшные судьи, были обиты золотой кожей, золоченый потолок был покрыт чудною живописью кисти Тинторетто; если был день, из окна открывался великолепный вид на залитую солнцем Венецию; и в этой же комнате бренчали цепи; звучали орудия пыток, слышались стоны пытаемых, и из нее же вилась узкая, темная лестница в тюрьмы — piombi *.

Сюда привели Марко после захвата, а вместе с ним и Джузеппе Каттини. Кабатчик хотел было ускользнуть, когда лодка подплыла ко дворцу Дожей, но его задержали.

— Помилуйте! — ведь не я обвиняюсь! — взмолился он.

— Все равно, ты должен дать показания,— было ему ответом, и два сбирра стали по бокам его. Каттини почувствовал себя в положении обвиняемого и дрожал как осиновый лист.

«Еретика» поставили перед длинным, узким, покрытым черным сукном столом, на котором стояла пара зажженных восковых свечей. Три одетых во все темное человека с закрытыми лицами неподвижно сидели на креслах.

— Твое имя? — промолвил один из них, сидевший в центре.

Слова эти были сказаны ровным, спокойным голосом, но какая-то зловещая нотка слышалась в нем. Впрочем, это, быть может, казалось так от того места, где звучал этот голос.

— Марк,— ответил обвиняемый.

— Прозвище?

— Кречет-Буйтуров. Я — русский.

— Какой ты веры?

— Я — христианин.

— Пожалуй, и католик? — насмешливо заметил инквизитор.

— Я крещен по обряду греческой церкви.

— Признаешь ты власть святого отца папы?

— Признаю, как епископа.

— Ты — еретик, несомненно. В чем ты еще обвиняешь его? — обратился инквизитор к Каттини.

Тот трясся как в лихорадке.

— Я, я... я ни в чем... Я... это не я...— щелкая зубами, лепетал он.

- Как не ты? Донос, опущенный в пасть льва **, был подписан тобой.

---

* Теперь ни этой лестницы, ни этих тюрем не существует.

** В палаццо Дожей, подле лестницы Гигантов, был вделан в стену лев, в пасть которого опускались доносы.

— Это точно... А только я, что ж? Я очень мало знаю этого еретика. Это Марго, вдова резчика, Маттео, ее сосед, и еще другие многие. Правда, мне известно, что он распространял ересь, совращая с пути девушек... Он вообще — заклятый еретик и ругает святого отца... Он смеется над нашими обрядами...

— Можешь ты что-нибудь сообщить об его занятиях колдовством?

— Нет... Я слышал, что он чарами призывает бедствия на Венецию... Но как он колдует, сам я не видел. Его соседи знают, опять же Марго, Маттео... Я ничего не знаю, ничего...

Вдруг он упал на колени.

— Отпустите меня! Бога ради, отпустите меня,— завопил он.

Инквизиторы, казалось, не слышали его жалоб. Они тихо перешептывались.

— Надо допросить свидетелей,— промолвил вслух инквизитор и поднялся.— Уведите еретика в камеротту! — приказал он.— А ты можешь идти,— обратился он к Джузеппе: — Да помни: будь нем как рыба, не то...

И он красноречиво показал на шею.

Каттини чуть не подпрыгнул от радости.

— Ни одного слова, ни одного полуслова! Буду нем, глух, слеп, что хотите. Я — не враг себе...— скороговоркой затараторил он, а потом не утерпел, чтобы не кинуть в сторону Марка: — А ты посиди в колодце!

XII

БЕСЕДА ПРИЯТЕЛЕЙ

— Что?! Его забрали?! — и, крикнув это, Беппо от удивления даже вскочил со скамьи.

— Да.

— Может ли быть! Когда же?

— Сегодня ночью. Вероятно, вскоре после моего ухода с сестрой,— ответил Джованни.

— Бригитта ездила с тобой к нему?

— Да. Ей удалось узнать, что Марка хотят схватить.

— Ну?

— Ну, и мы поехали предупредить его и дать ему возможность скрыться заблаговременно.

— Фу, чего же ты меня напрасно испугал! — облегченно вздохнув, сказал Беппо.— Значит, его не забирали, а он просто-напросто сам скрылся?

Джованни отрицательно покачал головой.

— Нет, я знаю наверно, мне сказал сам Карлос.

— Но почему же его взяли?

— Его обвиняют в ереси и колдовстве.

— Господи! Ведь выдумают же!

— Против него целый заговор. Тут участвуют и моя мать, и сосед Маттео, и многие другие. Все это устроил Каттини.

— Вот подлый! Ну, как не переломать ему ребер! — вскричал Беппо.— Гм... бедняга ведь пропал, Ванни! — добавил он, помолчав.

— То же сдается и мне. Ты знаешь, моя сестра выходит замуж за Джузеппе.

Беппо остолбенел от изумления.

— Как?! За этого каналью?!

Джованни пожал плечами.

— Я сам не меньше твоего удивляюсь. Он уже сегодня был у нас.

— И Бригитта не плюнула ему в лицо?

— Она очень ласково с ним поздоровалась.

— Но это черт знает что такое! Бригитта, «святая Бригитта», как я ее звал, так любившая Марка, и вдруг... Знаешь, наслушавшись таких вещей, можно с ума спятить!

— Между нами сказать, мне сдается, что сестренка что-то задумала.

— А! Это меняет дело! Ее согласие на брак — просто хитрость?

— Мне кажется.

— Вот это так, этому можно поверить! Ты не знаешь, куда Марка заключили?

— Нет.

— Хоть бы это узнать. Все, может быть, можно было бы хоть весточку ему подать.

— Я подговорю Бригитту, чтобы она выведала у Каттини.

— Вот-вот!

— Поедем ко мне. Вместе и потолкуем с Бригиттой.

— Нет, я лучше останусь дома. Столкнусь у тебя, пожалуй, с Каттини, не выдержу и побью его.

— Я и сам тоже едва удерживаюсь, чтобы не дать ему пинка. Э-эх, Марк, бедняга! Увидимся ли мы с ним когда-нибудь? Ну, прощай!

— Вечером будешь на площади св. Марка?

— Буду.

— Там встретимся и поговорим. Бригитта-то пусть работает.

— Я надеюсь на нее.

Вечером на площади перед собором св. Марка Джованни говорил Беппо:

— Я передал Бригитте.

— И что же?

— Она пыталась расспрашивать полегоньку Каттини.

— Ну?

— Нем как рыба. Чуть речь заходит о Марке, он хоть бы щелкнул.

— Ах, проклятый! Плохо наше дело!

— Я еще не теряю надежды, дружище. Не такова Бригитта, чтобы отступать. Дай сроку — выпытает.

— Дай Бог! — ответил Беппо, тяжело вздыхая: несмотря на уверение товарища, он мало надеялся.

XIII

ЗМЕЙКА

Джузеппе Каттини со дня ареста Марка был в довольно странном состоянии духа. С одной стороны, согласие Бригитты на брак с ним заставляло его чувствовать себя на седьмом небе от радости, с другой — от страшных «трех» его кидало в жар и холод. Дело в том, что кабатчик далеко не был уверен в своей безопасности. «Как бы этот проклятый еретик не наплел чего-нибудь на меня»,— думал он, и ему уже мерещилась страшная темница. Он уже почти раскаивался, что подал донос, и вздыхал о счастливом времени, когда не нужно было заботиться ни о каких «трех», можно было говорить что угодно и чувствовать себя в полнейшей безопасности. Теперь приходилось следить за каждым словом: жест, который сделал инквизитор, хорошо запомнился ему. Поэтому всякий раз, когда заходила речь о Марке, Каттини становился, дей-

ствительно, «нем как рыба», по выражению Джованни. Даже с Бригиттой он не разговаривал о нем, как ни старалась та навести разговор на это. Единственным его утешением являлась мысль, что Марк погиб безвозвратно, и, если иногда, в минуту опасений, он раскаивался, что подал донос, то гораздо чаще злобная радость заставляла замирать его сердце, когда он представлял себе картину казни Марка; ему мерещились дымные облака, языки пламени и посреди них искаженное муками прекрасное лицо «северного еретика» — Джузеппе все еще думал, что Марка приговорят к публичному сожжению; он плохо знал обычаи «трех», девизом которых было: суд скорый и тайный.

От всех своих волнений Каттини отдыхал, когда был с Бригиттой. С этой девушкой произошла удивительная перемена. Куда девалась ее недавняя холодность, почти ненависть к нему? Она казалась такою любящей, была так ласкова к нему, что толстяк часто, видя перед собой искристые, ласково смотрящие на него глазки Бригитты, спрашивал себя, не сон ли это. А девушка с каждым днем становилась все более ласковой, ее разговоры с ним делались все более задушевными: она говорила с ним уже как будущая жена. Для нее самые скучные дела его, казалось, были ей очень занимательны, и она расспрашивала о них с живейшим интересом.

Порою она принималась строить планы предстоящей жизни со своим «милым муженьком», как она будет его ласкать, целовать, исполнять его малейшее желание. Каттини в это время только самодовольно пыхтел и таращил глаза.

Обыкновенно, едва Джузеппе входил в комнату и замечал «невесту», лицо его расплывалось в улыбку, а своим тусклым глазам он старался придать выражение нежности и почему-то для этой цели часто-часто моргал красноватыми веками и вращал воспаленными белками — он, кажется, находил, что это очень ему к лицу,— но однажды, это было дней через пять после ареста Марка, он пришел очень мрачным. Не было ни обычной улыбки, ни вращения белков.

Бригитта сразу заметила перемену, происшедшую в настроении духа своего «жениха», но пока не показала вида и защебетала, как птичка.

— А! вот и ты, мой милый! Я так ждала тебя! Что это, думаю, не идет мой Джузеппе. Верно, дела задержали? Да?

— Да, дела.

— А матушки нет дома: ушла с утра. Да это и лучше —

нам свободнее. Что же ты, Джо, не подойдешь, не поцелуешь меня?

Каттини даже покраснел от удовольствия.

— Вот так, давно бы так! Крепче целуй, крепче! Теперь ты повеселел, раньше, показалось мне, ты был не в своей тарелке. А? Признавайся!

— Был грех.

— А! Видишь! Я угадала. Я сейчас замечу, если в моем Джо перемена. Отчего ты был не в духе?

— Так... Дела, знаешь...

— Это — не ответ. Ты должен со мною быть откровенным. Слышишь, Джо? А то я рассержусь... Да! Я все собираюсь спросить — скоро сожгут этого еретика? Ах, если б ты знал, как я его ненавижу! Когда его будут сжигать, я сама подкину лишнюю вязанку дров в его костер.

— В том-то и беда, что его не будут сжигать.

— Да неужели? — Бриггита сделала удивленные глаза.— Помилуют?

— Нет. А только тайно казнят.

— Экое горе! Да, может быть, ты ошибся?

— Нет! Я узнал от сведущего человека.

— Кто же он?

— Тюрем... Его зовут Эрнесто.

— Ты не договорил, Джо! Я рассержусь на тебя.

— За что?

— Ты не хочешь быть со мною откровенным. Чего ты боишься? Выдам я тебя, что ли? Я — твоя будущая жена. Кто этот Эрнесто? Тюремщик? Ты не договорил.

— Ах, Гитта, если б ты знала...

— Я и хочу знать! Что за страхи такие со мной! Слава Богу, кажется, ты мог видеть, что я люблю тебя непритворно.

— В этом я убежден.

— Вот видишь. И еретика я ненавижу не меньше твоего. Тебя, может быть, останавливает то, что я прежде его сильно любила! Да, я не отпираюсь, я его любила, но тем более теперь его ненавижу. Джо! Не забывай — ты не только мой будущий муж, ты также и союзник мне в мести.

— Я знаю это.

— Ну, так чего же ты молчишь? Говори откровенно, кто это такой Эрнесто?

— Тюремщик.

— Марка?

— Да.

— Как ты-то его узнал?

— Гм... С деньгами все узнаешь.

— В какой тюрьме еретик заключен? В piombi? В тюрьме Антонио?

— Ни там, ни тут.

— Ты хотел быть откровенным.

— Я и откровенен.

— Это и видно!

— Я говорю правду: ни в тех, ни в других тюрьмах его нет.

— Так где же он?

— Откровенничая с тобой, знаешь, чем я рискую?

— Ну?

— Своей головой.

— Будь спокоен, я тебя слишком люблю, чтобы выдать. Так где же спрятан еретик?

— В палаццо Дожей, в камероттах!

— В камероттах?

— Ну, да. Камеротты иначе pozzi *, разве не знаешь?

— Ах, да, да! Я слышала. Говорят, это — ужаснейшая тюрьма. Ни света, ни воздуха!...— говоря это, Бригитта вздрогнула.— Брр!... Страшно! — добавила она.

— Да! Попасть туда не дай Бог никому... кроме Марка.

— Ему поделом! Что же говорил тебе Эрнесто?

— Он десять лет там служит, знает порядки. Он говорит, что «три» не любят открытых казней. Такие еретики, как Марк, встречались уже. Их просто обезглавливали в тюрьме же, а потом бросали в канал.

— Фу! Как страшно! Как это ты ухитрился познакомиться с Эрнесто?

— Сумел!

— Положим, при твоем уме... А только ты мне не ответил.

— Я сам слышал, как инквизитор приказал отправить Марка в camerotti.

— Так что же?

— Экая недогадливая! Я узнал, где собираются тюремщики камеротт. Ведь и они — люди, выпить хочется.

— Удивляюсь твоей сметливости! Где же они собираются?

— В кабачке Антонио Санто.

---

* колодцы

— Этого мало, надо было найти между ними тюремщика Марка.

— Я переугощал их всех. Наконец напал на Эрнесто. Он сам мне сказал, что у него содержится еретик.

— Собственно, зачем тебе было это нужно?

— Хотелось узнать, каково-то «проклятому» в тюрьме. Пытают его ежедневно.

— Я думаю, он плачет и стонет?

— Представь, нет! Сам Эрнесто удивляется — ни одного стона.

— Тут не без чар — может быть, он и боли не испытывает! Скажи, пожалуйста, этот Эрнесто такой высокий, черный?

— Ой, нет! Малорослый и волосы светлее, чем мои.

— Как будто я видела такого... Старик?

— Не старик, но уже с проседью.

Бриггита порывисто обняла Каттини.

— Ах, милый мой! Хорошо, что мы с тобой свободны и нам не грозят никакие тюрьмы. Ну, что твое расположение духа? Лучше ли?

— Оно отличное.

— То-то. Я рада этому.

Она крепко поцеловала Джузеппе в его багровую щеку. Кабатчик, конечно, и не подозревал, чему она радовалась, и был в восхищении от ее любви к нему.

XIV

В КАБАЧКЕ АНТОНИО САНТО

Кабачок Антонио Санто представлял из себя небольшую каморку, шага в четыре длиной и не больше трех шириной. Находился он неподалеку от дворца Дожей, на площади св. Марка. Несмотря на тесноту помещения и убожество обстановки, состоящей из пятка скамеек да пары круглых столов, посетители толпились в нем с утра до поздней ночи. Когда скамеек не хватало, а это бывало каждый день, незваные гости усаживались по двое на одной, а то просто прислонялись к стене и так простаивали целыми часами, прихлебывая из глиняной кружки дешевенькое вино да балагуря с при-

ятелями. Главною приманкой гостей в этот кабачок служил сам хозяин его, добродушный краснощекий толстяк, балагур и весельчак Антонио. Каждого из своих посетителей он знал в лицо и по имени и умел каждого встретить добрым словом, умел с каждым и выпить, не обладая в то же время способностью хмелеть: Антонио гордился тем, что никто никогда не видел его пьяным.

Если случалось зайти в кабачок незнакомому посетителю, хозяин встречал его с достоинством, наливал ему лучшего вина и сам выпивал кружку за его здоровье. Понемногу завязывалась беседа, через полчаса Антонио сидел уже вместе с гостем за столиком, а через час уже отлично знал, кто его гость, как его имя, где живет, холост или женат: на другой день он с ним встречался уже как со старым знакомым.

В этом кабачке с утра засели Джованни и Беппо. С хозяином они успели быстро сойтись, и Беппо, отличавшийся веселым характером, часто заставлял трястись от смеха жирное чрево Антонио. Веселая беседа не мешала приятелям то и дело посматривать на дверь, и, когда Санто отходил от них на некоторое время, чтобы поздороваться с новым посетителем или нацедить кружку вина из стоящей у стены бочки, они перешептывались:

— Его еще нет, Беппо.

— Да. Узнаем ли мы его?

— Бригитта говорила: маленький, светловолосый... зовут Эрнесто...

— Подождем.

И они ждали; час проходил за часом, они уже потеряли счет выпитым кружкам, у них начинало шуметь в голове, а тюремщик не появлялся.

Было уже далеко за полдень, когда дверь пропустила нового посетителя в кабачок Санто. Это был очень небольшого роста, плотный, пожилой человек, с бледным одутловатым лицом, с синеватыми «мешками» под выцветшими голубыми глазами. Щетина светлых волос торчала на его голове, несколько того же цвета волосков на верхней губе заменяли усы.

Приятели переглянулись между собой.

— Он! — тихо шепнул Джованни.

— Синьор Эрнесто! Что долго тебя сегодня не было видно? — встретил его Антонио.— А я вот тут беседовал с милыми людьми да все нет-нет и подумаю: «Что это синьор

Эрнесто не идет?» Налить кружечку? Я уж знаю какого — покрепче? Да?

— Дела, брат, дела не позволяли. Ты ведь знаешь, какой пост я занимаю...

— Важный пост, важный! Ответственный! — сделав серьезное лицо, заметил Антонио.

— То-то и есть,— продолжал Эрнесто, ища глазами место, где бы присесть. Но все места были заняты.

Тюремщик, кажется, думал уже примоститься подле стены, стоя, когда ему на помощь явился Беппо. Он тихо, но так, чтобы мог слышать Эрнесто, сказал Антонио:

— Быть может, этот синьор с таким красивым и приветливым лицом не откажется разделить с нами компанию? Мы были бы весьма рады угостить его парою кружек доброго вина, сочли бы для себя за честь — по всему видно, он — немалая птица.

Как большинство некрасивых людей, тюремщик воображал себя красавцем; поэтому замечание Беппо об его наружности пришлось ему очень по сердцу и заставило самодовольно задрать нос, а данный ему хитрым приятелем Марка чин «немалой птицы» заставил его раздуть щеки и поднять плечи — этим, казалось ему, он придает себе очень важный вид.

— Эрнесто! Тебя приглашают эти добрые люди выпить с ними,— передал хозяин тюремщику предложение Беппо.

— Весьма охотно! По крайней мере, мои денежки останутся целы, ха-ха-ха! — ответил тот.

Джованни и Беппо потеснились и дали ему место.

— Синьор Антонио! Налей-ка по кружечке самого лучшего,— сказал Джованни и добавил тише: — Перед такою особой не хочется ударить в грязь лицом.

Предвкушение хорошей выпивки заставило расплыться в довольную улыбку одутловатое лицо тюремщика.

— За здоровье нашего нового знакомца! — сказал Беппо, когда кружки были наполнены,— синьора... кажется, Эрнесто?

Тот кивнул головой.

Так было заключено первое знакомство.

Джованни и Беппо окружили тюремщика таким облачком лести, так ухаживали за ним, ловили каждое слово и выслушивали его с такою почтительностью, похожею на благоговение, что голова Эрнесто закружилась, и он, действительно, стал самому себе казаться «немалой птицей». Кроме

того, приятели наперерыв подливали вина ему в кружку, забывая в то же время наполнять свои. Тюремщик скоро развернулся вовсю. Он говорил без умолку, хвастал, сыпал плоскими шутками. Друзья хохотали больше над его глупостью, чем над шутками, но тюремщик, разумеется, принимал их смех за чистую монету.

— Этот умный человек должен занимать очень высокую должность,— когда Эрнесто уже изрядно захмелел, шепнул Беппо Джованни так, чтобы его слова были услышаны тюремщиком.

Маневр удался. Эрнесто расслышал и не преминул отозваться:

— Приятель! Чем шептаться, спросил бы лучше прямо. Прямота выше всего.

Беппо состроил смущенную физиономию.

— Я не смел.

— Что за пустяки! Между приятелями этого не должно быть. Налей-ка мне еще кружечку!

Джованни и Беппо оба спешили исполнить его желание и даже заспорили. В это время Антонио успел налить кружку, и спор, таким образом, был разрешен.

— Ты, кажется, говорил товарищу, что я, вероятно, занимаю высокую должность? — сказал, плохо шевеля языком, тюремщик, обращаясь к Беппо.

— Да,— ответил тот.

— Я, действительно, занимаю не маленькую должность.

— Ага! Я не ошибся! Я сейчас заметил, что лицо этакое ...

— Ну-ну, какое?

— Этакое... величественное.

— Да, у Эрнесто должность важная,— вставил свое слово Антонио.

— Кто же он? — спросил Джованни.

— Спрашивай напрямик, приятель, напрямик! — воскликнул Эрнесто.

— Кто ты?

— Гм... А как бы ты думал? — лукаво прищурился тот.

— Право, не знаю... Быть может, писец у дожа!

— Хе-хе! Нет, брат! Получше! Я — тюрем... Я — смотритель камеротт!

— Какая великая должность! — воскликнул Беппо.

— Сан больший, чем сан дожа! — ляпнул Джованни и сам спохватился — не перехватил ли через край.

Но на тюремщика его замечание произвело отличное впечатление.

— Именно так! Потому, что у меня под замком и дож может быть.

— Великая, но трудная обязанность,— промолвил Беппо.

— Да, не легкая. Постоянно надо быть на страже, смотреть в оба.

— Да, я думаю, бывают также очень страшные заключенные? — сказал Джованни.

— Есть-таки. Вон хоть бы теперь содержится у меня еретик...

Приятели переглянулись.

— Что же, очень страшный? — спросил Антонио.

— Ух! Взглянуть, так видно, что злодей. Поверишь ли, в эту дверь не войдет — такого роста! И притом в плечах широк, как два ты.

— Ну! — удивился хозяин.— И лицом, верно, ужасен?

— Он — красавец, а только, знаешь, этакий дьявольский вид.

— Эк он расписывает нашего бедного Марка! — шепнул приятелю Беппо, потом проговорил вслух: — А давно уж этот проклятый еретик находится в камероттах под твоим наблюдением?

— Дней шесть.

— Суд над ним еще не кончен?

— Нет... Пытают каждый день. И верите ли, хоть бы он разик застонал! Ни-ни! Скоро ему конец!

— Конец? — в один голос спросили приятели.

— Да. У нас ведь вот как устраивается... Чур! Только не выдайте! Я обязывался клятвой молчать, проболтаетесь кому — мне головы не снести.

— Будь спокоен!

— У нас так устраивается. Как осудят, так сейчас либо придушат, либо голову долой, а тело потом в канал... И поминай как звали! И концы в воду!..

Однако на этот раз собеседники не разделили с ним его веселости.

— Ну, вот, не сегодня-завтра и этого еретика так пустят к рыбам,— добавил Эрнесто.

— Тебе разве известно? — спросил Беппо.

— Ха! Чего я не знаю! — самодовольно проговорил тюремщик и стал распространяться о том, что он знает.

Друзья Марка только делали вид, что слушают его. На самом деле они ломали голову, как бы им через посредство Эрнесто завести сношения с заключенным. Однако никакого подходящего плана не слагалось. С досады Джованни решил напоить Эрнесто до «положения риз», и кружка тюремщика ни на минуту не оставалась пустой. Тот пил с охотой и уже начинал клевать носом. Наконец Беппо что-то надумал.

— Хорошо бы взглянуть на этого еретика,— сказал он.

— На какого еретика? — едва шевеля языком, спросил тюремщик; во время своей болтовни он уже успел забыть о предыдущем разговоре.

— Который заперт у тебя в камероттах.

— А! Да... Тебе было бы интересно? А только нельзя.

— Нельзя! Разве ты не можешь провести кого-нибудь, например меня, в камеротту?

— Ни-ни! Ни отца родного. Да если б и провел, ты все равно ничего не увидел бы.

— Почему?

— Там темнее, чем в самую глубокую ночь.

— Вот как! А ты к нему имеешь свободный доступ?

— Еще бы нет!

— Так что, если бы было надо, мог бы ему передать... ну, что-нибудь.

— Мог бы, а только не взялся бы.

— А что так?

— У меня ведь одна голова на плечах.

— Даже если бы тебе предложили хорошие деньги?

Пьяный Эрнесто подозрительно уставился на Беппо.

— Подкупить ты меня, что ли, хочешь?

Однако Беппо было нелегко смутить. Он непринужденно расхохотался.

— Эка, выдумал! Шутник ты, Эрнесто! — вскричал он, хлопая по плечу тюремщика.

— Ты, я думаю, добр с заключенными? Человека доброго сейчас видно,— сказал Джованни.

— Ты сказал правду. Я их никогда не обижаю — люди ведь.

— Тебя Бог наградит за это,— промолвил Джованни и пошел рассуждать на эту тему, шепнув Беппо: — Напоем ему — быть может, и окажет какую-нибудь милость бедному Марку?

Уже солнце почти скрылось за горизонт, когда Беппо и

Джованни, поддерживая совершенно опьяневшего тюремщика, вышли из кабачка Санто. Перейдя через площадь, друзья Марка распрощались с Эрнесто. Он, забыв свое недавнее величие, целовался и обнимался с ними, называл их своими лучшими приятелями. Они были рады, когда от него отделались.

— Что, брат, ведь не выгорело,— со вздохом сказал Беппо товарищу, когда они остались одни.

— Бедный Марк! — грустно промолвил Джованни, и, пожав друг другу руки, они печально побрели по домам. Теперь ни у того, ни у другого не осталось ни малейшей надежды на спасение Марка.

XV

МИЛОСЕРДНЫЙ ТЮРЕМЩИК

Во дворце Дожей, позади комнаты, служившей местом собрания «Совету Десяти», тянется коридор, из которого узкая лестница ведет на «Ponte dei Sosperi» — «Мост Вздохов». Этот мост соединяет дворец с тюрьмами Антонио да-Понте, отделенными от дворца узким каналом. Арка моста перекидывается на очень большой высоте над водой. Печальное название мост получил недаром: действительно, часто, очень часто раздавались на нем тяжелые вздохи несчастных, прощавшихся здесь со светом и с прекрасной Венецией, на которую отсюда открывается великолепный вид: дальше, за этим мостом, уже не будет ничего, кроме беспросветной тьмы тюрьмы, мук и отчаяния.

С лестницы, ведущей к «Мосту Вздохов», был ход и в «колодцы». Надо было свернуть вниз, не доходя до моста. Это были страшные тюрьмы: нечто вроде каменных ящиков без малейшего луча света, без самой слабой струи свежего воздуха. Это хуже темницы, это — могила.

Часто судьи вместо того, чтобы вызывать к себе подсудимого, сами спускались к нему в этот мрак и тут судили, пытали, казнили. Он мог кричать сколько угодно в пытках — ни один звук не мог вылететь из-за толстых стен. Под рукою у судей были и орудия казни: гаррота — место, где душили, и нечто вроде плахи, на которой отрубали головы. Была тут

в стене и подъемная дверь: канал омывает стены дворца, дверь приподнимут, столкнут труп — и все кончено!

В одной из таких тюрем-могил был заключен Марк.

Когда Эрнесто вернулся из кабачка Санто, он сменил своего дежурившего товарища. Тот ругнул его, зачем Эрнесто долго не возвращался, и ушел. Недавний собутыльник Беппо и Джованни остался один. Он едва держался на ногах, но состояние его духа было самое возвышенное. Он чувствовал себя в это время самым великим, самым умным, самым добрым на свете. Великому естественно жаждать великого, жаждал этого и Эрнесто. Но что совершить?

Он, стоя в совершенном мраке близ «колодца», в котором находился Марк, в раздумье шевелил ключами. «Выпустить разве еретика?» — пришло ему в голову. За такое великое дело после придется очень дорого расплачиваться, поэтому он как быстро надумал, так же быстро и раздумал. Но что бы сделать? Этот вопрос колом засел в его голове. «Вот что! Пойду к еретику, поцелую его — все люди братья. Он должен ценить... Я снизойду до него, я! О! это будет, действительно, великое дело!» — решил он.

Затем он высек огня, затеплил огарок свечки и выбрал из связки ключ от двери «еретика».

Марк лежал на каменной плите, протянувшись на ней во весь свой высокий рост. При входе тюремщика он приподнялся и равнодушно посмотрел на него: не все ли ему равно, кто был этот маленький уродливый человек? Он не мог принести ему жизни! Трудно было узнать красавца Марка в этом бледном заключенном с таким мрачным взглядом впавших глаз.

— Слушай ты! — сказал Эрнесто, останавливаясь против Марка на колеблющихся ногах.— Ты знаешь, кто ты и кто я? Ты — еретик, которого, может, сегодня же придушат в гарроте, ты хуже свиньи,— и ту без пользы не зарежут, не придушат, а тебя убьют так себе, здорово живешь, ну, а я, я — великий человек, я — твой господин, я... Но я знаю, что все люди — братья, и пришел тебя обнять и поцеловать... Слышишь? Я хочу тебя поцеловать. А? Чувствуешь, какое великое дело я совершаю? Целуй же меня, еретик несчастный, целуй, брат мой!

Он подставил свою пухлую щеку для поцелуя Марку. Тот отстранился.

— Ну, что ж? Не хочешь?

— Не хочу,— ответил Марк.

— Ах, ты, тварь этакая! Ах, ты, животное! Еретик проклятый! Да я тебя сейчас...

И Эрнесто замахнулся на Марка. Тот быстро поднялся с пола, сжал и выпустил руку тюремщика. Этого было довольно, чтобы Эрнесто насколько мог скоро выбрался из камеры еретика, прихлопнул дверь и отбежал от нее на несколько шагов.

— Проклятый еретик! Он убьет! Вот делай людям добро! Злодей! Пытать их надо, убивать! У! — бормотал он, присев в углу.

Он призывал громы на голову еретика, сыпал проклятиями, между тем его веки слипались, его клонило ко сну. Раза два у него мелькнула мысль, что он что-то забыл сделать. Он попытался вспомнить, но не мог. А сон одолевал его все сильнее, уголок, выбранный им, казался все уютнее... Скоро легкий храп вылетел из его рта. Огарок догорел и потух. Эрнесто сладко спал в темноте.

Того, что он забыл сделать, он так и не вспомнил.

XVI

ЧТО ЗАБЫЛ ЭРНЕСТО И ПЛОДЫ ЕГО ЗАБЫВЧИВОСТИ

Когда «великий» Эрнесто выбежал из камеротты, Марк опять опустился на пол. Столкновение с тюремщиком его более удивило, чем раздражило. Да и мог ли бы он теперь рассердиться на что-нибудь? Такой вопрос задал себе Марк и ответил на него: «Нет!» Он чувствовал теперь полнейшую апатию, полное равнодушие ко всему. Его тело ныло от побоев, полученных во время пыток, в кровавых рубцах и ранах чувствовалась жгучая боль. Он устал от мук, и ему хотелось только одного — покоя, как бы ни достался этот покой, хотя бы смертью. Теперь он с радостью выслушал бы ужасный приказ: в гарроту! и не сопротивлялся бы, когда его начали бы удушать.

Первые дни заключения он вспоминал о своем старом учителе, о своих друзьях. Среди тьмы ему грезились их дорогие лица. Его сердце готово было разорваться от тоски. Теперь его тоска притупилась, как будто он провел в тюрьме

долгие годы. Да в такой темнице, среди таких страданий день стоил года. Его камеротта была так тесна, что он едва мог сделать в ней два шага; он чувствовал себя, как в каменном мешке. Единственное облегчение, какое он получил — это было то, что с него сняли цепи. Однако вовсе не чувство сострадания здесь играло роль; напротив — судьи приказали снять цепи с него, «еретика», лишь потому, что они мешали при пытках. Несколько раз у Марка мелькала мысль, не разбить ли себе голову о каменную стену своей темницы, но что-то похожее на стыд за свое малодушие удерживало его. Претерпеть до конца решил он и апатично ожидал он этого конца.

Среди глубокого мрака и темноты Марк лежал на каменной плите. Сырая, холодная плита была довольно неудобным ложем, но он мало обращал внимания на это и проводил так целые часы, лишь изредка меняя положение, когда та или другая сторона тела затекала от долгого лежания. На этот раз он лег неудобно — нажал на рану, которую на его теле оставили раскаленные щипцы. Он пролежал некоторое время, перемогая боль, но наконец, не выдержал и повернулся на другой бок, в сторону двери, и вдруг приподнялся, как от удара, и уставился глазами на светлую полоску, которая протянулась на каменном полу темницы. Полоска то выступала ярче, то бледнела, почти потухала.

Странное действие произвел на Марка этот слабый, умирающий луч света, пролившийся во мрак его темницы. Этот луч говорил ему о жизни, о свободе. Его сердце, замершее в отчаянье, забилось сильнее, и жгучая тоска, тоска по погибшей жизни, наполнила его. Апатии как не бывало. Ему хотелось жить, жить бесконечно! Страдать, но жить. Световая полоска на полу была ему дорога, как лучший друг. Это был вестник из того мира, где свобода, свет и тепло. Когда свет уменьшился, он сам весь замирал в ожидании — вспыхнет ли вновь? Вспыхнет ли? И когда луч разгорался, что-то похожее на радость шевелилось в его сердце.

Но свет трепетал, мерк. Вот он вспыхнул на минуту ярко-ярко и разом потух. Вновь тьма холодная, слепая, без малейшей светлой искры. Марк прождал несколько времени, не разгорится ли огонек вновь, потом кинулся по тому направлению, откуда исходил свет. Там должна быть щель, трещина, отверстие в стене. Он водил рукою по стене — везде был плотный камень, без малейшей скважины. Он взял правее, рука его толкнулась в дверь, и — о чудо! — дверь пода-

лась под его рукой. Не веря самому себе, Марк нажал посильнее, и дверь распахнулась, слегка завизжав петлями. За дверью был такой же мрак, как и в его камере. Марк выбрался из своей темницы и пошел во тьме, нащупывая рукою стену. Он не имел ни малейшего представления, куда он идет. Быть может, прямо в руки палачам; но он шел, не раздумывая, не останавливаясь, шел, притаив дыхание, стараясь неслышно ступать по каменному полу, прислушиваясь к биению своего сердца, в котором зарождалась смутная надежда. Он спотыкался на каких-то неровностях, спускался по ступенькам и все шел, шел.

Вот впадина в стене, в ней дверь. Он ищет замок — его нет, это не камеротта, это — ход куда-то. Куда? Не все ли равно! Он нажимает, хочет открыть — дверь не подается. Что-то похожее на ярость начинает клокотать в его груди. Он трясет дверь, хочет сорвать ее с петель, силится приподнять ее для этой цели. Она подается вверх больше, больше... Перед ним открытое пространство. Струя свежего воздуха бьет ему в лицо. Он жадно вдыхает воздух. Прямо против него чернеет стена какого-то здания, в стороне над ним висит освещенная луной арка «Моста Вздохов», внизу плещется вода канала. Придется сделать хороший прыжок. Марк — недурной пловец; он не задумывается. Он быстро перекрестился, сложил руки и бросился вниз.

Вода канала раздалась и вновь сошлась, скрыв под собою на этот раз не мертвое, а живое тело.

Через мгновение голова Марка показалась над поверхностью воды. Сильные руки быстро рассекают воду...

Крепко спал Эрнесто. Он сполз из угла, где заснул, и разлегся на каменной скамье, как на мягкой перине. Не знаем, какие грезы наполняли его «умную» голову, но вдруг он проснулся от одной жгучей мысли: во время сна он вспомнил то, что он напрасно силился вспомнить перед сном: он забыл затворить на ключ дверь камеротты «еретика»!

Волосы от ужаса зашевелились на его голове. Дрожащими руками он искал ключ в связке и не мог найти. Он побежал, спотыкаясь в темноте, отыскивать огарок свечи, нашел, зажег и побежал к камеротте Марка. Подбежав

к ней, он остановился как вкопанный, дверь была широко распахнута: «еретика» в темнице не было. Несчастный тюремщик затрясся всем телом: от этого открытия пахло смертью для него. Но из камеротты убежать невозможно. Если «еретик» и вышел из своей тюрьмы, он все же не мог убежать, он должен быть где-нибудь здесь. Эрнесто кинулся осматривать углы и закоулки и наткнулся на открытую подъемную дверь. Сомнения не оставалось: «еретик» убежал, бросившись в канал. Быть может, он и утонул — от этого не легче Эрнесто.

«Проклятый! Проклятый! Что я теперь буду делать? — проносилось в голове тюремщика.— Самому прыгнуть в канал? Или убежать?»

В коридоре слышались шаги, показался свет. Шли судьи. Надо было решаться. Прыгать? Эрнесто выглянул из двери на канал и вздрогнул. Эта темная тихая вода его пугала. Он не мог найти в себе достаточно решимости.

Свет все ярче, шаги все слышнее...

Эрнесто, поспешно опустив дверь, бегом бросился к камеротте Марка, запер ее и встал у двери.

Шли страшные «три» и с ними толпа палачей.

— Отвори! — приказали Эрнесто.

— Осмелюсь доложить — «еретика» что-то совсем не слышно, не помер ли... Я вот уже два часа прислушиваюсь здесь...— пробормотал тюремщик, тщетно стараясь дрожащими руками попасть ключом в замочную скважину.

Наконец он отворил дверь. Скрип петель прозвучал для Эрнесто, как погребальная песня.

Палачи с факелами вошли в камеру и тотчас возвратились.

— Пусто!

Судьи не верили ушам.

— «Еретика» нет! — повторили палачи.

— Должно быть... должно быть, он колдовскими чарами... бесы взяли...— забормотал Эрнесто, дрожа всем телом.

— Бесы? Да? — сказал один из инквизиторов.— Эй! В гарроту его!

— Смилуйтесь! Клянусь, не выпускал! — лепетал несчастный.

Несколько пар сильных рук схватили его и повлекли.

Через минуту раздался полузаглушенный крик, хрипение, и все смолкло.

Дверь над каналом опять поднялась, и тело «великого» Эрнесто тяжело бухнуло в воду.

XVII

ЖИВОЕ ПРИВИДЕНИЕ БЕППО

Из кабачка Санто Беппо возвратился домой в самом скверном расположении духа. Доброго малого угнетало сознание, что его друг, «этот славный парень Марко», погиб. Если б Марку пришлось уехать куда-нибудь из Венеции навсегда, Беппо, конечно, тосковал по нему, но это была бы совсем иная тоска, чем та, которую он теперь испытывал. Тогда бы он знал, что его друг, хоть и далеко от него, но жив, свободен, быть может, счастлив. Первые дни разлуки были бы тяжелы, после явилась бы привычка к разлуке,— ведь и к ней можно привыкнуть,— а плодом дружбы остались бы светлые воспоминания о далеком друге, порою мелькнула бы мысль, как-то он поживает в дальних странах и что недурно бы было с ним свидеться, вырвались бы тяжелый вздох да легкое сетование на разлучницу-судьбу. Даже если бы Марку пришлось на его глазах умереть естественною смертью, он бы не так горевал, как теперь.

Чувство Беппо было похоже на то, какое испытывает тот, кто видит, что утопает его мать, отец, сын, вообще близкий, дорогой ему человек, и он не имеет средств подать ему помощь. Тут и жгучее горе и злоба на свое бессилие.

Беппо был одинок. Он был круглый сирота и не имел ни брата, ни сестры. Он любил свою скромную маленькую комнату, всегда старался приобрести лишнюю вещицу, которая могла бы способствовать ее украшению, и для этой цели нередко отделял добрую половину своего небольшого заработка — он занимался лепкой статуэток — и комната его всегда казалась ему приветливой и уютной, и всегда с удовольствием спешил он в свой уголок, но сегодня и любимая комната не понравилась Беппо, и он с досадой посматривал на те вещицы, которыми еще сегодня утром любовался.

Мрачный, нахмуренный, шагал он из угла в угол по комнате. Стемнело. Он зажег лампаду и продолжал ходить, не зная, чем заглушить тоску. «Был бы хоть один живой человек, с кем можно бы душу отвести, а то никого, никого!» — думал он.

Сегодня одиночество было ему особенно тяжело.

«Пойти к Джованни — там, верно, торчит этот проклятый кабатчик. Да и что за радость смотреть, как тоскует Бригит-

та? Она его любила... Вон, уж «любила», а не «любит»!... как о покойнике... Бедный парень! Конечно, из-за него Бригитта не обратила на меня внимания... Так разве в этом он виноват? Он нисколько не старался об этом. Жив ли он еще или томится? Как сегодня этот пьяный дурак сказал: «У нас живо, говорит, придушат либо прирежут да и концы в воду»? Так, кажется?.. Одним словом, что-то мерзкое в этом роде. И еще смеется, мерзавец! Фу, я, кажется, если останусь здесь, разревусь, как баба! Пойти разве поездить на гондоле... И в самом деле пойду!»

Решив так, Беппо вспрыгнул в гондолу и пустил ее наугад вправо по каналу (он не избрал определенной цели для поездки).

Ночь была лунная. Мимо Беппо беспрестанно мелькали лодки с счастливыми парочками. Изредка до него доносились звуки поцелуев, веселый смех, отрывок разговора. Слышался звон гитары и песни.

Зрелище чужого счастья раздражающим образом действовало на Беппо. Ему хотелось уйти куда-нибудь подальше от счастливцев.

Он проехал часть Большого канала и заметил узкий уходящий вдаль канал, на котором не было видно ни одной гондолы. Туда он и повернул. Он даже не взглянул хорошенько, какой это канал,— с него достаточно было того, что там не было видно ненавистных счастливцев.

Беппо тихо плыл, едва полоща весло. Пока он был еще не особенно далеко от Большого канала, оттуда долетал отголосок оживления, но чем дальше подвигался он, тем становилось спокойнее, и наконец полная тишина сменила людской шум. Ее нарушал только плеск воды под веслом Беппо. Окруженный с обеих сторон домами канал выглядел каким-то мрачным коридором. Лунный свет падал вдоль него, и неподвижная вода его отражала, как в зеркале, береговые палаццо. Только с одного края тянулась темная полоса.

Глубокая тишина действует иногда на нервы хуже громкого шума. Так было и с Беппо. Недовольный прежде шумом, теперь он почувствовал, что ему становится жутко в этой мертвой тишине. Он посмотрел по сторонам канала — палаццо с рядами темных окон показались ему похожими на гробницы; взглянул он вдаль — ни одной гондолы, ни одной живой души; прислушался — ни одного звука. Всюду тишина, глубокая, зловещая — настоящая обитель смерти.

Действуя веслом, он стоял лицом к носу лодки и вдруг

увидел впереди, высоко над собой, весь облитый луною, словно повисший в воздухе, «Мост Вздохов».

Беппо едва не выронил весла. Он заехал в это проклятое место! Тюрьма с этой стороны, камеротты — с другой. Именно вот здесь, подле «Моста Вздохов», выбрасывают, как рассказывал Эрнесто, трупы казенных... Брр!

Холодная дрожь пробежала по телу Беппо. Ему представились сотни раздутых, посиневших утопленников, лежащих на дне этого канала. Ему чудилось, что над ним веют их холодные тени. Казалось, что из прикрытого тенью канала смотрят тысячи глаз. Для него, сына XVI века, эта тишина сразу ожила, заговорила, но заговорила таким языком, от которого мороз бежал по коже.

Скорее отсюда прочь!

— Беппо! — раздался возглас недалеко от него из темного края канала.

Если бы стены огромных палаццо вдруг рухнули в воду, вероятно, это произвело бы на Беппо меньше впечатления, чем этот таинственный возглас. Невозможно описать охвативший его суеверный ужас.

— Беппо! — радостно прозвучало снова уже ближе, и что-то выплыло из тени и направилось прямо к его лодке.

Беппо всматривается в освещенное луной это «что-то» и узнает черты лица Марка.

«Убит! Привидение!» — молнией проносится в его голове.

— Pater noster, gui est in coelo...* — шепчут его побледневшие губы, а руки ловят, но не могут поймать выпавшее весло.

— Беппо! Да что же? Ты меня не узнаешь? — слышится уже у лодки, и «привидение», оплыв гондолу, хватается за корму, хочет вскарабкаться. Тут Беппо нашел в себе силы.

— Прочь! — закричал он не своим голосом, схватывая и замахиваясь веслом.

— Беппо! Что с тобой? Ты меня не узнал? Неужели я так изменился? — уже влезши в лодку, спрашивает «привидение».

Воинственный пыл Беппо быстро пропал — очевидно, против призрака силой ничего не поделаешь.

— Марк! Разве, когда ты был жив, я тебе сделал что-нибудь худое? Оставь же меня, иди к себе на дно канала! — жалобно промолвил он.

---

* Отче наш, иже еси на небеси...

«Призрак» громко расхохотался.

— Да я жив! Беппо! милый! Посмотри, я такой же, как ты!

Приятель недоверчиво покосился на Марка.

— Прочти-ка «Pater noster»,— пробормотал он.

— Хоть десять раз! — и Марк громко прочел молитву.

— Уф! — облегченно вздохнул Беппо,— теперь я вижу, что ты, действительно, не призрак. И какой же я дурак! Обнимемся, дружище!

— Давно бы так!

— Ну, и напугал же ты меня! Да ведь и то сказать, мог ли я ожидать, что ты вынырнешь ко мне из канала. Ах ты, милый ты мой! Да как я рад! Ну-ну, расскажи же, как ты в канал попал.

— А вот по пути расскажу.

— Ко мне поедем?

— Сперва к учителю... А у тебя я попрошу пристанища: у Карлоса найдут.

— Да сделай милость, очень рад буду.

— Вези там, где поменьше народа.

— Уж мы проберемся! Фу! Да как же я рад! А Джованни, я думаю, до потолка подпрыгнет, о Бригитте же и говорить нечего... Ну, валяй! рассказывай... живой призрак, именно живой призрак!

XVIII

ПОСЛЕ СПАСЕНИЯ

— Марк! Дитя мое! Ты ли? — восклицает Карлос, и его голос дрожит от радости.

— Я, я! Отец, учитель! Прости недостойного! У меня не хватило сил умереть, жизнь потянула... Я не устоял... Отец! Если бы ты знал, какие там страшные глухие стены! Ни звук, ни свет не прорвется сквозь них... Могила темная, холодная... Я убежал...

— Марк! да разве я виню тебя? Так должно было случиться еще раньше. У тебя еще слишком сильная воля. Ты смог глядеть в глаза смерти, другой не смог бы и этого. И, если позже решимость твоя поколебалась, когда надежда

жизни улыбнулась тебе, разве ты виноват, что не устоял против искушенья? Кто б устоял? Святой или ненавистник жизни. Я бы, старик, не устоял... Твоя одежда совершенно мокра, вода струится с волос... Где ты встретил Беппо? Расскажи, как устроил побег.

Марк передал Карлосу все подробности своего бегства.

— Только слепой случай помог тебе избегнуть смерти,— промолвил старец, когда Марк окончил свой рассказ.

— Да! Если б мы с Джованни не напоили тюремщика, не видать бы нам Марка,— сказал Беппо.

— Судьба! Марк, уверовал ли ты теперь в судьбу?

— Да, теперь я верю, учитель.

— Звезды не обманули. Не хотел добровольно — теперь тебе против воли придется покинуть Венецию: здесь оставаться нельзя.

— Но как же ты один останешься?

— Да разве я буду одинок, если при мне всегда будет мысль, что мой Марко жив и свободен и сеет в полудикой стране то «доброе семя», которое я кинул в его душу? Разве это сознание малого стоит? Да! Я был одинок, пока ты находился в темнице, я был бы одинок вдвое, если б узнал о твоей погибели... Но теперь... Боже мой! Да разве расстояния могут разделять людей, у которых одни помыслы, у которых сердца бьются одинаковым желанием? Нет! Тысячу раз нет! Мы более одиноки, если сидим с человеком, с которым не имеем связи духовной. Не бойся за мое одиночество, сын мой: мы и разделенные всегда будем вместе. Не испытывай более судьбы: поезжай на родину!..

— Слушаю и повинуюсь, отец: я поеду,— тихо ответил Марк.

— Да поможет тебе Бог! — дрожащею рукою перекрестив юношу, прошептал старец.

Таким образом был решен отъезд Марка.

Наступило недолгое молчание. Его прервал Беппо:

— Пока Марк укроется у меня.

— Да, это будет безопаснее. Пожалуй, его будут искать у меня,— сказал Карлос.

— Ему нужно оправиться от ран. Посмотри-ка, как его там отделали.

С этими словами Беппо распахнул сорочку на груди своего друга. Карлос взглянул и ахнул: на груди Марка, как говорится, не было живого места, она вся была в рубцах и ссадинах, ранах и пузырях от ожогов.

— Это ничего, скоро заживет,— промолвил Марк.

— Беппо прав — прежде, чем пускаться в такой дальний путь, тебе нужно поправиться,— заметил старик, а потом добавил: — Как-то еще удастся тебе ускользнуть из Венеции?

— О, это мы устроим! У меня много знакомых среди моряков — найдем корабль, который тайком увезет его.

Была уже глубокая ночь, когда Беппо привез Марка к себе. Теперь его «лачуга» уже не казалась неприветливой и неуютной, как в то время, когда он, озлобленный и огорченный, убежал из нее размыкать свое горе. Не то было и на душе у него, и он, окончив с приятелем скромный ужин и запивая его дешевым вином, среди дружеской беседы промолвил:

— А знаешь, Марко, жизнь, какая ни есть, все же хорошая штука!

— Твоя правда... В особенности после «камеротты»...— ответил Марк и невольно вздрогнул, вспомнив свою недавнюю страшную темницу.

XIX

ГОРЕ И РАДОСТЬ

Пока Марк жил у Беппо, Джованни и Бригитта ежедневно навещали его. Разумеется, их поездки тщательно скрывались от Каттини и Марго, а если случалось, что скрыть было невозможно, они выдумывали подходящий предлог. Для Бригитты это время было и самым счастливым, и самым печальным. Она могла каждый день видеть Марка, говорить с ним целые часы — это было ее счастьем. В присутствии его она забывала и пережитые горести, и предстоящую разлуку, она вся сливалась в один неудержимый порыв любви. Она не спрашивала, любит ли Марк ее, не говорила и сама ему о своей любви, но по трепету ее рук, по блеску глаз, когда она смотрела на него, по неровности речи, по внезапной перемене в лице, то вспыхивавшем ярче зари, то бледнеющем до белизны снега, можно было догадаться и о том, что она любит, и о том, кого она любит.

Марк все это видел. Порою он останавливал свой взгляд на ее оживленном личике и любовался ею, как любовался

бы картиной, в совершенстве исполненной гениальным художником. Он спрашивал себя, можно ли не любить такое прелестное существо, и отвечал: «не любить нельзя», и он любил ее, но в этой любви не было ничего похожего на любовь Бриггиты к нему. Если бы ей грозила опасность, он грудью встал бы на защиту девушки, ради ее спасения не пожалел бы своей жизни, но того, что отличает любовь от братской или сыновней привязанности — огонька страсти, не было в его сердце. Почему он не мог полюбить Бригитту истинною любовью молодого мужчины к молодой и прекрасной женщине, он сам не знал. Быть может, причина крылась в том, что она слишком сильно любила его. Человеку, каков бы он ни был, всегда свойственно более ценить и любить то, что досталось ему с трудом и усилиями. Плоды победы всегда дороже того, что «как с неба свалилось».

Марку нравилось беседовать с Бригиттой, прислушиваться к ее мелодичному голосу, но часто среди оживленной беседы он задумывался, и девушка сердцем понимала, что в эти мгновения он далек от нее, что ни она, ни все окружающее для него не существует, что его мысль витает где-то там, в далекой, холодной стране, где иные нравы, иные люди. И она не ошибалась.

Прежние мечтания, насильно заглушенные, проснулись с новою силой в душе Марка; орел почуял свободу и готовился расправить крылья. Ему снова слышались и ропот сумрачных лесов, и заунывно-раздольная песня, снова грезились неведомые города, златокудрые белолицые девы слетали к его изголовью. Обыкновенно ровный и спокойный, он оживлялся, когда речь заходила об отъезде, в глазах загорался огонек, когда разговор касался далекой Московии. И эти же разговоры заставляли невыносимо страдать Бригитту; с небес она опускалась на землю, где, казалось ей, ничего не оставалось, кроме горя и отчаянья.

Был еще один человек, который страдал не меньше Бригитты. Это был Беппо. Добрый малый даже похудел за время лечения Марка. Каждый день подбавлял ему горя. Он видел, что Бригитта вся поглощена одним Марком и в ее сердце для него не осталось и маленького уголка. Он не стал менее дружелюбно относиться к своему приятелю, даже не завидовал ему, но иногда в его мозгу шевелился горький упрек судьбе. Марк часто подмечал грустный взгляд своего друга, когда тот, усевшись где-нибудь в уголке, смотрел на Бригитту. Недавний узник улыбался ему и говорил:

— Не грусти, дружище Беппо! Бог даст, все устроится.

Эти слова вызывали краску на щеки Беппо.

Время проходило. Раны Марка быстро заживали при хорошем уходе, и скоро только красноватые шрамы обозначали те места, где они были. Джованни и Беппо, после многих поисков, нашли капитана корабля, который взялся тайно вывезти Марка из Венеции. Настал наконец и день или, вернее, ночь отъезда.

Вскоре после того, как закатилось солнце, в каморку Беппо собрались Джованни, Бригитта и старик Карлос для прощальных проводов Марка. В этот вечер беседа не вязалась. Все были грустно настроены. Глаза Бригитты были красны от слез, Карлос не раз смахивал украдкой что-то со своих глаз, Джованни и Беппо очень часто мигали и покашливали.

Около полуночи Беппо стал снаряжать лодку. Все зашевелились, заговорили. Карлос подал своему питомцу большой кожаный кошель.

— Возьми на дорогу. Здесь все, что я накопил за свою жизнь.

— Отец! Ты стар и дряхл, тебе нужнее.

— Нет, деньги облегчат тебе путь — ведь он очень труден и далек — помогут устроиться на родине. У меня остались вещи, которые я могу обратить в деньги. Мне немного надо.

— Спасибо, учитель, спасибо, отец! Дорогой мой! Мое сердце рвется от тоски! — воскликнул Марк со слезами в голосе.

— Судьба, судьба, сын мой!

— Все готово,— сказал Беппо, войдя.

— Прощай, отец... Благослови! — воскликнул Марк, склоняясь перед старцем.

— Да благословит тебя Бог, да наставит и укрепит Он тебя в пути и в новой жизни. Поцелуй меня в последний раз! — добавил Карлос, дрожащими руками обнимая Марка. По его морщинистому лицу текли крупные слезы.

Марк тихо плакал.

Потом подошел прощаться Джованни. Он без слов крепко обнял Марка: говорить ему мешали слезы.

Бригитта прощалась последняя. Она плакала и не хотела скрывать слез, не хотела скрывать и своей любви.

— Марк! Что же скрывать? Я тебя люблю и буду любить, пока жива. Сердцу не прикажешь... Я не стыжусь своей любви: кто не полюбит такого, как ты? Мы навсегда

расстаемся... Обними, поцелуй меня... в первый... и в последний раз...

Она не могла продолжать. Марк обнял ее и поцеловал, как сестру.

— Бригитта,— шепнул он ей потом,— соберись с силами, не отчаивайся... Бог так судил. Жизнь впереди у тебя. Исполни одну мою просьбу!

— Все, все, что хочешь! — шепнула девушка.

— Беппо тебя любит. Ты привыкнешь к нему, будешь счастлива... Выйди за него замуж, моя милая, дорогая... сестра!

И он еще раз поцеловал ее.

— Хорошо! Сделаю, как говоришь, милый, дорогой, любовь моя! — говорила в каком-то исступлении девушка.

— Пора ехать,— произнес Беппо.

На самом деле еще можно было помедлить, но ему невтерпеж стало смотреть на поцелуи Марка и Бригитты. Марк вырвался из объятий Бригитты и почти бегом, не оборачиваясь, кинулся к двери. Вспрыгнуть в лодку было делом одной минуты.

— Отчаливай скорее, Бога ради! Промедлим — не выдержу и останусь,— крикнул он товарищу. Беппо опустил весло в воду. Еще раз перед Марком мелькнули в растворенных дверях освещенной комнатки дорогие ему лица учителя, Бригитты, Джованни и скрылись во тьме. Гондола неслась стрелою по тихой воде. Марк взял весло и стал помогать своему другу.

Только к рассвету возвратился Беппо.

— Один? — спросили его в один голос и старик, и Джованни с сестрой. Что-то дрогнуло в их голосе, когда они спрашивали: казалось, в их сердце еще была надежда, что, может быть, Марку в эту ночь не удастся уехать. Но ответ Беппо отнял эту надежду.

— Один,— ответил он и, швырнув в угол шапку, мрачный и задумчивый, опустился на скамью.

Некоторое время все молчали. Первый заговорил Джованни:

— У моей сестренки есть кое-что тебе передать.

Беппо встрепенулся:

— Что такое?

Бригитта, краснея, еще хранившая на своем лице остатки слез, подошла к нему.

— Хочешь, Беппо, назвать меня своей женой? — просто сказала она.

Тот вскочил, покраснев как вареный рак. Он не верил своим ушам.

— Тебя? Своей женой? — пролепетал он.

— Да. Так сделать мне посоветовал Марк.

Она еще не успела докончить фразы, как Беппо уже душил ее в объятиях.

— Когда же нам отпраздновать свадьбу? — спросил Беппо, когда первые восторги его утихли.

— Не прежде, чем отомщу Джузеппе Каттини,— ответила Бригитта, сдвигая брови.

— Как, ты хочешь ему отомстить? — промолвил Джованни.

— Отнять у него то, что он больше всего любит.

— То есть?

— То есть деньги.

— Не делай этого, дитя мое! — вмешался все время молчавший Карлос.— Не плати ему тем, чем платит он. Душа его — порочная, злая — требовала мести, и он мстил низко, подло. Ты чиста и сохрани чистоту: не пятнай себя мщением злодею!

— Правда, синьор Карлос! Ну его! Стоит с ним связываться! — вскричал Беппо и добавил: — Кроме того, с него довольно будет, что ты не выйдешь за него замуж. Разве это не месть?

Некоторое время Бригитта сидела задумавшись.

— Хорошо,— сказала она потом,— я сделаю так, как вы хотите — не буду мстить. Бог накажет его и помимо меня.

— Конечно, Бог накажет,— подтвердили все в один голос.

XX

ПО ЗАСЛУГАМ

Порочная, развратная Венеция XVI века, та Венеция, где человек, имеющий не более трех любовниц, считался образцом добродетели, где ни одно поругание догматов и правил религии не считалось грехом, где разврат процветал не менее того, как в последние дни великой Римской Империи,— та Венеция иногда умела преклоняться перед нравственной

чистотой, подобно тому, как закоренелые преступники часто плачут при чтении наивно-простого, трогательного рассказа. Кроме того, у развращенных венецианцев был развит художественный вкус, и красота побеждала их, в какой бы она форме ни проявилась. Не удивительно поэтому, что скромная маленькая церковь, где венчались Беппо и Бригитта, была переполнена народом, в рядах которого виднелось немало разнаряженных принчипе и принчипесс *, прибывших взглянуть на «первую красавицу из народа».

Стоя рядом с женихом перед алтарем, Бригитта казалась такою девственно чистою в своем белом платье и венке из апельсиновых цветов, что многие из принчипесс тяжело вздыхали, вспоминая о своей былой, навеки утраченной чистоте и, возвратясь домой и оставшись наедине с каким-нибудь своим до мозга костей развращенным любимцем, мечтательно говорили ему:

— Знаешь, Чизари, хорошо быть добродетельной... Есть что-то такое особенное...

Не удивительно и то, что процессия молодых девушек, сверстниц Бригитты, встретила ее у входа в храм и осыпала белыми розами, приветствуя «самую добродетельную, самую красивую» из своей среды.

Не удивительно было и то, что Беппо с таким гордым видом стоял рядом со своей красавицей невестой и, слыша шепот зависти среди своих сотоварищей, поглядывал на них с улыбкой, которая говорила:

— Что, братцы, съели гриб, пропустили мимо носа! Теперь моя, и никто ее от меня не отнимет.

Ну вот чему многие удивлялись: мать невесты не принимала никакого участия в свадебном торжестве, ее даже не было в церкви.

Никто, конечно, не знал, что, пока Бригитта венчалась, ее мать, озлобленная более, чем когда-либо, сидела у себя дома вместе с Джузеппе Каттини.

Кабатчик был пьян и свиреп. Он ругал всех и вся. Марго вторила ему и сыпала проклятия на голову непокорной дочери.

Однако вскоре беседа их приняла иной характер. Ругая всех, кабатчик выругал и Марго. Толстуха не стерпела, ответила ему тем же. Завязалась перебранка, окончившаяся тем, что Джузеппе поставил под глазом Марго изрядный си-

---

* Князей и княгинь.

няк, за что и был выгнан ею с позором кочергой. Он еще с полчаса бранился и стучал в запертую дверь, а Марго ходила подбоченясь по комнате и кричала в ответ ему отборные словечки.

«Молодые» предполагали, что старуха положит гнев на милость и, если не явилась в церковь, то все же придет на квартиру молодого мужа, чтобы благословить их на счастливую жизнь и выпить кубок вина. Однако их ожидания не оправдались, и пришлось засесть за свадебный пир без нее.

Отсутствие Марго не помешало молодым быть веселыми. Совесть не упрекала Бригитту, что она пошла против воли матери, так как исполнить ее желание значило поступить безнравственно. А Беппо был так счастлив, что забыл бы про неудовольствие и десяти Марго.

Пировать было немного тесно, несмотря на то, что Беппо, ради торжественного случая, попросил соседа уступить ему свою квартиру, с которою его комната соединялась дверью. Однако пирующие мало обращали внимания на тесноту, и, наверное, в раззолоченных, обширных покоях какого-нибудь герцогского палаццо никогда не бывало такого веселого пира. Дешевое вино лилось рекой. Разговоры не прекращались, шутки, остроты, забавные рассказы сыпались со всех сторон.

Вдруг в самый разгар пира раздался неистовый стук в дверь. Едва ее отворили, в комнату вбежала старуха Марго, а за ней сосед Маттео. На толстухе, что называется, лица не было.

— Беда случилась! — завопила она, стуча остатками своих зубов.

— Что такое? — посыпались расспросы.

Старуха торопилась рассказать, но говорила так бессвязно, что никто ничего не понял. Прошло немало времени, пока дело выяснилось благодаря пояснениям Маттео.

Оказалось следующее. Выгнав Каттини, Марго постепенно успокоилась и решила простить дочь и поехать на пир к молодым. Она оделась, как подобает случаю, но, когда хотела выйти, дверь не отворялась. Казалось, она была чем-то приперта снаружи. Только после долгих усилий Марго удалось приотворить дверь настолько, чтобы кое-как выбраться из комнаты. Каково же было ее удивление и ужас, когда она, выбравшись наружу, увидела, что дверь мешало отворять не иное что, как труп Каттини: кабатчик нашел над дверью какой-то крючок и повесился, сделав петлю из своего кушака.

Марго побежала к Маттео, которого и попросила отвезти себя к «молодым».

— Что же, он там и до сих пор висит? — спросил Джованни.

— Верно, нет: сын Маттео поехал дать знать брату Джузеппе.

— Ну, тогда о чем же и толковать? — сказал Беппо.— Собаке и собачья смерть!

— Это его Бог покарал за Марка,— тихо промолвила Бригитта.

При упоминании о Марке Марго опустила глаза.

— Ну, Бригитта,— сказала она,— я прощаю и благословляю тебя... и тебя, Беппо. Будьте счастливы, дети! — и затем она добавила тихо: — Прости и ты меня, дочка!

Бригитта со слезами радости обняла мать.

Так был заключен мир. После этого пир пошел еще веселее.

А в то время, когда эти события происходили в Венеции, Марко был уже далеко от нее, спеша к своей далекой, холодной и незнакомой, но дорогой ему родине.

Часть вторая

I

В ЦЕРКОВЬ, НО НЕ МОЛИТЬСЯ

Мартовское солнце хоть еще и не очень жарко, а все же горячее зимнего, и от лучей его заметно подтаивает, буреет, оседает и выпускает из-под себя мутные ручейки порыхлевший снег.

Уже началась порядочная распутица — в 1584 году после весеннего перелома зима круто повернула на лето, и в несколько дней московские улицы стали неузнаваемы. Где еще недавно шла гладкая, как бархатная ткань, дорога, окаймленная по сторонам высокими сугробами, там теперь тянулась бурая лента какой-то серой «жижи» из снега и воды. Москвичи и оглянуться толком-то не успели, а сугробы словно слизало и на их месте появились противные лужи.

— Бе-е-да! — покачивая головой, ворчал какой-нибудь сивый дед-старожил, пересекая, семеня шажками, дорогу и утопая в «жиже» по самую щиколотку.

— Кабы за зиму снега было поменьше, то, видать, иное было бы,— замечает со знанием дела какой-нибудь парень, молотя ногами противное месиво...

Немногим легче было верховым ездокам, это испытал на себе одинокий всадник, едущий утром по одной из улиц Москвы, ведущей за город. Узкая улица, сжатая с боков заборами боярских дворов, казалась непроезжей, до того ее залило весеннею «жижей», и конь, несмотря на понукание, плелся тихим труском, а то и просто шагом, часто оступался, попадая копытом в наполненную талым снегом выбоину, скользил, когда улица спускалась под гору. Конь был не из особенно породистых, но грудастый, с крепкой шеей и сильными ногами, такой, про которого можно было сказать: «Добрый конек».

Всадник был под стать коню. Он не мог назваться красавцем, но эпитет «доброго молодца» был к нему вполне применим. У него был свежий, здоровый цвет лица, и это искупало некоторую неправильность в чертах лица; серые глаза небольшие и косо прорезанные, как у монгола, смотрели так добродушно-приветливо, что заставляли забывать неправильность их строения. По-видимому, он был невысок ростом. Кафтан суконный, подбитый каким-то темным мехом, не мешал видеть стройность его сложения, и ширина плеч еще более выигрывала от сравнения с тонким, гибким станом, перетянутым красным кушаком, к которому была прицеплена сабля в бархатных с серебряными украшениями ножнах и из-за которого грозно выглядывали рукоятки двух «пистолей» — предохраняя ездока, едущего за город: времена были нынче тревожные и нельзя было особенно ручаться за свою жизнь...

Из-за поворота выступили небольшая вспотевшая, вся вытянувшаяся от натуги лошаденка, тянувшая розвальни с какой-то кладью, и рядом с нею шагавший седой мужичонка, немилосердно нахлестывавший притомившегося коня.

Молодой всадник вгляделся и крикнул:

— Фомич! Никак ты?!

— А я ж самый и есть, Лександр Андреич,— ответил седой мужичонка, затыкая за пояс свой кнут.

— Ты как сюда попал?

— За тобой Меланья Кирилловна послала.

— Вот на! Что я — дите малое, что ли? — с легким неудовольствием промолвил Александр Андреевич.

— Как ты вчера из города не приехал, матушка твоя забеспокоилась. Ночью же меня и послала: «Поезжай, говорит, Фомич, узнай, что с ним там стряслось. Мало ль какой грех случиться может!» Ну, я и поехал.

— А везешь-то что?

— А это, чтоб дарма в город не ехать, Меланья Кирилловна муку к купцу одному свезти приказала. Уж и намучился же я! Не везет коняга, да и шабаш! До Москвы еще кое-как, а здесь просто беда!

— Как же так тебя одного и с поклажей ночью отправили? Ведь лихих людей по дорогам вдосталь.

— И-и, касатик! Что мне сделают!

— Как что? Коня и кладь отнять могли да и с тобой порешить.

— Коня это точно... А меня борода седая, что броня, защитит — на сивого, чай, у душегуба и рука не поднимется. Ну, да Бог пронес! А ты, Лександр Андреич, уже сделай милость: поезжай скорей в вотчину, успокой матушку.

— Да, видишь, еду. Только я сперва еще в церковь.

— В какую же? По пути, кажись, нет.

— В сельцо Степановку.

— С чего ж ты будешь верст десять крюку делать?

— Так... надобно мне,— ответил Александр Андреевич и улыбнулся.— Ну, поезжай с Богом!

— Прощай, Лександр Андреевич,— прошамкал старик и вновь принялся нахлестывать лошаденку.— Ну-ну, ирод! Ну, окаянный, чтоб тебя разорвало.

Александр Андреевич, успев уже отъехать на несколько сажен, придержал коня и крикнул Фомичу:

— Коли отдохнуть хочешь, заезжай во двор к Тихону Степановичу. Я у него и ночевал, да уехал рано, с ним не повидавшись: он спал еще. Так ты поклон от меня еще передай!

— Ладно! Беспременно заеду. Ну-ну, животина! Ну-ну, ирод!

И старик зашлепал по тонкой жиже.

Тронул коня и Александр Андреевич.

Улица поднялась в гору; дорога стала получше, Серый припустил легкой рысью. Утреннее солнце золотило купола Кремлевских соборов, но над городом еще лежал тенистый налет и в нем тонули зубчатые стены, боярские хоромы с

резными стрельчатыми теремами, деревья садов, широко раскидывавшие свои безлистные ветви, словно руки, простертые, чтобы больше захватить весенней теплоты, чтобы дотянуться до ясного солнца. Где-то зазвонили к заутрене или к ранней обедне, звук отозвался в другой церкви, в третьей, и скоро переливчатый звон разлился над Москвой из всех ее «сорока сороков» церквей и соборов. Город просыпался. Чаще и чаще слышались полузаглушенные колокольным звоном «людская молва и конский топот». Скрипели ворота дворов, и из них выползала либо таптана * едущего в церковь многосемейного боярина, либо болок **, либо просто сани, возница истово крестился на все четыре стороны, встряхивал возжжами да покрикивал на коней: «Эй, вы, милые!» Мелькали конные фигуры боярина и его челядинцев, чинно проезжал соборный протопоп, из-под камилавки или скуфейки которого выглядывали две жиденькие косицы, плелся холоп, впервые попавший в Москву и с разинутым ртом смотревший на каменные палаты, на церкви, чуть не касающиеся неба своими золочеными маковками, и другие дива...

Александр Андреевич без устали погонял коня. Колокольный звон, разлившийся по городу, напоминал ему, что время уходит. Добраться до окончания обедни до церкви в селе Степановка было для молодого человека чуть ли не вопросом жизни и смерти. Он горел от нетерпения. Однако, как он ни гнал коня, когда пришлось ему выбраться из стен Москвы и простор полей раскинулся перед ним, солнечные лучи обливали уже не только главы московских соборов, но спустились ниже на верхи теремов, на вершины дерев. Теперь дорога шла глаже, и Серый сам наддал.

Турбинин — так было прозвище молодого боярина — вглядывался вдаль. Поля тянулись во все стороны, впереди темнел лес. До него было еще очень далеко, но уже сердце Александра Андреевича начинало наполняться особенным, томительно-приятным чувством: он знал, что, проехав этот лес и взобравшись на холм, он увидит ряды изб села Андреевского и колокольню деревянной церкви. Еще верста потом — и... и он будет стоять на паперти, поджидая приезда таптаны боярина Степана Степановича Кречет-Буйтурова.

---

* Таптаной или каптаной — назывался вместительный зимний экипаж, несколько напоминающий троечные сани.

** Болок — подобие кибитки.

И, когда она подвалит к церкви и холопы помогут выйти из нее сановитому боярину, который, увидев Турбинина, кивнет ему головою и вытащит тучную боярыню, задыхавшуюся под тяжестью шубы, тогда выпорхнет — именно выпорхнет, как пташка! — миловидная, белая, с переливчатым румянцем, боярышня и посмотрит на него лучистым, теплым взглядом и, вся вспыхнув, смущенно кивнет в ответ на его низкий поклон. Она пройдет за отцом и матерью в ту часть церкви, где разостлан коврик для семьи боярина Кречет-Буйтурова. Он встанет там, в сторонке, и будет подмечать на себе порою брошенный мельком взгляд голубых глаз, будет следить, как она наклоняет головку, как ее маленькая белая ручка творит торопливо крестное знамение.

Александр Андреевич почти выпустил поводья из рук. Он смотрел, как вырастает, становится менее темным, приближается лес, и думы — счастливые молодые думы — неслись, сменяя одна другую, и улыбка играла на лице боярина Турбинина и неровно поднималась его широкая грудь.

II

ТОЖЕ НЕ МОЛИТЬСЯ

Лучи утреннего солнца ударили по вершинам вековых елей и сосен в лесу, и темная хвоя их, уже выдержавшая зимнюю стужу и метели, словно посветлела, и легкий пар, едва глазу заметный, потянулся от их веток — это таял морозный налет, кинутый на них утренником. Опустились ниже лучи, облили светом тесовую крышу боярского дома, заиграли на слюде окон и ворвались сквозь их переборку в девичью спальню, сверкнули на золотой кисти постельного полога, и один шаловливый луч ухитрился пробиться и за него и лег светлым, теплым пятном прямо на лицо боярышни. Шевельнулась боярышня, но глаз не открывала, только чуть повернула головку. Это уже не сон крепкий, без сновидений, это — скорей дрема, полная грез.

Сладкая дрема, сладкие грезы! Грезится боярышне знакомое лицо... Серые очи ласкают ее взглядом и нежат... Ей словно жутко немножко, а между тем какая-то сладкая истома на сердце, и то замрет оно, то забьется, заколотится...

Кровь прилила ей к лицу и стучит в виски, а глаза сами ищут встречи с его глазами. И вдруг совсем-совсем близко к ней очутились его очи, и она не в силах отвести от них своих. Жгут, жгут!... Его жаркое дыхание она чувствует на своей щеке.

— Милая! Голубка! — слышит она прерывистый шепот.

И вдруг губы его ожгли поцелуем ее щеку. Ее голова — как в огне. Что за смута на душе у нее! Тут и стыд, и радость. Сердце, кажется, из груди выпрыгнет.

Чья-то рука отдернула полог. Солнечный свет так и обдал всю боярышню.

— Катька! Вставай! — прозвучал хрипловатый голос.— Вставай, вставай! Ишь, заспалась!

Невысокая тучная женщина наклонилась к молодой девушке и тормошит ее за плечо. Боярышня слышит, но ей лень шевельнуться, лень открыть глаза. Остатки грез еще не сбежали.

— Да вставай же! — уже с сердцем говорит будившая.— Надо же в церковь собираться. Этак и к обедне не поспеем.

Эти слова произвели удивительное действие на боярышню. Она сразу очнулась и села на постели.

— Заспалась я, матушка. Вон уже солнце как светит. Давно встать пора бы!...

— Одевайся живей да пей сбитню и Богу молись. Потом и к обедне надо снаряжаться.

— Да, да, сейчас, Феклуша! — крикнула боярышня.

Худощавая, морщинистая старуха в красном повойнике на голове вошла в комнату.

— Заспалась маленько, дитятко? — прошамкала она.

— Да, да... Чуть обедню не проспала. Вот был бы грех! — сказала Катя.

— Богомольная ты у меня,— с умилением проговорила ее мать.

— Твоя правда, матушка-боярыня Анфиса Захаровна. На редкость богомольная: как служба в церкви, так она мне все уши прожужжит: «Феклуша да Феклуша, уговори матушку мою в храм ехать. Великая ей будет за это милость от Господа!»

На Катю эти похвалы производили странное действие. Лицо ее было краснее кумача, глаза беспокойно бегали, избегая встречи со взглядом матери или старухи няньки.

— Ишь, пылает! — усмехнулась боярыня.

— Известно, кто скромен, тот и похвалы стыдится,— заметила нянька.

От этих слов боярышня еще больше разгорелась, чуть слезы на глазах не выступили.

— Феклуша! Помоги мне одеваться,— пробормотала она, чтобы скрыть свое смущение, и думала про себя: «Гадкая я, нехорошая! Всех обманываю... Вовсе я не богомольная, и не из-за богомольства люблю в церковь ездить: очи «его» манят туда, а не молитва».

На другой половине дома боярин Степан Степанович Кречет-Буйтуров сидел за питьем горячего утреннего сбитня. Высокий, плечистый, с чуть приметною проседью в длинной темной бороде, лопатой падавшей на грудь, он казался гораздо моложе своих лет — ему уже было далеко за пятьдесят. У него был орлиный нос, холодные серые глаза, чувственные губы. Глубокая, никогда не расходившаяся складка между густыми, нависшими на глаза, бровями клала суровый оттенок на его лицо. Тонкие, неподвижные ноздри указывали на страстность натуры.

В это утро боярин был довольно хмур. Лениво потягивая сбитень, он морщил свои косматые брови. Ему вспоминался сон, виденный сегодня ночью. Ему снилось, будто он не боярин Кречет-Буйтуров, а волк, настоящий дикий серый волк, и как будто он подбирается к молодой овечке, беленькой, чистенькой, пасшейся среди поля без всякой опаски. И он подобрался к ней и схватил ее острыми зубами, да вдруг, откуда ни возьмись, явился какой-то человек, не то пастух, не то так, простой прохожий, да как вытянет палкой по боку, как схватит его за шею.— «Врешь,— говорит,— не отдам я тебе овечки!» И отнял добычу у волка да еще и бока ему помял. Больше всего боярина досадовало, что ему пришлось явиться в образе волка.

— Я — и вдруг серым волком! Экая глупость! — с досадой бормотал он.— И сон дурашный! Вчера много меда выпил пред спаньем, вот и приснилось.

В дверь просунулась седая голова.

— Что, Ванька?

— А я хочу твою милость спросить,— сказал Ванька, ста-

рый ключник боярина, входя в палату,— в санях поедешь в церковь либо в таптане?

— Погода, кажись, ничего.

— Весенний день, одно слово!

— Тогда в санях, только ковриком новым прикрой.

Холоп взялся за ручку двери.

— А сосед-то, Дмитрий Иванович...

— Что? — спросил боярин.

— Шубу себе новую сшил парчовую.

— Это на весну-то глядя! Ха-ха-ха!

— Хе-хе! — подобострастно хихикнул ключник.— Уж наша дворня и то со смеху чуть животы не надорвала.

— Как не смеяться! Это, вишь, он передо мной выказаться хочет. Сегодня в церковь беспременно в новой шубе придет.

— Беспременно!

— Заприметил, знать, что я намедни с усмешкой на его шубенку поглядел.

— С тобой тягаться хочет. Экий дурень!

— А что ж, почему ему не потягиваться? — ухмыляясь промолвил Степан Степанович.

Ключник схватился за бока и закатился деланым смехом.

— Ой-ой, не смеши, боярин! «Почему ему не тягаться!» Да у него и именья всего, что полушка с алтыном! Ха-ха!

— Как, как? Полушка с алтыном?

— Так и есть, боярин!

Степан Степанович расхохотался в свою очередь.

— А ему сегодня нос утру! Приготовь-ка ты мне мой новый тегиляй *; в церковь поеду — надену.

— Это алтабасный **?

— Да... приду в храм и нарочно шубу распахну,— жарко, дескать. Пусть моим тегиляем любуется! Ха-ха!

— Как бы с зависти языка не откусил! Хе-хе!

— Пожалуй, что. Однако, солнце уж высоконько. Собираться пора. Поди и бабам скажи, чтоб они сбирались.

Хмурость Степана Степановича совсем прошла, и он, по уходу Ваньки, долго еще ухмылялся себе в усы и бормотал:

— А я ему нос утру!

---

* Тегиляй — узкий кафтан с короткими рукавами по локоть, с высоким стоячим воротником — «козырем». Спереди тегиляй застегивался на пуговицах, перепоясывался тесьмою.

** Алтабас — ткань по серебряному или шелковому фону.

В свою очередь Ванька, долговязый старик, с желтым морщинистым лицом, с хитрыми исподлобья смотревшими глазами, выйдя от боярина, ухмылялся во весь рот.

«Ведь вот и не дурак Степан Степанович, а какими глупостями тешится. Спесь заела! Видно, все бояре на один покрой»,— думал он.

— Что, Иван Митрич, каков сегодня боярин? Сердит? — спросил ключника молодой парень из дворовых, приставленный к дверям в сенях для доклада о приезжих.

— Был хмур что туча, а теперь что солнышко весел.

— И как это ты, Иван Митрич, сумеешь завсегда боярина развеселить, диву даться можно!

— Не надо дурнем быть самому, а из боярина дурня делать, вот и все уменье,— ухмыляясь пробормотал ключник.

Через час у крыльца боярского дома уже гнула шеи и позвякивала бубенцами тройка добрых коней, запряженная в пестро раскрашенные и прикрытые узорным ковром сани. Скоро из саней выплыла Анфиса Захаровна и, поддерживаемая под руки ключницей Феклой с одной стороны и какой-то холопкой с другой, кряхтя, уселась в сани. Следом за ней вспрыгнула в них боярышня Екатерина Степановна.

Боярин замешкался на крыльце, отдавая какие-то приказания Ивану Дмитриевичу. Тот только кланялся в ответ и приговаривал:

— Слушаю! Сделаем, как твоей милости угодно.

Степан Степанович двинулся было к саням, запахивая шубу, из-под которой алтабасный тегиляй так и блеснул серебром, и остановился.

— Ванька! Кто это? — указал он ключнику на проходившую через дверь девушку-холопку.

— А это ж — Аграфена, дочь Петра-кабального, что помер на Рождестве.

— Да неужели она? Ишь, вытянулась да красоткой какой стала! А я помнил ее девчонкой махонькой. Как я ее не заприметил? — промолвил боярин и крикнул: — Эй, девица! Подь-ка сюда!

Стройная чернобровая и белолицая девушка робко подошла к боярину и, отвесив низкий поклон, смущенно уставилась на боярина черными, как две коринки, глазами.

— Тебя Аграфеной звать?

— Да,— тихо ответила она.

— Что ж, Груня, в дому у меня не работаешь? Такой красотке на дворе не пристало работать. Да и мне, старику,

иной раз на красотку взглянуть приятно. Ванька! — обернулся боярин к ключнику,— назначь-ка ее на домовые работы!

Потом, потрепав девушку по щеке и промолвив с плотоядной усмешкой: «Красотка, красотка!»,— боярин сел в сани и крикнул:

— С Богом!

В воротах он еще раз обернулся и, посмотрев на Аграфену, пробормотал:

— Ладная девка!

Анфиса Захаровна только глубоко вздохнула, услышав замечание мужа.

III

ЗАПОДОЗРЕННАЯ

В то время, когда Степан Степанович, подозвав Аграфену, беседовал с нею, в глубине двора стоял высокий молодой парень и угрюмо смотрел на эту сцену.

— Груня! — крикнул он, едва боярские сани выехали за ворота.

Та подошла.

— Что, Илья?

— О чем он с тобой говорил?

— На работы в доме назначил.

— Та-ак,— протянул Илья.— А по щеке чего хлопал?

— Красотка, говорит. Ну, и похлопал.

— Ишь ты! Не знаем без него, что красотка! — в голосе парня слышалась ревнивая нотка.— Ты, Груняша, его ласкам не верь.

— Еще б верить!

— Сдается мне, что он тебя неспроста работать в доме назначил.

— Кто его знает! Смотрел на меня так чудно.

— То-то смотрел! Подлезать он к тебе будет, вот что. Так ты, смотри, ухо держи востро.

— Как не держать! Дура я, что ли?

— Дура не дура, а только он ходок по бабьей части. Так тебя опутает, что и сама не заметишь.

— Не бойся, не сдамся! Али ты не люб мне, что ли, красавчик мой!

Груня положила руки на плечо Ильи и ласково смотрела ему в глаза.

— Эх, Грунька! Пока не поженюсь на тебе — спокою иметь не буду: и день, и ночь дума одна, как бы кто тебя у меня не отнял!..

— Али не веришь мне, соколик? — с упреком промолвила девушка.

— Тебе ль не верить! Верю, а так вот сам не знаю с чего, точно беды на нас с тобой жду. Сейчас вот, хочешь — верь, хочешь — не верь, как увидел я, что с тобой боярин ласково разговаривает, так у меня сердце и захолонуло.

— Полно, милый, что за страхи! — с улыбкой проговорила Аграфена.

— Грунька! Да скоро ль ты придешь? Али мне тебя тут до ночи дожидаться? — с сердцем крикнул молодой холопке ключник.

— Сейчас, Иван Митрич, сейчас! — отозвалась она, не трогаясь с места.— Вечером где свидимся? — торопливо спросила она у Ильи.

— Приди в сад, знаешь, к дубку, где летом видались.

— Ладно! Только стемнеет, урвусь, прибегу.

С этими словами девушка повернулась, чтобы удалиться.

— Груня! — остановил ее Илья,— Я думаю не мешкая у боярина просить дозволенная нам повенчаться. Спокойнее будет.

— Спокойнее, вестимо. Что ж, попытай! А только вдруг не позволит?

— Никто, как Бог!

— Попытайся, родной! До вечера!

И она быстро отошла от него.

Илья с невеселым лицом смотрел ей вслед.

«С чего это на сердце у меня словно камень?» — подумал он.

Ключник Иван Дмитриевич повел Аграфену к ключнице Фекле.

— Вот, Фекла Федотовна, тебе новая работница... Боярин прислал,— сказал он старухе.

Аграфена низко поклонилась ключнице.

— С чего ж это он тебя, Грунька, со двора да сюда вдруг вздумал? — спросила Фекла.

— А не знаю. Подозвал сейчас тут да и говорит: «Негоже тебе на дворе работать, ступай в дом!»

— Так,— отрывисто промолвила старуха и сжала губы.

— Боярин изволил ее еще и по щеке потрепать,— хихикнув, сказал Иван Дмитриевич и подмигнул ключнице.

— А, вот что! — протянула та и сурово взглянула на Груню.— Ты, может быть, и рада?

— Чего же радоваться? Здесь ли работать, там ли — не все равно?

— Гм... Может, и не все равно. Что же ты умеешь делать? Вышивать знаешь?

— Нет... Так маленько, а только не скажу, чтобы знала.

— К чему ж мне тебя приспособить? Посажу хоть нитки сучить. Пойдем в девичью!

Идя следом за Феклой, Груня дивилась, почему это старуха вдруг словно не та с ней стала: говорит так, будто сердита на нее за что-нибудь.

— Вот вам новая товарка, девоньки. Потеснитесь, дайтека ей места в уголку! — промолвила ключница, войдя с Аграфеной в большую, светлую комнату, в которой работали — шили, вышивали с десяток девушек. Все они были знакомы Груне.

— Что это ты, Груняша, со двора,— ведь ты в птичницах, кажись, была? — да вдруг сюда попала? — спросила одна из них.

— Боярин прислал,— ответила за нее Фекла.

— А! — многозначительно протянула спрашивавшая и насмешливо улыбнулась.

Остальные переглянулись между собой.

Фекла Федотовна посадила Груню на лавку, показала, что и как надо работать, и вышла.

Аграфена принялась за дело, но оно не спорилось. Ее смущали эти несколько пар глаз, не то с насмешкой, не то с любопытством устремленных на нее.

«Чего они на меня все уставились?» — думала девушка и чувствовала, что кровь приливает к ее щекам.

В то время, когда она с Феклой подходила к дверям девичьей, оттуда несся громкий говор, теперь же царила тишина. Все словно воды в рот набрали, разве изредка перешепнется одна с другой, ухмыльнутся да и опять замолкнут.

Смущение Груни росло. Работа совсем перестала идти на лад.

— Сделай милость, покажи, как нужно,— робко обратилась она к сидевшей рядом с нею девушке.

Соседка нехотя показала.

— Брось, Грунька! Тебе разве этому учиться нужно? — заметила сидевшая против Аграфены рябая рыжая девка.

Груня вопросительно уставилась на нее.

— Тебе надо учиться целоваться жарче, обниматься крепче. Али тебя уж Ильюшка этому понаучил вдосталь?

Кругом послышался смех. Лицо Груни залилось яркой краской, теперь уже краской гнева.

— Тебе-то что до меня и до Ильи? — вскричала она.

— Вестимо, мне что! Целуйся хошь с ним, хошь с боярином!...

— Рябая корова!— выругалась Аграфена.

— Ишь, ты! «Такая» да еще и ругается,— воскликнула задетая за живое девка.

В это время вошла Фекла и присела среди девушек. Все притихли.

— У меня, Фекла Федотовна, дело на лад не идет,— обратилась к ней Груня.

Старуха отмахнулась равнодушно.

— А ну, как идет! — сказала она и тут же заметила рыжей неприятельнице:— Таисья! Чего это ты узлов насажала? Нешто так вышивают!

Аграфена низко опустила голову. Горькое чувство незаслуженной обиды наполняло ее сердце.

— А житье боярским полюбовницам,— спустя некоторое время промолвила как будто вскользь рыжая Таисия.

— Не житье, а масленница! Ешь, пей на серебре, всего вволю, и работишки никакой,— поддержала ее какая-то другая холопка и хихикнула.

— Да! Ноне все любят легкий хлеб! Чести своей ради сладкого житья не жалеют, греха не боятся,— сурово заметила Фекла, кинув взгляд на Аграфену.

Та уловила этот взгляд. Горькое чувство разрослось, переполнило сердце. Она выронила из рук работу, прикрыла лицо руками и зарыдала.

— Что с нею? — всполошилась Фекла Федотовна.

— Стыд пронял, вестимо, ну, и заревела! — сказала Таисия.

— Ты бы хоть, Таиса, придержала язык, не тебе людей корить, на себя бы посмотрела! — строго проговорила ключница, знавшая, что «рыжая Таська», как звала дворня рябую девку, сама далеко не безгрешна.

Таисия надулась. Старуха подошла к Груне. Слезы девушки помирили Феклу с ней.

— Господь с тобой, не плачь, дитятко! — промолвила ключница, ласково гладя черноволосую головку плачущей девушки.

Груня отняла руки от лица.

— За что, за что все на меня напали? — заговорила она сквозь слезы.— Что я им сделала? В полюбовницы боярские я хочу идти, что ли? Посадил меня сюда боярин — его воля... Чем я виновата? А в полюбовницы к нему по доброй воле ни в жизнь не пойду, разве свяжут меня да силою возьмут, а так ни-ни! За что ж корят меня и насмехаются!

— Утри слезы, девица! Никто тебя теперь не станет корить. А ведь раньше кто же знал. Думали, позарилась девка на сладкое житье. Много ведь таких, по другим и о тебе подумали. Подумали, а теперь не думают. Правда ведь, девоньки?

— Не думаем, вестимо, не думаем! — хором ответили девушки; только Таисия промолчала.

— Ну, вот видишь. Что ж плакать? А за прежнее прости и их, и меня, старую. Утри слезки-то, утри!

Долго еще утешала девушку старушка. Постепенно высыхали слезы у Груни, и на душе становилось светло, и лица ее сотоварок-работниц теперь казались ей милыми и добрыми, а улыбка участливой. Да и не только так казалось Груне, так было и на самом деле. Эти простые девушки вовсе не были злыми, и теперь, когда Аграфена, так сказать, открыла перед ними свою душу, они вполне сознали себя виноватыми перед нею и не стыдились просить прощения.

— Ну, что, прошла ли твоя кручина? — спросила Фекла Федотовна, с улыбкой глядя на лицо Груни.

— Прошла, совсем прошла,— смущенно улыбаясь, ответила та.

— Ну, и ладно! Теперь мы и поработаем. Давеча спрашивала ты меня... Я тебе сейчас покажу, дело на лад и пойдет. А вы, девицы, песню бы спели...

— Отчего же не спеть? Споем! Запевай-ка, Наташа!

Наташа-запевала не заставила себя долго просить, и скоро веселая песня огласила комнату.

У всех были оживленные и довольные лица. Одна только Таисия не принимала участия в общем оживлении и сидела, угрюмо насупившись. Ее злобно-мелкая натурищка не могла успокоиться, и она уже обдумывала месть, гнусную, тайную, на какую только и была способна.

Есть люди, верней — существа, имеющие наружное сходство с людьми, как будто созданные для того, чтобы сеять зло. Такова была и Таиса. Их много, очень много таких Таис; они были и есть во всех странах, они существовали во все времена, как всегда и везде существуют паразиты и гады. Присмотритесь, читатель, к своим знакомым, и вы, наверно, найдете среди них хоть одну такую Таисию. Бойтесь ее, как огня! Она всегда глупа — тем она опасней, она всегда полнейшая бездарность — тем верней вы ее можете не заметить. У ней страшное оружие — клевета, ее броня — лицемерие. Она разрушает самое прочное счастье, она заставляет разыгрывать кровавые драмы. Она всевидяща и даже более того — видит то, чего нет. Ничем вы не спасетесь от нее: осыпьте ее благодеяниями, одарите ее всеми благами мира — все равно: она будет принимать ваше добро, но по-прежнему будет злословить за вашей спиной. За каждый кусок хлеба, съеденный ею в вашем доме, она заплатит вам клеветой, за каждое доброе дело, ей сделанное, очернит вас чернее ночи. Не думайте вступать с нею в открытую борьбу: вы погибнете, она будет торжествовать. Всмотритесь в лицо такой «Таисии», когда она говорит с вами: на губах ее улыбка, а глаза так и впиваются в вас — инквизиторские глаза! Они способны увидеть, кажется, ваши внутренности. Бегите от такой «Таисии»! Но как трудно от нее убежать! Она, как муха, влетит в окно, если дверь заперта, зажужжит, завьется вокруг вас и вонзит свое ядовитое жало. Она — ужасное существо. С таким-то «ужасным существом» приходилось вступить в борьбу бедной честной и чистой Груне.

IV

ЗА ОБЕДНЕЙ И ПОСЛЕ НЕЕ

Обедня затянулась: старичок священник любил служить не торопясь и без пропусков. Маленькая церковь была полна народа. Это все были окрестные вотчинки со своими чадами и домочадцами. Простого люда было мало видно: день был будний, и смердам и иной «меньшой братии» было не до молитвы.

В храме было жарко и душно, и боярин Степан Степа-

нович имел полное основание распахнуть свою шубу и показать свой блестящий тегиляй. Кречет-Буйтуров стоял на обычном месте, на коврике, подле правого клироса. Голова его была гордо закинута, и он свысока поглядывал на стоявших невдалеке знакомых соседей-вотчинников. Он даже крестился как-то особенно, точно, творя крестное знамение, оказывал милость Богу.

Стоявшая рядом с ним Анфиса Захаровна молилась усердно, отбивала земные поклоны так, что становилось страшно за ее лоб, а крестясь, перекидывалась туловищем сперва несколько назад, а потом кланялась низко-низко, причем крест творила такого размера, что, перенося руку со лба, опускала ее не на грудь, а, скорее, на живот.

Катюша молилась неровно. Она то крестилась часто-часто мелкими крестиками, то забывалась, и Анфисе Захаровне не раз приходилось подталкивать ее в бок, чтобы напомнить, что нужно перекреститься.

Девушке было не до молитвы. Она чувствовала на себе горячий взгляд тех глаз, которые ей сегодня грезились в дреме, и смущалась под ним. А Александр Андреевич Турбинин, как нарочно, не отрывал своего взгляда от ее лица. Он заметил ее смущение, подметил уже не один кинутый вскользь на него ее робко-виноватый взгляд, и сердце его трепетало от радости: он понимал, что все это — добрые признаки.

Был еще один человек, который, что называется, «ел глазами» миловидную боярышню, только — увы! — она и не замечала его взгляда. Это был тот самый Иван Дмитриевич, который сшил себе новую шубу и перед которым Степан Степанович хотел похвастать новым тегиляем!

Иван Дмитриевич Кириак-Лупп был уже не молод, и, наверно, его голова была бы покрыта изрядною сединой, если б на ней был хоть малый остаток растительности. У него был красноватый, маленький, как пуговка, нос, тусклые, серые глаза. Он обладал каким-то странным цветом лица — его можно было бы назвать пегим: целая сеть красновато-синеватых пятнышек и полосок просвечивала сквозь сероватую кожу. К довершению всего, Иван Дмитриевич был очень нескладен: при громадном росте имел чрезвычайно узкие, какие-то «покатые» плечи... С подбородка Кириак-Луппа спускалась длинная и узкая борода огненно-рыжего цвета, тронутая сединой.

Казалось бы, наружность Кириак-Луппа заставляла же-

лать лучшего, но он был ею очень доволен и в кругу боярсотоварищей любил хвастаться своими победами. Подобно Турбинину, он заметил волнение боярышни Екатерины Степановны и, конечно, приписал это влиянию своего взгляда, и самодовольная улыбка кривила его губы, а в голове проносилось: «А! Попалась птичка в сети! Вот мы, старики-вдовцы, каковы!»

Между тем обедня оканчивалась; прозвучал отпуск, прогремело многолетие царю Ивану Васильевичу. Боярин Кречет-Буйтуров, получив почетную просфору, двинулся с семьею к выходу. Сейчас же следом за ним повернулись Турбинин и Иван Дмитриевич, а там потянулись и другие.

— Что ж, Шурка, пойдем ко мне щи хлебать! — сказал, садясь в сани, Кречет-Буйтуров подошедшему к нему прощаться Александру Андреевичу, которого он знал еще мальчиком.

— Спасибо, Степан Степанович,— ответил Турбинин, смотря в то же время не на самого Кречет-Буйтурова, а на его дочь, успевшую уже сесть в сани.— А только мне нельзя, домой надо — матушка ждет.

— Ну, как хочешь. Будешь в нашей стороне — мимо ворот не проезжай.

Подошел прощаться и Кириак-Лупп.

— Прощай, Степан Степанович, прощай, Анфиса Захаровна, прощай, боярышня! И что за красавица дочка уродилась у тебя, Степан Степанович! — сказал он, плотоядно щуря на девушку свои тусклые глазки.

— Н-да! Ничего себе... в меня уродилась! — самодовольно улыбаясь, сказал Кречет-Буйтуров, а сам подумал: «Ты, брат, не сватать ли ее за себя хочешь? Так это мимо — не для тебя кус!»

Турбинин слышал замечание Ивана Дмитриевича и почувствовал что-то похожее на ревность.

— Эдакая рожища, да еще смеет глядеть на нее! — ворчал он, взбираясь на своего Серого.

Александру Андреевичу хотелось поскорее добраться до своей вотчины, до которой было от церкви верст десяток. Он гнал коня, не разбирая дороги; конь спотыкался, но Турбинин не обращал на это внимания и заставлял идти его вскачь. Так проехал он уже версты три, когда вдруг при спуске в крутой овраг Серый споткнулся и грохнулся на землю. Боярин не успел освободиться от стремян, и его нога попала под коня. Он пытался высвободиться, но не мог, пытался

поднять коня, но Серый не поднимался. Положение боярина было не из завидных. К счастью, на другой стороне дороги показался всадник, и Турбинин крикнул ему о помощи.

V

СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

Всадник услышал зов Турбинина, подъехал к нему и спрыгнул с коня. Это был очень высокий и богатырски сложенный красивый молодой человек с небольшою золотистою бородой и усами, с несколько загрубевшей от солнечных лучей и непогоды кожей лица, с ясными голубыми глазами.

— Эх, да как же ты неловко попал, братец! — сказал он, беря Серого за узду.— Ну-ну, конек, вставай!

Серый словно только этого и ждал — он тотчас же поднялся. Поднялся и Александр Андреевич.

— Что нога? Изрядно примял коняга?

— Нет,. ничего... Так, ноет малость. Как вот конь? — ответил Турбинин и заставил Серого шагнуть несколько раз. Конь прихрамывал на одну ногу.

— Эх, жаль! Попортил коня! Ну, да авось выправится. До вотчины бы только добраться.

— А тебе далеко?

— Да все поболе пятка верст осталось.

— Не больно много, конь дотащит кое-как.

— Да уж что делать! Дотащить не дотащит, а поеду,— промолвил Турбинин, вскакивая в седло.— Спасибо, что выручил...

Александр Андреевич хотел сказать «боярин» и остановился, не зная, боярин ли перед ним. Это было довольно трудно определить по внешности всадника. Он был одет очень скромно в кожух темного цвета и невысокую баранью шапку. Из-за пояса выглядывали рукояти двух «пистолей», на боку покачивалась сабля в деревянных ножнах без всяких украшений, через плечо было перекинуто нечто вроде дорожного мешка, битком набитого чем-то.

— Ты не знаешь здешних? — спросил Турбинин.

— Нет.

— И по говору слышно. Откуда же?

— Издалека! — улыбаясь, ответил всадник! — Из-за моря.

— Из-за моря? Вон как! В Москву пробираешься?

— Да, к Москве. А ты здешний?

— Да. Живу, тут с матерью в вотчине недалеко. Ну, и в Москву наезжаю.

— Не знаешь ли боярина Кречет-Буйтурова?

— Степана Степановича? Как не знать! Сейчас мы с ним у обедни вместе стояли.

— Стало быть, он не в Москве живет?

— Нет, в вотчине своей. Знаешь, по нынешним временам там спокойней жить, чем в Москве.

— Что так?

— Царь грозен больно. Неровен час прогневится — не сносить головы.

— Далеко вотчина Степана Степановича?

— Нет, недалеко. Вот, видишь этот лесок?

— Ну?

— Просека тут будет. По ней надо ехать, а потом вправо взять. Выйдешь, почитай, к самой его вотчине. А ты к нему послан?

— Нет, не послан, сам еду.

— Знаком, стало быть?

— Нет, не знаком, а сродственник ему.

— Сродственник и не знаком?

— Да. Дивишься?

— Как не дивиться!

— Мало ль что на свете бывает!

— Тебя как звать?

— Марком Даниловичем. Ну, а прозвище тоже Кречет-Буйтуров.

— Так! — протянул Александр Андреевич.— Ну, спасибо тебе, боярин — теперь он проговорил это уже без колебания,— да и прощай: ехать надо — скоро ль доберусь я до дому на хромом коне? Увидишь Степана Степановича — передай поклон ему от Александра Андреевича Турбинина.

— Передам! Так ехать надо лесом?

— Да, все прямо, а потом вправо.

— Ну, прощай, поеду отыскивать сродника.

— Прощай! Свидимся, чай, у Степана Степановича.

— Бог даст!

И молодые люди разъехались в разные стороны.

VI

НЕ ТУДА

Марк, расставшись с Турбининым, направил коня, согласно указанию Александра Андреевича, к видневшемуся невдалеке лесу. В этом Марке, едущем по русским полям, трудно было признать того Марка, которого знали в Венеции. За короткое время юноша превратился в мужчину. Долгий, трудный и полный опасностей путь изменил не только наружность Марка, но и его характер: закалились равно и дух, и тело.

Перерезав поле, Марк Данилович скоро отыскал просеку. Она была неширока и тянулась далеко не прямо, как можно было бы ожидать, а делала местами крутые колена. Во все время своего долгого пути молодой боярин как-то мало задумывался над тем, что его ждет в Москве, да и не было времени раздумывать. Но теперь, когда его путешествие подходило к концу, целый рой разнообразных мыслей нахлынул на него. Он старался создать в своем воображении образ незнакомого дяди, старался представить себе сцену свидания с ним. Еще не зная дяди, он уже любил его, и брат отца, казалось ему, должен быть самым добрым, самым умным, самым честным из живущих на свете, чуть ли не вместилищем всяких совершенств. Он умилялся, воображая, как дядя кинется обнимать его, узнав, что перед ним сын давно исчезнувшего брата, как назовет его своим дорогим племянником, быть может, смахнет одну-другую набежавшую от радостного волнения слезу...

То, что сперва сложилось в мозгу у Марка лишь как предположение, мало-помалу превратилось в уверенность, и он погонял коня, желая возможно скорее увидеть все это на деле.

Однако дорога что-то затянулась. Уже несколько раз Марк поворачивал вправо, как научил его Турбинин, но, вместо ожидаемого открытого поля и боярской усадьбы на нем, представлялся лес, лес и лес, и просеке конца не предвиделось.

Марк Данилович только разводил в недоумении руками и в душе не раз ругнул своего нового знакомца, что тот наврал ему, будто до усадьбы дяди чуть не рукой подать.

Конь, уже утомленный и ранее долгим путем и некормленный с утра, начал заметно приставать, когда наконец открылось поле и на нем усадьба невдалеке.

Марк Данилович вздохнул с облегчением. «Наконец-то! Вот она, желанная!» — подумал он, направляя коня к воро-

там усадьбы. Ворота были закрыты. Марк слез с коня и постучал. Скрипнула калитка, и старик-холоп вышел к боярину.

— Что надоть, добрый человек? — спросил он, окидывая взглядом наряд прибывшего.

— Боярина Степана Степановича повидать надо.

— Степана Степановича? Такого нет.

— Да ведь это — усадьба Кречет-Буйтурова?

— Ай же нет! Кречет-Буйтуровская отселе верст пяток будет.

У Марка и руки опустились.

— Вот те на! — пробормотал он.— Чья же эта?

— Боярыни Василисы Фоминичны Доброй.

Молодой боярин не знал, на что решиться: ехать ли немедля на розыски дядиной усадьбы или сперва отдохнуть.

— Ты издалече, молодец? — спросил старик, очевидно решив, что перед ним не боярин, а худород.

— Издалече.

— Оно и заметно: вишь, конь-то как заморился.

Кречет-Буйтуров посмотрел на своего коня: он был весь в мыле. Волей-неволей приходилось отдыхать.

— Твоя боярыня не позволит ли отдохнуть в усадьбе малость?

— Я чай, позволит. Пойти спросить, что ль?

— Да. Скажи, что сродник боярина Степана Степановича заплутался и отдыха просит.

Старик разинул рот от удивления, а потом поспешно снял шапку.

— Обожди малость, боярин, я живой рукой,— сказал он и юркнул в калитку.

Через несколько минут ворота распахнулись.

— Боярыня просит к ней пожаловать и хлеба-соли откушать,— проговорил старик-холоп, принимая из рук Марка Даниловича узду.

VII

ЗЕМЛЯ И НЕБО

Перейдя обширный двор и поднявшись на крыльцо, Марк Данилович вступил в просторные сени. Молодой холопчик, низко поклонившись боярину, помог ему снять кожух и отворил дверь в светлицу.

— Пожалуй, господин! Василиса Фоминична обождать малость просила,— сказал он.

Марк вошел и осмотрелся. Убранство светлицы мало чем отличалось от обычного. Те же лавки вдоль стен, покрытые вышитыми полавошниками, стол дубовый с бранною белою скатертью, поставец с посудою, иконы в углу. Обилие посуды в поставце и золоченые, усыпанные драгоценными камнями оклады икон указывали на зажиточность хозяев.

Скрипнула дверь. Это входила хозяйка.

Василиса Фоминична оказалась еще очень не старой женщиной. Ее можно было бы принять за девушку, если бы ее голову не прикрывала голубая атласная кика — знак, что она замужняя или вдова. Кика была богатая; верхний и нижний края ее были унизаны жемчугом, с боков были две золотых «запоны» — рубины так и светились на них кровавым светом. Не менее богат, чем кика, был и сарафан: шитый из голубого, того же цвета, как и кика, байберека *, он был от ворота до пола застегнут такими пуговицами, которые одни стоили не дешевле иной деревеньки; в каждой из них, что слезинка, сверкал алмаз. Стан боярыни был перетянут поясом с жемчугом и топазами; пояс был застегнут золотой запоною, с которой спускалась голубая кисть, перевитая золотыми нитями. Роскошный наряд был как нельзя более к лицу его обладательнице. Высокая, белая, с голубыми глазами с поволокой — она была типом русской красавицы. Против обычая, на лице ее не было наложено румян, и на щеках играл природный румянец.

При входе ее Марк Данилович низко поклонился. Она слегка кивнула ему головой и улыбнулась, и в этот миг лицо ее стало еще красивее — казалось, ряд белых зубов, сверкнувший из-под алых губ, кинул на него световой отблеск.

Молодая боярыня заговорила певуче и мягко:

— Издалече путь держишь?

— Издалече! Из-за моря.

— Из-за моря? Куда ж едешь?

— К дяде своему Степану Степановичу Кречет-Буйтурову.

— Знакома с ним, знакома. Его вотчина недалеко отсюда. Садись... Как тебя по имени, по отчеству?

— Марк Данилович.

---

* Байберек — шелковая ткань; она бывала с золотыми или серебряными узорами; бывала гладкая разных цветов.

— Садись, Марк Данилыч, а я сейчас распоряжусь...

— Не надо, Василиса Фоминична.

— Ни-ни! И заикнуться не смей! Я — сердитая вдова!

И она шутливо погрозила ему пальцем, потом крикнула:

— Степанида!

Молодая холопка, неслышно ступая поршнями *, вошла в светлицу и остановилась у дверей.

— Подай-ка ты нам перекусить.

— Чего прикажешь?

— А вот подумаем... Гуська у нас от обеда осталось?

— Есть, есть.

— Его подай. Опять же есть пирожок с бараниной, сырнички. А потом подай груздей солененьких, белых грибов в уксуску... Осетринки холодной подай — вчера, кажись, не всю доели?

— Осталось ее порядочно.

— Ну, вот. А потом...

— Да побойся Бога, Василиса Фоминична! Али закормить меня хочешь! — вскричал Марк Данилович.

Боярыня опять шутливо погрозила ему, и еще долго продолжалось ее: «А потом, а потом»...

Словно по волшебству, накрылся стол и уставился самыми разнообразными снедями, начиная от гуся с капустой и кончая икрой. Появились между снедями и мед разных сортов — смородинный, вишневый, можжевеловый — видно, у боярыни Доброй был изрядный запас его в медуше ** — и наливки и даже романея ***.

За время своего пути Марку Даниловичу не раз приходилось просить гостеприимства в боярских усадьбах и угощаться в них, поэтому он хорошо знал, что гостю нужно как можно более притворно отказываться. Но Василиса Фоминична так умела потчевать, что долго церемониться не приходилось, и проголодавшийся с дороги боярин, забыв про всякие обычаи, изрядно приналег на кушанья.

Пока он ел, вся беседа состояла в том, что он отказывался, а она угощала. Но, когда с едою было покончено и в руках хозяйки и гостя появились кубки, беседа оживилась. Старый мед бил в голову, наливка тоже не была легка. Молодой боярин после нескольких кубков почувствовал легкую

---

* Поршни — кусок кожи, стянутый ремнями по краям.

** Погреб, где хранится мед.

*** Бургонское вино.

тяжесть в голове и заметно повеселел. Василиса Фоминична тоже пригубила не один кубок, и румянец ярче вспыхнул на ее щеках, а в глазах засветились огоньки.

Марк рассказывал о Венеции и своем житье там, о трудностях, приключениях и опасностях, пережитых в пути. Он говорил, а сам смотрел на красивое лицо боярыни, на ее полную белую шею. Он чувствовал на себе ее взгляд, и, когда встречался с ним, лаской и теплом веяло на него от этого взгляда. Близость красавицы женщины оживляла его не меньше меда и наливок. А молодая хозяйка как будто нарочно выставляла маленькую белую руку, наклонялась к нему так близко, что он чувствовал ее горячее дыхание.

— Да, много тебе притерпеть пришлось! Молодец ты, богатырь! — промолвила Василиса Фоминична, обдавая Марка ласкающим взглядом.

— Ну, какой богатырь! Другим больше моего переживать приходится.

— По тебе там в венецейском граде, я чаю, все красавицы сохли — вишь, ты такой пригожий уродился.

— Ну...— протянул боярин, смущаясь и не зная, что сказать.

— Увидели бы нас с тобой теперь наши боярыни-воркуньи либо бояре седобородые, то-то подняли б шум: этакая, вишь, срамота: баба молодая бражничает с боярином пригожим. А мне что? Надо мной нет головы: вдова — вольный казак! — Василиса Фоминична лихо тряхнула головою и рассмеялась.

Марк посмотрел на нее и подумал:

«Бой баба! Славная баба!»

А она продолжала:

— Терем — та же темница для девицы. День-деньской в четырех стенах. Только и любуешься на свет Божий, что из-за окна переборчатого. А замуж выдадут — тоже не сласть.

— Какой муж попадется... Коли по сердцу...

— По сердцу? Да кто ж спросит девицу о том, по сердцу ль ей жених али нет? Сговорили — и делу конец. Меня выдавали, так я впервой тогда своего жениха увидала, когда к венцу повели. Старый, седой, и на одну ногу будто прихрамывает. Сладко ль мне было за такого идти? Плакала я — так ведь слезы девичьи — роса! Полдесятка лет маялась я с ним...

— Давно он помер?

— Нет, недавно. За два дня до зимнего Миколы. Ну, а теперь я сама себе голова — кого хочу, того и полюблю. Сама себе мужа выберу по сердцу.

И ее глаза так и обожгли Марка Даниловича.

— Да, тяжела на Руси девичья доля! — задумчиво проговорил он.

— Тяжелей и сыскать трудно.

Легкие шаги послышались в смежном с светлицей покоем. Дверь распахнулась, и на пороге появилась молодая девушка, в простом белом сарафане и в юбке из синей «дабы» *. Маленькая и худощавая, с тонким профилем, с глубокими темными глазами, она была красива той возвышенной, одухотворенной красотой, которая дается в удел немногим. Не многие же могут ее и оценить — есть люди, способные чуть не молиться на картину кисти гениального художника, и есть такие, для которых эта же картина — недостойная внимания вещь, холст, испачканный красками. Только чуткая душа могла понять ее. Тайна такой красоты скрыта не в чертах лица — они могут быть самыми заурядными — но в том внутреннем свете, который сквозит сквозь них.

Увидя Марка Даниловича, девушка остановилась в нерешимости. Боярин взглянул на нее и встретился с ее взглядом. Это длилось одно мгновение, но какое-то странное чувство шевельнулось в душе Марка. На него повеяло полузабытыми образами, которые он когда-то создавал в своих мечтах. Он видел уже раньше эти глаза, глубокие, грустные, видел и это бледное личико, окруженное волною золотистых волос...

— Танька! Ты зачем? — резко спросила Василиса Фоминична.

— Я спросить хотела...

— После! Иди в свою горницу: не гоже девке к чужим людям на глаза лезть. Ну-ну! — прикрикнула Василиса Фоминична, сдвинув брови.

Боярышня быстро повернулась и вышла.

— Кто это? Сестра? — спросил Марк.

— Падчерица.

— Зачем ты ее прогнала? Сама же говорила про девичью жизнь.

— Пусть терпит. И я терпела, и другие терпят, она что особенная? — раздраженно говорила боярыня.

«Э! Да ты с перцем!» — подумал боярин, глядя на свою собеседницу.— Ишь, глаза-то будто съесть хотят!»

Вообще Василиса Фоминична теперь показалась ему зна-

---

* Бумажная материя.

чительно менее красивой. Что-то грубое, жесткое различил он в чертах ее лица.

— Вот жернов-то мне навязался на шею эта Танька! — продолжала между тем молодая вдова.— Хотела замуж выдать, чтобы избавиться от нее — не берут.

— Не берут? Да что ты! — не мог удержаться от удивленного возгласа боярин.

— Честное слово! Ледащая, говорят, девка. Да она и в самом деле какая-то дохленькая.

Марк Данилович только пожал плечами.

Василиса Фоминична скоро опять заговорила по-прежнему, забыв свое раздражение, снова ласкала глазами красивого гостя, но боярин рассеянно слушал ее, и ее взгляды уже не производили прежнего действия.

Уже солнце начало заметно опускаться, когда Марк Данилович поднялся из-за стола и, несмотря на уговоры гостеприимной хозяйки, решил ехать.

— Не забудь вдову одинокую, заглядывай! — проговорила на прощание Василиса Фоминична.— Али, может, тебе скучно со мной?

— Какое же скучно! Давно ни с кем беседовать так не доводилось,— совершенно искренне ответил Марк.

Боярыня довольно улыбнулась.

Вместе с боярином был послан холоп, который должен был указать ему путь к Кречет-Буйтуровской вотчине.

Проходя через двор, Марк Данилович посмотрел на окна терема. Он думал, не увидит ли в них головки Тани. Но окна были пусты.

«Вот не схожи-то мачеха с падчерицей! Что земля и небо!» — подумал он, подразумевая под землей Василису Фоминичну, под небом — ее падчерицу.

VIII

«ДОБРЫЙ» ДЯДЮШКА И ПЛЕМЯННИК

Степан Степанович только что очнулся от послеобеденного сна. Голова его была тяжела, в горле пересохло.

«Тьфу, пропасть! Как это завсегда поспишь после обеда,

особливо если посытней поешь, так просто беда!» — с досадой подумал он и крикнул:

— Квасу!

Какой-то холоп заглянул в дверь и скрылся. Через минуту он уже вносил в боярскую опочивальню объемистый кувшин и кружку.

Боярин налил и с наслаждением выпил кружку студеного квасу, потом потянулся и зевнул, крестя рот.

— А тебя, боярин, дожидает тут один,— сказал холоп.

— Кто такой?

— Не ведаем. Хотел немедля тебя повидать, да мы будить тебя не посмели.

— И хорошо сделали. С Москвы он, что ли, прибыл?

— Н-нет, кажись, не с Москвы.

— Прежде никогда не бывал у меня?

— Впервой его увидели. И чудной какой-то — по облику будто и из бояр, а одеждой на холопа смахивает.

— Кто ж бы это мог быть? — раздумчиво пробормотал Степан Степанович.— Пойти поглазеть,— добавил он, поднимаясь с постели.— Квас-то снеси в светелку,— приказал он холопу.

Марк Данилович уже с добрый час ожидал пробуждения своего дяди. Он нарочно не сказал холопам, кто он такой, желая поразить Кречет-Буйтурова радостной неожиданностью. Ожидая, он готовился, как только дядя появится, кинуться к нему на шею. Однако, когда Степан Степанович наконец появился — заспанный, с всклокоченными волосами, хмурый и недовольный,— у Марка отпала охота к такому приветствию, и он только низко поклонился. Кречет-Буйтуров кивнул ему головой, тяжело опустился на лавку, зевнул, окинул взглядом своего гостя и хрипло промолвил:

— Что надо?

Марк Данилович почувствовал, что как будто робеет.

— Я, видишь ли, к тебе... потому самому, что я — твой племянник...— пробормотал он.

— Как ты сказал? — спросил, весь подавшись вперед, дядя.

— Племянник твой...

Степан Степанович открыл рот от изумления; потом, окинув еще раз с ног до головы Марка, принял равнодушный вид и холодно промолвил:

— Племянник? У меня нет никакого племянника.

— Да есть же, есть! — горячо вскричал молодой человек.— Был у тебя али нет брат Данило?

— Ну, был.

— Так я же — его сын!

— Данилы давно уж и на свете нет.

— В полон он был взят. С ним и я.

— Чудно что-то больно...— сказал боярин, а сам думал: «Кто его знает? Может, и в самом деле братнин сын. А только голяк, видно. Возись тут с ним. Знаем мы роденьку!»

— Чудно, чудно! — пробормотал он опять, поглаживая свою бороду.— Даже прямо не верится.

Марк пожал плечами.

— Да как же?

— Да так же! Прибежал человек, Бог знает откоде, да и говорит: племяш я твой.

— Стало быть, я — обманщик? — с сердцем вскричал Марк Данилович.

— Что ж, и это бывает. Захотелось денежек выманить, ну, и надумал.

— Вот как! Да зачем мне деньги? У меня свои есть,— и Марк, достав данный ему Карлосом кошель, высыпал на стол часть монет.— Ну, да как хочешь. Не веришь — не верь. Я к тебе, как к родному, а ты меня обманщиком считаешь... Твое дело! — говорил Марк Данилович, сгребая дрожащею рукою монеты.

Ему было обидно и больно.

Увидав деньги, Степан Степанович сразу переменился.

— Ты постой... Я ведь не того, не обидеть тебя хотел. То подумай: явился человек с ветра, одет этак не очень, чтобы... Кто его знает, проходимец он али точно племянник родной? Ну, теперь я вижу с деньгами — стало быть, не из обмана... Давай поцелуемся, племянник!

Он встал и распростер свои объятия Марку. Обнимаясь с племянником, Степан Степанович даже умилился — появилась и дрожь в голосе, и слезы на глазах.

Марк Данилович, видя эту перемену, только изумлялся. «Правду сказал учитель, что деньги везде пригодятся и помогут»,— подумал он.

— Да, да! И ликом ты с братом Данилой схож. Как это сразу я не догадался, что ты — племяш мне? Вот, поди ж ты! Теперь дивлюсь. А тогда... Давно Данило помер? Давно? Царство ему небесное! Так нам и не пришлось свидеться,

как он с Москвы уехал. Кто знал? Вот она, судьба-то! А надо нам приезд твой пирком отпраздновать,— говорил Степан Степанович, когда вдосталь наобнимался.

— Уволь, дядя! По горло сыт.

— Нет, как можно! — возразил Степан Степанович и, кликнув холопа, приказал ему подать перекусить да не пожалеть и меда с наливками и винца.— Позови-ка сюда боярыню,— добавил он еще.— Да и Катю тоже. Скажи, что сродственник приехал, племяш мой, брата Данилы сынок.

Разумеется, Анфиса Захаровна и Катя не замедлили появиться. Боярыня, как водится, заудивлялась, заахала, боярышня смущенно поздоровалась со своим двоюродным братом.

— Поцелуйтесь — не чужие ведь,— сказалСтепан Степанович.

Катя отнекивалась, покраснев как мак, но отец настоял, и Марк Данилович прикоснулся губами к ее вспыхнувшей щечке. Стройная и миловидная двоюродная сестра очень понравилась ему, жирная тетушка не произвела особенного впечатления, а дядя, тот самый дядя, которого он представлял себе таким добрым, хорошим, далеко не таков оказался на деле — в этом скрепя сердце должен был самому себе сознаться Марк Данилович.

— Ну, племяш, пей, ешь да рассказывай, где жил, что видел,— сказал Степан Степанович, когда стол был накрыт и уставлен закусками.

Марк Данилович подробно рассказывал о взятии в плен отца, о мытарствах, которые суждено было пройти бедному боярину, а вместе и ему, о Карлосе.

Анфиса Захаровна всплескивала руками и ахала, когда племянник описывал Венецию, Катя молча слушала его с горящими любопытством глазами, Степан Степанович поглаживал бороду и что-то соображал.

— Так... Много тебе потерпеть пришлось! — сказал Кречет-Буйтуров, выслушав племянника.— Издалече ты прибыл; почитай, с края света... А откуда же у тебя деньги? — добавил он и пытливо уставился на Марка.

Тот сказал.

— От Карлуса? Добр, видать, этот старик. И много? — спросил Степан Степанович.

— А я, признаться, и не сосчитал,— с улыбкой ответил племянник.

— Эх ты, голова! Деньги да не считать. Денежки счет любят! Вечерком сосчитаем.

Как сказал Степан Степанович, так и сделал: вечером деньги были сосчитаны. Их оказалось так много, что дядюшка просиял и стал племянника чуть не на руках носить. «Дурак я буду, коли не попользуюсь,— решил он.— Этакого парнишку провести нетрудно».

— Тебя, знаешь, надо в Москву свозить,— говорил он племяннику,— с боярами перезнакомить. Перво-наперво с Борисом Федоровичем Годуновым — ловкач боярин! У царя в милости и шурин царевича Федора... А между нами молвить,— тут он понизил голос,— царь Иван Васильевич вельми разнедужился, того и гляди — помрет, дохтуры и то шепнули об этом кой-кому. Вот тогда Борис Федорович большую силу иметь будет, потому что Федор о царстве и не помышляет: ему бы только молиться да монахов слушать. Потом с Шуйским познакомиться надо, с Бельским. Из Шуйских особливо с Васильем Ивановичем — лиса-человек! Хитрей всех наших бояр. Он норовит и Бориса перехитрить да, кажись, ошибается. А только тебе,— вдруг круто повернул он разговор,— надобно одежду изготовить, какую подобает. В этом нельзя же, срамота одна! Гляди, кафтан-то на локтях уже блестит, что маслом натертый, да и какой это кафтан — мужицкий бескозырок *. Надо тебе настоящий кафтан сшить с козырем, и козырь убрать, как водится, зернами бурмицкими, алмазами, ну, и иными каменьями самоцветными... У меня, кстати, есть такие камешки — себе купил, ну, да для племянника не пожалею — хочешь, купи по сходной цене. Лишнего с тебя, вестимо, не возьму.

Но по хитрому блеску глаз Степана Степановича можно было судить, что он далеко не прочь от лишнего.

— Спасибо, рад буду. Где мне искать камней, да и обманут, а ты — свой человек,— сказал Марк.

— Ну, вестимо, не обману! А еще надо тебе сшить тегилек, либо чугу **, а то терлик ***... А там, что надо — кам-

---

* Т. е. не имеющий стоячего воротника, пришивавшегося к задней части ворота. Этот воротник назывался «козырь». Он казался очень высоким, часто покрывал более половины затылка.

** Чюга — узкий кафтан без воротника и с короткими рукавами, застегивался на пуговицах.

*** Терлик — одежда, похожая на ферязь, от которой отличался тем, что имел перехват и петли спереди; он, как и ферязь, шился с длинными разрезными рукавами, которые закидывались назад.

ки *, что ли, либо объяри **, либо атласу, либо бархату — покупать не заботься: у меня есть, и я продам тебе дешевле пареной репы, хе-хе!

Про себя Степан Степанович уже решил утром, чуть свет, отправить в Москву Ваньку-ключника за всем этим добром, потому что, на самом деле, у него не имелось ни лоскута, и содрать с «племяша» вдвое дороже.

Марк, разумеется, благодарил.

Степан Степанович, ложась спать в эту ночь, думал с улыбкой:

«Коли так пойдет дале, так это — чистейший клад, ей-ей!»

Он был очень доволен приездом племянника.

IX

ТАСЬКИНЫ ПРОДЕЛКИ

Прошла уже неделя с того дня, как Аграфена была назначена в дом на работы. Боярин ни разу не потребовал ее к себе, не взглянул на нее. Казалось, он о ней забыл и думать. Опасения Груни разбивались, и она опять стала такою же веселой, такою же хохотуньей, какою ее привыкли знать ее подруги. Со всеми сотоварками по работе она сдружилась, и случившееся в первый день ее поступления в господский дом, казалось, было предано полному забвению как ею самой, так и ее сотоварками. Только одна Таисия как-то странно на нее посматривала, хотя не проявляла резко своей неприязни. Порою Груня также подмечала на себе грустный взгляд старухи Феклы Федоровны, и вопрос: «Почему Фоминична так смотрит на нее?» — не раз мелькал в ее голове. Но через мгновение старая ключница опять принимала обычный вид, спокойный и довольный, и Аграфена успокаивалась.

Одно ее огорчало: Илья как будто бы несколько переменился к ней. Правда, он по-прежнему жарко целовал ее,—

---

* Камка — шелковая цветная материя

** Объярь — шелковая тонкая ткань: она бывала травчатая и струйчатая.

пожалуй, еще жарче,— по-прежнему крепко обнимал, но что-то странное подмечала Груня иногда в его глазах. Они смотрели пытливо, почти подозрительно.

— Что ты, Илья? — спрашивала Груня, подметив такой взгляд.

— Как «что»? Я ничего...— бормотал он и называл ее любимой своей, голубкой, а через минуту опять новый такой же пытливый взгляд.

Конечно, трудно было догадаться девушке, «откуда ветер дует». Перемену в Илье Лихом — так этот холоп был прозван своими товарищами — она приписывала только себе, винила себя, что мало ласкова с ним, что редко видится, и старалась поэтому пользоваться всякою свободною минутой, чтобы с ним повидаться, удваивала свои ласки. Но это мало помогало — Илья с каждым днем становился все мрачнее, и уже не подозрение, а злобу выражали его глаза.

А «ветер дул» ни откуда более, как со стороны Таисии.

Она почти каждый день, как будто случайно, встречалась с Ильей, заговаривала с ним и целый ушат клеветы выливала на голову бедной девушки. Разговор она заводила исподволь: сперва начинала жалеть «бедную Груньку», потом следовало: «а только, знаешь, и сама она...» и черная клевета слагалась нить за нитью в крепкую сеть.

Илья посылал Таську Рыжую ко «всем чертям», обрывал ее, говорил, что она врет, даже бросался на нее с кулаками. Она уходила с оскорбленным видом, бормоча:

— Мне что ж! Я ведь для тебя... Коли хочешь, так пусть она тебя за нос водит.

А Илья оставался мрачный, расстроенный. Он не верил, не хотел верить, но сомнение против воли уже шевелилось в его уме.

«А что, если и впрямь?» — мелькала мысль, но он гнал ее, как недостойную.

А на другой день новые наговоры, новые муки. Злое семя было брошено и давало всход.

— Жаль Груньку,— сказала однажды Илье Таська Рыжая.

— Ну, что еще? — недовольно спросил он ее.

— Совсем пропадает девчонка!

— Опять брехать начнешь?

— Брехать так брехать. Не любо — не слушай. Сам же в дурнях останешься.

— Ты ведь брехунья ведомая.

— Брехунья, брехунья! Не я одна — все скажут, спроси любую.

— Да что скажут-то? — презрительно спрашивал Илья, а сам побледнел.

— Да то и скажут, что Грунька сама в полюбовницы боярские хочет.

— Не ври! — гневно обрывал ее Илья.

— Скажи правду получше меня, коли сумеешь. Спроси кого хошь, было али не было, что сегодня утречком подходит Фекла Фоминична показывать вышивку гладью, а Грунька ей: «Полно, бабушка, Фекла Фоминична, говорит, все равно гладью мне не шить: не так моя жизнь устроится». И смеется сама... Этакая оглашенная!

У Ильи глаза налились кровью.

— Врешь, врешь, поганая! — крикнул он и замахнулся.

Таська отбежала и закричала издали:

— Бесстыжая девка твоя Грунька! И сам ты дурак — и ничего больше. Ему правду говорят, добра желаючи, а он: «Врешь! Врешь!» Дурень, пра, дурень!

Слова Рыжей не были голым вымыслом, в них была доля истины, как во всякой клевете, но этой истине был придан иной смысл. Действительно, Груня сказала ту фразу, которую Таиса передала Илье, но в передаче был отрезан конец ее: после «не так моя жизнь устроится» Груня добавила: «чай, как выйду за Ильюшу моего, так мне придется не узоры шелковые выводить, а щи да кашу варить — вот этому бы учиться надо».

На Илью этот разговор с Таисой подействовал самым удручающим образом. Он не помнил себя от гнева и ревности. Когда вечером он свиделся с Груней, он обошелся с нею так грубо, как никогда прежде, и она ушла от него в слезах.

Илья понял, что, если так пойдет дальше, то выйдет Бог знает что. Надо было положить конец мукам. Он решил не медлить более со сватовством и, выбрав минуту, когда боярин будет в духе, попросить у него дозволения взять за себя Аграфену. Без того ему нельзя было жениться. Он не был крепостным — тогда крепостного права еще не существовало — он был в кабале у боярина, т. е. обязался быть его рабом, пока не уплатит занятой у боярина суммы, а нужной суммы, быть может, очень малой, каких-нибудь трех — пяти рублей, взять было неоткуда, и кабала превращалась в полное господство одного над другим.

X

СТРОПТИВЫЙ ХОЛОП И КРУТОЙ БОЯРИН

У Степана Степановича были свои доморощенные портные и сапожники, поэтому новый кафтан и новые сафьянные чоботы для Марка Даниловича скоро поспели. Материя и камни для украшения, разумеется, были куплены, как было условлено, у дядюшки за очень и очень кругленькую сумму.

— Ну, вот, теперь хоть есть все-таки в чем тебе на люди показаться. И, чай, теперь можно и в Москву съездить?

— Что ж, поедем! — охотно согласился Марк.

Ему хотелось посмотреть на этот родной и вместе чужой город, виденный им во сне и незнакомый наяву.

У Степана Степановича был в Москве свой дом.

— Я, знаешь, не живу в нем теперь потому,— объяснял он племяннику,— что в вотчине много спокойнее. Знаешь, царь у нас крутенек; часто будешь показываться — того и гляди в опалу попадешь; так лучше подальше от греха.

С племянником он решил остановиться в своем доме. За день до их отъезда был отправлен в Москву ключник Иван Дмитрич с несколькими холопами, чтоб все там подготовить к приезду.

День отъезда в Москву выпал ясный и теплый.

— Ишь, денек-то какой! Солнце-то, солнце! Благодать! — говорил Марку Даниловичу Степан Степанович, спускаясь с ним с крыльца к поджидавшим их саням. Боярин, по-видимому, был в очень хорошем расположении духа.

Как всегда бывало при отъездах, у крыльца стояла целая толпа холопов — их согнали прощаться с господином, словно он уезжал за тридевять земель и Бог знает на какой долгий срок. Впереди всех стоял Илья Лихой. Он был бледен и, видимо, волновался. Свою шапку, которую он держал в руках, он смял чуть не в блин.

Анфиса Захаровна вышла провожать мужа. Катя выглядывала из сеней. За нею теснились холопки с Феклой Федотовной во главе. В числе их были и Аграфена, и Таисья.

Груня едва взглянула на толпу холопов, сейчас же заметила Илью, заметила и его взволнованный вид. Сердце ее

екнуло. Предчувствие подсказало ей, что Лихой что-то задумал, и это «что-то», как она могла догадаться, было не чем иным, как просьбой о дозволении жениться на ней, на Груне. Девушка испытывала что-то вроде страха; она изменилась в лице и украдкой перекрестилась.

— Ты смотри, Степан, вези с оглядкой. Знаешь, дороги теперь какие, упаси Бог вывалишь,— кричала Анфиса Захаровна кучеру.

— Да что ты, мать! Дети малые мы, что ли? Мы и сами Степку, коли что не доглядит, взъерошим во как! — со смехом сказал Степан Степанович и добавил, обращаясь к Марку: — Ну, лезь в сани, племяш!

— Боярин! Степан Степанович! Заставь Бога за тебя вечно молить! — раздался голос из толпы холопов.

Кречет-Буйтуров обернулся к ним.

— Надо кому что?

Илья вышел и повалился в ноги своему господину.

— Что тебе? — спросил боярин.

— Батюшка-боярин! Дозволь пожениться!

— Пожениться? Что ж ты это разом надумал, что ли, что не вовремя просишь? Видишь, еду, некогда мне... На ком же ты жениться хочешь?

— На Аграфене.

— На Аграфене? Приглянулась девка?

— И-и! Куда как!

— Ишь ты! Даже куда как, хе-хе! Ну, женись, что же, дозволяю. Детей больше разводите — мне выгодней, хе-хе-хе!

Илья ударил лбом в землю.

— Благодарствую, батюшка-боярин! — вскричал он радостным голосом.

— Женись, женись, коли охота пришла! — говорил, уже усевшись в сани, Степан Степанович, а потом добавил:— Это которая же Аграфена? У нас их три.

— В дому у тебя служит.

— Что-то не помню.

— Служила прежде на дворе, а намедни ты сам ее на работу в дом назначил.

— А, вот которая! — протянул боярин и насупил брови.— Ну, на этой тебе жениться нельзя! — неожиданно отрезал он.

В первую минуту Илья остолбенел, потом пробормотал:

— Почему же?

— Не пара она тебе.

— Смилуйся, господин! — взмолился холоп.

— Нельзя, нельзя! Ну, что тут толковать! Прощай, жена, прощай, Катя. Трогай, Степан!

Илья уцепился за сани.

— Боярин! смилуйся, Бога ради!

— Нельзя, нельзя!

Холоп не отставал и бежал за санями. Степан Степанович грозно нахмурился.

— Пошел прочь! Нельзя, говорю, и шабаш! Ну? Прочь! — крикнул он, замахиваясь на Илью.

— Боярин! Смилуйся! Люба она мне...

Он не договорил — боярский кулак больно ударил его в лицо.

— Побей, побей! Только ее мне отдай! — вопил Илья.

— Одурел ты совсем, холоп. Ну, Степан, подстегни коней.

Кони дернули. Сани стали выезжать за ворота.

Илья вдруг озверел.

— Бога ты не боишься, боярин! Сердца в тебе нет человеческого! Волк ты, а не человек! Хуже волка — прелюбодей нечестивый! — неистово закричал он.

— А! Ты так! Стой, Степан! — грозно крикнул Кречет-Буйтуров, выскочил из саней и кинулся к холопу.

— Не подходи — убью! — прорычал тот и так грозно сверкнул глазами, что Степан Степанович круто повернул назад.

— Гей! Люди! Взять его! Бить его на конюшне, пока душа в нем держится! — с пеной у рта прохрипел он.

— Забей, забей до смерти! — Это лучше будет, окаянный! Волк! Блудник! — кричал Илья.

Несколько холопов кинулись на него. Через минуту он уже лежал связанным на снегу.

Марк Данилович, молча смотревший на происходившую перед ним сцену, не выдержал, когда несчастного холопа потащили к конюшне.

— Дядя! Бога ради, прости его! — сказал он.

— Нет, как можно! — запротестовал Степан Степанович.

— Ну, для меня... Сделай милость!

— Не мели пустяков! Его надо выпороть. Этакий озорной холопишка!

В добрых глазах Марка засветился огонек.

— Если ты его не простишь, то ты мне — не дядя, а я тебе — не племянник,— отчеканил Марк Данилович.

Дядя довольно свирепо посмотрел на него, потом погладил свою бороду, словно раздумывая, выгодно или невыгодно ссориться с племянником, крикнул холопам: «Отпустить!» — и, не глядя на Марка, быстро уселся в сани. За ним сел снова и племянник.

— Ну, трогай живее, что ли? — крикнул кучеру боярин так гневно, что тот с перепугу принялся нахлестывать лошадей.

Кони рванули. Сани круто повернули за ворота.

XI

ЦАРЬ ИВАН ГРОЗНЫЙ НА ПОРОГЕ СМЕРТИ

Яркое солнце не может проникнуть сквозь плотные занавесы окон. В комнате полутьма. Смутно рисуется большая, широкая и высокая кровать с резными золочеными ножками, с бочками из слоновой кости и черного дерева. Над кроватью полог темный, бархатный, с вышитыми золотом двуглавыми орлами. Тяжелые золотые кисти свесились с полога и висят недвижно, не качнутся — в комнате нет ни малейшего движения воздуха. За пологом еще темней.

На белом шелку подушки виднеется желтое лицо с впалыми закрытыми глазами. Жидкие, длинные усы окружают плотно сжатые тонкие губы, падая к подбородку, с которого спускается на грудь сильно тронутая сединой поредевшая борода. Косматые нависшие брови сдвинуты над крючковатым длинным носом. Теплое одеяло отброшено и не закрывает длинного тощего тела.

Неслышно приотворилась дверь. Трое мужчин вошли в комнату и приблизились к постели.

— Царь спит,— сказал один из них, тихонько приподняв полог.

— Пусть взглянет лекарь. Богдан! Посторонись-ка,— заметил другой.

Третий мужчина, иноземец, судя по его одежде, отстранил Богдана и наклонился над царем.

Через минуту он выпрямился.

— Ну, что, Якоб? — спросили бояре.

— Шшш..! — замахал тот и шепотом сказал ломаным языком: — плех...

— Надежи нет? — спросил первый, Богдан Яковлевич Бельский.

— Дышейт плех... Сил плех... День ри аль пять пожиль...— опять шепотом ответил доктор-англичанин, Роберт Якоби.

Бояре покачали головами.

Больной царь пошевельнулся.

— Борис! — слабо проговорил он.

— Я здесь, царь-государь,— ответил второй боярин, Борис Федорович Годунов, и сделал знак врачу уйти.

— Отдерни полог — тьма! Света хочу, тьма и в могиле будет,— сказал царь Иван Васильевич.

Борис Годунов исполнил приказ царя.

Грозный различил в полутьме недвижную фигуру Бельского.

— Кто это? Кто? — воскликнул Грозный, и в его голосе послышался страх.

— Это — Бельский.

— А! Богданушка. А я думал — тень... Чудиться теперь мне стало часто разное... Жизнь былая да люди разные проходят передо мною...

— Это, царь, наваждение от лукавого,— заметил Бельский.

— Сегодня мне снился мой Иванушка,— продолжал Грозный.— Звал он меня к себе... Умру я скоро... Скоро умру? А? Борис? Богдан? Что вы молчите? Где другие бояре? Почему вы одни здесь? Извести меня хотите? А? Придушить? Думаете, слаб, недужен... Нет! Я здоров опять! Вишь, я сел!

Царь, действительно, под действием внезапного возбуждения нашел силы приподняться.

— Помилуй, царь-батюшка! Смеем ли мы замыслить тебя извести? — робко пробормотал Богдан Яковлевич.

— И зачем ты толкуешь о смерти и болезни? Ты здрав, слава Богу, так чуть прихворнул было. Господь даст тебе еще многие лета,— промолвил Годунов.

— Да, да! Ты говоришь правду, Борисушка. Нет, нет, прости, я сгоряча сболтнул, будто вы извести меня хотите, оба вы — мои верные слуги... Я еще долго буду жить назло ворогам. Я такой крепкий, сильный. У меня много ворогов. У! Тьма! Везде они, везде! Проклятые!.. Борис! Богдан! Ко мне! Ко мне! — вдруг неистово закричал он.

— Что с тобой, государь? — кинулись те к царю.

Иоанн Васильевич судорожно ухватился за их руки. Лицо его было искажено, в глазах выражался ужас. Он трясся всем телом.

— Там! Там! — шептал он, смотря в темный угол опочивальни.

— Господь с тобой! Тут никого нет,— сказал Бельский.

— Шшш!.. Услышат... «Они» не вид... Увидели! Ты кто? Ты кто? Воротынский? А? Умру? Врешь! Не смей, холоп! Посох мой! Посох! Света!

Борис Годунов бросился к окну и почти сорвал занавес. Целый сноп солнечных лучей ворвался в опочивальню.

— Уф! — с облегчением вздохнул Грозный.— Ушли... Дайте ферязь.

— Ты хочешь встать, царь? Лекаря запрещали,— промолвил Богдан Яковлевич.

— Молчи, раб! Я хочу стать здоровым... Я здоров. Ферязь мне и посох!

Царь встал, но покачнулся и едва не упал. Бояре его поддержали. На него надели ферязь, дали посох, посадили в кресло на колесах.

— Я здоров, но еще слаб... Это ничего, это пройдет... Борис! Волхвы на какой день предсказали мне смерть *?

— Не помню, государь,— пробормотал Годунов.

— Не помнишь? Это хорошо, что не помнишь — холоп не должен заботиться о смерти своего владыки. Они мне сказали, что я умру восемнадцатого марта. Они солгали — их подговорили бояре, чтобы тешиться моим страхом. А я не боюсь. Не боюсь, не боюсь! — кричал он, с яростью ударяя острым посохом об пол.— Пусть только минет восемнадцатый день. Увезите меня отсюда!

Годунов и Бельский вывезли царя на кресле в смежную комнату. Там толпилось довольно много бояр, окольничих и иных дворцовых чинов.

Все поклонились до земли.

Царь окинул собравшихся суровым взглядом.

— Что собрались? Смерти моей ждете? Ан, с Божьей помощью, мне полегчало. Скоро совсем окрепну и тогда изведу крамолу на Русской земле. Везите!

— Куда прикажешь, государь?

---

* Говорят, что Грозный, заболев, призвал астрологов и спросил их, поправится он или умрет. Они предсказали ему смерть 18-го марта.

— Туда, где собраны мои сокровища. Намедни я обещал аглицкому немцу Горсею показать свои камни самоцветные, да хворь помешала. Теперь покажу. Везите меня и его пошлите ко мне.

В довольно обширную палату лились потоки солнечного света. Лучи упали на яхонты, изумруды, алмазы и дробились тысячами разноцветных искр. В этой палате было что посмотреть! Не говоря о множестве братин золотых и серебряных, таких же чаш, ковшей, кубков, с хитрой чеканкой и разных форм, то в виде какой-нибудь причудливой птицы, то в виде единорога, льва или какого-нибудь мифического зверя, блюд таких размеров и тяжести, что их с трудом могли поднять двое сильных людей, здесь находились драгоценные камни, редкие по величине и игре.

— Посмотри-ка,— говорил Грозный Горсею, британскому англичанину, стоявшему вместе с толмачом подле царя.— Посмотри-ка на этот камешек. Найди у кого такой! Грань-то какова, а игра, а цвет! Ишь, что кровь, и в искрах вся!

Грозный вертел перед собой рубин, величиной с крупный орех. Он поставил его под солнечный луч, и камень брызнул тысячью кровавых искр.

Горсей ахал и покачивал головой. На губах царя играла довольная улыбка, в тусклых серых глазах светился огонек. Странно было видеть такую улыбку на лице, на которое смерть, казалось, уже наложила свою печать.

И так царь брал камень за камнем и вертел дрожащими от слабости пальцами, подносил к глазам, любовался искрометным сверканием.

Уходящий из мира тешился мирскими игрушками.

Вдруг царь покачнулся. Алмаз, который он в это время держал в руке, выпал и покатился по полу, брызжа тысячью радужных искр.

— Душно! Жжет! — крикнул Грозный и схватился за ворот сорочки.

Страдальческое выражение сменило недавнюю улыбку, глаза потухли, на желтоватое лицо лег серый налет. Борис Годунов и Богдан Бельский поспешно отвезли царя обратно в опочивальню. Прибежали спальники, ближние бояре. Иоанна Васильевича раздели, уложили в постель. Холодный пот выступил на его лбу, тело извивалось в судорогах.

— Царь помирает! — пронеслось между боярами.

Пришел духовник, послали за царевичем Федором.

Но опасения были напрасны: Грозный еще не умирал. Это был только припадок.

— Жжет меня! Огонь внутри! Грехи жгут, грехи... Грешник я окаянный, отвергнутый Богом. О Боже! Сжалься Ты, сжалься надо мной, окаянным! Бояре добрые! Дети мои! Молитесь, да поможет мне Господь, да умилосердится надо мною! — говорил царь среди страданий.

Все находившиеся в опочивальне бояре и царевич Федор опустились на колени. Священник надел эпитрахиль, и через минуту в тихой комнате раздались слова молений «об исцелении царя недужного».

— Молитесь, жарче молитесь, дети! — говорил царь и сам вслух читал молитвы.

Постепенно судороги прекратились. Когда окончился молебен, Грозный тихо лежал на спине, смотря перед собою неподвижным взглядом.

Царский духовник шепнул что-то Бельскому. Тот кивнул головой и, неслышно ступая, тихо подошел к ложу Ивана Васильевича.

Грозный, казалось, не заметил его.

— Царь! — тихо промолвил Богдан Яковлевич.

Царь не шевельнулся.

— Царь! — повторил он громче.

Грозный вздрогнул и обернулся. На его лице выразилась непривычная нежность.

— Иванушка! Сын милый! Вот и ты, тебя я ждал.

— Царь! — в смущении пробормотал боярин.

Грозный в ужасе откинулся на подушку.

— Это не Иван! Кто ты? Кто? — крикнул он неистово.

— Я — Бельский, Богдан, слуга твой верный.

— Ах, это — ты, Богдашка! Я тебя не узнал, мне показалось... Стар становлюсь, глаза плоше стали... Послушай, где Ваня?

— Он умер... Что поделаешь! Божья воля.

— Умер? Да... Как же я его видел? — бормотал царь и вдруг сурово спросил: — Тебе что?

— Исцеленье царь от Господа приходит...

— Ну?

— Может, тебе бы полегчало, если б ты причастился Святых Тайн.

— Так! Стало быть, по-твоему, я помираю? Чего ты меня хоронишь, крамольник? Надоел я вам, боярам?

Руки царя сжались в кулаки, глаза злобно загорелись.

— Вон! Все вон! — прохрипел Грозный.

Бояре, толкаясь, бросились к дверям.

Еще не успели все выйти, как Борис Годунов доложил:

— Царь! Царевна Ирина Федоровна пожаловала проведать тебя. Прикажешь войти ей?

— Ириша пришла́? Зови, зови ее! — ласково сказал Иван Васильевич.

Царевна Ирина Федоровна, сестра Бориса Годунова, жена царевича Федора, была красивая молодая женщина. Годуновская порода сказывалась в ней в больших черных глазах, в высоком росте, в стройности и крепости телосложения. Она вошла в царскую опочивальню со слезами на глазах.

— Царь, батюшка мой! Что это ты разнедужился, родной? — с волнением проговорила она, опустившись на колени перед постелью свекра.

— По грехам моим Бог мне немочь послал.

— Легче ль тебе, родимый?

— Легче, легче, Ириша. Так было плохо малость недавно, а только теперь все прошло. Денька через три встану совсем.

— Дай Бог. А я уж так печалюсь, так печалюсь! Все Богу молюсь, чтоб тебе полегчало.

— Добрая ты моя.

Грозный взял ее руку.

— Батюшка! Руки-то у тебя, что огонь! — воскликнула Ирина.

— Это хворь кидает. Это ничего.

— Я скучала, тебя не видя. Сегодня думала — дай пойду навещу царя моего батюшку.

— Спасибо, спасибо тебе, родная!

Он все крепче сжимал ее руку.

Царевна помолчала. Царь пристально смотрел на нее. Тусклые глаза его оживились.

— Ну, что твой Федор?

— Федор Иоаннович здрав, слава Богу!

— Обидел Бог меня сыном,— тяжело вздохнув, промолвил Грозный.

— Он добрый и Бога любит.

— Был бы и недобр, да поумней, лучше б было!

Царевна смущенно молчала, а царь продолжал:

— Встань-ка, Иринушка!

Царевна поднялась с колен.

— Обними да поцелуй меня! — проговорил царь, но вдруг эта просьба сменилась страдальческим воплем: — Ко мне! Жжет! Душит!

Когда бояре вбежали, Грозный бился в сильнейшем припадке.

XII

У БОРИСА ФЕДОРОВИЧА

На другой день после приезда в Москву Степан Степанович и Марк Данилович поехали в объезд по боярам. Прежде всех они посетили Бориса Федоровича Годунова.

— Он, брат, штука! Ему надобно почет оказать,— объяснил племяннику Кречет-Буйтуров.

Время для посещений они выбрали обеденное, полагая, что в эту пору дня верней застанут хозяина дома. Бориса Федоровича, однако, они не застали.

— У государя он. Скоро, полагать надо, прибудет,— сказал им холоп.

Они решили подождать. В ожидании они рассматривали обстановку светлицы, в которой находились.

— Глянь, в поставцах добра-то, добра-то экая сила,— говорил племяннику Степан Степанович.

Но Марк на это не обратил внимание. В убранстве светлицы было много такого, чего не встречалось в других боярских домах. Конечно, здесь, как и везде, была хитро и пестро расписана печь, были лавки по стенам, покрытые дорогими полавошниками, дубовые столы и скамьи, но имелись и вещи, несомненно, заморской работы: точеные кресла из какого-то неизвестного северянам дерева, литое серебряное изображение трехъярусной галеры, золотая башенка тонкой работы; с потолка спускалась на серебряных цепях какая-то диковинная птица с распущенными крыльями, служившая люстрой.

— Выдумщик Борис Федорович,— заметил, улыбаясь, дядюшка, посмотрев на птицу. Его улыбка как будто говорила: «Парень — не дурак, а такими глупостями занимается!»

Что касается племянника, то он не думал, что это — глу-

пости, и сознавал, что ему придется увидеться с таким человеком, каких на Руси немного.

Ждать им пришлось недолго: не прошло получаса, как Годунов приехал.

— Уж ты прости нас, что мы этак приехали незваные. Сам знаю, что не в пору гость — хуже татарина, да уж очень хотелось мне показать тебе своего племянника,— сказал Степан Степанович, облобызавшись с Борисом Федоровичем.

— И не стыдно прощения просить? В кои-то веки заглянул... Это — племянник твой? Красавец молодец!

И Борис впился в лицо Марка своими черными проницательными глазами. В свою очередь, и молодой человек не спускал с него глаз. Перед ним стоял высокий плечистый стройный богатырь-мужчина во цвете лет — Годунову было в ту пору около тридцати — с несколько бледным, красивым лицом, выразительными глазами и умным высоким лбом.

— Моего брата, Данилы, сын... Чай, помнишь Данилу?

— Чуть помню. Видел раз как-то давно. Я еще тогда невелик был.

— Да уж с той поры, как его в полон забрали, много годов на второй десяток набежит. Вишь, Марк-то теперь какой, а тогда был младенцем махоньким.

— Что я раньше тебя не встречал, Марк Данилович?

— Меня на Руси не было.

— И я-то его не более седмицы, как впервые увидел,— заметил Степан Степанович и пояснил: — он в полону был с отцом.

— Вот как! — удивленно воскликнул Борис и опять окинул пытливым взглядом Марка.— Однако что ж я вас только разговорами кормлю. Пора за обед.

— Дома только что пообедали,— соврал дядя.

— И слушать не хочу! Пообедаете у меня,— сказал Годунов и хлопнул в ладоши.

Вбежал холоп.

— Снаряжайте-ка обед,— приказал Борис Федорович, потом обернулся к гостям: — Только не взыщите — обед у меня незатейливый.

«Незатейливый» обед оказался, однако, довольно обильным.

Во время обеда Степан Степанович несколько захмелел, и язык его очень развязался.

— Царь, сказывают, вельми разнедужился? — спросил он.

— Не так, чтобы очень...— уклончиво ответил хозяин.

— Толкуй! Знаем мы! Помрет царь — ты в великую честь попадешь. Еще б! Федор — шурин тебе.

— Пустое все это,— промолвил Борис Федорович и нахмурился.

— Нет, не пустое! Кому же и быть в чести, как не тебе? Да так и следует, потому что ведь ты — голова. Шуйские, Мстиславские, сам Бельский перед тобой — тьфу!

— Полно тебе!

— Нет, не полно, потому — правду говорю. И я за тебя, Борис Федорович, и в огонь, и в воду. Коли что, Шуйским, паршивцам, глотку перерву!

— Ты из каких же мест прибыл? — спросил Марка Годунов.

— Нет, ты постой...— хотел его перебить Кречет-Буйтуров.

— Я из Венеции,— поспешил ответить Марк, чтобы не дать возможности дяде заговорить.

— Знаю, знаю! Слышал о таком граде — на воде весь.

— Да,— сказал Марк Данилович, с удивлением взглянув на хозяина: он не ожидал встретить таких познаний; до сих пор, кому он на Руси ни говорил о Венеции, он встречал в ответе удивленный взгляд да вопросы:

«Где ж такой град есть? Чай, на краю света, в поганой земле?»

— Да, на воде,— повторил он и начал описывать город, свое детство.

Борис Федорович его внимательно слушал. Его взгляд был серьезен, и на лице его лежала глубокая дума.

— Ты — мастер говорить. И хвала тебе великая, что не забыл ты Руси-матушки и речи родной,— промолвил Годунов, когда молодой человек замолчал.

— А все-таки он обасурманился! — неожиданно вскричал Степан Степанович, полудремавший во время речи племянника.

— Как так?

— А так? Перво-наперво, не спит после обеда... Нешто это дело? Какой же он православный христианин, коли так? Об этом и в писании сказано...

— Ничего такого там нет,— сказал Борис.

— Есть, есть... Как сейчас помню, отец Матвей говорил. Вот только из какого места не помню. А вторая ересь его — бани не любит.

— Экий грех! Нехорошо, нехорошо! — покачал головой Годунов, а глаза его смеялись.

— Истопил баньку это я как надобно и пошел с ним. Дал ему веник в руки, а он что и делать с ним — не знает... Научил я его. Махнул он это себя разика два и бросил. Что ж? — спрашиваю. А он мне: — «Большая нужда, говорит, сечь себя самого!» Так ведь не попарился! Плеснул на себя водой разка два да и выпрыгнул из бани. И третья ересь есть...

— Ну?! И третья?

— Да... Пристал ко мне, почему я грамоте холопов своих не обучаю! Да я и сам неграмотен, говорю. Он и руками развел. «Может ли быть?» — говорит. А я ему говорю: Дурья ты голова! Да на что боярам грамота? На то попы есть да дьяки с подьячими. Поди в приказ — что хошь тебе настрочат. А смердам и подавно грамоты не надо: выучи его грамоте, так он и нос задерет и господина слушаться перестанет. Им грамота — каша березовая на конюшне... Правду я сказал али нет?

— Правду, правду,— поддакнул Борис Федорович и слегка усмехнулся, поймав удивленный взгляд Марка Даниловича.

— Ну, вестимо же, правду, всякий скажет. Вот, чай, натворил бы он дел, кабы отцовская вотчинка еще цела была!

— А куда ж делась вотчина? — быстро спросил Годунов.

— Как Данило пропал, так вотчину под государя взяли.

— Вернуть бы надо.

— Как вернешь? Особливо его отец у царя в опале был.

Степан Степанович зевнул во весь рот.

— Сон морит. Пойдем-ка, Марк, спать домой.

— Посиди, Степан Степанович.

— Нет моченьки, так спать охота. Поднимайся-ка, племяш.

Он встал. За ним поднялись и племянник с хозяином.

— Коли не хочешь посидеть, так Бог с тобой. За угощение убогое не осуди!

— Вот на! Наелся до отвала да осудить. Эх, Маркушка! И соснем же мы сейчас!

— Ты ведь, дядя, отсюда, кажись, хотел к Шуйским со мною ехать?

Дядя бросил на него свирепый взгляд.

— И откуда к тебе в голову взбрело этакое глупство! — вскричал он с досадой.— Чтоб я к Шуйским, к этим пар-

шивцам, поехал?! Ни в жисть! Ну, спасибо за хлеб, за соль, прощай, хозяин!

— Ты, Марк Данилович, нешто тоже спать хочешь? — попрощавшись со Степаном Степановичем, спросил Годунов.

— Нет. До сей поры не привык ко сну послеобеденному.

— Так чего ж ты-то уходишь? Посиди, потолкуем.

— Ведь и тебе отдохнуть надо, Борис Федорович.

— Успею еще. Коли не хочешь сидеть,— отправляйся-ка, Степан Степанович, без племянничка,— шутливо сказал старшему Кречет-Буйтурову Борис.

— Что ж! Мы и одни дорогу знаем, мимо своего дома не проедем. Ты, Марк, только не загащивайся долго.

— Как раз, как тебе проснуться, поспеет.

— Так ладно будет. А и сосну же я сейчас! Ух! Прощай, Борис Федорович!

XIII

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ ГЛАВЫ

Годунов проводил Степана Степановича до крыльца и вернулся в светлицу.

Взглянув на него, Марк Данилович подивился той перемене, какая совершилась с Борисом Федоровичем: на лице его не было и следа недавнего веселого и благодушного настроения. Оно было серьезно, почти угрюмо. Казалось, Годунов сразу постарел на несколько лет. Он заговорил, и его речь звучала желчно.

— Что, я чай, тебе после Венеции да стран заморских наша Русь лесом показалась? Да лес и есть, лес она дремучий, темный, и живут в нем нелюди...

— Меня тянуло на родину, Борис Федорович, и, какая ни есть она, люблю я ее.

— Кто ж ее не любит! Потому и сердце болит, что любишь. Кабы не любить! Скажи, положа руку на сердце, зачем вернулся ты сюда?

— Служить хочу земле родной.

— Биться против ляхов, крымцев?

— Зачем? Разве только и службы?

— Тьму разгонять хочешь?

— Это велел мне мой учитель.

— Эх, молодец, молодец! Не знаешь ты, за что берешься! — сказал Годунов и, встав со скамьи, в волнении заходил по комнате.— Слышал, что сейчас дядюшка твой говорил?

— Не все ведь, чай, так думают, как он.

— Нет, все, все! Ты видел, я ему поддакнул. А не поддакни я, знаешь, что вышло бы? Завтра бы вся Москва кричала, что боярин Борис Федорович Годунов в ересь впал. С волками жить, по-волчьи выть! Тяжелую долю ты себе избираешь!..

Марк пожал плечами.

— Что делать!

— Погубят «они» тебя... Умеешь ты говорить льстивые речи?

— Нет.

— Умеешь улыбаться, когда в душе у тебя гнев лютый?

— Нет.

— Умеешь ли другом прикидываться и сыпать клеветы черные?

— Нет, нет,— отвечал удивленный Марк, но не понимая, к чему клонит речь Годунов.

— Тогда тебе не сладить с ними, а они тебя обойдут. Здесь волк и лис зайцем глядят, ворог — другом милым. На себе все познал я. Думаешь, меня не травили? Травили и травят. Их зависть берет: Бориска у царя в милости, как же это так! Ну, и клевещут, и травят. А почему мне не быть в милости? Хуже я их? Я не уступлю им, не уступлю! Они меня травят, и я их буду травить. О! Я сумею. Рано ль, поздно ль, придавлю пятой змея шипучего. Я многого хочу, Марк Данилович, многое и могу.

Годунов волновался. На бледноватом лице его выступили красные пятна, черные глаза сверкали. Марк с удивлением смотрел на него.

Борис Федорович несколько раз молча прошелся по комнате, потом заговорил тише:

— Ты дивишься моим речам. Я впервые тебя вижу, и вдруг этакое... А знаешь, почему все это? Накипело на сердце, хочется душу отвести с новым человеком. Ты не похож на здешних — ты видел свет, потому и распознал и нашу тьму. Я света не видел, но чую, что вокруг меня тьма, и не меньше твоего эту тьму ненавижу. Знаешь, сдается мне, что мы с тобой друзьями станем.

— Рад быть другом тебе, Борис Федорович,— промолвил

Марк Данилович и сказал правду, этот красивый, умный боярин был ему очень симпатичен.

— Вот что: я устрою, что тебе царь вернет отцовскую вотчину. Служи тогда родной земле, как задумал. Через денек я тебя к царю введу... Он тебя пожалует, я уже сумею устроить.

Марк благодарил.

— Будет благодарствовать, поблагодаришь после, когда все устроится... Расскажи-ка мне теперь о странах заморских, о жизни тамошней. Чай, за обедом-то не все пересказал, найдется еще кое-что.

Степан Степанович уже давно очнулся от своего сна, когда Марк вернулся домой от Бориса Федоровича.

Дядя встретил его не очень ласково.

— Ты чего это языка за зубами держать не умеешь? Что тебя дернуло при Борисе Федоровиче сказать, что мы к Шуйским сбираемся? Голова тоже!.. Ты кафтана не скидывай — я сейчас соберусь, да и едем к Шуйским,— добавил он.

XIV

МЕЧТЫ И ДУМЫ, РАСЧЕТЫ И ПЛАНЫ

Комната была освещена одною свечою, вставленною в резной деревянный подсвечник. Нагар был большой, пламя то вспыхивало, то замирало, и лица двух сидевших у стола собеседников то ярко освещались, то скрывались в полутьме.

Один из собеседников был небольшого роста сутулый мужчина с редкой бороденкой, с морщинистым лицом, с маленькими хитрыми, беспрестанно мигающими глазами, обведенными красными воспаленными, лишенными ресниц веками; другой был высокий и плечистый, с самодовольно-глупым лицом. Первый был князь Василий Иванович Шуйский, ставший, много лет спустя, московским царем, низложенный впоследствии боярами и окончивший дни в польском плену, второй — был его родной брат, Дмитрий Иванович, тот самый, жена которого, дочь Малюты Скуратова, отравила, как говорят, юного знаменитого полководца князя Скопина-Шуйского.

Беседа велась тихо.

— Так царь, говоришь, плох?

— Плох, плох совсем... Я у лекаря выпытал: говорит, не сегодня-завтра помрет,— отвечал Василий Иванович.

— Так... Теперь Бориска * и Богдашка ** силу заберут.

— Да уж и забрали!

— Ну, пока-то...

— То-то и пока-то. Мы, Шуйские, вечно в дурнях сидим да глазами хлопаем. Все говорят, что Борис да Богдан от царя ни на шаг не отходят.

— А ну, и пускай. Помрет царь Иван, нешто они только всей думой будут заправлять? Али не слыхал, что в советники царевичу Федору назначены Юрьев да Мстиславский, да и наш дядя князь Иван Петрович... Чай, не больно-то дадут им верховодить!

— Слушать тошно такие глупые речи! Да Годунов с Бельским всех отошьют, дурень ты этакий! Дай только срок. Али забыл, что Борис будет царев шурин?

— Не забыл.

— То-то, не забыл. Он с Бельским, помяни мое слово, съест нас, Шуйских.

— Авось, подавится.

— Авось да небось — плохие, брат, кони!

— Гм... Да коли ничего не поделать.

— Как ничего не поделать? Разделить надо друзей-приятелей.

— Поди раздели, коли они друг за дружку горой! Скажи что про Бельского — Годунов немедля заступится, скажи про Бориса — Бельский сейчас на дыбы.

— Наперед, чем дело вершить, надо с умом собраться. Надобно полегоньку да помаленьку все обделать и сперва с одним покончить, а уж после и за другого приняться.

— Н-да! Легко сказать!

— Надо так устроить, чтобы заступаться им друг за дружку нельзя было... Вот хотя б пустить в народ молву что Бельский выделывает.

— А что же?

Глаза Василия Ивановича хитро блеснули и забегали.

— Царя он изводит зельем! — вымолвил он тише прежнего и наклоняясь к брату.

---

* Годунов.

** Бельский.

— Сдается мне, что это — вранье одно.

— А нам что? Пусть вранье, а только, если народ об этом узнает, Бельскому непоздоровится. Помрет царь Иван, скажем: царя Ивана извел, Федора тоже извести хочет, бояр погубить, а на царство посадить Бориску.

— Гм... Да... Народ забурлит.

— Дело, стало быть, я сказал?

— Дело, дело! И впрямь надо пустить молву. Только как бы половчей?

— Хитрость невелика — шепни одному-другому... Хотя бы Ляпуновым-рязанцам да Кикиным — живой рукой поднимут народ. Бельскому не сносить головы, а без него и Годунов не тот станет. Потом мы и до него доберемся.

— Умная ты голова, Васька! Мне б никогда такой штуки не надумать! — вскричал Дмитрий Иванович.

— Надо мозгами шевелить поболее, вот что, тогда чего не надумаешь,— ответил Василий Иванович и ухмыльнулся.

Дом боярина Бориса Федоровича Годунова тих и темен. Только в спальне самого хозяина мигает свеча, и сам он бодрствует. Ему жарко, и грудь тяжело дышит. Он распахнул сорочку на груди и ходит по спальне тяжелыми, неровными шагами.

Быть борьбе! — это он твердо знает. Кто победит? Врагов много, очень много... А он один! Да он и не хочет иметь помощников. Беды и счастье не хочет ни с кем делить. Думают, Богдан Бельский — его друг... Ему это только смешно! Если бы Бельский пал, это только развязало бы ему руки. Наружно, конечно, надо выказывать дружбу. Лицемерят все, лицемерит и он... Нет, нет! Не надо друзей таких, как Бельский! Неужели он, Борис Годунов, не осилит врагов! Осилит! Осилит!

Руки боярина сжимаются в кулаки, глаза сверкают. Страшную мощь чувствует он в себе.

А осилит, потом что?

И он даже жмурится от той картины, которая рисуется в его воображении.

— Царский венец видим на твоей голове! — вспоминаются ему слова астрологов.

Это пустяки — предсказанию нельзя верить... Но эти же волхвы предсказали смерть Грозному... Завтра восемнадцатое марта. Свершится ли предсказанное? Тогда исполнится и то, что ему предсказано. Стать царем — это что-то невозможное! Но если это будет, о! Он сумеет быть хорошим государем. Он знает это... Он знает, что все бояре, вместе взятые, не стоят его мизинца. Мелкие хитрецы — они ничтожны. Все, все!.. Разве еще Шуйский Василий. Тот умен, хитер. Это — могучий враг.

— Но и ему меня не осилить! — вслух произнес Борис Федорович и гордо закинул свою умную, красивую голову.

Марку Даниловичу не спалось. Он до сих пор еще не мог разобраться в впечатлениях протекшего дня. В его положении совершилась громадная перемена: еще вчера никому не известный «заморский выходец», сегодня он стал окольничим и вотчинником. Борис Федорович сдержал свое слово: представил его царю. Марк отчетливо помнит сцену этого представления «пред царя». Он помнит, что был как в тумане, когда его вели по дворцу через палаты, хитро расписанные красками, покрытые позолотою, и все ждал увидеть царя. Он знал, что царь болен, что его введут к нему в опочивальню, и, значит, государь явится ему не в полном своем царственном блеске, но все-таки он ждал увидеть что-то великое, невиданное. И вдруг ему указали на изможденного старика, с желтым лицом, с впалыми тусклыми глазами, и шепнули:

— Что ж ты! Бей челом, это же — царь!

И он ударил лбом об пол.

Но вот Грозный заговорил, глянул на него своими тусклыми, вдруг ожившими глазами, и куда делся желтолицый старик! — перед Марком был царь — это чувствовалось в каждом слове, в каждом движении.

Царь долго говорил с ним, вспоминал об его отце, о том времени, когда Грозный вместе с Курбским, Данилой Кречет-Буйтуровым и другими боярами ходил с войском брать Казань, о тягостях походных, о ратных подвигах...

— Тогда еще Настя * жива была... Много годов прошло

---

* Анастасия Романовна — первая любимейшая жена Грозного.

с той поры,— добавил царь, и выражение тихой грусти легло на его лицо.

Потом царь приказал рассказывать молодому Кречет-Буйтурову об его житье-бытье за морем и в середине рассказа вдруг насупился, поглядел исподлобья на Марка.

— Ты в ересь не впал?

— Нет, царь-государь, не впал,— ответил Марк Данилович, и сам слышал, что его голос дрожит, и мураши озноба бегут по спине: так подействовал на него взгляд «печального старца».

— Ну, говори, говори! — промолвил царь, расправляя брови.

Царь ли был в духе, понравился ли ему молодой Кречет-Буйтуров и его рассказ о «заморье», или так уж сумел устроить Борис Федорович, но Грозный не только не вспомнил, что Данило Кречет-Буйтуров был у него в опале, но даже пожаловал Марка Даниловича окольничим и даровал ему обратно отцовскую вотчину, о чем дьяку Щелкалову приказал немедля написать бумагу.

Степан Степанович, сведав о царской милости племяннику, поморщился.

— Гм... Кречет-Буйтуровы николи в окольничих * не бывали... Напрасно принял...— сказал он.

Узнав же о возвращении отцовской вотчины, дядюшка совсем стал хмурым.

— Бок о бок с моей... Крестьян у меня переманивать будешь,— проворчал он.

«Новая жизнь начинается только теперь,— думал Марк, ворочаясь с боку на бок на своей постели.— До сих пор я словно еще только собирался жить, теперь пойдет настоящая жизнь... Почему мне словно жутко? Дядя Карлос! Учитель! Свершу ли то, что ты велел мне свершить?»

Марк положительно не мог спать. Он встал с постели и прошелся по комнате. Его шаги гулко раздавались по тихому дому. Лампады светились перед образами тусклым, недвижным пламенем.

Жуткое чувство не прошло, а усилилось. Он оглянул комнату, и она показалась ему неприветливой и неуютной.

---

* Хотя чин окольничего был довольно высоким, но не имел чести и жаловался только людям не особенно родовитым. Люди хороших родов производились из низших дворцовых чинов в боярство, минуя окольничество.

— Словно темница,— подвернулось у него сравнение. И он вдруг почувствовал себя чужим в этом московском дядином доме, одиноким. Перед ним встала комната-келья Карлоса, с ее огромным столом, заваленным рукописями, со скудной обстановкой, и его потянуло туда, к учителю. Этот учитель казался ему более родным, чем дядя: родство духа было сильней родства крови.

— Мне бы радоваться — родная земля меня ласково приняла, а я тоскую... Почему?

— Потому что ты боишься борьбы,— ответил ему внутренний голос.

Ответ этот был так неожидан, что Марк вздрогнул: ему показалось, что это прозвучало не в его душе, а пришло извне. Казалось, это сказал Карлос. Марк даже невольно оглядел комнату. В ней никого не было, и все оставалось по-прежнему.

— Я не боюсь...

— Нет, боишься. Ты хотел служить родной земле и падаешь духом на первых же порах. Что испугало тебя? Тьма, царящая на Руси?

— Ах, не знаю, что со мной! Мне жутко...

— Укрепись духом! Враг силен, но не бойся его; свет всегда побеждает тьму. Служи свету!

— Я готов... Но я так одинок!

— Стыдись! Одинок только тот, кто никого не любит. У тебя горячее сердце; полюби...

— Кого любить?

— Всех, кто достоин любви. Люби всех несчастных, всех погибающих во зле или во тьме. Тогда у тебя будут сотни друзей.

— И все-таки я буду одинок. Меня будут любить, но мне не с кем будет поделиться своей думой заветной, своею радостью, своим горем. «Они» — все эти несчастные, погибавшие, все эти темные, бедные люди, которым явлю я свет, не поймут меня потому, что их свет будет слишком мал в сравнении с моим...

— Найди себе подругу, чистую душою и сердцем, любимую тобой и тебя любящую — она поймет тебя.

— Где найти такую?

— Ищи и найдешь. Да она существует ближе, чем ты думаешь.

— Кто, кто она? — почти вскричал Марк.— О, скажи!

И вдруг он вскочил как ужаленный. Волосы дыбом поднялись на его голове. Он спрашивал, отвечал... Кому? Кто был здесь?

Все было тихо, слышно было, как потрескивали лампады, где-то за печкой трещал сверчок.

Теперь эта тишина казалась боярину живой, он чувствовал, что словно какой-то незримый «некто» носился по комнате. Казалось, он слышал веяние его крыльев.

Между тем страх Марка прошел. Кто мог быть, если не Карлос, дорогой учитель?

«Разве расстояния разделяют людей? И вдали друг от друга мы все-таки будем вместе»,— вспомнились ему слова учителя.

— Он, он пришел наставить меня, подкрепить...— прошептал Марк.

Он перестал чувствовать себя одиноким, окончательно прошло и ощущение жуткости. Он прошелся по комнате и остановился у окна. Ночь была лунная. Вдали виднелся Кремль с его церквами, с кружевом стен, внизу вилась узкая улица, вся в темных и светлых пятнах от теней строений, от освещенных луною свободных пространств...

«Тишь и мир! — подумал он.— Всегда бы так было! — И тут же ответил себе: — Это была бы смерть: жизнь — движение, борьба, но не сон».

— Хорошо жить! — прошептал он.

— Хорошо жить! — откликнулось в его душе, и он почувствовал жажду жизни, деятельности, движения, борьбы. Ему казалось, что нет таких бед житейских, из которых он не вышел бы победителем, нет таких испытаний, перед которыми он упал бы духом.

«Кто же это будет моей подругой? Знаю я ее или еще надо узнать?» — подумал он.

И вдруг в его воображении пронеслось миловидное, тонкое, задумчивое личико с глубокими грустными глазами.

— Таня! Падчерица боярыни Доброй! — узнал Марк.

XV

НЕ ВСЯКАЯ ГРУСТЬ ГРУСТНЫМ КОНЧАЕТСЯ

Пока Степан Степанович жил у себя в усадьбе, его семья, во главе с ним самим, ежедневно ездила в церковь, не разбирая ни буден, ни праздников.

С его отъездом стало не то. На другой же день по его отбытии Анфиса Захаровна заявила дочери, что в церковь они не поедут.

— Не рука нам без самого-то... Как одним бабам...

— Ну, матушка, ничего! — просительно протянула Катя.

— Нет, нет! Да и что за праздник сегодня?

— А в воскресенье поедем?

— Там видно будет.

На том разговор и покончился, но боярышня почему-то была уверена, что в воскресенье непременно поедут, а стало быть — при этой мысли щеки ее румянились — она повидает «его», Сашу Турбинина, как привыкла она называть про себя молодого боярина.

В субботу она и спать легла с тою мыслью, что завтра едут в церковь. Поутру она проснулась раньше обыкновенного и тотчас же поднялась.

— Матушка! Я сбираться буду.

— Куда еще?

— А к обедне.

— Не поедем мы.

— Как же так?

— А так же.

— Да ведь сегодня день воскресный?

— Ну, что ж! Дома помолимся. Вернется отец, тогда будем ездить!

— Ах, матушка! Да как же это? Поедем, родная!

— А ну тебя! Сказано, не поедем.

Катя поникла головою: толстая Анфиса Захаровна умела быть упорной.

С боярышней творилось что-то странное. Того чувства, которое она испытывала, она сама никак не могла понять. Что за тоска такая, что за томление? Прежде ничего подобного не бывало. Ей нравилось встречать взгляд Александра Андреевича, такой ласковый, особенный какой-то, нравилось иногда бросить ему короткое словцо, слегка улыбнуться. Это занимало ее, это было отзвуком былых детских игр с Сашей. Они ведь почти вместе росли. Покойный отец Турбинина был очень дружен со Степаном Степановичем, часто приезжал к нему и брал с собою сына.

Катя-девочка пользовалась куда большей свободой, чем Катя-боярышня. Ей не надо было по целым дням сидеть в терему и прятаться от незнакомых гостей. Целыми днями она была на воздухе, и старый сад и прилегавшее к усадьбе

поле оглашались ее веселыми криками. Никто не препятствовал играть ей и Саше. И каких только игр они не придумывали! Катя была резвой девочкой и ни в чем не отставала от своего товарища. Это было хорошее время.

После все кругом изменилось. Отец Александра Андреевича что-то не поладил с Кречет-Буйтуровым, перестал ездить к нему, и целых пять лет Кате и Саше не пришлось свидеться. Встретились они только после смерти старого Турбинина, который на смертном одре помирился со Степаном Степановичем. Но это была уже не прежняя встреча: Катя превратилась в девицу, Саша — в парня. Ей едва позволили перекинуться с ним несколькими словами и прогнали в горницу: долго беседовать было б зазорно.

С этих пор и видеться приходилось только в церкви за обедней.

Теперь же и эти свидания прекратились. В первый же раз, как Кате не пришлось поехать в церковь, она почувствовала непонятную тяжесть на сердце. Все ей дома было не мило, и работа, за которую ее усадила Анфиса Захаровна, не спорилась. Почему-то ей беспрестанно вспоминался Саша. Начнет она думать о чем-нибудь таком, что никакого отношения к Саше не имеет, а в конце концов свернет на думу о нем. День тянулся вяло и скучно. А назавтра тоже, послезавтра опять. Только, как дело стало подходить ближе к воскресенью — у ней на сердце становилось легче. В ночь с субботы на воскресенье она спала плохо и во сне видела Александра Андреевича. Полученный поутру от матери отказ ехать в церковь показался ей тяжким ударом. Она чуть не заплакала. Анфиса Захаровна еще долго ворчала что-то, но Катя ее не слушала. Она отошла к окошку и села там. Раза два Фекла Федотовна, проходя, посмотрела на нее. Девушка и на старую няньку не обратила внимания.

— Что, дитятко, пригорюнилось? — спросила старуха.

— Так... Тоскуется что-то, Федотовна!

— Верно, оттого, что матушка к обедне не повезла?

— Вестимо, в четырех-то стенах, чай, надоело сидеть.

— Эх, девонька! Потерпи, что делать! На, выпей-ка сбитеньку.

— Не хочу я.

— Э! Полно, глупенькая! Нешто можно на мать родную серчать? Грех! Выпей-ка — сбитенек горячий...

Боярышня нехотя взяла от няньки кружку.

— Да я на матушку не сержусь. Чем виновата, что тоскуется? — проговорила Катя, хлебнула глоток-другой и отставила кружку.

— С чего это с тобой? Никогда прежде такого не бывало,— пробормотала Федотовна.

Слезы сдавили горло Кати. Она вдруг закрыла лицо руками и заплакала. Федотовна даже испугалась.

— Да что это, дитятко! Господь с тобой! Ну, полно, полно, перестань! Уж коли тебе так грустно, хочешь, боярыню попрошу, чтоб тебя в сад погулять пустила?

— Пожалуй,— пробормотала девушка.

Как раз подошла и Анфиса Захаровна.

— Чего это она ревет?

— Печалится, что к обедне не поехали.

— Глупости одни! Дурит девка от безделья.

— Ну, матушка-боярыня, ведь и вестимо ей скучно. Пустила б ты ее хоть в сад погулять.

— Какое же теперь гулянье в саду? Грязно в нем, и снег еще не весь сошел...

— Погодка уж больно хороша.

— Да хочет, пусть идет. Только телогрею беличью пусть наденет... Слышь, Катерина? Да и на голову платок потеплей надень!

Сад боярина Кречет-Буйтурова был, без сомненья, остатком того леса, который некогда рос вокруг Москвы. Великаны-клены и двухобхватные ели и сосны, наверно, не были уже молодыми деревьями и в ту пору, когда Тохтамыш делал набег на Москву. В летнюю пору этот полулес-полусад был чудно хорош, но в это время года, в марте месяце, гулять в саду не могло быть очень приятным. Обнаженные деревья казались сумрачными, и с ветвей их, что слезы, скатывалась капля за каплей; дорожки были не все расчищены, и во многих местах лежали сугробы снега, а там, где прошла метла и лопата, нога вязла в жидкой грязи.

Катерина Степановна вышла в сад только потому, что дома было уже чересчур тоскливо. Она выбрала дорожку посуше, тянувшуюся вдоль изгороди, и пошла по ней печальная и задумчивая.

Быть может, первый раз в жизни она почувствовала себя несчастной и посетовала на грустную девичью долю! Не зная, чем заглушить тоску, боярышня запела простую печальную песенку. Сперва вполголоса, она постепенно пела все громче и громче, и скоро ее звонкий голосок разнесся

по всему саду. Боярышне казалось, что песня сложена про нее саму. Она пела про девицу, тоскующую по милому дружку, и образ «милого дружка» мелькал перед ней в виде Саши Турбинина.

«Не лебедушку-то в клетку посадили,— говорилось в песне.— В клетку крепкую с затворами-замками — посадили девицу младую в тесну горенку, во терем стрельчатый. Ох, ты, терем-теремок ли высокий, с резьбою красной, хитросделанной! Что темница ты для девицы, что темница для красавицы. Али нет у бедной думушек о молодчике-красавчике, али нет у красной сердца во груди в высокой девичьей? День и ночь оно колотится, день-деньской тоскует девица, а настанет ночка темная, еще пуще затоскуется, слезы горькие из глаз сыпятся на подушку на пуховую. Как заломит она рученьки, ручки, руки свои белые, как застонет горько-жалобно: — Ай, да где же ты, соколик мой, ай, да где же ты, любимый молодец! Аль не знаешь ты, не ведаешь про тоску мою, про долю грустную? Аль тебе я опостылела, приглянулася иная молодица? Как настанет утро, утро ясное, отворю окошечко во терем, крикну ветру перелетному, крикну я голубке сизенькой, быстрокрылой крикну ласточке: — Ой ли, ветер, ветер перелетный! Побеги-лети до друга милого, побеги-лети, скажи ему, что с тоски моя изныла душенька! Ой ли, ты, касатка с голубкою! Понеситеся на крылышках в ту сторонку, в ту сторонушку, где лютый живет дружочек мой! Проворкуйте, прощебечите ему, что роняю слезы горькие, жду да жду, когда же милый мой порастворит двери горенки, за белые руки возьмет меня, поцелует жарко в уста алые, поведет к моей родимой матушке и к родимому батюшке, скажет им с поклоном низеньким: — «Вы снимайте-ка иконы с красного угла, благословите-ка святым благословеньем родительским вашу дочку на житье со мной: полюбилась мне она, приглянулася, за себя хочу ее в жены взять»...

— Ай, Катерина Степановна! Да как же ты поешь ладно! — раздался возглас.

Возглас слышался откуда-то сверху. Боярышня остановилась как вкопанная и искала глазами того, кто крикнул. Неподалеку от себя она увидела выставившуюся из-за садовой изгороди голову Александра Андреевича.

— А ведь я, боярышня, к тебе перепрыгну! — промолвил Турбинин, улыбающийся, красный от волнения, и через минуту он уже стоял перед Катей.

XVI

ЧЕМ ЗАМЕНИЛАСЬ ТОСКА

В первую минуту боярышня так была поражена неожиданным появлением Турбинина, что не могла вымолвить ни слова. Щеки ее пылали, кровь стучала в висках.

— Александр Андреевич! Вот не чаяла видеть,— наконец нашла она силы сказать.

— А нешто чаял я здесь очутиться? И в мыслях не держал. Случай такой выдался... Погуляем, Катя... то бишь, Катерина Степановна... Ведь как это вышло,— продолжал молодой боярин, идя рядом с Катей по дорожке.— Приезжаю я в церковь день — нет Кречет-Буйтуровых, приезжаю и другой, и третий — все нет и нет. Что за притча! Ну, думаю, в воскресенье-то, наверное, прибудут молиться. Ан, и в воскресенье нет. Я и подумать что не знал. Дай-ка съезжу в усадебку к ним, узнаю, что там такое стряслось. Подъезжаю и слышу: поет в саду девица, и голос показался мне похожим на твой. Привстал на стременах, заглянул за забор — и глаз оторвать не хочется: вижу, гуляет моя Катю... Катерина Степановна и песенку распевает... Что грустную песню такую, боярышня, петь надумала? Али тосковалось?

И Александр Андреевич так и впился в Катю взглядом. А она опустила глаза. Ей как будто страшно было встретиться с его взглядом.

— Да, тосковалось,— тихо ответила она.

Александр Андреевич словно обрадовался.

— Тосковала? А с чего ж это тоска напала?

Катя молчала.

— Боярышня!

— Ась?

— Серчаешь?

— Я? За что?

— За опросы мои.

— Чего же серчать?

— А что же не отвечаешь? Я вот тоже тосковал и, коли хочешь, скажу почему.

— Скажи!

— С того тосковал, что тебя не видел,— вымолвил Турбинин и сам подивился и испугался своей смелости.

— Пустяки говоришь ты, Александр Андреевич,— смущенно пробормотала Екатерина Степановна.

— Какие же пустяки, коли я извелся весь! — воскликнул боярин.— Знаешь, боярышня... э! Полно! Назову так, как зазывал когда-то!.. Катя, коли я дня тебя не вижу, сам не свой становлюсь. Что таиться, заполонила ты мое сердце, точно схватила его руками, вот этими самыми белыми, да и держишь, не пускаешь. Дороже ты мне матери родной теперь стала. Люба ты мне, ласковая моя, голубка, родная!

Кате хотелось и плакать, и смеяться от радости в одно и то же время. Сердце так билось, словно хотело выпрыгнуть из груди.

— А тебе я не люб нисколечко? А? — прерывистым голосом спросил Александр Андреевич и наклонился так близко к боярышне, что у той дух захватывало.

— Ответь же, ответь же, Богом молю!

Катя вдруг подняла глаза, посмотрела на боярина долгим светлым взглядом и ответила:

— Люб!

В то же мгновение руки Турбинина обвили ее, и один, другой, третий, без счету, поцелуй обжег ей щеки.

— Милый! Родной! Пусти! — вырывалась девушка и вырвалась, и побежала из сада, как испуганная козочка. А он бежал за нею и твердил:

— Любишь? Любишь? Приди сюда завтра... Голубка! Ангел!

— Приду! Приду, хороший мой! Только теперь пусти, пусти! — лепетала Катя.

Она не помнила, как добежала до крыльца, миновала сени, поднялась в горницы.

— Чтой-то ты чуть с ног меня не сбила! Экая оглашенная! — воскликнула Анфиса Захаровна, столкнувшись с дочерью в дверях.— Смотри, и телогрея на сторону съехала... Чего ты бежала, словно Мамай за тобой гнался?

— Так... Я... Я испугалась очень...— лепетала Катя.

— Чего еще?

— Мне показался там... Такой страшный...— лгала боярышня.

— Где? Кто? — уже иным тоном спросила боярыня.— Не у конюшен ли?

— Да, да!

— Так это домовой! Ишь, среди дня нечист выползает! Кто думать мог!.. Вечор его тоже видели... А все от того, что

козла нет. Говорила ведь Степану Степановичу, а он все после да после. Вот тебе и дождались! Среди дня прохода крещеным нет! — вскипятилась Анфиса Захаровна и пошла наводить справки, не видал ли еще кто-нибудь домового.

А Катя, скинув телогрею, опустилась на скамью и словно замерла, вся полная неведомого сладко-томительного чувства. Былой тоски — как не бывало.

XVII

LE ROI EST MORT VIVE LE ROI! *

— Завтра казнь волхвам. Слышишь, Борис?

— Слышу, государь.

— Поди и объяви им. Я сегодня бодрее, чем вчера. Лекарь искупаться велел мне в теплой воде. Приготовлено?

— Сейчас будет готово, государь. Смешивают воду, чтоб была какая надобна.

— Скорее! Сегодня мне не терпится в постели лежать. А ты, Борис, чего стоишь? Иди, как приказывал. Потом приди сказать, какую волхвы рожу скорчат, как выслушают весть.

Годунов удалился. Почти тотчас же вслед за его уходом поспела и ванна. «Дохтур-немчин» попробовал рукой температуру воды и проговорил:

— Мошно.

С Грозного бояре сняли белье и бережно перенесли с постели в ванну. Царь нежился в теплой воде, брызгал с веселым смехом в придворных, шутил. По-видимому, его здоровье значительно улучшилось. С этим и поздравили царя бояре, но стоявший тут же «дохтур» скептически улыбался. Около трех часов пробыл царь в ванной, и, когда его вынули и одели, он сказал:

— Мне теперь хоть бы в пляс пуститься и то нипочем!

— Косударь! Не надо много каварить... Спокой нушно,— сказал «дохтур».

— А ну тя, басурманин! Так я тебя и послушаюсь. Идика ты вон и ненадобен ты мне вовсе.

---

* Король умер. Да здравствует король!

— Твой воля,— пожав плечами, ответил доктор и, отвесив низкий поклон, вышел из комнаты. За дверью он встретился с Годуновым.

— Слышь, дохтур! — шепотом сказал ему тот: — Царю сегодня ведь, кажись, куда лучше?

— Ой, нет, нет! Никакой надежды. Сердце совсем плох... Маленький сердиться — и шабаш.

— Да ну?! Может ли быть?

— Тай Бог, чтоб до завтра прошил, вот что...

— Та-ак,— протянул Борис и, вместо того, чтобы войти в царскую опочивальню, повернул обратно и прошел к царевичу.

— Борисушка! — обрадовался тот.— Что скажешь?

— Ты бы, царевич, пошел к батюшке своему.

— А разве нужно? Больше недужится?

— Нет, ему лучше много. А так, проведать.

— Ладно, ладно! Пойдем.

— Нет, ты уж, будь добр, один иди, а я после приду.

— Хорошо, Борисушка, хорошо!

Когда царевич пришел к отцу, тот, сидя на постели, собирался играть с Бельским в шахматы.

— А, Федор! Проведать пришел? Чай, думал, что я уж ноги протягиваю?

Так неласково встретил сына Иоанн.

— Ну, Богдан, расставляй,— добавил он Бельскому.— У меня белые, мой ход. Эх, как б поладнее начать!

Грозный довольно искусно играл в шахматы, и терять партию ему приходилось очень редко. В последнем обстоятельстве, впрочем, играло немалую роль и то, что обыграть царя часто бывало равносильно добровольному обречению себя на смерть, а таких смельчаков, конечно, не находилось. Однако было опасно и слишком явно уступать Иоанну пальму первенства в игре. Поэтому, чтобы играть с ним, нужно было соблюдать величайшую осторожность. Бельский был мастер на это. Почему-то всегда выходило так, что, несмотря на прекрасную атаку с его стороны, победителем оставался царь.

На этот раз Иоанн начал свою партию очень успешно и хохотал над досадой, деланной, конечно,— Бельского.

В самый разгар игры пришел Годунов.

— А-а! Борис! Ну, что волхвы-то, чай, повесили носы? — спросил Грозный.

Борис Федорович замялся. Он как будто смущенно огля-

дел толпу бояр, молча стоявших у постели царя, и, смотря в поле, пробурчал:

— Н-да... Малость...

— Бориска! Ты чего бурчишь? Отвечай толком! — прикрикнул на него царь.

Годунов тяжело вздохнул, потом, наклонясь к Иоанну и смотря на него в упор, быстро вымолвил:

— Они сказали: день еще не прошел.

— Так, значит, я...

— Ты должен сегодня умереть.

Кровь ударила в лицо Иоанну.

— Как смеешь! — вскричал он, замахиваясь на Бориса, и вдруг захрипел и упал навзничь.

— Царь кончается! — воскликнул Годунов.— Зовите владыку и попов!

Духовенство почему-то было уже во дворце наготове.

Над бившимся в предсмертных судорогах царем начали совершать, согласно выраженной им при жизни воле, обряд пострижения в иночество. Обряд этот был окончен уже над мертвым. В монашестве его назвали Ионою. Царь помер! эта весть с быстротой молнии разнеслась по Москве.

Народ заволновался, зашумел, заплакал.

Любил ли народ Иоанна?

Да, любил: было «нечто», связывавшее царя с народом: это — ненависть к боярам. Смерть Грозного являлась тяжким ударом. Народу как-то не верилось, что не стало «царя Ивана Васильевича, царя Грозного».

— Извели его, батюшку! — мелькнула мысль у темных людей.

— Извели, извели! — шептали те, кому нужно было.- Извели! Бельский извел!

Глухое брожение начиналось в народе.

Едва прошел слух о смерти Иоанна, во дворец со всех концов Москвы потянулись бояре, окольничьи и других чинов служилые люди. Степан Степанович, имевший какой-то маленький придворный чин, и Марк Данилович также поспешили во дворец.

Марк видел царя Иоанна всего один раз, слышал о нем ужасные вести, но, когда взглянул на длинное, исхудалое, прикрытое монашеской рясой тело царственного покойника, ему стало грустно.

— Упокой, Боже, душу раба Твоего, отпусти ему вольные и невольные прегрешения! — с глубоким чувством прошептал он, молясь над трупом Иоанна.

В палату то и дело входили бояре, окидывали покойника невнимательным взглядом, преклонялись перед телом почившего и спешили удалиться на поклон к живому царю.

Молодой Кречет-Буйтуров не спешил. В его развитом, пытливом уме мелькали вопросы, и он тщетно пытался разрешить их. Чья жизнь только что окончилась? Жизнь ли великого мужа или жизнь безумца? Почему в почившем царе великое добро так было смешано с великим злом? Быть может, сильный ум видел вдали цель, незримую другим, и стремился к ней, и отсюда все его ошибки: разве знает ворон, что видит царственный орел с высоты своего подоблачного полета?

— Ну, будет здесь стоять! Пойдем, присягнем да поклонимся царю новому,— шепнул племяннику Степан Степанович.

Они вышли.

Новый царь Федор сидел в кресле, согнув спину, наклонив голову. Бояре присягали, подходили, кланялись ему, поздравляли со вступлением на царство — лицо Федора Иоанновича оставалось безучастным. Голова его заметно тряслась. Юный царь имел болезненно-старческий вид, его белокурую жидкую бороду хотелось принять за седую.

«Не в отца выдался сын! Кажись, не сможет он сделать ни зла, ни добра!» — подумал Марк, кланяясь царю после присяги.

Подле кресла царя стояли несколько бояр. Это были назначенные Иоанном руководители сыну: Бельский, Борис Годунов, Мстиславский, Юрьев, Иван Шуйский.

На этот «пяток» поглядывали чаще, чем на самого царя: все знали, что не от Федора, а от этих бояр будут сыпаться и опалы и милости. Надменнее всех из них казался Бельский: в нем было трудно признать недавнего покорного раба царя Иоанна. Борис Федорович Годунов скромно держался в стороне.

— Смотри-ка,— показал Степан Степанович племяннику на суетившегося маленького роста боярина.

Марк вгляделся и узнал князя Василия Ивановича Шуйского. Василий Иванович переходил от одного боярина к другому, перешептывался, покачивал головой.

— Чего это он?

— Известно, лисит лис,— ответил Степан Степанович.

Чья-то рука легла на плечо старого Кречет-Буйтурова. Он обернулся.

— Ба! Дмитрий Иваныч! Ты как здесь?

Кириак-Лупп самодовольно улыбнулся.

— Э! Прискакал! Теперь, брат, мы иначе заживем.

— Что так?

— У Ивана-то царя я в опале был, ну, а у Федора иная статья: я и с Бельским в родстве, и Годунову не чужак.

— Вот как! Я не знал.

— Да. Пойду к царю на поклон.

— Слышь, Дмитрий Иваныч, заглядывай-ка ко мне в вотчину-то.

— Загляну, загляну. Дельце у меня есть для тебя.

— Какое?

— Будет время, покалякаем. Торопиться нечего. Прощай пока!

И Кириак-Лупп направился к креслу царя.

— Ишь, выйдет теперь в люди, черт! — завистливо проворчал Степан Степанович, смотря вслед Дмитрию Ивановичу, и подумал: «Напрасно я тогда хвастался перед ним новым тегиляем».

XVIII

МЯТЕЖ

Вьется, мечется, теснится в узких улицах, разливается по площадям, шумит и гудит людской поток. Всюду возбужденные красные лица. Руки сжимаются в кулаки и потрясают в воздухе топором, вилами, рогатиной, реже ручницей *, саблей. Страшна эта толпа, как зверь, сорвавшийся с цепи. Для нее нет преград — она все разрушит, разметет и потопчет в своем неудержимом стремлении. А стремится она к Кремлю. Сотня стрельцов преградила было ей дорогу и была тотчас же смята, уничтожена: великан раздавил пигмея, и нет ему дела, что этот пигмей — его брат родной. Страсть затемняет рассудок; толпа-великан, толпа-зверь жаждет крови.

— За царя мы во! Себя не пожалеем! — орет какой-нибудь лохматый мужичонка, потрясая в воздухе дубиной.

Он весь полон воинственного жара и, действительно, не

---

* Ручница — ружье.

пожалеет себя, как сейчас не пожалел он стрельца, быть может, своего кума, раздробив ему с размаху череп. Да, такой мужичонка страшен в своей ярости. А здесь было около двух десятков тысяч таких «мужичонков»! Идут, кипят живые людские волны. Но вот скала, перед которой бессилен их напор. Эта скала — Кремлевские стены и массивные ворота.

— Царя нам! Царя! К царю-батюшке нам надобно! — гудят крики, и на Фроловские ворота сыпятся сотни могучих ударов.

— Э! Братцы! Чего смотреть! Нешто не видали, что в Китай-городе снаряд * даром стоит? Взять его да и разбить ворота! — говорит толпе какой-то парень, по-видимому из детей боярских.

— А то и правда! Чего мы! Гайда, ребята! — слышится в толпе.

Тяжелы чугунные пушки, да нужды нет — силы не занимать стать: молодые парни — что твои кони, жилистые руки покрепче всяких оглобель и постромок. Мигом пушки очутились против Фроловских ворот. Добыто и зелье **, и ядра.

— Палить, что ль?

Но медлит народ, нападает раздумье. Легко было пушки притащить, да нелегко метнуть чугуном в Кремль родимый.

А в Кремле с немногими стрельцами заперлись бояре и царь. Тут и Борис Годунов, и Шуйские, и Мстиславский, и иные. Борис Федорович спокоен, как всегда, только чуть приметные огоньки мелькают порой в его глазах. Князь Дмитрий Шуйский самодовольно улыбается, князь Иван Шуйский угрюмо поглаживает свою бороду, а князь Василий Иванович так и юлит: то к одному, то к другому подбежит, спрашивает:

— С чего бы это народу мятежничать?

А сам думает: «Молодцы Кикины да Ляпуновы! Ловко состряпали! Попляшут Бориска с Богдашкой!»

Богдан Бельский бледен как мертвец: донесся слух, что народ за ним пришел, его головы ищет. Он старается держаться поближе к царю: бояр-сотоварищей он боится теперь немного меньше, чем мятежного народа.

Царь Федор бесстрастно спокоен, всегдашняя улыбка не покидает его бледных губ.

---

* Снаряд — пушка.

** Зелье — порох.

Бояре совещаются, что предпринять.

А шум народный растет и растет...

— Бояре! — кричит вбежавший стрелец,— они снаряд уставили против Фроловских ворот. Разбить их хотят.

Бояре всполошились.

— Что делать?

— Приказать им разойтись и ничего больше,— пролепетал Бельский.

На него только покосились. Несчастный боярин тяжело вздохнул и потупился.

Борис Федорович наклонился к царю и что-то шепнул.

— Так-так, Борисушка. Делай как знаешь,— промолвил Федор.

Годунов поднялся.

— Царь приказывает,— все бояре встали,— послать опросить народ, что ему надобно.

— Кого послать? — спросили сразу несколько голосов.

— Мстиславского! Юрьева! Щелкаловых! — выкрикивали имена.

— Как скажешь, государь? — спросил Борис Федорович.

— Их... Пусть они идут...— пробормотал царь.

Ему, казалось, лень было говорить.

Мстиславский, Юрьев и дьяки Андрей и Василий Щелкаловы поклонились царю и вышли.

Между тем народу надоело ждать.

— Вали, что ли, ребята! Чего ждать-то? Пальнем,— промолвил тот же парень, который надоумил народ притащить снаряд, и с этими словами он взял банник.

— Постой! Недоброе ты зачинаешь,— проговорил кто-то за его спиной.

Парень запальчиво обернулся.

Парня остановил не кто иной, как Марк Данилович. Он спокойно сидел дома, когда услышал необычный шум в городе, набат. Он выскочил на улицу, вмешался в толпу и был вынесен людской толпой к Фроловским воротам.

— Что приключилось? — спрашивал он по пути.

— А, вишь, Бельский боярин извел царя Ивана, а теперь норовит и Федора Иоанновича извести, а на стол царев посадить Годунова Бориса Федоровича. Вот мы и хотим до царя дойти, порассказать ему все, батюшке, и со злодеем Бельским расправу учинить.

— Вот оно что! Да ведь это — вранье! Быть того не может.

— Толкуй, вранье! От людей умней тебя слыхали, что все это — правда истинная! — и говоривший с неудовольствием отвернулся от Кречет-Буйтурова.

Увидев «снаряд», направленный на Кремлевские ворота, молодой боярин понял, что дело серьезнее, чем он думал. Он возмущался легковерием народа, однако увещать толпу было и не безопасно, и бесполезно, и он оставался простым зрителем до тех пор, пока не начали заряжать пушку. Тут он не выдержал.

— Ты что за указчик? — повторил парень.— Много вас тут таких. Проваливай!

— Верно, верно, Петр Тихоныч! Не слушай его, начиняй пушку,— сказали несколько человек.

Марк Данилович понял, что у парня здесь порядочно единомышленников-знакомцев. Несмотря на это, уступать Кречет-Буйтуров не подумал: не помешать стрелять в Кремль ему казалось чем-то вроде измены.

— Не след, не след, молодец,— решительно проговорил Кречет-Буйтуров и взялся за конец банника.

— Сказано, ты мне — не указчик! Пусти!

— Не пущу.

— Пусти лучше! — с угрозой промолвил Петр Тихонович.

Молодой боярин молчал, но не выпускал банника. Противник хотел взять силой, рванул в свою сторону, но бесполезно, и озлился пуще прежнего.

— А! Ты так! — вскричал он.— Так на же, получи!

И он нанес Кречет-Буйтурову увесистую оплеуху. Голубые глаза Марка Даниловича загорелись недобрым огнем. Он размахнулся в свою очередь, и Петр Тихонович шмякнулся на землю, выпустив из рук банник.

— Вали на него, ребята! Чего он тут дерется! — закричали приятели упавшего и плотной толпой надвинулись на боярина. Поднялся также и Петр Тихонович и присоединился к нападавшим.

Марк Данилович понимал, что его жизни грозит смертельная опасность. Он был один среди многолюдной, возбужденной и враждебно настроенной против него толпы. Но избежать опасности не было возможности, оставалось только защищаться. И он защищался как лев. В натуре даже самого лучшего человека есть зверские инстинкты, они дремлют до поры, до времени, но наступит момент — и они проявятся, и сам обладатель их удивится, какой зверь сидел в нем. Молодой боярин хотел только защищаться, но, увидав кровь на лицах противников после своих нескольких удачных ударов

и, в свою очередь, испытав боль от побоев, он почувствовал, что со дна души его поднимается что-то дикое, страшное и могучее, что это «что-то» охватывает все его существо, заставляет быстрее подниматься руки и с удвоенною силою опускаться на противников, кровавою дымкой заволакивает ему зрение и вызывает в груди мучительную, непреодолимую жажду крови. Мало-помалу, он перестал различать лица своих врагов. Какая-то темная кричащая масса лезла на него, и он с злым звериным рычаньем бил, отталкивал эту массу.

У Марка не было оружия. У противников оно было, но они, имея дело с безоружным, пустили прежде всего в ход не оружие, а кулаки. По мере же того, как драка становилась более ожесточенной и все более и более накоплялось переломленных могучим кулаком боярина челюстей и ребер, руки бойцов начали все чаще и чаще, словно магнитом, притягиваться к рукоятям ножей и топоров. У кое-кого уже сверкнуло в руке еще безвредное для Марка лезвие ножа.

Очевидно, начиналась развязка драмы.

— Ах, вы, бесстыжие! Сотня на одного нападает. Ишь, ножи еще вытаскивают! Каины! Держись, держись, молодец! Я тебе подсоблю!

И пара дюжих кулаков замелькала в воздухе рядом с кулаками Марка и скоро дала себя знать головам его противников.

Этот возглас заставил Марка Даниловича несколько опомниться. Туман, застилавший ему зрение, развеялся. Он увидел бьющегося бок о бок с ним плечистого молодого человека, целый круг искаженных злобой, частью окровавленных физиономий, за этим кругом плотную толпу не то его противников, не то простых любопытных, а дальше необозримую, пеструю массу народа. Что-то похожее на страх шевельнулось в душе молодого боярина.

«Смерть сейчас!» — мелькнуло у него в мозгу. Но он усилием воли подавил робкое чувство и продолжал борьбу, если не с прежнею горячностью, то все же с неменьшею удачей. Его неожиданный сотоварищ, работая кулаками, не переставал говорить. Он взывал к справедливости окружающего место побоища люда, говорил, что нигде не водится, чтобы на одного да сто нападало, что так даже и басурманы не делают, не то что христиане, и много еще в этом роде.

Мало-помалу в толпе началось движение, и послышались возгласы: «Точно что... правду говорит...»

А сотоварищ Марка все продолжал говорить и вдруг прервал речь восклицанием:

— А ну ж, христиане православные! Выручите!

Эти слова возымели удивительное действие. Толпа колыхнулась, притихла и вдруг разом несколько десятков человек двинулись на выручку.

Марк Данилович облегченно вздохнул: он понял, что спасен.

Завязалась свалка, но уже не одного с десятерыми, а многих со многими же. Эта драка напоминала битву; а тот, из-за кого весь сыр-бор загорелся, теперь не возбуждал ничьего внимания и спокойно обтирал свое разгоряченное лицо.

Дралась, быть может, всего какая-нибудь сотня человек — ничто в сравнении с двадцатитысячной толпой. Поэтому, когда из груди этой многотысячной толпы вырвался крик: «Бельского!» — побоище моментально прекратилось, недавние бойцы обернулись к Кремлю узнать, в чем дело.

На стенах стояли бояре Юрьев, Мстиславский с дьяками Щелкаловыми.

Юрьев задал вопрос и получил ответ:

— Бельского!

— Что же вам надо от него? — спросил Мстиславский.

— Выдать нам изменника! Головы его! Бельского! Бельского! — гремел ответ, от которого дрожали кремлевские стены.

— Бельского! — донеслось во дворец.

Глаза всех бояр, заседавших во дворце, моментально уставились на несчастного боярина. Он побледнел еще больше, съежился и вдруг, словно сорвался, бросился бежать, метнулся в одну сторону, в другую, кинулся в царскую спальню и забрался под кровать.

А из толпы неслись крики:

— Царя Ивана уморил! Злоумыслит извести царя Федора Ивановича!

Когда посланные вернулись, бояре уже хорошо знали, в чем дело. Никто из них не верил во взводимое на Бельского обвинение, но... но они помнили его надменность, помнили, что он был любимцем Грозного, знали, что он хочет верховодить в думе, а потому... нашли нужным судить его. Однако Борису Годунову, которого считали другом Бельского, этот суд, как думали, должен прийтись не по душе, но он не протестовал, и судбище сейчас же открылось. Несчастного боярина вытащили из-под кровати и привели. Он дрожал как осиновый лист, был жалок в своем страхе. Начался допрос, весь исполненный злобною мелочностью, злорадною возможностью безнаказанно жалить. Один Борис Федорович молчал. Обвиняемый кидал на него умоляющий взгляд, но лицо его друга было холодно и непроницаемо.

— Что же? Выдать его народу? — был выдвинут роковой вопрос.

Гробовое молчание было ответом.

— Отчего же и не выдать? — сквозило на многих лицах.

Бельский упал на колени перед царем, клялся в своей невиновности, молил о пощаде — Федор бесстрастно смотрел на него.

— Борис! Ты! Ты скажи! — умоляюще обратился несчастный боярин к Годунову.

И тот сказал:

— Нет, выдать народу, думается мне, его нельзя...

Глаза обвиняемого радостно блеснули, опущенная голова поднялась.

— Но,— продолжал Борис Федорович,— его надо немедля выслать из Москвы.

Голова Бельского печально опустилась, он с укоризной посмотрел на своего друга. Тот поймал этот взгляд и отвернулся.

— На том и порешим? — сказали бояре и вопросительно уставились на царя.

— Да... да... так ладно,— устало сказал он.

Юрьев и Мстиславский с дьяками опять отправились к народу сообщить царскую волю.

Народ согласился не сразу, но Щелкаловы умели красно говорить, и в конце концов мятежники мирно разошлись.

— Как это ладно вышло,— шепнул на ухо Василию Шуйскому, весело улыбавшемуся и потиравшему руки, Борис Федорович,— что Бельский из Москвы отъедет: больно власть он хотел забрать. Рад, рад я очень.

Лицо Василия Ивановича вытянулось. Он был озадачен: не то ожидал он услышать от Годунова.

XIX

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

От Фроловских ворот Марк Данилович возвращался вместе со своим неожиданным помощником, вернее, спасителем.

— Ну, уж и спасибо же тебе! Не вступись ты, верно, не пришлось бы мне теперь шагать к дому.

— Э! Пустое! Ты сам лихо дрался.

— Как ни лихо, а сложить бы мне голову. Спасибо... Как тебя по имени, по отчеству?

— Тихоном Степанычем кликают... А прозвище нашего рода чудное.

— Какое ж?

— Топорок.

— Гмм... Да. И откуда такое прозвище взяться могло?

— А, вишь, прадед мой был чудак большой руки: он завсегда в битву ходил не с саблей булатною, а попросту с топориком махоньким и умел им ловко работать, так что, бывало, татарва либо ляхи, как завидят старичка с топориком, так и порснут от него в разные стороны. Вот с той поры и пошла кличка «Топорок».

— Ты, Тихон Степанович, далече живешь?

— Нет, сейчас вот, через улицу.

— Э! Так нам совсем по пути. Ведь и я тут же живу.

— Свой домок?

— Нет, у дяди. Я в Москву недавно приехал.

— Издалека?

— Из-за моря.

— А! Так, стало быть, ты — племянник Степана Степановича Кречет-Буйтурова?

— Да. Почему ты узнал?

— О тебе по Москве слух идет. Тебя называют выходцем заморским. Ну, а, кроме того, отец мой с твоим дядей в приятелях. Тебя, кажись, Марком звать?

— Марком Даниловичем. Вот что, Тихон Степанович, не обессудь зайти ко мне перекусить, чего Бог послал.

— Я бы рад, да...

— Что же?

— Да, вишь, хоть отец мой и дружит со Степаном Степановичем, а я с твоим дядей не в ладах: сдается мне все, что недобрый он старик. Ну, и раз я с ним здорово повздорил.

— Так что ж? Ко мне придешь, не к нему. Я не из его рук смотрю.

— А и то! Чего на него глядеть. Пойдем, пожалуй.

— Вот и ладно.

Марк Данилович на славу угостил Топорка. Потом пошла беседа. Тихон Степанович оказался веселым, славным малым, и молодой боярин с удовольствием смотрел на его простоватое, добродушное лицо.

Рассказывая о своем прибытии в Москву, Марк упомянул случайно имя Турбинина.

— Ты его знаешь? Ведь это — приятель мой! — вскричал Топорок.

— А! Тем лучше,— ответил Кречет-Буйтуров, потом налил два кубка вина и сказал: — Выпьем с тобой на вечное дружество. Не прочь?

— Отчего же прочь? Рад буду,— ответил Тихон Степанович, принимая кубок из рук хозяина.

Они выпили и расцеловались.

XX

БОЯРЫШНЯ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

Серый день. Природа хмурится, как сварливая старуха. Не похоже, что на дворе стоит половина апреля. Весна смотрит осенью. А между тем утро было ясное, солнечное. И вдруг невесть откуда наплыли тучи. Хмурится погода, хмуро и на душе у боярышни Татьяны Васильевны. Она смотрит в ту сторону, где легкий свет сквозит сквозь толпу туч — там спряталось солнце.

Задумчиво худенькое личико Тани. Глаза смотрят печально. Как будто даже слеза блестит в них. О чем думает бедная девушка? О чем, как не о своей грустной доле, о никогда не испытанном счастье. Счастье! В чем оно? Разве для нее, для падчерицы боярыни Василисы Фоминишны, возможно счастье? Ей вспоминается вся ее короткая жизнь, серая жизнь! Нелюбимая отцом, лишенная ласк матери, умершей в то время, когда Тане было всего два года, она росла одинокой дикаркой. Людей она чуждалась и боялась. Да как было и не бояться, и не чуждаться, когда она ничего не слышала от них, кроме брани, ничего не получала, кроме тычков да побоев. Ее ум начал рано работать, и мечты ей заменяли подруг. Ее душа была полна каким-то томлением, какие-то струны дрожали в ней, и восход, и закат солнца, и мерцание звезд, и шум бури, и сияние полной луны — все заставляло звучать эти струны.

Она жила в особом мирке. Окружающая природа не ка-

залась ей мертвой. Солнце, луна, звезды — все это были живые существа, ее друзья. Часто первый луч солнца заставал ее стоящею у окна. Она улыбалась, кивала головкой, протягивала свои худенькие детские ручки навстречу восходящему светилу. Часто, лежа в постели в ненастную осеннюю ночь, она прислушивалась к завываниям ветра, и чудилось ей, что это не ветер ревет — это стонут тысячи блуждающих грешных душ. Суеверный ужас закрадывался в ее маленькое сердечко, и губы шептали: «Боженька! Прости их!»

По мере того, как она вырастала, «дружба с природой» становилась все менее тесной. Настала пора, когда эта «дружба» совсем прекратилась. То, что раньше казалось живым, стало мертвым. Девушка-подросток почувствовала пустоту. Осталась потребность любить, но былые друзья изменили, а где найти новых. И боярышня в страстных поисках «друга» — существа, на которое она могла бы перенести свою любовь,— попыталась сблизиться с людьми. В это время как раз женился вторично ее отец. Тане казалось, что молодая красавица мачеха должна стать ее другом, но первая же попытка в этом направлении кончилась неудачей: Василиса Фоминична отнеслась к ней холодно. Не установились между падчерицей и мачехой дружеские отношения и впоследствии: боярыня питала какую-то слепую ненависть к своей названой дочери. Таня отшатнулась от нее.

Не сошлась она и со своими сверстницами соседками-боярышнями, что очень понятно: Татьяна Васильевна была головой выше их по развитию. Она с ними не ссорилась, но ей было скучно в их присутствии, не весело было и им, должно быть, потому что они, беседуя с Таней, слишком часто и слишком сладко зевали. Они отзывались о ней, как о «чудной какой-то», будто бы «маленько юродивой», и такая слава пошла о ней далеко в околотке. Таня мало заботилась о том, что о ней говорят. Она нашла себе друзей и подруг там, где, может быть, ей надо было прежде всего искать: среди холопок и холопов. Несчастные, забитые, бесправные рабы, услышав от нее привет и ласку, радостно откликнулись на зов, и боярышня открыла в душах этих бедных людей столько теплоты, столько света, сколько, наверно, не нашла бы у всех знакомых бояр и боярынь. Она отдалась служению на пользу угнетенных. Заболевал ли холоп или холопка — уж Таня тут как тут; не боясь заразы, не пугаясь грязи и смрада полужилья-полуберлоги, где лежал больной или больная,

она дни и ночи просиживала у изголовья недужного, выискивала снадобья, могущие облегчить болезнь, подкрепляла участливым словом упавшего духом; случалось ли кому-нибудь из кабальных попасть под гнев боярский, боярышня немедленно являлась на защиту. Что значило ее слово? А между тем она успевала. Она терпела брань, даже побои, кидалась в ноги отцу и повторяла только одно:

— Прости! Прости!

И отец прощал, прощал против своей воли.

— Тьфу! Пристала как банный лист, окаянная! Ну, отпустите его к черту! — говаривал отец и тут же добавлял: — а ты, Танька, смотри: вздумаешь еще раз соваться с носом, куда не след — изобью нещадно.

Но на следующий раз повторялось то же самое.

Дворовые звали Татьяну Васильевну не иначе, как ангелом.

Принесла ли боярышне счастье эта дружба, более того — благоговейная любовь многих людей? Нет. Она на время только заполнила пустоту, но не дала полного счастья.

Иного просило сердце. Чего же? Любви, но иной, чем та, которую питали к ней холопы. Какая это «иная любовь», Таня сама не могла определить.

Почему ее все чаще и чаще стали посещать неясные образы? Ей чудился «кто-то». Этот «кто-то» был тот, который мог дать иную любовь. Ей грезилось прекрасное, молодое лицо, с задумчивым взором. Манил этот взор Таню, проникал в душу. И она не противилась безмолвному зову, она отдавалась влечению. Какое-то духовное сродство было в их душах — это чувствовала боярышня. Он был ей родной — родной не по плоти, по духу.

Отлетала греза — и Таня оставалась в прежней печальной действительности. И сердце ее тоскливо ныло, как будто бы она только что рассталась навеки с дорогим другом.

За Татьяну Васильевну сватались женихи: Василиса Фоминична заботилась по смерти мужа поскорее отделаться от ненавистной падчерицы. Для этой цели она даже увеличила сумму приданого боярышни, одаривала свах. Сперва в женихах не было отбоя, прошел год — число их сильно поредело, а скоро женихи совсем стали объезжать усадьбу боярыни Доброй. Татьяне Васильевне грозила опасность остаться в «вековушах». Василиса Фоминична выходила из себя и злобилась на падчерицу. В чем крылась тайна? Если боярышня не могла назваться красавицей, то все же была

очень недурна лицом, и даже тот, кто не мог познать ее духовную красоту, должен был согласиться, что она миловидна. А между тем женихи ее не брали: она им не нравилась. Как ни хлопотала Василиса Фоминична, дело не обходилось без смотрин — на этом настаивали женихи. Мачеха скрепя сердце выводила напоказ падчерицу, и после этого наступала развязка: жених отказывался.

Всякий раз на смотрины Таня отправлялась с сердечным трепетом: «Не он ли?» — шевелилась у нее мысль. Когда она входила в комнату, где находился жених со сватами, у ней ноги подкашивались от волнения. Первый взгляд, который она кидала, был на жениха. Она взглядывала и потуплялась. «Не он! Не он!» — мучительно говорила мысль.— «Не он!» — чувствовала она сердцем. И она стояла перед женихом хмурая, с потухшим взглядом. Жених крякал, вздыхал и брался за шапку.

— Недосуг, домой пора,— досадливо отвечал он на упрашивание Василисы Фоминичны и уходил, а на другой день появлялась сваха и объявляла, что такой-то, дескать, раздумал жениться на боярышне Татьяне. На вопрос: «Почему?» сваха отвечала, что невеста показалась ему больно «чудной и телом лядащей».

После этого обыкновенно следовала бурная сцена между мачехой и падчерицей. Боярыня называла Таню уродом, осыпала бранью; боярышня молча сносила оскорбления — она никогда не позволяла себе грубить мачехе — и втайне радовалась отказу: она ждала «его». Надежда шептала ей, что он придет.

И он пришел. Она видела его уже не в грезах, а наяву. Видела его всего одно мгновенье, но и этого было довольно, чтобы его узнать. Он явился неожиданно, как видение, и так же неожиданно исчез.

Теперь, стоя перед окном, Таня вспоминает этот миг... Когда она его не вспоминает? Говорят, бывают предчувствия. Ничего подобного она тогда не испытала. Она шла к мачехе, чтобы спросить что-то. Боярышня слышала, как Василиса Фоминична прошла в светлицу, и поэтому направилась прямо туда. Что у мачехи гость, ей было не известно. Она спокойно отворила дверь и... она не могла уяснить себе того чувства, которое испытала: перед нею сидел «он». Таня ясно разглядывала его прекрасное лицо, озаренное светом свечи, она узнала его взгляд задумчивый, притягивающий, проникающий в душу.

Потом грубое замечание мачехи, скрип двери... И «он» исчез.

«Неужели навеки? — скорбно задает себе вопрос Таня.— Верно навсегда: мне ль счастливой быть? — печально отвечает она себе самой.— Вишь, тучи на небе какие: не видать и солнышка за ними. Разойдутся они, проблеснет солнце красное. И вокруг меня тучи черные, только им, кажись, вовек не разойтись, вовек не проблеснуть моему солнышку!»

Что за шум на дворе?

Таня смотрит на двор.

«Что это? Что это? Кого несут? — думает она в смятении, и сердце ее колотится часто-часто.— Это — он! Это — он!»

Он! Только белый как мел, и кровь струится по лицу... Господи!

И вдруг Таня не своим голосом крикнула на весь дом:

— Матушка! Матушка! Его несут!

— Кого еще? — отозвалась мачеха.

— Его... Который угощался с тобой...— задыхаясь, проговорила боярышня.

Василиса Фоминична кинулась к окну.

— Да! он! — промолвила она, вспыхнув.

XXI

НА ВОЛОСОК ОТ СМЕРТИ

В ясное апрельское утро Марк Данилович верхом на коне выехал из Москвы. Он ехал в свою вотчину. Отправлялся туда «царский окольничий» уже не впервые. Он успел не раз побывать в вотчине и со Степаном Степановичем, и один. Уже по его приказу старый отцовский дом, стоявший много лет заколоченным, приводился в пригодный для жилья вид.

Первая поездка оставила в молодом Кречет-Буйтурове сильное впечатление. Когда он увидел лежащее на косогоре сельцо, сердце его сильно забилось: он увидел место, где жили его отец и мать, где родился он и его сестра. Село показалось ему даже как будто несколько знакомым, не было ли это смутным воспоминанием о тех днях, когда он бродил здесь младенцем?

Он со странною грустью вошел в обветшалый пустой ро-

дительский дом. Почему-то сердце его тоскливо сжалось, когда он взглянул на черные, покрытые местами пятнами плесени стены комнаты. Произошло ли это от мысли, что он одинок, совершенно одинок в старом родительском гнезде — ни отца, ни матери, ни сестры — никого! Отец умер, Бог знает, где находятся мать и сестра, да и живы ли? Быть может, тоска Марка была злым предчувствием грядущих бед и несчастий, которые придется ему пережить под кровом отчего дома? Как бы то ни было, Кречет-Буйтуров решил здесь поселиться.

Когда он после осмотра дома спустился на крыльцо, целая толпа мужиков и баб подвалила к нему. Это был одетый в лохмотья, исхудалый от голодухи люд.

— Что вам, братцы? — спросил Марк Данилович и ничего не мог понять из их причитаний и сбивчивого бормотанья.

— А это они в кабалу к тебе, боярин, просятся. Год-то, вишь, плохой был, ну и обнищали,— прояснил старик древний, единственный охранитель боярского дома и то не в силу какого-либо обязательства, а просто потому, что он, не имея пристанища, поселился в подклети всеми покинутого дома.

— В кабалу, батюшка, в кабалу! Прими, кормилец, не откажи! — заговорили в толпе, и весь люд с воплями и причитаниями поклонился ему в землю.

Марк Данилович смотрел на них с глубоким чувством сострадания. Значит, велика и непосильна была нужда, если высший дар человека — свободу они готовы были отдать за кусок хлеба, за тесный угол и молили о принятии их в рабство, как о высшем благе!

— Встаньте, добрые люди! Не Бог я, чтобы мне в землю кланяться! И без этого помогу я вам: будете сыты, обуты, и угол у вас будет...

Люд радостно заговорил и еще пуще закланялся.

— А только в кабалу я вас не приму,— добавил Кречет-Буйтуров.

Поклоны моментально прекратились, лица вытянулись.

— Как же так, батюшка? Сам же говоришь...

— У меня рабов не будет: не дело человеку рабов иметь: все люди одинаково Господом сотворены. Живите у меня, работайте, а за работу положу вам жалованье и харчи. Поняли?

Но мужички поняли не сразу. С ними пришлось еще долго толковать, а когда поняли — повеселели. Между ними

Марк выбрал старика потолковее и сделал его ключником, а стало быть, главарем над всеми; тут же ему отсчитали и денег для закупки необходимых припасов, для раздачи жалованья. Все это производилось без всяких записей и исключительно основывалось на доверии, и Кречет-Буйтуров был твердо уверен, что его не обманут. Новоназначенному ключнику он поручил дать каждому работу по его силам и уменью.

Таким образом составилась, быть может, первая на Руси в то время свободная дворня.

Потом Марк объехал села. Кроме села на косогоре, были еще село и две деревни: вотчина была велика и с одной стороны граничила с вотчиной дядюшки, с другой — с поместьем боярыни Доброй, т. е. растягивалась чуть не на десяток верст. Везде Марк Данилович натолкнулся на одно и то же: грязь, нищета и приниженность крестьян в силу этой нищеты. Что приниженность была именно следствием нищеты, это явствовало из того, что крестьяне той эпохи еще не были крепостными и, при достатке, не очень-то любили ломать шапку перед помещиком: коли крут очень либо не в меру корыстен боярин, так дождался Юрьева дня да и перешел на землю другого боярина; еще тот же крутой нравом помещик станет кланяться да просить остаться и начнет сулить всякие поблажки. Но много ли было достаточных крестьян? Раз, два — да и обчелся; все остальное крестьянство было голью неприкрытою. Оттого-то и кланялось оно вотчиннику и бежало к нему в кабалу, чтобы добывать этим путем корм.

Марку Даниловичу было до слез жаль этих забитых, погрязших в глубоком невежестве и нищете людей, и великие планы слагались в его голове. Как-то он заикнулся о своих намерениях своему дядюшке. Тот расхохотался над ним:

— Дурень! Да коли мы смердов не станем гнуть, так они нас согнут!

Марк Данилович не возражал: спорить с дядей было бесполезно. Не любил молодой Кречет-Буйтуров и ездить в свою вотчину со Степаном Степановичем: ему не нравилось обращение дяди с крестьянами — старик говорил с ними, как со своими рабами. Вскоре от дядиного сопутствия он был освобожден тем, что старик опять уехал в свою вотчину, а Марк остался в Москве до тех пор, пока дом не будет совершенно исправлен. Кроме того, ему как окольничему нужно было дождаться венчания на царство Федора. Как сказано,

в свою вотчину он пока только изредка наезжал. Теперь он ехал по той причине, что близился Юрьев день и надо было заключить условие с крестьянами о пользовании ими землею. Он нарочно откладывал поездку, чтобы отправиться в хорошую погоду. Дождавшись, по-видимому, «доброго дня» и выехав из Москвы, он убедился в неудаче своего выбора: ясное утро испортилось. Набежали тучи, несколько раз начинался было дождь, но проходил. Боярин досадовал, но делать было нечего, приходилось продолжать путь.

До вотчины Марк Данилович добрался, однако, благополучно: погода более грозила стать дурной, чем стала такою на деле.

Крестьяне уже поджидали его приезда и толпились у крыльца дома. Не дожидаясь их причитаний и низких поклонов, молодой окольничий объявил условия «посадки на землю» такие, что крестьяне радостно вскрикнули: эти условия были вдвое легче тех, какие предлагали даже самые некорыстные из окрестных вотчинников.

— А-ай, да и что ж это за человек добрый! — говорили крестьяне, расходясь по избам.

— А и не человек, а прямотка ангел Господень!

В вотчине Кречет-Буйтуров пробыл недолго.

— Как же это ты так, господин добрый, один ездишь и даже без сабельки? — заметил сторож Михей, провожая боярина.

— А что? Шалят разве?

— И-и! Здорово шалят. Намедни проезжал тут боярин один: догола раздели. Ты б мужичков провожатых взял.

— Э, ничего! Доберусь! — беспечно ответил Марк.

Та дорога, по которой он приехал из Москвы, как он узнал в вотчине, делала крюк версты в две. Существовала более короткая, проходившая вблизи вотчины боярыни Доброй. По этой дороге и направился молодой Кречет-Буйтуров.

Дорога шла то леском, то полями. Весенняя распутица была в полном разгаре. Коню приходилось поработать немало. Марк, хотя и подгонял его, но прекрасно сознавал, что подбавить рыси конь по такой невылазной грязи не в силах. Молодой боярин то и дело поглядывал на небо, которое все более заволакивалось тучами. О разбойниках он и думать забыл.

Проезжая мимо усадьбы Василисы Фоминичны, он подумал: не завернуть ли ненадолго? И почему-то перед ним

пронесся образ миловидной златокудрой девушки. Роскошная красота боярыни не вспоминалась ему. Его так и тянуло в усадьбу, но он бежал от искушения.

— В Москву поскорей надо: и то, того и гляди, дождь соберется,— решил он, минуя усадьбу.

Вскоре дорога пошла лесом. Узкая тропа змеей вилась между деревьями. Пахло распускающейся зеленью. Там и сям из пуха почки выглядывал зеленый край листа. Безлистные деревья уже не казались черными и печальными — пух почек кидал на лес сероватый налет.

Боярин почти выпустил из рук поводья и глубоко задумался. Пряный запах весны пробуждал в его сердце какие-то неясные желания. Ему вдруг стало словно грустно, но он сам не знал, о чем грустит — так, какая-то беспричинная тоска.

Странный крик не то какой-то птицы, не то неизвестного зверька пронесся по лесу и стих.

Марк поднял голову, конь заострил уши.

«Что это за крик?» — подумал молодой боярин.

Ответ не замедлил появиться в образе десятка вооруженных дубинами мужиков, выступивших из-за деревьев.

Кречет-Буйтуров не успел опомниться, а уже несколько пар рук схватились за узду коня и самого боярина тянул с седла мужичина свирепого вида, приговаривая:

— Ну-ка, лезь с коня долой!

— Что вам надо? — спросил Марк.

— Гмм... Чудное дело! Коня твоего надо, одежки твоей! Отдашь добром все — иди себе тогда куда знаешь,— со смехом сказал тот же мужик, который стаскивал Марка Даниловича с седла.

— Так это вы грабить средь бела дня?! Эй! Ко мне! Ко мне! Грабят! — крикнул Кречет-Буйтуров, хлеща разбойника по лицу тяжелой нагайкой.

— А! Так ты не хочешь добром! Мы ж тебя! — загалдели разбойники, и тяжелые удары посыпались на боярина.

Он защищался как мог, продолжая звать на помощь. Но борьба была неравна. Скоро он был сбит с седла. Чье-то тяжелое колено придавило ему грудь. Блеснул нож.

«Конец! Смерть! Неужели смерть?» — мелькнуло в голове молодого человека. И эта мысль показалась ему какой-то дикой, невозможной.

А смерть близилась.

— Приканчивать? — спросил над ним хриплый голос.

— А что ж, чего и не прикончить? — послышался хладнокровный ответ.

Холодное лезвие ножа прикоснулось к горлу и полоснуло его.

— Постой, постой! Едут! Беги! Коня-то, коня в лес прячьте, ребята! — послышались торопливые крики.

Через мгновение Марк Данилович лежал один на лесной дороге. Издали доносились скрип телеги и говор нескольких голосов.

Кречет-Буйтуров попробовал приподняться и не мог. Его тело словно одеревенело — удары дубин дали себя знать. Хотел крикнуть — голос не повиновался. Словно легкая дымка застлала зрение. Он, как сквозь сон, слышал над собой возгласы:

— Не дорезали, Бога благодаря, душегубы.

— Видать, рука дрогнула.

— Еще бы! Не легко, чай, человека прирезать.

— Куда ж мы его, сердешного, свезем? Кабы он хоть сказать мог, где дом-то его, а то, вишь, он еле жив: прикрой он очи — ни дать ни взять упокойник.

— Усадьба боярыни Василисы Фоминишны тут недалече. Не туда ль его отвезти?

— А и впрямь! Ближе и дома нетути.

Марк чувствовал, что его подняли, понесли. Он смутно, где-то высоко над собой, различил миловидное, бледное личико падчерицы боярыни Доброй, расслышал удивленно-печальный возглас грудного голоса...

Дальше тьма.

XXII

РЕВНИВЫЙ ХОЛОП

В сумерках весеннего вечера неясно рисуются две фигуры. Это — Илья Лихой и Аграфена. Холоп хмур, девушка задумчива.

— Принесла его нелегкая не в пору. Думал дней потеплее дождаться да тогда и утечь с тобой, ан, видно, придется раньше,— говорил Илья.

— А у тебя все уж слажено для ухода?

— Ну, вестимо же. Выберем только денек поудобней да и тягу. А ты что спрашиваешь?

— Да так, Господи!

— То-то так! Знаем мы вашу сестру! Может, тебе бежать неохота? Ведь и то сказать, что я? Холоп да еще беглый к тому же буду, а он — боярин богатый. Вестимо, слаще стать боярской полюбовницей, чем женою холопишки безродного. А? Так?

Глаза Ильи сыпали искры.

— Что ты! Как и думать такое можешь? Попросту спросила, потому лишь, чтобы, как убежим, так не нашли бы нас.

— Гм... Да... А чего ж ты сама к боярину подлезаешь?

— Я?! Откуда взял такое?!

— Все говорят...

— Кто все? Кто? — и в голосе Груни послышалось такое негодование, что Илья смутился.

— Да вот хоть бы Таська Рыжая.

— Верь ей, клеветнице, больше, так она еще и не то скажет. Ах, Ильюша, Ильюша! Не люба я тебе, видать! — с горечью промолвила Груня.

— Кабы не люба была, стал бы я изводиться так? Ведь извожусь я, Грунюшка, извожусь!..

— Милый мой, соколик! Зачем в сердце свое пускаешь думы черные? Зачем веры мне не даешь? Уж я ль не люблю тебя, желанного моего?

— Верю тебе, Груня, верю, а что я с собой сделаю, коли думы черные покоя не дают? Ах, милая! Только тогда и успокоюсь, когда мы сбежим отсюда, заживем на волюшке... Родная моя!

И Илья крепко обнял Аграфену.

— А только,— добавил он через минуту,— ты смотри не сдавайся на улещанья боярские.

XXIII

УЛЕЩАНЬЯ

На следующее утро после описанного свиданья Аграфене было что-то не по себе. Какое-то смутное чувство, точно ожиданье предстоящей беды, наполняло ее душу. Работа не спорилась.

— Чтой-то, Груня, у тебя сегодня дело на лад не идет? — заметила ей Фекла Федотовна.

— А сама не знаю, что такое. Просто руки опускаются.

Ключница посмотрела на нее.

— Не разнедужилась ли, грехом? Ишь, и с лица белая что-то больно.

— Нет, кажись, здоровешенька. Так что-то...

Время тянулось страшно медленно. Кое-как дотянули до обеда. Поели, и как будто всем стало веселее. Пошли разговоры, песни. В это время пришел Иван Дмитриевич и присел рядом с Аграфеной.

— Ну, что, как работишка?

— Ничего себе, помаленьку,— ответили девушки, а сами подумали: «Что сивому тут надобно?»

Иван Дмитриевич пустился в россказни, балагурил, смеялся, подтягивал певуньям своим козлиным голосом. По-видимому, он не собирался скоро уйти.

Фекла Федотовна с неудовольствием смотрела на него. Она недолюбливала хитрого «Ваньку».

«Уж неспроста припер, старый черт, ой, неспроста!» — думала она и зорко наблюдала за Ванькой.

Поэтому от нее не укрылось, что он, уловив время, шепнул что-то Груне и та, удивленно взглянув на него, стала складывать работы.

— Чего это ты? — спросила ключница.

— Да вот, Иван Дмитрич зовет зачем-то, что-то сказать мне хочет.

— Чего ж здесь не говоришь, Иван Дмитрич? Говори, коли надо, а из-за работы тащить девку не рука.

— Да ты не серчай, Фекла Федотовна: живехонько назад ее отпущу. А сказать мне пару слов, точно, надо.

— Что за тайности такие! — ворчала старуха.

— И впрямь, Иван Дмитрич, что за тайности? Мне работу доканчивать надобно... Сказали бы здесь,— промолвила Аграфена.

— Да не рука здесь говорить, потому,— тут ключник наклонился к уху девушки,— шепнуть тебе надобно пару слов об Ильюшке.

Раньше Груне не хотелось идти, но последние слова подействовали на нее в обратную сторону, и она просительно обратилась к Фекле Федотовне:

— Пусти, баушка!

Та печально покачала головой.

— Эх, девица, девица ты бедная!

— Не тяни, Фекла Федотовна! Сказать правду, не по своей я воле говорить-то с ней хочу — боярский приказ получил. Пойдем, Аграфена.

У Груши мелькнуло что-то вроде подозрения. Ей вдруг почему-то стало страшно идти за ключником.

— Лучше б ты здесь сказал...— пробормотала она.

— Да иди, иди, глупая! Чего там!

Волей-неволей Аграфене пришлось следовать за ключником. Он прошел сени, свернул в светлицу и перешел ее.

— Куда ж ты, Иван Дмитриевич? — недоумевая, пробормотала девушка.

— Иди, иди! Знаю, что делаю,— отозвался он, направляясь к боярской опочивальне, дверь которой была заперта. Тут он приостановился.

— Ну, девка! Клад тебе в руки дается,— сказал он.

— Какой клад?

— Да... Только дурой не будь, вот что. Будешь боярыней жить...

Груня догадалась и побледнела.

— Иван Дмитриевич! Коли ты на худое что намекаешь, так я ни в жизнь не соглашусь. Помереть лучше.

— Эка! Стану я на худое намекать! Клад, говорю, тебе в руки дается, а что ж тут худого? Иди-ка!

И, прежде чем она могла опомниться, он приоткрыл дверь опочивальни и втолкнул туда Груню, шепнув:

— Не будь дурой!

Дверь затворилась, и щелкнула задвижка. Аграфена оказалась запертой в пустой опочивальне Степана Степановича. Она поняла, что попала в западню. Она забегала по ней, как зверек в клетке. Тянула дверь — дверь не подавалась. Кричала, молила — никто не отвечал на ее вопли. Тогда она подбежала к окну и раскрыла его. До земли было несколько сажен. Она перекрестилась и готовилась встать на подоконник, чтобы выпрыгнуть.

В это время дверь отворилась.

— Ай-ай, красавица! Не гоже так! — раздался за нею голос боярина, и сильная рука Степана Степановича оттолкнула ее от окна.

Кречет-Буйтуров затворил окно и сел подле него. Груня плача стояла перед ним. Боярин молча смотрел на девушку, которая прикрыла лицо рукавом сарафана; грудь ее вздрагивала от рыданий.

— Ну, чего ты плачешь, девица? А? И не стыдно тебе? Ай-ай! Утри слезки-то да сядь со мной рядком, мы и потолкуем ладком! — проговорил боярин отеческим тоном и отвел руку Груни от лица.

— Ишь, слезки-то, слезки-то — росинки! И глазки покраснели... Полно тебе, полно!.. Садись!..

Тон Степана Степановича несколько ободрил Груню. Она опустилась на скамью.

— Не туда. Садись рядком со мной. Али я такой страшный? Ась?

Девушка полуулыбнулась.

— Нет,— тихо проговорила она.

— Я и сам так думал, что не страшен, ан, кажись, и сам ошибся, и ты неправду молвила: страшен я — вишь, со мной рядом сесть не хочешь.

Девушка нехотя поднялась и пересела к нему ближе.

— Вот, теперь так. Ну, скажи мне, о чем ты плакала?

Груня молчала.

— Меня боялась? А что я — зверь? Ишь ты, красотка какая! Кажись, зверь лютый и тот, поглядев на тебя, подобрел бы, хе-хе! А я — не зверь, а человек добрый и добра тебе хочу.

Он обнял стан девушки. Она попробовала вырваться, но боярин держал крепко.

— Не вертись, все равно не пущу: ничего, от этого от тебя не убудет... Добра я тебе хочу, да. Что ты теперь? Девка-холопка и ничего больше, раба моя. Вот у тебя Ильюшка завелся — того ж поля ягода: раб безродный и плохой еще к тому же, и нищий. Ну, выдам я тебя за него — эка сласть тебе будет! Весь век холодать да голодать, да детей плодить! Потому и не выдам тебя за него, что добра тебе хочу.

— Эх, боярин! Будь что будет! Выдай меня за него! — сказала Груня.

— Ни-ни! Я тебе — не ворог... Тебе надобно в шелку да в бархате ходить, боярыней быть. Вот что! Ишь, шея-то, что у лебедушки,— сюда б ожерельце, а на ручки бы запястья да кольца с камнями самоцветными. А сарафанчик бы атласа красного, а на ноженьки б чоботки сафьяновые... Эх, Грунька! Да и раскрасавицей же была б ты!

Он привлек к себе Груню и чмокнул ее в щеку.

Девушка вырвалась из его объятий и вскочила.

— Боярин! Батюшка! Выпусти меня отсюда, Христа ради! — вскричала она умоляюще.

— Пустое! Куда тебе торопиться? Сядь-ка, сядь!

Степан Степанович потянул Груню к себе. Она упиралась.

— Пусти, батюшка Степан Степанович!

— Ой, не пущу! Говорю, боярыней заживешь. Полюбика меня, девка!

Боярин встал с лавки и заключил в свои объятия девушку.

Она отчаянно отбивалась, и из ее груди вырвался отчаянный вопль.

Вопль Груни был настолько силен, что донесся туда, где работали девушки и Фекла Федотовна.

Услышав крик, старуха побледнела и сурово сдвинула брови. Девушки переглянулись и примолкли. Таисия завозилась на своей скамье, и ядовитая улыбка промелькнула на ее губах.

Через несколько времени она под каким-то предлогом вышла из девичьей.

XXIV

НЕПОВИННАЯ ЖЕРТВА

Выйдя из девичьей, Таисия Рыжая пустилась отыскивать Илью Лихого. Она нашла парня за работой в боярском саду. Против обыкновения, Илья был в духе и мурлыкал какую-то песенку. Увидав Таську, он поморщился.

— Зачем пожаловала?

— Так себе. Захотелось передохнуть малость от работы, вышла в сад — глядь, и ты тут. А ты работаешь?

— Нет, щи хлебаю.

— Какой ты сердитый, право.

— А чего ты пустое спрашиваешь? Чай, сама видишь.

— Работящий ты парень. Эх, жаль мне тебя!

— Что больно разжалобилась?

— Да как же... Слышал, чай?

— Что такое?

— Да про Груньку...

— Ну, опять закаркала ворона! Что опять придумала? — сказал Илья, а на лице его выступили от волнения красные пятна.

— Большая нужда мне придумывать! Непутевая девка твоя Грунька.

— На себя бы лучше посмотрела.

— Да я что ж? Я знаю, какова я, и святой не прикидываюсь. На то зло берет, почто она тебя-то морочит.

— Полно врать-то!

— Соври сам, я врать негоразда. Да что толковать — шабашкино дело теперь с твоей Грунькой.

Илья даже выронил из рук заступ, которым работал.

— Как шабашкино дело?

— Да так... Пришел это сегодня к нам Иван Митрич и присел с ней рядком. Пошепталась она с ним маленько, а потом пошли оба в боярские покои. Ну, и до сей поры Грунька не вернулась. Одначе мне пора. Заболталась я, работа ждет. Прощай!

И Таисия ушла.

Илья даже не заметил ее ухода. У него подкашивались ноги. Он опустился на траву и словно окаменел. Удар был слишком силен и неожидан. Еще сегодня он думал, что скоро конец мукам — день-два, и они убегут, будут свободны.

Его сердце было полно отчаянья. Он сжал руками голову.

«Не покончить ли с собой? — мелькнула мысль; другая ее перебила: — Чем с собой, лучше с ними — с боярином да с обманщицей проклятой. Проклятая! Проклятая!»

К отчаянью начала примешиваться злоба.

«Убить!» — сказала мысль уже не мимолетная, а созревшая.

Отчаянье отняло от Ильи силы, злоба возбудила их. Он поднялся с травы и вытащил из-за голенища нож.

— Туп,— проворчал Илья, пробуя лезвие.

Вскоре после этого его видели точившим нож на оселке. Все время он что-то бурчал себе под нос. Отточив, он опять засунул нож за голенище.

«Придет ли она сегодня вечером? Не придет — в дом ворвусь и прирежу! — подумал он.— А, может, Таська наврала?»

Эта мысль заставила радостно забиться его сердце. Он схватился за нее, как утопающий за соломинку.

«Да, да. Верней, что наврала. Коли Груня придет, стало быть, ничего не было.»

Илья с нетерпением стал дожидаться вечера. Только что солнце стало западать, он уже стоял на месте обычных свиданий с Аграфеной. Ждать ему пришлось долго. Только когда золотая быстро темнеющая полоска на небе указывала то место, где скрылось солнце, Груня пришла.

Илья так и кинулся к ней.

— Что долго не шла?

Когда он взглянул на заплаканные глаза девушки, на ее осунувшееся лицо, он понял, что Таська сказала правду. Дикая злоба проснулась в нем. Рука потянулась за ножом.

— А-а! Значит, правда? Да?

— Ах, Ильюша! Ах, родной мой! Что со мной сделали! — плача заговорила Груня.

— Так, так! Сделали! Прочь, боярская полюбовница! У! Змея проклятая! Жить тебе не след — только честных людей обманывать... Проклятая!

И он с размаху раз и другой всадил нож в грудь Груни. Она вскрикнула и упала, обливаясь кровью.

Сейчас же Илья и выронил нож и тупо уставился на красное пятно, вдруг появившееся на белом полотне Грунинога сарафана. Девушка металась, прижимая руки к груди.

— Груня! Родная!.. Прости!.. И я все прощу... Грунюшка, ангел Божий, не помирай! — залепетал Илья, наклоняясь над ней.

— Бог простит, Ильюша,— слабо заговорила Груня.— Мне и лучше... помереть, чем... жить... Ох! Жжет в груди, жжет! Помираю, Илья. Прости... А только, сокол мой, в смертный час говорю: люб ты мне был один, и ни на кого тебя я не променяла б... Ни на золото боярское... ни на ласки его... Насильем меня взяли... Ох!

Она опять заметалась. Илья с ужасом видел, что Груня кончается.

— Господи, сжалься! — воскликнул он, ломая руки.

Между тем умирающая успокоилась. Она уже не металась, не стонала. Она лежала неподвижно. Покрытое мертвенной бледностью лицо ее было ясно, и взгляд спокоен. Она смотрела на Илью.

— Не грусти, милый! Все там будем...— прошептала она.

Ее грудь поднималась неровно. Дыхание становилось все медленнее.

— Прости... милый...— едва слышно прошептала она.

Грудь высоко поднялась и опустилась, веки смежились. Тело дрогнуло и вытянулось.

Груня была мертва.

Илья заплакал над нею, как ребенок.

Была уже ночь, когда Илья Лихой поднялся от ее трупа. Он постоял некоторое время в глубоком раздумье, потом поднял нож, погрозил им в сторону боярского дома, затем засунул нож за голенище и поплелся к воротам.

Поутру бледный как смерть Иван Дмитриевич вбежал в опочивальню Степана Степановича.

— Беда стряслась, боярин!

— Что такое?

— Аграфену мертвой нашли — грудь в двух местах просажена, и Илья Лихой пропал.

— Гм... Вот дело! Жаль девку, красивая была! Ну, что делать! Царство ей небесное! Свезите на погост. А Илью разыскивать пошли.

— И то уж послал.

Илью Лихого разыскивали долго, но не нашли. Он словно в воду канул.

XXV

«СЧАСТЬЕ — ЭТО МГНОВЕНИЕ»

Золотой луч майского солнца пробрался сквозь оконную занавесь в том месте, где она неплотно прилегла к оконнице, и ударил в глубь комнаты, и лег светлым пятном на стене над постелью. Не от него ли упал светлый отблеск на бледное исхудалое лицо больного Марка Даниловича? Или, быть может, это — отражение того света, которым полна его душа? Почему он так пристально смотрит на златоволосую головку девушки, сидящей подле его постели? На лице Тани полуулыбка, глаза светятся тихим радостным светом. Как не похожа она теперь на недавнюю грустную, задумчивую девушку! Светло у ней на душе — огонек засветился и согрел ее тоскующую душу. Этот огонек — огонек любви. Мало лю-

бить, нужно быть любимой, и Таня твердо знает, чувствует всем своим существом, что она любима. Это сказали ей взгляды боярина, сказали его недомолвки.

Когда в их дом принесли Марка Даниловича, истекающего кровью, избитого, израненного, Таня, наперекор запрещениям мачехи, сделалась самой внимательной сиделкой больного.

— Здесь нет боярина молодого, здесь есть только болящий,— отвечала она на приказания Василисы Фоминишны удалиться и настояла на своем. Мачеха ничего не могла поделать с ее упрямством.

Кречет-Буйтуров долго находился между жизнью и смертью, наконец крепкая натура осилила болезнь. Когда он пришел в себя, первое, что он увидел, было лицо Тани. Еще грезы мешались с действительностью; он еще не сознавал, где он, кто перед ним.

— Ангел! — прошептал он.

Это было первое слово, которое от него услышала Таня.

После, по мере того как Марк Данилович поправлялся, пошли долгие беседы. Он рассказывал ей о своей прошлой жизни, о своих планах и намерениях. Он говорил ей, как болит его сердце, когда он видит бедность крестьян, их угнетение, их невежество. Он говорил, что хочет всю жизнь положить на служение «меньшому брату».

И Таня понимала молодого боярина. Его слова выражали лишь то, что она сама думала.

Сродство их душ сказалось, и духовная связь крепла.

— Вот скоро мне и встать с постели можно,— сказал в этот майский день Марк Данилович Тане.

Она слегка вздохнула.

— Да... Еще дня три полежать, а там...

— А там и прощаться с усадьбой боярыни Василисы Фоминишны придется,— закончил зе нее молодой человек.

— Зачем? Погости еще!

— Уж и то гостил немало. Знаешь, я даже и не больно радуюсь поправкой.

— Что такое? — спросила боярышня, а щеки ее слегка зарумянились.

— Больше б проболел, дольше бы с тобой пробыл. Что за ангел ты, боярышня!

И он взял ее маленькую ручку и прижал к своим губам. Она наклонилась и поцеловала его в лоб.

Больше им ничего не требовалось; не нужны были ни клятвы, ни уверения: они ничего не прибавили бы к их сознанию, что они любят взаимно и любимы.

Поэтому Тане показалось странным, когда Марк Данилович после этого сказал:

— Я думаю не тянуть дело со сватовством за тебя. Чем скорее, тем лучше. Так ведь?

— Вестимо так, родной мой,— ответила боярышня.

Марк сжимал в своей руке ее ручку, смотрел на ее милое, счастливое личико и думал, что он нашел то, чего искал, чего ему не хватало в жизни — верную и любимую подругу-помощницу. А Таня — Таня впервые познала, что зовут счастьем.

В дверь постучали.

— Можно? — спросил звучный голос боярыни Доброй.

Мгновенье счастья пролетело. Что принесет следующее мгновенье?

Марк Данилович тяжело вздохнул.

— Входи, будь добра,— вымолвил он, выпуская руку боярышни.

XXVI

ЗЛАЯ ЛЮБОВЬ

Войдя в комнату и увидев падчерицу, Василиса Фоминишна нахмурилась.

— Танька, ты опять здесь! Пошла вон — боярин не так уж недужен, как прежде, не гоже тебе тут быть! — проговорила она.

Боярышня медленно удалилась.

— Напрасно ты гневаешься на нее, Василиса Фоминишна! Она, словно ангел небесный, исцеленье мне приносит.

— Уж ангел, нечего сказать! — презрительно промолвила боярыня.— Ну, что? Лучше ли тебе, соколик? — добавила она иным тоном.

— Слава Богу, куда лучше. Скоро и в путь можно.

— Торопиться нечего, погости у нас, коли с нами не скушно,— говорила Добрая, не сводя с лица Марка ласкового взгляда.

Странное чувство испытывал Марк Данилович всегда, когда находился в обществе Василисы Фоминишны. Чувство это было похоже на смутное предвидение какой-то опасности. Если при появлении Тани у него становилось светло на душе, то, наоборот, приход ее мачехи навевал на него что-то вроде тоски. Его сердце начинало тревожно биться; разговорчивый с Таней, он не находил слов для беседы с боярыней. Пробовал он было заговорить с ней, как с Таней, о своих планах и намереньях, она слушала его рассеянно и зевала. Зато чуть разговор касался любви, она оживлялась и бросала на молодого гостя такие взгляды, что Марк Данилович смущался.

— Скучно — не скучно, а не век же мне тут гостить.

— Дела разве есть спешные?

— Нет, да уж пора: слава Богу, благодаря тебе да боярышне я хворь одолел, раны зажили. Ты вот сказала: «Коли не скучно», а знаешь ли, что мне болеть веселее было, чем здоровым быть.

— Вот тебе на!

— Верно слово! Пока я здоров был, все я один-одинешенек, а тут-то ты навестишь, то Татьяна Васильевна.

— А зачем живешь одиноким? Женился бы,— сказала боярыня, и странная нотка послышалась в ее голосе.

— И то думаю...

Лицо Василисы Фоминишны покрылось яркой краской.

— Доброе дело... За тебя всякая пойдет... хоть вдова, хоть девица.

— У меня уже на примете есть.

— Вот как!

Глаза боярыни Доброй так и сияли.

— Хочу сказать кое-что тебе, Василиса Фоминишна.

— Говори, говори, соколик!

— Да что-то не говорится.

— Что же так?

— Будто боязно.

— Боязно? Чего бояться? Верно сделается, как ты думаешь.

Это было сказано таким многозначительным тоном, что молодой окольничий удивленно взглянул на свою собеседницу.

«Неужели она догадалась, что люба мне Таня?» — подумал он.

— Бог знает!

— Сказывай, родной, сказывай!

— Ты прости, боярыня, что делаю не так, как у русских спокон века заведено — ни сватов не засылаю, ни свах, ни про прикруту речь вести не буду...

— Так-то лучше еще, Марк Данилович... Говори, говори! — сказала боярыня, вся пылая.

Кречет-Буйтуров не смотрел на нее.

— Просить я тебя хочу...— тянул Марк.

— Ну, ну!

— Чтоб ты выдала за меня свою падчерицу,— быстро вымолвил он, собравшись с духом.

Ответом ему было молчание.

Он поднял глаза на боярыню и изумился, испугался той перемене, какая в ней произошла. Лицо ее было мертвенно-бледно, и черты искажены. Глаза выражали испуг и страдание.

— Что с тобой, Василиса Фоминишна? — воскликнул он, приподнимаясь.

— Ничего, пройдет,— ответила она глухо, прикладывая ладони к вискам.

Через несколько минут она встала и направилась к двери.

— Василиса Фоминишна! — остановил ее боярин.

— Что?

— Ответь же, выдашь али нет за меня падчерицу?

— Нет.

— Почему же? — растерянно пробормотал Марк Данилович.

Стоявшая уже у выхода боярыня медленно приблизилась к нему.

— Почему? Потому, что она — не пара тебе,— заговорила она, задыхаясь и низко наклонясь к лицу Марка,— потому, что ты — сокол и соколиху надо в подруги тебе; потому... потому что ты люб мне, соколик мой, и не уступлю я тебя ей, глупой девчонке. Вот почему, родной ты мой, милый сокол!

Она охватила руками шею Марка, покрыла лицо его поцелуями.

— С первого раза, как увидела я тебя, полюбился ты мне... Виновата ль я, что красавцем ты таким уродился, что не похож ты на других людей? Ах, родной, золотой! Пусть и я тебе полюблюсь хоть капельку. Полюби! Полюби!

В ее голосе слышалась мольба. Она продолжала осыпать боярина поцелуями.

«Вот оно, предчувствие-то злое, к чему было!» — мельк нуло в голове боярина.

Он высвободился из объятий Василисы Фоминишны.

— Оставь, боярыня, негоже... Люба мне Татьяна Васильевна и никто боле,— сказал он.

— Неужели это — твое последнее слово?

— Последнее.

— Смилуйся, родной, милый!

Василиса Фоминишна плакала.

— Ах, боярыня! Да нешто сердцу прикажешь? Люба мне одна падчерица твоя и никто боле, и, коли отдашь ее за меня, вечно тебе спасибо буду говорить.

— Не отдам! — вдруг, выпрямляясь, крикнула Добрая.

— Грех тебе будет.

— Хоть сотня грехов, мне все равно! Не отдам! Я мучусь, мучься и ты. Да еще мало с тебя этой муки! У! Если б силы у меня были, кажется, взяла бы да и разорвала б тебя сейчас! — говорила боярыня, и лицо ее исказилось от злобы, губы побелели, в глазах сверкал злобный пламень.

— Вот ты какая!

— Да, вот я какая! Не отдам! Слышь, пока жива — не отдам! — и с этими словами она направилась к двери и вышла, не обернувшись.

Невозможно описать, что делалось в душе Марка Даниловича. Это была какая-то смесь разнородных чувств. Но преобладала тоска, глухая, давящая.

Он еще около недели пробыл в доме боярыни Доброй... Ни разу за все это время в его комнату не вошли ни Василиса Фоминишна, ни Таня. За Таней был установлен строгий надзор, чтобы она даже мельком не заглянула в комнату боярина.

Когда он уезжал, Василиса Фоминишна вышла его проводить.

— А где боярышня? Проститься бы надо.

— Она за работой сидит. Негоже девке с молодыми парнями прощаться,— услышал он суровый ответ от боярыни.

Марк Данилович поблагодарил ее за гостеприимство и помощь, но простился холодно.

Она проводила его злым взглядом.

Выходя за ворота, боярин посмотрел на окна терема, ожидая, не мелькнет ли там златокудрая головка Тани, но там никого не было.

XXVII

ВЕНЧАНИЕ НА ЦАРСТВО ФЕДОРА ИОАННОВИЧА

31-го мая 1584 года погода была переменчивая. Ужасная гроза разразилась на рассвете. Проливной дождь чуть не затопил некоторые московские улицы.

— Эх, недоброе знамение! — перешептывался народ.— В этакий день великий и такая непогода.

А день был, действительно, велик: день венчания на царство последнего Рюриковича.

Но гроза пролетела. Солнце прорезало тучи и сверкнуло тысячью блесков на дождевых каплях, повисших на ветвях деревьев, на крышах домов, засияло на маковках церквей и облило светом и теплом густую народную толпу на Кремлевской площади. И в самом храме Успения, и перед ним народа столько, что некуда яблоку упасть. И все еще и еще прибывают толпы. Теснятся, давят. Изредка слышатся отчаянные вопли, хриплые стоны, но все это покрывается гулом народным.

Загудели колокола.

Духовник государев, благовещенский протопоп Елевеерий, пронес в собор крест, венец и бармы: следом за ним боярин Борис Федорович Годунов снес туда же скипетр. Снесли и вернулись во дворец.

Народ ждал: сейчас должен проследовать царь.

Вдруг, как по волшебству, настала глубокая тишина: царь Федор показался. Облаченный в одежду голубого цвета, заставлявшую его лицо казаться еще более бледным, чем всегда, с неизменной улыбкой, с безучастным взглядом тусклых глаз, появился ведомый под руки боярами Федор. По сторонам шли окольничьи, в числе их был и Марк Данилович, позади — вереница бояр, блещущих расшитыми золотом одеждами.

В соборе уже все приготовлено. Как раз посредине возвышается «Царский чертог», на который ведут двенадцать ступеней, затянутых «червленым червцом», у западных дверей два кресла: для царя и митрополита, тут же скамьи для бояр. Вся церковь устлана бархатом и камкой.

Прогремело многолетие, едва царь вступил в храм. Федор приложился к иконам, принял благословение от «мудрого

грамматика» * митрополита Дионисия и сел на кресло. Сели и владыка, и бояре. Должно было произойти «великое молчание». Окольничьи, игумены и архимандриты разошлись по храму, увещевая народ стоять тихо. Посидев минуту, царь встал и за ним все.

Федор заговорил невнятно, останавливаясь, словно вспоминая затверженное:

— Отец наш, блаженной памяти царь Иоанн Васильевич, меня еще при себе...— Федор приостановился и потер лоб,—...и после себя благословил великим княжеством Московским и...— он опять приостановился,—...и Владимирским. И велел мне помазатися и венчатися и... и именоваться в титле царем,— быстро вымолвил он, словно вспомнив, и продолжал скороговоркой:— по древнему нашему чину; да о том и в духовной написал.

Окончив речь, царь вздохнул с облегчением.

Митрополит сделал знак. Два архимандрита и два игумена, взяли крест с богато украшенного аналоя, стоявшего у царских дверей, на котором лежали регалии, поднесли его на золотом блюде к архиереям. Два архиепископа и два епископа благоговейно приняли от них блюдо с крестом и передали митрополиту. Дионисий, прежде чем взять крест, поклонился ему и поцеловал, потом благословил им царя и надел на него.

Таким же образом были возложены бармы и венец — только венец принесли все архимандриты и игумены, от них приняли его также все архиепископы и епископы.

После возложения венца владыка возвел Федора на «чертожное» место и здесь передал ему скипетр.

— Блюди и храни его, елико сила твоя! — сказал владыка.

Теперь царь стоял в полном облачении. Загремело многолетие, потянулись архиереи к царскому месту благословить царя и поклониться ему.

Началась литургия, во время которой Федор должен был принять миропомазание и причаститься.

Марк Данилович внимательно смотрел на все происходившее перед его глазами. Его поражали то великолепие и роскошь, которую он видел. Лучи солнца врывались в собор и заставляли сиять и блестеть золотые наряды царедворцев и украшавшие их самоцветные камни. Но почему-то сердце Марка Даниловича тоскливо сжималось, когда он глядел на

---

* Дионисий был прозван «мудрым грамматиком» за его ученость.

Федора, стоявшего во всем блеске своих регалий. Жалким казался ему этот потомок многих сильных и духом, и телом царей. Невольно взгляд молодого окольничего переносился на того красавца богатыря, которому царь, молясь, передавал свой тяжелый скипетр *, на Бориса Федоровича Годунова: этот подданный смотрел царем.

«Вот кому стоять бы надо на чертожном-то месте!»— мелькнуло в голове Марка Даниловича.

А хоры певчих гремели, пение выносилось за пределы храма, летело к многотысячной толпе народа; и народ подхватывал, и все сливалось в одно громовое: «Многая лета».

Свершилось — последний Рюрикович был помазан на царство.

XXVIII

«ДОРОГОЙ ГОСТЬ»

— Дмитрий Иванович! Добро пожаловать! Вот обрадовал!

— Уж будто обрадовал? Сказывают, незваный али не в пору гость хуже татарина.

— Гость дорогой всегда в пору приедет. А я думал, признаться, что Дмитрий Иванович совсем забыл обо мне... Да входи ж ты в светлицу, сделай милость!

Так Степан Степанович встретил своего гостя, Дмитрия Ивановича Кириак-Луппа.

— Э, брат! Да как же ты разнаряжен, а я так в затрапезном платье. Сором просто! Присаживайся, будь добр.

— Что за разнаряжен! Вестимо, одежа ничего, а только у меня есть куда лучше...— самодовольно сказал Кириак-Лупп, опустившись на скамью и важно «уставив руки в боки».

«Ишь, фуфырится, леший!»— с неудовольствием подумал Степан Степанович, однако не подал и вида о своем неудовольствии и спросил вкрадчиво:

---

* Этот скипетр был сделан из китового уса и осыпан драгоценными камнями. Царь Иван Грозный купил у иноземных купцов за 7000 фунтов стерлингов.

— Живется теперь тебе, кажись, куда лучше, чем прежде?

— Не житье, а масленица: друже милый! Вот скоро кормленье * доброе получу — набью карман малость, хе-хе!

— Кормленье? Нешто обещали? — спросил Кречет-Буйтуров, и глаза его завистливо засветились.

— Не то что обещали, а воеводство, почитай, у меня в руках.

— Счастье тебе привалило, Дмитрий Иванович! Однако хорош хозяин я, нечего сказать, гостя-то и не потчую.

С этими словами Степан Степанович хлопнул в ладоши.

Вошел Ванька.

— Поди скажи Анфисе Захаровне, что гость дорогой пришел, Дмитрий Иванович, так пусть она нам перекусить подать велит, да и сама к нам спустится с гостем поздравствоваться.

Ванька отвесил низкий поклон и вышел.

— Ты теперь в Москве все живешь? — спросил Степан Степанович гостя.

— Да... Нельзя иначе: кажинный день во дворе у государя бываю. Да и не расчет — сиди, пожалуй, здесь, многое высидишь.

— Это ты верно. И я вот начал подумывать, не перебраться ль в Москву?

— Дело, дело, Степан Степанович, перебирайся — ноне времена не прежние.

— Что говорить!

— Мы б там, может, для тебя кое-что и устроили, хе-хе!

И Кириак-Лупп многозначительно подмигнул.

— Благодарствую! Да, надо, надо... А ты скоро на кормленье отъедешь?

— Скоро — не скоро, а к Покрову думаю...

— Тэк-с... Еще времени порядочно... Оно, положим, и не заметишь, как пройдет.

— Вестимо.

— Кушать пожалуй, боярин, все изготовлено,— доложил Ванька.

— Прошу, гость дорогой, в столовую избу хлеба-соли отведать,— сказал хозяин.

— Ой, уж, право, не знаю — сытехонек я.

---

* В старину часто бояре посылались воеводствовать с правом «кормиться» от воеводства, т. е. пользоваться известными доходами.

— И полно! Этакий конец от Москвы проехал да сытехонек. Пойдем, пойдем, не чурайся — обижусь.

— Что с тобой делать! Пойдем уж,— промолвил Дмитрий Иванович, поднимаясь.

Бояре закусывали долгонько. С легкой руки Анфисы Захаровны, которая, как подобает гостеприимной хозяйке, поднесла гостю первую чарку, Дмитрий Иванович и Степан Степанович приналегли на напитки, мешая и мед, и наливку, и «зелено вино», и заморские вина.

Когда они поднялись из-за стола, их лица были красны, как кумач, а ноги приобрели нехорошую способность спотыкаться на ровном месте.

— Так ты, брат, того, помни об обещанье, а только молчок пока что,— заплетающимся языком бормотал Кириак-Лупп, прощаясь со Степаном Степановичем.

— Ты-то, скажи, друг ты мне — али нет? — бормотал тот.

— Ну, вестимо ж, друг.

— Так и верь другу. Как сказано, так и сделается, а я никому ни гу-гу.

Когда Дмитрий Иванович, поддерживаемый под руки холопами и сопровождаемый хозяином, спускался с крыльца, чтобы усесться в свой возок, из сада выбежала Катя и, увидев гостя, остановилась как вкопанная.

Кириак-Лупп уставился на нее масляными глазами.

— Эх, красоточка! — проговорил он и причмокнул губами.

— Ядреная девка, точно,— заметил Степан Степанович и крикнул: — Катька, подь сюда!

Девушка смущенно приблизилась.

— Поцелуй друга моего любезного! — приказал отец.

Кириак-Лупп отер губы, Катя отстранилась.

— Что ты, батюшка?!

— Целуй, коли сказываю! Может, тебе он еще поболей, чем друг, станет...

— Тсс!..— замахал руками Дмитрий Иванович.— Молчок! А коли девица боится, так мы сами ее...

И он обнял боярышню, привлек к себе и поцеловал в губы. Катя от этого поцелуя испытала только гадливое чувство, Кириак-Лупп захихикал, и глаза его еще больше замаслились.

Боярышня тотчас же поспешила скрыться в сени, а Дмитрий Иванович посмотрел ей вслед и пробормотал:

— Мед, а не девка!

После этого наконец он окончательно распрощался со Степаном Степановичем.

XXIX

СВАТОВСТВО

Высокая, худощавая, несколько неладно скроенная боярыня сидела за питьем утреннего сбитня. Тут же за столом сидел Александр Андреевич Турбинин. Между ним и боярыней было заметно сходство в чертах лица. Молодой боярин как будто несколько волновался. Он то опускал кружку со сбитнем и взглядывал на боярыню, будто собираясь что-то сказать, то опять принимался за сбитень. Наконец он решительно оставил кружку.

— Матушка!

— Что скажешь?

— Давно сбираюсь потолковать с тобой я малость.

— А ты не сбирайся, а толкуй.

— Надумал, вишь, я... Потому, говорят, не подобает быти человеку единому...— тянул Александр Андреевич.

Лицо его матери, Меланьи Кирилловны, стало серьезнее.

— Ну?

— Хочу я себе жену сватать.

— Доброе дело! Не раз уж я тебе говорила об этом, а ты все отлынивал. Невест и не перечтешь тут...

— У меня на примете есть.

— Кто такая?

— Дочка Степана Степановича Кречет-Буйтурова.

— Ну, эта, пожалуй, у тебя мимо носа проедет.

— Это почему?

— Ведом мне нрав Степана Степановича — корыстный старик. Он зятька себе метит побогаче подобрать.

— С отцом в дружбе был, опять же и меня любит, да и уж будто я — такой бедняк? Сдается мне, что он не прочь будет породниться.

— Что попусту толковать? Там видно будет! Вот как придет Феоктиста, так и пошлю ее сватать за тебя Катю...

— Чем ждать ее, лучше б ты сама съездила, матушка.

— Съезжу и я, только наперед надо сваху послать.

Дня через два после этого разговора сидела у Анфисы Захаровны Кречет-Буйтуровой маленькая худощавая старуха в темном сарафане и синем повойнике на голове. Блеклые глаза ее так и бегали. Говорила она сладким голосом; улыбка, казалось, никогда не покидала ее тонких губ.

— Ты не хлопочи, матушка Анфиса Захаровна. Я ведь так, мимоходом, спроведать забежала. Шла, это, мимо, дай, думаю зайду...

— От хлеба-соли, Феоктистушка, не отказываются,— ответила боярыня, между тем как Фекла уже уставляла стол разными яствами.

— Ты отколь же шла?

— Да к Москве пробираюсь — давно уже чудотворцам московским не кланялась.

— Доброе дело, Феоктистушка,— сказала Анфиса Захаровна, а сама подумала: «Как пить дать свахой пришла... Только от кого?» — В Москве будешь — за нас, грешных, помолись.

— За своих благодетелей да не помолиться!

— Пожалуй за стол, Феоктиста.

— Ох, уж не знаю, как я и есть буду? — сказала сваха, помолившись на иконы и садясь за стол.

— А ты принатужься.

— И то принатужусь.

Она и принатужилась так усердно, что через час половины поданных на стол яств как не бывало.

— Ох, грехи наши тяжкие! До чего я налопалась,— промолвила Феоктиста, отодвигая от себя тарелку.

— А ты б вот этого кусочек еще...

— Нет, уж уволь — в рот не идет.

— Так сбитеньку либо кваску испей.

— Кваску, пожалуй что...

— Сегодня ночевала я у Меланьи Кирилловны. Поклон она тебе прислала,— говорила старуха, прихлебывая квасок.

— Благодарствую. Здорова ли она?

— Здорова, Бога благодаря. Добреющая она боярынька, одно слово — андел!

— Да, она точно что...— ответила Анфиса Захаровна и насторожилась, чуя, что Феоктиста как будто начинает переходить к делу.

— Андел! — повторила сваха.— Вот уж верно можно сказать — будь она кому мачехой либо свекровью — чужого века не заела бы.

— Что говорить, добрая, добрая...

— А нищей-то братии как она помогает. По субботам сени полные наберется нищих-то, и всем — кому грош, кому и два... никого не обидит. Оно точно: у ней и достаточек есть.

— Чай, не велик?

— Ну, не скажи — изрядненький. Покойник так и разделил: половину всего жене, половину сыну... У Александра Андреича столько же достатка выходит, сколько и у матери евонной. Парень — не бедняк... А уж и парень! Золото, а не человек! Окромя ласки да доброго слова, ничего от него и не услышишь. И разумен, и не урод.

— Да, он — парень хороший.

— А где ж Катюша? Здесь все была...

— Ушла она к себе в горенку. Чай, за пяльцы села.

— Соскучилась, знать, с нами-то сидючи. Вестимо, девица молодая, нешто занятно ей наши речи слушать! Время-то как бежит — давно ль малой девочкой Катя была, а теперь уж невеста.

— Точно что, а только мы выдавать не торопимся.

— Чего торопиться! В вековушах не останется.

— Ну, вестимо.

— И лицом она красавица, и прикрута за ней немалая... Ведь не малая?

— Степан Степанович, чай, для дочки не пожалеет.

— Для нее пожалеть — для кого же и не жалеть? Вестимо, Катя не засидится, и зря спешить нечего, а только все же родительскому сердцу приятней дите свое поскорей замужем увидать, внучат поласкать.

— Это ты верно, а только народ ноне пошел все такой непутевый. Выдашь этак дочку, да потом, пожалуй, и плакаться придется.

— С разбором надо женихов искать. А только много есть и добрых парней, не все уж гуляки да сорви-головы. Вон хотя бы Александр-то Андреич — чем Катюше не пара?

И сваха пытливо уставилась на боярыню. Но Анфиса Захаровна и сама была тертый калач — лицо ее было непроницаемо, как маска.

— Молод он еще! — равнодушно промолвила она.

— Так нешто это — помеха? Чай, не стариками люди женятся.

— Так-то оно так, а только у него, чай, еще ветер в голове.

— Поищи по всей Москве другого такого разумника — не сыщешь.

— Да я его не хулю.

— И Степан Степанович, кажись, его любит.

— Мальцом знал.

— Вот видишь. Эх, ей-же-ей, что за парочка бы была

их — загляденье! Он пригож — она еще пригожей, он добр — она еще добрей... Эх, будь моя воля — сейчас бы под венец их поставила!

— Мужняя воля, не моя.

— А ты б поговорила с ним.

— Поговорить можно.

— К тебе на деньках Меланья Кирилловна заглянуть сбирается.

— Милости прошу.

— Приду с нею и я.

— А чудотворцы московские?

— Успею еще побывать, коли Бог дней продлит.

— А и ловка же ты, Феоктиста!

— Хе-хе! Что за ловка! Ловчей меня люди бывают.

— А только я давно смекнула, что ты от Меланьи Кирилловны свахой прислана.

— Да я ж на то и била, чтоб ты смекнула, а напрямик сказать было не рука: вдруг да не по нраву сватовство придется, так ты б меня, может, и помелом да по загривку.

— Эвось! Уж и помелом!

— Все может статься, как человек осерчает. Так ты со Степаном-то Степановичем поговори!

— Как сказано.

— А мы на деньках...

И сваха стала прощаться.

XXX

В ОЖИДАНИИ

Катюша недаром убежала из комнаты, где сидели ее мать и Феоктиста: она чувствовала, что, если останется там, то не выдержит и чем-нибудь выдаст свое волнение. Дело в том, что она отлично знала, зачем пришла Феоктиста: Александр Андреевич еще накануне уведомил ее. Выбежала она и приложила ухо к двери и прослушала весь разговор.

Когда сваха ушла и Анфиса Захаровна вышла в соседнюю комнату, чтобы переодеться, и наткнулась на дочь, она невольно обратила внимание на красное, что кумач, лицо девушки.

— Что с тобой, Катька? Чего пылаешь так?

— Ничего, матушка... Так... Сама не знаю...— пробормотала боярышня, а сама еще пуще разгорелась, до того, что слезы на глазах проступили.

— Ой, неспроста! Чай, не беседу ль нашу подслушала? Ужо я тебе!

И боярыня шутливо погрозила дочери пальцем, добродушно улыбаясь.

— Слышала, матушка, был грех! — ответила Катя, обнимая мать и пряча на ее плече свое смущенное лицо.

— Ишь, озорная! Ну, и что ж, рада, поди?

— Уж так-то рада, что и сказать не могу!

— Рада с отцом, с матерью разлучиться? — в голосе Анфисы Захаровны слышался упрек.

— Нет, нет! Не тому! Не разлуке с отцом-матерью радуюсь...

— Так к чему же?

— Тому... Тому, что за Сашу меня выдадут!

— За Сашу! Ах, ты!.. Да у вас что же с ним? Никак делишки завелись?

— Люб он мне, и я ему.

Анфиса Захаровна даже всплеснула руками.

— И когда успели! Уж я ль за тобой не присматриваю! Взять бы плеть сейчас надо да постегать тебя малость... Мать родную перехитрила, что вокруг пальца обвела.

— Не серчай, матушка!

— Да уж что серчать, такая-сякая.

Катя покрыла поцелуями лицо матери.

— А ты с батюшкой-то поскорей поговори,— шепнула среди поцелуев боярышня.

— Не терпится! Не стоила бы ты, озорная, да уж, так и быть, поговорю не мешкая, либо сегодня вечерком, либо завтра... А уж тебя теперь с глаз не спущу.

Хотя Анфиса Захаровна решила «не спускать» дочь с глаз, однако это не помешало Катюше спустя час-другой после этого разговора повидаться с Александром Андреевичем. Сколько толков у них было о будущем! Сколько планов они строили! Счастье казалось так близко.

Вечером в этот же день Анфиса Захаровна не стала говорить с мужем о сватовстве Турбинина: Степан Степанович был не в духе.

— Завтра, коли что... коли не в сердцах будет,— сказала она дочери.

Катюша стала ждать этого завтра. Она не спала целую ночь и не жалела об этом. Ее голова была полна счастливых грез. Когда рассвело, она поднялась с постели и открыла окно. Свежий утренний слегка сыроватый воздух повеял на нее, грудь жадно вздохнула аромат зелени, несшийся с полей. Золотая полоска зари разгоралась все ярче и кидала светлый отблеск на верхушки деревьев, на терем, на счастливое личико боярышни. Птицы проснулись и весело щебетали. Катюше казалось, что они щебечут об ее счастье.

И грезы неслись светлые, радостные, как это летнее утро.

XXXI

РАЗБИТЫЕ МЕЧТЫ

— Степан Степанович, у тебя делов нет неотложных теперича?

— Нет, а что?

— Потолковать малость с тобой надобно,— сказала Анфиса Захаровна, когда Кречет-Буйтуров, пообедав, хотел встать из-за стола.

— О чем это?

— А вот сейчас... Катька! Подь в горницу, сядь за работу.

Боярышня поняла, почему мать ее гонит. Она покорно вышла, но в терем не пошла, а притаилась у двери, как вчера во время беседы Феоктисты с матерью, и приложила ухо к щели.

— Вишь, Степан Степанович, что я тебе хотела сказать — Катька наша уж становится на возрасте.

— Так что ж?

— А то ж, что пора б о ней подумать.

— И думай, коли тебе охота, хе-хе!

— Я что? Я думаю, да нешто мои думы что значат? Сказано: у бабы волос долог, да ум короток.

— И верно сказано.

— Верно ль — не верно, то сказ иной: иная баба и двух мужиков за пояс заткнет. Ну, да это мимо... А я к тому говорю, что ведь не я, а ты в дому голова. Тебе бы надо подумать, как бы Катерину за доброго человека пристроить.

— Ой, Анфиса! Сдается мне, неспроста ты эту речь за-

вела! — с усмешкой промолвил Степан Степанович: после сытного обеда и изрядного количества опрокинутых за ним чарок он был в хорошем расположении духа.

— Неспроста! Вестимо, неспроста! — ворчливо отвечала Анфиса Захаровна, которую раздражал насмешливый тон мужа.— Сватать надо Катьку.

— Так и сватай.

— А ты что думаешь? Я и сватаю.

— Ой ли? За кого?

— За ладного парня... Намедни приехала ко мне Феоктиста.

— Это сваха-то, богомолка?

— Она самая. Привезла она нам поклон от Меланьи Кирилловны.

— Ну, и что ж?

— Закидывала она уду на тот сказ, не охоч ли будешь ты Катерину нашу выдать за Александра Андреевича.

— А ты как о сем смекаешь?

— Думается, почему б и не выдать? Он — парень, можно сказать, золотой и достаток есть...

— Какой он жених! У него еще ветер в голове. Вот я так нашел жениха, не ему чета!

— Ты?!

— Я! Ты вот думала, я о дочке и думать забыл, ан пораньше тебя вспомнил! Хе-хе!

— Кого ж это ты?

— Хороший жених! И летами не мальчишка, и нрава доброго, и у государя в чести, и у Бориса Федоровича не в опале. Скоро кормленье знатное получит. Словом, такой жених, какого лучше не найти!

— Кто же, кто? — нетерпеливо воскликнула боярыня.

— Дмитрий Иванович Кириак-Лупп! — торжественно вымолвил он.

Анфиса Захаровна всплеснула руками.

— В уме ль ты, Степан Степанович!

Боярин нахмурился.

— Ты-то не ошалела ль! — вымолвил он сурово.

— Да ведь он ей в отцы годится.

— То и хорошо.

— И потом лик-то у него какой? Взглянуть страшно!

— С лица-то не воду пить. Все это — одни россказни пустые бабьи. Как порешил, так и сделаю, и ты мне не перечь лучше, а убирайся-ка подобру поздорову!

Анфиса Захаровна хотела что-то сказать, но не успела:

дверь распахнулась, и Катя с плачем вбежала в комнату: вбежала и кинулась в ноги отцу.

— Батюшка! Родимый! Не губи! Не выдавай за немилого! — обнимая колени Степана Степановича, умоляла боярышня.

Кречет-Буйтуров вдруг озверел.

— Это что еще! Вон пошла, дрянь неумытая! Вон, говорю, а то за косу оттаскаю!

— Батюшка! Родной! — стонала девушка.

— А! Ты все свое! Так я ж тебя!

Степан Степанович поднял дочку и тряс, схватив за плечи, приговаривая:

— Я те покажу отца не слушаться! Я те шкуру спущу!

— Степан Степаныч! Побойся Бога! Чего ты ее колотишь! — вступилась Анфиса Захаровна, схватывая мужа за руку.

— Ты что за заступница? И тебе, смотри, то же будет. Завтра же за шитье приданого принимайтесь — к осени чтоб все готово было... А теперь вон с глаз моих! Вон! — и он вытолкнул жену и дочь из комнаты и захлопнул за ними дверь.

Анфиса Захаровна увела обессилевшую от горя Катюшу в горницу. Боярышня кинулась лицом в подушку и глухо рыдала. Мать пробовала ее утешать, но бесполезно. Потом подошла Фекла Федотовна.

— Голубка моя! Полно тебе убиваться-то! — сказала старуха, гладя девушку по голове.

— Ах, Феклуша, Феклуша! — только и смогла сказать боярышня.

— Тяжко тебе, дитятко... Знаю, знаю... Эх, родная! Мало ли что в жизни человеческой бывает! Терпи, касаточка, да на Господа надейся! Господь всякому свое испытанье посылает. Подыми-ка головушку да послушай меня, старую: много я на веку своем всяких всячин и сама терпела, и видывала. Послушаешь про беды людские, может, твоя беда тогда тебе не так тяжка покажется, и на душе у тебя полегчает. Встань, родная!

Катюша нехотя оторвала голову от подушки и села на постели, закрыв лицо рукавом и всхлипывая. Ключница опустилась рядом с нею и заговорила про дела былые. Ровная речь старухи успокоительно действовала на расстроенные нервы боярышни. Сначала она почти не слушала Феклу, потом рассказ понемногу стал ее занимать. Когда Фекла, истощив наконец весь запас, отошла от нее, на лице Кати уже не было слез. Но слезы остались в сердце, и боярышня чу-

яла, что никогда-никогда этих слез не выплакать, что теперь не может быть для нее неомраченной радости, не может быть счастья.

Когда дня через два после этого к Кречет-Буйтуровым приехала Меланья Кирилловна, Анфиса Захаровна встретила ее с тоскливым лицом. Она приняла и угостила старую знакомую со всем своим обычным гостеприимством, но о сватовстве не промолвила и слова. Турбинина подходила к ней и так, и этак, но Кречет-Буйтурова либо отмалчивалась, либо притворялась непонимающей и сводила разговор на иное. Пришлось Меланье Кирилловне спросить напрямик:

— Что, говорила ты со Степаном Степановичем о сватовстве Александровом?

Тут уж хозяйке нельзя было «отлынуть».

— Да, говорила.

— Что ж он?

— Ох, матушка! Много тут было и слез, и всякой всячины. У него, вишь, свой нашелся.

— Свой жених?!

— Ну, да. За него и прочит Катеньку. Да и жених-то — Дмитрий Иванович Кириак-Лупп!

— Да что ты!

— Вот те крест! Ну, а мое дело бабье, и рада бы по-своему повернуть, да ничего не сделаешь.

— Да, да, уж, вестимо, муж — голова.

Причиною того, что Меланья Кирилловна так поспешила с приездом к Кречет-Буйтуровой, были настояния Александра Андреевича. Дело в том, что видеться с Катей ему в эти дни не пришлось: он приходил несколько раз на дню на обычное место свиданий, но боярышня не являлась. Турбинин не мог знать, какая сцена произошла между боярышней и ее отцом, не мог знать, что боярышня заболела после пережитого потрясения, почему и не являлась на свидания, и терялся в различных догадках. Естественно, он желал положить конец своим мукам и торопил мать с поездкой к Кречет-Буйтуровым, чтобы порешить со сватовством, на благоприятный исход которого он благодаря уверениям Феоктисты надеялся. Несмотря на надежду, он сильно волновался, ожидая возвращения матери. Поэтому, едва вдали показался возок возвращающейся Меланьи Кирилловны, он бегом пустился ей навстречу.

— Ну, что? Как? — кричал он ей издали.

Лицо матери было сумрачно. В ответ ему она только махнула рукой да сжала губы.

Александр Андреевич побледнел.

— Что? Отказали? — пролепетал он.

— Опоздали мы — Катя уже просватана за Дмитрия Ивановича Кириак-Луппа,— ответила наконец мать.

Александр Андреевич остановился как вкопанный.

— За Кириак-Луппа...— повторил он беззвучно.

Возок Меланьи Кирилловны уже успел доехать до ворот и свернуть в них, уже боярыня успела выбраться из него, пробрать двух подвернувшихся не к разу холопок и отправиться в горницы переодеваться, а молодой боярин все по-прежнему стоял в поле и, заломив руки, повторял все одно и то же:

— За боярина Кириак-Луппа! За Кириак-Луппа!

Наконец он вышел из своего столбняка и побрел, но не к воротам, а в сторону, противоположную им, в поле. Ему было все равно, куда идти: он знал, что нигде не укрыться ему от того жгучего горя, которым было полно его сердце. Он шел долго, не зная устали. Уже солнце заметно начало клониться к вечеру, когда его окликнул молодой мужской голос. Он оглянулся и увидал сидящего на коне Марка Даниловича.

— Ты куда, Александр Андреевич?

Тот махнул рукой и ответил:

— Сам не знаю.

— Что грустен больно?

— Горе у меня, Марк Данилович, великое!

Кречет-Буйтуров с участием посмотрел на него.

— Взглянуть, так видно. Вот что, пойдем ко мне: поведаешь горе свое, может, тебе и легче станет.

— Пойдем, пожалуй,— безучастно отозвался тот.

Марк Данилович за последнее время сдружился с Турбининым подобно тому, как и с Тихоном Степановичем Топорком, и эти двое молодых бояр составляли его обыкновенную компанию.

— Ты не вздумай угощать меня, Марк Данилович,— кусок мне в горло не полезет,— сказал Александр Андреевич, когда они пришли в усадьбу.

— Ах, ты, бедный, бедный! Куда веселость твоя былая девалась? — промолвил хозяин.— Расскажи мне, что с тобой стряслось?

— А вот что... Был я и молод, и удал, и жить мне хотелось, а теперь младость моя кончилась и удаль пропала, на грудь уныло головушка свесилась, и жизнь мне не в радость.

И Александр Андреевич рассказал о своем неудачном сватовстве за Катюшу.

— Ну, скажи теперь на милость, чем залить мне огонь, что в груди горит? Змею-тоску чем задушить? Бражничать, что ли? И то! Марк! Друже! Дай зелена вина чару пообъемистей! Дай! — закончил свою речь Александр Андреевич.

Марк Данилович отрицательно покачал головой.

— Нет, друг добрый! На зелено вино плоха надежда: не зальет оно твоего горя, только пуще его подбавит.

— Так что же делать? — воскликнул Турбинин.

Кречет-Буйтуров выпрямился во весть рост.

— Терпеть! — промолвил он торжественно.— Терпеть! Али, думаешь, ты один страждешь? Али уж лютей твоего горя не бывает? Быть может, и у меня на душе не легче твоего. Что ж и мне в вине горе топить? Да и не легче твоего, не легче! И мне люба она, Танюша, больше всего на свете, как тебе Катя, и мое сердце, чай, не меньше твоего счастья просит... А терплю!.. Правда, нелегко терпеть... Иной раз, как нахлынет — так бы пошел и утопился... Пересилить себя надо, надеждой тешить — рано ль, поздно ль, придет счастье. И придет! Придет!

— Нет, уж где!

— А ты надейся, надейся крепко — придет!.. И должно прийти! Быть может, на миг один, быть может, и не такое, как ты ждешь, быть может, ты ищешь его здесь, а оно придет с другой стороны, но придет, придет. Верь, друже!

— Да коли не верится?

— А ты осиль себя, заставь верить. Верь, верь!

— Сладко верить! Быть может, стало быть, еще не всему конец, о Господи!

— Ага! Тоска-то меньше стала!

— Как будто свет слабый сквозь тьму проблеснул.

— Проблеснет и ярче, только верь да надейся!

XXXII

УДАЧНАЯ ПОЕЗДКА ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА

— Оставался бы лучше ночевать, Дмитрий Иванович, что за радость ночью в пути быть!

— Нет, беспременно надо в Москву, дела такие, — отве-

тил Степану Степановичу Кириак-Лупп, не совсем твердыми шагами направляясь к двери.

— Я к тому, что шалят здесь ноне очень. Вон намедни усадьбу Герасима Стратилатовича сожгли и пограбили... Ты, чай, знаешь Герсима-то Стратилатовича?

— Ну, еще бы! Так пограбили его? Жаль! А только он и трусишка большой, потому, может, этакое и приключилось: другой такого бы гону задал ворам, что они и своих не узнали б! Да коснись до меня — я б им задал! — говорил, остановясь перед дверью и приняв воинственную позу, Дмитрий Иванович.

Кречет-Буйтуров ухмылялся в усы.

— Ты,— хват, что и говорить.

— Да уж, не хвалясь скажу, никогда трусом не был! — сказал Кириак-Лупп и вдруг круто повернул разговор: — что невестушка-то оправилась ли?

— Ничего теперь, слава Богу!

— Чай, ждет не дождется свадебки-то? Хе-хе-хе! Эх, взглянуть бы на нее одним глазком!

— Не водится этого, знаешь, Дмитрий Иванович.

— Все это пустое, что не водится. Теперь я ведь, почитай, что и не чужак для нее — без мала муж ейный.

— То-то и оно, что без мала.

— Да я, ей-ей, одним глазком! Сделай милость!

— Разве уж дружества нашего ради?.. Эй, кликнуть Катьке, чтоб пришла сюда!

В ожидании прихода невесты Кириак-Лупп говорил без умолку.

— И как это я хорошо надумал съездить сюда. С утра меня сегодня скука брала. Так вот, ровно бес в ухо жужжит: «съезди да съезди!» Одначе, смекаю, что совестно — седмицы не прошло, как я был здесь.

— И не стыдно тебе?

— Да ведь, хоть и знаю, что ты — хозяин радушный, а только все ж, думается, коли не к разу попадешь, так ты и поморщишься.

— Вот выдумал!

— Чай, человек же ты, как и все? Ну, как про других, так и про тебя подумаешь. Думал я, думал, да и не стерпел — поехал!

— И хорошо сделал.

— И про что и говорю. И угостился я порядком, и побеседовал по-приятельски и на невестушку полюбуюсь... Чего лучше! А! Вот и моя красавица!

Катя стояла перед ним бледная, исхудалая, угрюмая. В ее взгляде, устремленном на жениха, выражалась злоба.

— Что же не кланяешься, дурища? — сурово заметил ей отец.

Она отвесила поклон и снова приняла прежнюю позу. Дмитрий Иванович разглядывал ее с плотоядной улыбкой.

— Да, с тела маленька спала, и лик малость побелел, а только ничего, все ж красоточка! Ай, да и женка же будет у меня! — сказал он и потрепал боярышню, которая с отвращением отшатнулась, по щеке.

— Стыдится, хе-хе! Погодь малость, скоро ко мне попривыкнешь!

— Ну, иди себе! — приказал Кате отец.

Боярышня вмиг убежала.

— Уж и прогнал? Ишь какой! Делать нечего — надо плестись мне, горемычному,— сказал Кириак-Лупп, выходя вместе с хозяином в сени.

— Знаешь что, Митрий Иваныч, пошлю-ка я с тобой хоть холопишку — все побезопасней,— промолвил Степан Степанович, когда гость взбирался на седло.

— Пошли, пожалуй, а только я ведь и один доберусь.

— Вдвоем все ж лучше. Вишь, темнеет уже совсем. Филька!

— Ась? — отозвался коренастый молодой парень.

— Поезжай-ка проводить боярина. Завтра вернешься.

— Слушаю, боярин,— ответил Филька и пошел седлать себе коня.

Было уже совсем темно, когда Кириак-Лупп с холопом добрались до леса.

Весело балагуривший все время с Филькой боярин стал гораздо менее разговорчивым, когда въехали в лес, а вскоре и совсем замолк. Прежде ехавший спокойно, он теперь начал ерзать в седле, то понукал коня, то заставлял его идти шагом.

— А что здесь... не того? — дрожащим шепотом спросил он у Фильки, когда они находились в глубине леса.

— Грабят ли, что ль? И-и, как еще! — довольно неуспокоительно заметил холоп.

— Тшш!.. Чего ты орешь, оглашенный! Услышат!

— Уж коли «они» тут есть, так, поди, давным-давно нас расчухали.

— Рас... рас... чу... ха... ли.., ду... маешь? — спросил Дмитрий Иванович: у него зуб на зуб не попадал от страха...

— Беспременно! На то и воры, чтобы все расчухать. Какие ж были б они разбойнички, коли б мимо носа всех пропускали? Вот на энтом самом месте намедни купца нашли зарезанного.

Дмитрий Иванович чуть не взвыл. Он замолотил нагайкой по бокам коня и шептал молитвы, какие приходили на ум. Вдруг его конь зацепился ногами за что-то и грузно упал на землю.

— Застава воровская,— пробормотал Филька, лошадь которого также повалилась. Чьи-то руки протянулись из темноты и сжали горло обезумевшего от ужаса «храброго» боярина.

— Филька! — успел только он прохрипеть.

— Пыряй их ножом, душегубов,— отозвался холоп,— и я...

Но дальше ему некогда было продолжать. На него навалилось что-то тяжелое, чьи-то руки чуть не ломали ему кости, его мяли, связывали.

XXXIII

УГОВОР

Пламя костра, то вспыхивая, то ослабевая, заставляло то выступать из мрака, то тонуть во тьме стволы вековых деревьев, несколько дремлющих, понуря голову, лошадей и группу людей самых разнообразных возрастов, начиная от безусого парня и кончая седобородым стариком. Людей много — куда больше двух десятков. Они столпились в кружок и молча смотрят на бледное лицо стоящего со связанными руками в центре круга Фильки. Напротив холопа стоит, покручивая ус, молодой человек плотного сложения и пристально смотрит ему в лицо.

— Что? Не признал меня, Филька? — спросил он.

— Стало быть, ты это и есть, Ильюша Лихой? А я смотрю и глазам не верю — сдается будто ты, а то будто и не ты,— вскричал Филька.

— Времени, кажись, не больно много прошло с той поры, как с тобой не видались. Неужли так переменился я?

— Есть таки! Сказываю, будто ты и будто не ты.

— Что ж, и не диво, так оно и на деле есть: я стал словно

и не я: прежний Ильюшка-холоп с атаманом Ильею Лихим перемешался.

— Да нешто ты у душ... у разбойничков этих честных за атамана? — недоверчиво спросил Филька.

— Нет, за бабу-кашеварку!

Разбойники громко рассмеялись.

Холоп смущенно забормотал:

— Я не то, чтоб тебе веры не давать, я так, спроста...

— Да, братику, в недолгий я срок в атаманы вышел, потому — головы своей не жалел, ни перед чем не задумывался... Товарищи у меня молодцы-ребята, живем мы привольно, никого над собой не знаем, сами всем жару задаем. Любо! Поступай, что ль, к нам?

Холоп замотал головой.

— Нет, мне это не с руки...

— Как хошь, твоя воля... Вздерните-ка его, братцы!

Фильку тотчас же поволокли к ближайшему дереву. Тот заорал во все горло.

— Знал бы, что его вздернут, не стал бы его и живьем брать — там бы и прикончил,— пробормотал один из разбойников, помогая тащить холопа.

— А разве ты его приволок? — спросил другой.

— Ты небось! — огрызнулся первый.— Слыхал я, как он того, другого-то, назвал боярином, ну, и смекнул, что коли тот — боярин, так этот — холоп, должно быть. А как нам «батька» приказывал холопов беречь и живьем, коли можно, брать, так я его живьем и взял. А только и ерепенился он здорово; пришлось с ним повозиться... Ну-ну, не упирайся! — добавил он, обращаясь уже к Фильке.— Иди, коли ведут!

Холопа подтащили к дереву. Через минуту пеньковая петля уже была у него на шее.

На лице Ильи виднелось волнение.

— Илья! Ильюша! Уже забыл, что мы с тобой приятелями были? Почто губишь? Смилуйся! Отпусти! — вопил Филька.

— И рад бы, да у нас обык такой: кто не пристал к нам — петлю тому на шею,— ответил атаман.

— Смилуйся! Я тебе заслужу, чем хочешь.

Илья задумчиво посмотрел на него.

— Вот что, я б тебя отпустил, если б...

— Ну-ну? Все сделаю, что потребуешь.

— Есть у меня ворог один лютый — боярин Степан Степанович. Через него, проклятого, вся жизнь моя прахом пошла. Ловлю я его, да все он мне в руки не попадается: опас-

лив, старый черт! А на усадьбу напасть — дворни много, отобьется, пожалуй. Так вот ты мне службу и сослужи: впусти тайком меня с молодцами моими в усадьбу. Холопам мы зла не сделаем, только руки, ноги свяжем им, чтоб не помешали, а с боярином расправимся и добро его пограбим. Ну, что, берешься? — спросил Илья Фильку.

Тот некоторое время колебался, потом глухо промолвил:

— Берусь!

— Развяжите ему руки.

Это было быстро исполнено.

— Крестись, что слова не порушишь.

— Вот те крест святой — не порушу.

— Снять петлю!

Филька радостно отбежал от дерева.

— Так я, пожалуй, и домой... Вон мой коняга стоит...

— Поезжай, да смотри — не сделаешь, как уговорено — смерти не минуешь.

— Ну, вот! Как сказано, так и сделаю,— ответил Филька, уже взбираясь на коня.— Прощай, Илья-атаман!

Позднею ночью Ванька-ключник разбудил Степана Степановича.

— Что такое? — испуганно спросил боярин.

— Беда стряслась.

— Горим? Пожар?

— Нет, от этого Бог миловал. Иная беда — Дмитрия Ивановича душегубы убили. Филька прибег ни жив ни мертв.

— Вот те на! Вот те и жених! — протянул Степан Степанович.— Царство ему небесное! Ведь сказывал я: не езди, ночуй! — Нет-таки! Поехал! Сам себе и наделал. Он всегда, покойник, дураком был. Ай-ай, надо нам в Москву отсюда поскорей перебираться: душегубов развелась тут тьма-тьмущая.

XXXIV

СЛЕДСТВИЕ ПОГИБЕЛИ КИРИАК-ЛУППА

Весть об убийстве Дмитрия Ивановича быстро разнеслась по всем окрестным усадьбам. Все ужасались, ахали, негодовали на Кириак-Луппа, зачем так неблагоразумно пустился

в дорогу ночною порой, кляли душегубов, подумывали о переезде в Москву и этим ограничивались: мер против разбойников не принимали никаких.

Меланья Кирилловна была занята со своей ключницей какими-то глубокомысленными хозяйственными расчетами, когда в комнату внезапно вбежал Александр Андреевич.

— С нами крестная сила! Что стряслось? — испуганно воскликнула боярыня.

— Ох!.. Такое!.. Фу! Отдышаться не могу! Бежал как угорелый.

— Да скажешь ли ты, что приключилось?

— Радость, матушка, мне большая!

— Ну!

— За Катюшку можно мне снова посвататься, теперь без помехи: жениха-то ее, Дмитрия Ивановича, намедни душегубы в лесу прикончили!

— Тьфу! Шалый! Человека убили, а он радуется! Безбожник! — с сердцем воскликнула боярыня, а потом, перекрестясь, добавила: — Царство небесное Дмитрию Ивановичу. Не думал, чай, он, горемычный, что умереть ему без покаяния доведется. Всякому своя смерть... Так ты говоришь, там с пуд земляники набрано? — вернулась она к разговору с ключницей.

Александр Андреевич перебил ее:

— Матушка, теперь тебе опять съездить к Кречет-Буйтуровым надо.

— Не поеду,— отрезала она.

— Как же так? — растерянно пробормотал он.

— Да так же — не поеду да и все.

— Ну почему же?

— Довольно с меня и одного раза было. Опять, может, придется вернуться не солоно хлебавши. Посылай, кого хочешь, а я не поеду — не радость мне соромиться.

— Да что же это, матушка?

— А то же... Не поеду, вот и весь сказ. Ну, иди, иди отсюда, не мешай нам!

— Коли так, то я и сам съезжу,— воскликнул Александр Андреевич, поспешно направляясь к двери.

— И хорошо сделаешь... Так ты говоришь, земляники...— стала продолжать боярыня прерванный разговор с ключницей.

Между тем Турбинин спешно прошел на свою половину и начал собираться. Он решил не откладывать дела; в успехе сватовства он теперь почти не сомневался. Через час он, верхом на коне, уже съезжал со двора.

— Заехать разве за Марком Даниловичем? Может, он не прочь будет со мною отправиться. Все лучше, чем одному — как будто бы и со сватом.

Он поскакал к усадьбе Марка. Племянник Степана Степановича охотно согласился поехать с ним.

— Ну, что-то будет! Неужели и теперь отказ получу? Помоги, Боже! — говорил Александр Андреевич, въезжая во двор усадьбы старого Кречет-Буйтурова.

Степан Степанович встретил их очень радушно.

— Что долго не заглядывал, Лексашка? И ты, племянничек, хорош — где б дядю навестить, он и носа не кажет. Входите, входите да присаживайтесь...

Потом, как водится, старый боярин крикнул Ваньку и велел подать угощенья. Гости отказались, но он и слушать не хотел,

— Что ты будто маленько не в себе? — заметил хозяин Турбинину, который, видимо, волновался.

Тот замялся.

— Дело есть у меня к тебе,— ответил он.

— А вот откушай, тогда поговорим.

Когда закуска подходила к концу, Марк Данилович понемногу начал сводить беседу на должную почву.

— Дмитрия-то Ивановича душегубы зарезали...

— Уж и не вспоминай! Вспомяну — инда мороз по коже бежит. И ведь говорил я ему — оставайся ночевать: нет, поехал!

— Судьба его, знать, такая,— вставил замечание Турбинин.

— Судьба-то судьба, а только и дураком не надо быть.

— Кажись, ведь он женихом Катюши был?

— Да... Признаться, очень я хотел за него Катьку устроить, да не судил Бог. Ох-ох, грехи наши тяжкие!..

— За кого же теперь думаешь?

— А не знаю. Тужить нечего — женихи найдутся.

— Вестимо, найдутся. Ведь вот и я к тебе вроде как сватом.

— Ты! Ах, дуй тебя горой! За кого же ты Катьку сватать хочешь? — сказал Степан Степанович, с усмешкой поглядывая на вспыхнувшее лицо Александра Андреевича.

Гости поднялись с лавок и отвесили боярину низкий поклон.

— Просит тебя Александр Андреевич выдать за него дочку твою Катерину Степановну,— с новым поклоном проговорил Марк Данилович.

— Слезно молю: отдай за меня Катерину Степановну!

Люба она мне пуще света белого. Бью тебе челом на просьбе моей такой.

И Александр Андреевич поклонился в землю Степану Степановичу. Тот сидел, задумчиво опустив голову.

— Молода она еще...

— Моложе ее замуж выдают,— возразил ему племянник.

— Опять же приданое за ней невелико,— сказал старик и лукаво уставился на Турбинина.

Александр Андреевич так и замахал руками.

— Да нешто мне надобно приданое? Да хоть никакого!

— Твоя мать согласна ли будет? Может, ты впоперек ей идешь?

— Да ведь матушка сама приезжала ее сватать.

— Ну, коли так, будь по-твоему — бери Катьку!

Турбинин, вне себя от радости, бросился обнимать хозяина.

— Постой, постой! Этак ты меня и задушишь грехом! Ванька! Позови-ка сюда боярыню!

Анфиса Захаровна не замедлила прийти.

— Вот, мать, Лексашка просит отдать за него Катьку нашу. Как смекаешь, отдавать за него, либо нет?

Боярыня удивленно взглянула на мужа, потом шутливо промолвила:

— Ай, нет! Можно ль за него, за этакого озорного, Катерину выдать!

— Вишь, что говорят! — усмехаясь, заметил Турбинину будущий тесть и продолжал: — что ж, снимать что ли, иконы да благословить их?

— Вестимо! Чего тянуть? Пойду скажу Кате да приведу ее,— и Анфиса Захаровна убежала из комнаты с не свойственною ей быстротой.

Катюша ничего не знала о приезде Турбинина и Марка Даниловича. Она сидела за работой, но больше для вида — по крайней мере, работа что-то плохо подвигалась. Боярышня была веселей обыкновенного. О смерти своего ненавистного жениха она давно узнала, и что-то похожее на надежду зашевелилось в ее душе. Теперь ее озабочила мысль, как бы свидеться поскорее с Александром Андреевичем и сказать ему, чтоб он возобновил сватовство.

— Катька! Надевай скорее сарафан поновей! — крикнула, входя в комнату, Анфиса Захаровна.

Та удивленно взглянула на мать.

— Зачем?

— Жених там. Благословим тебя сейчас.

Катя побледнела как полотно.

— Жених? Какой жених? — пробормотала она.

— А вот увидишь. Одевайся, одевайся живей!

Накидывая на себя дрожащими руками сарафан, Катя едва не разрыдалась. Все ее надежды разом рухнули. Тот жених умер, явился новый. Она уже от всей души ненавидела этого неизвестного ей жениха.

«Выйду и крикну в глаза ему, что не хочу за него замуж идти, не хочу!» — думала она.

Когда она направлялась с матерью к светлице, в глазах ее была видна отчаянная решимость.

Мать украдкой поглядывала на нее и ухмылялась.

«Войду и крикну сейчас же!» — подумала девушка, берясь за ручку двери.

Она распахнула дверь и остановилась как вкопанная: первое, что ей кинулось в глаза, было сияющее от счастья лицо Александра Андреевича.

— Входи, входи да становись с ним рядом! — сказала Анфиса Захаровна.

— Так это — он, он — жених? — прерывистым от радостного волнения голосом спросила боярышня.

— А то кто ж? — подводя дочь к Турбинину, сказала боярыня.

Степан Степанович взял образ и благословил набожно склонивших головы жениха и невесты.

— Будьте счастливы, дети! Любите друг друга! — промолвил он со слезой на глазах.

Потом их благословила Анфиса Захаровна. Боярыня ничего не говорила, а только плакала.

У Кати голова кружилась от счастья.

— Ну-ка, поцелуйтесь! — сказал Степан Степанович.

Александр Андреевич поцеловал невесту и раз, и другой.

— Будет, будет! Этак зацелуешь ее! — шутливо заметил будущий тесть.— Анфиса! Уведи-ка ее скорей!

Однако Турбинин успел еще раз чмокнуть Катю в губы, потом перецеловался со Степаном Степановичем и с Анфисой Захаровной.

— Что ж, братцы, надо нам выпить по сему случаю хорошенько,— промолвил хозяин.

— Я не прочь, выпьем,— ответил Турбинин.

Уже смеркалось, когда Александр Андреевич с Марком Даниловичем покинули дом Кречет-Буйтурова.

— Вот я тебе говорил, что, рано ль — поздно ль, счастье придет,— заметил приятелю Марк во время пути.

— Можно ль было ждать счастья такого! — воскликнул Турбинин.— Ну, Марк, теперь надо, чтобы и твое горе в радость обратилось.

Тот тяжело вздохнул.

— Дал бы Бог... Только где!

— Ишь, меня утешал, а сам надеждой утешиться не хочешь.

— Кабы не тешил себя надеждой, может, уж на свете не жил бы.

— Знаешь что, не езди домой — поедем ко мне. И Топорок обещался сегодня приехать. Вот и ладно. Мы втроем побеседуем да попируем на радостях.

Когда они приехали в усадьбу, Топорок уже давно был там. Александр Андреевич не преминул, конечно, сообщить ему и матери о своем удачном сватовстве.

Потом устроилась приятельская пирушка. Было заранее решено, что оба приятеля Турбинина останутся ночевать в усадьбе; поэтому уже давно прошла полночь, а молодые бояре все еще беседовали.

Разговаривая, Марк Данилович случайно подошел к окну и вскрикнул:

— Батюшки! Смотрите-ка, где-то пожар?

Друзья подбежали к окну. Яркое зарево виднелось вдали.

— Что это горит? Уж не моя ли усадьба? — промолвил Марк.

— Нет, твоя в стороне будет, а это... это...— и вдруг Александр вскрикнул не своим голосом: — да ведь это усадьба Степана Степановича горит! Она, она! В той стороне больше нечему. Гей, холопы! Коня, скорей коня!

Через несколько минут все трое уже скакали к пожарищу.

XXXV

ПОРЧЕНЫЙ ХОЛОП

— Что такое с Филькой сталось? Был весельчак парень, а теперь ходит хмурый, что туча, и все молчит да о чем-то думает,— рассуждали между собою холопы Степана Степановича.

— Испортили его,— многозначительно сказал один из них.— Видали, вчера нищий на двор заходил к нам?

— Ну, видали.

— Вот этот самый на него порчу и напустил.

— Полно молоть-то! И допреж того Филька хмурился.

— Хмурился, а все не так. Он и сам этого нищего ведуном назвал. Дело так было. Работал Филька и ничего себе был, даже песенку мурлыкал... Так вот я работаю, а так он — ну, я и слышал. И вдруг этот самый нищий, откуда взялся — неведомо, и прет прямо к Фильке. Тот посмотрел на него да и спрашивает: «Что тебе, добрый человек?! — и подошел к нему. Нищий, это, поклонился, ну, и руку протянул, и Христово имя помянул, а потом что-то шепнул. Что — разобрать я не мог, а только вижу: Филька как ошпаренный отскочил от него и сам побелел что снег и дрожит. Ажно я, глядя на него, испужался.

— Что с тобой? спрашиваю. А у него зубы щелкают, он и отвечать не может. Потом уж кой-как вымолвил: «Колдун! Колдун!»

— Ну, вестимо, и меня мороз маленько по коже подрал. Я глянул туда, где нищий стоял, а его и след простыл. Выбежал я за ворота — нигде не видать, словно в землю зарылся. С той поры вот Филька и ходит таким.

— Может, и впрямь испортили,— заметил кто-то,— злых-то людей много есть.

Филька, действительно, ходил на себя непохожим. От расспросов товарищей он только отмахивался. Не мог же он им сказать, что у него камнем на сердце лежит обещанье, данное Илье Лихому, что нищий, которого он выдал за колдуна, чтоб чем-нибудь оправдать свое волнение, был посланцем атамана и шепнул ему ни более ни менее как:

— Завтра ночью... Не сдержишь обещанного — не снесешь головы.

Вчера еще он кое-как пересиливал себя, а как наступило роковое «завтра», он себе места не находил. Работа из рук валилась, он бродил, словно в тумане, и все посматривал на солнце. А время летело быстро, как никогда. Оглянуться не успел Филька, как уже наступил обед, там поужинал, а там солнце заметно и западать начало. Еще немного — и на месте солнышка осталась лишь алая полоса, погорела недолго и померкла. Глядь, с другой стороны уже и месяц зажелтел. Ночь наступила. Холопы улеглись. Только он один остался на опустелом дворе. Старик сторож прошел к воротам.

— Что спать не идешь, Филипп?

— А не хочется что-то.

— Эх, дурень! Будь я на твоем месте — я б такого храпа пустил, что ай да люли. А мне вот нельзя: сторожить надо...

И старик прошел к воротам, сел там... и через минуту храпел во всю Ивановскую.

Было тихо, так тихо, что Фильке звук его шагов казался чрезвычайно громким. Он прислушивался к малейшему шороху.

Время шло. У холопа на сердце становилось легче.

«Может, и не придут»,— думал он.

Вдруг слабый свист пронесся, смолк и опять повторился.

Филька вздрогнул: «Идут!»

Он тихо свистнул. Ему ответили. Сомнения не оставалось — шли они. Холоп с какою-то отчаянною решимостью подбежал к воротам, отодвинул засов и распахнул их.

Толпа разбойников тихо вошла во двор. Впереди всех Филька заметил при свете луны приветливо кивавшего ему Илью Лихого.

«Чтоб ты лопнул, душегуб проклятый!» — стиснув от злости зубы, подумал холоп.

Дом был по-прежнему темен и тих, сторож продолжал похрапывать.

XXXVI

ИЛЬЮШКИНА РАСПРАВА

Ложась спать вечером после отъезда Александра Андреевича и Марка Даниловича, Степан Степанович был в очень хорошем расположении духа.

— Ловко вышло, что говорить! — рассуждал он.— Оно, пожалуй, и лучше, что душегубы прикончили дурня этого, Дмитрия Ивановича,— тому надо было б в приданое за Катькой не малую толику, а этому можно и мимо. Я упредил, что прикрута мала, согласился — его дело. Хе-хе!

С такими приятными думами он и заснул. Как бывает нередко, сновиденья не соответствовали его радужному душевному настроению. Ему снилось что-то безобразное. Тут были и Дмитрий Иванович и Кириак-Лупп с перерезанным

горлом, с выпученными от ужаса глазами, и холопка Аграфена, грозившая и проклинавшая его, своего обидчика, и много-много еще лиц, участников событий, неприятных для старого Кречет-Буйтурова. Посреди ночи он проснулся, покрытый холодным потом.

«Чтой-то грезится такое несуразное!» — с досадой подумал он и хотел встать и пройтись по спальне, но освещенная луной комната показалась ему, под действием недавних сновидений, какою-то таинственной, и его охватило что-то похожее на суеверный страх. Он с головой закрылся одеялом и попытался снова заснуть. Ему это долго не удавалось. Им овладело какое-то странное, беспричинное беспокойство. Ему пришли на память рассказы о разбоях, совершившихся в окрестностях усадьбы, о сожжении и разграблении нескольких помещичьих домов, и мысль, что нечто подобное может постигнуть и его, заставляла его волноваться.

— И чего я в Москву до сей поры не съеду? Дурак, право, дурак! Беспременно на днях перееду!

Таким решением он старался успокоить себя. Мало-помалу он опять начал дремать.

Грубый толчок заставил его разом очнуться и приподняться на постели. Он глянул, и у него от ужаса зашевелились волосы на голове: перед ним стоял с ножом в одной руке и свечой в другой его беглый холоп Илья.

— Вставай, Степан Степанович! Побеседовать я с тобой пришел! — насмешливо сказал Лихой.

— Ко мне! Люди! — закричал боярин.

— Ты здоров орать, боярин! А только понапрасну горло дерешь — твои людишки лежат перевязанными — я распорядился так, чтобы они нам с тобой потолковать да счеты кое-какие свести не мешали. В случае же надобности послужить нам помогут и мои молодцы, благо ими полон двор. Ну, вставай, али мне тебя поднять надо? — и с этими словами он спихнул Степана Степановича с постели.

— Как смеешь, холоп! — грозно закричал Кречет-Буйтуров.

— Я-то холоп? Ха-ха! Нет, было да прошло! Теперь ты мне — холоп. Гей! Сюда!

Этот окрик прокатился по дому, и до того времени молчаливый дом наполнился шумом и движением. Несколько человек вбежало в комнату.

— Связать его покрепче! — приказал Илья, указывая на Степана Степановича. Тот попробовал было отбиваться, но его живо скрутили.

— Теперь за работу, ребята! Грабьте добро боярское, холопьей кровью и потом нажитое. Ничего ему не оставьте... Слышите — то мой приказ вам. Ну, гайда! А я с ним потолкую.

Разбойники рассыпались по дому. Подле Ильи остались всего двое из них.

Атаман сел на пол рядом со Степаном Степановичем и некоторое время молча смотрел ему в лицо. По лицу боярина пробегали судороги, вытаращенные от ужаса глаза уставились на Лихого.

— Давно я ждал этого часа, боярин,— тихо заговорил Илья.— Только и тешился надеждой с тобой по-свойски переведаться. Почто отнял от меня мою голубку, ворон черный? Али мало было тебе, проклятому, других красоток? Почто и ее загубил, и меня? Лиходей! Вот я теперь — душегуб, грешник великий, которому ада не миновать, а все же ты грешнее меня! Ты тоже душегуб, только не стоишь с дубинкой при дороге, не прячешься в лесу под кустиком, не дрогнешь от холода да сырости ночной порой, а живешь в хоромах, носишь платье боярское и никого и ничего не боишься.

Вдруг лицо атамана злобно исказилось.

— Чем отплачу я тебе, проклятый? Прирезать, как собаку? — глухо проговорил он, занося нож.

— Помилуй, пощади! — простонал боярин.

— Пощади! А ты щадил? Я у тебя в ногах валялся, как Бога, молил... Пощадил ты?

— По мне, атаман,— заметил один из разбойников,— пырять его ножом негоже — что ему! Вздохнет да и помрет. Его бы надо хоть посечь перед этим.

— Посеки, посеки, Ильюша, да и отпусти душу на покаяние! — запросил Степан Степанович.

Илья громко расхохотался.

— Посечь просишь?!. Ха-ха! Да могу ль я, холопишка беглый, такого родовитого боярина сечь!

— Тебе все смешки! — простонал боярин.

— Были и слезки. Надо ж когда-нибудь и мне посмеяться.

В это время дверь с шумом распахнулась и в комнату вбежала Катя, с распущенными волосами, в одной сорочке. Разбуженная шумом, увидев множество незнакомых людей, услышав их возгласы, девушка в неописуемом страхе вскочила с постели и бросилась бежать куда глаза глядят и таким

образом очутилась в спальне отца. Увидев и здесь разбойников, заметив лежавшего связанным на полу Степана Степановича, боярышня вскрикнула и остановилась.

Илья посмотрел на нее.

— Боярышне Катерине Степановне низкий поклон,— насмешливо сказал он.— Что, пришла посмотреть, как Ильюшка расправу чинит с твоим батюшкой? Изволь, покажу!

И он опять занес нож над Кречет-Буйтуровым.

Девушка кинулась к нему.

— Не тронь! Не убивай! — воскликнула она, схватывая его за руку.

Атаман опустил нож и покрутил ус. Новая мысль зарождалась в его мозгу.

— Не трогать? Добро! А только пусть он мне наперед вернет мою Груняшу. Не вернет, чай? Как же быть? А так я его помиловать не могу. Разве вот что, не взять ли заместо Груни мне тебя в полюбовницы?

Катя с ужасом отпрянула от него.

Илья расхохотался.

— Претит? Холоп, вишь, я! Тебе б с бояриком. А ты то смекни, что теперь я уж и не холоп, а атаман разбойников удалых, что теперь я поболее всякого боярина. Решил я честь тебе оказать — быть тебе моей полюбовницей. Дай-ка я тебя поцелую, боярышня.

Он обнял боярышню. Она вырвалась и отбежала.

— А, так! Не хочешь с атаманом, хуже будет. Гей! Приятели дорогие! Крути ей руки, чтоб не царапалась.

Катя умоляла, отбивалась, кричала, но разбойники ни на что не обращали внимания. Через мгновение она уже лежала связанной.

Степан Степанович делал невероятные усилия, чтобы освободиться от веревок, но они были крепки. Он скрежетал зубами, но должен был в бессильной ярости смотреть на дикую расправу.

— Пока кончать пир,— сказал Илья и вышел из спальни.

— Ребята! — крикнул он,— выволакивайте холопов на двор да запалите боярские хоромы.

— А что с боярыней делать? Мечется она тут, что угорелая,— спросил кто-то.

— Пырните ее раз-другой ножом, чтоб не разводилась на земле боярская порода, да и делу конец.

Предсмертный хрип несчастной Анфисы Захаровны скоро возвестил, что приказание исполнено. Связанных холопов

разбойники вытащили из дому и бросили посредине двора. После натаскали соломы и сена, обложили палаты Степана Степановича и подожгли. Скоро яркое пламя уже тянулось к небу. При свете пожарища разбойники делили добычу. Илья обходил связанных холопов.

— Ба-ба! Тебя-то я и забыл! — вдруг наклонился он.— Тебя-то, клеветницу окаянную, я чуть было невредимой не оставил!

— Ильюша! Ильюша! Что я тебе сделала? За что ты на меня серчаешь? — бормотала Таисия Рыжая — над ней-то и наклонился Илья.

— Что ты мне сделала? Ты — ничего, а язык твой сделал. Раскрой рот!

— Зачем?

— Раскрой, говорю, а не то! — он замахнулся ножом.

— Изволь, изволь! — вскричала Таисия и раскрыла рот во всю ширь.

— Высунь язык!

Таисия высунула язык. Лихой разом отрезал конец его.

— Это чтоб вперед тебе на людей небылиц не взводить,— свирепо проговорил он, отер нож и пошел дальше.

— Иван Дмитрич! Боярский ключник и приспешник, как здравствуешь? — промолвил атаман, снова наклоняясь.— Как делишки? Много ль боярину девок молодых приволок? Что ж молчишь?

Ключник только крякал от ужаса.

— Надо тебя за твои делишки наградить. Эй, возьмите-ка этого хрыча да повесьте на воротах!

— Помилуй! Илья! Голубчик! — взмолился тот.

— Ладно, ладно! Тащите его, тащите!

Скоро длинное тело Ивана Дмитриевича уже покачивалось на перекладине ворот.

— Пора в путь! — приказал атаман.

— Разбойники живо завязали добычу и уложили на коней. Вся ватага, кто пешью, кто на коне, вывалила за ворота. Илья повернулся на седле и посмотрел на пожарище. Дом уже весь был охвачен пламенем.

— Расправа учинена,— прошептал он.— Теперь легче будет на сердце.

Но тотчас же он понял, что на сердце не стало легче. Напротив, там копошилось что-то новое.

«Совесть жжет»,— подумал атаман и успокоил себя: — «пройдет!»

XXXVII

ПОСЛЕ РАСПРАВЫ

Комната была полна дымом. Языки пламени врывались в окна и лизали стены. Багровый отблеск пламени ложился на лица Кати и Степана Степановича. Девушка неподвижно сидела на постели и, казалось, ничего не видела и не слышала. Она не плакала, но выражение, лежавшее на ее лице, было ужаснее самых горьких слез. Это было выражение полнейшего отчаяния, того отчаяния, которое уже не оставляет места ни для надежд, ни для утешений.

— Горим! Спасите! — кричал, катаясь по полу и напрасно силясь освободиться от веревок, Степан Степанович.

Этот вопль ужаса был так силен, что заглушил треск горящего дерева, но Катя не шевельнулась.

— Катя! Развяжи! — вспомнил про дочь боярин.

Она не отозвалась. Он подполз к постели, закричал еще громче, коснулся ног дочери.

Только тогда боярышня обратила на него внимание.

— Развяжи!

Она медленно встала, развязала веревки и опять села.

Степан Степанович поднялся на ноги.

— Бежим скорее!

Девушка отрицательно покачала головой.

— Бежим, Бога ради! — воскликнул боярин, схватывая дочь за руку. Она тихо высвободилась.

— Беги! Я останусь.

— Катерина! В уме ль ты! — вскричал Степан Степанович.— Сгоришь ведь!

— Что ж! Зачем мне жить?

— Катя! Дитятко! — вдруг расплакался Степан Степанович.— Дочка моя! Не губи себя!

— Уж погублена,— с отчаянием в голосе отозвалась боярышня.

— Бежим! Нет — так я тебя силком вытащу.

— Оставь, отец! Беги — скоро крыша провалится.

Степан Степанович взглянул на пылающий потолок и отпрянул к выходу. Боязнь за свою жизнь одержала вверх над любовью к дочери.

— Беги! — еще раз повторил он, уже переступив порог.

— Нет! Смотри, промедлишь еще — поздно будет.

Степан Степанович бегом бросился вон.

— Что! Я угадал: горит усадьба Кречет-Буйтурова,— говорил на скаку Турбинин.— Господи! Как бы не приключилось с Катей чего!

Из окрестных сел и деревень тянулся народ к пожарищу. Когда приятели подскакали к усадьбе, у ворот уже стояла целая толпа.

— Ключник это! Ей-ей, он!

— Ан, нет, не он. Тот седой был.

— Он, он!

Это спорили в народе о том, кто был повешенный на перекладине ворот.

— Сказывают, холопей всех перевязанными нашли, а у одной холопки язык отрезан.

— Ишь, душегубы проклятые! Пробраться бы во двор, поглазеть.

— Где проберешься! Народу — тьма!

Несмотря на то, что народу, действительно, была «тьма», Турбинина и его приятеля пропустили к пожарищу.

Дом был уже совершенно объят пламенем. О спасении его нечего было и думать. Однако мужички метались по двору, пробуя тушить пожар. В понуром старике, сидящем на земле вблизи пылавшего дома, друзья едва признали Степана Степановича.

— Все ли спаслись? Где Катя? — бросился его расспрашивать Турбинин.

— Все, все погибло: и честь, и добро,— глухо ответил Степан Степанович.

— Где Катя? — еще раз воскликнул Турбинин.

— Там,— указал боярин на пылавший дом.

— Ведь она сгорит! Господи! — в ужасе вскричал Александр Андреевич.

И он кинулся к объятым пламенем сеням. Он еще не успел добежать до крыльца, как крыша провалилась. Вместо дома перед ним была груда пылавших бревен. Турбинин отчаянно вскрикнул:

— Погибла! Погибла!

— Все, все! И дочь, и честь, и добро... Всему конец! — бормотал Степан Степанович.

Александр Андреевич рыдал. Приятели не находили слов для его утешения.

Часть III

I

ПРЕРВАННЫЕ ДУМЫ ПРАВИТЕЛЯ

Шуйские не дремали. Это вот уже второй год знал Борис Федорович. Да, они не дремали. Они пользовались всяким случаем, чтобы вредить правителю. Глухая борьба продолжалась, ни на минуту не прекращаясь. Нападали они, Шуйские, душою борьбы которых был князь Василий Иванович. Он, Годунов, только защищался. Но уже терпение истощалось. Уже лютый гнев начинал все сильнее и чаще клокотать в его богатырской груди. Пора бы кончить.

— Да, пора бы кончить,— вслух повторил свою мысль Борис Федорович и остановился, и обвел взглядом палату, по которой прохаживался.

— Царев чертог! — продолжал он рассуждать сам с собой.— И золото, и парча. А чего все это стоит! Стоит-то чего! Ни дня, ни часа спокойного. Вечно настороже, вечно в опаске. Куска спокойно проглотить нельзя — того и гляди, отравленный. Ведь хотели ж отравить, уж это доподлинно известно, да сорвалось. А теперь это измыслили — развести царя с Ириной. Неплодная, дескать. Ха! Она неплодная! Царь — вина, а не она. И этот Дионисий тоже увязался с ними. Разрешенье свое владычное дать хотел на развод. У! Вороги! Хорошо, что я сведал, что всюду у меня глаза есть! А не сведай? Что тогда? Ирину постригли бы, а меня... меня либо услали бы к Белому морю, либо и того хуже — придушили бы. Эх, кабы не дети мои! Бросил бы все, зажил бы простым боярином. Все из-за них боюсь: хочется им жизнь устроить лучше. Детки, детки!

Дверь распахнулась, и хорошенькая маленькая девочка, блистая черными глазенками, с веселым смехом вбежала в комнату.

— Батя, батя! Спрячь! — хохоча воскликнула она, прячась за отцовскую ферязь.

— Ишь, шустрая, убегла и не словишь! — говорила, запыхавшись, вбежавшая за девочкой нянька.

Борис Федорович поднял девочку и посадил к себе на плечо.

— Сиди, Ксюша, здесь не достанут.

— Ай, не достать меня! Не достать! — кричала няньке Ксения и хлопала в ладоши.

Отец, подняв голову, заглядывал на смеющееся личико ребенка и добродушно улыбался. В этот миг он забыл о всяких заговорах, о всяких кознях против него.

II

ГЛАВА ПОЛУОПИСАТЕЛЬНАЯ

Марк Данилович неровными шагами прохаживался по комнате. За протекшее время боярин сильно изменился. Последние следы юношеской свежести и мягкости изгладились с его лица; суровая складка набежала между бровями, горькие морщинки обвели рот. Это был уже не юноша, это был мужчина, повидавший горя.

Его горем была любовь к Тане. Как ни боролся он со своим чувством, как ни заглушал он его — это чувство жило, и, нет-нет, давало себя знать приступами мучительной тоски. За эти годы переменилось многое, кроме душевного состояния Марка Даниловича. Его вотчина представляла какой-то благословенный уголок во всей окрестности. Населена она была свободными людьми: в поместье молодого боярина не было ни одного раба: села и деревни поражали своим «сытым» видом. «Мальцы» бегали в школу, которую устроил Марк Данилович. Помня свою обязанность: «выступать в поле» * на службу государеву «конно, людно и оружно», он на случай похода подготовлял должное число молодых парней и, отыскав в Москве, в «Немецкой слободе», знающих ратное дело иноземцев, поручил им выучить будущих воинов конному и пешему строю. Теперь с его «молодцами» могла поспорить разве только наемная царская дружина.

Одним словом, имение Марка Даниловича, густо населенное, потому что в него стекались привлекаемые льготами крестьяне от всех соседних помещиков, представляло из себя своего рода маленькое государство со своеобразным управлением, со своими законами и обычаями, государство, несомненно, гораздо более благоустроенное, чем вся тогдашняя

---

* В поход

Русь. Достичь всего этого Марку удалось в такое короткое время лишь благодаря его энергии. Это ему стоило немалых усилий и борьбы с недоброжелателями. А их было немало: все окрестные помещики были его тайными или явными врагами. Он их презирал.

Но был еще враг, враг злобный и непримиримый, с которым приходилось вести борьбу. Этот враг был поп Макарий, настоятель церкви в селе Марка Даниловича.

Вот и теперь, расхаживая по комнате, молодой человек чувствовал, что грудь его дрожит от гнева. Он мысленно переживал разыгравшуюся за час перед этим сцену между ним и Макарием. Он ясно представлял себе сухую, длинную фигуру попа с дряблым лицом, длинною козлиной бородой и впалыми, злобно сверкающими глазами. Он видит его поднятую руку, слышит хриплый, раздраженный голос, выкрикивающий: «Еретик!»

Еретик! — этим именем клеймит Марка Макарий за все его деяния на пользу крестьян. Ересь — то, что молодой боярин сбавил наполовину поборы; ересь, что держит закупов, а не принимает себе крестьян в кабалу; ересь, что выстроил школу и заставляет ребятишек учиться «азам» и «ведям» у Ильи-пономаря, возведенного в степень учителя.

— «Ересь, ересь! Не по обыку творишь!» — вот что постоянно слышал Кречет-Буйтуров от Макария.

Чем дальше, тем становилось хуже. Вначале поп ограничивался только упреками, потом начал осуждать поступки боярина при народе, наконец начал громить с церковной кафедры и сбивать крестьян не повиноваться боярину, не пускать детей в школу, не подчиняться «греховным» новшествам. Марк Данилович долго ждал, что Макарий образумится, но постепенно раздражение стало все чаще и чаще прорываться и наконец сегодня, когда поп пригрозил пономарю Илье проклятием, если тот будет учительствовать в «богомерзкой» школе, долго сдерживаемый гнев боярина вылился бурной волной. Между ним и Макарием произошла ссора такая, что о примирении нельзя было и думать. В конце концов Марк предложил Макарию убираться из села куда знает и сказал, что испросит у владыки в свою вотчину нового священника.

— Уберусь! Уйду! А только и ты меня попомнишь, еретик проклятый! — пригрозил в заключение Макарий.

«Еще грозить смеет! — думал, прохаживаясь, боярин.— Так я и испугался его угроз! Нет, вон его, вон! Завтра же в Москву съезжу!»

В это же время в своем домике расхаживался и поп Макарий, вернее — бегал по комнате так, что полы рясы метались в воздухе. Попадья два раза звала его обедать, но он только отмахивался от нее да приговаривал:

— Отстань! Ну тебя.

Потом он подошел к небольшому шкафу, где хранились письменные принадлежности, вынул лист бумаги, чернильницу, перо и, присев к столу, начал что-то старательно выводить полууставом.

III

СБОРЩИК ПОДПИСЕЙ

— Боярыня! Отец Макар приехал.

— Отец Макар? Зови его в светлицу да дай мне приодеться, что ль.

И Василиса Фоминишна, спешно допив кружку утреннего сбитня, поднялась с лавки.

Время и на ее лице оставило свой след. Она была по-прежнему хороша собой, но ее взгляд потерял былую ласковость, морщинки перерезали лоб.

Отцу Макарию пришлось ждать недолго.

— Гость дорогой, отец Макар! Вот рада я радешенька! — сказала боярыня, входя.

— И, полно, боярынька! Какая радость! — поднялся тот ей навстречу.— Нешто со мной, стариком, веселье вдовице младой?

— Ай, шутник, отец Макар! Скажи лучше, чем потчевать: медком, наливочкой, али зеленым вином?

— И не хлопочи: ей-ей, не до угощенья. По делу я.

— Дело делом...

— Нет-нет, уволь! Мне и времени нет, признаться...

— Экий какой ты! Ну, твоя воля! С каким же это ты делом?

— Ох, матушка, невеселое дело! Еретик тут завелся.

— Еретик? — удивленно спросила боярыня.

— Еретик богопротивный. Честным людям житья от него нет. Хоть бы меня взять — сколько лет я здесь священствовал, а вот теперь еретик гонит меня, без хлеба норовит оставить.

— Чудное что-то ты говоришь! Кто же этот еретик?

— Ох, ходит волк в личине овчей. На вид и ласков, и пригож, и добр будто... Говорю я не про иного кого, как про царева окольничего Марка Даниловича Кречет-Буйтурова.

— Вот про кого,— протянула Василиса Фоминишна, и ее лицо покрылось красными пятнами.

Отец Макар продолжал, не глядя на нее:

— Да, вот про кого. Много ль он здесь? До трех годов не дохватит, а что он натворил? Все вотчинники окрестные криком кричат. Крестьян от всех переманил, завел порядки басурманские — «у меня», говорит, «нет рабов, все люди вольные»,— школу построил... это для смердов-то! А? В церковь так калачом его не заманишь, а на потехи дурацкие есть время: выдумал, вишь, он ратному делу холопов обучать. Царю, говорит, я ратных людей добрых должен поставить. А на деле не к тому он клонит — помыслы у него нечистые: хочет измену учинить.

— Измену?

— Да. Перво-наперво, Бориса Федоровича от царя отдалить хочет, а потом мятеж учинить, благо ратники готовые, и на его место сесть.

— Ой, верно ль?

— Лгать ли стану? Для чего он с Мстиславскими да Шуйскими спелся? Вместе с ними хотел царю просьбу подать, чтоб он, батюшка, с царицей развелся да другую жену себе взял?

— Доподлинно знаешь?

— Я ль не знаю! Вот, теперь я объездил всех вотчинников здешних, все в голос кричат: «прогнать надо еретика этого из мест наших». Составил я к царю челобитную, подписи собираю... За тем и к тебе приехал: охоча ли будешь подписать?

Василиса Фоминишна некоторое время молчала. Ей вспомнились печальные дни, полные тоской неудовлетворенной любви, вспомнился холодный отказ Марка на ее пылкое признание, вспомнилась его любовь к Тане, и злоба шевельнулась в ее сердце.

«Погубить! Досадить!» — мелькнула злобная мысль.

— Да, да... Я руку приложу к челобитной... Да, да... проговорила боярыня.

— Вот и бумажка... Чернилец бы да перышка.

— А только я крестов понаставлю по безграмотству.

— Ничего, матушка, ничего. Мы оговорочку сделаем,— говорил поп.

Лицо его сияло. Это была удача немалая: втайне он мало надеялся на согласие Василисы Фоминишны, а согласие ее было важно: вотчина ее была одною из самых значительных, и на ее имя, подписанное под челобитной, обратили бы большее внимание, чем на всякое другое.

IV

ПРЕД ОЧАМИ ПРАВИТЕЛЯ

Марк Данилович был немало изумлен, когда однажды утром во двор его усадьбы въехало несколько конных стрельцов.

— Зачем пожаловали? — спросил их ключник.

— До боярина твоего дело есть. Подь, доложи ему!

Кречет-Буйтуров и сам как раз вышел.

— Что скажете, братцы?

Стрельцы и шапок не заломили.

— Снаряжайся-ка в путь-дорогу.

— Куда да зачем?

— По указу цареву послал нас за тобой Борис Федорович.

— Да некогда мне теперь. Вот завтра разве.

— Как хошь устраивайся, а только не мешкая изволь с нами ехать: не поедешь — сильем взять тебя приказано.

Марк Данилович вздернул плечами от удивления.

— Что за притча! Делать нечего, надо ехать.

Через полчаса он уже в сопутствии стрельцов съезжал со двора. Проезжая мимо поповского дома, он заметил стоявшего на крыльце отца Макария. Поп смотрел на молодого боярина и злорадно хихикал.

«Чему он радуется?» — подумал Марк Данилович, и неясная догадка промелькнула в его голове.

— Куда ж я с вами поеду? К царю прямо? — спросил своих сопутников Марк.

— К Борису Федоровичу,— ответили ему.

Это были единственные слова, которыми он обменялся со стрельцами во время пути. Правда, он пытался разговориться с ними, но ему не отвечали. Путь до Москвы показался на этот раз боярину невыносимо долгим. Когда подъ-

ехали к палатам Годунова, он облегченно вздохнул и подумал:

«Ну, слава Богу! Хоть узнаю, в чем дело!»

Спрыгнув с коня, он направился было к крыльцу, но его остановили:

— Обожди, наперед доложить надо.

Ждать пришлось с добрый час, стоя на солнцепеке: его даже не ввели в сени. Наконец пришли за ним.

— Пожалуй в светлицу: Борис Федорович ждет.

По тону стрельцов, по обращению холопов Годунова, по долгому ожиданию у крыльца Кречет-Буйтуров догадался, что ему грозит какая-то беда. Улыбка отца Макария не выходила у него из головы. Когда он вошел в светлицу, Борис Годунов сидел, облокотясь на стол.

Марк Данилович отмолился на иконы и промолвил:

— Здравствуй, Борис Федорович!

Годунов не шевельнулся, как будто не слышал: Марк прождал некоторое время и повторил громче:

— Здравствуй, Борис Федорович.

Правитель поднял на него глаза. Его взгляд был суров.

— А! Пришел, Иуда! — промолвил он.

— Иуда? — недоумевая, пробормотал Марк.

Царский шурин стукнул по столу кулаком и выпрямился во весь свой высокий рост.

— Иуда-предатель! За добро мое, за хлеб-соль мою меня предаешь. В глаза предо мной лясы точишь, а за спиной с ворогами моими в дружбу вступаешь, козни мне строишь.

— Я?!

— Да, ты, ты! Мятеж учинить хочешь, крестьян сбиваешь, с Шуйскими заодно челобитье подать царю норовишь, чтоб он с царицей, сестрой моей, развелся — неплодная, дескать, она — да на другой поженился. У! Аспид! Казнить смертью тебя мало!

Годунов стоял теперь совсем близко от Марка Даниловича, тяжело дыша, сжав руки в кулаки и обдавая своего невольного гостя искрометным взглядом.

Кречет-Буйтуров вначале был ошеломлен гневной тирадой правителя, но постепенно им стало овладевать негодование за незаслуженные обиды. Бледный, он слушал Бориса Федоровича, стиснув зубы от злости, и чуял, что в его сердце начинает шевелиться что-то такое, чего он сам боялся в себе. Это «что-то» усиливалось, покоряло его волю, темнило рассудок.

Вдруг он приблизил свое лицо к лицу Годунова, глянул ему прямо в глаза и не то прохрипел, не то прошептал:

— Кажись, скажи ты еще одно слово — придушу я тебя, Борис Федорович!

И должно быть, грозны были в это время его вид и взгляд, и не пустою угрозой прозвучали слова, потому что Годунов круто оборвал свою речь и отступил на шаг.

— Эй, люди! — хотел он крикнуть, но Кречет-Буйтуров не дал ему времени. Прежде молчавший, он теперь заговорил так же, как говорил перед этим правитель — быстро, без передышки, не давая возможности Годунову прервать себя.

— Иудой обозвал, а за что — про что? Какие я крамолы заводил? Какие козни строил? С Шуйскими сдружился... Да я Шуйских и в глаза-то сколько времени не видал! Этак-то винить можно! На-ка! Набросился ни с того ни с сего. Развести царя с царицей хочу... Господи Иисусе! Да зачем мне это, коли я и во двор-то государев езжу чуть не в год раз? Чего мне добиваться? Милостей царских? Так у меня все есть, ничего мне не надо. Ну, скажи, скажи ты, Бога ради, за что ты меня изобидел?

Последние слова Марк Данилович проговорил уже не раздраженно. В его голосе слышалась укоризна.

Правитель умел владеть собой; по его лицу трудно было угадать, какое действие произвела на него речь Марка. Теперь Кречет-Буйтуров замолк, Борис Федорович имел полную возможность позвать холопов и приказать удалить его, связать, выгнать из дома с позором или учинить что-нибудь иное в этом роде, но вместо этого он вынул из-за пазухи лист бумаги и подал его Марку Даниловичу, промолвив:

— Читай!

Кречет-Буйтуров стал пробегать глазами бумагу. По мере того, как он читал, лицо его выражало то удивление, то гнев.

Дойдя до имени боярыни Доброй, он воскликнул:

— И она здесь!

Потом он сложил бумагу и подал ее правителю.

— Что же скажешь? — спросил тот.

Марк горько усмехнулся.

— Что же сказать? Их много, я один, им ты веришь, мне нет... Зови палачей, вели меня казнить! — Потом он добавил: — Одно могу сказать: вот тебе крест святой, что ничего такого и в помыслах не держал, что там прописано. Все, что делал — делал, добра людям желаючи. Чист я перед Богом,

перед царем и перед тобой. Поверишь мне — рад буду, не поверишь — казни.

Борис Федорович некоторое время молча смотрел в глаза ему.

Взгляд Марка был ясен и спокоен. Годунов протянул ему руку.

— Верю тебе.

— Спасибо! — с чувством ответил Марк, крепко пожимая Годунову руку.

Правитель изорвал бумагу в мелкие клочки.

— Видишь?

— Еще раз спасибо.

— Зато ты должен рассказать мне, за что они на тебя взъелись. Смотри! Без утайки!

— Сказ недолог. Всю эту штуку устроил поп Макар из моего сельца. Не по нраву, вишь, ему пришлось, что я не держусь порядков дедовских — завел школу, в кабалу не принимаю, оброк сбавил, ратников обучаю.

— Ратников обучаешь?

— Да. На случай, если в «поле» идти, так чтоб не с неучами!.. А за морем я повидал кое-что по этой части.

— Ишь, ты какой! Ну-ну, говори!

— Ну, вот, за это за все Макар меня и в еретики возвел; я терпел-терпел, а после пригрозил прогнать его. Он и обозлился. Поехал, знать, по соседним вотчинам и подписи собрал. А те злобятся на меня, что от них крестьяне ко мне переходят. Вот и все.

— Ан, не все!

— Как не все?

— Так. Почему вскрикнул: «и она здесь»?

Марк Данилович замялся.

— Это про боярыню Добрую Василису Фоминишну,— пробормотал он.

— А что ж она такая за особенная, что ты ее ото всех отличил?

— Да сдается мне, что она к Макару пристала не с того, с чего другие.

— А с чего же?

— Так, с глупства бабьего.

— Ой, ты что-то таишь! Ведь таишь?

Марк молчал.

— Сказывай-ка, брат, правду истинную.

Волей-неволей пришлось Кречет-Буйтурову рассказать

Годунову про свое неудачное сватовство за Татьяну Васильевну, про любовь к нему боярыни Василисы Фоминишны.

— Вот оно что! Признаться, удивил ты меня! А боярышня тебе очень приглянулась?

— Уж так-то приглянулась, что вот уж сколько времени с той поры прошло, а все с тоски по ней извожусь.

— Гм... Жаль мне тебя. И та-то бабища чего взбесилась? Ты б еще посвататься попробовал.

— Что ж свататься на верный отказ?

— А то крадью повенчался б.

— Краденое счастье краденым и будет. Нет, уж, знать, воля Божья такова,— печально промолвил Кречет-Буйтуров.

Они помолчали.

— Ну, рад бы с тобой еще покалякать, да к царю ехать надо, некогда,— сказал Годунов.— Ты ко мне как-нибудь загляни.

— Благодарствую.

— А на меня не серчай, что я тебя изобидел: люди лукавые попутали.

— Помилуй Бог! Чего серчать?

— Чем я тебя за обиду вознагражу? Знаешь, хочется мне на твою вотчину посмотреть, как ты там все устроил чудно.

— Сделай милость, приезжай, рад очень буду.

— На деньках урву времечко, приеду к тебе.

На этом они и расстались.

V

БОЯРЫНЯ И БОЯРЫШНЯ

— Боярыня Василиса Фоминишна, слыхала ль новость? — сказала, вбежав запыхавшись в светлицу, некая Софья Григорьевна, жена одного из местных вотчинников, первая вестовщица и сплетница.

— Что такое?

— Ах, матушка, такое, что руками всплеснешь. Еретика-то нашего стрельцы взяли и в Москву свезли!

— Ну!

— Честное слово! Сама видела, как взяли его. Он, это, в середине, а кругом все стрельцы. Такою он мокрой кури-

цей сидел, куда и прыть делась. Яко татя повезли, хе-хе! Да и не далеко он, сказать правду, ушел от татя. Ну, я побегу.

— Что же это ты? Посидела б.

— Нет, нет, некогда. Надо еще забежать к Матрене Пахомовне да Марфе Игнатьевне, да...

Тут пошел длинный перечень имен чуть не всех жен окрестных вотчинников.

Какое впечатление произвело полученное известие на боярыню? Она сама подивилась, почему у ней так захолонуло сердце. Бывало, целыми днями и ночами думала, как бы Марку Даниловичу досадить, и никакой жалости к нему не чувствовала, только злобою распалялась. А теперь, когда месть совершена — ведь не для добра же повезли его стрельцы в Москву? — ей будто бы и жаль его. Старое проснулось, что ль? Да, старое... Оно и не засыпало.

— Ах, родной мой, родной! Как бы я любила, целовала тебя? Почто завязалась тут змея-разлучница? — шепчет боярыня, и злоба на падчерицу охватывает ее.

Чу! Скрипит дверь. На пороге Таня, бледная, заплаканная. У боярышни есть в доме много преданных людей; ей в свое время передали о прибытии отца Макара, об его разговоре с боярыней — у холопок были чуткие уши — передали и теперь привезенную Софьей Григорьевной весть.

— Ты зачем? — сурово спросила Татьяну Васильевну мачеха.

Таня подошла к ней, рыдая.

— Почто губишь его? Почто? — страдальческим воплем вырвалось у девушки.

— Кого? — холодно спросила Василиса Фоминишна.

— Марка Даниловича.

— За дело! А ты заступницей пришла? Хе-хе!

— Да, заступницей, да!.. Потому, грех тебе делать так. Бог покарает. Что он сотворил худого? Чист, как голубь. Я ведь знаю — ты с Макаром спелась... Может, он теперь в темнице в оковах сидит... Соколик ясный!

— Ты что это взбесилась? Как смеешь меня опрашивать?

— Смею, смею! Всегда твоей воле покорялась, а теперь сил не стало. Будет!

— Молчи лучше!

— Не замолчу. Сказала — будет покорствовать! Ну, что ж, говори, за что его губишь?

Таня в это мгновение мало напоминала прежнюю тихую

девушку. Она уже не плакала. Ее глаза сверкали, на бледных щеках вспыхнул пятнистый румянец. Мачеха с изумлением смотрела на нее.

— Аль ошалела? — пробормотала она.

— Может, и так. Слышь, сказывай же, за что его погубить хочешь?

— За что? — тихо промолвила боярыня, и вдруг яркая краска покрыла ее лицо, глаза засветились.— За то,— она наклонилась к падчерице,— за то, что люб он мне больше жизни моей! За то, что он мне на любовь любовью ответить отказался... Уж я ли б не ласкала его, я ли не целовала б! Ты его отняла от меня, ты, змея проклятая! Ты! Ха-ха! Ты — недоросток, блаженненькая — и отняла! Не обидно мне, а? Не должно гореть сердце лютою злобой? Клик кликни — сотни женихов сбегутся, на коленях молить меня будут... Да никого из них мне не надобно, окромя его. А его нет... Не я гублю его, ты губишь — зачем прельстила чарами бесовскими?

— Чарами бесовскими?

— Да. Нешто без чар он на тебя бы взглянул? Что в тебе? Ни кожи, ни рожи! Ух! Убью я, кажется, тебя сейчас, проклятую! Уйти лучше!..

И Василиса Фоминишна быстро направилась к двери. На пороге она остановилась и обернулась.

— Я мучусь, мучься и ты, чаровница проклятая, полюбовница его счастливая! Полюбовница счастливая! Ха-ха!

Она вышла, а ее насмешливый, злобный смех долго еще звучал из-за двери.

— Мать Царица Небесная! Защити, спаси его от козней вражеских! — со слезами молилась спустя некоторое время после разыгравшейся сцены в своей горенке боярышня Татьяна Васильевна, и рука ее порывисто творила крестное знаменье.

VI

НЕЖДАННЫЙ СВАТ

— Да, брат, молодчина ты, хорошо устроил свою вотчинку! — говорил Борис Федорович Годунов Марку Даниловичу.

— Спасибо за похвалу,— отвечал тот.

Годунов и Кречет-Буйтуров ехали на конях среди поля.

— Доволен я очень, что собрался к тебе заглянуть: порадовал свое сердце. Эх, кабы все вотчинники таковы были, как ты!

— Будут когда-нибудь, Борис Федорович.

— Будут, да когда? Это куда дорога ведет? — спросил Годунов, указывая не пересекающую поле дорогу.

— Коли туда поедем,— указал Марк вправо,— прибудем к усадьбе боярыни Доброй, коли сюда,— он указал влево,— к дому вернемся. А ведь я, чай, тебя заморил разъездами? Поедем обедать, только за скудность обеда не обессудь.

— Я в Москве засиделся, рад размять кости. Поездим еще. Свернем вправо — хочется мне взглянуть, что такая за боярыня Добрая.

И, не дожидаясь ответа, Борис Федорович повернул коня. Марк Данилович сдержал свою лошадь.

— Не больно охоч я, правду сказать, туда ехать.

— Что так?

— Что попусту рану бередить незажившую?

— Э, ничего, потерпи! Может, боль и утихнет,— с полуулыбкой заметил Борис Федорович и погнал коня.

Волей-неволей пришлось Кречет-Буйтурову следовать за ним. Через полчаса быстрой езды усадьба Василисы Фоминишны вынырнула из-за поворота дороги.

— Эта самая усадьба и есть? — спросил правитель.

— Она, она.

Годунов направил коня прямо в ворота, подъехал к крыльцу, спрыгнул с коня и стукнул дверным кольцом. Выглянул холоп.

— Доложи боярыне, что царский шурин Борис Федорович Годунов да окольничий Марк Данилович Кречет-Буйтуров хотят ее повидать.

И, пока холоп стоял с разинутым от удивления ртом, Борис Федорович, промолвив: — «Пойдем, Марк Данилович»,— взбежал на крыльцо, миновал сени и вошел в светлицу.

— Чего нам там стоять? Здесь обождем,— сказал он, опустившись на лавку.

Очутившись в доме боярыни Доброй, Марк Данилович так заволновался, что его волнение заметил Годунов.

— Эк, тебя пробирает! — с усмешкой заметил он.

Было слышно, что в доме поднялась суматоха. Доноси-

лись возгласы, хлопанье дверьми, беготня. Потом все смолкло. Легкие шаги послышались за дверью, и Василиса Фоминишна вошла в светлицу.

— Ну, боярыня, рада-не рада, принимай гостей незваных,— сказал Годунов.

— Царскому шурину завсегда рада,— с низким поклоном ответила Добрая.

На Марка Даниловича она старалась не смотреть.

— А еретику-то как же? Ужли тоже рада? — с усмешкой спросил правитель.

— Кто б с тобой ни пришел, всякому обрадуюсь.

Годунов смотрел на боярыню и думал: «И пригожа, и не глупа, кажись, а только бес-баба, должно быть!»

— Не откажись, Борис Федорович, хлеба-соли откушать,— продолжала Василиса Фоминишна, говоря с Годуновым, словно со своим старым знакомым.

— Нет, уволь! Угости ты нас лучше беседушкой своей.

— Ой, какая же со мной, с бабой глупой, беседа! — усмехнулась боярыня.

На лице ее не приметно было и тени волнения, только красивые глаза будто потемнели немного. В душе она очень волновалась. Неожиданный приезд правителя, да еще с Марком, вовсе не обрадовал ее, а встревожил. Что Марк не был посажен в темницу, а возвратился из Москвы в тот же день, в какой был увезен стрельцами, это она благодаря досужим кумушкам давно знала. Однако она ни на минуту не сомневалась, что Кречет-Буйтурова постигнет то или другое наказание — мало-мало царская опала. И вдруг этот, любимый и ненавидимый ею в одно время, человек является в ее дом вместе с самим Годуновым. Было чему удивиться и чем встревожиться.

Какая цель была приезда их к ней в усадьбу, она не могла понять. Единственно, что она могла предположить, это — что правитель захотел допросить «еретика» в ее присутствии. Но почему ж он тогда приехал с ним так запросто? Ни стрельцов, ни помощников себе «про случай» никаких не прихватил?

— Зачем себя глупой считаешь? Сдается мне, тебя умишком Бог не обидел,— продолжал в шутливом тоне разговор Годунов.

— Сказано: у бабы волос долог, ум короток.

— Ну, не у всякой. Вот мы с тобой сидим шутки шутим, а ведь я к тебе неспроста приехал. Дело есть до тебя. Смекни-ка, какое?

— Не смекнуть вовек.

— Сватом, матушка, явился! Ха-ха!

— Сватом? — с недоумением переспросила боярыня.

— Как так сватом? — вскричал Кречет-Буйтуров, до сих пор не промолвивший ни слова.

— Так, сватом. Что ж тут дивного? Прослышал я, боярыня, что у тебя падчерица есть, так вот, хочу ее сосватать за царева окольничего Марка Даниловича.

Кречет-Буйтуров чуть не бросился на шею Годунову.

— Борис Федорович! Родной! — вскричал он.

Василиса Фоминишна изменилась в лице.

— Рано ей еще замуж,— промолвила она.

— Полно! Слыхал я, за нее не один уж жених сватался.

— За него нельзя отдать — еретик он.

— Э, матушка! Меж нами молвить, такой он еретик, за какого ты бы сама с радостью вышла. Это все пустое, еретичество его поп Макар из пальца высосал.

— Я... я не хочу, чтоб Таня за него замуж шла!

— Почему?

— Так, не выдам.

— Так я тебе вот что скажу: царь указал, чтоб твоя падчерица была за Марком окольничим замужем. Посмеешь царского приказа ослушаться? Ступай, приведи падчерицу!

Куда делся недавний веселый боярин! Теперь перед Василисой Фоминишной сидел грозный правитель, правая рука государя. Одного слова, одного движения его было довольно — никто не смел ослушаться. Не осмелилась ослушаться и Добрая. Она кликнула холопку.

— Позови сюда Таньку! — приказала она и понурилась. Что происходило у нее на душе, она бы сама не была в состоянии выразить.

Через минуту Таня вошла в светлицу. Марк Данилович так и кинулся ей навстречу.

— Ласточка! Изменилась как, похудела, побледнела!

На Танюшу от изумления нашло что-то вроде столбняка.

— Поди-ка, боярыня, благослови-ка сговоренных... Благословлю их и я за отца,— сказал Годунов.

Только когда Марк взял Таню за руку и склонился под благословением, боярышня поняла, что совершилось что-то дивное, совершилось чудо, и радость, такая радость, которая рвется из груди, овладела ею.

— Ну, поцелуйтесь теперь...— сказал Борис Федорович.

Молодой окольничий сжал в своих объятиях плачущую от радости боярышню.

Василиса Фоминишна смотрела на них с потемневшим лицом и чуть не до крови закусив губы.

— Теперь гайда домой. Дело справили. Э-э! Нацелуешься еще, будет! Прощай, боярыня, да поскорей приданое шей: не терпится мне в посаженных отцах побывать. Идем, Марк Данилович! — промолвил правитель.

Тому не хотелось расставаться с Таней.

— Голубка! Я завтра чуть свет прибегу. То-то мы с тобой наговоримся!

— Теперь мне и на миг с тобой разлучаться страшно. Как это я столько времени могла с тобой в разлуке прожить? Как сил хватило? — говорила, прощаясь с женихом, боярышня.

Борису Федоровичу пришлось еще не раз торопить Марка Даниловича. Наконец тот покорился необходимости, распрощался с Таней.

— Ну, Борис Федорович, как тебя благодарить — не знаю! — говорил во время пути к дому Кречет-Буйтуров.— Жизнь ты мне подарил.

— И, полно! В долгу я у тебя был, долг заплатил. Квитались — вот и все.

— Как в долгу?

— Так — обиду тогдашнюю загладил. Чай, не забыл ее?

— Почитай, забыл. Скажи ты мне вот что!..

— Ну?

— Неужли прямо царский приказ есть у тебя?

Годунов засмеялся.

— Вестимо, нет. Это я только пугнул ее. Конечно, коли потребовалось бы, я бы и указ выпросил у царя.

— Спасибо тебе, спасибо! — еще раз поблагодарил полный счастья Марк Данилович.

VII

У ЗНАХАРКИ

Дождь лил ливмя. Избушка знахарки Матвеевны тряслась от порывов ветра, который врывался и внутрь избы сквозь плохо прикрытое волоковое окно и заставлял колыхаться пламя лучины. Старуха Матвеевна, что-то ворча,

перебирала и перевязывала в пучки какие-то травы. Свет от лучины падал на ее наклоненную голову, освещая темный повойник и пряди седых волос, выползавших из-под него.

В дверь постучали, сперва тихо, потом сильнее.

— Ну, кого там несет в этакую непогодь? — с неудовольствием пробормотала знахарка и, подойдя к двери, довольно нелюбезно спросила: — Чего надоть?

— Пусти, бабушка! Дело до тебя есть,— ответили из-за дверей.

Угадав по голосу женщину, старуха, после некоторого колебания, отомкнула защелку.

Посетительница вошла. Знахарка вгляделась в ее лицо и воскликнула с удивлением:

— Боярыня Василиса Фоминишна!

— Я самая, Матвеевна,— ответила боярыня, сбрасывая промокший от дождя опашень и опускаясь на лавку,— я самая. Не думала я у тебя быть, да загнала меня злая напасть. Как тать, выбралась из дома своего и прибегла к тебе за помочью.

— Рада услужить, боярынька. Поведай только, что за напасть приключилась,— сказала знахарка, тоже присев на скамью против Доброй и зорко всматриваясь в нее хитрыми ввалившимися глазами.

— Беда пришла на меня, Матвеевна! — печально говорила Василиса Фоминишна, приложив руку к щеке.— И ни с чего больше приключилась, как от очей молодца-соколика. Нет мне спокою, бабушка, и днем, и ночкой терзаюся, извожусь по нем, а он на меня и взглянуть не хочет.

— Экое диво! На такую красоточку?

— Знать, не для всякого такою я кажусь. Есть у него зазнобушка, может, и похуже меня, да ему милей. Ах, Матвеевна, кабы знала ты, какой злобой палюсь я на эту разлучницу проклятую! Кажись, по капельке бы кровь из нее, окаянной, выпустила б!.. Она — всему помеха. Не будь ее, не пришлось бы мне горевать, к тебе за помощью идти. Бабушка! Слезно молю — помоги ты мне, облегчи муку мою, поверни ко мне любовь того молодчика!

Знахарка ответила не сразу.

— Приворот, стало быть, надо сделать? — промолвила она наконец.— Что ж, это можно.

— Можно? — радостно вскричала боярыня.

— Трудненько, правда, а можно... Он к тебе ведь в дом ходит?

— А ты почему знаешь?

— Э! Ты спросила бы лучше, чего Матвеевна не знает! — самодовольно заметила старуха.— Стало быть, он и ест, и пьет у тебя в дому частенько?

— Ну, вестимо ж.

— Так вот что: дам я тебе настоечку особенную такую, прямо скажу — во граде во Киеве на Лысой горе ведьмы ее готовят, а у меня меж ними знакомых немало есть, так я и раздобылась... Сейчас у меня нет этой настойки, а через недельку-другую добуду. Этого снадобья ты маленько — капель этак пяточек — примешай своему молодчику к питью — к водочке либо к наливке, али к меду... Выпьет он — и шабаш! Толкать будешь — не уйдет.

— Да ну!

— Врать не стану. Ты только так подстрой, чтоб после того, как он хлебнет снадобья-то, зазнобушка тут подле не вертелась, а всего лучше, коли ты с ним глаз на глаз останешься.

— И неужли он полюбит? — промолвила боярыня, вся красная от радостного волнения.

— Как сказывала: толкать будешь — сам к тебе полезет.

— Ай-ай! Да ведь это чудо будет!

— На то я и знахарка, чтоб такие дела вершить, какие другим не под силу.

— Скорей бы, Матвеевна!

— Недельки этак через четыре...

— Как через четыре?!. Ведь ты сказала прежде, что через неделю-другую.

— Это я так сбрехнула... Нет, недельки через четыре... Да и то не знаю, достану ли.

— Вот тебе на! — разочарованно воскликнула боярыня.

— Да ведь стара я стала, немощна — когда соберусь слетать, не знаю,— тянула старуха, набивая себе цену.

— Слетать?

— Ну, вестимо ж, слетать. Али ты думаешь, я на Лысую гору в Киев-град пешью пойду?

Дрожь суеверного ужаса пробежала по телу боярыни. Ей вдруг стало не по себе сидеть наедине с такою старухой, которая может летать на Лысую гору. Морщинистое лицо старухи с длинным загнутым носом, с быстрыми, хитрыми глазами показалось ей каким-то зловещим. Она поднялась и накинула опашень, потом достала кошель и подала его знахарке.

— На, возьми пока... После два таких получишь. Только скорей, Богом молю!..

Матвеевна жадно схватила кошель и рассыпалась в благодарностях.

— Уж не пожалею костей своих,— добавила она потом,— так и быть, слетаю на деньках. Через недельку снадобье будет готово...

— Вот это ладно.

— Не проводить ли тебя до дому, боярынька? Вишь, ночь-то какая! — сказала знахарка.

— Нет, ничего, я одна,— ответила та, чувствуя, что ей одной будет менее страшно, чем с этой старухой.

VIII

ЧАРЫ

Приготовления к свадьбе Татьяны Васильевны с Марком Даниловичем шли деятельные. Прошло всего около месяца со дня сговора, а шитье приданого уже было почти закончено, дошивался уже и свадебный ковер, которым должно быть покрыто устроенное из тридевяти ржаных снопов ложе новобрачных, давно были подысканы тысяцкий * и женка тысяцкого, и дружки ** и иные свадебные чины.

До дня свадьбы оставалась всего неделя-другая, это заявила Марку сама Василиса Фоминишна. Вот уже недели две, как с боярыней совершалась непостижимая перемена. Угрюмая, злобно посматривавшая на падчерицу и избегавшая встреч с женихом Танюши, она вдруг сделалась необыкновенно ласковой с боярышней, чрезвычайно любезной с Марком Даниловичем. Молодой окольничий приезжал в усадьбу Доброй ежедневно и оставался там до ночи. Боярыня встречала его приветливой улыбкой, невеста — поцелуем; всякая мысль о затворничестве невесты была оставлена по настоя-

---

* Тысяцкий — самое почетное лицо на свадьбе; обязанностью его было безотлучно находиться при женихе; жена тысяцкого находилась при невесте.

** Дружки делились на старших и младших. Старшие «порушали перепечу» — свадебный каравай в виде конуса, приготовляемый из сдобного теста, младшие — разносили перепеч гостям.

нию Кречет-Буйтурова, и Василиса Фоминишна не протестовала против такого нарушения обычая. Дни проходили в оживленных беседах, и мачеха во время их занимала не последнее место. Напротив, она говорила много и долго о будущей совместной жизни Тани и Марка и рисовала светлую картину их будущего счастья.

Марк Данилович дивился этой перемене.

— Василиса-то Фоминишна какая славная стала! Не узнать! — говаривал он невесте.

— Да, точно, что не узнать,— задумчиво отвечала Танюша: в глубине души она не доверяла ласковости мачехи и чувствовала беспокойство, но ей не хотелось смущать жениха своими опасениями.

Однажды Марк Данилович приехал в усадьбу Доброй. Боярыня встретила его с печальным лицом.

— Невестушка твоя что-то прихворнула.

— Что с ней? — встревожился жених.

— Голова, жалуется, болит, и так не по себе... А я, как на грех, холопов и холопок отпустила на гулянье, в сельцо Ивановское, ярмарка там... Одна с Танюшей во всем доме.

— Лежит она?

— То побродит, то приляжет. Ишь ты! Больна-больна, а услыхала твой голос — вышла, не утерпела! — шутливо заметила боярыня, увидев вошедшую падчерицу.

Было видно, что Таня не здорова. Она куталась в теплый платок, а лицо ее было красно и глаза слезились.

На расспросы жениха она, однако, отвечала, что ее нездоровье пустяшное, что так, чуть-чуть, голова болит. Она не вернулась в свою горницу, осталась беседовать с женихом. Но беседа шла вяло. Кречет-Буйтуров был встревожен болезнью невесты, и веселые слова не шли ему на ум; Таня, видимо, пересиливала себя. Одна Василиса Фоминишна говорила без умолку. Боярыня была сегодня почему-то особенно оживлена, ее глаза светились каким-то лихорадочным блеском.

Боярышня долго крепилась, наконец не выдержала.

— Пойду полежу немного,— сказала она,— голова что-то сильней разбаливается.

— Поди, поди, приляг, голубушка,— посоветовал ей и жених.

Василиса Фоминишна словно обрадовалась.

— Да, да, тебе беспременно прилечь надо. Да ты не торопись подниматься, хорошенько отлежись. Дай-кась, я пойду с тобой, укутаю тебя одеяльцем.

— Стало быть, мы с тобой вдвоем сегодня будем беседовать! — сказала боярыня, проводив падчерицу в ее горницу и обращаясь к Марку Даниловичу.— Чай, тебе скучно со мной будет?

— Почему ж скучно? Вишь, ты какая говорунья!..

— Болтаю зря, из пустого в порожнее переливаю. Знаешь ведь, надобно нам перекусить.

— Уволь, Василиса Фоминишна!

— Нет, беспременно — за питьем-едой и беседушка будет лучше. Только как быть? Холопок нет, придется нам самим на стол собирать.

— А что ж, я рад послужить.

— Так пойдем хозяйничать,— со смехом сказала боярыня.

Перекидываясь шутками, смеясь, они накрыли стол, уставили его яствами.

— А ты — добрый хлопчик! — шутливо промолвила Василиса Фоминишна.

— Рад постараться, боярыня! — в том же тоне ответил Марк.

— А за старанье награда нужна... На-ка, выпей!

С этими словами она взяла стоявший на столе отдельно от прочих кубок, налила его доверху медом и подала Марку.

— Смотри, осуши до капли! — добавила она.

— За твое здоровье, боярыня,— сказал он и осушил кубок.

— Ух, какой мед крепкий! Ажно дух захватило,— промолвил боярин, ставя пустой кубок обратно на стол.

— Старый медок,— проговорила Добрая. Глаза ее сияли.— Теперь закусим... Я, признаться, есть изрядно хочу. А ты? — продолжала она.

— Так себе, не очень.

— Так я тебя угощать стану, как бы мужа своего угощала, ха-ха! Вот этак: кушай, муженек мой дорогой!

И боярыня, поднявшись с лавки, с низким поклоном поставила перед Марком блюдо с каким-то яством.

— Кушай да женку свою люби! — добавила она и неожиданно поцеловала Марка Даниловича.— Ха-ха! Так бы я муженька ласкала!

— Шутница ты, Василиса Фоминишна!

— Ну, будет дурить! Поесть надо... Подвинься-ка, боярин.

Она опустилась на скамью плечом к плечу с Кречет-Буйтуровым.

Должно быть, она, действительно, хотела есть. Ее челюсти усердно работали, косточки так и похрустывали под ее крепкими зубами.

Марк Данилович ел мало. С некоторого времени им начало овладевать странное состояние. Казалось, в его жилах струилась не кровь, а огонь. Голова кружилась. Он с каким-то особенным вниманием стал посматривать на белые, пухлые руки боярыни, на ее роскошные плечи. А Василиса Фоминишна, словно нарочно, все плотнее прижималась к нему. Он чувствовал теплоту ее тела. Близость молодой женщины пьянила его. Еще мгновенье — и его рука сама собою обвилась вокруг стана красавицы. Боярыня повернула к нему голову, глянула на него горячим взглядом. Ее руки обвили его шею, щека прильнула к щеке.

— Милый! Любимый! — услышал он страстный шепот.

Он забыл все — забыл, где он, забыл Таню, непобедимая страсть охватила его. Он сжал боярыню в своих объятиях. Теперь он уже не слышал ее страстного лепета.

Головная боль у Тани утихла. Еще лихорадилось, но уже у боярышни отпала охота лежать. Ее тянуло к Марку. Она поднялась с постели, закуталась в плат и спустилась из терема. Когда она приближалась к светлице, из-за дверей доносился голос ее мачехи, поразивший боярышню своей интонацией.

«Словно хмельна она»,— подумала Татьяна Васильевна и отворила дверь.

Отворила и остановилась на пороге, как прикованная, пораженная, похолоделая от ужаса. Она увидела сидевших на скамье Марка и Василису Фоминишну в объятиях друг друга.

У боярыни был торжествующий вид, и она смотрела на падчерицу с насмешливой улыбкой. Кречет-Буйтуров повернулся к дверям и увидел невесту. Лицо его приняло пристыженное выражение. Он понурился и схватился руками за голову.

Вдруг он вырвался из объятий боярыни, подбежал к Тане, упал перед нею на колени.

— Прости!..— забормотал он.— Не знаю — бес, чары попутали... Не бывать счастью!.. Ох!

Это «ох» прозвучало отчаянным стоном.

Потом он бросился к выходу.

— Стой! Марк! Родной, куда! — остановила его Василиса Фоминишна.

Лицо молодого окольничего злобно исказилось.

— Прочь! Разлучница проклятая! Убью! — прохрипел он и, оттолкнув от себя боярыню, выбежал в сени.

— Нет, Марк... Этого не может быть... Ты мой, мой! — бежала за ним и кричала красавица.

Но он ее не слушал, спустился с крыльца, перебежал двор и скрылся за воротами.

— Марк! Марк! — несся вслед за ним отчаянный призыв Доброй.

Она хотела было спуститься с крыльца, но вместо этого прислонилась к стене и заломила руки.

— Ушел! Ушел! — прошептала она.

Этот шепот способен был оледенить душу.

Вдруг она разразилась неистовым хохотом.

— Мой! мой! Ха-ха-ха! Никто не отнимет! Ха-ха!

Этот смех был ужаснее слез. И долго звучал он по опустелому дому, а когда он затих, вместо боярыни Доброй стояла в сенях у крыльца другая женщина, мало ее напоминавшая, с бледным лицом, с растрепанными, выбившимися из-под кики волосами, в которых блестела седина, с дико блуждающими глазами. В это же время наверху, в светлице, тихо плакала Таня. Она сознавала, что жизнь ее разбита. Ее сердце было переполнено горем; надеждам не было места. Жить — казалось ей — значило мучиться. Недаром же она, упав перед иконой, жарко молилась:

— Пошли, Господи, мне смерть поскорей!

IX

ЗА МОРЕ

Борис Федорович Годунов был немало изумлен, когда ему однажды ранним утром доложили о приходе окольничего Марка Даниловича. Он велел его немедля звать.

— Вот не ждал видеть! Что скажешь? Что это ты, здоров ли? — спросил правитель, когда Кречет-Буйтуров вошел в комнату.

— Здоров, а что?

— Да уж больно ты что-то с лица спал и побелел.

— Не от нездоровья это...— с тяжелым вздохом промолвил Марк Данилович, а потом добавил: — я к тебе с просьбой, Борис Федорович.

— С какою?

— Дозволь уехать. Опять за море.

— Да что это ты вздумал! А как же свадьба?

— Свадьбе не бывать! — печально ответил Марк.

Годунов даже привскочил от удивления.

— Да что ты говоришь? Как не бывать?

— Так, не бывать.

— Разлюбил невесту, что ль?

— Пуще прежнего люблю.

— Кажись, ты меня морочить хочешь. Сам горевал прежде, что сватовства не приняли, а теперь на!

— Изменилось все ныне.

— Да что случилось?

— Борис Федорович! Будь отцом родным! Не спрашивай, не терзай сердца моего! Одно скажу, нельзя мне теперь жениться на Татьяне Васильевне — совесть зазрит. Ах, кабы ты знал, Борис Федорович, что на душе у меня делается! И не знаю, что со мной такое сделалось — чары какие-то обуяли... Теперь жениться мне на Тане — свершить грех великий.

— Ничего понять не могу! — пожав плечами, сказал Годунов.

— Прикажешь все сказать, я должен буду сказать все, но только лучше не приказывай.

— Бог с тобой! Не хочешь говорить — не неволю. Так уехать хочешь за море? Надолго?

— Не знаю... Может, и навсегда.

— Ну уж это не дело! Как на свою родину не вернуться? Жаль, жаль, что уезжаешь! Остался бы!

— Нет, Борис Федорович, не могу — останусь здесь, изведусь.

— Эх, Марк Данилович! Чудной ты человек! Бог с тобой, поезжай, коли такая охота!

— Спасибо, Борис Федорович.

— Зайдешь еще проститься?

— Я ведь живо махну. Лучше уж сегодня и распрощаемся.

Когда Годунов прощался с Марком, на глазах приятеля блестели слезы.

— Эх, Марк Данилович, не того, признаться, я ожидал от тебя! — промолвил он.

— Что делать! Не я виноват, судьба всему виной,— ответил молодой окольничий.

От правителя Кречет-Буйтуров зашел к Топорку.

Тихон Степанович, по-прежнему веселый и добродушный, радушно встретил его. Разговор между ним и Марком несколько напомнил недавнюю беседу Кречет-Буйтурова с правителем. Подобно Годунову, Топорок очень удивился отъезду Марка Даниловича, пустился расспрашивать, почему приятель раздумал жениться. Отвечал ему Кречет-Буйтуров почти так же, как и Борису Федоровичу. Когда расспросы кончились, он сказал:

— Хочу я тебя попросить кое о чем.

— Рад сделать, коли смогу.

— Жаль вотчину оставить без хозяйского глаза. Там я завел и то, и другое, все это без меня порушится. Просить хочу, не присмотришь ли за вотчинкой? Владей ею, как своей... Коли не вернусь через десяток лет, бери ее совсем себе.

— Ой, как же это так!

— Да что ж? Не вернулся я, стало быть, вотчина мне не надобна. А на тебя я положиться могу, что ты заведенных порядков не нарушишь.

— Ну, вестимо! Как ты завел, так все и оставлю.

— Вот этого-то мне больше всего и охота. Возьмешься — спасибо тебе скажу большое.

— Мне тебе надо спасибо сказать — этакий доходище ты мне в руки даешь!

Таким образом приятели сговорились.

Через четверть часа после разговора с Топорком Марк Данилович стучался в одну из келий Чудова монастыря. Когда дверь отворилась, его встретил сильно поседелый старик-монах с худощавым, спокойным лицом.

— А, Марк! Навестить пришел? Спасибо! — промолвил старик.

— Проститься пришел, дядюшка,— ответил тот.

Старик этот был не кто иной, как боярин Степан Степанович Кречет-Буйтуров, превратившийся в инока Савватия, забывший былые, прежде им столь любимые, мирские удовольствия и заботы и нашедший в тихой обители покой для своей потрясенной горем души.

Не забыл Марк Данилович посетить перед отъездом и

Александра Андреевича Турбинина, который жил в материнском доме, со времени погибели Кати, настоящим затворником. Оставаясь в миру, он жил монахом; горе превратило цветущего юношу в старца. Целью жизни и утехой его было добро во всех видах. Его имя на много верст в окружности произносилось с благоговением. После тяжких бед и Степан Степанович и Александр Андреевич нашли свое счастье, нашли не там, где искали.

Найдет ли его Марк Данилович?

Он отправлялся на его поиски.

Был серенький день, когда Кречет-Буйтуров, в сопровождении Топорка и толпы крестьян, выезжал из своей усадьбы, отправляясь в далекий путь. Он выезжал с тяжелым чувством и грустно поглядывал вокруг себя: придется ли еще раз все это увидеть?

Многие из крестьян, провожавших его, плакали; Тихон Степанович был взволнован; у самого Марка Даниловича блестели на глазах слезы.

Проводив боярина верст на пять от усадьбы, провожавшие распрощались с ним. Кречет-Буйтуров, теперь уже надолго, остался один. Потянулось долгое, утомительное путешествие, полное всякого рода опасностей. Прошло немало времени до той поры, когда Марку Даниловичу пришлось сменить коня на корабль. Только спустя почти год после того, как он покинул Русь, Марк с корабельной палубы мог различить в синей дали очертания Венеции.

X

ДВА ШЕПОТА

Знойный день. В воздухе тишь такая, что занавеси на окнах терема не шелохнутся. Чья-то рука приподняла одну из них, и в окне показалось миловидное, румяное личико с плутоватыми, темными глазками. Солнце бьет в глаза, белая ручка заслонила их от солнца.

Что видно из окна терема? Широкая полоса полей темно-зеленых, где сплошь закрыла их травяная поросль, светлых, переливчатых, где струится начинающая колоситься озимая рожь, полоса полей — бледно-розоватых, где цветет

гречиха, за ними, в синеватой дали, лес стоит темной стеной. Серая при солнце узкая дорога выбегает из него и змеей вьется по полям до самой усадьбы боярина Луки Филипповича Стрешнева и дальше до деревни, виднеющейся на холме.

Столб пыли взвивается на дороге — скачет всадник. Почему вдруг вспыхнуло лицо смотревшей из окна жены Луки Филипповича, боярыни Анны Григорьевны? Почему она чуть слышно шепчет:

— Родной мой! Соколик!

А Тихон Степанович — этот всадник был он — похлестывает коня и сам глаз не спускает с терема. У него зоркие очи — он видит Анну Григорьевну. Конь чуть не пластом стелется по земле, а боярину тихим кажется его бег, и, что цепом, молотит он нагайкой по бокам коня. Близко уж... Сорвал Тихон Степанович со своей головы шапку и машет ею и говорит что-то про себя. А что? Быть бы беде, если б услышал его боярин Стрешнев!

— Сейчас, Аннушка! Сейчас, люба моя! — вот что шепчет он.

XI

СМЕРТЬ СТАРЦА

Венеция утопала в лучах горячего южного солнца. Капли, падавшие с весел гондольера, везшего Марка к жилищу Карлоса, сверкали алмазными искрами.

Вот и каменное крыльцо, побуревшее от времени, и дверь в нише.

С замиранием сердца взбежал молодой человек по каменным ступеням. Чуть скрипнув, повернулась дверь. Полутемно. Глаза Марка неясно различают несколько человеческих фигур. Вон постель под пологом... Стол отодвинут, и Карлоса нет на обычном месте.

Скоро глаза Кречет-Буйтурова осваиваются с полумраком. Он различает удивленное лицо Бригитты, видит Беппо, Джованни.

— Марк!

— Я!

— Господи! Вот чудо! Обнимемся...

— Где дядя?

— Тсс?..— шепчет Бригитта и прикладывает палец ко рту.

— Ты пришел вовремя, Марк,— говорит Беппо, успевший обняться и расцеловаться с приятелем.— Дедушка Карлос... Моя жена делает тебе знаки, подойди к ней — она что-то хочет сказать.

— Бригитта — твоя жена?

— Ну, да.

— Сдержала, значит, обещание... Я рад, дружище!

Марк крепко жмет руку приятелю и спешит к Бригитте.

— Посмотри — он, кажется, в забытьи,— говорит она.

— Мой учитель, мой отец! Что с ним? — спрашивает боярин, вглядываясь в худощавое, такое же белое, как подушка, лицо Карлоса. Глаза закрыты, грудь слабо вздымается. Старец похож на труп.

— Соберись с силами, друг! — промолвил Джованни.

— Он очень болен?

— Да... Умирает.

— О Господи!

Умирающий пошевелился, открыл глаза.

— Марк! Дитя мое! — слабо прошептал он.

— Отец! — сказал Марк, целуя его морщинистую руку.— Я тебе принес здоровье, учитель.

— Нет, сын мой. Я долго жил, тело требует отдыха... Конец мой очень близко... Уже я чувствую, что смертельный холод разливается в моих жилах... Земля идет в землю, дух — к Великому Духу.

— Нет, нет, отец! Ты будешь жить!

— Буду жить еще несколько мгновений... Мало времени — надо спешить успеть поговорить с тобой...

Волнение придало бодрости старцу. Даже Беппо с женой и Джованни, видевшие, как угасали силы Карлоса, в эту минуту усомнились, что его конец близок.

— Что привело тебя сюда, сын мой? На твоем лице я вижу следы страдания...

— Я искал тихой пристани, отец!

— Бедное дитя мое! Родина не дала тебе того, чего ты искал?

— Нет, учитель! Не родина виновата — я сам вина всех бед своих.

— Виновато мятежное сердце человеческое... Ох!

Старец, приподнявший было голову, откинулся на подушку и закрыл глаза. Лицо его вдруг осунулось еще больше

прежнего. Грудь начала усиленно подниматься, дыхание стало хриплым.

— Умирает! — пробежал шепот.

Марк впился глазами в лицо умирающего. Царила глубокая тишина — тишина смерти. Ее холодное дыхание, казалось, пронеслось над присутствующими. У всех сердце билось неровно, холодная дрожь пробегала по коже. Прошло несколько минут, но они стоили часов. Старец приподнял веки. Губы его шевелились. Шепот был так слаб, что его едва можно было уловить.

— Тьма,— шептал умирающий,— тьма вокруг... А вдали свет... О, как он ярок! Лучи его проникают мне в душу. Теперь нет тьмы, теперь свет... Грядущее ясно... Тайна жизни открылась... Марк! Мой ученик, мой сын! Я иду из тьмы в свет... Скоро этот свет обоймет и тебя... божественный, всепроникающий... Не здесь блеснет тебе небесный свет — далеко, на твоей родине... Покидая мир, ты будешь счастлив: воплотившийся ангел божий сойдет к твоему изголовью, кинет божественный луч в твою скорбную душу... Скоро!..

Он смолк.

— Что это? Пророчество? — с суеверным страхом прошептал Беппо.

Лица Бригитты и Джованни были мертвенно бледны. По лицу Марка струились слезы.

Карлос сильно вздрогнул все телом. Веки смежились. Нижняя челюсть бессильно отвисла. Глубокий вздох вырвался из груди...

— Помер! — разом промолвили все.

Кречет-Буйтуров приник ухом к груди Карлоса: сердце не билось.

— Один во всем мире! Совсем один! — шептал он, целуя холодеющее лицо покойника.

XII

РАЗОЧАРОВАНИЕ

— Один, совсем один! — говоря так, Марк не ошибся.

Друзья с ним были приветливы, но прежних сердечных отношений не было. Они старались быть с ним, как встарь,

откровенными, веселыми, но в речах их сквозили какие-то недомолвки. Они любили Марка издалека, помня его прежнего — веселого малого, когда же перед ними предстал он таким, каким стал в последнее время, они почувствовали, что с этим грустным, задумчивым мужчиною их не связывают былые дружеские узы. Никаких общих интересов между ними не было. Он еще искал счастья — они уже нашли: Беппо — в приветливой улыбке Бригитты, в ясных глазенках своего малютки-сына; Джованни — в мирном житье-бытье со своею молодою женою — он женился за два месяца до возвращения Кречет-Буйтурова в Венецию. Своим приездом Марк внес словно какую-то холодную струю в их существование. Побывал молодой боярин у Джованни, побывал и у Беппо. Джованни все время рассказывал, как он познакомился со своей Маргаритой — так звали его жену — обнимал да целовал свою «женку». Марк слушал его с грустным лицом и думал, отчего Бог отказал ему в таком счастье.

У Беппо — Бригитта заставляла Марка любоваться своим сынишкой, подробно разъясняя, как у маленького Беппино прорезались зубки, как неожиданно для отца с матерью он начал ходить...

Марк слушал ее с печальной улыбкой. Как не похожи были эти речи на те, которые он когда-то слышал от Бригитты, как не похожа была и сама эта начинающая полнеть женщина на прежнюю стройную девушку. Беппо вставлял свои фразы в разговор жены, шутил, но все это выходило как-то натянуто, а глаза его часто странно останавливались на оживленном лице Бригитты, и морщинка перерезала его смуглый лоб: он ревновал жену к «другу», как он еще звал Марка по старой памяти.

Чужд, подобно былым друзьям, стал Марку и этот город с его каналами и роскошными палаццо. Он уже привык к простору полей своей родины, его давили громады дворцов. Кроме того, он не чувствовал себя в безопасности — зоркие глаза служителей инквизиторов легко могли заметить беглого «еретика», и тогда он пропал. Он не боялся смерти, пожалуй, желал ее, но умереть ему хотелось на родной земле.

Однажды Беппо, вернувшись домой, сказал жене:

— Ну, проводили нашего приятеля.

— Пошли Бог ему путь добрый! — сказала Бригитта.— Что ж подавать, что ль, ужин?

— Да, подавай... Постой, одно слово: ты не скучаешь по Марку?

— Что же мне скучать? У меня муж, сын...Нет, не скучаю.

Через несколько минут они уже сидели за столом. Беппо был очень весел, Бригитта тоже. Они говорили много, но о Марке не было упомянуто ни слова.

А в это время Кречет-Буйтуров стоял на палубе корабля и смотрел на уходящую вдаль, озаренную последним отблеском заката Венецию. Никакой грусти он не чувствовал. Он сознавал, что покинул навсегда чужой ему город.

XIII

КОШЕЧКА

Лука Филиппович Стрешнев вернулся из Москвы мрачнее тучи. Молча отобедал он, молча поднялся из-за стола. Анна Григорьевна диву давалась — она еще ни разу не видела мужа таким сумрачным.

— Лука Филиппович, али ты осерчал на свою жену, что слова с нею не хочешь молвить? — сказала она, ласкаясь к мужу. Маленькая, худенькая, гибкая, она напоминала хорошенькую кошечку и казалась еще меньше в сравнении со своим мужем, богатырем-стариком, крепким, как столетний дуб.

Лицо Луки Филипповича сразу прояснилось.

— Ласточка моя! Да за что мне на тебя сердиться?

— Может, что сделала али вымолвила не по нраву?.. Коли так, прости меня, глупую!

— Полно тебе!.. Ишь, и слезки в глазах... Ай-ай! и совсем-то ты еще девочка, а не бабенка замужняя... Ну, можно ль так! Ах, ты, золоташка! — говорил Стрешнев, целуя жену.— Вот, все мне говорили,— продолжал он,— смотри, Лука Филиппович, не дело ты это затеял жениться на старости лет на молоденькой — беду себе готовишь. Вот те и беду! Чай, и молодых мужей так не любят, как меня женка. Ведь любишь?

— Ну, вестимо ж люблю! Как спрашивать не грех,— ответила боярыня и обняла старика, и прижалась розовой щечкой к его морщинистой щеке.

Она не лгала — по-своему он любила мужа, что не мешало ей с легким сердцем изменять ему. Он был стар и сед, а

тот, Тихон Степанович, был такой молодой, веселый... Соблазн велик. Первый шаг был труден, а раз он совершился — жалеть было поздно, надо было пользоваться тем, что куплено грехом. И она не жалела, и пользовалась, и не считала себя хуже других. Муж в ней души не чаял, и она вертела им, как хотела, Тихон Степанович обожал — чего она могла еще желать? Она была довольна и счастлива. Правда, где-то там, в глубине души, шевелился иногда беспокойный червячок опасенья: а что, если узнает муж? Но она спешила успокаивать себя: как ему узнать? Кто из слуг знает, тот надежен и закуплен — им же прибыльнее, коли боярин ничего знать не будет... Не проведать ему!

Беспокойство пробуждалось в ней тогда, когда она видела мужа сумрачным. Поэтому она всегда старалась выведать причину его дурного расположения духа. Сегодня она не на шутку встревожилась, увидя Луку Филипповича что-то слишком угрюмым и, как показалось ей, холодным с нею. Поласкавшись достаточно с мужем, боярыня промолвила:

— Ай, да и хитер же ты, муженек милый!

— Я? С чего взяла?

— Да как же! Стал ласкать, целовать — глаза мне отвел.

— Вот на!

— Я его спрашивала, почему он со мной словцом не перекинулся, а он молчок.

— Глупышка! Да как же я скажу с чего, коли просто ненароком вышло?

— А с чего грустен так?

— Невзгода пришла на старости лет.

— Какая?

— Подниматься надо со своего родного гнезда, ехать в чужие места.

— Да что ты!

— В опалу впал, с чего — не знаю. Борис Федорович на меня озлобился что-то, и царь прогневался. Приказывают мне из Москвы в Углич отъехать.

— В Углич! Ах, Боже мой!

— Да... Якобы к царевичу Дмитрию для оберегания.

— Ах, Боже мой! Боже мой! — бормотала Анна Григорьевна. Она до того взволновалась, что побледнела.

— Трудненько будет привыкать на новых местах.

— И скоро тронуться надо?

— Да, седьмицы через две... К вешнему Миколе там быть приказано.

— Батюшки! Пока сберемся, пока доедем...

— Выходит, что нам всего несколько дней в родном доме провести придется... Ох, грехи, грехи! Пойду сосну, что ли, напоследок. И ты прилегла бы...

— Нет, мне не до сна.

— Ты не больно к сердцу принимай!

— Как не принимать этакое!

— Что делать! Авось, и там жить будем не хуже.

Он поцеловал жену и вышел из комнаты.

— Марфуша! — крикнула боярыня холопку, едва муж вышел.

Молодая, шустрая бабенка прибежала на зов.

— Что прикажешь?

— Беги сейчас к Тихону Степановичу... Смотри только, чтоб кто не заприметил.

— Не впервой, боярыня!

— Скажи, чтоб он немедля шел сюда — жду его: о деле важном потолковать надо. Да чтоб не входил в дом, потому Лука Филиппович здесь — не забудь сего примолвить — а подъезжал бы напрямик к саду, к той стороне, что на поле выходит... Я уж поджидать буду. Упомнишь! А коли спросит кто, куда бежишь?

— Скажу, в деревню боярыня отпустила кума повидать.

— Ну ладно, иди с Богом!

Через несколько минут Марфуша степенно выходила из ворот. Правда, когда она отошла от усадьбы на сотню-другую сажень, степенность ее покинула и она принялась так шагать, что только сверкали ее босые пятки, но никто этого не заметил.

XIV

КОНЕЦ РАЗГОВОРА

На деревьях сада еще только начинают проглядывать ярко-зеленые листочки; кусты кажутся осыпанными снегом от белого пуха распускающихся почек. Они еще не стоят плотною зеленою стеной, за которою можно сокрыться от любопытного глаза. Не скрыть безлистным ветвям боярыни Стрешневой с Тихоном Степановичем, которые вот уже

добрый час прохаживаются и о чем-то жарко толкуют на далекой от дома садовой дорожке.

Марфуша бежит по саду.

— Анна Григорьевна! Лука Филиппович проснулся, тебя спрашивает,— кричит она.

— Ах, сейчас! — досадливо отмахивается боярыня.— Так и порешим, соколик?

— А вестимо ж, неужли расставаться? Брошу все и в Углич следом за тобой махну.

— Удастся ли устроить? Отец пустит ли тебя?

— Устроим! Будь покойна — в Угличе буду не позже тебя.

— Ах, ты, родной мой! Ах, ты, голубчик! — обнимет и целует Тихона Степановича боярыня.

— Анна Григорьевна! Да иди же ты, Бога ради! — просит холопка.

— Иду, иду, неотвязная! — отвечает Стрешнева, вырываясь из объятий «своего голубчика», и спешит, оглядываясь на бегу и кивая Тихону Степановичу, вся раскрасневшаяся от поцелуев, к своему седовласому мужу.

XV

КОЕ-КАКИЕ РАССУЖДЕНИЯ И ВЫВОДЫ

По Москве стали ходить недобрые слухи. Поговаривали, что правитель хочет извести царевича Димитрия, чтобы по смерти Федора, который куда как слаб здоровьем, сесть на стол московский. Годунов знал, откуда идут эти слухи, что это — выдумка Шуйских, пущенная в народ, чтобы заставить легковерный люд смотреть иными глазами на правителя, чем раньше смотрел, чтобы в то же время пошатнуть доверие царя к Борису. Какие мысли, какие опасения возбуждали эти слухи? Как всякая клевета, они возбуждали гнев прежде всего, а потом... потом он подумал, что было бы, если б, действительно, так или иначе, царевич покончил свои дни? Создалась такая картина, что у Бориса Федоровича дух захватило: стоя уже у трона, ему тогда стоило бы сделать шаг, и он очутился бы на троне. Он такой перспективы у многих бы закружилась голова. Враги Годунова были

умны и били метко: на месте Бориса они, не задумываясь, убрали бы преграду с пути. Но правитель был не похож на других — у него был светлый разум, способный обуздывать волю, смирять порывы сердца. Голова у него не закружилась. Он все хладнокровно обдумал и взвесил. Его остановил не ужас преступления — ради достижения великой цели, он, быть может, не побоялся бы употребить всякие средства: он все же был одним из величайших честолюбцев — его остановила нелепость такого поступка. Царь еще жил; правда, не отличался здоровьем, но нередко хилые люди переживают здоровяков. В случае погибели Димитрия и смерти Федора, кто мог сказать наверняка, что в цари изберут именно его, Бориса Годунова, потомка татарина Четы? Будь на его месте какой-нибудь князь Шуйский или иной родовитый боярин, тому можно было б этого ожидать почти с уверенностью, но шапка Мономаха, надетая на голову татарского отпрыска — казалась чем-то невозможным. Наконец, кто поручится, что у Федора и Ирины не будет детей? Родится сын — и убиение Димитрия явится бесцельным злодеянием. Не лучше ль избрать другой путь, более медленный, более верный? — пользуясь влиянием на слабохарактерного царя, внушать ему, что вступление после него на царство Димитрия будет бедствием для Руси, так как сын Грозного, по всему видно, унаследовал жестокие наклонности отца. Постепенно Федор сдастся, если не потому, что убедится в справедливости доводов, так в силу того, что ему надоест вся эта «докука». Димитрий будет отрешен от наследования престола. Его можно заключить в какой-нибудь монастырь под надежную охрану и действовать дальше. Можно ли престол оставлять без наследника? Царь по своей воле должен избрать себе преемника. Помазанник Божий не может ошибиться — он изберет достойнейшего из своих слуг и назначит его наследником по себе. Если сомнительно, что народ выбрал бы Годунова царем, зато не может быть ни малейшего сомнения, что царь изберет себе в преемники не иного кого, как своего шурина. Раз состоялось бы назначение, можно было бы вступить на престол, даже не дожидаясь кончины Федора: он так тяготится мирскими делами, так любит тишину храма и звуки молений — уговорить его сокрыться от мира в какую-нибудь тихую иноческую обитель стоило бы не Бог знает какого труда.

Этот путь более верный, и престол, достигнутый этим путем, не будет шатким. Правда, должны были встретиться

немалые препятствия, но он, Борис, привыкший к борьбе, сумел бы их победить.

Такой план выработался у Бориса Федоровича, и в силу этого плана ему не только не приходилось посягать на жизнь царевича, но даже, наоборот, охранять ее. Бог знает, только ли ради одного желания повредить правителю распускают Шуйские и иные враги эти слухи? Быть может, у них цели обширнее: не хотят ли они для своей личной пользы покончить с царевичем и, свалив вину на голову Бориса и заняв его место, перешагнуть на незанятый престол?

Необходимо было приставить к царевичу для охраны надежного «дядьку». Ему следовало избрать из простых людей — избави Бог поставить боярина: он мог спеться с Шуйскими и натворить таких дел, что беда. Но кого взять? Годунов искал. Окольничий Андрей Лупп-Клешнин представил ему дьяка Михайлу Битяговского. Это был очень некрасивый, грубый человек, могущий служить рабским исполнителем чужой воли. Он показался подходящим Годунову в «дядьки» царевичу. Его грубость — Михайло был груб даже с самим Борисом Федоровичем — могла служить доказательством, что он не поцеремонится с теми, кто вздумает сунуться его учить, живо отвадит резким словом, а то и ударом кулака, и сделает так, как ему надо. В помощники ему были даны — его сын Данило и Василий Качалов, человек тоже неродовитый. Всем им был отдан строжайший приказ: не спускать с глаз своих царевича.

XVI

УДАЧА ТОПОРКА

Тихон Степанович хорошо был знаком с Данилой Битяговским. Правда, знакомство это было уличное — некогда они вместе дрались на кулачных боях — но все-таки прочное. Сведав о том, что Данило едет с отцом в Углич к царевичу. Топорок впопыхах прискакал к нему.

— Данилко! Заставь за себя Бога молить.

— А что такое?

— Упроси батьку своего, чтоб он и меня взял с собой, вроде как подручным.

— С чего это вздумал?

— Надо мне в Угличе беспременно побывать, а так отец меня, знаю, не пустит, придется тайком бежать, что не больно охота: у меня денег нет, отец не даст — чем в Угличе жить?

— Гм... Батька мой, пожалуй, не согласится.

— А ты попроси.

— Попроси! Поди, уломай его! Он, что конь нравный, упрется и ни с места.

— Эх, беда! А ты все ж попытай!

— Попытать можно. После обеда он, как дернет чарку-другую, добрей становится, так я вот в эту пору. А ты вечерком забеги.

Вечером Данило встретил Топорка словами:

— Ну, брат! Кидай шапку вверх!

— А что? Согласился? — радостно спросил Тихон Степанович.

— То есть, без слова. Больно уж по нраву пришлось, что ты — боярин.

— Как так?

— А так — пусть, говорит, у меня бояре под началом служат.

— Кичливый у тебя батька. Ай, да и спасибо же тебе! Пойду теперь моего уламывать.

— А как не уломаешь?

— Уломаю! — с уверенностью ответил Топорок.

И, действительно, он уломал отца. Теперь помех к отъезду в Углич не было. Одно заставляло его призадуматься: как кинуть доверенную ему Марком вотчину да еще в такую пору, когда начинаются посевы. Об этом он раздумывал всю дорогу от Москвы до усадьбы. Какова же была его радость, когда холоп при въезде доложил ему:

— Боярин приехал.

— Какой боярин?

— Да Марк Данилович.

Тихон Степанович не верил своим ушам. Но пришлось поверить, когда он увидал самого Кречет-Буйтурова, вышедшего на крыльцо. Он так и повис у Марка на шее.

— Радехонек же я! Не чаял я тебя и видеть. Вовремя явился, выручил!

— И я рад. А как выручил?

— Да теперь волен я ехать... В Углич мне надо, да твоя вотчина руки мне связывала. Радехонек я!

— А я, глупый, подумал, что ты мне обрадовался, а ты вот чему! — с улыбкой промолвил Марк.

— Ну, и тебе, вестимо. А пуще всего этому.

— Так, так! — тихо проговорил Марк Данилович и тяжело вздохнул: еще в одном друге пришлось ему разочароваться.

XVII

РОКОВОЕ ОТКРЫТИЕ

Лука Филиппович заспался. Уже давно майское солнце било лучами в окна его опочивальни, уже давно боярыня Анна Григорьевна успела подняться в постели, помолиться Богу и испить сбитню, уже несколько раз седая голова холопа Семена просовывалась в дверь — не проснулся ли, дескать, боярин — а Лука Филиппович все продолжал лежать, свернувшись калачиком, и сладко похрапывал.

Холоп Семен начинал уже не на шутку тревожиться таким отступлением своего господина от обычного порядка, наконец из боярской спальни послышалось желанное:

— Семенушка! Эх, заспался я сегодня! — говорил Стрешнев, позевывая и крестя рот.— Дивное дело! Никогда такого не бывало... А и сон же я сегодня чудной видел. Понимаешь, будто жена моя ведьма... с хвостом, это, и с ноготками железными, ха-ха! Все оттого, должно, что на новых местах спать приходится. А на самом деле я не больно по Москве скучаю, куда меньше, чем думал. Углич — град хороший, тихий. Не хуже нам тут жить будет, чем в Москве... Так ли говорю, Семен? Чтой-то ты сегодня угрюмишься?

Между боярином и холопом существовали почти приятельские отношения. И холоп, и боярин равно любили делиться своими думами друг с другом.

Что Семен был сегодня не в духе, это было заметно и по сумрачному выражению лица его, и по молчаливости, с какою он помогал господину одеваться. В ответ на вопрос Луки Филипповича махнул рукой и ворчливо ответил:

— С чего и веселым-то быть? Куда ни глянешь — грехи одни.

— Все мы в грехах, что говорить!

А особливо то за сердце берет, что ходит грех под личиной праведной. Намедни тут я слыхал... Али, может, тебе, боярин, холопа слушать не любо?

— Послушаем, послушаем. Рассказывай!

— Намедни тут я слышал,— продолжал Семен, смахивая пушинки, приставшие к одежде, которую сейчас надлежало подать боярину,— такую побывальщину. Жил-был не то купец богатый, а, верней, боярин один, старый уж... Ну, и приглянись ему одна девица красная, сирота круглая. Он не долго раздумывал и взял ее за себя. Живут, это, они — муж старый с женой молодой — год-другой припеваючи. Она его ласкает-милует, он на нее не надышится. А был у него холоп старый, верный. Ну, кое-что и заприметил он за молодой боярынькой. И вот, так же, как словно и мы с тобой теперь, завел он беседу да и выложил все: так и так, мол, женка твоя балуется. Только ты из дому либо спать завалишься — глядь, идет к ней молодчик черноусый. Боярин, вестимо, сперва на дыбы, чуть холопа не побил, а тот и говорит: «верь-не верь, а только я тебе их вместе, коли хочешь, покажу».

Семен неожиданно примолк. Лука Филиппович, с лица которого давно сбежало веселое выражение, тяжело дышал.

— Ну, а потом? — угрюмо спросил он.

— Вестимо, холопья правда вышла: накрыли молодую жену с полюбовником. Вот такие дела бывают на свете. С чего тут веселым быть? Везде грех один. Сбитенек сюда подать прикажешь?

— Постой! Скажи ты мне вот что,— медленно молвил Лука Филиппович,— неспроста ты мне эту побывальщинку рассказал?

Семен вдруг побледнел и кинулся в ноги боярину.

— Хоть серчай на меня, хоть нет — балуется боярыня Анна Григорьевна! — сказал он.

— С кем? — упавшим голосом спросил Лука Филиппович.

— С Тихоном Степановичем. Сдается мне, для того он теперь и в Углич прибыл, чтоб с нею не расстаться.

Стрешнев схватился руками за голову и несколько минут простоял так; потом прошелся по спальне.

— Может, тебе показалось?

Семен отрицательно покачал головой.

— Давно я начал примечать, что неладное что-то завелось. Больно часто стал Тихон Степанович подле усадьбы похаживать и все в ту пору, когда ты либо почиваешь, либо тебя дома нет. И потом эта Марфа...

— Какая Марфа?

— Холопка боярынина... Что ни день, то она со двора идет, и малость после прихода ее домой, глядь, Тихон Сте-

панович начинает погуливать. Стал я присматриваться за ней. Пока под Москвой жили, правду скажу, ничего мне путем открыть не удалось, а вот здесь поймал.

— Когда?

— Вчера. Сам своими ушами слышал, как Анна Григорьевна наказывала ей: «Скажи Тихону, чтоб, завтря в послеобеденную пору пришел, знаешь, туда, к огороду... Ждать буду... Скажи, тоскуется мне страсть, что он вчера и сегодня не был»

— Семен! Да знаешь ли ты, знаешь ли ты,— задыхаясь крикнул боярин, тряся холопа за плечи,— что ты меня в гроб укладываешь?

Тот беспомощно развел руками.

— Видит Бог, боярин, не хотел тебя я огорчать — затаю, дескать, про себя, а только не смог я... Потому сердце в груди повернулось, как подумал я, что они за твоей спиной будут целоваться-миловаться и над тобой посмеиваться.

— Я тебя не виню — ты правду сказал...— заговорил Лука Филиппович, зашагав по спальне.— спасибо тебе... Ох! Спасибо! Послушай, ты, может, ослышался?

Он рад был ухватиться и за соломинку.

— Нет, боярин.

— Я знаю, ты изрядно туг на уши... Ты ослышался, ослышался! Быть этого не может!

— Да нет же... Гм... Не знаю, может, конечно...— бормотал Семен.

— Ага! И сам говоришь! То-то! Не может быть, чтоб Аннушка... Ах, Боже мой, Боже!

Бедный Лука Филиппович просто терял голову.

— Ты зря не убивайся, боярин. Может, я и впрямь ослышался. Вот обождем до после обеда: не увидим их на огороде, ну, стало быть, и горевать нечего...

— Да, да!.. Конечно... Да и не увидим наверно... Обождем, обождем... Пойти сбитенька испить...

И Стрешнев поспешно вышел из спальни. Он старался пересилить себя, старался заглушить призрачной надеждой того червяка, который грыз ему сердце.

Жена встретила его поцелуем. Он ответил ей тем же и заглянул в глаза. Красивые глазки Анны Григорьевны казались такими детски-веселыми, светлыми, что старый муж невольно подумал:

«Да неужли же лгут эти глаза голубиные?»

Как будто часть бремени спала с его плеч. Во весь день, до самого обеда, он ни на шаг не отходил от жены. Он ста-

рался быть веселым и достиг этого: жена то и дело заливалась серебристым смехом в ответ на его шутки.

Едва кончился обед, он заторопился «на боковую».

— Спал, спал сегодня, а все спать хочется... Сосну сейчас страсть как! А ты, хозяюшка, не приляжешь? — сказал он, поднявшись из-за стола.

— Может быть, немного погодя. Работку кое-какую докончить хочется.

— Ну, работай, работай с Богом! — промолвил старик и вышел, тяжело вздохнув: подозрения опять усилились.

Конечно, придя в опочивальню, он только на случай прихода жены прилег на постель — до сна ль ему было? Он лежал в тяжелом раздумье, когда услышал легкие шаги жены.

Боярин притворился спящим. Анна Григорьевна наклонилась над ним, поцеловала его в лоб.

«Милая! Пришла отдохнуть... Стало быть, все неправда»,— радостно пронеслось в его в голове.

Но через мгновение скрип двери, отворенной уходившей из опочивальни боярыни, даказал ему, что он ошибся. Лука Филиппович готов был броситься следом за женою; чего бы он не дал, чтобы она вернулась! Но она не вернулась. Вместо нее пришел Семен.

— Пойдем, боярин.

— Она... за работой?

— Она ушла из дому, пошла к огороду.

Огоньки сверкнули в глазах старого боярина. Лицо его словно окаменело.

— Возьми веревок... да кликни Прошку...— прибавил он.

Через несколько минут Лука Филиппович, в сопровождении Семена, несшего пук веревок, и силача-холопа Прошки, почему-то прихватившего заступ, сторонкой пробирался в дальнюю часть огорода.

XVIII

15 МАЯ 1591 г.

Было далеко за полдень.

Данило Битяговский тихо шел по одной из улиц Углича. Его нагнал Топорок и хлопнул по плечу.

— Далеко ль, дружище?

— На двор царевичев, а ты?

— Тут к боярину одному...— уклончиво ответил Тихон Степанович.— Ну, что? По Москве не соскучился?

Данило тяжело вздохнул.

— Ох, брат! Уж так-то тут нам живется, что не приведи никому Бог.

— Что так?

— Смотрят на нас тут, словно на волков. Никто хлеба-соли водить не хочет. Мы еще только из Москвы в путь тронулись, а уж тут молва шла: едут убивать царевича Димитрия. В глаза убивцами зовут. Стоит на улицу показаться — на тебя так все и уставятся... Да, вишь, и теперь. Вон стоят.

Действительно, невдалеке от разговаривающих шла толпа простолюдинов и угрюмо посматривала на них.

— Ну, дела! Чего же это они взяли?

— Молва такая пущена. Вестимо, супротив Бориса Федоровича это ведут.

— Да, у него много ворогов.

— У кого больше! Эх, жизнь! День и ночь покоя знать не приходится; упаси Бог, случится что с царевичем — не быть нам живым: в клочья разорвут. Скажут — мы это на царевича злоумыслили.

— Никто, как Бог, Данило! Авось ничего не приключится, чего дарма тревожиться?

— Все так, а только случиться многое может — сам знаешь, царевич падучей немощью одержим. Схватит его припадок,— тут он и разбиться может, и мало ли что. А все на нас свалят.

— Гм... Н-да. Ну, да авось!.. Тебе в ту сторону?

— Да.

— А мне сюда. Прощай пока.

Они разошлись. Данило направился ко двору царевича, а Топорок — к огороду дама, где жил Стрешнев.

Подходя ко двору, Данило встретил Никиту Качалова и Осипа Волохова, сына Василисы Волоховой, мамки царевичевой.

Когда они втроем приблизились к крыльцу, они увидели сидевшую там боярыню Волохову. В это же время вышла «кормилица» царевича Ирина Жданова.

Царевич стоял подле крыльца. Это был худенький нервный мальчик, видимо болезненный, и к тому же он в силь-

нейшей степени был подвержен припадкам. Не раз во время приступов болезни он разбивался, прикусывал себе язык. Еще за сутки до того дня, о котором идет речь, с ним был припадок.

Несколько мальчиков, сыновья «жильцов», сверстники Димитрия, подошли к царевицу и заговорили с простотою детского возраста, не признающего никаких сословных различий.

— Царевич, давай играть в «тычку»?

— Ладно... А это что за ножик у тебя? — спросил Димитрий одного из них.

— У отца стащил,— усмехаясь ответил тот.— Потому, может понадобиться, так про случай.

— Покажь-ка! — сказал Димитрий, взял ножик и попробовал лезвие.— Нож добрый.

В это время к Димитрию подошел Осип Волохов.

— Здравствуй, царевич. Как здоровенек?

— Ничего себе.

— Кажись, у тебя новое ожерельице надето?

— Нет, старое,— ответил царевич, поднимая голову и оттягивая ожерелье тою же рукой, в которой держал нож.

Едва успел он это промолвить, как упал на землю в сильнейшем припадке. Рука его, судорожно сжимавшая нож, несколько раз в конвульсиях полоснула лезвием по горлу. Волохов растерялся. Он постоял некоторое время и пустился бежать. Ирина Жданова, увидев кровь, завопила неистово: «Убили! Убили!» — охватила царевича и прижала к себе. Данило Битяговский с Качаловым кинулись к ней.

— Что ты делаешь? Пусти! Дай нож от него вырвать. Убьет он себя! — кричали они.

Но Ирина не слушала их и продолжала вопить:

— Убили! Убили!

Тогда Никита Качалов силою отнял от нее царевича, Данило хотел вынуть из рук Димитрия нож; это ему удалось не сразу, и царевич успел еще несколько раз поранить себя.

Волохова металась по двору, Жданова продолжала вопить.

— Чего стоишь? — крикнул Качалову Данило.— Укрыться надо. Ишь, она орет — подумают, что и впрямь мы убили.

Они побежали к воротам.

Испуганные «жильцовы» мальчики и вторая кормилица с криком разбежались и по двору, и на улицу.

— Убили царевича! — этот клик дошел до слуха пономаря соборной церкви. Он опрометью бросился на колокольню и затрезвонил набат.

Толпы всполошившегося люда наполнили улицы.

— Пожар? Где горит?

— Царевича убили!

Людские бурные волны понеслись ко двору царевича. Народ увидел мертвого царевича, увидел раны на горле. «Кормилица» и Волохова лежали без памяти рядом с ним.

— Убит! Держи злодеев! — пронесся яростный клик.

Данило Битяговский и Качалов слышали набат, слышали клики народа. В ужасе, не зная, куда кинуться, они укрылись в Разрядную избу. Тысячи человек бежали следом за ними. Дверь избы была мигом выбита.

— Злодеи! Признавайтесь! — завопили на них. Тысячи кулаков опустились на их головы, плечи. Смятенные, оглушенные, они несвязно бормотали:

— Неповинны, видит Бог.

— Признавайтесь! — кричали им.

Данило решился на отчаянное средство, чтобы спасти жизнь.

— Борис Федорович приказал. По его воле, не по своей... крикнул он.

— А-а! Борис Федорович!

Вмиг и он, и Качалов были смяты толпой. Их били чем попало, топтали ногами. Скоро их тела представляли бесформенную кровавую массу.

Осип Волохов укрылся в доме Михайла Битяговского. Его схватили, привели к тому месту, где лежал царевич, вымучили признание и убили. Михайло Битяговский не испугался народного смятения. Прежде всего он попытался унять пономаря, бившего набат; когда это не удалось, он явился к трупу царевича.

— Чего вы? Ошалели, что ль? Царевич сам себя заколол в припадке,— грубо крикнул он толпе.

— Бей его, душегуба! Бей злодея! — раздались крики.

Целый град камней осыпал его. Спасаясь от каменного града он вбежал во дворец. За ним вломились туда и убили. Убили также слуг Михайла Битяговского, трех местных жителей, водивших с ним знакомство, и «женку юродивую», жившую в его доме.

XIX

КАРА

— Что долго не шел, Тихонушка? Я ждала, ждала.

— Прости, голубка. Заговорился тут с приятелем,— ответил Анне Григорьевне Тихон Степанович.— Скучала?

— Еще бы нет. Да, признаться, мне теперь часто скучно бывает.

— Давно ли?

— С той поры, как в Углич перебрались. Все я жду словно беды какой.

— Э, полно! Чем в Угличе хуже Москвы?

— Ой, хуже! Там нас в саду кто заприметить мог? А не в саду, так еще лучше, в светелке моей, куда тебя тайком Марфуша проводила. А здесь, глянь — место открытое, чуть не за версту нас видно. В дом же тебе пробираться и думать нечего — тесно живем теперь, в каждом углу по холопу ютится. Пока еще ничего, а как зима придет...

— До зимы еще далеко...

— Далеко, далеко, а все подумывать надо. Знаешь, надо нам как-нибудь иначе устроиться. Сдается мне, что старый Семен что-то заприметил,

— Да неужели? — с беспокойством промолвил Топорок.

— Да... Все он за Марфушей присматривает. Чуть та со двора, он сейчас: «Ты куда?»

— Может, он так.

— Не таковский он, чтобы так.

— Гм... Чтой-то, слышишь, никак сполох бьют?

— Да, да...

— Должно, пожар где-нибудь.

Они замолчали и обернулись в ту сторону, откуда несся набат.

— Здорово трезвонят, надо будет потом узнать, в чем дело...— сказал Тихон Степанович, оборачиваясь, и не договорил.— Смотри! Идет! — почти крикнул он.

Анна Григорьевна вздрогнула и тоже обернулась: в нескольких саженях от них шел Лука Филиппович с Семеном и Прошкой. Старик не кричал, не бранился, он молча смотрел на них, но этот взгляд был таков, что боярыня в ужасе прижалась к Тихону Степановичу, у которого холодная дрожь пробегала по телу.

Они словно оцепенели и не двигались.

Стрешнев подошел к ним, не прибавляя шага.

— Здравствуй, Тихон Степанович. Что ж, здравствоваться не хочешь? — сказал он.

— Здравствуй, Лука Филиппович,— пробормотал Топорок.

— Ну, что? Понравилась ли моя женка? Да, да, она хороша... И лицом смазлива, и телом крупичата... Да, да... А только змея она подлая! Змея! — крикнул старик, вдруг затрясшись всем телом от гнева.— Я ли ее не ласкал, я ли ее не дарил? — продолжал он,— как собака, ей в очи смотрел, всякую прихоть ее исполнял. И на! Обманула меня, опозорила... Честь моя где, честь? Отдай мне ее, проклятая!

Он схватил боярыню за плечо и рванул к себе. Топорок загородил ее.

— Убей прежде меня, Лука Филиппович. Пока жив, в обиду не дам,— сказал молодой боярин.

— По гроб, стало быть, полюбилась? — насмешливо спросил Стрешнев.

— Да, по гроб,— ответил Тихон Степанович

— Можно ль голубков таких разлучать? Вместе вам надо и в могилу идти... Эй, Прошка! Скрути их!

Холоп не заставил повторять приказа. Взяв от Семена веревки, он подошел к Топорку. Тот вздумал было с ним бороться — и через минуту лежал связанным на земле — с Прошкой бороться было под силу разве медведю.

Перед боярыней холоп остановился в нерешимости. Анна Григорьевна глядела обезумевшими от ужаса глазами и тряслась, как в лихорадке. Во все время она не могла вымолвить ни слова.

— Чего стал? Вяжи ее! — послышался приказ Луки Филиппович, и Прошка «скрутил» боярыню.

— Рой яму! — приказал потом боярин.

Земля была рыхлая: заступ Прошки выбрасывал целые глыбы. Стрешнев стоял над ним и смотрел, как угбулялась яма.

— Довольно,— сказал он, когда была вырыта яма аршина в два.— Клади их теперь туда рядком.

— Как, то-ись? — недоумевая, спросил Прошка.

— А так — возьми, да и положь. Ну-ну, поворачивайся!

— Боярин! Смилуйся! — промолвил холоп.

— Лука Филиппович! Не бери греха на душу! — присоединился к его просьбам Семен.

— Молчать! — свирепо крикнул боярин.— Делай, как приказываю!

Прошка, чуть не плача, опустил в яму сперва Тихона Степановича, потом рядом с ним боярыню.

— Лука!.. Ради Христа!.. Пощади!.. простонала она.

Стрешнев склонился над ямой.

— А ты щадила меня! А? Подлая! Проклятая! Прошка, заваливай! Что, Тихон Степанович, любо с милой своей лежать?

И, встретив полный ужаса взгляд молодого боярина, старик расхохотался, а потом еще раз крикнул Прошке:

— Заваливай!

Холоп копнул раз-другой и отбросил заступ.

— Хоть зарежь, не стану! — воскликнул он.

— Трус! — презрительно промолвил боярин и сам схватил заступ.

Дикий вопль вырвался из могилы. Лука Филиппович не обратил на него внимания. С ним делалось что-то необыкновенное. Он скрежетал зубами, плевался от ярости. На его губах выступила пена. Семен и Прошка с ужасом смотрели на него. Глыба за глыбой падала в могилу и, по мере того как слой земли утолщался, затихали вопли. Настал момент, когда вопли совсем смолкли; в гробовой тишине слышался только лязг заступа о землю и бормотанье боярина, да из города доносились беспорядочные звуки набата.

Яма заполнилась вровень с землей. Лука Филиппович бросил заступ, принялся утаптывать землю.

Вдруг он остановился и неистово расхохотался.

— Конечно! Нет жены, нет змеи! Ха-ха-ха!

Холопы стояли бледные как полотно. А Стрешнев продолжал хохотать. Лицо его багровело, глаза наливались кровью.

— Нет жены! Нет змеи! — почти хрипел он.

Вдруг его голос оборвался, и он как сноп упал на землю. Прошка и Семен подбежали к нему. Боярин лежал, закатив глаза, и хрипел.

Прошка приподнял его и стащил с могилы.

— Неси в дом живей! — сказал Семен.

— Шалишь! Наперед надо их отрыть,— ответил холоп и принялся могучими ударами заступа раскидывать землю. Когда заживо погребенных вынули из могилы, Анна Гри-

горьевна была уже мертва; Тихон Степанович был без чувств, но его удалось вернуть к жизни.

Стрешнев скончался в то время, когда Прошка нес его к дому.

Несколько дней спустя угличане с удивлением оглядывались на направлявшегося к городским воротам человека, молодого лицом, но с совершенно седыми волосами. Человек этот был Тихон Степанович покидавший Углич.

XX

ДРУЖЕСКАЯ УСЛУГА

— Горе это или радость? — задал себе вопрос Борис Федорович Годунов, когда выслушал известие о погибели царевича Димитрия.— Вернее всего — горе пополам с радостью,— решил он.

Надо было так действовать, чтобы горе совсем соскочило прочь, и осталась одна радость — радость человека, увидевшего, что преграда, занимавшая его путь, сама собою пала. Приходилось действовать умело — малейший ложный шаг, и вышло бы обратное: радость была бы побеждена горем. Борис Федорович решился на смелый поступок: он захотел заставить самих своих врагов послужить ему на благо.

— Князь Василий Иванович! — сказал он Шуйскому, затворившись наедине с ним.— Слышал, чай, что в Угличе совершилось?

— Злое дело совершилось, Борис Федорович, злое дело! — промолвил Шуйский.

— Злое дело? Какое?

— Убили царевича, дите малое, извели царский корень.

— Убили? Кто убил? — спокойно спрашивал Годунов.

Молния блеснула в его очах и потухла.

— Вестимо, тем, кому польза от этого есть.

Скрытый и хитрый Василий Иванович говорил теперь с несвойственной ему прямотою: Борис Федорович понял, что враги его уже подняли головы.

— А кому польза может быть от этого?

— Мало ль кому, хе-хе!

— Так скажи, к примеру?

Шуйский молчал.

— Что ж молчишь? Сдается мне, что польза от погибели царевича одним родовитым боярам.

— Ой, нет!

— Да, да,— метят они на престол московский попасть, коли — чего Боже упаси — царь наш батюшка окончит дни свои. Да, да, никому больше. И царь так думает. Когда до него молва дошла, будто царевич убит рукой злодейской, он сказать мне изволил: «Коли братец мой взаправду убит, так никто больше это не учинил, как бояре лучших родов, Борисушка!» А потом царь грозился, что, если и впрямь царевич убит, то на всех он бояр родовитых опалится... Особливо — напрямик тебе скажу — на вас, на Шуйских, больше всего он думает.

Василий Иванович всполошился. Он отлично понимал, что в словах Годунова нет и крупинки истины, но он понимал также и то, что Борис Федорович не станет слова зря бросать, что, значит, он сумеет внушить безвольному Федору Иоанновичу то мнение, какое сейчас высказал. Князь Василий даже побледнел.

— Почему ж на нас? Мы всегда были верными государевыми слугами.

— Уж не знаю... Наговорил, может, кто. У Шуйских ворогов много. Только я и друг вам...

«Чтобы ты провалился со своим дружеством!» — подумал князь.

А Борис продолжал:

— Вот, ты покосился сейчас на меня — думаешь: ишь, врет-то! А я правду говорю истинную. Друг я Шуйским и хочу по дружеству услугу оказать немалую. Коли пошлю я в Углич кого-нибудь из худородных, они такого наплетут, что не сносить вам голов. А я вам зла не хочу. В Углич ты поедешь.

Шуйский понял, что Годунов хочет им зажать рты, поэтому попробовал увернуться от поручения.

— Есть и старше, и родовитей меня. Из них кого-нибудь надо послать.

— Нет, нет, ты должен ехать. Я уж и царю сказал. Под опалу, чай, не хочешь попасть?

— Кто хочет!

— То-то. Ты поедешь, все это разберешь хорошенько, сыск добрый учинишь... Ну, и, вестимо, никакого убийства не окажется — молва это пустая, не боле. И все ладно будет,

и никто под гнев царский не подпадет, только ласку от него увидит. Ну, скажи теперь по совести, друг я али нет Шуйским?

— Друг, друг,— пробормотал Шуйский.

Выходя из комнаты, Шуйский кусал губы со злости: волей-неволей приходилось пред всею Русью открыто сказать, что Борис Федорович не повинен в убиении царевича, что все это — клевета одна, что никакого убиение не было.

XXI

СБОРЫ

Шли крымцы. Весть об этом молнией пронеслась по Руси и заставила равно тревожно забиться сердца всех — от беднейшего крестьянина до самого правителя Бориса Федоровича. Татары нагрянули неожиданно. Главное московское войско находилось в Новгороде и Пскове; против ханских воинов можно было выставить только сторожевое войско, находившееся под начальством князей Мстиславского, Трубецких, Голицына и других воевод в Серпухове, Калуге и иных местностях, наиболее страдавших от набегов татар. 26-го июня пришла весть, что полтораста тысяч крымцев идут к Туле. От этой вести все пришли в движение. Стали думать о защите Москвы, распределяли по воеводам защиту ее частей. 28 июня стало известно, что неприятель направляется прямо на Москву. Сторожевым войскам приказано было стягиваться к столице. Москву укрепляли как умели и могли. 3 июля хан Казы-Гирей перешел Оку, сразился с передовым отрядом русского войска и разбил его наголову. Помешать ему прийти под стены Москвы ничто не могло. Бой должен был произойти вблизи столицы.

Готовились к битве. Пришла пора боярам нести службу государеву — прийти на помощь ему «конно, людно и оружно».

Марк Данилович почти рад был нашествию хана: оно давало ему возможность встряхнуться от той апатии, в которую была погружена его душа. Ему все опостылело. Смысл жизни был утрачен. Он продолжал прежнюю деятельность, но уже не вносил в свое дело священного огня. И оно ему

надоело, как надоела и жизнь. А между тем он чего-то еще ждал, на что-то надеялся в тайнике души своей.

До него дошли слухи, что боярыня Василиса Фоминишна Добрая «ума лишилась», что всем правит теперь боярышня Татьяна Васильевна, говоря о которой, крестьяне непременно добавляли эпитет «андел». Ему говорили, что жить крестьянам под началом у Татьяны Васильевны очень хорошо. Слушая, он испытывал тихую грусть и тихую радость: его грусть была о потерянном счастье, его радостью было сознание, что добрые семена, кинутые им в ее душу, дали обильный плод.

Было раннее утро, когда Марк Данилович выезжал из вотчины в сопровождении холопов-ратников. Сумрачны были холопы, у многих слезы сверкали на глазах, когда они оглядывались на бежавшую за ними, голосившую толпу женщин и детей.

«Придется ль еще увидеть женку с ребятами?» — думалось не одному из них.

Только боярин их был весел — куда веселее, чем всегда. Казалось, он едет на пир, а не на битву.

— Боярин-батюшка! Обожди малость! — послышался крик издалека в поле.

Все оглянулись. Бежал какой-то человек и махал рукою, чтобы остановились. Его подождали. Он прямо подбежал к Кречет-Буйтурову.

— Батюшка Марк Данилович! Я к твоей милости,— сказал он, переведя дух.— Чай, не признаешь меня?

Боярин вглядывался в его лицо. Стоявший перед ним малый в изорванной одежде, грязный и лохматый, с опухшим от пьянства лицом, был ему, казалось, совершенно незнаком.

— Не знаю, братец, кто ты таков? — промолвил он.

— А не видал ты никогда у дядюшки у своего, Степана Степановича, Фильку-холопа?

— Как же не видать! Много раз видал. Так неужели это — ты, Филька? Да что ж это с тобой сделалось? Такой был ладный малый, и вот теперь...

Филька тяжело вздохнул и потупился.

— Совесть заела.

— Совесть?

— Да, только зеленым вином душу и отвожу. Хвачу это чарку-другую, ну, будто и полегчает. Веришь ли, от людей отбился, одичал совсем, потому горит вот тут,— ударил он себя по груди,— не могу в глаза людям взглянуть.

— Да что же ты натворил такое?

— Страшное дело сотворил: господина своего предал. Ведь это я тогда впустил Ильюшку с разбойниками во двор... Я, стало быть, повинен в черной погибели боярышни... и Анфисы Захаровны. И иных прочих... Ох, и попадись мне теперь Ильюшка! Сорвал бы я на нем свою злобу. Где я его ни искал — сгинул, проклятый, как в воду канул!

Марк Данилович молча слушал его.

— Да, после такого, должно, не сладко тебе житье! — промолвил он потом.— А чего он меня-то тебе надо?

— Окажи милость, боярин: дай мне коня да саблю либо топор, либо хоть дубину — хочу загладить грехи свои, сложить свою голову за царя, за Русь-матушку.

— Что ж, доброе дело! — сказал Кречет-Буйтуров.— У нас конь один под поклажей, скиньте-ка ее да дайте коня ему,— приказал он холопам.

Через минуту Филька сидел уже на коне и, ударяя босыми пятками в его бока и помахивая топором, данным ему холопами, приговаривал:

— Ну уж и поработаю я на славу Руси-матушки!

XXII

БОЙ

Волнуется туман. Белые тени плывут в воздухе и тают где-то там в выси, у позлащенного первым солнечным лучом облачка. Край солнца выглянул и дал весть о себе снопом ярких лучей. Засияли кресты московских церквей, озарились колокольни. Множество черных точек видно на куполах, на кровлях домов. Издали кажется, что мириады муравьев заполнили город. И на стенах, на башнях, на каждом возвышении виднеются эти муравьи. Это московские граждане собираются смотреть на битву, которая через час-другой, а может быть, через минуту, запылает у стен Москвы.

Ратные люди уже давно готовы: в двух верстах от Москвы, в подвижном дощатом городке они всю ночь стояли под знаменами. Тут и душа войска — Годунов Борис Федорович.

Ему царь вверил спасение отечества, как привык вверять всегда. Инок душою, Федор не взял меча в свои слабые руки; он с супругою и духовником уединился для молитвы.

Как в царской думе, так и здесь, Годунов сумел оказаться на высоте задачи. Он не был рожден полководцем, но мог быть им, как мог быть всем. Во избежании могущей произойти сумятицы он заранее определил, какому полку ударить из укрепления на какую часть вражеского войска, он поднял дух ратников, клянясь сам сложить голову на поле брани и увещевая их не жалеть своей жизни для спасения отчизны. И в ответ на его клятву ратники клялись ему. Главного начальства на время боя он не взял на себя — он предоставил его тому, кого считал опытнее себя в этом деле — князю Мстиславскому.

Едва рассвело, на Поклонной горе появились татарские всадники, сперва одиночные, потом густым массами, и остановились там. Казы-Гирей обозревал с высоты московский стан.

Несколько минут прошло в напряженной, давящей тишине. Вдруг застонала земля от топота тысяч конских ног — масса крымской конницы, пуская стрелы, размахивая шашками, с дикими криками ринулась с горы на равнину. Равнина была тиха и безлюдна. Казалось, крымцам не с кем будет биться. Только за стенами деревянного городка поблескивали стальные шеломы.

Лавина коней и людей с быстротой вихря достигла середины расстояния, отделявшего гору от походного городка, и мчалась дальше.

И вдруг снова дрогнула земля: сотни пушек из воинского стана, с кремлевских стен, из обращенных в крепости монастырей Даниловского, Новоспасского, Симоновского прогремели страшное приветствие, и чугунный град прорезал ряды татар. И в это же время распахнулись ворота городка, и отборные дружины, литовская и немецкая, высыпали оттуда.

Живая лавина, осыпаемая ядрами, продолжала мчаться, но уже впереди нее была скала. И она налетела на скалу. Залпы ружейных выстрелов слились с громом пушек — это была музыка боя; проклятия и стоны были его пением.

Московцы и татары стреляли в упор, рубились холодным оружием, душили, грызли друг друга. Здесь не было места милосердию, неизвестна была пощада. Раненые, поверженные на землю, поднимались вновь и, стоя на колеблющихся ногах, ослабевающей рукой еще хотели разить врага.

А с горы спускались все новые толпы крымцев, из городка выступали все новые дружины.

Горожане со стен и кровлей с напряжением следили за

ходом битвы. Не было сердца, которое не билось бы в это время страхом и надеждою; не было татарского сердца, кроме одного: это было сердце царя Федора.

Когда в комнату царя вошел боярин Григорий Годунов, царь встал и со всего терема смотрел на битву. Григорий плакал от волнения. Федор заметил его слезы и промолвил спокойно:

— На завтра, должно, царь крымский повернет восвояси.

Марку Даниловичу пришлось биться в самом центре битвы. В бою ему приходилось быть еще впервые. Он сам удивился тому, сколько зверства таится в натуре человека. Разве не зверским было то чувство, которое испытывал он, да, вероятно, и другие бойцы — чувство неутолимой жажды крови — крови человеческой?

Вид крови опьяняет — это на себе испытал Марк.

Холопы его дрались бок о бок с ним, а в их первых рядах — Филька. Он дрался лихо, и его топор раскроил не одну вражескую башку. Вдруг он повернулся к боярину и, кивнув головой в сторону, крикнул:

— Глянь-ка, там-то кто!

Марк Данилович оглянулся.

— Илья Лихой!

— Он самый. Ишь, леший, саблей-то как размахивает! А только ему несдобровать — татарва его уберет. Так ему и надо, проклятому!

И он отвернулся было, но через минуту опять посмотрел в сторону Ильи.

— Гм... Трое их, чертей, на него одного насело. Это не рука... Хоша так ему и надо, что говорить. Эх, сейчас зарубит его этот!

И вдруг он круто повернул коня и бросился на выручку Илье.

— Вы, бритые, что ж это на одного трое напали? Вот я вас! — рявкнул он и оглушил одного обухом топора. Татарин кувырнулся с лошади.

— Филька! — с удивлением воскликнул Илья Лихой.

— Молчи знай. Пусть лучше я не знаю, кто ты такой, потому зарок я дал: как встречусь с Ильей — проломить ему башку.

— За что?

— За то, что он душу мою сгубил. Ну, ладно, ладно, не растобаривай... Гляди лучше в оба! Вот, и недоглядел, экий дурень!

Последнее восклицание сорвалось у него при виде того, как татарин всадил клинок шашки в грудь Лихого. Илья уже падал с седла. Филька отбивался и в то же время поддерживал его.

— Чего валишься? Крепись!

— Помираю...— пролепетал Лихой.

— Эх, как же это ты оплошал! — с досадой проговорил Филька.

— Лучше... Пора... Прости, Филипп!

— Что с тобой поделать! Коли помираешь, как не простить? — пробормотал тот и заметил, что он поддерживает уже не живого человека, а труп.

Он выпустил тело Ильи. Мертвец тяжело рухнул с седла. Филипп очень удивился, что ему что-то заволакивает зрение.

— Никак слезы?! Этого еще не хватало! — с досадой промолвил он.— Поехать лучше рассказать про Илью Марку Даниловичу. Где боярин? — спросил он холопей, возвратившись на прежнее место.

— Эх, боярин наш, баярин! — печально ответили ему.— Вон его потащили где попросторнее.

— Зарубили? — с испугом спросил Филька.

— Почитай, до смерти,— было ему ответом.

— Что ж это я уцелел,— почти с гневом вскричал Филька.— Надо бы и мне ту...

Он не договорил: крымец раскроил ему череп.

А бой продолжался с прежним ожесточением. Только вечер да утомленье бойцов положили ему конец. Битва осталась нерешенной.

XXIII

ПОСЛЕДНЕЕ СЧАСТЬЕ

Когда окончилась сеча, москвичи толпами устремились в ратный стан. Одни из них несли пищу и питье утомленным воинам, другие бежали разузнать об участи бойцов-родственников.

Между ними выделялась одна девушка, просто одетая, маленькая, худощавая и бледная. Она несла флягу и целую

связку белых тряпиц. Она наклонялась над ранеными, перевязывала их раны, подносила флягу к их запекшимся губам и отходила, не дожидаясь благодарности.

Толпа людей, по-видимому простолюдинов, окружала лежавшего на земле человека. Девушка подошла к ним.

— Раненый? — спросила она.

— Да. Отходит,— печально ответили ей.

Она пробралась сквозь толпу. Ее и без того бледное личико стало мертвенно-бледным, когда она взглянула на умирающего; легкий крик сорвался с губ. Умирающий обратил на нее мутный взгляд.

— Таня,— тихо прошептал он.— Дай руку... Прости...

— Простила, родной! — ответила боярышня.

Светлое выражение легло на лицо умирающего.

— Счастлив, ох, счастлив... так я, Танюша...— шептал Марк.— Благодарю... Тебя, Господи!

Он закрыл глаза и вытянулся.

— Помер! Царство ему небесное!

Таня крестилась и тихо плакала. Еще долго сидела она над ним и целовала его холодные уста, на которых замерла счастливая улыбка.

Царь, сказав Григорию Годунову, что хан до завтра уйдет восвояси, высказал почти пророческое предвидение: действительно, хан ушел в ночь, следующую за битвой, напуганный вестями о приближении главной московской рати.

Москва ликовала. Воеводы были щедро награждены царем, а особенно Борис Федорович. Царь положительно осыпал его милостями: он надел на него шубу со своего плеча, драгоценную цепь, пожаловал кубок, добытый Димитрием Донским в Куликовской битве, три города в наследственное владение, даровал ему титул «слуги государева». Годунов благодарил царя, но он не был весел — его счастье было отравлено: до него уже дошли слухи, что в народе распускается молва, будто он, Борис, сам зазвал хана на Русь, чтобы заглушить толки об убиении царевича.

«Когда ж они замолкнут? Как вырвать мне их змеиное жало?» — думал Борис Федорович, и гнев клокотал в его груди.

XXIV

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Темный вековой сибирский лес. Толпа скуластых инородцев окружила на поляне седого старца, попирающего ногой поверженного истукана. Злоба, страх и удивление выражаются на лицах дикарей. Лицо старца вдохновенно. Он поднял правую руку к небу, в левой у него — большой деревянный крест с Распятием.

Удивительный переворот совершается в чувствах его слушателей. Уже нет ни страха, ни злобы на их лицах: их сменяет любопытство, потом умиление. Еще немного — и они стоят на коленях, склонив головы. Старец осеняет их крестом и шепчет:

— Просвети светом истины и помилуй, Господи, рабов Твоих!

Тихое счастье видно на лице проповедника.

Этот старец — Тихон Степанович Топорок.

Могила и крест над ней. На кресте надпись: «Окольничий Марк Данилович Кречет-Буйтуров. Убиен бысть в бою с татарами лета от сотворения мира 7099».

Дряхлая старушка дрожащею рукою вешает на крест венок из полевых цветов, потом долго и жарко молится. Пред уходом она целует могильную насыпь и шепчет:

— Спи с миром! Скоро свидимся!

В ее словах нет печали, в них звучит одна твердая надежда.

Эту маленькую старушку зовут Татьяной Васильевной, чаще же «анделом». Слава о ее добрых делах и святой жизни гремела на много верст вокруг Москвы.

ТАТАРСКИЙ ОТРЫСК

Часть первая

I

ПРОЩАНИЕ

Был февраль 1559 года.

Хотя это один из самых морозных зимних месяцев, однако в том году, о котором идет речь, февраль словно начал собою весну, потому что вот уже вторая неделя, как стояла оттепель.

В саду боярина Темкина, где обыкновенно в это время года лежали сугробы снега и деревья-великаны бывали покрыты толстым слоем инея, будто взамен покрывавшей их летнею порой темно-зеленой, тихо шепчущейся листвы, снегу было уже немного, и с ветвей кустов и деревьев падали крупные капли, словно слезы по уходившей безвременно зиме.

День клонился к вечеру. Косые лучи зимнего солнца, прорвавшись сквозь легкие облака, играли на каплях, повисших на концах древесных веток и на слюде окон боярского терема.

Вечер был тих. Никому поэтому из нянюшек и мамушек боярышни Марьи Васильевны Темкиной и на мысль не вспало удивиться тому, что боярышня, надев теплую телогрею, спустилась в сад.

«День хороший, теплый... Почитай, весна наступила. Знамо дело, боярышне скучно в терему за пяльцами сидеть. Вот и пошла воздухом чистым маленько подышать»,— думали они.

Невдомек и невдогад им было, что совсем не воздух чистый и не день ясный потянули Марью Васильевну в сад, а очи добра молодца-красавца. И диву бы все они дались, заахали, если б узнали, что сидит она теперь с этим молодцем в саду на скамье, от терема не больно далеко, и ведет с ней этот молодец, боярин-князь Андрей Михайлович Бахметов,

беседу, словно голубь с голубкою воркует. Светятся очи молодого боярина соколиные лаской нежною, как вскинет он взор свой на зазнобушку... Да и как было не светиться ласкою очам князевым, как было ему не любоваться на такую кралю писаную!

Высока, стройна была Марья Васильевна, словно сосенка молодая, что всеми ветвями тянется прямо к небу синему да солнышку жаркому, была и румяна, словно яблочко наливное...

А уж очи-то, очи! Взглянет она ими на молодца — и прости-прощай сердце молодецкое! Улетит оно, как пташка быстрокрылая, из тесной клетки выпущенная, и помчится вслед за красоткой, за ее очами лазоревыми! Над очами полукругами протянулись тонкой нитью брови темные, по плечу будто змея золотистая рассыпалась коса длинная...

Хороша была Марья Васильевна, да и Андрей Михайлович не урод был. Рослый, стройный и широкий в плечах, сродни он был тем богатырям, что встарь на святой Руси живали, про которых песни сложены: поведет плечом, шевельнет рукой, так, кажись, сила вон сама из тела могучего на вольную волюшку вырваться просится... Видно, молодец провел юность не в девичьей, а на буйном коне, на просторе степном за злым татарином гоняясь или преследуя в лесу вепря злобного; видно, засыпал он не под говор сказок старых мамушек на мягкой перине пуховой, а под шум ветра, под скрип сосен да елей развесистых спал, после забав молодецких на зеленой мураве-траве... Вот где нагулял он свою силушку! И лицом он был красавец. Лоб высокий, белый, словно точенный из той кости, которую купцы везут из-за заморья далекого, а над ним вились кудри черные... Над губами ярко-красными усы длинные, молодецкие, в кольца закручивались... Всем бы ладен был Андрей Михайлович, если бы не черные глаза его, что под густыми черными бровями прорезались наискось от висков к переносице! Если станом своим да крепостью был он схож с богатырями русскими старинными, то глазами он не в них уродился, а в своего прадеда, чистокровного татарина, мурзу Бахмета, который еще при Василии Темном принял веру Христову и на царскую службу перешел...

И бедовые были эти глаза его азиатские! У храброго сердце екало и мурашки по телу бегали, а трусливого прямо робь брала, как сверкнут глаза князевы из-под черных бровей насупленных, когда гнев в груди его разыграется.

Но зато умели они и нежить ласкою, греть огнем любви, когда видел князь друга милого или любушку свою желанную...

Целует, ласкает свою милую князь Андрей Михайлович, и, кажется, должно бы его сердце радоваться, а он между тем, нет-нет да и вздохнет тяжело-тяжело всею грудью своею могучею... Платит ласками горячими в ответ ему Марья Васильевна. Ласкает своего ясного сокола, сама между тем, как и он, нет-нет да вздохнет и смахнет рукой белою слезу, на глаза набежавшую...

— Милый! — шепчет боярышня, обнимая князя,— неужели ты покинешь меня? Не пожалеешь меня? Променяешь ласки мои девичьи, любовные и горячие на битвы опасные с златыми татарами?

— Не плачь, не тоскуй, моя ласточка,— говорит ей в ответ Андрей Михайлович.— Что же делать! Наш уж удел такой молодецкий: каждый день, каждый час будь готов на службу царскую, на бой с ворогами лютыми.

— Да теперь ведь не то! — горячо возразила ему девушка.— Ведь тебе царь не приказывал в поход идти... Ты идешь своею волею.

— Все равно! Коли я его верный слуга — должен идти. Честь моя боярская того требует.

— Почему ж другие-то дома сидят? Вон Шуйские, Микулинские, Пронские — никто на бой не сбирается!

— Что ж мне до них! — усмехнулся князь.— Посмотрика. Вон высоко в ясном небе сокол малой точкою виднеется, чуть крыльями пошевеливает,— указал он боярышне на птицу,— а вон ворон чернокрылый лениво на ветке покачивается да одним глазом высь на сокола смотрит, и не хочет к небу синему на крыльях своих подниматься: знает, крылья его не выдержат... Потому и не равняться ему с соколом, и соколу с вороном... Так-то и мне с ними!

— Знаю, что сокол ты ясный и не чета им — воронам чернокрылым!.. Знаю, кипит в тебе удаль молодецкая, и покинешь ты меня!.. Что я буду делать без тебя, без моего дружка милого?! — грустно говорила Марья Васильевна, припав к плечу князя.

— Полно, милая! Полно, голубушка, не грусти! — утешал ее Андрей Михайлович, а у самого ресницы дрогнули.— Отгони прочь кручинушку... не на век ведь мы расстаемся!...

— Кто знает! Чует мое сердце-вещун беду великую, неминучую! Ох, чует оно, чует! И была б моя воля, схватила бы я тебя руками своими белыми и не пустила бы в татар-

щину дикую, далекую! А вдруг тебя, милый — продолжала она, плача,— вдруг тебя... Страшно и молвить! Убьют татары бритые, косоглазые али поранят саблей булатною, али в полон возьмут!

— Зачем, пташка, вперед глядеть да заглядывать? Что же делать! Быть может всякое: чему быть, то не минет нас. Но Бог милостив, надо на милость его надеяться. Да и сам я не слабенек: в руке силушка есть, есть и сабля вострая, а как в бою вспомню, что меня ждет дома моя милушка и слезы горькие проливает, так еще силы прибавится, и повалятся вокруг меня башки бритые татарские, словно кочны капусты,— говорил князь и, обняв боярыню, глянул любовно в ее очи ясные.

— Милый, милый! Тяжело у меня на сердце! — сказала Марья Васильевна.— Любишь ли ты меня, сокол мой ясный?

— Могу ли я не любить тебя, мое солнышко красное,— воскликнул князь, проводя рукой по ее шелковистым волосам.

— Любишь? Так пожалей меня: не ходи в поход, не покидай своей милой!.. Послушайся меня! — произнесла красавица и взглянула на князя полными слез глазами.

«Аль и впрямь не ехать? — раздумался князь под влиянием взора Марьи Васильевны.— Не покидать ее? Разогнать ее кручину лаской, поцелуем жарким и остаться подле нее, забыв и о боях, и о битвах, и о татарах? Хорошо бы! А как же честь моя боярская? — приняли мысли князя иной оборот.— Неужели служить посмехом товарищам, чтобы они говорили: «вот был молодец, как следует, а теперь скоро, кажись, бабы его за прялку посадят».

— Нет! — решительно произнес князь, тряхнув черными кудрями.— Нет, милая, нельзя! Люблю я тебя крепко, но люблю и честь свою боярскую, люблю и потеху ратную, и удаль молодецкую!.. Нет, дорогая моя, проси от меня чего хочешь, все сделаю, проси хоть жизни моей, только не этого!

Грустно поникла головой Марья Васильевна, и из глаз ее слеза за слезой закапала.

— Полно, лебедь моя, не кручинься! — утешал ее князь.— Вернусь я к тебе, а там... там спросим разрешения у твоего батюшки, верно, он даст свое согласие, да и свадебку сыграем! И заживем тогда с тобой! Полно же, не кручинься! Али боишься, что я забуду тебя?

— Нет, нет, милый! Не этого я боюсь: ужели я не верю тебе? — обняла его боярышня.— Хоть болит мое сердце, но

что делать! Поезжай на бой с погаными, исполни только одну просьбицу!..

— Изволь! Какую? Говори, ласточка, я все исполню.

— Видишь ли... Да ты, пожалуй, не согласишься... Скажешь — бабьи — приметы!

— Я же сказал, что все сделаю.

— Так, вот видишь ли... Есть у меня ладанка... И мне нянюшка моя, старуха древняя — она еще отца моего нянчила — говорила, что эта ладанка заветная, диковинная... Кто носит ее, тому нечего бояться ни злых козней, ни врагов явных, ни тайных супостатов... Успокой меня, милый! Возьми себе эту ладанку. Она здесь у меня надета, вместе с тельником... Возьмешь, милый! А? Все у меня на сердце будет спокойнее...

— От тебя ль, от моей любы желанной, я чего не возьму! — воскликнул князь, прижимая к груди своей боярышню,— дай мне ладанку: я ее сейчас же при тебе на себя надену.

— Да, вот что, дорогой, чтобы не снимать ладанки с цепочки от креста, сделаем так, как друзья делают пред разлукой: обменяемся тельниками! — сказала Марья Васильевна и, сняв с шеи свой крестильный крест на серебряной цепочке и вместе с ним ладанку, передала его молодому князю. Тот, в свою очередь, передал ей свой тельник.

— Ну теперь я буду спокойнее,— молвила боярышня, когда обмен был совершен.— Может, ладанка моя защитит тебя от беды.

— А чем я буду себя успокаивать,— задумчиво произнес князь,— ведь я не дал тебе ладанки заветной, что от беды защитила бы тебя...

— Милый! Зачем мне ладанка? Я не иду на ратное дело. Какие ждут меня беды?

— Кто знает? Может, отец твой захочет выдать тебя за другого? И обвенчают тебя с немилым... А я буду далеко-далеко биться с татарами, буду думать, что на Руси ждет меня моя желанная, а вернусь и узнаю... О! Не дай Бог этого! Лучше бы тогда ни тебе, ни мне на белом свете не родиться!

— Полно! Гони такие думы! Разве не веришь мне? Не веришь, может? Так клянусь тебе Пресвятою Божьей Матерью, что ни за кого другого не пойду я вольной волею! — горячо воскликнула девушка.

— Верю, дорогая, верю! — сказал князь, целуя ее, причем глаза его огнем вспыхнули.— Ну, а если... если батюшка твой заставит тебя выйти за другого... Что тогда?

— Тогда... Да полно, милый, об этом говорить... Не будет этого... Не мучь такими думами ни себя, ни меня... Лучше поцелуй меня жарче в последний раз, а то время уходит... И то дома скажут: «Чего это Марья так долго в саду засиделась».

— Да! Пора! — тяжело вздохнув, сказал Андрей, поднимаясь с места.— Прощай, моя желанная! — продолжал он, обнимая боярышню.— Да хранит тебя Господь, моя люба, моя милая!...

— Прощай, дорогой! — говорила, плача, Марья Васильевна.— Прощай! Береги себя. Помни, что на Руси ждет тебя твоя зазнобушка и слезы горькие проливает!

— Жди меня, жди, моя желанная! Я возвращусь, если Господь позволит, и — вот те крест святой — никто на далекой чужбине не заставит меня забыть любушку ненаглядную!..

Голос Андрея дрожал, на глазах блеснула слеза. Он хотел уйти, сделал шаг, два... Да не выдержало ретивое — воротился. Снова крепко обнял боярышню, жарко поцеловал и, тяжело вздохнув, поспешно, не оглядываясь, пошел к выходу из боярского сада.

И, пока ее высокая фигура не скрылась за обнаженным зимой, но густым кустом, росшим у выхода, два голубых глаза с тоскою следили за ним, и слеза за слезой выкатывалась из них на соболью опушку телогреи...

II

ВСТРЕЧА

Понуря голову шел Андрей Михайлович по Москве, выйдя из сада после прощания с Марьей Васильевной.

«Эх, жизнь! И надо же было Даниле Адашеву этот поход выдумать! Оставался бы себе спокойно на Москве, благо, его брат царский любимец. Так нет же, не терпится ему! И чего это людям на месте не сидится? Все бы им биться да драться!... Что им делить? Места на белом свете мало, что ли? Хватило бы всем! А тут еще из-за их прихоти покидай свою голубку и к татарам гололобым отправляйся... А не идти нельзя! И ведь то подумаешь: ни у меня отца, ни у меня

матери, одна завелась зазнобушка, так и ту судьба бросить заставляет! Вот она, доля наша горькая, доля молодецкая!» — так размышлял князь, забывший под влиянием прощания с милой, что еще недавно он считался одним из самых отчаянных сорви-голов в Москве.

— Ба, ба, ба! Да никак это ты, Андрей Михайлыч! — послышался около него громкий голос.

Князь поднял глаза на говорившего. Перед ним стоял высокий и плотный мужчина. От его сильно загорелого лица веяло каким-то бесшабашным разгулом и удалью. Длинные и щетинистые усы, спускавшиеся над плохо выбритым острым подбородком, придавали ему воинственный вид. Одет он был в малиновую казацкую свитку, поверх которой был накинут полушубок, и в широченные шаровары, заправленные в сапоги из нечерненой кожи... Высокая барашковая шапка с красным дном, украшенным золотой кистью, была сдвинута на затылок и открывала бритое темя, от которого к уху спускался густой чуб белокурых волос.. У пояса болталась шашка: на оправленной в серебро ее рукоятке сверкал красный, как капля крови, рубин... Словом, перед Андреем Михайловичем стоял запорожский казак.

Князь с удивлением смотрел на незнакомца.

— Что, брат, аль не узнал? Забыл, знать, Петруху, попова сына, а? — произнес незнакомец, смеясь.

— Петр! Да неужто это ты?! Вот уж, кажись, голову прозакладывал бы, что никак не признал бы тебя в этом наряде! — радостно вскричал Андрей Михайлович, сжимая в своих объятиях товарища детских игр, Петра Никольского, успевшего превратиться из длинного, худощавого и слабого на вид юноши-поповича в здорового весельчака-запорожца.

— Еще бы узнать! Я, чай, если бы отец мой покойный, царство ему небесное, встретил меня, так и тот не признал бы!

— Как же это ты в запорожцы попал? Я думал, ты уже попом давно.

— Да, был бы попом, кабы... Да после расскажу, как будет время... А теперь ты лучше скажи, куда бредешь?

— Домой иду; надо выспаться, а завтра, чуть свет, в поход.

— А! И ты, стало быть, с Данилой?

— Да... А ты как в Москве очутился?

— Чай, ты слышал, что ваш дьяк московский, Ржевский, вместе с нашими казаками татар крымских бил?

— Как не слыхать!

— Ну, так вот, и теперь мы не прочь опять крымцев маленько пощекотать, а как мы прослышали, что здесь, на Москве, Данило-то Адашев со стрельцами да с детьми боярскими в поход на тех татар сбирается, то меня казацкий круг послал сюда, с товарищами, чтобы я вел Адашева прямо к нам, казакам, в Запорожье на соединение. Там мы стругов понаделаем да по Днепру в море выедем и до Крыма доберемся... Вот я в Москве и очутился. А уж и опостылела же она мне, братец! Кажись, если бы не служба, так никогда по доброй воле я бы и не заглянул в вашу Москву хваленую!

— Что так? Ведь это же твоя родина.

— Родина-то, родина, только пришлось мне на ней уж очень солоно!.. Не так она сама, как ваши порядки московские мне не нравятся...

— Почему?

— Узнаешь опосля почему. Да вот что... Не ходи ты домой, пойдем лучше со мною, я тебя с товарищами своими познакомлю... Все они славные ребята: пьют хорошо, рубятся еще лучше!

— А я думал выспаться... Завтра ведь на заре поход.

— Э, полно, выспимся! А нет, то и так обойдемся!... Эка штука одну ночь не поспать! Пойдем!

— Да куда идти-то?

— Наш брат казак все скоро отыщет! Ты, небось, и не слыхивал, что у вас за Москвой-рекой стрльчиха-вдова живет. Ведуньей прозывается? Я так и чаял! А мы ее давно уж разыскали. И какой мед у нее, какая бражка, кабы ты знал! Да и горилка наша запорожская водится... Пойдем, а по дороге о старом, о былом покалякаем... Идешь?

— Пойдем... Сам знаешь, нешто я когда в чем от товарищей отстаю? — согласился князь, и друзья пошли по направлению к Москве-реке.

Привыкший более к езде на коне, чем к ходьбе, запорожец шел тяжелой, развалистой походкой и едва поспевал за князем, а Андрей Михайлович, глубоко задумавшийся, все ускорял шаги, сам того не замечая.

— Ну вот, ты спрашивал меня, как я попал в казаки,— говорил запорожец,— теперь, пожалуй, расскажу, коли тебе слушать не лень... Да не спеши так! Поспеем!

— Расскажи, расскажи! Я слушаю! — ответил Андрей Михайлович, отрываясь от своих дум.

— Помнишь, чай,— начал Петр,— что в то время, как мы

с тобой игрывали, отец мой протопопом служил в Никольской церкви и тогда уже стар был, а потом, как тебя твой приставник * в свою вотчину увез, он еще больше одряхлел. Ну, попы наши и пожаловались владыке; так и так, мол, пора бы отца Петра сменить да другого на его место поставить, помоложе. Владыке, что ж! Просят, стало быть, надо! Он и приказал отцу моему на покой отправляться. А куда на покой, коли жить нечем!... Приход, сам знаешь, был маленький, можно ль было что скопить... И пошло у нас тут житье совсем плохое. Я что мог добывал, да много ль в те поры мог я заработать? Тут вскоре матушка скончалась, больше с голодухи, чем от недуга, а отец с горя совсем ослаб, так что ни рукой, ни ногой двинуть не может. Что тут делать? Я и надумал: пойду, думаю, к новому протопопу ихнему Никольской церкви, авось, может, за долгую службу отца что-нибудь ему от церкви и пожертвует. Как задумал, так и сделал. Прихожу к протопопу. Выходит, это, ко мне старичишка маленький такой, бородка жиденькая... Словом, совсем хилый! Только глаза, как мыши, во все стороны бегают.

— Что тебе? — спрашивает.

Я ему и говорю, так и так, мол, не оставь, батюшка, своею милостью! Отец много лет в этой церкви священствовал, теперь стар, разнедужился, умирает совсем. Не поможет ли ему церковь малость.

— А как звать твоего отца? — спрашивает.

— Петром,— говорю ему.

Чуть услышал он это, как вскинется на меня, словно его что укусило! Да что, говорит, это я выдумал, да какие у Никольской церкви доходы, чтоб всем нищим помогать. Да с каких пор это попы посылают сыновей своих нищенствовать... И пошел, и пошел! Чего только не наговорил! Я стою, молчу, а сердце так и колотится в груди. Но креплюсь и слушаю. Как раз в это время прибегает наша Маланья.

— Иди,— кричит,— Петр, скорее домой: отец твой Богу душу отдал!

Я помертвел совсем, заплакал... Известно, молод был,— пояснил запорожец, словно стыдясь того, что он мог плакать.— Однако опомнился я немного и говорю протопопу:

— Ну, батюшка, не хотел ты помочь отцу, так поди хоть панихиду над ним отпой.

---

* Опекун.

А он мне:

— На Москве, говорит, попов много, поди найми, отслужат, а чего ради я пойду даром служить!

Я ему в ноги: смилуйся, говорю, батюшка! Он же здесь иереем был... У меня, сам знаешь, гроша медного нет попа нанять. А он меня толк ногой в бок: чего ты ко мне привязался, такой-сякой! — говорит. Отстань! Убирайся! У нас с отцом твоим старые счеты есть и он для меня не упокойник.

Тут он про моего отца такое слово молвил, что и повторить язык не поворачивается. Как сказал он мне это, словно меня что в голову ударило! Всегда я горяч был, а тут и совсем света не взвидел! Поднялся я с полу, как хвачу его за бороденку!.. Он мне кричит: «Что ты делаешь, разбойник!», а мне уж не до его крику: еще и кончить он не успел, как я его сгреб под себя да и давай водить на все лады... Ну и, должно быть, порядком повозил, потому что он на другой день и душу Богу отдал, как я опосля слышал...

Меня схватили, конечно... Душегубство, говорят, верно, зымыслил... С тем и пришел! Заковали и в острог. Однако я, не будь глуп, через неделю бежал оттуда, да прямо в Запорожье...

Вот и весь мой сказ!

— Ну, брат, удивил ты меня! Не ожидал я этого! Да, теперь я вижу, что ты недаром бросил родину! — молвил князь.

— Даром ли! Не от сладкого житья бросил я все и ушел в края дальние! И теперь еще, порой, сердце кровью обливается, так соскучился по родине! — грустно ответил запорожец.— Э, да что вспоминать! Все прошло и быльем поросло! — добавил он иным тоном.

— А ты не боишься ходить по Москве? Ведь тебя могут узнать.

— Так что ж? Пусть узнают! Разве я теперь беглый острожник? Я теперь казак запорожского войска, и пусть-ка попробуют меня пальцем тронуть! — произнес Петр, усмехаясь.— Вот мы и пришли,— продолжал он, указывая на видневшийся на противоположном берегу сквозь сумерки небольшой, покосившийся от ветхости, дом.

Нашли какого-то мужичка, который перевез их на тот берег в полугнилом челноке. Скоро приятели были уже у калитки, и казак три раза ударил в нее кулаком.

Со двора донесся громкий лай собаки. Чей-то голос прикрикнул на нее. Послышался звук шагов, и калитка со скрипом отворилась.

III

У ВЕДУНЬИ

Перед приятелями появилась просто одетая еще не старая женщина. Лицо ее носило отпечаток нерусского происхождения. Она была смугла и черноволоса. Несколько мелких морщин виднелось около ее больших, черных глаз с умным и несколько лукавым выражением. Поперек лба тянулась темная полоса, словно делившая его на две части. Полоса эта придавала какой-то странный характер ее лицу и невольно бросалась в глаза.

— Здравствуйте, господа честные! — приветствовала она приятелей.— Милости прошу пожаловать!

— Здравствуй, Авдотья Степановна! Как Господь Бог носит? — произнес запорожец, входя вместе с Андреем Михайловичем во двор.

— Твоими молитвами, касатик, Петра Петрович! Спасибо за привет! Здорова, слава Богу!

— А я к тебе нового гостя привел. Приятели мы с ним сыздетства. Может, слышала про князя Бахметова?

— Еще б не слышать! Так это он самый и есть? Милости просим, соколик! — обратилась она к князю.— Право, соколик! Вся Москва про твою удаль толкует! Да чего же мы здесь-то стоим и калякаем! Пойдемте в избу... Там уж у меня немало собралось добрых молодцев,— прибавила она и повела друзей к дому.

Запорожец и Андрей Михайлович, войдя вслед за Авдотьей Степановной в небольшие сени, вошли в обширную горницу. Там вдоль стен тянулись лавки; посредине стоял длинный и тяжелый дубовый стол, покрытый затейливо и пестро вышитой скатертью; в углу теплилась лампада перед божницей, переполненной образами.

В комнате было шумно и людно. Петр, очевидно, был знаком с большинством находящихся в комнате, преимущественно стрельцов и детей боярских, потому что, едва он показался в дверях, его приветствовали сразу несколько голосов. В числе гостей князь тоже нашел знакомого.

— А! И ты, Андрей Михайлыч, сюда пришел! Что, тоже, верно, с Данилой идти сбираешься? — обратился к князю невысокий плотный блондин лет тридцати.

— Да,— ответил князь, здороваясь с говорившим и опускаясь рядом с ним на лавку.— А ты, Пров Семеныч?

— Иду, иду! Да что мне, бобылю, в Москве делать? Ни у меня жены, ни у меня малых детушек... Один, как перст! И убьют, так не беда!

— Полно! Может, Бог милостив, и целы выйдем.

— А по мне, так все равно! Даже лучше, коли костьми за родину ляжешь!

— Что же ты это так? — удивленно спросил князь.— Али жизнь опостылела?

— Да, брат, скучно! — вздохнул Пров Семенович.— Э! Да что толковать об этом! Давай-ка лучше бражку тянуть из ковша кругового! Авдотья Степановна! Напень-ка нам бражки полный ковшичек! — обратился он к хозяйке.

Пользовавшийся в былое время славою весельчака, Пров Семенович Телешев стал совсем иным человеком с тех пор, как внезапно лишился молодой жены и двух детей, умерших от какого-то злого недуга. Мрачный и задумчивый, он оживлялся только в кругу товарищей за ковшом браги или стаканом зелена-вина.

Авдотья Степановна не замедлила исполнить просьбу Телешева, и ковш заходил вкруговую.

Андрей Михайлович, между тем рассматривал находившихся в комнате.

— Посмотри! Кто это такой? Не знаешь ли? — спросил он Прова Семеновича, указывая на сидевшего в стороне ото всех и все время молчавшего мужчину.

Это был татарин, судя по его маленьким косопрорезанным глазам, жидкой, козлиной бороде и щетине рыжих волос на голове, видимо, только что начинающих отрастать после бритья.

— Этот-то? Да, кажись, какой-то мурза татарский. Из Крыма. Говорит, к нам перешел потому, что у него с ханом нелады вышли... Ну, принял Христов закон, конечно.

— Что же, и он тоже с Адашевым?

— Да, как же! Надо ему показать царю-батюшке, что теперь верный слуга, хотя он и хочет идти своих братьев бить.

— Изменник! — презрительно проговорил Андрей Михайлович.— И отступник от веры отцов... Дрянь, должно быть, человек! Ты не знаешь, как его звать?

— Хорошо не знаю. Кажется, Шигаевым прозывается,— ответил Пров Семенович.

Ковш между тем продолжал ходить по рукам. Пили посменно то брагу, то мед. Хмельная брага и крепкий московский мед оказывали свое действие. В горнице стало шумнее.

Князь повеселел под влиянием хмеля. Татарин Шигаев, усердно прикладывавшийся к ковшу, видимо, захмелел, с непривычки к спиртным напиткам. Он сидел покачиваясь.

— Посмотри-ка,— тихо сказал Андрей Михайлович Телешеву, указывая на Шагаева.— Свиное-то ухо как развезло!

Как ни тихо были сказаны эти слова, однако они долетели до слуха хмельного сына степей. Маленькие глазки его блеснули.

— Что? Свиное ухо?! — закричал он, обращаясь к князю на ломаном русском языке.— Это ты сказал?

Андрей Михайлович, удивленный, что татарин его услышал, не думал, однако, отпираться.

— Да, я сказал! — ответил он, продолжая спокойно сидеть.— Что же?

— Собака! — яростно крикнул Шигаев.

— Отщепенец! — произнес Андрей Михайлович на татарском языке, которым он владел в совершенстве с самого детства.

— Молчи, али убью тебя! — продолжал кричать по-русски, очевидно, не желая употреблять своего родного языка, татарин, отуманенный злобой и хмелем, и, сделав несколько шагов к князю, поднял руку для удара.

Гнев сверкнул в очах Андрея Михайловича. Брови его сдвинулись. Не успел татарин опустить занесенной руки, как, словно шар, отлетел к противоположной стене от могучего удара князя. Вне себя от ярости Шигаев выхватил нож и бросился на Андрея Михайловича. Среди сидевших произошло движение. Несколько рук протянулись, чтобы остановить рассвирепевшего татарина.

— Оставьте его! — презрительно проговорил князь.— Дайте мне нож: я с ним сам разделаюсь!

— Да, да! Дайте князю нож! Побьюсь об заклад, что Андрей Михайлыч задаст доброго гону этой татарской образине! — поддержал его просьбу Петр.

Князю дали нож. Руки, державшие татарина, опустились, и он, как зверь, бросился на спокойно ожидавшего его нападения Андрея Михайловича. Шигаев был силен и ловок, но отуманен яростью, и это давало громадное преимущество князю. Едва татарин успел сделать несколько взмахов ножом, как рука его повисла, сжатая, словно клещами, пальцами князя. Между тем Андрей Михайлович, быстро занеся нож, нацарапал острым концом его на лбу татарина крест и, бросив оружие, обхватил туловище Шигаева руками.

Шигаев, как змея, извивался в сильных руках князя, обезумев от ярости. Глаза его налились кровью. Лицо стало багровым.

— Ну, кажись, довольно с тебя! Умучился! — промолвил Андрей Михайлович, видя, что его противник изнемогает, и, схватив татарина за шиворот, вытолкнул его за дверь.

Туда же был выкинут его полушубок.

— Встретимся с тобой, шайтан, еще! Будешь ты знать Шигаева! — злобно пробурчал татарин, скрываясь в темноте двора.

— Ай да молодец, Андрей Михайлыч! Ай да молодец! Дай расцеловать тебя! Я знал, что ты покажешь себя этой татарской образине! — кричал в восторге Петр, обнимая князя.

— Молодец, что и говорить! — сказал Пров Семенович.

Все присутствующие также расхваливали Андрея Михайловича на всякие лады.

— Молодец-то ты молодец, князинька,— тихо вставила свое слово Авдотья Степановна,— а только сдается мне, что натворит тебе бед этот Шигаев!

— Чего закаркала! — крикнул на нее сердито Петр.— Ишь, ведьма!

— Я не ведьма!... Я не от злых духов толкую,— оправдывалась Авдотья Степановна, знавшая, как опасно было в те времена прослыть ведьмой.— Мой дар от Бога,— продолжала она,— а не от нечистого... Да вот хочешь, я тебе погадаю, князинька? Тогда все узнаем!

— Отчего же! Погадай! — усмехаясь, сказал князь.

Авдотья Степановна наполнила водой небольшую плоскую чашку. Затем, достав острую и длинную рыбью кость, она подала ее Андрею Михайловичу.

— Возьми, уколи иглой себя и капни три капли крови в чашку,— сказала она ему.

Князь исполнил ее приказание.

Авдотья Степановна долго мешала воду: она дожидалась, пока вода, вполне растворив кровь, сделается вся бледно-алого цвета. Присутствующие притихли: они были суеверны, как все сыны XVI века. Ведунья склонилась над чашей. Все ждали, притаив дыхание.

— Едет в края дальние добрый молодец, со своею зазнобушкой прощается! — начала она говорить нараспев среди всеобщего безмолвия.— Плачет красная девица, разливается, друга милого провожаючи! А у молодца в груди сердце хо-

дуном ходит, и на очи слезы просятся! Утешает он свою любушку: не на век с тобой расстаемся! Ой, не тешь себя, добрый молодец, ты надежою обманчивой! В краях дальних добрый молодец бьется-рубится... А и там в странах басурманских приглянулся он красотке черноокой... Ох, сильно чары бесовские! Изменит молодец своей белой лебедушке!... Нет, нет! Не осилили его чары! Крест святой, знать, защитил его! Далеко уж молодец от чаровницы... Эй, беги ты, молодец, скорей назад! Не ходи на Русь крещеную! Не найдешь ты там своей зазнобушки: уж она с другим повенчана! Эх, ты, горе мое горькое! кричит молодец, опостылела мне земля русская! Скачут с посвистом и грохотом злы татарове... Дым, огонь вокруг! А! Опять его зазнобушка, уже с детками-младенцами!.. Плачет горько, разливается... Злы татары взяли их в полон... Ба! И он здесь! Только что же он не целует свою милую? Очи злые... Брови сдвинуты... Ой, не быть добру!... Кипит битва... Падают татарове! Бьют их русские... Тут и он, наш добрый молодец, бьется, с кем-то рубится... Вот над ним сверкает сабля вострая... Ай, диво-дивное, диковинное! Сабля та, сабля русская, святой крест горит на рукояти ее!.. На дыбы стал конь добра молодца... Со коня упал добрый молодец... и еще с ним кто-то незнакомый... Растопчут их кони копытами! Пыль вокруг... Не видать ничего!

Голос Ведуньи замолк, Андрей Михайлович сидел бледный, низко опустив голову. Не менее бледны были и остальные... Все молчали.

— Э! Полно, Андрей Михайлыч! Не грусти! — промолвил казак.— Чего слушать бабьи россказни? Чему быть, того не миновать!

— Верно! — подтвердил Пров Семенович,— кручиниться нечего!

— Конечно! — молвил князь,— без воли Божьей ничего не случится!

— Погадай-ка и мне, Авдотья Степановна,— подошел к Ведунье Телешев.

— Нет, довольно! Устала... Теперь не могу,— ответила она.

— Что, молодцы, загрустили да призадумались? — воскликнул с напускною веселостью казак.— И про брагу хмельную забыли... Спой-ка, Митюха, нам песенку, благо, ты такой искусник!

Митюха, молодой безусый парень, не заставил себя про-

сить. Раздались звуки балалайки, захваченной с собою кем-то из гостей.— Какую ж песню пропеть? — спросил Митюха, настраивая балалайку.

— Знамо дело, которая повеселей! А то, вишь, у нас совсем дело не клеится: носы все повесили! — произнес Петр.

Митюха подумал немного, пощипал струны балалайки и запел песню о том, как в высоком терему, во стрельчатом, изнывала в злой неволе боярыня молодая за тремя дверьми дубовыми, за тремя замками хитрыми, заморскими... Боярынька молодая, белотелая, у ней муж седой ворчун-старик злющий-презлющий. Не видать с ним жене младой света белого! Ходит муж седой по горенке: кхе, кхе, кхе! покашливает, на жену искоса поглядывает: ой, ты, жена ль моя, женушка молодая! Не приглянулся ль тебе добрый молодец с кудрями с золотистыми? Думает старик свою думу вековечную. А боярыньке тоскуется... Как бы прочь согнать со очей долой мужа старого нелюбимого? Обнимает она мужа хилого: ты поди со мной, муженек мой! Выпей браги чарочку! Выпивает тут муж старый с радости, да не чарочку, а целых полведра. Ой, хмельна ты, брага крепкая! Ой, шустра ты, жена, на хитрости! Захмелел от браги старый муж, а жена его, будто добрая, до постельки высокой провожает, знает, под подушкой под пуховою муж ключи хранил от терема. Опускалась рука белая под подушечку пуховую, вынимала она ключи мужчины. А тем временем добрый молодец у ворот тесовых похаживает, да на теремок поглядывает. Растворилася оконница, показалась ручка белая, платком алым помахивает: ой, лови ты, добрый молодец, ключи, у мужа скраденные! Отомкни затворы дверные и утешь меня, боярыньку! Быстрым соколом влетел молодец по ступеням лестницы дубовой, растворил запоры хитрые и обнял младу боярыню, целуючи. Целовалися они, миловалися, а муж-старик храп на весь дом пускал: видел, чай, он сны больно сладкие!

Веселая песня несколько рассеяла грустное настроение присутствующих, навеянное гаданьем. Когда же Митюха, кончив песню, заиграл веселую плясовую, а Петр-запорожец пустился вприсядку, то навстречу ему лебедкою поплыла Авдотья Степановна, помахивая платочком, и гости совсем развеселились. Веселые звуки балалайки словно насильно заставляли двигаться их ноги. Гостям не сиделось на месте и, соблазненные примером Петра, многие из них также пустились в пляс.

Князь, конечно, тоже не отставал от других, и впечатление гаданья понемногу забылось.

Близок был рассвет, когда гости, щедро одарив гостеприимную хозяйку, напутствуемые ее пожеланиями всяких благ, покинули наконец жилище Ведуньи, чтобы хоть немного поспать и с крепким телом и духом отправиться на недалекий уже поход, на ратное дело.

IV

В ПОХОДЕ

Светало. Первые лучи солнца скользнули по золоченым верхушкам сорока-сороков московских церквей, глянули в слюдяные окна боярских теремов, где, раскинувшись, далеко отбросив атласное одеяло, сладким сном почивали белотелые боярские дочери, и заиграли по затянутым утренником лужам. На улицах Москвы было тихо и безлюдно. Разве кое-где промелькнет хитрая, востроносая рожа ночного воришки, неслышно пробирающегося подальше от людных улиц, где такое раздолье для него ночью и где днем, наоборот, ему со всех сторон грозят опасности; пройдет, мурлыча песню, запоздалый подвыпивший молодец, досидевший до белого света в каком-нибудь тайном кружале у веселой вдовушки, и снова безлюдно и тихо.

Однако не для того, видно, взошло солнышко, чтобы обливать своими лучами крепко спящий, безлюдный город, будит оно кого следует, и вот, чу! где-то прозвучала труба... Резкие звуки ее проносятся по тихой Москве и будят спящих чутким сном тех, кому надлежит выступать на ратное дело. Молодцу недолго сбираться! Крест перед иконой, прости, родная матушка, прости, батюшка родимый, прости-прощай, отчий кров,— и уже за воротами паренек спешит к месту сбора, на дом не оглядывается, потому, знает, что смотрят вслед ему очи родные и слезами заволакиваются, и боится он — оглянется, пожалуй, и сам всплакнет, потому самому, что и у него на сердце не птицы поют, а слезы лить негоже молодцу, воину храброму: чай, не девица он красная!

А труба все гудит, на разные лады посвистывает... Уж и перестать бы ей пора,— молодцы почти все в сборе,— а она все разливается, словно трубачу песню хочется сыграть родному краю на прощанье. Но вот еще два-три хриплых звука вырвались из медного горла трубы, и вдруг оборвалось ее пение, замерло на самой высокой пронзительной ноте, которую она будто хотела добудить последних, крепко заспавшихся, ратников. А из собравшихся, верно, никто и не расслышал этого последнего трубного вздоха среди лязга оружия, говора толпы и шуток неисправимых весельчаков, готовых шутить даже на краю отверзтой могилы.

Однако пора и в поход!.. Чего ж медлить? Помолиться, да и в путь. Идет священник седой, в полном облачении, грустным взглядом обводит он рать.

— Э-эх! — шепчут его старые губы,— сколько здесь добрых молодцев, а много ль воротятся? И на что это люди войны выдумали? Все оттого, что любви в мире мало!

Обнажились буйные головушки. Начался молебен. Смутно у всех на душе, и жарка молитва бойцов.

— Кто знает? Может, в последний раз на земле родимой молитву творю, пройдет месяц, два, и я уже... Боже, милостив буди мне грешному! — шепчут уста, и еще ниже склоняются головы, еще чаще вздымаются руки.

Тянет молебен седой иерей, а все-таки скоро конец наступает молитве.

Пора в путь! В далекий путь — неслыханное дело! — в сердце татарщины, в ханство Крымское! Зашумела рать, заговорила и двинулась... Идут дети боярские со своими челядинцами. Неважно вооружены холопи, но все же у каждого найдется или лук тугой со стрелами, или топор, годный не для одной татарской башки, или вилы трезубчатые, рогатина, или просто дубина здоровая, еще недавно стоявшая в ближнем лесу деревцем нестарым, полузанесенным снегом, а теперь в руках дюжего холопа боярского она службу сослужит немалую: уложит спать непробудным сном не одного татарина бритоголового. Господа их на конях все и вооружены получше. Все в кольчугах или в панцирях тонкой заморской работы, на головах шеломы. У каждого пищаль припасена и мешок с «зельем» * да пулями у седла висит. Сабли на боку о стремя побрякивают, в ножнах кожаных, хитро изукрашенных у иных камнями самоцветными; не забыт и лук

---

* Зелье— порох.

дедовский, и бердыш про всякий случай. Дальше стяг * стрелецкий развевается. Стройно идут стрельцы, пищали завесные ** с берендейками *** у всех на плечи положены, в другой руке копье, а на боку сабля привешена.

Следом за ратью, рядом с обозами, бежит толпа баб и детей, мальчиков больше. Плач слышен в ней, причитания. А войско шло спешно. Вот и стену городскую миновали. Провожатых все меньше и меньше становится. Еще двоетрое печально плетутся за войском, но и те отстают вскоре: жаль отца или мужа, а что делать! не побежишь же до самого Крыма!

А войско движется безостановочно — все дальше и дальше от дорогих сердцу мест, от горячо любимых отцов, матерей, жен и чад...

Князь Андрей Михайлович, ехавший на белом, горячем и сильном коне, сидел, глубоко задумавшись и выронив из рук поводья.

— Что, брат, призадумался? Аль впервой на битву отправляешься? — спросил, подъехав к нему, запорожец, сидевший на небольшом жилистом степном скакуне.

— Не впервой-то, не впервой, а только никогда мне так грустно не было, как в этот поход... Давит что-то сердце, словно камень на груди лежит! — ответил князь.

— Э, брат, полно! Чего кручиниться? Это все Ведунья своими россказнями наделала!.. Знал бы — не повел тебя к ней! — с досадой произнес запорожец.

— Вестимо, это ее гаданье кручину на князя нагнало,— промолвил ехавший рядом с князем Пров Семенович, сидевший на тяжелой, но сильной лошади.

— Нет, други любезные, не Ведунья в этом виновата... Не возводите на нее напраслину! Нечто я верю ее россказням? Нет, иное нагоняет на меня кручинушку! — сказал Андрей Михайлович.

— Да что такое? — в один голос спросили запорожец и Пров Семенович.

— Эх, поведаю друзьям думу свою горькую, тяжелую! Оставил я в Москве свою зазнобушку! Покинул я лебедь белую!

---

* Стяг — знамя.

** Различались два рода пищалей: «завесные», из которых стреляли прямо с рук, и «затинные» или «тюфяк» — нечто вроде небольших пушек, ими стреляли с сошек.

*** Берендейка — ременная перевязь у ружья.

«Ишь ты!» — мелькнуло в голове у собеседников князя, и в душу их прокралось суеверное чувство: «А ведь, кажись, Авдотья Степановна правду сказала, что покинул молодец свою любезную».

— Ну, что ж! — пытался утешить Андрея казак.— Кончится поход — и вернешься к своей милой.

— В том-то и беда, что чует мое сердце, что не быть добру,— печально молвил тот.

— А по мне, так грустить нечего: чему быть, того не миновать! — сказал Пров Семенович.— Стойте, молодцы! — прибавил он через минуту.— Надо попрощаться с матушкой нашей, Москвой белокаменной... Вишь, она отсюда, словно на ладошке, вся видна!

Друзья остановили коней и обернулись к Москве. С той возвышенности, на которой они находились, можно было окинуть взором всю Москву с ее церквами, монастырями, царскими палатами и множеством деревянных домов, окруженных темною теперь, в зимнее время, лентой садов.

Широко раскинулся город.

— Ты прости-прощай, родимый край! — нараспев протянул Пров Семенович, крестясь на видневшиеся вдали маковки московских церквей.

— Ух,ты, матушка! Да какая же ты большая! — воскликнул запорожец, пораженный громадностью города.

Андрей Михайлович перекрестился. Петр сделал то же.

— Все-таки была когда-то местом родимым,— молвил он задумчиво.

Большинство воинов остановились, подобно нашим друзьям, и смотрели на Москву.

«Кому-то суждено увидеть тебя, матушка земля родимая?» — думал не один из них.

Потом опять дальше, опять вперед и вперед. Скучно в походе! Короткий привал где-нибудь у затянутой льдом речки, ночевка в какой-нибудь деревушке, если встретится такая на пути, а то под темным шатром звездного неба, при трепетном свете костров. И так до самого Запорожья.

А время шло. Наступала весна. Все чаще и чаще становились проталины; больше и больше чернели покрытые льдом реки, а на деревьях уже кое-где начали появляться то белый, пушистый зародыш листа, то молодой, свежий листочек, еще не развернувшийся вполне, боящийся нежданного холода, но уже красящий своею светлою зеленью серый фон обнаженного дерева.

Скоро места пошли иные, чем раньше. Лесов нет, только степи, лишенные травы, покрытые еще местами снегом, белевшим на черной почве, как белый плат на груди великана-арапа.

Дошли до Кременчуга. Запорожцы уж тут. Ждут.

Ласково встретили чубатые казаки своих друзей-приятелей, пришедших из самого сердца матушки святой Руси. Тут уж некогда было тосковать, некогда вспоминать о крае родимом! Строили струги. Работа кипела, прерываемая изредка молодецкими попойками и потехами с веселыми запорожцами. Живо оснастили ладьи, спустили на воду, едва вскрылась река, и поплыли по батюшке-Днепру буйному в синее море, а там и к сердцу татарщины, к Крыму.

И сразу пошла удача! Лишь добрались до Очакова, полонили судно татарское, взяли пленных немало. Ближе к Крыму захватили второе судно, но эта победа не так дешево стоила, как первая: чуть сам Адашев жизни не лишился; тут же легли и первые жертвы.

V

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ

Словно стая диковинных морских птиц несутся легкие струги по волнам древнего Понта Эвксинского. Море, верно, хочет быть «гостеприимным» не только по имени *, а на самом деле — так ласково встретило оно своих гостей. Уже который день оно тихо и лишь слегка, будто люльки, покачивает утлые ладьи воинов.

Небо безоблачно. Было бы жарко, если бы легкий и ровный ветер немного не умерял зноя.

— Иване, а Иване! — раздался голос рулевого с одной из ладей.

— Че-его? — крикнул в ответ спрашиваемый, рулевой же другого струга, плывущего первым в той длинной ленте, какой растянулись лодки.

Это был загорелый, полуседой запорожец, видавший всякие виды на своем веку, не раз уже ходивший с казаками

---

* Эвксинский — гостеприимный.

в Крым и побывавший как в татарской, так и турецкой неволе.

— Глянь-кось? Что это там такое? — произнес первый, тоже немолодой, опытный казак, вглядывавшийся в какую-то точку вдали, заметную только для зоркого казацкого глаза.

Разговор между перекликавшимися велся, конечно, на малороссийском наречии.

Иван приподнялся и, приложив руки к глазам, защищая их от солнечного блеска, стал внимательно вглядываться в даль.

— Чи то облако, чи то не облако! — проворчал он с досадой, напрасно стараясь рассмотреть, что виднеется вдали.

— Ой, Иване, то не облако! Нешто не видишь, как движется? — проговорил первый рулевой.

Иван продолжал вглядываться.

— Гайда, казаки! — крикнул он вдруг.— То корабль татарский!

Этот окрик оживил всех. Утомленные зноем и тихим покачиванием, немного даже дремавшие со скуки казаки, стрельцы и дети боярские все сразу встрепенулись. Едва полоскавшие прежде воду весла пришли в движение.

— С Богом, вперед! — проговорил Данило Адашев, снимая шапку и крестясь.— Возьмем и этот корабль, как первый.

— Знамо дело, возьмем! Вперед! — молвили ему в ответ стрельцы и дети боярские.

— Гайда! — гаркнули казаки.

Десятки рук заработали. В помощь веслам поставили кое-какие паруса, благо ветер был попутный, хотя и слабый.

Струги полетели, как птицы. Скоро уже можно было рассмотреть тяжелое татарское судно. Татары, должно быть, еще не заметили лодок, так как продолжали по-прежнему плыть им навстречу. Быстро уменьшалось расстояние между плывшими друг к другу русскими и татарами и вскоре стало настолько незначительным, что с корабля нельзя было не заметить ладей. Судно, однако, шло по-прежнему направлению, плывя прямо на лодки.

— Эге! татарин сам хочет тоже, видно, драться! Добре! — говорили казаки, еще усерднее налегая на весла.

«Жжж»...— прожужжала стрела мимо уха Ивана-рулевого и, не задев никого, упала в море.

— Ага, брат! Начинаешь! Ну, погоди ужо, лайдак! — молвил спокойно Иван.

За первой стрелой полетела вторая, там прожужжала третья, потом посыпались десятками, наполнив воздух своим своеобразным пением.

Стрелы мало причиняли вреда плывущим, их свист только раздражал воинов и пробуждал жажду боя.

— Готовь крючья! — скомандовал атаман запорожцев.

— Все готово, батька! — ответили они.

Миг — и струги толкнулись о борт корабля. Крючья с привязанными к ним веревками вонзились в палубу и корму. Несколько рук сразу ухватились за веревки. Запорожцы, стрельцы, дети боярские наперерыв старались лезть наверх, оспаривая один у другого честь взобраться первым. Со всех сторон по бортам корабля медленно, слегка покачиваясь, поползли жаждущие боя молодцы, отчетливо выделяясь своими костюмами на пестрой, затейливой окраске судна.

Вот уже над палубой показалась чья-то голова, но лезшему не удалось вскочить на корабль первым: его предупредил кто-то другой, с противоположного борта, ранее вскарабкавшийся на палубу.

Этот первый — был Пров Семенович Телешев. Вторым влез Андрей Михайлович.

Однако Телешеву же и суждено было пасть и первою жертвой боя. Едва успел он появиться на палубе, как десятки сабель сверкнули над его головой... Поднялись, опустились, и боярин упал в предсмертных судорогах к самому краю палубы. Еще несколько судорожных движений, и безжизненное тело его скатилось в море. Раздался легкий всплеск, заглушенный криками воинов, и темная морская бездна раздалась и сомкнулась, пустив легкие круги по водной поверхности, словно извещая о том, что море приняло в свои объятия и навеки погребло останки боярина Телешева и его тоскующее сердце.

Первая жертва ненасытному богу войны была принесена, и бой закипел.

На Андрея Михайловича, как и на Прова Семеновича, напало сразу несколько человек, но он отбивался, и ему подоспели на выручку. То там, то сям поднималась из-за борта корабля усатая и чубатая голова запорожца или бородатое лицо стрельца, или сына боярского, и все новые и новые товарищи спешили на помощь к князю. Завязалась страшная рукопашная схватка. Татары бились с дикой храбро-

стью, русские не уступали им в этом. Дрались холодным оружием, грудь в грудь. С обеих сторон лилась кровь. Однако, несмотря на храбрость татар, толпы их заметно редели. Очевидно, счастье благоприятствовало юному Даниле Адашеву, который в это время бился с каким-то знатным татарином, судя по расшитой золотом тюбетейке последнего и дорогому оружию. Татарин, видимо, был искусный боец, потому что до сих пор удачно парировал все удары. Адашев раздражался и начал уставать, что видно было по его красному от напряжения лицу и крупным каплям пота, покрывшим его лоб. В нетерпении, он решился идти напролом и, оставя все хитрости и увертки, высоко взмахнул саблей, готовясь одним ударом раскроить череп противнику и окончить поединок. Но его сабля встретила острое лезвие твердой, как гранит, стальной дамасской шашки татарина и со звоном отлетела в сторону, перерубленная, как кочерыжка. В руках Данилы осталась одна рукоятка. Он был безоружен. Уже страшная татарская шашка блеснула на солнце. Но в это время чья-то сильная рука нанесла нападавшему могучий роковой удар. Голова татарина отделилась от шеи и с глухим шумом покатилась по палубе, слегка поблескивая золотым шитьем тюбетейки, а туловище, простояв мгновение, тяжело упало, орошая новым потоком крови и без того окровавленную палубу.

Считавший себя уже на краю погибели, обрадованный Адашев благодарно взглянул на своего неожиданного спасителя.

— Как твое имя? — спросил он, подойдя к нему.

— Князь Андрей Михайлыч Бахметов,— ответил тот.

— Будь мне другом: я одолжен тебе жизнью! — пожал Адашев руку Андрея Михайловича.

Потом, подняв выпавшую из мертвых рук его недавнего неприятеля шашку, едва не ставшую роковой для него, он как ни в чем не бывало поспешил в самую середину боя.

Однако битва, по-видимому, приходила к концу. Число врагов заметно уменьшалось. Их оставалось не более десятка, но и те быстро падали или сдавались в плен. Стали связывать пленников. В числе их попалось несколько турок. А между тем еще дело не было совсем окончено, еще бились или, вернее, бился, потому что продолжал бой единственный, дольше других уцелевший татарин, не хотевший, подобно товарищам, сдаться в плен живым. Это был уже старик, мулла, судя по зеленой чалме, покрывавшей его голову. Он защищался отчаянно. Прижавшись спиной к мачте, он с быстротой молнии поражал всякого, приближающегося к нему, и

не одна молодецкая стрелецкая или казацкая головушка испытала на горе себе тяжесть его руки.

Однако увидев, что сражение окончательно проиграно, что все его товарищи полонены или перебиты и что даже трупы их выбрасываются за борт овладевшими судном врагами, он, опустив в последний раз свою шашку на голову какого-то несчастного стрельца, подбежал к краю корабля и, не выпуская из рук оружия, бросился вниз головой прямо в тихо плескавшиеся волны.

Море приняло первую жертву боя, оно же взяло и последнего бойца!

Бой был кончен.

Быстро очистив судно от татарских трупов, сотворив краткую молитву над телами павших товарищей и опустив их в одну общую, братскую могилу — море, бойцы перевязали свои раны и, отдохнув и подкрепившись, спустились в свои утлые утруги.

Радостные и довольные, окрыленные надеждою, с веселой песней понеслись удальцы к новым победам, битвам и опасностям.

А море, уже одетое в багрянец лучами заходящего солнца, было по-прежнему спокойно, и волны его, нагоняемые легким ветерком, одинаково ласково покачивали и ладьи счастливых победителей, и обезображенные, холодные трупы побежденных.

VI

НА ВРАЖЕСКОЙ ПОЧВЕ

Благополучно достигнув Крыма, струги пристали к его западному берегу. Войско беспрепятственно высадилось и двинулось вперед, предавая все огню и мечу. Улусы татарские запылали... Сотни женщин, детей и беспомощных старцев гибли в огне их: опьяненные победой и жаждавшие отмщения за прежние насилия татар русские не знали пощады. Горе побежденным!

Прошло уже несколько дней, как казацкие ладьи пристали к Тавриде, а русская рать еще нигде не встретила серьезного сопротивления.

Это начинало беспокоить юного вождя Данилу Адашева.

«Не замыслил ли чего Девлет-Гирей, хан крымский, в своей бритой башке?» — думал он, не зная, что бездействие татар происходило совсем от другой причины.

Мурзы татарские отказывались от начальства над войском, а простые воины не хотели идти против «шайтанов-урусов», напуганные известною храбростью запорожцев. И то, что Данило приписывал хитрому умыслу, на самом деле было просто бессилием.

Вечерело. Солнце косыми лучами обливало русский стан, привольно раскинувшийся по берегу какого-то безымянного ручья. В стане царило оживление: войско только что расположилось отдыхать после разгрома соседнего улуса. Каждый был занят каким-нибудь делом: кто пытался развести костер, чтобы сварить себе каши или изжарить курицу, как нельзя кстати найденную в улусе; кто делил с товарищами награбленное добро, кидая жребий о том, кому должна достаться на долю превосходная дамасская шашка, взятая из рук какого-нибудь крымского мурзы, или расшитое шелками и украшенное самоцветными камнями седло; кто же просто предавался отдыху, свободно раскинувшись на мягкой траве и вперив глаза в далекое синее небо, или мирно беседуя с товарищами. Неподалеку от шатра Данилы Адашева сидели Андрей Михайлович и неразлучный с ним Петр. Перед ними был разложен небольшой костер, ради защиты от дававшего уже себя чувствовать вечернего холодка и сырости, так как солнце почти уже закатилось, и от ручья медленно стали подниматься испарения, едва заметные глазу, но весьма ощутительные для тела. Рядом с ними сидели еще несколько казаков и стрельцов, внимательно слушавших рассказ полонянника, только что сегодня выкупленного из тяжелой татарской неволи, в которой он находился около тридцати лет. На вид полонянник этот казался уже старцем лет семидесяти, хотя, по его рассказу, в то время, когда он попал в плен, ему было не более двадцати пяти и, следовательно, теперь ему не могло быть больше пятидесяти пяти лет, но тоска по родине, тяжелые работы и неволя состарили его преждевременно.

— Давно это было... Ух, как давно! — говорил старик.— Я еще вьюношей был молоденьким и жил под Москвою-матушкою... Второй год только пошел, как я поженился... Был сынок у меня уж... Как теперь помню глазки его голубые, ангельские... И жил себе тихо да помаленьку... Достаточек

у меня был от отца оставшись кое-какой, жена ласковая да молодая, сын-младенец, ангельчик, словом, не обидел меня тогда Господь счастьем!.. И, должно, я в этом счастье-то своем о Боге меньше думать стал, о земном больше пекся, что послал Он на меня беду великую!.. Было это, кажись, лета 7029 или 7028, не упомню, ведомо мне только, что тогда государь наш Василий Иванович, в походе на ляхов был, и войска около Москвы никакого не было... Только вернулся я это раз с поля, сел за ужин, а жена мне и говорит:

— Слышал, чай, Федот, что суседи бают?

— Что такое? — спрашиваю.

— Да будто татары на Москву идут?

— Чтой-то,— говорю я ей и усмехнулся даже, не поверил: — пустяки-то мелешь! Какие теперь татары, коли с ними у нас еще батюшкой нашего государя все прикончено!.. Полно! Пойдем-ка спать лучше! Не поверил я ей тогда, вот, как перед Богом, не поверил и спокойно спать завалился... Не думал я тогда, горемычный, что последнюю ночку под кровом родным сплю, что не будет у меня скоро не токмо сыночка милого и жены молодой, а и волюшки... Эх, эх! Как вспомню все, так и теперь сердце в груди ворочается! Утром встал это я, кваску испил, сынка поцеловал да и в поле пошел... Новинку тогда я поднимал под озимые... Только провел одну борозду, слышу на деревне крик и шум страшенный!.. Что это, думаю, не пожар ли? и оглянулся... Гляжу, много-много вдали на конях скачут людей каких-то... А мне опять и в голову не пришло, что то татары, только сердце екнуло так тоскливо-тоскливо, словно горе какое приключилось. Дай, думаю, пойду посмотрю, что на деревне деется... Не изба ль еще моя горит? и побег, бросив пашню, в деревню. Бегу, а слышу — сзади меня топот ног конских все громче раздается... Я оглянулся посмотреть, кто такие, да и обомлел: прямо на меня татары скакали... Я туда, сюда метнулся... Думаю: «Уйду, авось!» Ан нет, наскакали на меня, поганые, схватили, руки мне на спину завязали, на коня посадили, да и поволокли с собой... Скачут прямо в нашу деревню... Прискакали, а уж там давно другие татары хозяйничают... Ну и те татары, что меня захватили, тоже к ним пристали, и пошло тут всякое: и грабеж, и убийство, потом деревню с двух сторон сразу запалили. Моя изба в середине стояла, так до нее огонь еще не скоро добрался, но все ж и она запылала. А я сижу связанным да и думаю: «Ахти! Что моя Лукерья бедная теперь будет делать да сынишка мой!»

Только я это подумал, гляжу выбегает моя Лукерья, простоволосая, изорванная и с младенцем на руках... А татары, надо вам сказать, народ весь в избы загнали и уж опосля зажгли... И кто из избы, от огня спасаясь, выбежит, они из лука в того стреляли: «не смей, значит, выходить али гори, али убьем тебя!» Как Лукерья моя выбежала, и в нее пущать стрелы зачали. Одна из них ей прямо в глаз угодила, и грохнулась моя женушка наземь, кровью обливаючись, а малютку моего милого выронила. Один из татар и заметь это, да, потехи ради, схватил моего малюточку за ножку да и бросил в избу, в огонь прямо... А сам хохочет, проклятый, либо ему, вишь, что душу ангельскую невинную погубил! Как увидел я это, всю душу у меня поворотило! Начал я рваться на того разбойника, а рученьки-то мои связаны, и сам я к коню привязан... Мечусь и рвусь, словно пес на цепи, а веревки только в тело мне глубже врезаются... Ну и разорвись тогда веревки, загрыз бы того злодея! Ну, да мы еще с ним переведаемся! Он в соседнем улусе живет, видел я его! Уж, погоди, брат, расквитаемся с тобой, даром что я стар, да и ты стал не молоденек! — говорил полонянник, и лицо его приняло злое выражение.— Бешусь я, это,— продолжал он после минутного молчания,— а татары кругом, как дьяволы гогочут!.. Что потом было — не помню... Должно, тут разума я лишился, не понимал ничего... Когда ж очнулся, от деревни нашей только и следа было, что головешки обгорелые... Так я и попал к татарам. Потолклись они тогда еще порядком около Москвы... Бояре, слышал, им грамоту какую-то дали, что будто Русь опять под татар поступает, тогда они Москвы не тронули и назад пошли... По дороге хотели было Рязань разгромить, да воевода рязанский — Хабар, кажись, звать его — помял им бока порядочно да и грамоту тую отнял. Они тогда к себе уже поскорее пошли. С тех пор вот и жил здесь в неволе, пока вы, православные, сегодня меня, по милости Божьей, из полону не выручили. А много лет прошло, много! Теперь уж и хан другой, али третий после того. Тогда был ханом Мамер, а теперь — Девлет-Гирей.

Полонянник сидел понуря голову, окончив повесть своих страданий. Слушатели его, находившиеся под впечатлением его рассказа, молчали.

В это время какой-то человек быстро подошел к шатру Данилы Адашева и вошел туда.

— Видел? — сказал Петр, толкнув локтем сидевшего рядом с ним Андрея Михайловича.

— Кого? — спросил князь.

— Неужто не видел, кто в палатку Данилы пошел?

— Нет, не видел... А кто такой?

— Да твой друг-приятель, которому ты малость у Ведуньи кости помял!.. Как звать его, запамятовал!.. Ши... Шиб... Хоть убей, не помню!..

— А! Шигаев, должно быть!

— Во, во, во! Он самый! — воскликнул казак.— И зачем это его к Даниле понесло?

— Да мало ль зачем! Может, спросить что надо.

Как раз в это время из шатра показалась голова Данилы Адашева. Он смотрел так, как будто кого-то искал глазами. Увидев Андрея Михайловича, он кивнул ему головой и сделал знак подойти к нему.

Князь поспешно встал и приблизился к Даниле Адашеву.

Через минуту они оба скрылись в палатке.

VII

ПОРУЧЕНИЕ

Когда Андрей Михайлович вошел в палатку вместе с Данилой Адашевым, Шигаев стоял прямо против входа. При виде князя маленькие глаза его блеснули, но он быстро опустил их и не показывал вида, что знает Андрея Михайловича.

— Садись-ка сюда, князь, да покалякаем малость,— сказал Адашев, указывая Андрею Михайловичу на груду циновок и садясь сам.

— Видишь ли, братец ты мой, в чем дело,— продолжал он.— Вот этот парень,— кивнул Адашев головой, указывая на Шигаева,— пришел ко мне сейчас и сказал, что он знает повадки татарские. Он сам из здешних, только выкрестился. И хочет мне открыть кое-что. Поведал же он мне такое, о чем надо подумать, и дело важное. До сей поры, как сам знаешь, мы войска Девлет-Гирея и духу не слыхали, только так отрядики кой-где славливали, ну да мурзы татарские в их деревнях со своими холопами супротивность оказывали, а так, чтобы настоящее войско было, такого, говорю, не случалось еще видеть. По сей причине мне в голову думушка

и запала, не замыслил ли чего-нибудь Девлет-Гирей такого, чтобы сразу все войско наше побить. Тут же как раз пришел он, Шигаевым его звать, и говорит, что хан крымский оттого, должно, не идет нам навстречу, что у него засада устроена против нас. А где эта засада может сидеть, место-то ему — Шигаеву — ведомо. Так вот, и надо бы это получше разведать, а для этого человека нужно сыскать надежного. По мне же, самый надежный человек будешь ты, потому что я помню, как ты на кораблях татарских лихо дрался, меня от лихой беды освободил и жизнь мне спас. По всему по этому хочу я поручить все это дело тебе. Возьмешься ли?

— Конечно, возьмусь! Спасибо тебе, что вспомнил обо мне и на такое дело посылаешь! — поспешно воскликнул князь.

— Так и ладно, и отправляйся с Богом! — произнес Данило.— А о коне не заботься, потому что хоть все наши кони в Сечи Запорожской остались, однако казаки себе татарских коней довольно промыслили и тебе дадут неплохого.

— А какое это место, да и где оно? Далече отсюда? — спросил князь.

— Это овраг. Верст триста отсюда,— отвечал татарин на ломаном русском языке.

— Да, порядочно. Коней взять надо, скорей там будем.

— А с собой кого взять прикажешь? — спросил князь Адашева.

— Да вот его, конечно,— показал тот на Шигаева,— а других сколько хочешь и кого хочешь.

— Когда же выступать?

— Да хоть сегодня же! Ночью идти вольготнее и самому, и коням. А, может, устал али снарядиться не поспеешь, тогда завтра.

— Какое же устал! Уставать-то не с чего было! Вот только людей выберу, да и в путь: собираться долго тоже незачем.

— Так с Богом!

— А уж я на тебя, княже, как на отца родного надеюсь! — промолвил Адашев, крепко пожимая на прощание руку Андрею Михайловичу и целуя его.

— Будь спокоен! Сделаю что могу, коли не убьют нениароком али в полон не возьмут! — отвечал ему князь.

— Ну, авось, цел вернешься, и все по-доброму будет! Бог милостив!

— Да!.. Я было запамятовал,— произнес Андрей Михай-

лович, уже готовясь выйти из палатки,— где я его найду? — спросил он, указывая на Шигаева.

— Я тебя буду ждать у той палатки! — коверкая язык, ответил татарин.

Князь вышел.

Перед входом его ждал Петр.

— Ну, что, друже, поведаешь ли, зачем тебя Данило звал? — спросил он князя.

— Не только поведаю, а еще попрошу тебя кое о чем! — ответил Андрей Михайлович, довольный данным ему поручением, так как однообразие похода, в котором только и приходилось делать, что жечь да разграблять деревни татар, начало ему уже надоедать.

— Что такое? О чем попросишь? — спросил Петр с недоумением.

— Скажи-ка по правде истинной, не надоело тебе только и знать одно, что деревни татарские палить? — произнес вместо ответа Андрей Михайлович.

— Признаться, маленько есть этого,— ответил Петр.

— Ну, коли надоело, так собирайся да и поедем!

— Что ты! Куда? — радостно воскликнул запорожец, охочий до всякого рода рискованных предприятий.

— Далеко! За триста верст!

— Зачем?

— Нужно! Потом расскажу по дороге! Теперь некогда. Надо еще набрать людей, да получше выбрать, поотчаянней.

— Этого и делать не трудись — я тебе все это живой рукой сделаю! А много ль надо?

— Да человек с полсотни довольно, больше не нужно. Только чтоб кони были, без коней нельзя! Да и мне раздобудь коня!

— Коня я тебе сейчас найду, у меня их два: возьми одного себе, любого! Они вот тут у меня пасутся, пойдем покажу!

Князь последовал за запорожцем.

Кони, действительно, паслись недалеко.

— Вот, выбирай любого! — сказал Петр — коняги хорошие. Седла здесь у меня лежат,— показал он князю.— Ты пока оседлай их, а я пойду молодцев тебе искать. Небось, живо отыщу, не запропащусь!

— Ладно! — согласился князь.— Иди, а я седлать буду.

Недаром Петр хвалил коней — они, действительно, были хороши! Небольшие и сухие, немного, пожалуй, неказистые

с виду, они были жилисты и сильны. Тонкие, словно точеные, но сильные ноги, нетолстая и немного длинная, сравнительно с их ростом, шея, легкость всей фигуры, несколько подтянутой с боков, указывали на быстроту их бега.

Андрей Михайлович, как знаток и любитель лошадей, сразу оценил все их достоинства и, выбрав того, который казался ему получше, взял седло и подошел к нему с намерением оседлать его.

Однако это оказалось далеко не таким легким делом, как думал князь: татарский конь так же дик и неукротим, как и его господин! Едва князь взялся за недоуздок лошади, как она встала перед ним на дыбы, намереваясь обрушиться на него всей тяжестью тела и раздробить ему грудь передними ногами. Князь успел вовремя отскочить в сторону, не выпуская из руки недоуздка. Видя, что попытка не удалась, конь, казалось, успокоился, но едва князь наложил на его спину седло, как конь, лягнув задними ногами, сделал такой отчаянный прыжок, что всякий другой, менее опытный в обращении с конями, чем князь, не только потерял бы недоуздок, но и был бы разбит неукротимою лошадью.

Прошло немало времени, пока князю удалось справиться с лошадью и оседлать ее. Надев седло, князь вскочил на лошадь, и она, сделав несколько прыжков, пошла, повинуясь малейшему движению руки князя. Конь почувствовал господина и стал его послушным рабом! Видя, что лошадь окончательно покорена, князь соскочил с седла и, привязав ее к растущему поблизости дереву, принялся за вторую лошадь, которая, подобно первой, также далась не сразу. Пока князь возился с этим конем, пришел Петр. Видя, какие штуки выделывает конь, Петр засмеялся.

— Что, Андрей Михалыч, сердитые кони? — сказал он.

— Да! С ними не скоро сладишь! — ответил князь.

— Упрямы, как татарин! Зато только сядь на них, так все забудешь!

— Ну что, нашел ли товарищей? — спросил Бахметов.

— Уже все готовы! Ждут тебя!

— Сколько их?

— Пятьдесят, как ты сказал!

— Отлично! Молодец! Так на, возьми, доканчивай седловку, да и поедем!

Доканчивать седловку оставалось немного... Петр скоро все окончил. Оба сели на коней и поехали к ожидавшим их казакам.

Выбранные Петром казаки были молодец к молодцу, как на подбор! Большинство их состояло из полуседых, видавших всякие виды, запорожцев, которых не страшила никакая опасность, ради удали они готовы были хоть лезть в самое пекло! Шигаев тоже на коне, вполне готовый ждал у палатки Адашева. Увидев князя и Петра, глаза его опять, как в шатре Данилы, блеснули, однако лицо его оставалось спокойным, и можно было думать, что он, действительно, не узнал наших друзей.

— Ну, с Богом! В путь! — сказал, крестясь, князь, следуя за ехавшим впереди татарином.

— На кой черт эта татарская образина с нами увязалась? — тихо спросил Петр Андрея Михайловича.

— Да разве ты не видишь, что он нас ведет! — засмеялся князь.

— Как?! — удивился запорожец,— он нас ведет?! Куда?

— Да, вишь, он сказал Даниле Адашеву, что есть за триста верст отсюда овраг...

— Ну? — нетерпеливо перебил его казак.

— И если хан крымский замыслил нас надуть и устроил засаду, так войско это должно скрываться в этом самом овраге...

— Понял теперь! Стало быть, Данило велел тебе разведать, есть ли там войско на самом деле? Так ли я говорю?

— Да! А провести нас туда должен этот самый Шигаев, так как эти места ему знакомы. Ведь он сам здешний.

— Вот оно что! Понимаю! — пробурчал казак.— А только меня, признаться, опаска берет, как бы этот бывший крымчин нас не надул! Не верю я ему что-то! Больно рожа скверная!

— Надо будет за ним присматривать,— задумчиво произнес князь.

— Беспременно! — ответил казак.

Друзья замолчали.

А кругом их царила чудная южная ночь. Светила луна, заволакиваемая порою легкими, быстро бегущими облаками, и сообщала всему какую-то таинственную прелесть. Каждый листок дерева, каждая причудливо свесившаяся ветка особенно рельефно выделялись, принимая иную, более бледную, чем днем, окраску. И повсюду тишина. Ветра нет... Только глухой топот ног коней отряда нарушал тишину и будил где-то далеко такой же глухой отзвук.

Казаки ехали быстро. Не успели оглянуться, как уже

кони были взмылены: значит, проехали более тридцати верст. Видя утомление коней, князь решил сделать привал — и, выбрав удобное место для ночлега, приказал отряду остановиться. Казаки спешились. Коней, конечно, не расседлывали. Утомленные истекшим днем и ночною ездою, казаки легли на траву и, завернувшись, кто во что мог, предались короткому, но крепкому сну.

VIII

ПОБЕГ

Не прошло и получаса после того, как казаки расположились на ночлег, а уже весь отряд спал крепким сном. Бодрствовал только один часовой, которого не забыл поставить Андрей Михайлович, опасаясь внезапного нападения татар: на вражеской почве нельзя было пренебрегать никакою мелочью — беспечность в малом часто порождает великую беду!

Жребий быть первым часовым пал на долю друга и помощника Андрея Михайловича, Петра, и теперь его высокая фигура выделялась над лежащими на траве казаками. Он стоял, прислонясь плечом к дереву и опираясь на копье. Тишина ли ночи, непривычная для запорожца, которого всегда окружала бившая живою волною жизнь, шум, движение и беспрерывная смена впечатлений, или свет луны действовал на казака и наводил на его душу уныние, Петр сам не мог определить, только сердце его болезненно ныло, и неприветные, тоскливые думы лезли ему в голову. Весельчак запорожец низко опустил голову под напором тоскливых мыслей и глубоко задумался. Вспомнилось ему далекое и грустное прошлое. Как живая, встала перед ним его мать, бледная, исхудалая женщина с печальным, задумчивым лицом, на котором видна была вечная забота, а в глазах всегда, казалось, мелькала боязливая мысль о будущем, о ближайшем будущем, о завтрашнем дне! Какая серая и безотрадная была ее жизнь! Вечное опасение о хлебе насущном, постоянные унижения и мелкие оскорбления со стороны тех, кто был более обласкан судьбою, голод или, в лучшем случае, нужда — вот чем был усеян ее тяжелый житейский путь!

А она, страдалица, с терпением несла свой тяжелый крест, не роптала, только все больше худела да бледнела... И наконец не выдержали силы! Она заболела... Медленно, словно свеча на огне, таяла она, но, чувствуя уже свой близкий конец, по-прежнему была кротка и безропотна! Она скончалась тихо... Дрожащей, исхудалой рукой благословила сына, глянула на него своими большими, окруженными черною полосою глазами и потом сомкнула веки, чтобы уже никогда более не открывать их... Первый раз, может быть, за всю жизнь с лица ее сбежала забота, и она лежала холодная и спокойная: кончены расчеты с жизнью. Теперь ей ничто не страшно: ни горе, ни нужда, ни лишения! Она свободна ото всего этого! Ее уже ничто не страшит! А над ней со слезами склонился ее сын, ее муж...

«Что вы плачете? Чего грустите? — словно хотят сказать ее холодные уста.— Утешьтесь! Я счастлива! И вы будете счастливы, только ждите и надейтесь!

Тоскливо сжимается сердце Петра под напором грустных воспоминаний... Желая отогнать свои думы и рассеяться, Петр отошел от дерева и прошелся. Шум его шагов заглушала мягкая трава... Кругом было тихо, лишь изредка нарушал тишину храп какого-нибудь сладко спящего казака... Запорожцу, не робевшему среди самых жарких битв, стало жутко посреди этой мертвой тишины... Он даже пожалел, что оторвался от своих тяжелых дум: те, по крайней мере, заставляли забыть действительность. Побродив немного, Петр опять стал на свой прежний пост, и опять вереницей понеслись его думы.

Внезапно какой-то тихий шорох вывел его из задумчивости. Казак встрепенулся и приподнял пику, не выходя из тени дерева, бросаемой луной... Все снова стало тихо. Однако запорожец внимательно прислушивался и не спускал глаз с того места, откуда донесся к нему шорох... Вдруг он заметил, что среди спящих казаков кто-то тихо приподнялся и пополз по траве... Изумленный Петр стал вглядываться в ползшего и узнал в нем Шигаева. Татарин тихо пробирался между спящими казаками, стараясь не задеть кого-нибудь из них нечаянно. Он полз по траве, извиваясь, как змея, всем телом, плотно прижав к земле туловище. Он не замечал, что пара зорких глаз запорожца наблюдала за всеми его движениями. Выползнув из круга спящих, татарин осторожно повернул голову, желая посмотреть, вероятно, где караульный и не замечает ли его.

Однако Петр стоял неподвижно, ничто не выдавало его присутствия под деревом, и Шигаев, успокоенный кажущейся тишиной, медленно встал на ноги и в два прыжка достиг ближайшего куста, за которым и скрылся.

Петр не знал, на что решиться: последовать ли за изменником — он не сомневался, что татарин скрылся недаром — или разбудить казаков. После некоторого размышления Петр решился на последнее.

— Андрей Михайлович! А, Андрей Михайлович! — стал он будить князя.

— А, что такое? — быстро проснулся тот.

— Татарин убег!

— Какой татарин? Шигаев, что ли?

— Он самый, Андрей Михайлович! Убег али замыслил какую пакость! Сам видел своими глазами, как он скрылся за куст и ушел из стана.

— Гмм... Что ж, он к своим, должно быть, воротиться задумал!

— Кто его знает!

— Надо будить казаков да изловить его! — произнес князь, быстро поднимаясь.

Казаки были все скоро подняты.

— Садись, братцы, на коней, да поедем татарина искать! Видели, вел-то нас татарин, Шигаевым его звать, так вот его! Убег!

— Неужто! — в один голос ахнули казаки.

— Ах, изменник, предатель! Беспременно надо изловить его да на самую высокую осину вздернуть! — кричали взбешенные запорожцы, садясь на коней.

— Куда он пошел? Покажи нам! — сказал князь Петру.

— А вот сюда, в эту сторону... Должно, там деревня татарская близко, али войско, он туда и побег.

— Рассыпемся, молодцы, да пошарим!.. Он тут, должно быть! После соберемся опять на это же место,— сказал Андрей Михайлович.

Казаки не заставили князя повторять приказания и быстро рассыпались по растущему здесь мелкому, молодому лесу, лишь изредка прерываемому отдельно растущими столетними буками.

Однако как ни тщательно обыскивали запорожцы каждый куст, каждое деревцо, нигде не было видно и следа изменника-татарина.

Мрачные и взбешенные возвращались казаки на место сбора.

— Ишь, надул, бес проклятый! — шептали седые бойцы, сердито кусая свои длинные усы.

Попадись им в это время Шигаев, дорого бы пришлось ему расплатиться за свою измену!

На востоке уже показалась золотая полоска зари, когда вернулся с поисков последний казак.

— Ну, что? — встретили его вопросом запорожцы, хотя уже видели по выражению его лица, что добра ждать нечего.

— Его и след простыл! — угрюмо отвечал тот.— Нашел только вот это... На дереве висел,— показал он товарищам свою находку.

Это был крестильный крест Шигаева, который он поспешил снять прежде всего, как вещь для него более не нужную.

— Ах, двойной отступник богомерзкий! Ну, попадись ты, собака, только нам в лапы, зададим мы тебе! — злобно шептали казаки.

— Что же, братцы, едем назад, к Даниле, да поведаем ему все! — произнес князь.

— Да... Что же тут больше делать? Поедем! — ответили казаки.

Весь отряд медленно двинулся в обратный путь. Тяжело было этим испытанным в боях воинам так возвращаться в стан Данилы Адашева, обманутыми, не совершив никакого подвига! Стыд мучил казацкие сердца, словно они сами были причиной своей неудачи! Грустные думы бродили в их головах.

А заря между тем разгоралась все больше и больше, словно радуясь, что она приносит жизнь, пробуждение и надежду на то, что скоро свет засияет повсюду. Ярка и приветна была заря, но и она не могла разогнать той ночи, которая царила теперь в душах казацких!

IX

ЗАСАДА

Казацкий отряд медленно подвигался вперед. Казаки сидели молча, выпустив из рук поводья. Лошади, не слыша удил, шли тихим шагом.

Солнце было уже высоко на небе, а казаки отъехали не больше пяти верст от места своей ночной стоянки. Теперь они подъезжали к неглубокой котловине, окруженной по краям невысоким, но частым леском. Едва успели казаки спуститься, как со всех сторон на них посыпались стрелы.

Воздух наполнился их жужжанием, к этому еще присоединился крик многих голосов.

В первую минуту казаки растерялись от неожиданности, но скоро оправились. Они жаждали боя и рады были этому неожиданному нападению. Они искали врага. Но враг был невидим: он скрывался за деревьями и осыпал оттуда отряд стрелами. Двое-трое из казаков были уже ранены.

Андрей Михайлович понял, что при таком положении могут легко перебить всех.

— За мной, молодцы! — крикнул он и, стегнув коня, поскакал к тому месту котловины, откуда, казалось, летело наибольшее количество стрел. Как буря, помчался небольшой отряд на невидимого врага. А навстречу им все громче и громче доносился пронзительный татарский крик, и юркие, ловкие татары поспешно спускались с деревьев, чтобы встретить врага. Отряд влетел на пригорок, и битва закипела.

Казакам приходилось биться не с ханским войском, не с настоящими воинами, а с поселянами окрестных улусов, вооруженными чем попало.

Их всех привел Шигаев, у которого, надо полагать, все было заранее предусмотрено. Эти неискусные воины были, однако, страшны своею многочисленностью. Они со всех сторон густым кольцом все теснее и теснее окружали запорожцев. Запорожцы дрались с остервенением, но, подавляемые многолюдством, они чувствовали, что вряд ли им придется избежать погибели. Впрочем, бойцы готовы были ко всему и старались только дороже продать свою жизнь. Татарские дубины со свистом резали воздух и с глухим треском дробили ноги казацких лошадей и головы их хозяев. Казацкие сабли, до рукояти орошенные горячею кровью, беспрерывно поблескивали в воздухе... То и дело раздавался предсмертный стон казака или хрип пораженного насмерть татарина. Однако ряды казаков заметно редели, татары же наступали все настойчивее. Попытка казаков пробиться сквозь татар оказалась тщетной: слишком густою стеной они были окружены! Исход битвы можно было предвидеть, и конец ее был не далеко.

Андрей Михайлович, рассекший своей саблей не один та-

тарский череп, видел, как покачнулся в седле Петр, пронзенный татарскими вилами, однако, истекая кровью, удержался на лошади и старался биться из последних сил. Видя гибель своих друзей, князь решил попытаться пробиться еще раз сквозь железное кольцо татар.

— За мной, ребята! Сюда! — крикнул он и, сжав ногами бока своего скакуна, врезался в самую гущу татар.

Оставшиеся в живых казаки бросились за ним. Бой закипел с большей силой. Запорожцы дрались с силой отчаяния, и, не выдержав их бешеного натиска, татары стали понемногу расступаться. В эту минуту в толпе их мелькнуло бледное лицо Шигаева.

— Куда, лайдаки! — крикнул он по-татарски своим.— Боитесь урусов, трусы!

— А! Изменник! Наконец-то я нашел тебя! — закричал Андрей Михайлович, направляя лошадь к Шигаеву.

— Я тоже давно ищу тебя, шайтан! — бешено крикнул в ответ ему Шигаев и кинулся с саблей на князя.

Сабли их встретились. Однако князь успел скорее взмахнуть вторично своим оружием, и клинок его со страшной силой опустился на темя татарина. Шигаев охнул и, уронив саблю, свалился под ноги князя Андрея Михайловича. Князь тронул лошадь, и она наступила передними ногами прямо на грудь изменника, потушив в нем последнюю искру жизни.

В это время сильный удар дубиной ошеломил князя. Он пошатнулся и упал с седла.

А над ним бой продолжался.

X

В ПОЛОНУ

Когда князь Андрей Михайлович пришел в себя, первой его мыслью было: где он находится и что с ним? Все тело его ныло... Он сделал попытку шевельнуть руками, и не мог их поднять. Веки также не повиновались стараниям князя открыть глаза и осмотреться кругом — ресницы словно срослись вместе. Андрей Михайлович чувствовал легкое равномерное покачивание, будто его несли на руках. До его слуха

долетал неясный шум голосов, но кто были говорившие: русские или татары, он еще не мог понять.

Тихая, равномерная качка нагоняла сон на князя, и он впал в забытье. Перед ним проносились легкие, неясные образы, быстро сменявшие друг друга. Грезилась ему Москва, боярский сад, а вот и она, его милая, его люба желанная! Как изменилась, похудела! С тоски по нему, верно... На глазах слезы, голова упала на грудь... Ломает она свои белые руки от горя, от кручины лютой!

«Полно, лебедь моя!» — хочется крикнуть Андрею Михайловичу.— «Не плачь, не тоскуй! Я еще жив! Жив!..» Но уста князя не повинуются ему. А в это время и боярский сад, и Марья Васильевна уже куда-то скрылись; перед Андреем Михайловичем новая картина. Кажется ему большая горница, а в ней сидит какой-то мужчина, и чудится князю, что это лютый его враг! Лица мужчины не видно Андрею Михайловичу... Враг его — он знает, он чувствует, что это его враг — сидит перед столом и смотрит на дверь, будто ждет кого-то... Вдруг распахнулась на обе половины широкая дверь, и в комнату вошла Марья Васильевна, плачет бедная, а сидевший за столом вскочил с сиденья и прямо к ней... Обнял ее и целует, а она не обороняется, только еще пуще слезами залилась. Ворог же Андрея Михайловича оборотился теперь лицом прямо к князю и смеется, оскалив ряд белых зубов, и глазом хитро подмигивает. И видит Андрей Михайлович, что это Шигаев... Вон и красный рубец на голове от удара его сабли... Так он не умер, басурман! Так он жив и еще смеет целовать его зазнобушку, его любу милую! «Ну, теперь берегись! Теперь я тебя так уложу, что ты не встанешь больше!» — думает князь, и кровь кипит в его жилах от гнева.

Вдруг неожиданный толчок вывел Андрея Михайловича из забытья... Впрочем, он очнулся не сразу: слишком живы были его грезы и слишком далеко унесли они его от действительности. Шедшие, должно быть, остановились, судя по тому, что не чувствовалось прежнего покачивания. Князь чувствовал, что его опустили на что-то мягкое. Вокруг него слышались сдержанные голоса, потом послышался удаляющийся топот ног нескольких человек, и наступило безмолвие. Князь понял, что его оставили одного. Сделав усилие, князь слегка приоткрыл глаза. То, что он увидел, поразило его. Он лежал в большой светлой комнате. Стены ее были украшены пестрыми коврами в турецком вкусе. Такой же ковер был разостлан на полу. У стены стояло несколько не-

больших, широких и низких диванчиков, такого же цвета, как и ковры, снабженных по краям круглыми подушками, украшенными золотыми кистями. Около одного из диванов стоял маленький тонкий столик, весь причудливо изукрашенный перламутром. Он был невысок, чуть-чуть повыше сиденья диванов. На нем стоял кальян с обернутой вокруг него длинной мягкой трубкой для куренья. Такая обстановка была знакома князю: ему приходилось посещать богатых татар, и он знал, что так убираются их жилища. Как же он попал сюда? Стало быть, он в плену! При этой мысли волосы на голове князя стали дыбом от ужаса! Он, не боявшийся смерти, всегда готовый рискнуть жизнью, когда это было надо, испугался: он знал, какова татарская неволя! Ужас, охвативший князя, подействовал на него лучше, чем всякое лекарство: он сразу возвратил ему силы.

Андрей Михайлович открыл глаза и приподнялся. Тело болело, голова словно была налита свинцом, но руки, хотя и с трудом, двигались, ноги тоже. Князь еще раз внимательно осмотрел комнату, ища, нет ли где лазейки, чтобы выбраться на свободу. Несмотря на свою слабость, князь решился бы убежать, если бы была возможность. Но как внимательно ни осматривал князь комнату, нигде не было другого выхода, кроме единственной двери. Приходилось оставить всякую мысль о побеге и покориться судьбе.

У входа в комнату послышались шаги.

Князь быстро принял то положение, в каком был оставлен, и лежал неподвижно, лишь чуть-чуть приоткрыв глаза, и, прекрасно зная татарский язык, приготовился внимательно слушать, что будут говорить пришедшие.

В комнату вошли четверо татар-простолюдинов, судя по их бедной и грязной одежде, мулла в зеленой чалме, по-видимому турок, так как черты его лица не походили на татарские, и наконец какой-то старик в богатой, расшитой золотом одежде. Это был, должно быть, сам хозяин дома.

Старик приблизился к неподвижно лежащему князю и склонился над ним. Андрей Михайлович не подавал признака жизни.

— Да жив ли он? — произнес старик, внимательно глядя на бледное лицо Андрея Михайловича.

Мулла безмолвно подошел к ложу князя и, приложив ухо к его груди, прислушался.

— Жив! — сказал он, отходя от него через минуту.— Сердце бьется!

— Вы не ошиблись? — обратился старик к четырем простолюдинам: — это тот самый гяур, который начальствовал над казаками?

— Он! Он! Клянусь Аллахом! — ответил один из спрашиваемых.

Остальные подтвердили его слова.

— Гмм... Неужели это сам шайтан, Данило Адашев? — задумчиво проговорил старик.

— А вы будьте спокойны,— продолжал он, обращаясь к четырем татарам,— если это и не Адашев, то все-таки один из важных в его войске, и вас хан наградит, что вы его ко мне доставили. Я сегодня, сейчас даже, поеду к хану, расскажу ему о вашей победе... Да! — сказал он после некоторого раздумья, не окончив своей речи.— Казаки все перебиты?

— Почти все! Только четверо ускакали, и то один из них ранен вилами!

«Ага! — радостно подумал князь.— Это, верно, Петр. Хорошо, что он спасся! Слава Богу!».

— Четверо ушли,— продолжал старик.— Ну, что ж! Это ничего не значит! Я скажу хану, что, когда его воины отказались идти на урусов, страшась их, простые крестьяне сделали их дело! Идите! — кивнул он слегка головой татарам.— Хан не забудет вас!

Едва татары покинули комнату, как старик почтительно обратился к мулле.

— Ты мудр, мой отец! — повел он по восточному обычаю цветистую речь.— Тебе известны все звезды на небе, ты знаешь, почему почка цветка открывает свой зев навстречу солнечному лучу, когда Аллах велит утром появиться дневному светилу! Ты наизусть знаешь Коран, Сунну и Хедисы нашего великого пророка! Аллах просветил тебя своим светом. Он открыл тебе тайны природы, тайны души и тела человека! Теперь я, недостойный владеть и частицей этого божественного света, которым просвещен твой разум, как раб, ползаю у тебя в ногах и молю тебя: помоги мне своей мудростью!

— Чего ты хочешь от меня? — важно спросил мулла.

— Излечи этого уруса! Для меня необходимо, чтобы он был здоров!

Мулла не отвечал, задумчиво смотря на лежащего неподвижно Андрея Михайловича.

— Хорошо! — проговорил он наконец торжественно.— Урус будет жив и здоров!

— Спасибо тебе! — радостно вскричал старик.— Теперь я спокоен и поспешу к хану с радостной вестью о победе!

Проговорив это, он три раза ударил в ладоши. На пороге появился раб и встал недвижимо, как статуя.

— Поставь у этих дверей двух сторожей, чтобы они постоянно наблюдали за пленником.

— Слушаю! — ответил раб, бесшумно скрываясь за дверью.

Когда хозяин комнаты выходил из нее немного спустя, то у дверей ее уже стояли два рослых и сильных татарина с обнаженными саблями в руках.

Таким образом, у князя была отнята самая тень надежды на побег. Он сделался татарским узником и пленником. Однако слышанный им разговор несколько его успокоил. Его будут лечить, пройдет немало времени, пока он выздоровеет, а выздоравливать скоро у него не было расчета, и он собирался поводить за нос мудреца-муллу, как можно долее притворяясь слабым и больным. Кто знает? За это время, быть может, и представится случай к побегу или Петр, находящийся в живых и на свободе (а он был почему-то уверен, что Петру удалось спастись, и это несказанно радовало его), оправясь от своей раны, выручит его из полону.

Потом мысли князя приняли другое направление.

«Так вот,— думал он,— почему мне грезилась моя милая горько слезы льющей, как по упокойнику. Ныне я и есть почти упокойник: татарская неволя — тот же гроб!»

Пока эти мысли бродили в голове князя, мулла, сидевший, поджав под себя ноги, на одном из диванов, не спускал глаз с лица Андрея Михайловича.

— Зачем собака-урус притворяется? — внезапно произнес мулла на довольно чистом русском языке.

Эти слова, а главным образом, язык, на котором они были высказаны, едва не заставили князя выйти из его притворного бесчувствия. Но он вовремя опомнился и продолжал лежать по-прежнему неподвижно, не подавая и признаков жизни.

Мулла наблюдал за ним.

— Ты жив, гяур! — произнес он снова, но результат был прежний.

Тогда и мулла усомнился в том, действительно ли жив пленник, и приказал одному из часовых принести чашу с водой. Когда приказание его было исполнено, он, расстегнув ворот одежды Андрея Михайловича и с презрением отвер-

нувшись от увиденного им христианского креста, смочил водою грудь и виски неподвижно лежащего пленника.

Князю показалось, что пора очнуться, и он издал легкий стон. Через минуту он пошевелился, открыл глаза и снова закрыл их. Дав мулле время еще повозиться над ним, он наконец снова открыл глаза и обвел взглядом комнату, как будто удивляясь непривычной обстановке.

— Где я? — спросил он муллу слабым голосом и сделал попытку приподняться.

— Полежи еще и не шевелись! — сказал мулла, удерживая его.— Ты слабее, чем я думал! Тебе еще нельзя двигаться!

— Где я? — снова повторил свой вопрос князь.

— Там, где тебя давно ждали! — отвечал, усмехаясь, мулла.

Князь с недоумением посмотрел на него. В это время один из часовых вошел в комнату.

— Молодая ханым * хочет посмотреть на пленного уруса,— произнес он.

— Пусть она войдет, но получше закроется чадрой, потому что урус теперь пришел в себя.

Андрей Михайлович не подал и вида, что понимает по-татарски, и стал с любопытством ожидать появления ханым.

XI

МОЛОДАЯ ХАНЫМ

Ожидание Андрея Михайловича длилось не долго: скоро дверь распахнулась, и на пороге появилась фигура женщины. Легкими, быстрыми шагами подошла она к ложу полонянника. Молода она была, хороша или дурна лицом — нельзя было узнать, так как ее с головы до ног скрывала чадра из легкой, непроницаемой для глаза материи. Можно было видеть только, что ханым была невысока ростом. Ниспадавшее красивыми складками покрывало неясно обрисовывало ее стан: очертание его, казалось, было прелестным. Из-под белой чадры выбивались на висках несколько прядей

---

* Ханым — госпожа

черных волос с синеватым отливом, казавшихся еще чернее от контраста с белоснежным покрывалом. Порою князю казалось, что он различает пару глубоких, темных глаз, слегка сверкавших под дымкой легкой чадры, скрывающей их. Но затем он должен был сознаться, что не видит ничего, кроме укутанной в белое фигуры женщины.

Ханым, приблизясь к князю, остановилась и внимательно его разглядывала. Она молчала. Молчал и мулла, словно застывший в своей обыкновенной позе, расположившись на одном из диванов. В комнате было тихо. Андрею Михайловичу становилось неловко под пристальным взором скрытых от него глаз женщины. Он сделал усилие и, поворотив насколько мог голову, отвернулся от смотревшей на него девушки.

— Неужели это и есть предводитель всех урусов? — сказала ханым, обращаясь к мулле, прерывая наконец свое молчание.

Старик пожал плечами.

— То ведомо только одному Аллаху! — ответил он.

— Урус, кажется, болен?

— Да, он ранен в той битве, в которой наши молодцы перебили всех его товарищей-гяуров. Да будет славно имя Аллаха и его великого пророка Магомета!

— Не придут ли урусы выручить его? Ведь они, кажется, недалеко?

— Не думаю. Урусы хитрят,— сам шайтан водит их,— но вместе с тем и просты, как дети! Высадившись на берег нашего ханства, войско их растянулось на много верст, но идет все в одном направлении вдоль морского берега. Им и в голову не приходит пойти к самому сердцу нашего ханства; они только опустошают ту часть, которая лежит в той стороне, где вечером скрывается солнце. Потому, будь спокойна, ханым, наша деревня в безопасности от них. Им даже неизвестно, что всего только один переход отделяет их от того улуса, в котором живет такой славный муж, как мурза Саид. А стоило бы им появиться здесь — и от улуса не осталось бы камня на камне, потому что ханские солдаты мудрого Саида разбежались и защищать улус некому. Но нас, я сказал, спасает то, что урусы хитры, как змеи, и вместе с тем просты, как дети! — закончил свою речь мулла.

— А пленник долго здесь останется или его увезут отсюда? — снова спросила ханым.

— До тех пор, пока не поправится.

— Надеешься ты, что он выздоровеет?

— Аллах не обидел меня разумом и открыл мне многие тайны! Я ручаюсь, что пленник выздоровеет.

«Все это упомнить надо! — думал между тем Андрей Михайлович, внимательно вслушиваясь в разговор муллы и ханым.— Наши, стало быть, недалеко! Неужели они не надумают сюда завернуть? Эх, кабы послать к ним весточку али убежать отсюда, да поскорее, теперь же, после поздно будет!»

И планы, один другого хитрее и замысловатее, роились в голове князя. То он думал скрыться ночью, убив поставленных у дверей часовых, забывая, что он совершенно безоружен,— у него не было даже ножа,— а те вооружены с головы до ног; то он хотел подкупить их, достать татарское платье и бежать в русский стан, не приняв в расчет того, что, во-первых, у него не было при себе денег, во-вторых, вряд ли безответные рабы мурзы Саида пожелали бы подвергнуть себя лютым пыткам и смерти из-за горсти русского золота, так как они прекрасно должны были понимать, что побег пленника прежде всего отразился бы на них.

С грустью убеждался Андрей Михайлович в непригодности своих планов, а мечты все бежали живой волной, сменяя друг друга, и князь отдался своим грезам.

Голос муллы вернул его к действительности, Андрей Михайлович оглянулся: ханым уже не было в комнате. Он, забывшись, не слышал, как она удалилась.

— Урус, а урус! — говорил ему мулла.

— Что? — спросил его князь.

— Попробуй приподняться и подкрепи свои силы,— сказал старик, помогая Андрею Михайловичу сесть.

Тот сел, показывая вид, что это ему чрезвычайно трудно сделать, между тем как на самом деле он чувствовал себя гораздо бодрее, чем прежде.

Мулла ударил в ладоши. На его зов вошел раб.

— Принеси пленнику пищи,— приказал мулла.

Раб удалился и вскоре вернулся, неся серебряный поднос, на котором стояла небольшая миска и серебряный кубок. От миски шел такой соблазнительный запах, что у князя, ничего не евшего с самого утра и утомленного битвой и раной, невольно пробудился сильный позыв к пище.

— Возьми и ешь! — коротко сказал мулла, взяв от слуги поднос и подавая его пленнику.

Андрей Михайлович заглянул в миску. В ней была мелко искрошенная жареная баранина, перемешанная с рисом.

«Хоть пост у нас теперь великий да и погаными руками приготовлено все,— подумал он,— а что делать! Поневоле поешь и оскоромишься. Бог простит, поем, а то в желудке у меня, ровно мальчики на салазках с гор катаются»...

Андрей Михайлович, перекрестившись, принялся за еду. Скоро все содержимое миски было уничтожено. Тогда князь взглянул на кубок. В нем было какое-то питье. После жирной баранины хотелось пить, и он, не задумываясь, взял кубок. Напиток оказался чрезвычайно вкусным и ароматным. И он выпил его весь.

— Хорошо, урус! Теперь ты скоро поправишься,— произнес мулла.— После этого питья тебя будет клонить ко сну. Ты не противься этому, ляг и спи. Тебе все здесь приготовлено,— указал он Андрею Михайловичу на постланное для него на одном из диванов ложе.— Попробуй потом сам, без моей помощи, перейти на него. Я же тебе не буду мешать и уйду.

Мулла вышел из комнаты, оставляя князя одиноким. Князь не замедлил последовать его совету. Он с некоторым усилием приподнялся и перешел на диван. Диван был несколько короток для него, но мягок, и князь, которому часто во время похода приходилось спать на гораздо более неудобном ложе — на матушке сырой земле, чувствовал себя на нем прекрасно. Скоро Андрей Михайлович ощутил приятную истому во всем теле и немного спустя заснул крепким и здоровым сном.

Утомление и болезненное состояние сказалось. Андрей Михайлович спал долго. Когда он открыл глаза, была уже глубокая южная ночь с ее яркою луной на звездном небе. Луч ночной царицы — луны упал, пройдя сквозь листву росшего вблизи дома дерева, в комнату, где находился Бахметов, и, отразив на пестром ковре пола узорчатую тень древесной листвы, захватил своим светом край одного из диванов и заиграл на золотой кисти подушки. Царившая тишина лишь изредка нарушалась легким покашливанием часовых, стоящих у двери, вне комнаты, бряцанием оружия, и снова все затихало. Дом казался вымершим.

Проснувшийся князь в первую минуту не мог понять, где он. Однако скоро не вполне еще прошедшая боль в голове напомнила ему обо всем случившемся. Князь, чувствовавший себя значительно бодрее, поднялся со своего ложа и прошелся. Шум его шагов заглушался толстым ковром, и часовые не слышали, что их узник бродит по комнате. Поль-

зуясь выпавшей ему некоторой свободой, князь хотел подробнее ознакомиться с тем уголком дома мурзы Саида, который, быть может, надолго стал его темницей. При внимательном осмотре всей обстановки комнаты он удивился тому, что две стены были увешаны коврами и уставлены диванами, а третья, прилегавшая к внутренним покоям, была лишена этого украшения.

— Что бы это значило? Нет ли в ней двери? — размышлял Бахметов.

Он знал, что не в характере хитрых и осторожных мусульман было оставить одну из комнат как бы отрезанною ото всего остального дома. Поэтому князь полагал, что из этой комнаты, верно, есть еще выход, кроме того, у которого стояли часовые. Может быть, хорошо скрытая потайная дверь находилась именно на той стене, которая была лишена ковров и диванов. Размышляя так, Андрей Михайлович подошел к стене. Она, насколько он мог разглядеть при слабом отблеске лунных лучей, казалось, вся была равно плотна и везде одинаково построена: поверхность ее была гладка, и нигде не видно было даже малейшей щели. Обескураженный такою неудачею, князь воротился к своему ложу и поник головой: казалось, в этой стене не могло быть двери, а следовательно, приходилось оставить мысль о побеге, так как бежать через ту дверь, около которой стояли часовые, было безрассудно: побег все равно не удался бы и, может быть, только повлек бы усиленный надзор за полоненным урусом. Приходилось покориться необходимости и ждать, надеясь на милость Божию.

С такими мыслями лег князь на диван, оборотясь лицом к той стене, которая так привлекала все его внимание.

Понемногу мысли Андрея Михайловича стали путаться, и он впал в дремоту. Кругом царствовала глубокая тишина. Князь уже готов был отдаться сну,— этому волшебному целителю всяких страданий,— когда внезапно был пробужден от своей дремоты чуть слышным звуком, происходившим словно от отпираемого ключом затвора. Звук был очень слаб, но при полной тишине, царившей в доме, Андрей Михайлович ясно расслышал его: он исходил от той стены, которую князь только что рассматривал.

Удивленный Андрей Михайлович продолжал лежать неподвижно и чутко прислушивался. Ему пришлось ждать недолго: звук повторился и при этом гораздо явственнее, чем прежде. Князю стало казаться, что он не ошибся, что в стене

была дверь и теперь кто-то ее открывает. Как будто в подтверждение этого часть стены подалась, насколько позволял это видеть слабый отблеск месяца, бесшумно открылась искусно скрытая потайная дверь, и в комнату узника кто-то вошел. Кто? Этого Андрей Михайлович еще не мог различить. Он видел только невысокую, одетую в белое фигуру.

Таинственный посетитель или посетительница, войдя в комнату, остановился, словно отыскивая, где лежит князь. Затем, вероятно, заметив неподвижно лежащего Андрея Михайловича, пошел прямо к нему.

В это время таинственный гость вступил в освещенное луною пространство, и князь чуть не ахнул, узнав ханым.

Она была одета так же, как днем, но чадра была откинута, и можно было рассмотреть ее лицо. Перед князем стояла прелестная женщина. Правильные черты ее лица были бледны и при свете месяца казались бы мраморными, мертвенными, если бы их не оживлял слабый румянец, едва заметный, особенно под лучом луны, дающей всему зеленоватый оттенок. От бледного цвета лица еще глубже, еще темнее казались очи красавицы, обведенные гордыми, тонкими, словно нарисованными, бровями. Из-под откинутой чадры выбивались длинные, черные косы... Алые губы словно жда-

ли поцелуя. Что-то обворожительное, таинственное, привлекательное скрывалось в лице и во всей фигуре ханым.

Не удивительно, что князь, знакомый только с типом русских красавиц, высоких, полных, белых, как молоко, и румяных, как яблоко, был очарован красотою представшей пред ним женщины. Чем-то неземным, но и не небесным веяло от этого прелестного создания.

«Бес это али ангел?» — мелькнуло в голове Андрея Михайловича.

Между тем молодая женщина тихо приблизилась к ложу князя и села у него в изголовье. Потом она склонилась к лицу лежавшего, посмотрела ему прямо в глаза — и любовью и жгучею страстью повеяло на князя от этого взора. Ханым подняла свою маленькую белую ручку и тихо-тихо стала ею разглаживать темные, мягкие кудри Андрея Михайловича, по-прежнему не отводя своих очей от него.

И чувствовал князь, что жжет ему сердце этот взор, и смутно становится на душе у него, словно он нарушает что-то, будто он не должен смотреть на ханым. А между тем, с другой стороны, он замечает, как все тише и тише становится боль в голове от удара, полученного в битве; все больше и

больше замирает она, и кажется князю, что его исцеляет та маленькая ручка, которая перебирает теперь его кудри. Понемногу смолкает его душевная смута и тревога, уходит она вместе с болью и сменяется тихим спокойствием. Кажется Андрею Михайловичу, что перед ним сидит уже не ханым — чуждая ему женщина, «басурманка», как он еще утром называл ее,— а или посланный ему Богом ангел-целитель, или родное, любящее его, существо.

Еще ближе склоняется к нему ханым... Жаркий поцелуй почувствовал князь на своем лбу, и вслед затем молодая женщина встала и быстрыми шагами вышла из комнаты. Чуть слышно щелкнул замок, и все стало тихо.

Князь долго не мог прийти в себя. Сон это был, или, действительно, все это свершилось наяву! И Андрей Михайлович вспоминал все мелкие подробности происшедшего. Невольно он сравнивал прелестный образ ханым с оставленной в Москве своей милой, и... и сравнение было не в пользу последней! Та ведь тоже была красавицей, но как не хороши казались князю ее золотистые косы рядом с темными как смоль волосами татарки; как груба и тяжела была ее фигура рядом с легким обликом молодой ханым!

«А есть ли у этой басурманки такое сердце в груди, как у моей милой? Могут ли черные очи ее быть такими кроткими, как у моей любы? Конечно, нет! Никогда поганой басурманке не сравняться с моей зазнобушкой! Краше ее есть разве кто на свете? Эх! Кабы вырваться мне отсюда, да на Москву поскорей! Вот будет времечко золотое! Повенчаемся мы с моей милой и будем всегда с нею неразлучно... Ни на какие бои, ни на какие битвы тогда не поеду, хоть бы все татары на Москву пошли! Ну их, гололобых! Надо мне и с любой моей побыть! А там детки пойдут... Маленькие такие будут карапузы золотоволосые бегать... «Тятя!» будут кричать: «тятя, пойдем гулять!» И возьму я их за ручки за маленькие; и пойду гулять куда-нибудь на поле за Москву... Солнышко светит... Детки прыгают, кричат да игры заводят. А мне любо на них смотреть, и на душе так спокойно, спокойно!

«Эхма! То-то время будет! Только б вырваться мне отсюда!» Такие мысли бродили в голове у князя, и он отдался им. А свет месяца между тем бледнел все больше и больше. На краю неба явилась узкая золотая полоска...

Наступал день — второй день неволи князя Андрея Михайловича.

XII

ЛЮБОВЬ

Прекрасна была молодая ханым, дочь славного мурзы Саида. Много знатных татарских витязей знали об ее красоте и добивались ее руки. Но серебристым смехом отвечала ханым на их страстные признания. Сердце ее молчало, и она не хотела расставаться со своею девичьей свободой, а старик отец ее не неволил: богат был мурза Саид, много конских табунов бродило у него по степям, много рабов трепетало при грозном окрике его голоса! Ему незачем было торопиться отдать свою дочь замуж, и она, довольная и счастливая, пользуясь редкой на Востоке для женщины свободой, пела и щебетала, как птичка.

Теперь грустна молодая ханым, прекрасная Зюлейка. Вот уже который день не слышно ее серебристого смеха, ее веселого пения. Грустно склонила она на грудь свою прелестную головку и думает тяжелую думушку. Диковинное что-то приключилось с нею с тех пор, как увидела она молодого пленного уруса! Как жалеет теперь Зюлейка, что пошла тогда посмотреть на него, словно на зверя заморского! Вот Аллах и наказал ее за любопытство: с той поры она не знает покоя! Болит ее сердце, тоскует... Скучно стало Зюлейке в родительском доме, и не идут ей на ум веселые песни! И ведь всего-то неделя прошла с тех пор, как она первый раз увидела его, а уже он ей словно родной стал, словно она знала его многие годы! Живо помнит она первую встречу с урусом. Когда она вошла в комнату, мулла сидел такой угрюмый на диване, поджав под себя ноги, и таким злобным взглядом смотрел на пленника, что у Зюлейки мороз по телу прошел, а он, урус, лежал бледный, истомленный такой, кудри над головой его сбились и темными прядями обрамляли лицо, в котором не было ни кровинки, только губы алели из-под усов молодецких... Жаль ей тогда стало уруса, и забыла она, что это лежит враг ее народа. Зюлейка недолго оставалась подле пленника: урусу, верно, было неприятно, что татарка так его разглядывает, она заметила это и ушла к себе. Вернулась она в свою светлицу, стала по-прежнему песни петь да нарядами заниматься, благо, рабынь покорных ей около нее было много, но не пелись веселые песни и не занимали ее красивые наряды: все носилось пред нею лицо молодого красавца уруса!

Спустилась на землю темная ночь... Думала Зюлейка, что сон заставит ее забыть все, но сон бежал от ее глаз. Напрасно читала молодая татарка священные стихи корана, которым в детстве выучил Зюлейку отец, напрасно она молилась, призывая великого пророка против тех чар, которыми околдовал ее урус — была бессильна и жаркая молитва, и священный стих корана!

Мечется Зюлейка на своем ложе, чуть забудется сном и снова проснется, тяжело дышит ее грудь, и жаркою волною кипит ее кровь... Греза сменяет грезу, мечта летит за мечтою, а она — нет! Хочется Зюлейке еще раз увидеть уруса! Борется она против своего желания: он — гяур, неверный, враг ее народа, ее отца, шепчет ей разум, такое желание греховно! А между тем в голове ее уже слагается план, как проникнуть в комнату уруса, минуя часовых... Ловит себя Зюлейка на этой мысли, смущается, а мысль продолжает работать, и план окончательно созревает у ней.

Движимая какою-то непонятною силой, Зюлейка поднимается с ложа и накидывает одежду... Рабыня спит в соседней комнате, она не услышит... Знает молодая ханым, что из ее спальни есть ход туда, где находится пленный урус: маленькая, потайная дверь... Она помнит, что ей было еще всего десять лет, когда эту дверь отворял в последний раз ее отец по какому-то случаю. И ключ недалеко... Она знает, куда положил его отец. Вот он — маленький такой, свободно умещающийся в руке. Теперь к двери!.. Найдет ли Зюлейка ее? Дверь искусно сокрыта! Но нет, Зюлейка помнит, где она находится! Вот и едва заметная скважина для ключа... Отворять дверь или нет? Идти или не идти? — мелькают вопросы в голове татарки. «Урус, верно, спит, я только погляжу на него! Что же тут дурного?» — утешает она себя и поворачивает ключ. Чуть слышный звук отворяемого замка кажется ей громким. Не услышала ли рабыня? Но нет, все тихо... Зюлейка поворачивает ключ еще раз, неслышно отворяется дверь, и она в комнате уруса! Сердце ее бьется, замирает, словно она совершает преступление... Да ведь это и есть преступление — прийти татарской женщине в комнату ночью к молодому урусу! Зюлейка делает шаг, другой от двери... Где же пленник? Остановилась она, вся облитая лунным светом. Вот он! И она пошла к нему. Он не спит и глядит прямо ей в очи, но она уже не смущается, не дрожит!.. Тихо гладит белою рукою его темные кудри и смотрит ему прямо в очи... А время летит! Пора к себе: рабыня может

проснуться и войти в ее спальню... Пора! Жалко ей покидать уруса! Она склоняется еще ниже над пленником и жарко целует прямо в его высокий белый лоб, потом быстро уходит. «Я завтра приду опять!» — думает она.

Весь день она была грустна, и только успело спрятаться солнце, она уж снова в комнате уруса. И снова глядит ему в очи, снова гладит его шелковистые кудри. Пришло утро — Зюлейка к себе и снова ждет не дождется немого свидания!..

Так прошла неделя, вот уж она седьмой раз отправляется к пленнику.

А Андрей Михайлович успел за это время совершенно оправиться... Скучно ему в неволе! Сегодня еще грустнее, потому что мулла, каждый день навещавший его, объявил ему сегодня, что пора ему окончательно поправляться, так как скоро его увезут отсюда к самому хану. И кажется князю, что никогда ему не вырваться из татарской неволи, так и век свой в ней скончать! Что же делать ему? Руки на себя наложить, что ли? Грех великий, а терпеть нет сил!

Грустно князю, и просятся на глаза его слезы; гонит он их: чего плакать? Разве выплачешь тоску лютую? И душу-то ему не с кем отвести! Мулла придет — с тем разве станешь говорить по душе? Мулла-то, кажись, его самый ярый враг и есть! С ханым молодой, что каждую ночь навещает? Так та по-русски не понимает, а по-татарски нельзя, так как князь не хочет, чтобы татары узнали, что он понимает их язык. А все-таки Андрею Михайловичу было бы много тяжелее, если бы ханым его не проведывала! Хоть и не говорят они друг с другом, а все-таки чует князь, что молодая ханым не враг ему, и легче у него на сердце становится! «Аль заговорить сегодня с нею по-ихнему? Как-никак, все же живой человек, хоть душу отведу! Э! Была не была! Заговорю с нею сегодня, коли придет! — думает князь.— Да что ж это ее еще нет? Кажись, ведь ночь, вон темень какая, и месяца сегодня нет! Может, не придет?»

Но как раз в это время послышался уже знакомый Андрею Михайловичу шорох, и в комнате его появилась Зюлейка. В руке ее был небольшой фонарь: она принесла его, видя, что ночь безлунна и в комнате полоненного, должно быть, темно. Для того, чтобы до часовых не дошел свет сквозь щель в двери, одна сторона фонаря была плотно закрыта куском какой-то толстой, непроницаемой для света ткани. Поставив фонарь на ковер, покрывавший пол, молодая татарка, по обыкновению, опустилась на изголовье того

дивана, на котором лежал князь. Но Андрею Михайловичу сегодня не хотелось лежать. Он встал и прошелся по комнате.

«Заговорить с нею или нет? — думал он.— А вдруг да она подослана теми басурманами за мной подсматривать?» — и князь пристально посмотрел на татарку, но та глядела на него таким чистым любящим взглядом, что все опасения Андрея Михайловича рассеялись, как дым.

Кроме того, ему так хотелось с кем-нибудь обменяться живым словом, что он не выдержал и заговорил.

— Тебя как зовут? — спросил он ханым по-татарски.

Та была вне себя от изумления.

— Как! Ты говоришь по-нашему! — вскричала она радостно.

— Да, говорю...

— И до сих пор молчал! — укоризненно заметила татарка.

— Зачем же мне было выдавать себя? — отвечал князь.— Но как же тебя зовут?

— Зюлейка... А тебя?

— Андрей.

— Андрей! — повторила она, и в устах татарки как-то странно прозвучало это христианское имя.

— Кто же ты будешь? Жена или дочь хозяина? — продолжал он расспрашивать татарку, невольно любуясь ее красотой.

— Я дочь мурзы Саида.

— Дочь? И в кого ты такой красоткой уродилась? Татары все такие узкоглазые, скуластые, а ты вон какая писаная красавица! — произнес Андрей Михайлович.,

— Моя мать была из Греции... Я на нее похожа,— ответила Зюлейка, польщенная похвалой уруса.

— Что, отец твой возвратился от хана?

— Нет еще. Прислал только весточку с посланцем, что завтра вернется.

— Завтра! Стало быть, и меня завтра увезут отсюда!

— Как увезут, да еще завтра! — с испугом воскликнула Зюлейка.

— Мне ваш мулла говорил, что меня скоро увезут отсюда. Ну вот отец твой вернется, меня, верно, и отправят к хану. Тогда прости-прощай мать-земля родная! Не видать мне ее больше! — грустно проговорил князь.

Зюлейка была поражена этой вестью.

— Ах, Аллах, Аллах! — прошептала она, заломив в отчаянии руки.

— Чего ты? — удивился князь ее отчаянию.— Тебе-то разве не все равно?

— Что ты смеешься надо мной, урус? Иль ты не видел, как горят мои очи, когда я гляжу на тебя? Иль ты не замечал, как дрожит моя рука, когда я кладу ее к тебе на голову? Да, ведь ты же заполонил мое девичье сердце! А ты спрашиваешь, чего я горюю! — страстно проговорила татарка.

Андрей Михайлович с удивлением слушал эту пылкую речь татарки и не знал, что ей ответить.

— Андрей! — тихо сказала ханым, подходя к князю: — Андрей! Ты видишь, я забыла девичью стыдливость, открыла тебе свое сердце... Открой же и ты свое! Скажи, ты совсем не любишь меня?

— За что мне не любить тебя? Ты мне зла не сделала! — уклончиво ответил Андрей Михайлович.

— Ах, не о такой любви я говорю! — с досадой перебила его Зюлейка.— Я спрашиваю тебя, ждешь ли ты с нетерпением, как я, свиданья со мной? Думаешь ли ты обо мне постоянно и днем ясным, и ночкою темной? Вот о чем я тебя спрашиваю!

— Нет! — качнул головою Андрей Михайлович.— Не буду тебя обманывать! Нет! Этого, о чем ты спрашиваешь, я не чую в себе!

Грустно поникла головой Зюлейка.

— Что ж так? — молвила она наконец.— Дурна я али противна тебе?

— Нет, ты мне не противна, а только...

— А! — вскричала Зюлейка.— Теперь я догадалась! У тебя, верно, на Москве зазнобушка покинута!

— Да! Оставил я мою любу желанную, мою лебедь белую! И не видать мне больше ее вовеки: умру я здесь, в неволе вашей татарской! Прости-прощай и земля родная, и моя зазнобушка! — грустно проговорил князь и поник головой.

Воцарилось молчание. Каждый был занят своими думами, и у обоих грустны были эти думушки.

Когда князь сказал Зюлейке, что на Москве оставлена у него зазнобушка, змейкой пробежала ревность по сердцу красавицы-татарки: она сразу возненавидела свою неизвестную и более счастливую соперницу.

«А! — думала Зюлейка,— если бы не ты, так он полюбил бы меня! Пусть же он не достанется ни тебе и ни мне!»

Однако скоро мысли ее приняли иное направление.

«Оставить его в неволе, чтобы его сделали рабом?.. Да ведь он убьет себя! Он не достанется ей... Ну, а мне какая польза? Не лучше ли не губить его, и... и все может быть! Все в руках Аллаха! Быть может, он ко мне вернется! Кто знает, верна ли ему его милая? Дать ему возможность бежать? А отец? Если он узнает, что это сделала я, то что тогда? Э! Узнает ли? Ему и в голову не придет подозревать меня! Как быть с часовыми! Их можно миновать, я проведу уруса с другого хода! Когда же устроить побег? Надо сегодня! Завтра может быть поздно!»

Придя к такому решению, Зюлейка обратилась к князю со словами, заставившими его поднять грустно опущенную голову:

— Андрей, ты увидишь свою милую!

— Бог знает! Вряд ли! — ответил Андрей Михайлович.

— Нет, наверно: ты сегодня уйдешь из полону!

— Может ли быть? — радостно и вместе с сомнением вскричал князь, думая, что татарка смеется над ним.

— Сейчас увидишь! Иди за мной!

Сказав это, Зюлейка взяла фонарь и пошла к потайной двери. Князь последовал за ней. Они прошли в комнату татарки.

— Возьми вот этот кинжал,— указала Зюлейка на один из висевших на стене кинжалов.— Он невелик, но из хорошей стали, и на нем вырезан священный стих корана... Да сохранит он тебя в минуту опасности! Теперь тихо следуй за мной!

Тихо подойдя к двери, ведущей в соседнюю с спальней комнату, татарка посмотрела, спит ли рабыня. Та спала крепким сном трудящегося человека. Зюлейка прошла мимо нее. Князь шел за ней. Дальше были уже нежилые комнаты, так как прислуга спала в другой части дома, весь дом занимал только Саид со своей дочерью, гарем его находился в другом здании и был отделен садом. Теперь можно было идти с большей безопасностью. Зюлейка и князь скоро достигли выхода в сад.

— Иди, Андрей! Путь твой свободен! Ты пройдешь сад, перелезешь через изгородь, а потом... потом да наставит тебя Аллах, как попасть к своим. Иди, Андрей! Там ждет тебя твоя милая! Прощай, дорогой мой! Прощай, может быть, навеки! — говорила Зюлейка, бледная, трепещущая, со слезами на глазах.

— Прощай, Зюлейка! Спасибо тебе! — говорил счастливый и растроганный князь.— Бог наградит тебя за то, что ты сделала! А я на Москве моей милой поведаю, кому она обязана, что видит меня живым! И она будет молиться, чтобы Бог послал тебе счастья! Прощай! — и в первый раз князь поцеловал Зюлейку, в изнеможении опустившуюся на стоящий у входа диван.

Князь готовился выйти.

— Стой, Андрей! Стой! — окликнула его вне себя красавица.— Поцелуй меня еще раз!.. Последний раз! Помни, знай, милый,— продолжала она, обнимая Андрея Михайловича,— коли изменит там, на Руси твоей, твоя любушка, воротись ко мне! О, тогда я сумею разогнать твое горе горькое, усыпить своими ласками твою тоску лютую!

— Нет, Зюлейка! Не надейся напрасно: не изменит мне моя милая!

— Кто знает? Но дай только мне слово сделать это!

— Да что же и слово давать, коли этого не может быть.

— Полно! Все может быть! Разве она тебя так любит, как я? О, если б ты знал, как я люблю тебя! О, если б ты знал! — страстно говорила Зюлейка, привставая с дивана.

По плечам ее рассыпались черные косы и обвили белоснежную шею... Взор ее горел и тоскою, и нежностью, и беззаветною любовью... Прелестна она была в этот миг! Дрогнул молодой князь... Взор его сверкнул... Как у девицы, щеки вспыхнули... Словно движимый какою-то чуждой силой, сделал он шаг к Зюлейке. А уж навстречу ему протянулись пухлые, белые руки и обняли его широкую грудь, и уста, как кровь, красные, обратились к нему для поцелуя. И не смог бы Андрей Михайлович одолеть себя, если б в этот миг руки Зюлейки не прижали к его груди той ладанки, которую он получил при прощании от Марьи Васильевны. Князь опомнился. Холодно поцеловал он красавицу и вырвался из ее объятий.

— Прощай! Пора! — сказал он.— Скоро светать начнет!

— Иди! Только слово дай мне, о котором просила!

— Да ведь напрасно же! — усмехнулся князь.

— Все равно! Обещай, что если тебя ждет измена в Москве, ты вернешься ко мне! Обещай!

— Ну хорошо! Обещаю!

— Поклянись вашим пророком!

— Изволь! Клянусь Иисусом Христом,— торжественно произнес он,— что, если изменит мне моя милая, — вернусь к тебе!

— Теперь иди, дорогой!
— Прощай!
— Прощай! Я буду ждать тебя!
— Напрасно!
— Э! Сердце девичье воск!
— Увидим! Прощай! — проговорил князь, и его фигура скрылась от Зюлейки в темноте сада.

XIII

ОБРАТНЫЙ ПУТЬ

«Спасибо этой Зюлейке,— думал князь, расставшись с татаркой,— хоть и басурманка, а какая добрая. Не видать бы мне без нее воли, как ушей своих! Да, и между басурманами, как и между нашим братом, есть всякие! Спасибо ей! Дай ей Бог счастья! А только про мою зазнобушку — это она врет! «Сердце»,— говорит,— «девичье — воск»... Знаем и сами, да у какой девицы! У Марьи Васильевны моей не воск оно, нет, не воск! Чтобы она мне изменила... Да никак этого быть не может! Нечего зря об этом и думать... А, не дай Бог, вышло бы так, тогда... тогда, кажись, и солнышко для меня померкнет, и жизни я не рад буду! Лучше б тогда мне и из неволи татарской не выходить... Такое будет, что и помыслить страшно! Только этого быть не может, что пустое думать! Как и мысли-то такие в голову идут? Вот лучше надо о том мозгами пошевелить, куда мне идти? Где изгородь будет? Э, пойду напрямик, авось, куда-нибудь выйду!»

Расчет Андрея Михайловича оказался верным.

Идя по прямому направлению, он скоро подошел к изгороди, сложенной из средней толщины кольев, заостренных вверху.

«Ну,— подумал князь,— через такую изгородь не скоро переберешься!»

Действительно, изгородь представляла из себя серьезное препятствие: колья были так плотно прибиты друг к другу, что образовывали плотную крепкую стену. Не было ни малейшей скважины, за которую можно было бы ухватиться рукой или опереться ногою. За таким забором можно было выдержать продолжительную осаду, при плохих полевых

орудиях того времени. По всей вероятности, изгородь была предназначена для двойной цели: служить, во-первых, оградой сада, в котором, кроме дома мурзы Саида, находилось и жилище гарема, всегда тщательно скрываемого от любопытного глаза, а, во-вторых, также и защитой от внезапного вражеского нападения. Князю предстояло решить нелегкую задачу, как перебраться через стену. Андрей Михайлович был силен, но все-таки не мог и пытаться вывернуть из земли хоть один из кольев. Оставалось искать другого средства.

«Только б до верха добраться, а там уж как-нибудь перевалился бы на другую сторону»,— сообразил князь.

Надо было отыскать что-нибудь такое, что могло бы заменить лестницу. Ночь была темна: Андрей Михайлович едва различал предметы в двух шагах от себя. Приходилось искать чуть не ощупью. Долго поиски князя были напрасны. Он уже стал опасаться, как бы этот сад не сделался для него ловушкой, когда случайно под руками нащупал толстую жердь и потянул ее к себе. Жердь была длинна и тяжела. Это было как раз то, что искал он. С большим усилием он приподнял ее, перетащил к забору и приставил к нему, лестница была готова. Князь быстро взобрался по ней не верхушку стены, перелез на другую сторону изгороди и, ухватившись за колья, повис на руках.

«Что там внизу? — думал Андрей Михайлович.— Нет ли там рва?»

Он старался разглядеть, что находится внизу, но сквозь тьму ничего нельзя было рассмотреть.

«Раздумывай, не раздумывай, а прыгать надо!» — решил он и прыгнул. Нога его скользнула по мягкой грязи. Он не удержал равновесия, поскользнулся и упал в наполненный водою ров.

К счастью князя, во рву воды было немного, и он скоро выбрался из него, но был весь покрыт грязью, и вся одежда его промокла насквозь. Положение Андрея Михайловича было незавидно. Один, почти безоружный, среди многочисленных врагов, он, к довершению всего, не знал даже и направления, в каком ему нужно искать русский стан. Положим, что он знал из слов муллы, сказанных Зюлейке, что русские находятся в том месте ханства, которое обращено к той стороне неба, где солнце заходит, однако это было очень гадательно. Впрочем, князь решил держаться именно этого направления. Он хорошо знал, где находится запад: во время его бездействия в татарском плену ему приходилось не раз

наблюдать и восход и закат солнца. Немного обсохнув от действия свежего ветра, он пошел по предположенному направлению. Ему пришлось идти по деревне. Ноги князя утопали в невылазной грязи, приходилось продвигаться вперед очень медленно. К этому еще присоединилось опасение, как бы рассвет не застал его слишком близко от жилища мурзы Саида: тогда его ждала опять татарская неволя.

«Дело дрянь! — подумал Андрей Михайлович,— как и быть, ума не приложу! Эх, кабы коня промыслить!»

Как раз в это время где-то вблизи заржала лошадь.

«Али украсть? Ведь не у русского, а у татарина, у ворога, да, к тому же, неволя заставляет... Попробовать разве?» — размышлял князь, прислушиваясь, откуда к нему доносится ржанье.

Оно более не повторялось, лишь изредка слышалось негромкое фырканье. Андрей Михайлович направился к тому месту, откуда оно доносилось, и пришел к воротам. Они, против ожидания, были не заперты. Неслышно приотворив их, князь пробрался на двор.

«Вот те и на! Теперь я и в конокрада обратился! Чего только не придется испробовать в жизни!» — пришло в голову Андрею Михайловичу.

Фырканье и стук копыт доносились теперь явственнее. Князь не задумываясь направился прямо на эти звуки. В это время послышалось глухое рычание, и Андрей Михайлович едва не был сбит с ног налетевшим на него огромным, судя по его силе, дворовым псом, почуявшим чужого человека. Собака прыгнула прямо на грудь князя, очевидно, намереваясь схватить его за горло. Но Андрей Михайлович успел увернуться от опасных зубов разъяренного животного и, схватив его за шиворот, всадил подаренный Зюлейкою кинжал прямо в грудь, несколько ниже блестящих в темноте глаз собаки. Взвизгнув, пес свалился в конвульсиях, а Андрей Михайлович, вытерев окровавленный кинжал о его шерсть, поспешил к намеченной цели. Он ожидал найти конюшню, но встретил только невысокую изгородь, за которой смутно различил два крупа привязанных там лошадей.

«А, их две! Тем лучше: не так грешно будет украсть одну из них!» — подумал князь и, поспешно отвязав ближайшую к нему лошадь, вывел ее за ворота.

На ней, конечно, не было ни седла, ни уздечки, был только короткий недоуздок, но князь об этом не особенно забо-

тился: он рад был тому, что добыл лошадь, и поспешно вскочил на нее. Она была смирна, и это было тоже немалым достоинством ее, если принять во внимание то, что Андрею Михайловичу приходилось ехать на ней без седла и без уздечки. Она легко повиновалась седоку, который направлял ее в ту или другую сторону легкими ударами по правой или левой стороне ее головы. Ход коня был недурен, и скоро князь миновал деревню. Он ехал, как и предполагал, к западу и заботился только о том, как бы возможно больше усилить ход лошади. Конь несся полным карьером, изредка спотыкаясь на встречных неровностях пути, и все дальше и дальше уносил князя от места пленения. Но куда? К друзьям или к врагам?

XIV

В СТАНЕ

Еще чуть только брезжил свет, когда Петр-запорожец выполз из шалаша, устроенного для него казаками. Ему было душно в шалаше, и он выбрался на воздух, чтобы легкий ночной свежий ветерок немного освежил его. Как мало был похож этот хилый, бледный и исхудалый казак на того бравого запорожца, которого мы видели беседовавшим в Москве с Андреем Михайловичем! Петр до сих пор еще не мог оправиться от последствий той битвы, в которой был взят в плен князь. Глубокая рана его затянулась, но прежнее здоровье не возвращалось: он чах и худел с каждым днем все больше и больше. Казаки только руками разводили от удивления, отчего это он не оправляется. Напрасно казацкие старцы, видевшие и лечившие всякие раны, старались помочь ему своими советами: они сделали свое дело — рана начала закрываться, но казак хирел. Какая-то непонятная хворь привязалась к нему, и Петр чувствовал, как с каждым днем все больше и больше силы покидали его: он с трудом мог шевелить руками, а при ходьбе, как говорится, качался от ветра. Думалось казаку, что не справиться ему со своей хворью, что сведет она его в могилу. Впрочем, он не особенно мучился этим: казак привык быть всегда готовым к смерти, и не все ли равно было умереть от руки татарина, ляха или

другого врага или от болезни? К тому же, ему некого было покидать в мире: он был одинок, особенно с тех пор, как без вести пропал князь Андрей Михайлович. Тоска о пропавшем друге более тяготила Петра, чем мысль о скором конце его печальной жизни.

«Что с ним? Убит ли князь или взят в полон?» — вот о чем он непрестанно думал.

Петр видел, как князь зарубил насмерть Шигаева и как после этого упал с коня от удара какого-то дюжего татарина, но был ли он убит или только ошеломлен — этого казак не знал. Быть может, татары подняли на поле битвы полуживого Андрея Михайловича и взяли в свою тяжелую неволю. Сколько раз он собирался с отрядом товарищей отправиться разыскивать князя, но болезнь мешала ему, а товарищи, бывшие вместе с ним в той битве, говорили, что не может быть сомнения в смерти князя. Понемногу сам Петр привык к той мысли, что Андрей Михайлович умер. Погоревал он и — что греха таить! — смахнул не одну слезу, хоть это стыд для казака, и наконец покорился судьбе. Однако мысль о князе и об его безвременном конце не покидала Петра, и он часто ему снился во время тяжелого, больного сна. И в эту ночь мерещилось казаку, будто князь, бледный и исхудалый, лежит в какой-то татарской хате, а вокруг него толпятся татары, помахивают ножами над его головой, хохочут и злобно сверкают глазами. Очнувшись от кошмара, Петр выбрался на воздух. Теперь он сидел, распахнув кафтан на груди и подставив ее ветру. Свежий ветер обдувал больного, приятный холодок охватил его, и больной чувствовал себя легче. Кругом раздавался громкий храп спящих казаков, лежавших где и как попало. Кто из них подложил под голову седло и, повернувшись лицом к нему, спал с таким безмятежным видом, словно лежал не на матушке сырой земле и с твердым седлом под головой, а на мягкой пуховой боярской постели; кто довольствовался тем, что выбрал бугор получше и, прижавшись к нему буйной головушкой, сладко посвистывал да похрапывал; кто поступил еще проще: лег где пришлось и, подложив под щеку ладонь, заснул крепким сном. Бледный свет начинавшегося рассвета освещал их здоровые, загорелые лица.

Петр смотрел на них с некоторой завистью.

«Эх! — думал он,— давно ль и я был таким! Кажись, и сила была, и удаль, а вот теперь на! Ох, судьба, судьба! Большая она злодейка! Вон и Андрей Михайлович тоже... Думал

ли кто, что его татарин дубиной ошарашит, и он Богу душу отдаст! И ведь какой веселый был, как в путь отправлялся! Прибегает это ко мне: «Хочешь, говорит так весело, со мной ехать?» — «Еще бы,— говорю я ему,— мне ль не хотеть!» И довольны мы оба с ним тогда были страсть! Не думали, что так приключится... Кабы знать! А все это Шигаев проклятый наделал, чтоб ему на том свете в самое пекло что ни на есть жаркое попасть! А надо мне,— приняли мысли Петра иное направление,— если Бог позволит, до Руси доехать, беспременно попу панихиду по рабу Андрею заказать, потому беспокоится, знать, его душенька, что все он мне мерещится... Умер ведь без исповеди и святого Причастия... Да умер ли? Может, и жив! Ох, это для него, болезного, еще горше было бы, потому: татарская неволя тяжелее смерти! Тут уж сразу конец, а там, поди-ка, мучайся еще лет двадцать аль тридцать! Не дай Бог!.."

Багровая полоска на востоке привлекла внимание Петра.

«Вот уж и свет Божий на дворе,— оторвался от своих мыслей больной казак,— а я опять которую ночь кряду так проваландался, чуть сном забылся! Привязалась ко мне эта хворость! Знать, татарин верно угодил вилой, даром, что ни кости никакой не попортил, ни иного чего, а все равно на тот свет отправляться, видно, придется!» — грустно думал Петр, задумчиво глядя на все больше и больше светлеющий восток.

Внезапно он различил вдали какую-то быстро движущуюся к стану казаков точку, ясно вырисовавшуюся на бледном фоне горизонта. Петра заинтересовало, кто бы или что бы это могло быть. Он напряг зрение. Точка заметно приближалась и увеличивалась в объеме. Обладая превосходным зрением, которое вовсе не пострадало от болезни, Петр вскоре мог ясно рассмотреть, что это была лошадь и всадник.

«Кому бы это быть?» — недоумевал он, продолжая всматриваться.

Лошадь, по-видимому, была сильно изнурена. Она была вся в мыле, и всадник беспрерывно погонял ее. Что-то знакомое показалось запорожцу в фигуре и посадке этого всадника.

Вдруг громкий крик вырвался из груди Петра.

— С нами крестная сила! Да неужто это Андрей Михайлыч? Али уж мне наяву мерещится? — проговорил он, пораженный, и даже зажмурился, желая убедиться, что он не спит.

Но вскоре громкий окрик сторожевого казака:

— Кто идет? — на которое знакомый голос радостно отвечал: — свой! — убедили Петра, что он не ошибается, и больной, забыв свою слабость, кинулся, насколько позволили силы, навстречу князю.

— Андрей Михайлыч! Желанный! Тебя ли вижу! — бросился он, с радостными слезами на глазах, в объятия князя.

— Меня, меня! Привел Бог свидеться, а признаться, думал я, что пропасть мне навек! А ты, слава Богу, жив! Оправился, знать, от раны? — говорил дрожащим от радости голосом князь, в свою очередь обнимая запорожца.

— Жив, жив, да только еле ноги таскаю!.. Да что обо мне толковать! Поведай лучше, где ты был?

— В полону татарском сидел!

— В полону? А я уж думал по тебе панихиды петь, право слово!

— А что с тобой? — перебил его князь, теперь только заметивший худобу и бледность Петра.

— Говорю, еле ноги таскаю... Да поправлюсь, Бог даст!

— Ах ты, бедняга, бедняга! Недуг, знать, злой привязался! — сказал Андрей Михайлович, участливо глядя на своего друга.

— Да, хворь тяжкая... И как это тебе удалось вырваться? — продолжал Петр, очевидно, не желая говорить о своей болезни и более интересуясь князем, чем ею.

— Опосля расскажу, а теперь надо обсушиться малость да пообсохнуть.

— Э, брат! Да ты словно в грязи купался! — воскликнул Петр, теперь только заметивший, в каком виде был князь.— Пойдем ко мне в шалаш: там обогреешься, да я тебе дам сухой кафтан.

— Куда бы мне коня привязать?

— Да пусти так, далеко не уйдет: измучен больно... А и уйдет, то не беда: у нас коней много. Откуда ты себе коня-то добыл? — расспрашивал Петр, направляясь с князем к шалашу.

— Украл у одного бритоголового! Во двор к нему залез!

— Украл у татарина! Ай да молодец! Ай да молодец!

Однако князю так и не удалось переодеться. Разбуженные окриком часового и шумом голосов говоривших, один за другим поднимались казаки.

— Что такое? А? Татары, что ль? — с недоумением спрашивали они, протирая глаза.

Скоро, однако, все узнали, в чем дело. Вокруг него собралась целая толпа казаков и стрельцов. Бахметова со всех сторон осыпали вопросами, что с ним было и где он пропадал, как ему удалось вырваться из татарского плена. Весть все больше распространялась по стану, и толпа все увеличивалась. Скоро Адашеву стало ведомо, что Андрей Михайлович возвратился здрав и невредим, и он позвал его в свою палатку.

— Не чаял, не чаял увидеть тебя, княже! — приветливо промолвил Адашев, обнимая князя.— Тут мне такое насказали, что и в живых, думалось, тебя нету! Садись, устал, чай, с дороги, да поведай, где ты был да как вернулся оттоль!

— Сказ не долог! — ответил Андрей Михайлович, улыбаясь и садясь на указанное Адашевым место.— Был я в полону татарском и думал, что не вырваться никогда оттуда!.. Меня, вишь, чуть к хану самому не увезли! Но, однако, привел меня Бог улепетнуть от бритоголовых и своих найти, слава Господу!

— Так!.. А у кого же ты был в полону?

— У мурзы Саида... Важный советник ханский.

— А далеко отсюда он живет?

— Нет, недалеко... Я в одну ночь доехал, да еще плутал.

— Войско есть у него, небось?

— Были даны ему ханом ратные люди, да все разбежались... Теперь у него никого нет, и наших побили тогда смерды татарские, а не воины: чуть не целой деревней на нас навалили в ту пору.

— Да, слыхивал я об этом! Рассказывали те, что вернулись... Это все Шигаев наделал, чтоб ему ни дна ни покрышки!

— Да! У него все раньше было уж подстроено... Хитер был!

— Как же тебе удалось бежать?

— Да, признаться,— произнес князь, вспыхивая,— меня дочь того мурзы Саида выпустила.

— Дочь его? Вот те на! Ай да татарка! Молодец! Что ж ты, верно, приглянулся ей?

— А не знаю!.. Может быть! — уклончиво отвечал князь, смущаясь.

— Дорогу ты к улусу, где был, хорошо запомнил?

— Нет... Ночь темна была, я больше на авось ехал,— ответил Андрей Михайлович, понимая, к чему клонится дело.

— А надо бы нам тот улус разорить! Сумеешь к нему путь указать?

— Нет, не могу! Не берусь! — решительно сказал князь, не желавший этого, потому что при разгроме улуса могла пострадать и Зюлейка, подарившая ему свободу.

— Э, брат! — хитро подмигнув одним глазом, улыбаясь, сказал Данило.— Знать-то ты знаешь, да не хочешь платить за добро злом той девице красной, что на волю тебя выпустила? Так, что ли? Угадал я?

— Пожалуй, что и так,— ответил ему князь.

— Ну, не хочешь этого, так и не надо. Пусть твоя татарка цела и невредима остается. Хоть хорошо бы разорить это гнездо, да Бог с ним! Поведай лучше, зачем тебя к хану везти хотели?

— Да смешно и сказать! Приняли они меня за тебя!

— Ха-ха-ха! — рассмеялся Данило.— Вот как! Им, должно быть, Шигаев тогда напел, что меня приведет, да обжегся немного!

— Может, что и так! А только меня хотели хану показать, как урусов атамана набольшего!..

— Ну, брат, виже, счастлив твой Бог! Увезли бы они тебя — не видать бы больше тебе нас! Не вырваться бы от их неволи! Ну, а как тяжко тебе в полону было?

— Скучно больно!.. А так — не жалуюсь: кормили, поили хорошо и лечили даже... Я ведь зашиблен был в битве.

— Слышал! А кто лечил тебя?

— Мулла ихний — старик. Ну, и ничего, спасибо ему, поднял на ноги.

— Да так поднял, что ты вон, жив и здрав к нам вернулся! Молодец ты, сокол мой ясный! Право, молодец! — Э, да как мы заболтались! Вон уж и солнышко встало! Чай, тебе с дороги отдохнуть хочется? Так, поди, я не держу тебя,— и Данило дружески простился с князем.

От Данилы Андрей Михайлович прошел прямо в шалаш Петра. Когда он вошел туда, то увидел, что больной лежит на куче каких-то тряпок. Лицо его было еще бледнее, чем прежде. Он дышал тяжело и прерывисто. Видно, пережитое волнение отразилось на его здоровье.

— Что с тобой, брат? Недужится очень? — осведомился участливо Андрей Михайлович.

— Да, плохо что-то! Совсем разломало,— слабым голосом ответил казак.— Уж я, признаться, и поправки не жду... До родины бы только живым добраться, да там кости свои сложить, а не здесь, на чужбине!

— Э, полно! — пытался утешить его князь.— Бог даст, поправишься!

— Давай Бог! — с сомнением произнес Петр.

Князь между тем, разостлав кафтан, растянулся на нем, насколько позволяли размеры шалаша, и заснул более крепко, чем на мягком диване мурзы Саида.

А над спящим сидел, склонясь головою, Петр, смотрел на него, и довольная улыбка играла на бледном и исхудалом лице больного казака.

XV

СМЕРТЬ

Дальше потекли для князя прежние дни с их буйными, опустошительными набегами на татарские улусы, стычками со случайно встреченными отрядами ханских ратных людей, слушанием рассказов спасенных татарских полонянников о их житье-бытье, при трепетном свете костров, освещавших суровые казацкие лица.

Время летело незаметно.

Скоро весь западный берег Тавриды был опустошен, и Данило Адашев стал подумывать о возврате на Русь: он не войну вел, а делал лишь набег.

Наконец настал день, когда весла казацких стругов снова вспенили морские волны.

С веселыми песнями тронулись воины в обратный путь. А в стругах на этот раз народу сидело куда больше, чем прежде. То были полонянники, вырученные из тяжкой неволи, и мурзы татарские, и паши турецкие пленные. И добра с собой везли ратные люди немало. Чего-чего только здесь не было! И широкие золотые запястья, усыпанные алмазами, украшение какой-нибудь татарки, еще недавно забавлявшейся ими в тиши гарема, под зорким оком бесстрастных евнухов; и седла, снятые с резвых татарских скакунов; и неоценимые, продающиеся чуть ли не на вес золота, клинки чистой дамасской стали, и много-много еще всякого иного добра!

Веселы были пловцы. Повеселел и Петр. «Сподобит еще меня Господь увидать землю родимую!» — думал он, кре-

стясь. И Андрея Михайловича не покидала радостная мысль об уже недалеком свидании с милой.

У первой пристани немного было замешкались, так как Данило не захотел держать в неволе взятых в плен ни в чем неповинных «тюрских людей! и отправил их к пашам.

— Царь-де на злодея своего, хана крымского, гневом опалился, а с султаном у него дружба крепкая, потому идите с миром восвояси.

И паши за это много благодарны были Даниле и одарили его знатно.

Долог казался путь плывущим, куда больше, чем к Крыму. Так бы, кажись, если б могли, поднялись они на воздух и понеслись легкими птицами на землю родимую. Но как ни медленно, казалось им, они подвигались, а наконец дождались: сверкнул перед ними синею лентою Днепр, и быстрее понеслись по родным волнам легкие казацкие струги, борясь с быстрым течением. Миновали пороги.

А хан Давлет-Гирей опомнился, да поздно. Уразумел он, что силы-то у Данилы Адашева не больно большие, погнался за ним, в ярости великой, берегом. Казаки же, несясь в легких ладьях по волнам днепровским, отстреливались от него да посмеивались над его запоздалою злобою.

— Коль хочет драться татарин — подеремся,— решил Адашев и велел пристать к Монастырскому острову, чтобы там дать утеху Девлет-Гирею, поговорить с ним по-дружески, при свисте пуль и шипении стрел.

Но драться не пришлось: чего нельзя было ждать, хан струсил и поворотил назад. Ратники же, выбравшись на остров, не знали этого и, в ожидании битвы, выкатив бочонки с горилкой,— откуда и взялись они, дивиться надо! — принялись пировать. Весь остаток дня и всю ночь раздавались клики пирующих, прерываемые песнью, звуком балалайки и топотом ног пляшущих.

Андрей Михайлович не принимал участия в казацкой попойке: грустный и задумчивый, сидел он напротив Петра в наскоро устроенном шатре из татарских ковров. Казаку было совсем плохо. Крепился раньше Петр, все ждал, когда вернется на родину, да только и хватило его сил доехать до родимой земли. Теперь он совершенно обессилел и лежал в забытьи, покрытый холодным потом.

— Испить бы! — тихо шептал он по временам.

Андрей Михайлович зачерпывал кружкой студеную воду из ведерка и подавал больному. Губы казака жадно втяги-

вали воду, он пил торопливо, большими глотками, и, напившись, снова откидывался на свое ложе и впадал в забытье.

«Что это он, бедный? Неужели умрет?! — думал князь, и сердце его тоскливо сжималось.

Больной открыл глаза.

— Прости, Андрей Михайлыч! Знать, конец мой приходит! — едва слышно прошептал он.

— Бог с тобою! Господь помилует! Оправишься еще! — утешал князь.

— Нет уж! Что говорить! Чуется мне, смерть близка! Да и оплакивать меня некому... Господь знает, что делает.

— А я-то! Неужели мне не жаль тебя? — дрогнувшим голосом промолвил князь.

— Знаю, жаль... Друзьями сыздетства были... Да, Бог даст, пройдет печаль... Приедешь в Москву, встретишь любу желанную и заживешь счастливо... И пошли тебе Господь счастья! — слабою рукою пожал больной руку князя.

— Спасибо, дорогой мой! — отвечал растроганный Андрей Михайлович.

— А обо мне не тоскуй: Господь знает, что делает! Так, знать, лучше для меня. Об одном только прошу тебя,— продолжал Петр, голос которого все больше слабел.

— Что такое? Изволь! Все сделаю.

— Приедешь в Москву, отслужи по мне панихиду... Потому, все же я человека по злобе убил... Кровь христианская на мне есть...

— Хорошо. Будь спокоен! Да, может, еще поправишься...

— Нет уж! Где! Плохо совсем! Душно мне! — лепетал Петр, начиная метаться на своем ложе и открывая грудь.— Душно! Ох! Пошли, Бог, смерть скорее!

Немного спустя ему стало будто немного легче. Петр лежал неподвижно, раскрыв глаза. Казалось, он опять забылся, а в груди его что-то заклокотало, словно чем налита она была.

— Прости, друже! — прохрипел он, открыв на минуту глаза и снова закрывая их.

Вдруг он вздрогнул всем телом, вытянулся и замер...

Все было кончено...

А вокруг шатра бушевала веселая, пьяная толпа казаков, не знавших, что только тонкая полоса ковра отделяет их от умершего товарища...

Слезы сверкали на глазах князя. Он еще не мог освоиться с мыслью, что Петра не стало. Щемила тоска его сердце, и грустные думы шли в голову. Неприветливо встретила его родина.

«Что-то будет?!» — думал он, и словно камень лежал у него на груди.

Его мучило предчувствие чего-то злого.

Ох, недаром тосковало его сердце: ждали князя беды великие!

Перелетим теперь вольной ласточкой в стольный град, в Москву белокаменную, и посмотрим, что там творилось и делось.

Часть вторая

I

ПОСЛЕ РАЗЛУКИ

Вернемся к тому моменту, как Марья Васильевна рассталась с Андреем Михайловичем.

Тяжко было боярышне! Слезы душили ее, сердце щемила тоска... Она словно навеки рассталась с милым. Словно похоронила его... Напрасно рассудок шептал ей, что пронесутся дни и он опять возвратится к ней, такой же ласковый, любящий, обоймет ее, свою голубку, поцелует крепко-крепко и уже больше никогда не расстанется с нею. Чуялось Марье Васильевне, что не бывать тому: что не целовать ей больше своего дружка милого, не прижимать к груди своей девичьей. Унеслось ее счастье, как в воду кануло, и не вернуть будет времечка золотого!

Плачет Марья Васильевна. Поднимает порою голову, обведет помутившимися от слез очами вокруг себя, словно ищет кого-то, и снова слезы польются.

«И ведь только что, только что он сидел здесь! Вон еще ветер следов его на снегу замести не успел; а словно уж невесть сколько времени протекло! — думает боярышня.— Давно ль он обнимал меня, желанный! Еще щеки не остыли от его поцелуев, а уж теперь его нет, и не воротить мне моего

друга милого. И может всякое с ним приключиться, а я здесь, одинокая, ведать ничего не буду... Полоснет его татарин злой саблей острою, и закроются очи соколиные, и сырой землей засыпятся уста его алые. И останусь я, горемычная, ждать его и лить слезы горькие... Ох, зашло, закатилось мое солнышко, нету мне теперь дня красного. Все болеть будет сердце мое девичье и нашептывать, вещун, думушку тяжкую, что никогда, никогда не увидеть мне дружка моего милого».

— Боярышня, а боярышня! — раздался в это время в саду голос старухи няньки.— Где ты?

— Я здесь, Авдотьюшка! Что тебе? — прерывающимся голосом откликнулась на ее зов Марья Васильевна, поспешно вытирая слезы.

— Подь сюда, родная! Матушка тебя кликнуть велела: ужинать пора!

— Что так рано? — удивилась боярышня.

— Какой же рано, дитятко! — произнесла старуха, подходя к ней.— Вишь вон и солнышко скоро спрячется! — продолжала она, щуря, прикрыв рукою, свои подслеповатые глаза на красный шар заходящего солнца.

— Сейчас приду!.. А только скажи матушке, что я ужинать не буду...

— Что ж так? Аль недужится? — спросила старуха, пристально глядя на лицо молодой девушки.

— Да... Голова что-то тяжелая,— промолвила боярышня, опуская глаза.

— Головка болит? — участливо проговорила нянька.— С чего бы это? То-то, я вижу, и глазки у тебя заплаканы, а мне-то, старой, и невдомек! А ты вот что, дитятко, сделай: поди да ляг, а я тебя липовым цветом напою, аль малинкой... Да закройся одеяльцем потеплее... К утру хворь как рукой снимет! Пойдем, родная!

— Пойдем, Авдотьюшка... Спать-то я лягу, а липового цвета не надо мне: так пройдет,— сказала боярышня, направляясь вместе со старухой к дому.

— Ну, как хочешь, дитятко, как хочешь! Так, думаешь, пройдет, так и ладно!

— Что, батюшка дома?

— Да, недавно пришел... Только гневный такой, ровно туча грозовая! Теперь и на глаза ему не попадайся! Беда! — говорила старуха, входя с боярышней в дом.

Марья Васильевна прошла прямо в свою спальную свет-

лицу. Обстановка комнаты была проста. У стены стояла широкая кровать дубового дерева, под кисейным пологом. Небольшой шкап, стол, покрытый скатертью, и пяльцы у окошка, выходящего в сад. В углу, перед иконой Божией Матери, теплилась лампада. Из сада, почти задевая окно, протягивались ветви старой, развесистой липы и тихо шуршали, ударяясь в стену дома, когда ветер покачивал вершину дерева. Все это давно было знакомо Марье Васильевне, и каким миром, каким спокойствием веяло на нее, когда она, бывало, летом в жаркий полдень или после заката солнца уйдет в свою светелку, сядет, если день, вышивать или, если уже темно, то без работы смотрит в окно на большой сад и прислушивается к шелесту листьев тихо покачиваемой липы и шуршанью ее ветвей. И кажется боярышне, что то ведет речь старое дерево на своем языке, рассказывает были и сказания стародавние, и слушает девушка, и летят мечты ее далеко-далеко, туда, в страны заморские, где живут, говорят, басурманы ученые такие, но поганые, потому что веры русской, православной, не признают. И мерещутся боярышне диковинные вещи, и любит она свою светелку и шелест листьев душистой липы, и кажется ей, что это дерево — друг ее и тоже любит свою подругу молодую, которую оно видело еще в колыбели или на руках няни. Тихо тогда, спокойно становится на душе боярышни, и не хочется ей думать, что, рано или поздно, должен прийти этому конец, и придется ей покинуть и свою светелку, и свое деревцо, и думы девичьи, распроститься с батюшкой и с матушкой родимыми, идти в чужой дом женою боярина какого-нибудь бородатого.

Такие грезы лепет листвы навевал на боярышню летом, а зимою дерево, качаемое северным ветром, тоскливо, жалобным скрипом, казалось, жаловалось девице на постигшую невзгодушку, или в тихий и ясный зимний вечер, чуть слышно ударяя сухими безлистыми ветвями о тесовый терем, словно тихо, дрожащим, с перерывами голосом, говорило о том, что невзгода минула и скоро опять, как в былое время, зашумит дерево зеленой листвой под лучами животворного весеннего солнца. Но сегодня не то! Сегодня смутно на душе боярышни, и не хочется ей мечтать у окошка, забыла она и про липу свою старую, развесистую.

Опустилась на колени перед образом Марья Васильевна, войдя в спальню, и сотворила жаркую молитву о своем дружке милом. Долго молилась она, а потом, поспешно скинув одежду, легла на постель и одеялом укрылась, думая

сном забыться, но не спалось ей. Душно ей, жарко, и подушка не так лежит, как всегда, и одеяло ее узорчатое, работа искусных сенных девушек, сползает, а пуще всего не дают ей спать думушки. Хочет она отогнать их, а они, как назло, так живой волной и набегают. И все-то думает она о своем дружке желанном! Вспоминается ей теперь, как она впервые его увидела. И ведь не ахти уж как давно это было, а словно она век уж с ним знакома! Прошло же времени год с половиной, или два года, не более, а сколько изменилось с тех пор! — думает боярышня. Было это, помнит она, когда рать русская шла из-под Астрахани. Настасья, девушка сенная, любимица ее, прибегает: — «Боярышня,— кличет,— А боярышня! Вои наши из Астраханского царства возвращаются! Пойдем, господыня желанная, на них смотреть!» — А Марья Васильевна в этот день только что полотенце для батюшки кончила вышивать и с пялец снимала. Новой работы начинать сегодня не приходилось, и захотелось ей на витязей русских поглядеть, которые, слышала она, Дербыша, князя ногайского, посаженного государем на стол Астраханский, за измену наказали и в покорность привели царю православному весь край Астраханский. Пошла она, спросилась у матушки:

— Дозволь, родимая, на воев наших поглядеть съездить!

— Эх, девица, погляжу я на тебя! Уже невестишься давно, не сегодня завтра замуж пойдешь да детушек своих качать будешь, а все ветер в голове! — сказала ей мать, улыбаясь.— Ну, да иди, Бог с тобой! И то сказать, пока в девках сидишь, только и воли, а там, замуж вышла, и сиди день-деньской в тереме! Поезжай, поглазей на воев наших хоробрых!

Только этого и ждала боярышня. Побежала она, сказала Настасье, что матушка позволила, и та стремглав полетела к Степану, к кучеру, коня приказать закладывать, да погорячее который, чтоб вовремя поспеть. Живо оделась боярышня, Настасья тоже собралась, и вышли они на крыльцо: «возок,— думают,— уж ждет». Ан нет! Возка еще не было, и Степан только ходит да в затылке почесывает.

— Чего ж ты это, Степан? — спросила боярышня.— Али Настасья приказать тебе запамятовала?

— Нет, она мне приказывала закладать,— ответил Степан, сняв шапку,— а только загадку она мне задала здоровую?

— Что такое?

— Да, вишь, боярышня, сказала она мне, чтобы я погорячее коня заложил, я и не знаю, как быть. Лошади у нас сытые и смирные, ну и бегут, признаться, тихо, а есть один конь, недавно его батюшка твой у боярина одного купил, что ветер, несется, но зато боязен и горяч больно. Теперь я и не знаю, его ль запрягать, али другого коня.

— Конечно, его! Ведь ты сам говоришь, он бежит скоро.

— Бежит-то скоро, а вдруг разнесет, что тогда батюшка твой скажет? Тогда и головы мне не сносить!

— Не разнесет, Бог даст! А в случае чего, не дай Бог, так я на себя вину перед батюшкой приму. Не бойся, закладывай его!

Степан, который и сам любил поправить, как говорится, чертом-конем, больше не спорил, не чесал затылок, а быстро запряг коня и, заломив шапку набекрень, уселся на козлах.

Поехали. Конь вел себя смирно и летел как ветер; только прохожие сторонились от него.

— Ишь, коняга! — говорили они, любуясь на могучего красавца коня.

Пронеслись несколько грязных и узких московских улиц и выехали на окраину. Народу тьма-тьмущая, и всякого сорта: и бояре, и купцы, и смерды. Еще бы! Каждому любо посмотреть на славных витязей. Много было и возков разных: и крытых, и не крытых. Остановились. У боярышни нашлись девицы тут знакомые. Пошли промеж них разговоры и смехи, и сказы да пересказы всякие! А тем временем и войско подошло.

— Идут! — пронеслось по толпе, и все затихли, ждут.

Вдруг раздались клики. Это народ радостно встречал показавшихся витязей. Рать шла не стройно, ряды смешались. Где уж тут было порядок наблюдать, коли у каждого в голове мысль гвоздит, что конец походу, что скоро можно свидеться и с женой молодой, и с детишками малыми! Каких только тут молодцев не было! Кто в грязной изорванной одежде, видно, истрепалась в пути, а смениться нечем, идет пеший и таким соколом поглядывает; кто на коне,— то боярин, знать, какой-нибудь, одет чисто и красиво. У многих бояр латы тонкой немецкой работы, на головах шлемы золоченые с перьями длинными. Едут, сверкает их панцирь на солнце, бренчит оружие, а народ радостно кричит, приветствует их. Шум страшный.

Вон опять едет толпа всадников, все больше в латах, толь-

ко один в простой кольчуге, надетой поверх алого кафтана, и в шлеме без перьев, простом белом, стальном.

Глянула Марья Васильевна на этого витязя, да и очей скоро отвести не могла,— загляделась! И, верно, не ей одной он приглянулся, потому что все подруги ее, боярышни, тоже очей с него не сводили, даром что он пятном черным выделялся среди золоченых доспехов товарищей. На что Настя, и та шепнула Марье Васильевне:

— Боярышня! Глянь-ка на этого витязя, что в кольчуге одет, от-то красавец писаный.

— А как звать его? Не знаешь? — спросила боярышня.

— Не знаю. Кажись, бают тут, что Бахметовым князем, а чтоб подлинно, не знаю.

— Должно, он и есть Бахметов! Я слышала о нем... Храбрый витязь, его сам царь отличил, как Казань брали.

Всадники между тем миновали их и, звеня оружием, скрылись из виду.

Теперь шло пешее войско. Всадники попадались только изредка. Очевидно, шествие заканчивалось. Прошли последние воины. Позади их провожала беспорядочная толпа баб, мужиков и мальчишек, громко крича и размахивая руками. Степан, подобно боярышне и Насте, разглядывал проходившее войско и, весь отдавшись этому, сидел на козлах боком и опустил вожжи. Ни он, ни сидевшие на возке не замечали, что уже давно конь стал как-то беспокойно поводить ушами, фыркать, рыть копытами землю и порою дрожал всем телом. Однако до сих пор он стоял тихо. Но, когда показалась гогочущая, кричащая и размахивающая руками толпа, следовавшая за войском, вид этих людей испугал коня. Он вздрогнул, лягнул задними и передними ногами и рванулся вперед. Это было так неожиданно, что Степан, не предвидевший толчка и сидевший боком на облучке, потерял равновесие и упал не землю, выпустив вожжи. Ничем не удерживаемый, испуганный конь закусил удила и, заложив уши назад, понесся по Москве, задевая колесами возка за идущих навстречу и сшибая с ног пешеходов. Гам и переполох, поднявшийся при этом, еще больше напугал его, и он несся быстрее и быстрее. Напрасно Марья Васильевна и Настасья призывали на помощь, никто не был в силах остановить взбесившуюся лошадь. Казалось, их ждала смерть. Марья Васильевна сидела бледная и читала молитвы. Настя закрыла лицо руками и плакала. А конь все несся с прежней неудержимой быстротой. Та толпа всадников, где находился витязь в кольчуге,

уже давно скрылась из вида, когда еще Марья Васильевна продолжала смотреть проходившее войско. Теперь несшийся с быстротой ветра конь догнал ее. Слыша позади себя крики, витязи оглянулись. Едва только кольчужник увидел несущуюся лошадь, он повернул коня и, прежде чем успел кто-нибудь из его товарищей, бросился наперерез ей. Потом, быстро соскочив с седла, поймал узду бешеного коня и повис всем телом на его удилах. Ошеломленный неожиданностью конь сразу остановился как вкопанный.

Женщины были спасены. Дав время коню успокоиться, он, за отсутствием Степана, сам сел на козлы, привязав свою лошадь позади возка, и отвез Марью Васильевну и Настасью к их дому.

В первую минуту, избавившись от опасности, женщины до того растерялись, что даже забыли поблагодарить своего спасителя. Когда же он подъехал к дому, боярышня протянула руку ему и сказала:

— Спасибо тебе, боярин! Без тебя нам не видать бы больше света белого! Скажи, как зовут тебя?

— Князь Андрей Бахметов,— ответил он.— А благодарить, боярышня, нечего: на моем место это сделал бы каждый. Будь здорова! — прибавил он, вскакивая в седло.

Через минуту он уже исчез за углом улицы. Отец Марьи Васильевны скоро узнал о том, какой опасности подверглась она и кто ее спас.

Зная раньше Бахметова, он поблагодарил его за спасение дочери и позвал к себе. С этих пор Бахметов и Марья Васильевна стали часто видеться. Молодого князя привлекала в дом не беседа с Темкиным, несколько свысока обращающегося с ним, так как считал тот Андрея Михайловича, как потомка мурзы, ниже себя родом, а лазоревые очи его дочери.

Видеться им приходилось, впрочем, редко. По обычаю того времени, женщины мало показывались к гостям-мужчинам, но тем дороже были им их мимолетные встречи. Быстрее билось сердце у Марьи Васильевны, и щеки загорались ярким румянцем, когда она видела князя. Ярче блестели глаза князя, веселее звучал его смех, когда он встречался с боярышней. И как-то сами собой, не говоря ни слова о любви, молодые люди поняли, что они любят друг друга: сердце сердцу, знать, весть подает!

Вспоминается Марье Васильевне и первое свидание с ним с глазу на глаз.

Вот как это было.

— Боярышня,— тихо шепнул раз ей Андрей Михайлович,— приди, желанная, в сад, где скамья, как солнце зайдет... Буду ждать!.. Побеседуем. Я, чаю, тебе спать не захочется? Придешь?

А сам смотрит очами своими соколиными так любовно, ласково и просительно, что не может Марья Васильевна отказать ему прямо, медлит. Тем временем отец в комнату вошел, прогнал ее в девичью, так и простилась она с князем, не дав ответа.

Ушла она в свою светлицу. Сидит, ждет. Вот и солнышко скрылось. Позвали ужинать. Князя уже не было. Поела, для вида, боярышня, а самой и кусок в горло не идет, простилась с родителями и спать будто бы пошла. Батюшка с матушкой улеглись. Люди тоже. Тихо в доме, только липа чуть-чуть скребет по дому своими сучьями, словно зовет к себе боярышню. А Марья Васильевна не спит. «А он ждет там меня в саду, желанный,— думает она.— Пойти к нему? Обмануть матушку, батюшку — грех, да и стыдно!.. Обмануть! Да ведь для него, сокола, не для кого другого!». Бродят эти мысли в ее голове, а уж рука сама за платьем тянется... Оделась она и тихо-тихо пошла к крыльцу. Вот и крыльцо. Потянула она за кольцо в двери, а сердце так и стучит, так и колотится в груди... Дверь чуть-чуть скрипнула, но никто не слышит — спят. И вот уж боярышня в саду. Издали видит она, сквозь сумерки, что он ждет ее... «Не придет она!», верно, думает.

— Нет, вот я! Пришла! — шепчет боярышня, приближаясь к скамейке. Увидел он ее, подошел, обнял своими могучими руками, почти поднимая на воздух, и поцеловал. Обжег этот первый поцелуй Марью Васильевну пуще огня, и ответила она ему тем же. После сели на скамью. Он взял ее руку, глянул ей в очи, и пошла у них беседа. И чего, чего только они не переговорили! И ведь, кажись, все о пустяках толковали, а между тем у них на сердце так весело было, словно там птицы божьи песни свои распевали! А кругом деревья чуть-чуть шелестели листьями под набегом легкого ветра. Зашелестят и замрут, словно не хотят мешать беседе боярина молодого с боярышней. После свидания повторялись, и больше днем. Просто, бывало, зайдет в сад Андрей Михайлович и сядет на скамью. А Марья Васильевна подойдет к нему потом. И увидит кто, что ж! Зашел князь и встретился с боярышней, вот и весь сказ! И ведь как недавно это было! —

отрывается боярышня от своих воспоминаний.— А теперь? Теперь он далеко, и удастся ль свидеться!... Только и осталось от милого друга — память о нем... Опять прежняя тоска налегла на сердце боярышни, и слезы подступают к горлу...

Тихо скрипнула в это время дверь ее светлицы. Кто-то вошел. Марья Васильевна подняла голову от подушки: перед собой она увидела свою мать.

II

МАТЬ И ДОЧЬ

Анастасия Федоровна, мать Марьи Васильевны, была уже пожилая женщина. Между ею и дочерью было заметно большое сходство. Те же золотистые волосы, хотя уже немного поредевшие и на висках подернутые сединой; те же голубые глаза, только с иным, чем у дочери, выражением.

— Что разнедужилась, Марьюшка? — ласково спросила Анастасия Федоровна дочь, склоняясь к ней и проводя по ее шелковистым волосам.

— Да... Голова разболелась,— краснея, отвечала Марья Васильевна.

— Да что у тебя глаза красные такие?.. Ровно бы ты плакала? Болит, знать, головушка тяжко?

— Нет... Так...— замялась, не зная, что ответить, девушка.

— Как же «так»? С чего же плакала?

Марья Васильевна молчала.

— Кручинушка какая есть? Да что ж ты, родная, слова не промолвишь? — продолжала она, видя, что дочь молчит.

— Тяжко, матушка, мне очень! Тяжко, родимая! — в неудержимом порыве хоть немного облегчить свое горе, почти вскрикнула девушка и закрыла лицо свое руками.

Сквозь сжатые пальцы ее рук пробились слезы и, скатываясь, крупными каплями западали на подушку.

Анастасия Федоровна с удивлением смотрела на ее слезы.

— Что с тобой, Марьюшка? Что за кручина? Поведай, родная!.. Чего убиваться? — почти с испугом спросила она.

— Ах, матушка, матушка? Как и поведать тебе, не знаю? — прерывающимся голосом ответила Марья Васильевна.

— Мне ль, родимой своей, не можешь горя своего поведать? — с укоризной произнесла Анастасия Федоровна.

— Милая! Родная моя! — воскликнула Марья Васильевна, обнимая мать.— Тебе ль не поведаю!? Да я всю душу свою открою.

— О чем же плачешь, скажи? Небось, красной девице добрый молодец приглянулся, потому и тоска на сердце ее девичье пала? А? Так? — улыбаясь, спросила мать.

— Так, родимая,— ответила девушка, пряча на плече матери свое зардевшееся лицо.

— И чего раньше не говорила? Грех, что ль, девице на молодца заглядываться? Живой рукой бы все дело обделали! Сватов бы заслали, а там и за свадебку! И то сказать — ты девица в поре... Чего ж тут плакать? Аль не возьмет тебя замуж? Аль дурнушка, с лица неказиста, что ли? Скажу тебе, другой такой невесты поискать, так не сыщешь, пожалуй! — говорила мать с гордостью.— Да и не бесприданница, чай!

— Не о том кручинюсь я, матушка... Какой откажется! И он меня пуще всего на свете любит!

— Так о чем же ты слезы-то горькие проливаешь? Чего же лучше? Ты, стало быть, с ним и столковаться успела?.. Когда только, ума не приложу! Кажись, день-деньской у меня на глазах была... Ну, девки! И хитрый же вы народ! Смотри да смотри за вами! — шутливо говорила мать, а в глазах ее между тем мелькнула забота.— Да полно тебе теперь-то вздыхать! Сказано — кручиниться нечего, призналась, благо, мне; все дело устрою.

— Кручинюсь о том, родимая, что теперь из Москвы он уезжает в страну далекую.

— Куда ж это он от своей зазнобушки уходит? Да и как звать его? Кто он таков? — поспешно спросила мать, спохватившись, что она до сих пор не спросила у дочери о самом главном: кто был ее любимцем.

— С Данилой Адашевым, слышь, татар бить идет в Крым...

— Да как звать-то, звать-то его как? — спрашивала Анастасия Федоровна, перебирая в уме, кто бы мог быть.

— Ты его знаешь, родимая... Андрей — князь Михайлович.

Лицо Анастасии Федоровны стало серьезным.

— Ну, Марья,— сказала она, помолчав,— огорошила ты меня. По правде по истинной, скажу: не ждала я этого и,

признаться, кабы и ждала, так не желала бы тебе его в женихи.

— Что ж так? — дивилась Марья Васильевна.— Чем же худ он?

— А тем, что батюшка твой тебя замуж за него выдать не захочет. Вот что,— проговорила печальнo Анастасия Федоровна, присаживаясь на постель дочери.

— Почему? — спросила девушка, и сердце ее сжалось от предчувствия какого-то нового, неведомого горя.

—. Почему? А вот мы с тобой потолкуем, так узнаешь... Скажи-ка наперед, ведомо ль тебе, какого рода Андрей Михайлыч, хорошего али низкого?

— Должно, не низкого... Он боярин и князь...

— Вот то-то и есть, что не знаешь ты всего! Хоть он и боярин, и князь, да отдать тебя за него отец твой желанья не будет иметь, потому что боярскому роду его и ста годов еще нет, а княжество его не от русских князей идет...

— Как так?

— Да так! Послухай — и узнаешь! Идет его княжество от татар тех самых, каких он теперь бить поехал, от Крымских. Прозвище-то его знаешь?

— Бахметов,— едва слышно промолвила Марья Васильевна.

— Вот и смекай, откуда прозвище такое взяться могло, как не от мурзы татарского; прадеда Андрея Михалыча, Бахмета... Прадед его к нам перешел, выкрестился, да и княжество с собою привез...

— Что ж от этого, матушка? Ведь Андрей Михайлыч не татарин, ведь и отец его уже чисто русским был и царю верою и правдою служил.

— Как что из этого? —.горячо воскликнула мать.— Да ведь коли он из татарского, а не коренного русского рода, так ему и ходу нигде не будет, и ежели при дворе государя нашего батюшки служить захочет, так ему окольничим * посидеть придется!.. Вот и подумай, может ли батюшка твой, который во введенных ** боярах при царе Иван Васильевиче состоит, за худородного дочь свою замуж выдать?

На глазах Марьи Васильевны опять блеснули слезы.

---

* В Москве существовала известная градация придворных чинов. Звание окольничего, хотя было довольно высоким чином, не пользовалось почетом, и в него назначались только лица незнатного происхождения, лица же знатного рода обходили его.

** Высокий придворный чин.

— Да ты полно, не кручинься,— произнесла Анастасия Федоровна, заметив это.— Молодец он, что говорить, хороший, и храбр, говорят, и лицом, что картина, и достаток у него есть... Всем бы ладный жених был, кабы...

— Неужели батюшка не согласиться только из-за того, что родом Андрей Михайлович не знатен?.. Ведь он к тому же и жизнь мне спас, как лошадь меня с Настей чуть не убила... Чай, батюшка того не запамятовал.

— Должно, не запамятовал, а только честь он свою боярскую очень любит, и дороже она ему всего... А ведь супротив него не пойдешь... Сама знаешь, какова наша женская доля; пока при отце живешь — отцу не поперечь, замуж вышла — муж из тебя хоть веревки вей... Так-то! Что поделаешь; знать, так Господом Богом положено, чтобы мы под чьей-нибудь волей ходили. Помню, как я в той же поре была, как ты теперь, разве годка на полтора помоложе,— перенеслись мысли Анастасии Федоровны к прошлому.— Жила я у батюшки родимого, ни о чем не тужила, не заботилась. Только, знай, песни день-деньской распевала да за пяльцами у окошка сидела. Хорошо мне было тогда, и не думала я о замужестве. Так, казалось, весь свой век с батюшкой да с матушкой родимыми проживу. Сижу, бывало, вышиваю, да в окно поглядываю. А оно на улицу выходило, и улица людная была. Кто пешью идет, кто на коне едет... Возки разные ездят, али обозы тянутся. А то, нередко, и царь с царицей-матушкой в собор молиться поедет... Оно и занятно, не видишь, как день и пройдет. И любила я, признаться, в окно поглядеть. Вот раз так-то подняла я голову от пялец, смотрю на улицу, и вижу, идет на супротивной стороне какой-то молодец и прямо на меня глазами уставился. Я вспыхнула вся, ровно маков цвет, и голову к пяльцам опустила, а сама смотрю искоса, где тот добрый молодец. Вижу, стоит он насупротив, да все на мое окно смотрит. Потом прохаживаться стал, словно гуляет, а сам с окна глаз не спускает. Неловко мне тогда стало, да еще, думаю, увидит его матушка моя, так скажет мне, что вот, дескать, Настасья, в окно-то часто высматриваешь, уж и парни глядеть на тебя начинают. Оставила я работу и отошла от окна. Так больше весь день и не подходила к нему. А только приглянулся мне тогда, должно быть, этот молодец: во сне ночью снился. Подошла утром на другой день к пяльцам, глянула в окно, а уж молодец-то мой тут как тут и опять на меня поглядывает. На третий день то же самое, на четвертый опять тут, и дошло у

нас дело до того, что, как первый раз увидела я его, был понедельник, а в пятницу он уж и шапку снял да мне, словно знакомый, кланяется. Ну и я не утерпела, кивнула в ответ ему головой. А он, как увидел это, весело-весело так улыбается. Так мы с ним знакомыми стали, хоть и двух слов друг с дружкой не промолвили. Пошла я в воскресенье с матушкой моей в собор к обедне. Стою, молюсь, только в сторону как-то глянула, смотрю, а мой молодец совсем близко, рядом со мной стоит и на меня смотрит. Я так и обомлела. А он наклонил голову да тихо так шепчет:

— Здравствуй, боярышня! Признала, чай?

Я стою молчу, ни жива ни мертва, услышит, думаю, матушка, что тогда. Так ему тогда ни слова и не ответила. Опосля этого стал он за мной, словно тень, ходить. Я в собор к обедне али ко всенощной — он там; пойду гулять с матушкой — гляжу, и он где-нибудь недалеко бродит, да нет-нет на меня и посмотрит.

Долго это так было. Привыкла я, наконец, к нему. Как, бывало, не видать его день-другой, так словно и тоскливо на сердце становится. А только мне и на мысль никогда не приходило, чем все это кончится, а он, видно, думал, потому раз, как была я с матушкой в церкви и послала она меня свечку купить, он идет сзади меня да и шепчет:

— Что ж, боярышня, можно ль сватов засылать?

В краску меня всю ударило. Однако ответила я ему тихо:

— Что ж, засылай, боярин.

— Люб, стало быть, я тебе,— говорит, а голос у самого дрожит.

— А почему ж не люб? — отвечаю.

Не знаю уж, как я тогда свечку купила, как обедню достояла, помню только, что всю ночь потом не спала, все о нем думала... Да и ладен был молодец, грех сказать... Красавец! — говорила Анастасия Федоровна, и словно грустью затуманились ее голубые глаза.

— Так, верно, этот молодец и был мой батюшка, коли сватов засылать собирался? — спросила Марья Васильевна, с интересом слушавшая рассказ матери.

— Нет, родная, случилось все так, как и думать нельзя было! На другой день после того, как молодец про сватов мне толковал, батюшка уехал куда-то и оттуда вернулся домой веселый-превеселый. Кликнул матушку и меня тож. Прихожу. Отец сидит, на меня так ласково поглядывает.

— Садись, Анна Павловна,— говорит матушке,— да и ты, Настасья, сядь: буду с вами кое о чем речь вести.

Села матушка, села и я, а сама думаю: «Что ж бы это такое значило?» Молчу, жду. Матушка тоже сидит да на отца поглядывает.

— Ну, Настасья,— говорит батюшка, а сам ухмыляется,— девка ты теперь, что называется, в соку, и пора тебе своим домком обзаводится. Не след девице под кровом родительским стариться. Думала ль ты об этом?

— Признаться,— говорю,— батюшка, не думала,— а у самой у меня сердце так и застучало: догадалась я, зачем меня он позвал.

— Не думала, так думай. А ты, жена моя богоданная, как полагаешь,— сказал он матушке,— пора ль Настасье замуж идти?

— Полагаю, что пора бы... Девица на возрасте... А, впрочем, как ты, Федор Павлович, знаешь, так и делай: потому я, баба, мужу своему не указ и не советчица.

— Это ты верно баишь, что баба не указ мужу и не советчица, а только все же без твоего родительского благословения дочке замуж идти не можно, так ты благослови ее, да и приданое шить начинайте. Свадьба скоро.

— Как! — вскрикнула матушка,— нешто сваты приезжали?

— Нет!

— Так как же? Да и смотрин не было, ни сговору, а ты говоришь, что свадьба скоро.

— Какой же еще сговор да смотрины, когда у меня уже все с боярином Темкиным улажено да уговорено? У него сын на возрасте, у меня дочь, мы и порешили поженить их, сговорились обо всем и свадьбы день назначили... Так-то! Шейте приданое, и дело с концом!

На том и разговор и кончился.

Проплакала я всю ночь напролет, а на другой день приданое стали шить.

Присылал ли молодец тот сватов, так и не знаю, но, должно, присылал, да отказ получил, так как я уж просватана была. Думаю, что было так, потому что перед окном он моим уж не стаивал, как прежде. Увидела же я его последний раз, когда меня с батюшкой твоим венчали. Он в народе стоял. Бледный, в лице ни кровинки, и на меня смотрел так тоскливо-тоскливо.

Потужила я, погоревала о моем молодце, а опосля забыла, и вот уж с батюшкой твоим который год живу, славу Богу...

И диковинно то, что, как мы с отцом твоим под венцом стояли, мы совсем друг с дружкой знакомы не были: он меня видел в первый раз, и я его тоже... А вот теперь свыклись! Так-то вот она, доля наша женская,— вздрогнув, проговорила Анастасия Федоровна.

Марья Васильевна молчала, все еще находясь под впечатлением рассказа матери.

— Вот и ты так же, родная,— не иди наперекор отцу. Захочет тебя выдать за кого, иди, слова не молви: стерпится — слюбится,— сказала мать.

— Нет! — встрепенулась девушка,— по мне, лучше в гроб, чем за немилого!

— Коли так, я тебе вот какой совет дам. Ежели вернется Андрей Михайлович да зашлет сватов, отец, знаю я его, со стыдом их выгонит. А ты сделай вот как: выжди время, когда отец будет весел да ласков с тобою, кинься ему в ноги и поведай, что замуж хочешь идти за князя. Авось его сердце смягчится,— говорила мать, встав с постели, на которой сидела, и собираясь уходить.

— Попробую, родимая! — ответила тихо Марья Васильевна.

— Ну, спи с Богом, и мне лечь пора! — сказала Анастасия Федоровна и вышла из комнаты.

III

РАЗБИТЫЕ МЕЧТЫ

Всю ночь напролет не забылась сном Марья Васильевна. Наутро поднялась бледная, куда и румянец былой делся, глаза заплаканы.

Села за пяльца — шелки путает, не идет работа на ум, дело из рук валится. Так и бросила. Смутно на душе у ней. Ходит она с угла на угол по светлице своей да думушки думает невеселые. А подумать есть о чем! Теперь уж не только тоска снедает о друге далеком, а есть еще и другая работа. Если, Бог даст, вернется Андрей Михайлович, зашлет сватов, а батюшка их прогонит, что тогда? Беда! Лучше бы и на свет не родиться. «Но, может, батюшка смилуется, не ворог же он дочке своей родимой»,— думает Марья Васильевна,

старяясь утешить себя хоть кое-какой надеждой. «Нет!» — тотчас же разбивает она сама свою надежду,— «нет!» не таковский нрав у батюшки! Кремень человек! Хоть умирай, а он честью своей не поступится! Если, как матушка говорит, ниже себя он считает Андрея Михайловича, то не примет его сватовства... Как же быть? Ведь так нельзя? Ведь этак с тоски высохнешь, ума лишишься, об одном все думаючи? Надо так будет сделать, как матушка сказывала, броситься к его ногам, да молить слезно. Авось смилуется... Одно осталось!

Так и порешила Марья Васильевна, что будет она молить отца, чтоб сжалился над нею и замуж за Андрея Михайловича позволил идти. С этих пор стала она случая ждать, когда отец будет повеселее да к ней поласковее, тогда и сказать.

Прошло не более месяца со дня прощания боярышни с Андреем Михайловичем, как случай поговорить с отцом в добрую минуту настал совершенно неожиданно для Марьи Васильевны.

Вот как это произошло.

Однажды весел и доволен возвратился от царя Ивана Васильевича отец Марьи Васильевны, «введенный» боярин Василий Иванович Темкин. Царь особенно в этот день ласков был с ним, и радуется боярин царской ласке, и хочется ему, чтобы и все кругом его были, как он, довольны и веселы. Сидит он, пообедав, прихлебывает квас душистый из кубка дедовского, на домашних зорким оком поглядывает да с женой, Анастасией Федоровной, шуткой веселой изредка перекидывается. А Анастасия Федоровна довольна и весела не меньше мужа своего: рада она, что он в духе, потому — крут был боярин, как осерчает... Избави Бог! Тогда и слова не молви... Сидит, бывало, насупив серые, косматые брови, бороду свою, проседью, будто снегом, подернутую, рукою поглаживает, да на всех исподлобья, словно волк, глазами сверкает. Крестятся тогда все его чады и домочадцы:

— Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его! Пронеси бурю злую! — в страхе молятся они.

И недаром страх их разбирает: знают они, что не дай Бог подвернуться кому-нибудь в это время под гнев: милости не будет! И все равно, кто б ни подвернулся: коли жена — соскочит он с сиденья да «поучит» ее порядком, никого не стесняясь, ни людей своих домашних, ни гостей, если они в это время тут есть; коли дочь — схватит за косы да тычками до самой девичьей проводит; про холопов и говорить нечего —

запорет до полусмерти на конюшне. Такой нрав был! Осерчает — убить рад, а наградить захочет, так, кажись, озолотить готов. Сегодня не то, сегодня все довольны. Весел он, и у всех легко на душе. Только Марье Васильевне, видно, не по себе. То внезапно ярким румянцем запылают ее щеки, то вдруг румянец сбежит, и в лице ни кровинки. И глаза как-то беспокойно бегают; взглянет она на отца мельком, да и опять отведет от него взгляд поскорее, словно боится, как бы не прочел он в ее взгляде чего. А сердце ее так и стучит, так и колотится, и кровь в виски ударяет. В голове же ее так мысль за мыслью и летит, друг друга нагоняет; тянутся думы Марьи Васильевны цепью длинною да перемешиваются одна с другой, словно гуси дикие при перелете; летят себе стройно один за другим, вожатого слушаются, да вдруг ни с того ни с сего замечутся, замечутся и в клубок все собьются, ничего не разберешь, так и думы Марьи Васильевны. Не может она совладать с ними. То шепчет ей мысль: гляди, отец весел, пользуйся! Пади к ногам его, моли да проси, может, и смилуется он, и добудешь ты счастье на всю жизнь... Поторапливайся! Неровен час, понахмурится батюшка, тогда все прости-прощай! Откладывай опять, и снова в девичьей своей по ночам подушку свою окропляй да сердце свое нажимай рукой белою, чтобы не билось так оно в груди от тоски лютой! Соберись с духом да и действуй, пока время есть!

А уж в это время другая мысль перебивать начинает и совсем иное девице нашептывает:

«Эй, эй! Опаску возьми! Как бы хуже еще, чем теперь, чего не вышло! Вдруг отец не только что осерчает, а еще, чтоб тебя воле своей подчинить и от жениха, который не по сердцу ему приходится, отбить, замуж выдать поскорей захочет за какого-нибудь тебе немилого боярина бородатого. Что тогда? А? Хоть жизни решайся! А, ведь, кто знает, всякое случиться может... То-то! Не спеши! Дай время: может, все перемелется, мука будет! Жди пока, лучше!»

Не знает боярышня, как быть, каких мыслей слушать. То ей хочется пасть пред батюшкой на колени и все поведать, то вдруг боязно становится. Кругом ходит от всего этого голова у Марьи Васильевны, и не слышит боярышня, что ее отец третий раз окликает.

— Марья, а Марья! Да что ты оглохла, никак! Который раз тебя окликаю! — сказал отец.

— Что? — очнулась девушка и слегка вздрогнула.— Что, батюшка, изволишь?

— Говорю, который раз тебя окликаю, а ты не слышишь. Что ты сегодня словно не в себе? — продолжал старик, глядя на дочь.

Девушка вспыхнула.

— Нет... Я ничего,— смущенно пробормотала она, опуская глаза под пристальным отцовским взглядом.

— Ничего! Оно и видно! Нет, уж, дочушка, я старый воробей, и меня на мякине не проведешь! Вижу, что думы о чем-то раздумываешь,— говорил Василий Иванович, усмехаясь.

Боярышня молчала.

— И знаю я тоже, что, как станет девка задумываться, стало быть — держи ухо востро: черноусый, знать, молодец недалеко похаживает да на окна терема поглядывает! Так ли я говорю, Маша? А? Угадал, небось? — шутил отец, не зная того, что, действительно, почти угадал истину.

Пока отец говорил, в Марье Васильевне совершился переворот: решимость взяла перевес, и боярышня решила теперь же переговорить с отцом.

«Коли сам начал — так чего тянуть. Стало быть, судьба!» — думала она.

— Да, батюшка, правду ты молвил,— сказала она, вставая и приближаясь к отцу, а сама вся зарделась.— Да, приглянулся мне добрый молодец, и уж так-то приглянулся, что, кажись, жизнь свою отдать мне за него не жаль! Батюшка! — продолжала она, опускаясь на колени пред удивленным отцом.— Батюшка, дозволь мне за него замуж пойти!

— Встань, Марья! Нешто я Бог, что предо мною на коленях стоишь? — произнес отец, на лице которого уже не было прежней улыбки, однако не видно было и гнева.— Встань, садись и потолкуем, уж ежели на то пошло.

Марья Васильевна повиновалась.

— Вот что скажу я тебе, Марья,— серьезно начал старик.— У нас, на Москве, порядка такого нет, чтобы, раз, девка с молодцом до свадьбы всякие сговоры да свидания учиняли и, два, чтобы девица у родителей просилась замуж ее выдать... Жених должен сватов сам наперед заслать. Какой же это твой молодец, что порядков наших исконных, дедовских не знает, али он роду, что ль, не боярского, тогда и толковать нечего.

— Он боярин и князь, только в Москве его теперь нет, потому и сватов не засылал,— тихо ответила девушка.

— Гмм... В Москве его нет,— произнес отец, и лицо его

стало суровее.— В Москве нет,— повторил старик.— Где же он?

— Он в походе с Данилой Адашевым.

— Гмм... В походе... Хорошо, нечего сказать! Молодец на краю земли с татарами бьется, а тут девка просит замуж за него выдать... Славно устроено, нечего сказать! И, надо полагать, коли так все обдумано, шашни-то ваши давно уж тянутся. Честь для девицы красной изрядная! — уже совсем сурово говорил старик, и в глазах его сверкнули огоньки, а седые брови насупились.

Марья Васильевна сидела потупя голову и молчала.

Присутствовавшая здесь же Анастасия Федоровна стала бледна как полотно и в страхе поглядывала на мужа, чуя приближавшуюся бурю.

Однако пока старик еще, казалось, не изменил своему хладнокровию. Видя молчание дочери, он продолжал:

— Вот что, назову я тебе, коли хочешь, по имени и по отчеству того добра молодца, что люб тебе так. Его зовут-прозывают: Андреем князем Михайловичем,— медленно проговорил он,— а только тебе за ним не бывать! — твердо прибавил он.

— Почему ж, батюшка? — преодолев робость, в смертельной тоске спросила девушка.

— Почему? Многого ты, девка, хочешь, чтоб отец тебе отчет отдавал! Но и то, будь по-твоему, скажу! Потому, что введенному боярину не пристало дочь свою выдавать за отпрыска татарского! Поняла?

— Что ж, что он не из чисто русских, ведь теперь он верой и правдой царю служит, да и отец его, и дед служили так же,— говорила девушка, забывшая страх пред отцом: горе ее было сильнее страха.

— Все же он татарского рода, и тебе за ним не бывать!

— Батюшка! Он же мне жизнь спас,— продолжала Марья Васильевна.

— Это когда коня-то остановил? Ну, пожалуй, спас... Так что же? Не он, так другой сделал бы это самое... А нашлись бы сразу двое похрабрее да остановили бы в ту пору коня, так за них обоих сразу тебя надо было бы выдать!.. Так выходит! Вот и видно, что волос долог, да ум короток... Ну, да довольно! И то уж дозволил тебе пустого болтать больше, чем следовало. Отправляйся в девичью да за пяльцы садись, это лучше будет!

— Батюшка! — опустилась к ногам отца девушка, вся

трепещущая в порыве беспредельного горя.— Батюшка! Родной! Смилуйся! Не губи меня! Без него мне жизнь не красна будет! Он солнышко мое ясное! Смилуйся, родимый! — и она, в слезах, обнимала колени отца.

— Довольно! — загремел отец, вскочив с места, в припадке гнева.— Довольно! Прочь с глаз моих, бесстыдница! Будет, дозволил, поломалась девка, теперь нишкни, а не то выбью дурь у тебя из головы!

— Полно, Василий Иванович, успокойся! — вставила свое слово Анастасия Федоровна.

— А! и ты туда же! Успокойся! Успокоите вы! Смотрела за дочкой хорошо, нечего сказать! Матерью еще прозываешься!.. Дочь на глазах у ней шашни заводит, а она, словно безглазая! У, у! Погоди ж! Мы еще с тобой покалякаем! Выучу я тебя, как за дочкой смотреть! А ты вон с глаз моих! — снова обратился он к Марье Васильевне.— Во-он! Чтоб духу твоего здесь не было, негодница! Ишь, дурь напустила. «Солнышко, говорит, он мое ясное!» Я те задам солнышко, выбью дурь-то! И раз навсегда запомни, чтоб я больше об этом татарском выродке и слова не слыхивал! А теперь прочь! Да прочь же, тебе говорят, бесстыдница, про-очь! — и он, схватив за плечи полубесчувственную девушку, с силою вытолкнул ее за дверь комнаты.

Долго еще раздавался по всему дому грозный голос боярина Темкина.

Мало-помалу он затих, и слышались только мерные, тяжелые шаги его.

В доме царила мертвая тишина; все словно вымерло от одного отзвука голоса Василия Ивановича.

А в спальне лежала на постели Марья Васильевна и смотрела перед собой неподвижным, словно мертвым, взглядом. Слез не было, не было и тоски; душу Марьи Васильевны словно одела непроглядная ночь; потух тот светоч, который светил ей. Он был тусклым и слабым, но все-таки боролся со мраком. Теперь его не стало, и непроглядная тьма окружила душу боярышни. Светоч этот — была надежда. Теперь она исчезла, и уже не тоска о далеком друге, не сомнения и колебания кручинили боярышню, а страшною свинцовою тяжестью сдавило ей сердце безысходное горе. И девушка не боролась с ним, а, подавленная его гнетом, лежала без мысли, без движенья, без слез, лишь чутко прислушиваясь к тому, как билось и ныло ее исстрадавшееся сердце.

IV

ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР

Все домашние боярина Темкина ожидали, что теперь долго будет гневен он, не скоро забудет то, что произошло между ним и дочерью. И, действительно, долго ходил боярин, словно туча грозовая. Уж весна наступила вполне, солнце так ярко-ярко сияло и птицы, прилетевшие из краев заморских, песни веселые распевали; кажись бы, должна была пройти злоба боярская при такой благодати, а Василий Иванович был по-прежнему угрюм. Знать, лучи солнечные, что льды и снега заставили в реки сбежать ручьями журчащими, недостаточно теплы были, чтобы так же смягчить и твердую душу боярскую! Но вдруг с него злобу, как рукой, сняло. Боярин, грозно поглядывавший на всех из-под насупленных бровей, однажды вернулся из дворца таким веселым, каким его уже давно не видали!

— Настасья, а Настасья! Подь-ка ко мне! Надо кой о чем покалякать! — крикнул он жену, едва успев выйти после обеда из столовой избы * в свою одрину **.

Удивленная этим приглашением Анастасия Федоровна поспешила к нему.

— Садись,— указал он ей на скамью,— да потолкуем.

— Чай, ты не забыла,— начал боярин, когда Анастасия Федоровна приготовилась слушать,— как дщерь-то наша вздурила?

— Конечно, нет! Мне ль запамятовать это! — воскликнула боярыня.

— Ну, так вот, порешил я дурость ейную выгнать у ней из головы, а чтоб сразу конец положить, задумал замуж ее выдать. Признаться, я уже кое с кем из своих проговорил... Ан, тут ей, девице-то вздурившей, выпало такое счастье, что я и во сне представить не мог! — продолжал, радостно улыбаясь, боярин.

Анастасия Федоровна молчала, внимательно слушая его речь и тщетно стараясь догадаться, кого он нашел себе в зятья, что так доволен.

— С утра сегодня, с самого раннего, занят был царь делами разными государственными и с царицей повидаться не успел. Вот и говорит он мне:

---

* Так называлась столовая.

** Одрина — спальня.

— Сходи-ка ты, Василий, к царице, поклон ей мой низкий передай да спроси, в добром ли она здравии.

Пошел я... Прихожу, вижу, матушка-царица на богомолье собирается...

Ну, уж и красота же наша царица Анастасия Романовна! — отклонился боярин в сторону.— Много раз видал я ее, а сегодня она мне еще пригожее показалась, наряд, должно, ей к лицу был, не знаю... А была она в опашне кармазинного цвета, червчатом, одета, а на петлях нанизан жемчуг с каменьями разными — с яхонтами и изумрудами... На голове кика атлас червчат и запона на нем золотая с алмазами, изумрудами и другими каменьями...

Пришел я к царице, кланяюсь ей.

— Здравствуй, матушка государыня!

— Здравствуй, Василий Иванович! — ласково так отвечает она мне.— Что скажешь?

— Государь мой и царь великий, а твой супруг, Господом данный, повелел мне, рабу своему, низкий поклон тебе, царице, передать и, в добром ли здравии, справиться приказал,— говорю.

— Скажи, отвечает, государю моему, Ивану Васильевичу, что спасибо за низкий поклон, и ему сама такой же посылаю, а сама я в добром здоровье и за него, господина моего, Богу молиться собираюсь.

Я поклон ей отвесил и выйти собрался, а тут она меня окликнула:

— Стой, стой, боярин-ста! *

— Чего, государыня Анастасия Романовна, прикажешь?

— Нужен ты теперь царю али нет? Может, дело есть какое спешное?

— Не ведомо, говорю, может, нужен, а может, и нет...

— Так ты скажи ему, что коли ему тебя не нужно, то пусть отпустит со мной на богомолье ехать... А може, ты этого не хочешь?

— Что ты, государыня! — отвечаю.— С радостью великою!

И побег к царю. Доложил ему все, как следовало, и отпросился с царицей поехать. Царь позволил, и я попал в обережатые ** царицы.

---

* Частица «ста» прибавлялась только к первым при дворе лицам; вторым чинам полагалась частица «су», а остальным не прибавлялось ничего.

** Обережатые — почетная свита.

Когда в собор приехали, стала царица молиться истово так. А я стою позади ее да думаю:

«Матушка! чиста ты, яко голубица, никакого горя у тебя на сердце нет, а молишься ты истово так за ближних, должно, своих; вот у меня горе какое, дочка родная перечить отцу начала да сама себе жениха сватает. Хоть бы ты помолилась за меня, чтоб душа моя от гнева остыла, да за нее, девку глупую, чтоб Господь Бог Милостивый жениха ей послал». Думаю так, крещусь, а на душе тяжко так, тяжко, и вздохнул я тяжело. Царица мой вздох тяжкий услышала, посмотрела на меня зорко-зорко, одначе ничего в храме Божьем мне не сказала, только молиться стала еще усерднее. А как от обедни ко дворцу вернулись, вышла она из рыдвана* да и говорит мне:

— Подь ко мне в мои палаты, Василий Иванович, надо мне с тобою покалякать.

— Что, думаю я, за притча! Уж не сказал ли я чего неладного! даже испужался маленько, по правде молвлю. И дурень я! Мне и на мысль не вспало, что царица вздох мой тяжкий услышала и подумала, что, должно, горе у меня на сердце большое, так и звала, утешить чтобы чем-нибудь... Ведь она милостивица и благодетельница святая! Недаром уж, на что нищая братия, и та ее матерью родной зовет.

Пришла в палаты, села да и говорит мне:

— А ну-ка, боярин, поведай, чего вздыхал тяжко так за обедней?

Я стоял, ровно ошалелый: больно уж неожиданно было. Гляжу на царицу и молчу.

— Что ж не отвечаешь? Али горе свое поведать тебе нежелательно? Коли так, не неволю. Бог с тобой! — в другорядь молвила она, а сама смотрит так ласково да кротко, что у меня будто сердце растаяло, и, чую, что-то застилать словно туманом стало: знать, слеза прошибла.

Не стал я таиться перед государыней, поведал все, как у нас с Марьей было.

— Вот оно какое у тебя горе? — молвила царица и задумалась маленько.— А только отчего ты не хочешь выдать дочку за Бахметова? Хороший он молодец и лицом красавец... Роду-то незнатного, так нешто это беда?

— Беда! — отвечаю я ей.— Беда, матушка царица, и не малая! Потому и его самого всегда затирать будут те, кто

---

* Рыдван — карета.

познатней, и детям, что от него да Марьи на свете явятся, ходу не будет. А каково мне смотреть, что внуков моих за татарских отпрысков считают? Нет, матушка царица, по гроб жизни своей я на это согласия своего не дам!

— Ну ежели так,— сказала она,— то надо тебе дочку свою замуж поскорее выдать, чтобы забыла о милом своем скореючи, а то изведется с тоски девица красная.

— Да за кого ж, государыня? Нешто ладного жениха скоро сыщешь? Вон у свах много этого товару, да толку мало: все либо мелочь, либо парни нехорошие, озорники... Где тут отыщешь!

Государыня задумалась.

— Слухай-ка, боярин, что я тебе скажу,— молвила она погодя.— Хочешь меня сватьей иметь? — а сама так весело улыбается.

— Еще бы, говорю, нет!

— Коли так, то есть у меня для твоей дочки жених на примете... И красив, и роду не худого, и не стар еще человек.

— Как его звать? — спрашиваю.

— Ишь, не терпится тебе! Ну, так и быть, скажу: князь Ногтев, Данило Андреевич. Ладен ли?

— Конечно, государыня! Это ль не жених! За сватовство благодарствую!.. Век Бога за тебя молить не устану!

— Погоди благодарности-то сыпать, прежде уговоримся. Положим так: с князем я сама потолкую... Он, знаю, браку сему немало радоваться будет; мне кумушки московские уж давно в уши жужжат, что князь Данило Андреевич с тоски по дочери боярина Темкина сохнет: приглянулась она ему очень; а свататься боится, потому, скажу тебе, прости меня, прямо, что нравом ты больно строптив. Опосля устроим уж мы поскорей сговор да смотрины, а ты прикажи жене своей да дочке-невесте приданое шить спешно. Так и порешим. Ну, доволен ли ты?

— Еще б не доволен, государыня!

— Так иди теперь домой с Богом да делай, как уговорено.

Шел из дворца я домой — ног под собой от радости не чувствовал.

— А ты, жена, довольна ли?

— Могу ли честью такой быть недовольна? — ответила Анастасия Федоровна, думая про себя: «Эх, хорошо-то, хорошо! Только девку бедную жаль, больно убиваться будет!»

— То-то! Так с завтрашнего дня и за работу... Да поспе-

ши, смотри, чтоб скорее. А с Марьей потолкуй хорошенько, не осрамила бы чтоб еще на свадьбе нас. Иди теперь, а я сосну маленько,— закончил боярин.

Таков был между Анастасией Федоровной и ее мужем разговор, имевший столь важное и решающее значение для убитой горем Марьи Васильевны.

Выйдя из опочивальни Василия Ивановича, Анастасия Федоровна долго собиралась с мыслями, как бы ей возможно легче передать дочери то, что говорил сейчас Василий Иванович и хоть немного ослабить этот, столь тяжкий для Марьи Васильевны, удар.

V

ВСЕ КОНЧЕНО

Велик и хорош был сад боярина Темкина. Пожалуй, лучший в Москве в то время. Вековые липы, под тенью которых, может быть, отдыхал в жаркую пору еще дед нынешнего хозяина, перемешивались с широколистным кленом или не менее их старым дубом.

А вокруг этих престарелых, но еще полных жизни великанов, прячась под их тенью, рассыпались молодые деревья, покачиваясь от верхушки до корня при таком ветре, который едва заметно колебал вершины двух- и трехобхватных лип и дубов. Внизу, у корней деревьев, густою, колючею чащею пророс крыжовник, темная листва которого резко отличалась от более светлого убора росших рядом с ним кустов красной, белой и черной смородины. Дальше, отделившись от этой группы, словно знатный боярин от смерды, высились яблони всяких пород, вишни, покрывавшиеся весною такою массою белых цветов с розоватым подбором, что за ними не видно было листвы. Тут же и груша виднелась, и слива кой-где. Ближе к забору потянулся малинник, предмет зависти и вожделений для проходящих в осеннее время мимо забора мальчишек, видящих сквозь частокол крупные, сочные ягоды, висевшие на стеблях куста, будто прячась под его сморщенный, словно слоеный, лист.

Наступал вечер. Последние лучи заходящего солнца освещали вершины высоких деревьев. Листва, позлащенная

закатом, чуть-чуть шелестела, словно убаюкивая тех пичужек, которые забрались уж в свои гнезда и изредка еще перекликались со своими подругами, также собравшимися на покой. Близилась ночь, и успокоение разливалось в природе. Но не успокаивалась, как все окружающее, тоска, которая грызла сердце Марьи Васильевны, тихо шедшей в это время по одной из дорожек. Бледна и грустна боярышня. Голова упала на грудь, на лбу глубокая морщина появилась, глаза впали. Тихо бредет она, не зная куда и зачем. Ветка смородины, переросшая своих сестер, задела ее лицо. Боярышня протянула руку, сорвала лист, подержала в руках и бросила... И опять так же тихо пошла дальше. Не видит она солнечного заката, которым так любила в былое время любоваться, не слышит ни тихого трепетания листьев, ни переклички полусонных птиц.

Все забыто, все ей опостылело. И голова ее уже не полна прежними думами; теперь только одна мысль беспрерывно гвоздит ее мозг: «Что делать? Что делать?!»

И не дает ей покоя эта мысль ни днем, ни ночью. Вот и теперь боярышню она же заняла, да так сильно, что та даже не слышит, как скрипит песок под ногами Анастасии Федоровны, которая ее нагоняет.

Только тогда очнулась, вздрогнув слегка, и оторвалась от своей неотвязной думы Марья Васильевна, когда мать, подойдя к ней, положила свою полную руку на ее плечо.

— Что, все грустишь да тоскуешь, Марьюшка, дочка моя болезная? — спросила Анастасия Федоровна, смотря на осунувшееся лицо девушки.

В ответ ей Марья Васильевна только тяжело вздохнула.

— Полно, дочушка, не кручинься! Все пройдет, позабудется и быльем зарастет!

— Нет, матушка, не утешай! По гроб я помнить буду его, моего сокола ясного, по гроб буду слезы лить по нем! — воскликнула боярышня.

— Что ж делать! Помни! Думушка не кусок, за окошко не выкинешь, а все ж и жить надо, как люди живут...

— Я постригусь... В монастырь уйду: коли не его, так Христовой невестой буду!

— И думать не моги! Отец не даст разрешения.

— Сбегу!

— Как же так! — воскликнула немного озадаченная этим решением Анастасия Федоровна.— Нешто можно отца позорить!

— Какой же тут позор? Я не к милому сбежала на пир брачный, а в келью монастырскую... Коли б к милому, тогда позор, а тут что же!..

Анастасия Федоровна немного помолчала, собираясь с мыслями.

— Дочка, дочка! — продолжала она наконец с укоризной.— Аль забыла ты пятую заповедь, что противу отца хочешь идти?

— Помню, помню! Да нешто я нарушаю ее? Сказала — не к милому иду, а ко Христу... Про это ж и в писании сказано... Помнишь, чай, что нам поп из церкви Микольской читал?.. Запамятовала? А я помню! Писано там, что, ежели кто любит отца али мать больше Христа, Господа нашего, тот не достоин Его!..

— А все ж не дело ты замыслила, не дело! — качая головой, говорила Анастасия Федоровна, сбитая с толку горячей защитой дочери.

Некоторое время мать и дочь шли молча, занятые каждая своими мыслями.

— Ну, а если б батюшка тебе не токмо не позволил в монастырь укрыться от света, а приказал замуж идти, что бы ты сделала? — осторожно начала сводить разговор Анастасия Федоровна к тому, о чем она хотела поговорить с ней.

— Коль за немилого — не пошла бы! — отрезала Марья Васильевна, слегка нахмурив брови.

— Супротив отца, стало быть, восстала бы.

— Да, восстала бы.

— Так ведь он силком может тебя выдать...

— Силком, да! Связанную разве под венец поведут на сором всей Москвы... А вольной волею не пойду!

— Ладно! Коль так, не будем об этом и говорить... А теперь скажи ты мне, кто на земле превыше всех?

— На земле — царь, над ним токмо Бог единый,— ответила немного удивленная Марья Васильевна.

— Верно! Должны мы царю повиноваться!

— Еще бы! Ведь он же помазанник Божий.

— А царице?

— И царице, конечно!

— Во всем повиноваться должны? — медленно подходила к намеченной цели Анастасия Федоровна.

— Во всем! Хотя бы живот свой положить приказано было за царя или царицу, и то должны,— говорила боярыш-

ня, не думая, что она произносит то самое, что нужно было ее матери.

— Так, хорошо... Ну, а если бы тебе царь или царица приказали не идти в монастырь, а с отцом да с матерью жить, пошла б ты все-таки в монахини?

— Нешто могу ослушаться воли их? Не пошла бы! — ответила Марья Васильевна, напрасно стараясь догадаться, зачем ведет мать этот странный разговор.

А Анастасия Федоровна все продолжала свой допрос.

— В монастырь не пошла б? Ладно! А если б царица замуж тебе за немилого идти приказала, что бы тогда?

— Что ж делать! Ослушаться — грех пуще, чем милому измена... Вышла бы волей-неволей,— говорила боярышня, дивясь тому, какие вопросы задает ей мать.

— Ну, так идем приданое шить спешно! — радостно воскликнула Анастасия Федоровна.

— Как? — остановилась пораженная Марья Васильевна, с тревогой смотря на мать.— Почто так шутить, родимая? — с упреком продолжала она.— Меня словно ножом кто в сердце ударил... Почто шутишь да смеешься над тоскою моей?

— Да не смеюсь я над тобой, дочка моя родная! Правду истинную я молвила, вот, как перед Богом! Царица тебя просватала!

— Что ты! Может ли быть! — воскликнула, бледнея, боярышня.

— Да, да! Сегодня днем просватала тебя за князя Ногтева, Данилу Андреевича!

Словно громом поразила эта весть Марью Васильевну. «Все кончено!» — мелькнуло у нее в голове. И она стояла перед матерью бледная как полотно, опустив руки... На лице ее застыло выражение ужаса. Словно столбняк на нее нашел; она ничего не видела, не слышала, не чувствовала, вся уйдя в себя, занятая той мукой, которая ей давила сердце, леденила кровь, лишь в мозгу ее продолжала шевелиться мысль: «Все кончено! Все кончено!»

А Анастасия Федоровна, увлеченная своею победой над непокорной девушкой, продолжала передавать подробности сегодняшнего разговора царицы с отцом. Наконец она заметила бледность девушки.

— Что с тобой, Марья, будто неладно чтой-то? Небось, все с красавцем своим расстаться жаль? Горе большое, понимаю тоску твою девичью, да ведь и радость немалая... Помысли только: сама царица сватьей у тебя! То ли не честь!

Полно, не задумывайся, родная! Что было — то прошло! Пойдем-ка лучше приданое шить... Спешить приказано!

И Анастасия Федоровна, взяв дочь за руку, повела ее к дому.

Марья Васильевна почти бессознательно, словно подчиняясь ее силе, пошла с нею. Она не рыдала, только одна крупная слеза пролилась из ее глаза, скатилась на сарафан и упала на песок сада... Это была, казалось, последняя дань былому. Все кончено, все умерло! Для Марьи Васильевны начиналась новая жизнь.

VI

ПЕРЕД ВЕНЦОМ

— Авдотьюшка! Подь-ка ко мне! С ног сбилась я совсем, сил моих нетути,— говорила Анастасия Федоровна старухе няньке.— А как без хозяйского глаза! Нешто выйдет ладно все!

— Ох, уж не говори, матушка боярыня! И я уморилася совсем, шамкала в ответ ей старуха.— Да и то сказать, не грех и умориться маленько, коли привел Бог радостного дня такого дождаться, что боярышню, дитятко-то мое малое, под венец поведут... Слава Тебе, Господи! Думала ль я, старая, что доживу до этого, когда ее малым ребеночком на руках нашивала! Ан дождалась!

— Что говорить! Радость великая! Особливо, что сама матушка царица просватала. А только уж и хлопот, не приведи Бог! Перво-наперво сговор, потом смотрины, там девишник, а сегодня — пуще всего — столованье... Одно за другим... Только поспевай да еще приданое шить приходилось — не отдашь же дочь на сором без прикруты *. Вот тут и вертись! Уж за те дни измучилась совсем, а сегодня так и вовсе силушки моей нетути! — в изнеможении опустилась на лавку Анастасия Федоровна.— Уж ты замести пока меня, поглядовай везде, Авдотьюшка.

— Сделай милость, отдохни, боярыня, а я присмотрю, будь покойна,— отвечала старуха.

---

* Прикрута — приданое.

— Спасибо... Смотри не прогляди чего... Перво-наперво на кухню поглядывай, чтоб Антип павлина * вовремя приготовил, да не пережарил... Опосля не забыл бы чего, напоминай ему... Да и сама упомни: перепеча крупичатая, хлебушки ситного... Этим делом пусть Антиповы помощники занимаются, а он поважнее возьмет — вот эти кушанья: папорок лебедин под взварцем шафранным, опосля ряб по лимоны окрашенный, потрох гусиный, гусь жареный, порось жареный, да куря в лапше, да куря в щах; курник, подсыпан яйцы; пирог с бараниной; пироги кислые с сырком; жаворонки, в масле поджаренные; пирожки с яйцами... Чтой-то позапамятовала сама... Что еще? Да! Сырников приготовит пусть, да карасей, да пирожков подовых... Опосля еще каравайчик, да куличков рассыпчатых... Кажись, все...

— Ахти, упомню ли! — проговорила Авдотья.

— Авось Бог памяти прибавит на сей раз... Ступай с Богом, а я здесь еще маленько помогу золотом довышивать-докончить убрус, что царице Марья поднесть должна в подарок.

Старуха хотела выйти.

— Погодь, погодь еще маленько! — окликнула ее Анастасия Федоровна.— Еще кой о чем сказать запамятовала. Иди к Ивану да скажи, чтоб он из медуши ** выкатил бочки с медом да олуем ***... Да выбрал бы те, что пополнее, не начаты еще, а начатых пусть не трогает. Опосля пусть и бочонки с винами заморскими: романеей, бастром и мальвазией повыкатит. Тоже что пополнее. Наливочек тоже пусть на забудет... Ну, иди с Богом... Коли еще что надумаю, кликну...

Авдотья вышла, а Анастасия Федоровна прошла в комнату, где множество девушек были заняты работой: кто спешил докончить что-нибудь из приданого боярышни, хоть и не по обычаю было то, что приданое еще не отвезено, да что делать, вся свадьба спешно так вышла, что и оглянуться не успели; кто трудился над убрусом, предназначенным в подарок царице. В числе их сидела и невеста, Марья Васильевна. Медленно и равномерно двигала она иглою, дошивая какую-то вышивку, и узор тонкою цветною нитью постепен-

---

* Жареный павлин был непременным блюдом за столом царей и бояр.

** Медуша — погреб, где хранится лед.

*** Олуй — пиво.

но вырастал под ее искусными руками. Руки деятельно работали, но голова не участвовала в этой работе: с того самого дня, как мать сказала ей о сватовстве Ногтева, Марья Васильевна была словно в чаду... Как сквозь сон, помнит она лицо своего нового жениха, так же, как и девишник, на котором веселилась не она, а ее подруги. Теперь она была странно спокойна и равнодушна ко всему. Горе, радость — одинаково не волновали ее.

Когда мать вошла в комнату, Марья Васильевна, казалось, была поглощена своей работой. Только бледность лица дочери да черные круги, окаймлявшие глаза, поразили Анастасию Федоровну.

«Ахти,— подумала она,— извелась совсем девица! Узнать нельзя... Кажись, ей эта свадьба хуже ножа острого. Как бы еще чего на столованье * с ней не приключилось, скажут: «порченая», тогда мне и отцу и веселье ** не в веселье».

— Ну, что, дочушка,— ласково обратилась она к Марье Васильевне, желая ее развлечь,— немного уж тебе в девицах быть осталось: не оглянешься — и под венец с князь-Данилой.

Боярышня словно очнулась от сна. Видно, далеко и от девичьей, и от приготовлений к свадьбе витали ее мысли.

«Сегодня свадьба... Ох, Господи, Господи, какой тяжкий крест посылаешь ты мне»! — подумала Марья Васильевна, и рука ее, державшая иглу с красной шелковинкой, слегка дрогнула.

Мать заметила своим зорким оком, как задрожала рука дочери, и приписала это усталости.

— Ты бы, Маша, пошла в свою светелку да поотдохнула бы... Какая тебе теперь работа, только измаешься больше. Подь, родная, да отдохни, а то теперь, чай, скоро и царица пожалует... Небось, запамятовала, что государыня матушка, Анастасия Романовна, к нам, как сваха твоя, приехать собиралась, до церкви тебя проводить. Поднимись в свою светелку, посиди в ней свои последние часы девичьи али приляг. Теперь уж недолго тебе в светлице своей быть — скоро покинешь ты дом отчий и матушку свою родимую, дочурка моя ненаглядная! — говорила Анастасия Федоровна, проводя рукою по золотистым волосам дочери, и голос ее слегка задрожал.

Не выдержало сердце Марьи Васильевны ласковых слов

---

* Столованье — свадебный пир.

** Веселье — свадьба.

матери. Замерло, закалилось оно в горле и стало уже недоступно для него, но все-таки растаяло от ласки материнской. Поднялась с сиденья боярышня, кинулась на шею матери и зарыдала. Долго сдерживаемые слезы пролились.

— Полно, родная! Что с тобой! — с испугом воскликнула Анастасия Федоровна, пораженная этими неожиданными слезами.— С чего ты это? Али со мною расстаться жаль? Что делать! Такова уж судьба девичья! Полно ж, не плачь, касатка. Пойдем со мной, я провожу тебя в твою спальню... Утри же слезы: негоже плакать перед венцом!

Обняв дочь за плечи, она повела ее наверх к ее светелке.

— Ляг лучше: полежишь, авось успокоишься,— сказала она, войдя с дочерью в спальню.— Не тоскуй, а положись на волю Божию: он лучше нас знает, что для нас хорошо, что скверно... Ляг же,— и, подведя дочь к постели, удалилась, оставив Марью Васильевну одинокой в ее светлице.

Однако Марья Васильевна не последовала совету матери, не легла спать, а, подойдя к окну, села на свое излюбленное место.

День был ясный. Лучи солнца проскальзывали в комнату сквозь густую листву росшей перед окном липы и ложились желтыми пятнами там и сям на полу и полог постели. Небольшой, но упорный ветер слегка покачивал верхушку векового дерева и заставлял тихо шелестеть его листья.

Чем-то знакомым повеяло на боярышню от этого тихого шелеста. Как ласка матери заставила встрепенуться ее застывшее в безысходном отчаянии сердце, так шепот листвы ее подруги детства и юности — липы — пробудил отлетевшие грезы, замершие, подобно сердцу, под бременем горя.

Шептала липа под все новой и новой волной набегавшего ветра, лились мечты боярышни, и порой она сама не знала — мелькают ли то думушки в ее голове или это шепчет своим старческим голосом вековое дерево.

«Полно, девица, полно! — слышит боярышня.— Не горюй! Свет всегда с тенью мешается. Так же и у людей. Не лей же, девица, слез, не печалься, красная! Бог Великий все знает, все ведает и посылает нам горе затем, чтоб еще больше ценили мы радость и счастье жизни. Жди и терпи, надейся и веруй, и счастлива будешь. Вытри же слезы, девица, терпи, болезная, без слез и роптаний: они все равно не помогут, надейся, верь, живи для счастья других, и ты сама скоро утешишься, и бесследно пройдет, исчезнет твоя тоска-змея лютая!»

Тихо, но неумолчно шелестела листва, волною неслись думы Марьи Васильевны, и все больше и больше замирала тоска, все спокойнее становилось на сердце.

VII

ОБВЕНЧАНЫ

Весело и шумно пировали бояре, вернувшись от венца к столованью. Радостен и весел как никогда Василий Иванович, не меньше, чем сидящая с ним рядом Анастасия Федоровна. Гости хмельны и сыты... Еще б! На такой ли свадьбе, как эта, не быть пьяным и сытым! Этакой свадьбы уж давно на Москве не запомнят! Одних кушаний всяких смен чуть не за сотню перевалило, а вина да наливок — хоть в баню иди да мойся — так их много, не говоря про меды крепкие, да сладкие и олуй, перебродивший знатно и выстоявшийся! Как ни любят покушать бояре, а все-таки то тому, то другому приходится отказываться от угощений, хоть и страшно обидеть хозяина. Зато взамен этого, для утехи Василия Ивановича, приналегли они на пития... это еще могут, еще желудок выдерживает! И стучат неумолчно братины да кубки тяжелые, узорчатые, с какой-нибудь хитрою на них надписью, вроде: «человече, что на меня зриши? не проглотить ли меня хощеши?» или: «воззри, человече, на дно братины сей и откроеши тайну свою».

Читают бояре такие надписи, кто грамоте разумеет, и с еще большим удовольствием тянут пенную влагу на радость хозяину. Славят гости доброту и щедрость Василия Ивановича да на молодых поглядывают.

— Горько! — кричат,— подсластить надо бы! — и любуются они, как счастливый муж жарко целует свою жену молодую.

А Марья Васильевна тоже вина пригубила маленько. Раскраснелась она. Кровь прилила к вискам и щекам. Сидит она румяная, куда и бледность утренняя делась, и бояре дивятся на боярыню молодую, на красоту ее засматриваясь. Не замечают веселые гости и счастливый супруг, как под кикой высокой, на лоб низко надвинутой, изукрашенной зернами бурмицкими да каменьями самоцветными, очи молодой словно дымкой какой-то затуманиваются.

Да кабы и заметили, не догадаться бы им, какая думушка

бродит в голове Марьи Васильевны, почему она словно с тревогой поглядывает, что конец скоро будет сменам яств и окончится столованье. А боится и ждет с трепетом сердечным того, что уж скоро ей придется вдвоем с мужем остаться, с нелюбимым, чужим человеком, и должна она будет подчиняться ему во всем, исполнять все его прихоти: жена — раба! Недаром же он ее, перед тем как с ней к брачному ложу идти, плетью легонько при всех ударит в то время, когда она будет с него обувь снимать * — и то и другое знаки господства с его стороны, рабства — с ее.

Тяжко Марье Васильевне. Для нее это не свадебный пир, а тризна по милому, по ее девичьим грезам и по разбитому навеки, казалось, счастью.

Но помнит молодая боярыня слова: жди, терпи, надейся и веруй! и ничем не выдает своей грусти. На устах ее играет улыбка, очи блестят, она кажется вполне довольной и счастливой. Не хочет она своим грустным видом смущать веселье гостей и печалить отца и мать. Она видит, как украдкой крестится ее матушка, что-то тихо шепча.

Знает Марья Васильевна, что, верно, мать шепчет:

— Благодарю тебя, создателя! Ишь, Марья-то весела как и довольна... Забыла, знать, о своем дружке, отогнала свою кручинушку, слава Тебе, Господи!

И еще веселее становится молодая боярыня, еще звончее звучит ее смех...

«Радуйся, матушка! Будь довольна, милая! — думает она.— Ты видишь, я весела, веселись же и ты — тебе так редко выпадает это на долю. А что у меня на душе, то пусть одна я знаю!»

Шумнее и шумнее делается в горнице, веселей и веселей становятся гости, а пир между тем, видимо, уже идет к концу. Уже начали ставить сласти. Вон только что подали сахарную коричневую коврижку, а там уж несут лебедя сахарного, пуда в два весом, там утю, тоже не легкую, а вот тащат диво дивное, целый город сахарный. Диву даются гости, как это мастерски все состроено: и башни тут, и церкви над стеной зубчатой возносятся, а на площадях люди на конях или

---

* От древнейших времен и до XVII ст. в Москве было в обычае, чтобы перед отходом к ложу, молодая снимала обувь с мужа, а муж в это время слегка ударял ее плетью. Обычай этот известен еще со времен язычества. Когда Владимир Великий женился на Рогнеде, она отказалась исполнить этот унизительный обряд, сказав: «Не хочу разути рабынича!», т. е. сына рабыни, т. к. Владимир был сыном Малуфы, ключницы Великой княгини Ольги.

пешие понаставлены — вот-вот, кажись, сейчас двинутся, заговорят да с боярами веселыми чаркой золоченой чокнутся, молодых поздравляючи. Дальше пошли сласти попроще: марципан сахарный, сахары узорчатые, ягоды разные, яблоки, шептала, инбирь в патоке и еще других всяких сластей многое множество.

Заедают гости сладостями обильные яства: кто с башни сахарной сорвет человека сладкого, в рот отправит да вином душистым запивает; кто у сахарной ути нос отколет да посасывает его, обмакнув в стоящую перед ним объемистую чарку с крепким медом; кто попроще, возьмет шепталы или инбирю в сладкой тягучей патоке да наливку густую попивает.

Однако как ни любят пить гости, а наконец и им невмоготу стало. То один, то другой, смотришь, от угощенья хозяйского отказывается да чарку кверху дном оборачивает:

«Довольно, дескать, пора и честь знать!»

Видит Василий Иванович, что зело упитаны гости и что дальше тянуть нечего — все равно веселей не будет — поднялся он.

— Ну-ка, гости дорогие,— говорит,— еще по чарке по последней опрокинем, да и проводить пойдем молодую в дом зятюшки моего дорогого!

— Вот это ладно Василий-ста промолвил! — сказал отец молодого.— Давно бы в наш дом пора... Я, чай, молодая наша уж соскучилась, с нами, со стариками, сидючи!

Еще раз звякнули дружно кубки и братины. Опростали гости до дна полно налитые чары, еще раз крикнули «горько!» и заставили пригубить чарку и Марью Васильевну. Пригубила она ее с веселой улыбкой, а у самой дрожь по телу пробежала.

Шумно поднялись бояре, помолились на иконы да хозяина за хлеб за соль благодарить стали. А уж отец молодого сзывает их на завтра на новый пир, на княжой *, к себе в дом. Знают гости, что и завтра их ждет угощенье, и не меньше благодарят его за зов. Между тем дружка уже расчистил молодым проход на крыльцо. Их давно уж у крыльца пара коней буйных и быстрых дожидалась. Сесть едва молодые успели, как кони понесли, словно перышко, тяжелую колымагу, только пыль летит. Дружка на горячем аргамаке чуть угнаться может. Однако старый князь Ногтев, отец молодого, вместе с женой своей сумел как-то ухитриться поспеть домой раньше новобрачных, и только они, подъехав к дому, успели

---

* Княжим — назывался пир на другой день свадьбы в доме молодого.

в палаты войти, как уж отец дрожащими руками осенил иконой их склоненные головы, а потом, передав образ жене, благословил хлебом-солью.

Вступление Марьи Васильевны в дом мужа состоялось.

Между тем понемногу собирались поезжане. Оставалось совершить последний обряд: «выдаванье молодой» и уложить их на покой в сеннике.

Медленно выступил из толпы поезжан боярин, приятель Темкина, старший их всех и по роду, и по летам. Перекрестился он на образа, провел рукой по своей серебристой бороде и повел речь к молодым.

— Дети мои,— начал он дрожащим старческим голосом,— теперь вы вступили на житейский путь... Вы молоды, не знаете, каков он есть. Слушайте же, что скажу вам. Мне уж недолго осталось быть на этом свете, я прожил жизнь, прошел путь, положенный Господом, я знаю, труден он али легок... Ох, говорю вам, тяжек путь житейский! Но не бойтесь его: Бог повелел жить и дал нам заповедь великую: любите друг друга! Вот в этом ваша опора и спасение... Помни, Данило, помни и ты, Мария, заповедь сию великую, и живите так, как поучает она. Ты, Данило, берешь под свою власть и защиту голубку чистую и помни: с тебя на страшном суде спросится, оставил ли ты в чистоте ее душу, не поселил ли в ней мыслей злых, черных, такой же ли кроткой сердцем она прожила и окончила свою жизнь или в предсмертный час могла сказать что-нибудь противу тебя. Тяжко вам, что я говорю о смерти тогда, как здесь кипит веселье и жизнь начинается, а не оканчивается. Что делать! Я должен сделать это, чтоб наставить вас на путь истины. Еще скажу, Данило, ты господин жены твоей, ты знаешь это, но помни всегда, что жена — не раба... Властвуй над ней, но не силой своею, а любовью. Что же тебе сказать, Марья? Если от мужа, господина твоего, я мог требовать, чтоб он сохранил в тебе душу чистою, то могу ль того же просить от тебя, чтоб ты его душу сохранила? Ведь ты не госпожа его, а только подруга жизни, могу ль от тебя этого требовать? Да, могу! Доброе слово, вовремя сказанное, спасало великих грешников. И ты так же делай. Видишь, что тоскует твой муж, что кручина им овладела, спроси, о чем он кручинится. Раздели тоску его, утешь, если можешь, а нет — горюй вместе с ним, он увидит, что ты поняла его скорбь, делишь с ним ее, и на душе у него полегчает. А увидишь, угрюм он ходит, думы черные запали, знать, в его голову, разведай про эти думы,

скажи ему, что неладны они, и спасешь ты его, быть может, от греха великого. Что еще прибавить? Бояться Бога, чтить родителей вы с младенческих лет обучены, чай, не забыли и не забудете. А я кончу так же, как и начал: любите друг друга — в этом и ваше счастье, и спасенье!

Старик закончил речь среди глубокого безмолвия присутствующих. Марья Васильевна стояла, склонив голову, только изредка поглядывая на мужа, и речь ли так подействовала на нее или же просто сердце ее искало успокоения, только Данило Андреевич, еще недавно чужой для нее, уже не казался ей теперь таким. Она понимала, что связана с ним крепкими узами, и ей хотелось найти в нем друга, с которым бы она могла легко и без боязни совершить тот трудный житейский путь, о котором говорил старик.

Окончив речь, старик «выдал» молодую мужу.

— Поди сюда, Данило,— сказал он князю, взяв за руку молодую,— вот жена твоя, возьми ее,— и он передал Марью Васильевну в объятия мужа.

Молодых повели в сенник.

А уж в сеннике приготовлена на ржаных снопах брачная постель.

Двадцать семь снопов положено, поверх их перины настланы и накрыты простынями атласными. В головах постели поставлена кадь большая с пшеницей, в ней свеча восковая воткнута и зажжена, в ногах кадь такая же с ячменем, по бокам кади с рожью.

У входа в сенник молодых осыпали хмелем и дверь за ними плотно заперли.

Поезжане начали по домам собираться, а дружка, вскочив на коня, стал разъезжать вокруг сенника с обнаженной саблей в руке, чтобы кто-нибудь не потревожил молодых или колдовства какого не учинил.

VIII

В СЕННИКЕ

Наступил тот час, которого так страшилась Марья Васильевна: молодая осталась наедине с мужем.

В первую минуту неловко чувствовали себя молодые.

Князь сел на постель и, покручивая шелковистый ус, молчал и украдкой поглядывал на свою красавицу жену. Марья Васильевна остановилась у порога, словно боясь сделать шаг дальше, и, вся трепеща, боялась поднять глаза на своего мужа, со страхом ожидая, что вот-вот раздастся его голос, властно зовущий ее к себе. Однако молчание длилось. Тишина нарушалась лишь изредка легким потрескиванием свеч, воткнутых в кадях с зерном. Неподвижное пламя свечей обливало комнату ярким светом.

— Мария Васильевна... то бишь, Мария, ты и взглянуть на меня не хочешь... Неушто уж так я не люб тебе? — раздался тихий голос Данилы Андреевича вместо ожидаемого молодой боярыней сурового призыва.

Марья Васильевна не отвечала, только, подняв очи, глянула на мужа. Ее глаза встретились с глазами молодого князя, и она прочла в них словно упрек себе. В них не было видно гнева, очи князя с кротостью и любовью смотрели на нее. Марья Васильевна словно стыд почувствовала за свою холодность к мужу.

«Нешто он виноват, что меня разлучили с милым?» — подумала она и, подойдя, села рядом с ним на постель. Радостно блеснули очи молодого князя... А эти очи были не хуже глаз Андрея Михайловича! И они, как те, могли грозно сверкать, когда гнев загорался в груди, и они могли теплою лаской нежить свою любушку, кротко глядя на нее из-под тонких полукруглых бровей. Да и красою Ногтев не уступал Бахметову, хоть был ростом пониже, зато постройней, а его золотые кудри, волной воздымавшиеся над высоким лбом, чуть ли не получше были темных кудрей Андрея Михайловича.

— Что ж ты не промолвишь словечка в ответ мне, голубка моя? — продолжал Ногтев, видя, что Марья Васильевна не отвечает.— Больно не люб я тебе? Молви! — и словно тоска послышалась в голосе князя.

— Люб ли — того не могу я сказать... Сам ведь знаешь, до свадьбы тебя я раз-другой лишь видела только... А не люб, почему ж? Ты мне не ворог и зла не сделал... За что ж не люб,— ответила Марья Васильевна, потупив глаза.

— Стало быть, ни то ни другое,— вздохнул князь.— А ты мне люба... Ох, как люба! Ты говоришь, меня всего раз или два видела, а я тебя много раз видел, только ты меня не примечала али не хотела приметить. Помню, не раз я во время обедни али всенощной вместо икон святых смотрел на

тебя, и казалось мне, что то ангел с небеси на землю спустился да обратился в девицу красную. И сердце билось сильнее у меня в груди, когда я глядел на тебя, бывало... А кончится служба, уйдешь ты домой с матушкой, и такая тоска нападет на меня — света Божьего не взвижу! Не понимал я тогда, что со мной творится. Был, кажись, раньше молодец как молодец, ан вдруг, словно девица, затосковал, закручинился... Думал, скажу прямо, не порчу ль какую на меня навели... К ворожеям обращался, чтоб избавиться... Поили они меня разными зельями, гадали и так и сяк, а тоска моя все сильней и сильней становилась... А знахарки баяли — порча! Только одна мне глаза открыла, погадала и молвила, что тоска моя от очей девицы лазуревых идет... Тут и я догадался, от кого идет моя кручина. Понял все, а сватов созывать боязно: вдруг не примут, тогда еще горше... Кабы не царица, не знаю, как бы все и кончилось... Теперь же, слава Богу, все слажено!.. Я прежде и помыслить боялся о таком счастье и радости! — говорил князь, с восхищением глядя на красавицу жену.— Только,— добавил он мрачно,— мне и радость не в радость будет, коли ты меня не полюбишь! Скажи, родная, голубка моя, скажи, полюбишь ли ты меня?

— Коли ты муж мой, нешто могу я тебя не любить?

— Ах, не то, не то! Полюбишь ли, спрашиваю, не как мужа своего, а как своего милого, вот о чем я спрашиваю?

Марья Васильевна не знала, что ответить ему: сказать правду — значило огорчить его, а солгать совесть мешала. Она раздумывала и медлила с ответом.

— Ты не отвечаешь,— произнес Ногтев, видя ее молчание.— Молчишь, стало быть, не знаешь, как мне ответить... Я понимаю — тебе тяжко сказать, что не полюбишь меня. Что же делать! Насильно мил не будешь! Такова, знать, воля Божия! Знать, счастье мне на роду не написано! — печально добавил князь и поник головою.

Воцарилось тягостное для обоих молчание.

— Знаешь ли, что та ворожея,— продолжал Данило Андреевич, помолчав,— которая узнала, откуда моя тоска идет, еще кое-что предсказала и правду, вижу, молвила истинную! Знать, та знахарка не обманчивая, и наука ее подлинно от Бога идет... Ворожея та Ведуньей прозывается, стрельчиха, вдова... Слышала о ней, чай?

— Да, слыхала,— коротко ответила Марья Васильевна, погруженная в свои думы.

— Так вот эта самая Ведунья всю судьбу мне открыла...

Сказала, что женюсь я на той девице, по которой сердце мое тоскует, а только у той зазнобы моей есть уж милый, и долго она того милого не забудет, а меня полюбит ли когда, то еще бабушка надвое сказала! Вот оно теперь и сбывается! Э-эх, доля моя горькая! — тряхнул князь золотистыми кудрями, и тяжко, тяжко, видно, было у него на душе.

Жаль стало его Марье Васильевне.

«Ишь, тоскует, болезный! Кабы могла бы полюбить, полюбила бы его... Кроткий он, видно, добрый... Скажу ему все, без утайки, как есть, может и полегчает у него на сердце... К тому же и таить от мужа своего что-нибудь — грех».

— Слушай, муж мой, Данило Андреевич! — тихо начала она,— не хочу таить от тебя. Зачем скрывать али обманывать — правда всегда лучше кривды... Не потаю... верно сказала тебе Ведунья: есть у меня милый, и любила я его больше жизни своей, и теперь люблю... Виновата ль я? Сам знаешь — сердцу не прикажешь...

— Как звать твоего милого? — быстро спросил Ногтев.

— Зачем тебе знать? Не все ли равно?.. Впрочем, будь по-твоему, я и это скажу тебе: его зовут Андреем Михайловичем Бахметовым.

— А, вот кто это! Видал его не раз... Красавец!.. Ну, да теперь недолго ему на белом свете красоваться... Приедет с похода — он теперь ушел с Данилой Адашевым — убью его!.. Али сам, может, лягу костьми: вместе нам не жить на белом свете! — воскликнул князь, и брови его сдвинулись, а в кротких глазах сверкнул недобрый огонек.

— Убьешь? — сказала Марья Васильевна,— а за что? За то, что он любит меня? Так нешто можно совладать со своим сердцем?.. Ежели б можно было, то почему же ты с тоски по мне чахнул? Не мог, стало быть, совладать со своею любовью... А его, Бахметова, винишь в том, в чем и сам повинен. Можно ли так? Послушай лучше, что скажу я тебе... Люблю его, прямо говорю, люблю больше жизни своей, а только обета в верности, данного пред алтарем святым, не забуду и не нарушу... Как перед Богом скажу, была бы моя воля — ни за тебя, ни за другого не пошла бы, кроме милого моего... Но теперь не воротишь — мы повенчаны, и я обета не преступлю...

— Да не о том тоска меня берет... Знаю я, что чистая в тебе душа и ты греха не сотворишь... Иное меня кручинит!

— Что же?

— Не люб я и не буду любым тебе никогда, вот о чем я горюю! — печально проговорил князь, низко опустив на грудь свою красивую голову.

— Жаль мне тебя, болезный! — тихо проговорила Марья Васильевна, растроганная его печалью.— Знаю, как болит твое сердце, как скорбишь ты... По себе знаю! Чем утешить тебя? Вижу я, кроткий ты, добрый... Слушай!.. Пройдет время, утихнет моя тоска о милом, и... и тогда люб станешь ты мне, потому что сердце у тебя золотое!.. Поняла я это.

— Так ты, говоришь, полюбишь меня? — сказал князь, и лицо его просветлело.

— Да!.. Полюблю, только жди, дай улечься тоске моей... А до тех пор... до тех пор я буду тебе верной женою и подругою жизни... Судьба устроила так, чтобы мы вместе шли по пути житейскому, будем же дружно свершать эту путь-дороженьку! Будем делиться всякою думушкой, всякою радостью, всякой невзгодою... Хочешь ты этого?

— Еще бы не хотел, голубка моя, жена моя дорогая! — радостно воскликнул Данило Андреевич.

— Что же? Утешился ли маленько? Полегчало ли у тебя на сердце? Да? Тем лучше — рада я за тебя! Ты и теперь уж мил мне становишься, потому, душа у тебя чистая, добрая! Не тоскуй же! Утешься совсем! Я тут подле тебя, жена твоя молодая... Целуй же меня, муж мой! — и уста Марьи Васильевны обратились к пылающему лицу князя.

Тот заключил ее в свои жаркие объятья.

А в далекой татарщине Андрей Михайлович в это время спешно прощался с красавицей татаркой и непоколебимо верил в верность своей милой.

Жестокий удар ждал его!

IX

НЕЖДАННЫЙ УДАР

Был знойный июльский день. Полуденное солнце горячими лучами обливало Москву. В городе было жарко и душно. Немощеные московские улицы, словно серой бронею, покрылись засохшею грязью, и проезжавшие по ним боярские

рыдваны и возки всяких сортов поднимали целые столбы пыли, еще более увеличивая духоту. Но ни зной, ни духота не могли удержать в домах московских граждан, и на улицах и площадях было заметно большое движение. То и дело мелькали осанистые фигуры бояр, ехавших верхом на коне или в тележке, запряженной парой сытых и быстрых лошадей. Целые толпы пешего люда брели куда-то, о чем-то шумно толкуя. День был будний, а между тем колокола московских церквей гудели неумолчно.

— Чтой-то такое? — задавал себе вопрос, слыша трезвон, московский житель, сидевший дома, и, кладя работу, спешил на улицу.

Толпы народа все увеличивались.

— Микитка, стой, парень, подожди! — кричал какой-то простолюдин, одетый в синюю из грубой ткани рубаху, прорванную на локтях, и такого же качества и цвета необходимую принадлежность одежды, догоняя высокого и тощего парня, спешно протискивающегося сквозь толпу.

— Эфто ты, дядя Хведот! Беги за мной скореича! — отвечал парень, оборачиваясь и слегка замедляя шаги.

— Куда бежишь-то? Али что сотворилось? И в колокола больно дюже трезвонят... Уж не пожар ли, грехом! — сказал Федот, настигнув наконец Микитку.

— Какой пожар! Весть добрая на Москву пришла... Нешто не слышал?

— Не! А что такое? — спросил Федот.

— Из Крыма от войска к царю гонец приехал: совсем наши татар там побили! Теперь, почитай, конец пришел крымскому царству!

— Слава Тебе, Господи! — сняв шапку, перекрестился спрашивавший.— Теперь, может, не будут, ровно злые волки, на Русь нашу матушку набегать да в полон красных девушек утаскивать! Слава Господу!

— Да, пришел, знать, и им, как казанцам, конец! — продолжал парень.

— Даже и не верится, паря! Право, не верится, чтобы хана смирить можно было... И, как я смекаю, эфто все так, на время лишь, а опосля крымцы опять за свое возьмутся,— со вздохом произнес старший.

— Нет! Теперь царь-батюшка, полагать надо, добьет их и очухаться не даст!

— Давай Бог! Поживем — увидим!

— А куда ж эфто народ-то бежит, да и ты с ним?

— Молебен митрополит служит, сказывают, по эфтому самому случаю... Царь сам, бают, на ем будет... Ну и бегут, каждому и Бога поблагодарить хочется, и на царя посмотреть любо!..

— Вот оно что! А мне и невдогад!

— Так бежим скорее, а то наберется народу, и в собор не попасть будет! — сказал первый из говоривших.

— Бежим, бежим! Только как бы через толпу пробраться,— ответил Никита, и оба еще усерднее стали пролагать себе путь в толпе бегущего люда.

А толпа все росла.

Когда Никита и Федот приблизились наконец к собору, то увидели, что пробраться во внутренность церкви далеко не так легко, как они предполагали: на паперти собора была страшная давка. Пока они стояли, раздумывая, лезть ли уж им в эту давку, из толпы на паперти послышался хриплый старушечий голос:

— Ой, ой! Отпустите, православные, душу на покаяние! Да-а-вят!

Очевидно, в толпе кого-то давили. Крик этот раздался неподалеку от Федота и Никиты, стоящих близь паперти. Они поспешили на помощь, проложив дюжими кулаками себе проход, вытащили из давки того, кто кричал. Это оказалась старуха. Она полузадохлась и теперь, стоя на просторе, вне толпы, жадно вдыхала воздух.

— И чего эфто ты, бабушка, в давку такую полезла... Знамо дело, стар человек, слаб, как раз раздавят,— с укоризной сказал Федот, глядя на бледное лицо старухи.

— Ох, уж и не говори, милой! Чуть душу Богу не отдала... так сдавили... И ума просто не приложу, чего я полезла-то туда! Шла мимо, вижу в собор народ валит. Что такое? спрашиваю, потому знаю, обедня уж кончилась. Говорят мне: — митрополит молебен служить будет по сему случаю, что крымчан наши вои побили, и царь приедет... Услышала я, ну и мне захотелось помолиться со всеми, и полезла в давку... Оглупела совсем, видно, я от старости. Вот те и помолилась! Кабы не вы, добры молодцы, спасибо вам, так совсем бы мне тут конец, право слово! Умерла б, спаси Бог, без покаяния!

— Авдотья! Ты что здесь делаешь, старая? — окликнул ее в это время высокий загорелый незнакомец.

Старуха — это была нянька Марьи Васильевны — с недоумением посмотрела на незнакомца, звавшего ее по имени.

— Чтой-то, боярин,— сказала она, глядя на стоящего перед нею мужчину, заслонив рукою от солнца свои подслеповатые глаза,— как будто мне не признать, кто ты таков.

— Перемена во мне, стало быть, большая, коли ты меня признать не можешь,— произнес, усмехаясь, незнакомец.

— Батюшки-светы! Да никак это ты, боярин, Андрей Михалыч! — всплеснула руками старуха.

— Он самый, он самый, бабушка!

— Да неужто вернулся уж совсем с похода?.. Ведь, кажись, войско еще не возвратилось...

— Совсем вернулся!.. Хочу в Москве-матушке белокаменной пожить: надоело с татарами гололобыми возиться... Тоска взяла, вот и приехал домой, благо, попутчик нашелся — посланец от Данилы Адашева — князь Хворостин, Федор... Так-то! Вчера поздно только в Москву приехал, еще нигде побывать не успел. Ну, как поживаешь, старая?

— Да уж какое мое житье? Знамо дело, старость — все кости болят, особливо к дождю, так просто моченьки нету-ти!.. Одначе Бог еще моим грехам терпит, скриплю помаленьку; сейчас только чуть было душу мою грешную Ему в руцы не отдала. Кабы не эти молодцы, то не быть бы...

— Как боярыня? Здорова ли? — нетерпеливо перебил Андрей Михайлович словоохотливую старуху.

— Здорова, слава Богу! К ней-то я и пробиралась, да по пути в собор завернуть вздумала.

— Как к ней? — удивился князь.— Стало быть, домой?

— Нет, к ней самой... Да ты что же, нешто не слыхивал?

— Чего? — спросил князь, и сердце его сжалось недобрым предчувствием.

— Неужто не слышал про радость-то нашу? — снова спросила старуха.

— Да нет же, не слышал, да и слышать некогда было: сказывал, вчера вечером только приехал... Что же? Какая радость!

— Да ведь повенчали мы нашу боярышню! — брякнула старуха, не подозревая, какой удар она наносит этими словами князю.

— Как?! Давно ль? — вскричал, побледнев как смерть, князь.

— Да вот уж второй месяц идет...

— За кого она вышла? — едва слышно спросил Андрей Михайлович.

— За Ногтева князя, царица сама, бают, ее просватала... Только, по правде сказать, не больно, видно, охота была боярышне замуж идти... Убивалась страсть как, сердешная! Высохла вся с тоски, перед венцом такая была, что в гроб краше кладут, глядеть жалостно становилось. И с отцом у

ней была допреж этого ссора большая: она, вишь, бают, за кого-то другого замуж просилась, а отец не пущал. Известно, не захотел — что с ним поделаешь!.. А только гневался он тогда сильно, на весь дом страху нагнал. Теперь ничего живет с мужем Марья Васильевна, ладно, кажись... Известно, стерпится — слюбится!

— Прощай, Авдотья! — внезапно сказал князь, отходя от старухи.

— Что ж ты это так вдруг, боярин? — удивилась старуха.— И не сказал, что передать Марье Васильевне, али сам зайдешь к ней?

— Скажи ей, чтоб лихом меня не поминала, а сам к ней не пойду.

— Почему ж?

— А уж так! Прощай! — проговорив это, Андрей Михайлович скрылся в толпе.

А старуха долго еще стояла неподвижно, дивясь такому концу разговора с князем. И вспало ей на ум, что уж не Андрей ли Михайлович был тем молодцем, который Марье Васильевне приглянулся и по которому слезы горькие боярышня проливала, да и ему, знать, девица по сердцу пришлась.

«Так, должно, и есть!» — думала старуха, устремив глаза куда-то вдаль и пожевывая тонкими ввалившимися старческими губами.— «Ишь, дело какое! Да... То-то она, сердешная, так слезами горючими обливалась. Грех какой! И чего Василий Иваныч не позволил замуж за этого боярина идти, ума не приложу?.. Спесь, должно, боярская помешала,— родом, верно, ниже его Андрей Михайлыч, ну и вздурил старый! Эх, греховодник! Ну, да уж теперь что — дело сделано, назад не оборотишь. Поплетусь, ин, да расскажу Марье Васильевне, кого видала... Тоже, пожалуй, грустить будет, болезная!

Авдотья заковыляла, медленно пробираясь сквозь толпу снующего перед храмом люда.

X

РАЗБИТОЕ СЧАСТЬЕ

Андрей Михайлович, отойдя от Авдотьи, поспешно пошел, сам не зная куда. Он словно хотел уйти от того, что

сейчас внезапно закралось к нему в душу: от чего-то ужасного, более страшного, чем смерть, тоскливого и щемящего неумолчно. Он шел, опустив голову, ничего не видя, не слыша. Натыкался на прохожих, чуть не попадал под копыта коней и все шел вперед, не останавливаясь, не оглядываясь назад. В его голове не было дум, лишь одна мысль жгла ему мозг. «Изменила! Изменила!» — проносилось в его голове, и это же слово шептали уста.

Прохожие останавливались и сторонились, глядя на этого быстро шедшего прямо на них человека, неестественно размахивавшего руками и что-то бормотавшего себе под нос.

— Ишь, молодец, как зелена вина нахлебался! — говорили они и провожали молодого боярина насмешливыми или укоризненными взглядами.

А Андрей Михайлович все продолжал свой путь, все прямо, прямо, никуда не сворачивая, не останавливаясь.

Невдалеке узкою серебристою лентою сверкнула Москва-река. Андрей Михайлович, не сознавая, что он делает, подчиняясь лишь стремлению идти все дальше и дальше, шел прямо к реке, миновал набережную, тогда не имевшую никаких перил, спустился с откоса берега. До воды оставалось шага два. Молодой боярин поднял голову. Ему бросилась в глаза сверкающая под лучами солнца поверхность речки. Он понял, что перед ним вода.

«Что-то мне теперь? В омут! Да... Туда...— мелькнуло у него в голове.— Прости-прощай, жизнь!» — и, перекрестившись Андрей Михайлович готов был броситься.

Чья-то рука удержала его.

— Побойся Бога, боярин! Не губи душу! — раздался за его спиною чей-то голос.

Бахметов с досадой оглянулся. Позади себя он увидел небольшого роста мужчину, лет шестидесяти. Человек этот был чрезвычайно слаб по виду, длинная запущенная борода и всклокоченные волосы, обрамлявшие его исхудалое лицо, придавали ему странный и дикий вид. Одет этот незнакомец был в длинную, темную одежду, напоминавшую подрясник, кое-где прорванную. Поясом ему служила железная цепь.

Как ни был расстроен Андрей Михайлович, однако он с первого взгляда узнал в этом незнакомце известного всей Москве юродивого.

Во взгляде юродивого было что-то такое, что заставило Андрея Михайловича несколько прийти в себя.

— Оставь меня, блаженненький! Чего тебе? — с неудовольствием промолвил Бахметов.

— Негоже так делать, боярин! Негоже! — ответил юродивый, качая головою.

— Почем ты знаешь, старче, что негоже? Знать, жизнь опостылела... Не от сладости ведь... Пусти меня! Не могу я жить... Кабы ты знал, то...— мрачно произнес Андрей Михайлович.

— Жизнь опостылела! Экие слова промолвил,— перебил его юродивый.— И не боязно тебе?

— Чего бояться? Жизнь хуже смерти!

— А грех? Аль для тебя и Бога уже нет? — строго промолвил старик.

— Бог... Бог...— смутился Бахметов.— Бог простит. Он все видит, знает, с какого горя я на это решаюся.

— А! Бог-то терпелив и многомилостив, а грех мы — в орех! Вот оно что! Так, так!.. Ныне и все православные так делают, потому им от этого и жить легче, и помирать не боязно... Хе-хе! Христиане боголюбивые... И жить легко, и помирать хорошо... н-да... Один — грех в орех, чтоб мошну потолще за пазуху спрятать, другой — чтоб мошну ту стащить, а третий — чтоб горе в реке утопить... Так-то... И ладно бы все — да грехи-то, пожалуй, в орехи не запрячете — орехов не хватит, а грехов еще короб целый останется... Куда деть? Отдадим блаженненькому, он до Бога дотащит... А у блаженненького силушка слабенька... Где ему стащить коробище? Тащите, говорит, сами, православные, коли натаскать сумели... Тащите. Хе-хе. А блаженненькому не под силу. Хе-хе. Вышла вся силушка его, в людях истратилась,— говорил юродивый, по привычке прибегая к темной и странной речи.

Он все еще не выпускал рукава Андрея Михайловича, и, должно быть, было что-нибудь особенное в этом старом и дряхлом существе, что богатырь, каким был Бахметов, не пытался освободиться от державшей его слабой руки юродивого.

— Пусти меня, блаженненький! — произнес Андрей Михайлович.

— Для ча не пустить! — ответил тот, выпустив рукав боярина.— Иди! Вон речка... Бульк, бульк... И на самое дно низко тело твое упадет, на песочек, к рыбкам. Вода все горе покроет, хватит ее тут. И ладно. И делу крышка. Тебя нет и горя нет... Одно беда, душенька-то высоко, высоконько полетит, да не долетит куда надо! Ох, ох, грешная! Тяжко ей,

бедной, будет. «Вот, бает душа-то, горе все думала оставить, ан оно за мной увязалось и к земле тянет... Не можно лететь! Тяжко больно насело на меня, ровно гиря тяжеленная»... И упадет на землю... А уж тут ждут... Пожалуй. В гости, милости просим. Давно тебя ждали. У нас тепло. Недаром пеклом прозывается терем-то наш. Зовут душеньку рогатые, да хохочут, да языками, что жалами змеиными, прищелкивают... Так-тось. Что ж стоишь, молодец, нейдешь? Вишь, водица плещется... Солнышко по волнам лучами играет... Весело! Манит!.. А душа-то тоскует, горе сердце давит... Разом все бросить, в волнах утопить... И ведь близехонько и скорехонько... Шаг, два, и готово. И тело рыбам, и душенька бесам. А горя нетути боле, нетути. Хе-хе. От горя мы избавились. Хе-хе...

— Довольно, блаженненький. Не мани жить: останусь жив — хуже будет, зла натворю много... Чую это! — мрачно проговорил Андрей Михайлович.

— Полно, чадо, не говори этого! — изменил свой тон юродивый.— Подь лучше со мной на тот бугорчик, сядем да потолкуем.

— Увидят тебя — народ, пожалуй, сберется! — нерешительно промолвил Андрей Михайлович.

— Ишь, ты! Должно, и взаправду ты, молодец, голову потерял: и пути своего не упомнил. Ведь ты, почитай, за Москву вышел... Какой тут народ... Глянь-ка! — усмехаясь, сказал юродивый.

Андрей Михайлович оглянулся.

Действительно, во время своей бессознательной ходьбы молодой боярин успел пройти громадное расстояние и теперь уже далеко находился от центра города. В этом месте Москвы было мало строений, лишь кое-где лепились по берегу реки убогие лачуги бедняков. Прохожих совсем не было видно.

Андрей Михайлович медленно подошел к юродивому, уже успевшему сесть на бугорчик, и опустился рядом с блаженненьким на мягкую прибрежную траву.

Происшедший перед этим разговор со стариком привел Бахметова в себя, зато тоска его заговорила сильнее прежнего. Он сидел молча, устремив глаза на реку.

Юродивый зорко смотрел на сидевшего рядом с ним боярина. Лицо его было серьезно.

— Что же, молодец, молчишь, не поведаешь мне своего горя? Поведай! Посудим да покалякаем, может и выйдет из сердца твоего змея — тоска лютая,— сказал он боярину.

— Ох, нет, блаженненький! Не таково мое горе горькое, чтоб скоро ему из души моей уйти... По гроб будет оно со мной! — воскликнул Андрей Михайлович.

— По гроб? Почем знать! Нешто известно тебе, как Бог положил? Неведомо? Так как же ты говоришь такое?

— Чувствую — оторвалось словно что-то, а душу не наставишь, не пришьешь к ней чего, коли пустота... Чем заполнишь? — грустно говорил Андрей Михайлович.

— Поведай, не таись, что с тобой приключилось?

Боярин не отвечал. Слишком тяжело ему было повторять то, что он слышал от Авдотьи, словно рану больную бередить.

— Что ж молчишь? Тяжко вымолвить али не хочешь? — спросил юродивый.— Может, родитель нанес тебе обиду великую, не стерпело твое сердце, и вот ты горе топить побег? Так?

— Нет! Моего родителя уж давно на свете нетути... Не то совсем,— ответил Бахметов.

— Может, богатства лишился... Потерял али воры утащили, вот и бедно жить стало?

— Нет... Я богат...

— Так, знать, приглянулась молодцу красна девица, да что-нибудь промеж них неладно вышло? — допытывался юродивый.

— Да,— тихо промолвил Андрей Михайлович.— Ты угадал, старче! Приглянулась мне девица, и любил я ее больше жизни своей, больше света белого!.. И она тоже тем же мне платила. И думали мы счастье наше устроить... Ан вышло не то! Уехал я в поход, а ее здесь выдали силком, почитай, за немилого! И нет теперь для меня радости на белом свете, опостылела мне жизнь!..

— Полно, родный! Полно грешить! — мягко заговорил юродивый.— Жизнь — дар Божий, и нешто наше дело толковать, хорош этот дар али нет?.. Надо жить, положась на волю Божию: он знает, Благий, что делает, куда ведет нас.

— Ах, блаженненький! Коли б можно было жить с таким горем на сердце! — с тоской сказал Андрей Михайлович.

— И можно, и надо жить! — горячо воскликнул старик.— Али думаешь, у тебя лишь горе, другие не тоскуют и бед не терпят?.. О, боярин! Еще горше беды бывают, да не бегут топиться, потому, нешто можно отнимать чужое добро? А жизнь — не наша, она Божья — можно ль ее отнять?

— Да, ты верно говоришь. Но что же делать, если си-

лушки вынести горе не хватит? — в раздумье проговорил Андрей Михайлович.

— Понатужься — и хватит! Отчего же у других хватает? А беды терпят больше твоих! — сказал юродивый.

— Да вот что,— продолжал он, немного помолчав,— скажу про самого себя... Не для бахвальства, сохрани Бог, а чтоб показать, как Господь премудро все соделывает и через беды и испытания великие ведет людей к спасению. Поведаю тебе то, что никому допреж сего не говаривал... Потому скажу, что вижу слабый дух твой, надо укрепить его... Слушай же... Был я молод и деньгу имел. В купцах тогда в Ростове состоял. Жена у меня была в ту пору молодая, детки малые — сыночек да девочка... Благословил меня Господь счастьем. Жил я припеваючи, ни о чем не тужил, не заботился, и в делах удача шла. Расторговался. Почитай, на весь Ростов известен стал. И не думал я тогда, что пошлет мне Господь испытание! Поехал раз я по делам в Нижний. Это было весной. Растопель. По дорогам ни проходу, ни проезду, и реки вздулись, почернели — не сегодня-завтра лед тронется... Замешкался я в пути, как ни торопился, однако, к сроку поспел и дело выгодно справил. А назад, думаю, спешить нечего, погожу, пока дороги малость пообсохнут, и сижу себе в Нижнем, с приятелями забавляюсь; и не чует моя душенька, что у меня дома творится... Однако время шло, долго ль, коротко, я тронулся в обратный путь. Скоро до Ростова добрался, и радостный, довольный такой еду. «Вот, думаю, сейчас жену ласковую увижу, деток расцелую. То-то радостей, смеху да говору будет, как узнают, каких гостинцев я им понавез! Весел я, доволен, только одно дивило меня, что это купцы, встречные со мной, кланяются да так пристально на меня поглядывают. Диву я тогда давался, чего они на меня так смотрят; однако мне и в голову не приходило, что, может, беда какая приключилась. Привык я к счастью и не думал, что от счастья к несчастью переход меньше шага курьего! Подъехал к дому. Вижу, народ около похаживает, а прямо на меня из ворот поп с дьяконом выезжают, со мной поклоном обменялись. Думаю, что за притча? Да и где же моя Александра? Чего же меня не встречает? Не ждет, верно! Однако все еще про беду и не думаю. Слез с возка, подхожу к крыльцу. Навстречу сиделец мне мой из лавки попадается.

— Здравствуй, говорит, хозяин! — а сам печально так смотрит.

— Здравствуй,— отвечаю.— Чего ты не в лавке?

— Да беда тут у нас, хозяин.

— Что такое? — спрашиваю, а у самого сердце так и упало: не привычен к бедам-то был.

— Да супруга твоя...

— Что, что? Говори скорей! Больна?

— Была больна, а теперь...

— Да договаривай, Бога ради! Что же с ней!

— Приказала долго тебе жить!

Как вымолвил он это, оторопел я совсем.

Бросился в горницу.

Гляжу, лежит моя Александра в гробу, худая-худая такая. Света не взвидел я тогда!

Только и спросил, когда скончалась.

— Три дня назад,— отвечают,— давно хоронить собирались, да тебя поджидали. И она все ждала тебя, болезная, как чуяла, что не поправиться ей... А заболела, почитай, с самого твоего отъезда.

Похоронили ее вскоре.

Все это время у меня ровно в тумане прошло. Плохо помню. Знаю, что тосковал очень. Однако все же были у меня детки, их поднимать надо было. Одни они мне утехой были. И, должно, сильно Бога я прогневал, что послал Он мне еще горшее испытание, али, может, до конца претерпеть меня заставить восхотел... пути Божьи неисповедимы!

Жил с детьми я в избе деревянной... Внизу сидельцы мои помещались, а наверху я с деточками.

Был праздник большой, Троицын день. Сидельцы, известно, парни молодые, подгуляли маленько да, должно, как стали вечером себе ужин разогревать, искру где-нибудь заронили... Потому ли али с другого чего, только сгорел ночью мой дом, ровно свеча. Меня полусонного вытащили, а от деточек моих милых только косточки одне обгорелые видеть пришлось. Тяжко было это испытание... Обезумел я тогда совсем, и Бога, и людей клял, топиться, как ты, на реку бежать хотел... Однако не допустил меня Господь до погибели! Делами я в те поры вовсе заниматься перестал — всем брат мой двоюродный заведовал, а я сам ходил по городу, ровно зверь дикий. От людей прятался и все о своем горе раздумывал. Только однажды вздумалось мне в церковь зайти... Давно я в храме не был и молиться, кажись, разучился. Вошел я... Служили обедню... Пение это... Дым благовонный... Народу молящегося многое множество... Отвык я от всего этого, и так оно на меня подействовало, умилило словно, и

на сердце, замечаю, легче стало. Прошел сквозь народ к алтарю поближе... Стал на колени и молитву шепчу. Чую, как в голове все светлей и светлей становится, а тоска совсем улеглась. В первый раз вздохнул полегче. С того дня стал я кажинный день на все службы церковные ходить. И просветил меня Господь своим светом! Понял я, что скорбь моя от того происходила, что привязан я очень к земному был. И захотел я отречиться от мира. Передал дела торговые брату двоюродному, отделил себе только третью часть из всего добра, роздал все нищей братии и сам в нищего обратился. И легко мне стало! И мне путь Бог к спасению открыл... Стал я с той поры между людьми юродивым прикидываться, потому что блаженненького скорей послушают, а хотелось мне их на путь истины наставлять... Вот, молодец, вишь, как Бог через испытания великие нас к спасению ведет... Только духом не падай, отчаянию в сердце забраться не дай... Так-то!

Андрей Михайлович сидел неподвижно и молчал.

— Счастлив ты, старче, что мог утешиться,— проговорил он наконец.

— И ты можешь! Только крепись да духом не падай: Бог поможет! — ответил юродивый.

— Нет! Мне не будет утешенья!

— Почему нет? Надейся, терпи и, главное, веруй! Пройдет время — и забудется все, полегчает скорбь!

Между тем в душе Андрея Михайловича тоска, замершая на время, пока он слушал рассказ юродивого, разгорелась с новою силою. К щемящему чувству, которое он раньше испытывал, присоединилось еще что-то новое, похожее на злобу на Марью Васильевну, на людей, окружавших ее, и на самого себя. Андрей Михайлович уже не слушал старца, он весь погрузился в созерцание того, что творилось в его душе. Он не отвечал старцу и сидел в мрачной задумчивости. А юродивый, видя боярина погруженным в размышления, продолжал говорить, думая, что слова его произвели действие и теперь в душе сидящего рядом с ним молодца совершается борьба стремления к добру со стремлением к злому.

— Да, молодец,— продолжал старик.— Помни слова: вера, надежда, любовь и терпение, и тебе будет легче. Ты страдаешь от любви — лечись тем же — клин клином вышибай — лечись любовью. Ты любил одну — она тебе изменила, так люби всех людей, весь мир — все не изменят! Иди

терпеливо по пути спасения, надейся, что Бог подкрепит тебя, веруй в Него — и ты снова найдешь счастье и благословишь Господа, тебя создавшего!

— Полно, старче! Не утешай меня! — поднялся с земли Андрей Михайлович.— Я не баба. Ты достиг своего: теперь я буду жить, но терпеть... Эко слово промолвил! Терпеть! Нет, не для того я живу! Веруй — тоска пройдет... Я верил в счастье, разбито счастье... Я любил — мне изменили! Я надеялся — надежда разбита! Нет, старче! Я страдал, пусть другие страдают так же! Терпеть! Нет! Не потерплю! Не для терпения и покорности жить я остался! — говорил, весь пылая и трепеща, Андрей Михайлович.

Густые черные брови его сдвинулись, а черные глаза злобно сверкали.

— Довольно, старче! — продолжал он.— Ты спас меня, не дал руки на себя наложить, спасибо тебе за это! А теперь дай мне жить, как я хочу... Каждому свое — тебе молитвы и любовь ко всем, мне — совсем иное... Прощай! — и, круто повернувшись, Андрей Михайлович поспешно отошел от юродивого.

— Погибшее чадо! — произнес, смотря ему вслед, старик, и словно слеза блеснула в его выцветших глазах.

Дурная слава скоро пошла по Москве про князя Андрея Михайловича. Сошелся он с недобрыми ребятами, и не было такого озорства, на которое он не решился бы. Часто Анастасия Федоровна говорила своей дочери, слыша про проказы Бахметова, как хорошо это вышло, что отец не выдал ее за Андрея Михайловича.

— Вишь он какой дурной оказался! — добавляла она.

Только Марья Васильевна догадывалась, почему так себя ведет Бахметов, она понимала, что своею гульбою, своим озорством хочет молодец заглушить свою тоску лютую.

Так и было на самом деле. Тоска снедала Андрея Михайловича, и он искал забвения в чем попало.

Однако напрасно Бахметов думал найти успокоение среди непристойных потех: тоска продолжала грызть его сердце. Родина опостылела ему. Все связи с людьми, близкими для него когда-то, были порваны. Он был одинок... Он остыл к вере отцов своих, и, когда благовест призывал православных на молитву, он, громко хохоча, замышлял с товарищами какую-нибудь новую озорную забаву. Среди же ночной тишины все чаще и чаще приходила ему на память клятва, данная им татарке, воротиться к ней, если изменит милая.

А тоска не умолкала, и все более и более постылели Андрею Михайловичу родные места.

Вскоре князь Бахметов без вести пропал из Москвы.

Куда? Того не знали даже и его товарищи.

XI

В ДАЛЕКОЙ ТАТАРЩИНЕ

Грустна была молодая ханым после ухода уруса. Казалось ей, что больше не будет для нее дня белого, померкло ее солнышко, и ночь непроглядная легла на ее душу.

Наутро в доме поднялась суматоха.

— Урус пропал! — повторяли все с ужасом и метались по всему дому, обшаривая каждый уголок.

Скоро нашли огромную жердь, приставленную к забору. Они догадались, что по ней урус выбрался из сада. Но как он сумел убежать из-под надежной охраны? Должно быть, ему помогал сам шайтан, решили татары. Однако старик мулла был, по-видимому, иного мнения и очень подозрительно посматривал на молодую ханым. Все со страхом ожидали приезда мурзы Саида. К вечеру он возвратился от хана.

— Что урус? Поправился ли? — было его первыми словами.

Ему не знали что отвечать и только в страхе потупили глаза.

— Чего же вы молчите? — приставал он к слугам, подозрительно смотря на всех.

В его голове мелькнула мысль, что пленник умер.

— Аллах все делает по воле своей! — начал мулла.

— Скажи скорей! Жив, здоров пленник? — нетерпеливо перебил его мурза Саид, забывая должное почтение к этой духовной особе.

— Ты нетерпелив, как годовалый жеребенок! — с досадой проговорил мулла.

Однако это замечание не оказало должного действия на мурзу Саида.

— Ответь! Жив и здоров он? — продолжал допытываться он.

— Да... Должно быть, здоров,— сухо ответил ему старик.

— Как «должно быть»? Что это значит? — удивлялся Саид.

— Видишь, сколько бесполезных вопросов, какая трата времени, и все оттого, что перебил меня! — промолвил мурза.

— Говори, отец мой, я слушаю,— сказал мурза.

— Аллах все делает по своей воле, и человеку не проникнуть в тайны Его предначертаний! — начал мулла.— Он захочет — и разрушатся все наши надежды, которые должны были, казалось, уже осуществиться. Недавно Аллах дал нам доказательство этого. Мы, помня твой приказ, зорко стерегли уруса. Я уже его лечил, и он поправился. Все, казалось, шло как следует. Но по воле Аллаха, вдруг, был положен конец нашим надеждам и ожиданиям: сегодня ночью,— медленно проговорил последние слова мулла,— урус убежал.

— Что ты говоришь? Может ли быть? Разве его не охраняли? Или часовые заснули у дверей? — говорил пораженный Саид, грозно сдвинув седые брови.

— Часовые находились на своих местах и бодрствовали, в комнате не было ни одной щели, куда бы мог спрятаться урус, а он исчез... Как? Про то знает один Аллах.

— Пойдем посмотрим ту комнату,— сказал Саид, слезая с коня, забыв про свою усталость после долгого пути по жаре.

Мулла и мурза прошли в комнату, где был заключен Андрей Михайлович.

Они долго с сосредоточенным видом осматривали ее. Передвигали диваны, снимали со стен ковры, думая открыть ту лазейку, через которую выбрался пленник. Однако вскоре они должны были бросить свою работу, видя, что стены комнаты плотны, как и прежде, и не представляют ни малейшей скважины. Мурза Саид не знал, что и делать. Оставалось только предположить, что пленника выпустили часовые, подкупленные им. Саид уже готов был отдать приказа́нье о казни тех, кто стерег в ночь побега выход из комнаты, когда голос муллы остановил его.

— Аллаху, верно, угодно было укоротить нашу память, если мы забыли, что из этой комнаты есть еще выход! — воскликнул хитрый мулла, уже давно догадавшийся, кто выпустил пленника, так как знал о существовании потайной двери.

— Что ты говоришь, отец мой! Где же вторая дверь? — спросил Саид.

— Она вот здесь! — указал мулла,— и ведет в комнату твоей дочери.

— Да!.. Теперь и я вспомнил, что здесь есть дверь. Я сам ее последний раз запер, и ключ хранится у меня в шкатулке. Все равно, пленник не мог же знать об этом выходе... Кроме того, он бы попал в комнату дочери... Допустим, что Зюлейка могла не услышать, все-таки непонятно, как урус отворил дверь без ключа? Тайна остается тайной! — закончил свою речь Саид.

— Кто знает? Может быть, мы и разгадаем эту загадку,— усмехаясь, ответил мулла.— Во всяком случае, надо допросить твою дочь.

— Да, расспросим ее... Кстати, я с ней еще не виделся сегодня с тех пор, как приехал,— и Саид отдал приказание попросить к нему молодую ханым.

Когда Зюлейке передали приказание отца, она слегка побледнела.

«Настал час расплаты!» — мелькнуло у нее в голове.

Однако, когда молодая татарка вошла в комнату, где ждали ее старики, она так радостно поздоровалась с отцом, поздравляя его с приездом, так была весела, что даже мулла усомнился в справедливости своих подозрений.

— Где же урус? Разве его перевели в другое помещение? — начала Зюлейка после разговора с отцом, как будто теперь лишь заметила отсутствие пленника.

Таким вопросом она хотела сразу отклонить все подозрения.

— Скажи, ты ничего подозрительного не слышала сегодня ночью? Не было ли в этой комнате какого-нибудь шума? — начал допрос отец.

— Шума? — удивилась Зюлейка.— Нет, никакого! Впрочем, я так сладко спала и такой сон видела, что, право, если б и был шум, то не услышала бы... А снилось мне,— продолжала она, не останавливаясь,— будто тебя, батюшка, шайтаны-урусы берут в плен и руки тебе назад связывают... Мне так жаль тебя было, и страшно вместе с тем... Я как проснулась, то плакала — все думала, не случилось ли с тобою чего-нибудь в пути. Ну, теперь, слава Аллаху, я вижу тебя живым и здоровым, и у меня легко на сердце,— щебетала, как птичка, Зюлейка.

— Ишь, как ты меня любишь! — произнес отец, целуя ее.

Зюлейке невольно стыдно стало за то, что она обманывает

отца, горячо ее любившего, и причиняет ему такую неприятность. Она слегка покраснела, но, заметив устремленный на нее взгляд муллы, быстро оправилась.

— Если б ты знала, какая беда меня постигла, верно, не радовалась бы так,— продолжал отец.

— А что такое, батюшка? У тебя горе, и ты мне ни слова не говоришь об этом! — с укором воскликнула Зюлейка.

— Да, горе большое! Пленник убежал... Теперь я могу попасть в немилость хана,— с тяжким вздохом добавил он.

— Может ли быть! — удивленно воскликнула молодая ханым.

— Да, я сам не верил, а вот!..

— Но как же? Ведь комнату охраняли? — продолжала спрашивать Зюлейка.

— Да, охраняли...

— Как же он мог уйти?

— Это знает только Аллах, да один урус!

— Неужели нельзя узнать, как он выбрался отсюда? Ведь не улетел же он, как пар от кипящей воды? Должна быть лазейка!

— Ханым ничего не слышала? Совсем ничего? — тихо спросил мулла.

— Нет, ничего! Впрочем,— задумалась Зюлейка, словно вспоминая.— Впрочем... я как будто слышала легкий треск у этой стены,— указала она на ту стену, в которой была дверь.

— Ага! — в один голос воскликнули мурза и мулла и переглянулись между собой.— «Верно, пленник ушел через эту дверь! — подумали они.— Но как?»

Мурза поспешно сходил за ключом и потребовал отворить дверь. Она оказалась запертой на двойной запор, как и всегда. Можно было предположить, что пленник каким-нибудь образом открыл дверь и вышел через нее, но как он опять запер ее и для чего это сделал — перед этим старики стали в тупик.

Зюлейка, немного бледная, но спокойная, стояла тут же и дивилась, и охала вместе с ними. Так и не было открыто, каким образом убежал урус; подозревать же дочь в том, что она помогла уйти пленнику, и на мысль не вспадало мурзе Саиду. Что касается муллы, то неизвестно, изменил ли он своим подозрениям — по крайней мере, он ничем не обнаружил их.

И долго еще после бегства Андрея Михайловича ходили

рассказы о том, как шайтан помог пленнику-урусу уйти из запертой со всех сторон комнаты.

Одна молодая ханым помнила и знала все, и подушка ее постели много бы могла порассказать о том, как вздыхала и плакала молодая ханым, дочь славного мурзы Саида, об убежавшем урусе, и как она ждала его возвращения.

«Сердце девичье — воск! Милая изменит ему, и он вернется ко мне, вспомнив клятву!» — утешала себя ханым слабой надеждой.

XII

ОТКРЫТИЕ

Хмурилось осеннее небо. Нависли свинцовые тучи, закрыли солнце и грозили дождем. Порывы бурного ветра до корня гнули молодые деревья и даже могучих столетних великанов заставляли сгибать вершины и шумно покачивать ветвями. Сыпались листья, то желтые, светлые, точно бабочки-капустницы, мелькали они в воздухе и ложились на землю; то красные, словно расписанные искусным художником, не пожалевшим краски, кровавым дождем падали они к своим, уже оторванным от родной ветки братьям. Было свежо; и если бы не прямые, гордые и мрачные кипарисы, резко выделявшиеся своей темной зеленью на пестром фоне отцветающих листьев дерев, можно было бы ждать, что вот-вот из-за недалеких кустов покажется, напевая заунывную песню, или труженик-смерд, только что выпахавший новину и, сидя на острой спине заморенной клячонки, торопливо едущий на отдых в свою дымную убогую избушку, или красная крестьянская девица, собравшая последние ягоды в ближайшем лесу и теперь спешащая к дому, чтобы по дороге не захватил ее дождь и не вымочил линючего платка, взятого ею от соседки, какой-нибудь тетушки Авдотьи, вздорной и ворчливой бабы... Словом, осень так все изменила, что Крым стал похож на далекую, холодную Русь.

Зюлейка, привыкшая к теплу, выросши под знойными лучами южного солнца, теперь, прохаживаясь по саду, кутается в мягкую и теплую турецкую шаль.

Ветер, играя концами шали, вздымает и крутит в воздухе

упавшие листья... Смотрит Зюлейка на них, как они беспорядочно носятся и кружатся в воздухе, и несутся в таком же беспорядке ее мысли, путаясь и сменяя одна другую.

Груста и бледна молодая ханым. Уже давно румянец сбежал с ее лица, и его покрыла ровная матовая бледность. Глаза впали, и темные полосы протянулись под ними.

Тяжко красавице... Нельзя вечно надеяться — наконец рухнет и надежда. Зюлейка, напрасно целый год с лишним ожидавшая возвращения уруса, тоже устала надеяться, и холодное отчаяние закралось в ее сердце. Теперь уже она не ждет его: он, верно, нашел свою милую и счастливо живет с нею...

«Что ему до того, что в далеком Крыму тоскует по нем басурманка? Он наслаждается радостной жизнью и, пожалуй, уже забыл о Зюлейке!» — думает она.

Хочет ханым забыть уруса, хочет стать опять прежней веселой девицей, а между тем, как нарочно, вспоминаются ей то слова, сказанные им перед разлукой, то его задумчивые очи.

Задумалась красавица, и не видит она, что уже давно с плоской крыши дома — не того, в котором жила она с отцом, а где помещался гарем — смотрит на нее пара темных женских глаз.

Там стояла высокая, худощавая женщина. Ветер сорвал с нее белую длинную чадру и открыл ее лицо. Она была уже не молода: мелкие морщины собрались около глаз, глубокая складка окружала рот, придавая всему лицу несколько грустное и вместе с тем суровое выражение. В темных волосах местами блистала седина. Только глаза были юны, в них еще не угас огонь молодости, и если б не они, то эту женщину можно было бы принять за старуху. Судя же по глазам, думалось, что ее состарили не годы, а скорее жизнь, полная тяжких горестей. Эта женщина стала старшей женой мурзы Саида после того, как года три назад скончалась мать Зюлейки. Звали ее Амарь. Она, не имея своих детей, всею душою привязалась к Зюлейке и по целым часам, бывало, просиживала с молодою девушкой, любуясь ее красотой и рассказывая ей какие-нибудь были стародавние. А стоило заболеть Зюлейке — Амарь не отходила от ее ложа, грустными очами следила за раскрасневшейся от жара больной и старалась понимать каждое ее движение, чтобы немедленно исполнить то, чего хотела больная.

И какая была для нее радость, когда Зюлейка наконец

выздоравливала! Словно за малым ребенком, следила за нею Амарь, никому из служанок не позволяла дотронуться до выздоровевшей и сама поддерживала под руку молодую девушку, еще не окрепшую после болезни.

Лишенная материнской ласки, девушка отвечала Амари неменьшей привязанностью и делилась с нею всякою своею думушкой, не желая чего-нибудь скрывать от своей старой подруги.

Только в последнее время изменила Зюлейка былой откровенности: не сказала Амари ничего про свою любовь к урусу. Тяжко ей было скрывать это, но признаться — не хватало духу, и она постепенно стала все больше и больше отдаляться от Амари, стыдясь своей скрытности и словно боясь, что умные очи ее старшей подруги проникнут в тайники ее души.

От Амари не укрылась перемена к ней девушки, и это мучило ее. Она старалась открыть причину охлаждения к ней Зюлейки, но, конечно, была далека от мысли подозревать в чем-нибудь девушку и старалась припомнить, не обидела ли как-нибудь она ее. Но причина не находилась. Вскоре Амарь заметила, что и наружно, как внутренно, Зюлейка удивительно изменилась: похудела, побледнела. Не укрылась от Амари и грусть ее любимицы. Все это вместе наводило ее на грустные думы.

Стоя теперь на кровле дома, она видела, что Зюлейка ходит по саду в глубокой задумчивости и не замечает ее. Слыша, что из гарема доносится веселый смех и пение, у Амари явилось желание постараться развеять молодую девушку.

— Зюлейка, а Зюлейка! — окликнула она ее.— Полно тебе здесь на ветру-то гулять! Иди лучше к нам в гарем!

— Нет,— ответила Зюлейка, услыша ее окрик,— Мне здесь хорошо! От ветра защищает шаль, не холодно... А в гареме душно, да и что там делать?

— Ах, если б ты знала, какие песни распевает недавно привезенная к нам молодая черкешенка, ты не сказала бы этого! Поди, послушай, сделай для меня! — добавила Амарь просительным тоном, видя, что девушка не имеет ни малейшего желания исполнить ее просьбу.

Зюлейка нехотя последовала ее приглашению.

В гареме было шумно. Молодые жены мурзы Саида старались чем-нибудь разнообразить скучную гаремную жизнь. Велись нескончаемые разговоры, пелись веселые песни под бдительным оком бесстрастных евнухов. Однако отсутствие

новых лиц и постоянная замкнутость делали свое дело: скука свила себе прочно гнездо в этом роскошном уголке дома старого мурзы Саида.

Появление Амари и Зюлейки было встречено радостными возгласами.

А! Молодая ханым! Добро пожаловать! Что так долго к нам не заглядывала? — говорила высокая блондинка с роскошными косами, перевитыми нитью крупного жемчуга.

— Да, Зюлейка, ты совсем нас забыла,— вставила свое слово другая жена Саида, небольшого роста брюнетка, с маленькими черными глазами, как миндалины.

— Ты даже не видела новой нашей подруги — черкешенки,— лениво процедила сквозь зубы третья, турчанка, протянувшаяся на широком узорном диване.

— Погодите! Вы не даете мне слова сказать! — промолвила Зюлейка, слегка улыбаясь.— Ну, покажите мне свою новую подругу!

— Вот, вот она! Что, не правда ли, как хороша? Пожалуй, Саид, господин наш, забудет всех нас для нее! — наперебой говорили жительницы гарема.— А как поет! Ах, если бы ты слышала, как она поет! — продолжали они, но Зюлейка здоровалась с черкешенкой, которая, действительно, была обворожительно хороша.

— Спой что-нибудь! — обратились жены Саида к черкешенке.— Покажи молодой ханым свое уменье!

— Да,— вставила наконец и свое слово Амарь,— пропой песенку... Развесели ханым — она что-то очень печальна.

С видом снисхождения черкешенка взяла странной формы какой-то восточный струнный музыкальный инструмент, пощипала струны и, настроив его, запела. Черкешенка пела на своем родном языке, однако присутствующие легко понимали слова, так как это наречье было сходно с татарским. Высокий голос красавицы то почти замирал, вот-вот, казалось, оборвется, то вдруг рассыпался в быстрых руладах. Черкешенка умела мастерски петь. И от песни ее то жгучею страстью загоралась кровь слушательниц, то вдруг веяло на них восточной негой, ленью, сладкой истомой или безысходным горем. Внимательно слушали песню эти затворницы, собранные со всех концов света, что-то родное слышалось им в ней. Вся безотрадная гаремная жизнь, пересыпанная то бурными чувственными наслаждениями, то гнетущей тоской по свободе, проходила перед ними.

Рабыни сладострастного владыки, не люди, а предмет на-

слаждений, были лишены того счастья или горя, о котором пелось в песне: любить и страдать или быть взаимно любимой. Из груди слушательниц вырывались вздохи. У многих на глазах блестели слезы. А песнь была проста. В ней говорилось о том, как молодая черкешенка полюбила молодца джигита. А джигит собирается в славный набег и не знает, как тужит о нем красотка. Да если б и знал, безучастным остался бы к ее любви: есть у него иная зазнобушка в ауле соседнем, и весь мир для джигита сокрыт в очах его милой. Для нее он будет собирать в молодецком набеге парчу золотую и шелки алые, для нее стремится он добыть славу витязя удалого, чтобы, когда в аулах будут прославлять в песнях его имя, вместе с ним воспевали бы и очи души-девицы, ради которых он совершал все свои геройские подвиги. Уехал джигит. Ждет джигита люба его, Тамира, не дождется. Ожидает его возвращения и бедная тоскующая черкешенка. Между тем приехал в горы старый-престарый купец турецкий, богач неслыханный. Приглянулась ему Тамира, сулит он отцу ее с матерью калым большой, коли отдадут ее ему. Не устояло сердце родителей, хоть и помнят они слово, прежде джигиту данное, растаяло оно перед мешками с золотом, большими, полновесными. Продали Тамиру они купцу, и увез он ее в Стамбул далекий, посадил в гарем душный, под присмотр сердитых евнухов. Вернулся джигит с грабежа молодецкого. Добыл славу витязя удалого, понавез он добра возы целые, да уж не нашел своей милой зазнобушки. Ходит молодец, словно туча черная. Папаха на лоб надвинута, и в руке кинжал острый сверкает... значит к бою он готовится — хочет убить врага своего лютого, купца того турецкого. Только далеко враг спрятался, да слуг у него много верных, крепких и зорких... Не осилишь их, молодой джигит, только сложишь свою головушку буйную! Видит та черкешенка молодая, что ни днем ни ночью от тоски по нем покоя не знала, как убит горем злым ее молодец желанный. Скорбит сердце ее. Хочет она утешить молодца. «Ой ты, молодец, молодец удалый! Ты ль джигит, наездник не последний! Послушай слова красной девицы! Знаю, на сердце у тебя скорбь, тоска великая: льешь ты слезы по Тамире, по зазнобушке, позабыть красотку ты не можешь и очей ее, темнее ночи черной. Посмотри, глянь вокруг себя: не найдешь ли ты иных очей, столь же темных и приветливых. Может, есть иная девица, что не знает дня веселого, что не знает тихой ноченьки: все тужит по тебе, по молодцу: заполонил ты, джигит, сердце

девичье!» И глянул на девицу джигит молодой. Смотрит прямо в очи ей. И, должно, прочел он в них не малое: должно, тепел взор их был приветливый, что растаяла от взгляда этого тоска его, змея холодная. Обнял, прижал он к груди девицу, подарил ей всю добычу ратную и назвал женой своей любезною.

Прозвучал громко последний аккорд и сразу замер, словно струны порвалися.

— Ах, как хорошо! Как хорошо ты поешь! — хором сказали все обитательницы гарема и оглянулись на Зулейку, не слыша ее голоса в числе хваливших. Они увидели, что молодая ханым плачет.

— Что ты? с чего? Ужели песня так тебя растрогала? — посыпались вопросы. Зюлейка не отвечала, только старалась удержать слезы.

— Оставьте ее! Дайте ей успокоиться! — произнесла Амарь, с удивлением и тоской глядя на ее слезы.

— Пойдем, Зюлейка, со мной в сад... Ветер освежит тебя. Я уж и не рада, что позвала тебя,— продолжала Амарь.— Думала утешить, а вдруг, на!.. Вместо утехи слезы нагнала.

— Нет, Амарь, нет, милая! Не беспокойся... Это так... Вот уж и прошло... Видишь? Где же слезы? В сад не стоит идти... Холодно, ветер... Ты лучше вот что... Вспомни прежнее. Расскажи что-нибудь,— торопливо говорила Зюлейка, стараясь принять веселый вид, между тем как на самом деле песня до глубины души потрясла ее.

Это пели словно не про черкешенку, а про нее, Зюлейку, думала молодая ханым. Только конец тут радостный, а ей не дождаться такого счастья.

Амарь пристально поглядела на Зюлейку.

«Может, и правда, так ей взгрустнулось... Бывает это... Особенно же она теперь не девочка маленькая, а девица, замуж скоро... Ну, мечты, конечно, молодые»,— думала престарелая подруга Зюлейки.

Жены мурзы Саида, жаждая хоть какого-нибудь развлечения, дружно поддержали просьбу молодой девушки, и Амарь сдалась.

— Про что же рассказать вам? — спросила она.

— Да что-нибудь... Все равно! Хоть быль, хоть сказку,— ответили ей.

— Да, вот расскажи, как шайтан из запертой комнаты уруса унес,— сказала блондинка.

При упоминании об урусе лицо Амари стало серьезным.

— Слушайте же. Я вам расскажу не сказку, а быль,— начала Амарь.— Про то, что шайтан унес уруса — я не верю: этого быть не может. Урус сам ушел... Как? Это неизвестно... Верно, теперь жив, здоров, гуляет на свободе да над нашей простотой посмеивается. Только, запомните мое слово, урус этот вернется к нам! — торжественно и медленно проговорила Амарь.

Это было произнесено с такою уверенностью и было так неожиданно, что невольно поразило всех, а Зюлейка вздрогнула, и сердце ее радостно забилось.

— Как ты можешь нас в этом уверять? Почему ты знаешь? Может ли это быть? — посыпались на нее вопросы.

— Не только может, но должно так быть! — опять с твердостью проговорила Амарь.— Такова воля Аллаха, и никто ее не преступит!

— Но почему ты-то знаешь?

— Слушайте, и сейчас узнаете все. Но еще раз повторяю, что, если еще глаза мои хорошо видят и память мне не изменила, то это и есть тот самый урус, которому свыше Аллахом предначертано вернуться к нам и принять закон Магометов. Я видела этого пленного уруса, когда его несли после битвы в дом нашего господина, Саида. Он был бледен как смерть, глаза закрыты, но все это не помешало мне узнать в нем потомка моего деда, мурзы Бахмета. И этот урус, стало быть, мой сородич: я сама из того же рода. Как я узнала его? Вы поймете, когда выслушаете все.

XIII

РАССКАЗ АМАРИ

— Давно это было,— начала Амарь свой рассказ.— Лет сто назад. Тогда еще кипчакское ханство крепким было. Род наш не здешний, скажу вам, мы с Волги. После уж, как поделились ханства, предки мои на службу перешли. Жил в то время славный советник ханский, по имени Или-Мурза-Бахмет. Множество табунов бродило у него по степям, тысячи рабов слушались его слова или знака. Много жен и наложниц юных и прекрасных, как райские гурии, цвели в его гаремах. Богат он, мудр, храбр и счастлив был. Хан

любил его. Ничье слово в ханском совете не ценилось так, как слова Или-Мурзы-Бахмета. Никто не пользовался таким доверием хана, как он. И недаром его ласкал хан. Много услуг оказал Бахмет кипчакскому ханству. Надо ли было наказать гяуров, забывших прислать в свое время должную дань — Или-Мурза первый бросается с толпою наездников на земли неверных, рубит и жжет, карает ханских ослушников. Другим после него нечего было идти: все равно делать нечего: они уже не увидят цветущих полей, нив с поспевающей, ровно волнуемой ветром рожью: они уже не встретят богатых сел или небольших деревень — они найдут выжженную, голую пустыню да тлеющие под жарким солнцем трупы неверных! Бахмет сумел исполнить ханский приказ, наказал мятежные земли, не оставив камня на камне, не пощадив ни грудных младенцев, ни старцев столетних. Надо ли хану мудро составить ласковое письмо к какому-нибудь любимцу из неверных князей, Бахмет, умевший быть жестоким на войне, здесь находил такие ласковые слова, какие еще и в голове не мелькали у других советников. Рад хан, что письмо написано, как он желал, рад и князь, получивший послание — радостно бьется его сердце, когда он читает милостивые слова хана. Знает неверный князь, кто подсказал его повелителю, хану, эти мудрые, ласковые слова, и славит имя страшного в поле, мудрого в мире Мурзы-Бахмета, а хан осыпает милостями своего мудрого советника и храброго воина. Словом, Бахмет был в то время первым и на войне, и в мире. Но, видно, все мало счастья человеку, все ему большего хочется, за то и карает Аллах! Так было и с Бахметом. Долго он был счастлив и думал умереть таким же счастливым, как жил, ан вышло иное.

Настало время, когда урусы все больше и больше стали восставать против хана. И мудрый хан жестоко карал их за это. Его воины разоряли московские земли и собирали богатую добычу в сожженных городах и деревнях. Или-Мурза-Бахмет, конечно, тоже грабил урусов с толпой своих испытанных воинов. Добывал он большую добычу, ценную не количеством, а качеством, и эта же добыча погубила его!

Воротясь однажды с буйного набега на какой-то городок, он вывез то, что часто бывает дороже золота и камней самоцветных и опасней шашки булатной и пламени яркого — душу-девицу красную. И, видно, ценил он добычу пуще всего награбленного, потому что нигде не ставил такой сильной стражи и не подбирал таких верных, храбрых и сильных во-

инов, как для охраны шатра, в котором день-деньской, протянувшись на ложе атласном, лила слезы горькие по утраченной волюшке русская красная девица.

Приехал хан в стан Бахмета. Кажет тот ему всю добычу свою, все золото и серебро награбленное, все приносит хану в подарок, а мимо шатра безмолвно проходит, не показывает, что у него там находится.

Говорит хан ему спасибо ласковое за дары драгоценные, а сам все на шатер поглядывает. Диву он дается, что Бахмет шатра ему не показывает, и почему охрана у него поставлена такая сильная.

Молчит хан, все ждет, что Бахмет ничего от него не утаит и сейчас в шатер ковровый поведет. Однако Бахмет показал ему всю добычу, пересмотрели они и кубки тяжелые, серебряные с позолотою, и сабли с рукоятью, камнями осыпанной, и седла, шелками изукрашенные, вывел наконец пред лицо хана пленников крепких и сильных, рабов в грядущем хороших, и пленниц прекрасных, как цветы полевые, Аллахом изукрашенные, бьет челом хану, чтоб не погнушался принять от него, раба своего верного, эту добычу, а про шатер ни слова. Молчит и хан, да вдруг, приблизясь к шатру, отдернул полог сильной рукой, увидел он красавицу белую, полную, по плечам косы золотые, полураспустившись, рассыпались и обвили шею белую, лебединую. А прямо в глаза хану глянули очи лазурные. Смотрят с тоской и мольбою. На длинных ресницах слеза, словно алмаз, повисла и дрожит слегка. Дрогнуло сердце ханское от красы такой. Не может он отвести глаз от девицы.

Говорит хан Бахмету:

— Ой ты, верный слуга мой, испытанный! Благодарствую за подарки пышные, за кубки золотые, за камни самоцветные, только оставь их у себя, а мне уступи эту душу-девицу красную!

Нахмурил свои поседелые брови Или-Мурза-Бахмет. Не по сердцу ему пришлась ханская речь.

— Верный я тебе слуга, хан! — сказал он.— Прикажи мне жизнь свою положить за тебя — я не задумаюсь. Хочешь — возьми все мои богатства, мечом добытые или разумом нажитые, моих коней, моих рабов, красавиц, что цветут у меня в гареме — слова я тебе не скажу, отдам с радостью, но не проси этой женщины: я скорей готов под гнев твой попасть, чем отдать ее тебе! Пощади раба твоего Бахмета: не лишай его того, что дороже ему всех богатств земли!

Гневно взглянул хан на Бахмета, а сам все полога не спускает, все на красавицу любуется.

— Слушай, раб мой! — гордо сказал он Бахмету.— Она должна быть моей: я хочу этого!

Закипело сердце Бахмета: не привык он слышать таких речей. Вырвал он из рук ханских узорный полог шатра.

— Пусти, хан! — вымолвил он сурово.— Не зарь девицу: еще сглазишь, пожалуй!

Вспыхнул хан, протянулась рука его к кинжалу, да опомнился он.

— Добро! — говорит,— прощу я тебе обиду на этот раз, да смотри, чтоб недели не прошло, а девушка была бы уж в моем гареме!

Больше ничего не прибавил, вскочил на коня и уехал из стана, оставив Бахмета мрачнее тучи грозовой.

Неделя, словно день, для Бахмета пролетела. Не успел он оглянуться, как наехали посланцы ханские.

— Хан,— говорят они,— за девушкой прислал нас русскою!

Побелел Бахмет, как снег, скрипнул в ярости зубами, однако видит, ничего не поделать.

— Скажите,— сказал он,— повелителю моему, что раб его Бахмет готов исполнить его повеление, только пусть он сам сюда пожалует: передам я девицу ему из рук в руки! — говорит это, а сам зло так улыбается, и глаза его огоньками посверкивают.

Видно, очень уж хану приглянулась русская девушка, что решил он исполнить просьбу Бахмета. Поехал он к дому своего покорного раба. Подъезжает. Видит, у ворот конь Бахмета к кольцу железному привязан стоит.

«Ну,— думает хан,— верно, с горя Бахмет опять в набег собирается... Что ж, добро!»

У сеней сам Бахмет его встречает: совсем для боя снаряжен. Низким поклоном встретил он хана, ведет в гарем, где находилась девица. Взял он ее за белы руки.

— Получи, хан, свою зазнобушку,— сказал он, отдавая ему девицу.— Навеки твоя будет! Только люби ее горячо, а то, неровен час, охладеет скоро.— Да вдруг в это время выхватил нож булатный и вонзил прямо в сердце души-девицы. Та и крикнуть не успела — свалилась, словно деревцо, под самый корень подрубленное. А он захохотал, толкнул хана к ее окровавленному трупу, да пока тот еще не опомнился, выбежал к воротам, вскочил на коня, да и был таков. На-

прасно пышущий злобою хан бросился за ним в погоню на быстрейших конях с лучшими воинами — его не догнали. Остались после него жены и дети маленькие, но хан зла им не сделал, не вымещал на них обиды, от отца полученной.

Бахмет же убежал прямо к урусам, принял веру их, женился на боярыне и с той поры лютым врагом татар сделался. Набежит с урусами — никому пощады нет, ни старцу, ни младенцу... Мечети жег, а мулл, своих наставников, на деревьях вешал.

Велел хан своим духовным лицам предать страшному проклятию отступника от веры отцов.

Собрались все в мечети. Прогремело проклятие, но по домам правоверные не расходятся: видят — «кульшериф» * стоит, склонясь над кораном. Ждут, что он скажет.

А кульшерифом был в то время старец столетний. Четыре раза в Мекке был. За его благочестие просветил его разум Аллах великою мудростью. Для него грядущее было так же ясно, как настоящее.

Знали все это и ждали его с благоговением. И раздалось вещее слово кульшерифа. Тихо говорил старец, не отводя глаз от святого корана: — «Карает Аллах, за преступленья отцов, чад от них происшедших и самые грехи обращает к славе своей. Воля Аллаха нерушима и неизменна. Может ли семя, упав на добрую почву, не дать побега или может ли камень пустить корни? Так положил Аллах с сотворения мира, и все остается неизменным до наших дней! Может ли зерно сорной травы произвести пшеницу? Могут ли от отступника родиться крепкие верой? Нет! говорит Аллах, да не совершится этого, и слово его вечно! Мы прокляли Бахмета, изменившего вере ради лазурных глаз русской девицы, и вот что открыл мне Аллах! Пройдут многие годы, вырастут потомки отступника, но несчастны они будут, каждый из них потерпит в своей жизни много напастей и горя. Всего же более отразится грех отщепенца на третьем его потомке, на его правнуке... Но на нем же Аллах явит и все величие своей славы и могущества! Крепкий телом и духом вырастет этот правнук Бахмета. Даст ему Аллах и силу, и ум. Будет он славен в боях и, выросший в вере урусов, готов будет за нее излить всю свою кровь по капле. Но тут-то проявится мудрость Единого! Он изменит своим, подобно своему прадеду, и явится под знамя нашего пророка! Бахмет отступил от пра-

---

* Кульшериф — первосвященник.

воверия из-за лазурных глаз и кос золотистых пленной девы, такая же златоволосая девица поселит тоску в сердце его третьего потомка и вернет его, отчаявшегося, под стяг Магомета! С этих пор станет он смертельным врагом урусов, и меч его не раз обагрится их кровью, но умереть ему суждено от руки христианской!»

«Вот что открыл мне Аллах, такова его воля, и да свершится она!» — проговорил кульшериф и, поцеловав коран, медленно вышел из мечети. А окружающие дивились его вещему разуму.

— Все это слышала я от моих родителей, те — от своих. Из поколения в поколение передается в нашем роду предсказание мудрого кульшерифа. Теперь настало время исполниться ему! — торжественно закончила Амарь.

Слушательницы, глубоко заинтересованные, молчали, еще находясь под впечатлением рассказа.

— Амарь,— дрожащим от радостного волнения голосом прервала молчание Зюлейка,— почему ты думаешь, что этот пленный урус и есть именно правнук Бахмета?

— Да! Я и забыла пояснить вам это. Сейчас вы узнаете. Когда Бахмет был еще молодым, то воины захватили в каких-то местах караван купцов иноземных, ни слова не знавших ни на языке урусов, ни на нашем, в числе пленных был один удивительный муж: он мог красками изображать все то, что видел. Посмотрит на дуб вековой, развесистый, достанет красок, проведет по какой-нибудь ткани кистью раз-другой, и вырастет на ней новый дуб, как две капли, похожий на тот, который находится перед ним, только меньше, конечно. Вот он и изобразил лицо Бахмета на куске холста. У меня до сих пор этот кусок сохранился... Ну и в этом молодом урусе я узнала Бахмета: они схожи, как две капли воды!

— Где у тебя этот кусок ткани? — быстро проговорила Зюлейка.— Покажи его! Пожалуйста, покажи!

— Да, да! — подхватили другие.— Принеси его сюда!

Амарь охотно исполнила их просьбу. Она вышла и скоро вернулась с куском запыленного холста в руках. Амарь развернула сверток, и Зюлейка, не могшая сдержать волнения, громко ахнула: на нее словно живой смотрел с холста Андрей.

— Да, это он! Это... наш пленный урус! — воскликнула Зюлейка, чуть не произнеся имени пленника, и глаза ее радостно заблестели.

Амарь взглянула на девушку. Она заметила ее волнение и, кажется, начинала догадываться, почему так грустна и задумчива была раньше молодая ханым.

— Дитя мое! Ты будешь счастлива! — загадочно произнесла Амарь, проводя рукою по темным волосам девушки.

Зюлейка с удивлением взглянула на нее и, покраснев, опустила глаза.

— Пойдемте в сад! Посмотрите, погода совсем разгулялась! — сказала она, желая скрыть свое смущение.

Действительно, погода переменилась. Шедший перед этим дождь перестал, и солнечные лучи, вырвавшиеся из-за расходившихся туч, играли на каплях, повисших на окрашенных осенью листьях.

Однако гулянье по саду не прельстило жен мурзы Саида. Только одна Амарь согласилась на предложение Зюлейки, и они вышли из гарема.

XIV

ОТСТУПНИК

Спустившись в сад, Амарь и Зюлейка отправились на их излюбленное место прогулок — на лужайку к фонтану, где в знойную пору лета так приятно было отдыхать в тени развесистых деревьев и прислушиваться к мелодичному лепету струй, высоко стремящихся прямо к далекому небу и, вдруг рассыпавшись на бесчисленное множество капель, играющих под лучами солнца всеми цветами радуги, стремительно падавшей вниз.

Сидит, бывало, Зюлейка тут вместе с Амарью, слушает ее рассказы, а сама смотрит на живую струю. И невольно вслед за взлетающей струей поднимаются очи ее к небу. Глядит она в его лазурную глубину и силится разгадать, что сокрыто под этой синей завесой от глаз людских: трон ли Аллаха, блистающий мириадами звезд в ночное время, сияющий ослепительным блеском солнца днем — или там нет ничего, кроме холодной пустоты, и люди напрасно обращают туда с молитвой и глубокою верой свой взор: их тщетны мольбы — трон Аллаха не там, а, может быть, гораздо ближе от них: невидимый, несознаваемый ими, он заключен в их

собственных сердцах. И кажется девушке, что никогда людям не узнать этого, и мысль, взлетающая так часто ввысь от земли, должна подобно струе фонтана разбиться, измельчать, превратиться сперва в капли, потом в пыль и с легким ропотом вернуться на землю.

Было свежо. Женщины кутались в шали и полной грудью вдыхали воздух, напитанный ароматом отцветающей зелени. Они тихо прохаживались, и задев порою какое-нибудь молодое деревце, Зюлейка с веселым смехом спешила укрыться от падавших с его листьев крупных капель, оставшихся после недавнего дождя.

Девушка была весела. Рассказ Амари опять поселил в ее сердце надежду. Она верила, что предсказанье кульшерифа должно исполниться и освобожденный ею пленник вернется к ней.

Амарь с довольной улыбкой смотрела на повеселевшее личико Зюлейки.

Радость еще больше, чем горе, заставляет делиться собою с другими людьми. Это на себе испытала Зюлейка. Хранившая свою тайну, одна боровшаяся со своим горем, она теперь почувствовала неудержимую потребность поделиться с Амарью своею радостью.

«Чего скрывать? Все равно урус возвратится, и тогда все узнают... Отчего же не открыться Амари? Она до поры до времени будет молчать, никому не скажет... Ведь я ее знаю!» — думала Зюлейка.

— Ты не поверишь, Амарь, как я довольна тем, что ты сегодня рассказывала нам в гареме! — начала Зюлейка.

— Рассказ, верно, так понравился? — спросила Амарь, пристально смотря на свою любимицу.

— Да, он понравился всем, а мне особенно... Ты видишь, как я повеселела после него?

— Почему же это?

— Он был для меня очень важен!

— Вот как! Почему? Не могу догадаться! — проговорила Амарь, и легкая улыбка скользнула по ее губам.

— Хочешь, я тебе кое в чем признаюсь?

— Конечно, хочу! Разве ты забыла, что прежде ничего от меня не скрывала? — с некоторой укоризной произнесла Амарь.

— Я не говорила тебе об этом, потому что оно слишком важно... Но теперь скажу... Ты ведь никому не передашь?

— Разве ты первый день знаешь меня, Зюлейка? Как можешь ты спрашивать об этом?

— Верю, верю тебе! Прости! Я так, спроста сказала! Я вполне доверяю моей милой Амари! Слушай же! Начну с самого важного: уруса выпустила я!

— Что ты! Может ли быть? — воскликнула Амарь, пораженная этим признанием.

— Да!.. Я сказала истинную правду! — подтвердила Зюлейка.

— Но... но зачем ты это сделала? — спросила Амарь, почти угадывая побудительную причину поступка Зюлейки.

— Я полюбила уруса! — просто ответила девушка.

— Полюбила неверного! Да ведь это великий грех!

— Почему знать? Без воли Аллаха ничего не свершится! Может быть, я только средство, через которое Он вернет потомка отступника Бахмета в число правоверных мусульман. Кто узнает волю Аллаха?

— Да! — с глубоким убеждением проговорила Амарь.— Да! Верно, так предначертал Аллах, иначе разве Он допустил бы до погибели такое чистое дитя, как ты? Верю, что так угодно Аллаху, и да будет воля Его! — прибавила она.

— Понимаешь ли теперь, почему меня так обрадовал твой рассказ? Он пробудил в моем сердце надежду... Тем более, что урус клялся...

— Клялся? В чем?

— Он поклялся своим Великим Пророком, что если ему в Московии изменит та девушка, которую он любил, то он вернется сюда.

— Так жди и надейся! — с глубоким убеждением сказала Амарь.— Он будет здесь! Это Аллах все так премудро устроил! Ему изменит девушка с золотистыми косами, и он вернется к моей дорогой черноволосой красотке!.. Так положил Тот, кто на небесах! Жди и надейся, дитя! Предсказание кульшерифа совершится на нем!

— Я жду! — ответила Зюлейка.

Женщины замолкли.

В это время послышался шелест в кустах. Зюлейка не слышала легкого шума, одна Амарь расслышала его. Она прислушалась. Шелест повторился, к нему присоединился шум от шагов по высокой траве, шелестевшей под чьими-то ногами. Амарь пристально стала вглядываться.

— Смотри! — вдруг сказала она Зюлейке.— Воля Аллаха свершилась: он здесь!

Зюлейка обернулась. Перед нею стоял Андрей! Девушка не верила своим глазам. Андрей был худ, бледен; одежда его

была изорвана и забрызгана грязью, но это стоял он, несомненно!

— Андрей! Как я ждала тебя! — воскликнула дрожащим голосом девушка, вся обратившаяся в один порыв, забыв и стоящую рядом с нею Амарь, и сад, и окна гарема, из которых могли их видеть.

— Я исполнил клятву, Зюлейка! Пришел, вернулся к тебе навсегда! — глухим голосом промолвил Андрей Михайлович.

— А милая твоя? Ты, возвратясь в Москву, не нашел ее?

— Злые люди заставили ее изменить мне! Ах, Зюлейка, Зюлейка! Если б ты знала, что творится у меня на сердце! — с тоскою воскликнул Андрей.

— Знаю, милый! Но пройдет твоя скорбь! Я сумею утешить тебя! Сумею заставить позабыть и Московию, и прежнюю милую, мой дорогой, мой желанный! — страстно воскликнула Зюлейка, обнимая князя.

Не выдержало ласки сердце князя. Вся тоска, все пережитые страдания нахлынули на него волной. Ему что-то сдавило горло, и он, склонив голову на грудь молодой ханым, тихо заплакал. А Амарь смотрела на них просветленным, радостным взором.

— Будьте счастливы, дети мои! — проговорила она и тихо удалилась от них.

* * *

Торжественно звучали стихи корана, произносимые целым собором мулл в ханской мечети. Сам хан прибыл в мечеть слушать, как произнесет клятву над священною книгой обращаемый в мусульманство.

Бледен был князь Андрей, однако твердым и громким голосом повторил слова страшной клятвы: не щадить никого и ничего для славы пророка.

Кончилось присоединение, и тут же хан поздравил нового правоверного с женитьбой на прекрасной дочери мудрого мурзы Саида, первого советника ханского.

Много табунов дал князю Андрею хан, тысячи рабов подчинил его воле.

Отныне князь Андрей Михайлович Бахметов навеки исчез и превратился в ханского мурзу Алея-Бахмета.

И доброго слугу приобрел в нем себе хан!

Никто лучше нового мурзы не умел нежданно-негаданно явиться в пределах Литвы или Московии. Никто лучше него не умел разбивать литовские и русские войска, высылаемые против татарских наездников. Как буря, налетал он на них, мял, теснил, обращал в постыдное бегство. Где проносился он со своими соратниками, там все погибало: цветущие города обращались в груды развалин, усыпанных смердящими христианскими трупами; деревни стирались с лица земли, а поля обращались в сожженные черные пустыни.

Он словно хотел потоками крови залить свою совесть, и меч его не раз от клинка до эфеса дымился христианской кровью. Мурза Алей-Бахмет был истинным правоверным: мечтал о рае, наполненном гуриями, и лил, как воду, кровь христиан.

Но все до поры, до времени! Нельзя навеки усыпить свою совесть! Настанет час, заговорит она, и страшною свинцовою тяжестью налягут прошлые злодеяния на сердце отступника.

Пока же совесть Алея-Бахмета, казалось, молчала, и он продолжал неистовствовать. Однако, бывали приступы раскаяния. Часто ему, пламенному мусульманину, снился темною ночью христианский храм, наполненный молящимся людом. Несется из отверстых дверей храма заунывное пение, доносится запах кадильного дыма. Слышится голос старца-священника, а вслед за тем сотни голосов сливаются в один общий крик: «Анафема!»

А он, новый ханский мурза, робко стоит у притвора, хочет поднять руку для крестного знамения, но рука его падает бессильно: он слышит грозное проклятие, он знает, что это проклинают его — отступника от веры отцов.

Рыдания потрясают его грудь, он хочет в жаркой молитве принести покаяние, но его оглушает яростный рев толпы.

Он просыпается с влажными от слез глазами.

Кругом тихая ночь... Луч луны, проникший в палатку через откинутый полог, бросает свой свет на узор дорогого ковра, играет на осыпанной драгоценными камнями рукоятке татарской шашки.

Вспоминает бывший князь действительность, и он — грозный воин — плачет, как младенец, сокрыв свое лицо в мягкой атласной подушке.

А наступит день, прогонит свет солнца ночной кошмар, и снова суровый и спокойный несет мурза Алей-Бахмет смерть и разорение сотням христиан. И чем страшнее был

кошмар, чем больше заставлял он изнывать ночью душу князя, тем жесточе Алей, тем более гибнет от руки его христиан, ненавистных ему, и не пощады ни старцу седому, ни младенцу невинному.

Позднее все реже и реже стали появляться приступы раскаяния. Голос совести говорил все тише и тише и наконец замолк.

Мурза Алей-Бахмет, казалось, стал вполне счастливым: он был богат, знатен и любим. Он знал, что, когда, покрытый потом и грязью, усталый, вернется он домой с похода, его приветливо встретят два милых темных глаза, две белые руки обовьют шею, жаркий поцелуй почувствует он на своей щеке, и тихий голос промолвит: «Наконец-то вернулся ты, милый! Как ждала я тебя и тосковала в ожидании!»

И он забывал при этой ласке свою усталость, кровавые битвы и вражду. Весь мир для него был сокрыт в этих прекрасных очах, спокойствием веяло на него от них. Он спешил сбросить ненавистные ему в этот миг ратные, покрытые кровью доспехи и, опустившись на мягкий диван, отдыхал от трудов, покрывая поцелуями руки и лицо дорогой для него женщины.

Прошли годы, и еще больше счастья прибавилось мурзе Алею: два черноглазых мальчугана бегали и резвились в его обширном доме, оглашая его тишину веселым серебристым смехом.

По целым часам, бывало, любовался на них счастливый отец и смеялся, забавлялся вместе с ними, находя интерес в их детских играх.

— Отец! — кричал один.— Посмотри, не правда ли, я похож на грозного воина?

И ребенок, надев на себя тяжелый шлем отца и сгибаясь под его тяжестью, старался сердито нахмурить брови, чтобы придать свирепый вид своему нежному лицу.

— Батюшка! — хвастал другой.— Ты знаешь, я сегодня два раза объехал кругом весь наш сад на «Четырге», и так крепко держался на нем, что старый Сафа назвал меня славным наездником!

Отец знает, что «Четырг» — его старый конь — едва ноги волочит и никогда не сбросит ребенка. И грозный ханский мурза весело смеется, гладит черноволосую головку одного сына и хвалит другого за отвагу.

Привольно и радостно жилось бывшему князю Андрею Михайловичу в его новом отечестве. Забыл он Москву, и

лишь порой, как сквозь сон, вспоминались ему лица бывших товарищей.

Он был доволен, счастлив; совесть его спала. Нужен был сильный толчок, чтобы пробудить ее.

Такой толчок не скоро, но нашелся и погубил грозного и жестокого ханского воина, мурзу Алея-Бахмета.

XV

ОПЯТЬ НА МОСКВЕ

Был седьмой час жаркого июльского дня. Хотя дул довольно сильный ветер, но он не умерял зноя: он был тепл и сух. Жар стоял уже не первый день — лето 1560 года выдалось сухое.

Косые лучи начинавшего садиться солнца проникли сквозь переборчатое слюдяное окно в царские палаты. Они упали на фигуру человека, сидевшего у широкой кровати, под тяжелым атласным пологом, с вытканными на белом фоне большими золотыми двуглавыми орлами. Сидевший был еще молод. Он, по-видимому, был высок ростом и крепко сложен. Широкие плечи и выпуклая грудь свидетельствовали об его здоровье и силе. Тонкий, большой нос, несколько загнутый книзу, с легкой горбиной, глаза под тонкими темными бровями, небольшие, но умные и проницательные, слегка блестевшие, когда сидевший оживлялся, белый, высокий лоб, над которым вздымалась целая шапка густых каштановых волос,— все это делало лицо его красивым и приятным. Длинные усы, концы которых не опускались вниз, но слегка вились и далеко выступали из-за щек, придавали лицу сидевшего мужественное выражение. Волнистая широкая борода падала на грудь.

Одет был этот мужчина в узкий атласный кафтан, таусинного * цвета, плотно облегавший его стройный стан. Козырь ** кафтана был расшит золотом и унизан по краям крупным жемчугом, а там, где узоры шитья прекращались, сверкали самоцветные камни. Сидевший был не кто иной,

---

* Таусинный — темно-фиолетовый.

** Козырь — стоячий воротник.

как первый венчанный царь русский, Иван Васильевич, получивший впоследствии прозвище Грозного.

Однако в то время, о котором идет рассказ, еще нельзя было предполагать, что он получит такое прозвище, напротив, его можно было назвать скорее «кротким», потому что вот уже тринадцатый год, как он мудро и кротко правил своим царством, заставляя подданных благословлять свое имя. Это было счастливейшим периодом его царствования как для него самого, так и для народа. Подданные его любили, иностранцы боялись и уважали. Боялись потому, что видели, как не по дням, а по часам растет его могущество. Казань и Астрахань покорены и вошли в состав русских владений; Крым был ослаблен, и не сегодня-завтра мог ожидать участи двух соплеменных ему царств; Ливония, казалось, погибала под напором победоносной русской рати — уважали потому, что царь был стоек и мудр в политике и ни на йоту не отступал от своих справедливых требований и притязаний. И мог ли кто думать, что пройдут немногие годы, и все это рухнет в каком-то непостижимом крушении; что изменится добрый и мудрый правитель под влиянием странного стечения обстоятельств его жизни.

Царь сидел, подперев рукою склоненную голову, и задумчиво и печально смотрел на постель, где металась в горячечном жару его любимая жена, Анастасия Романовна. Лицо больной было красно, глаза полузакрыты... Запекшиеся губы тихо шевелились, словно шептали что-то тихо-тихо, слышное только для нее одной.

Больной душно и тяжело. Тяжелое атласное одеяло было далеко откинуто, и обнаженная полная грудь часто и неровно поднималась.

Царь был один в комнате. Он удалил прислужниц и приближенных царицы, желая сам прислужить больной, найдя редкую свободную от занятий государственными делами минуту. Видя, что одеяло откинуто, и боясь, чтобы больная, разгоряченная жаром, не простудилась, он встал и накинул одеяло на нее.

Это потревожило Анастасию Романовну. Она слегка вздрогнула и открыла глаза.

— Что тебе, Настя, лучше ли? — участливо спросил царь.

— Как будто полегчало, а то внутри так жгло,— слабым голосом ответила больная.

— Ах, Анастасья, Анастасья! Я не знаю уж, как и молить Господа, чтобы поднял Он тебя! — грустно произнес Иоанн.

— На все Его святая воля, батюшка Иван Васильевич! — тихо ответила Анастасия Романовна, окончательно пришедшая в себя.

— Кабы ты знала, родная, как сердце мое тоскует! — воскликнул царь.— Мне самому без болезни болезнь.

— Полно, милый! Бог даст, поправлюсь. Не тоскуй да не убивайся!.. Мне сегодня супротив вчерашнего полегче... Может и оттого, что немчин твой, лекарь, снадобьем меня каким-то поил. Горькое, ровно полынь...

— Меня сегодня он утешил поутру, сказал, что надежда на поправку есть... Дай-то Бог оправиться тебе скорее! — перекрестился Иоанн.

— Кликни кого-нибудь, Иван Васильевич... Испить бы мне дали: в горле пересохло.

— Я тебе сам дам, благо, ходить недалече... Вон на столе всяких квасов понаставлено. Какого ты хочешь?

— Малинового бы... Люблю его. Только покислее,— сказала Анастасия Романовна.

— Сейчас,— ответил Иоанн и протянул руку к одному из жбанов.

В это время дверь в палату шумно отворилась.

На пороге появился один из приближенных к царю бояр. Царь гневным взором окинул вошедшего. Но, верно, слишком важную новость принес боярин, потому что его не смутил блеск очей Иоанна.

— Царь! — воскликнул он.— Москва горит!

Анастасия Романовна, всегда боявшаяся пожаров, теперь, истомленная болезнью, испугалась особенно сильно и, слабо вскрикнув, лишилась чувств.

Царь, укоризненно взглянув на неосторожного боярина, успел только спросить:

— Где горит? — и обратился к бесчувственной царице.

— На Арбате, у Риз Положения... Князь Пожарского Федоровский двор,— ответил смущенно боярин, только теперь понявший, как необдуманно он поступил, громко сообщив страшную новость перед больной царицей.

— Коли не умел с умом дело обделать, так хоть теперь послужи умнее,— сердито проговорил Иоанн, обращаясь к оторопевшему боярину.— Беги к лекарю-немчину: царь, скажи, спешно приказал к царице идти — худо ей очень стало,— продолжал Иоанн, тщетно стараясь привести в чувство больную.— Да по пути прислужащим вели, чтобы сюда шли снаряжать царицу.

Боярин, желая загладить чем-нибудь свою вину, поспешно побежал исполнять приказание царя.

Скоро комната царицы наполнилась боярынями, ходившими за больной. Пошли охи и ахи. Царь, между тем, передав царицу на их попечение, стал расспрашивать о пожаре. Оказалось, что недаром боярин так спешно вбежал в палаты больной — пожар был нешуточный: горело уже несколько домов, и огонь шел все дальше, а головни сильным ветром относились к Кремлю.

Пришел лекарь. Он быстро привел больную в чувство, дав ей понюхать какого-то снадобья. Анастасия Романовна открыла глаза и обвела присутствующих мутным взглядом.

— Близко горит? — слабо спросила она.

— Нет, нет! не близко! — ответил царь, желая успокоить больную.

— Ты неправду говоришь, Иван Васильевич! — с укоризной проговорила она.— Ох, как страшно! Боюсь! Боюсь! — прошептала она, вздрагивая.

Между тем Иоанну доложили, что дворцу грозит опасность загореться от многочисленных головней.

«Что ж делать? — думал царь.— Не дворца жалко — жаль больную... перевезти ее подальше из дворца... Можно ль? Вишь, она какая слабая, повредит ей... Как быть?»

— Скажи-ка, немчин,— молвил он,— можно ль царицу теперь перевезти куда-нибудь из дворца?

— Гм...— поморщился лекарь.— Нежелательно было бы. Повредит, пожалуй,— говорил немец ломаным языком.

— Но дворец может сгореть! Нельзя же тут сидеть и ждать, что вот-вот загорится... Еще горше для больной будет,— задумчиво произнес Иоанн.

— Если твое царское величество находит, что это необходимо, тогда нечего и говорить: нужно перевезти больную... Только устроить надо получше, чтобы не так тревожить,— ответил лекарь.

— Распорядись, чтобы поудобнее ей постелю устроили: сейчас перевезем. Нечего время терять! А я с ней малость покалякаю, к переезду подготовлю,— сказал царь и отошел от лекаря.

Тот отправился исполнять приказание царя.

Иоанн снова приблизился к больной.

Та пристально посмотрела на него, широко открыв свои глаза.

— Что, Настенька, если б тебя подальше отвезти от пожара, лучше б тебе было, не так бы беспокоилась?

— А что? Верно, дворец горит? — испуганно спросила царица.

— Нет, не пужайся понапрасну... Бог миловал. Может, и все так обойдется: а я только к тому, чтоб тебя успокоить.

— Ты сам-то, родной, не тревожься за меня... Вишь, лицо у тебя белым совсем, ровно мел, стало.

Действительно, Иоанн был бледен, не от страха, конечно, а от волнения.

— А я теперь успокоилась, особливо, как ты сказал, что дворец не горит...

— Да, дворец не горит, может, Господь и не допустит, а все ж, я чай, тебе поспокойнее в селе Коломенском, чем здесь, будет,— сказал Иоанн.

— Ты в село Коломенское хочешь меня везти? Стало быть, уж к дворцу огонь подбирается? — снова испугалась царица, спокойствие которой как рукой сняло, едва у ней мелькнула мысль о близости пожара.

— Да нет же, родная, нет же, говорю тебе! Я так только, чтоб для тебя поспокойнее все устроить. Потому, хоть пожар и не очень уж близко, а все же зарево сильное, как смеркнется, покажется, опять же шум, крики и беготня. Вот я к чему.

— Ну, вези,— тихо проговорила царица, на которую, видно, волнение начинало оказывать свое действие: она, казалось, ослабела.

Иоанн, видя, что больная закрыла глаза, неслышно отошел от ее постели и сделал знак присутствующим, чтобы они говорили потише.

Царица лежала в забытьи. Недавно красное лицо ее стало бледным, и темные полосы легли под глазами.

Между тем вернулся лекарь.

— Все исполнил, как твое царское величество приказал,— произнес он, приближаясь к царю.

— Покойно ли ей будет? Удобно ли устроено ложе? — спросил государь.

— Я позаботился, чтобы все устроить как можно лучше. Меня тревожат не неудобства пути, а...

— А что? Говори скорее! — нетерпеливо прервал его Иоанн.

— Взгляни сам, царь, на больную. Посмотри, как она ослабла.

— Да, я вижу,— задумчиво проговорил царь.

— У ней упадок сил,— продолжал лекарь, взяв руку

больной.— Я боюсь, царь, что испуг, испытанный ею, последствия которого ты видишь, опять повторится, когда она взглянет на пылающий город. А этот испуг — смерть для нее!

— Что же делать? Что же делать? — почти с отчаянием прошептал Иоанн.

— Если можно — не тревожь ее,— повторил лекарь сказанное им незадолго перед этим.

В это время в палату вбежал один из бояр, он был бледен.

— Царь! — тихо сказал он Иоанну.— Головни летят прямо ко дворцу... Может загореться.. Спасай царицу!

— Ты слышал? — обратился Иоанн к лекарю.— Могу ли я оставить царицу здесь? Опасность близка.

— Действуй, как задумал, государь! Видно, такова судьба. Против нее не пойдешь! Будем только молить Бога о спасении царицы! — произнес немец.

— Да! Только и надежды, что на милость Божью! — ответил государь и подошел к постели больной.

— Настасья, родная, ты спишь? — окликнул Иоанн Анастасию Романовну.

Царица лежала неподвижно. Слышно было только тяжелое и прерывистое ее дыхание.

— Настя, очнись! — тихо продолжал царь, взяв больную за руку.

Анастасия Романовна полуоткрыла глаза.

— Что, милый? — едва слышно спросила она Иоанна.

— Сейчас поедем, Настя... Ведь ты не будешь пугаться, болезная? Не будешь, обещай!

— Не буду, родный... Чего? Все равно умру скоро! — промолвила царица, тяжело вздыхая.

— Не говори этого, Настя,— дрогнувшим голосом произнес царь.— Бог милостив! Поправит Он тебя, Милосердный. А ты не пугайся... Вынесут тебя — огонь увидишь... Так это ничего, это не так близко — тебе вреда не будет. И я, к тому же, буду подле тебя. До беды не допущу!

— Батюшка Иван Васильевич! Да нешто я за себя боюсь? Что мне! Людишек мне жаль, что погорят, вот что. Вот почему я пожаров боюсь — они бедствие великое для бедняков горемычных. Сколько по миру пойдут после этого — последние остатки сгорят... Выскочат, как мать родила. А может, детки малые есть, тоже пить-есть просят.

Царица на минуту смолкла, потому ей пришли в голову самые тревожные мысли.

— А то еще горше — не успеют спасти, забудет впопыхах мать или отец о дитяти родном, и сгорит оно, дитя малое, неразумное. Вот почему я так пужаюсь... А мне самой что! — говорила Анастасия Романовна, слегка приподнявшись, и голос ее окреп, а на щеках появилась легкая краска.

Иоанн с радостным удивлением смотрел на происшедшую в жене перемену.

Однако радость его длилась недолго.

Быстро сбежал румянец с лица больной, она тяжело опустилась на подушки и опять стала бледна и слаба по-прежнему.

Иоанн сделал распоряжение, чтобы царицу снаряжали в дорогу.

Боярыни обступили постель.

С большими спорами и перекорами приступили они к снаряжению царицы в путь.

— Нет, боярыни, не можно так больную везти в платье обыденном: простудится. Как мне думается, попросту одеялами ее, государыню нашу болящую, обернуть надоть да так и везти, положа на постелю мягкую, которую лекарь на возке устроил,— быстро говорила громким голосом высокая и дородная, уже пожилая боярыня.

— А я смекаю, что хуже так,— тонким голосом выкрикивала в ответ ей боярыня, не уступавшая первой в дородстве, но очень низкорослая.— И делать так негоже... Потому, окромя того, что непристойно, и простыть государыня может, как одеяла распахнутся... Не гоже это, на мой смек, негоже!

Ей возражали, а среди споров дело стояло. Кроме того, болтовня их удручающим образом действовала, видимо, на больную. Она внимательно вслушивалась в разговор, и, кажется, сборы в дорогу пугали ее больше, чем самый путь.

Иоанн, беседовавший в это время с лекарем, заметил это.

— Ишь, бабье расходилось! — сказал он, слегка усмехаясь.— Вот уж подлинно, где две бабы сошлись — целый базар, а тут вас десяток целый. Нечего пустое-то калякать,— продолжал он уже совершенно иным тоном,— живо снаряжайте царицу, а не то!..— и в голосе царя послышалась угроза.

Этот окрик подействовал как не надо лучше. Споры прекратились, и больную быстро снарядили в путь.

Обе стороны сошлись: боярыни одели царицу в легкое платье и, кроме того, обернули одеялом.

Пока шли все эти сборы, уже начало смеркаться, и зре-

лище пожара должно было выглядеть еще ужаснее, чем днем.

Несколько рук подхватили царицу и понесли к крыльцу, где ожидал ее возок, приспособленный для перевозки больной. Сам царь был в числе несущих: он поддерживал голову Анастасии Романовны.

— Так, помни, болезная, не пугайся, как увидишь пожар,— говорил он ей.

— Нет, родимый, нет! Не буду пугаться,— слабым голосом отвечала царица, которую сильно истомили все эти сборы и испытанные ею волнения.

Однако, несмотря на данное Анастасией Романовной обещание царю не пугаться, едва ее вынесли из дворца и она увидела тучи дыма и целые снопы искр и головней, далеко относимых ветром от места пожара, царица пришла в ужас.

— Батюшки-светы! Почто Господь так православных карает! — вскрикнула она и закрыла ладонями лицо, чтобы не видеть поразившего ее зрелища.

От испуга с ней сделалась лихорадка такая сильная, что зубы стучали один о другой.

Лекарь, не отходивший от больной, с серьезным лицом наблюдал эту перемену.

Иоанн, заметивший серьезность немчина, был задумчив и грустен.

Царицу поспешно уложили и немедленно тронулись в путь, желая поскорее подальше отвезти больную от волнующего ее зрелища.

Царь сопутствовал ей. Всю дорогу царица не промолвила ни слова.

Испуг, видимо, оказал пагубное влияние на ход болезни. Лекарь стал отчаиваться в ее благополучном исходе.

Проводив больную и успокоив ее как мог, Иоанн вернулся в Москву к пожару.

«Царь не должен щадить своей жизни, когда опасность грозит подданным»,— думал Иоанн и спешил на пожар, как на битву.

А пожар был ужасен! Пламя, раздуваемое сильным ветром, перекидывалось с дома на дом. Деревянные дома, сразу охваченные огнем, горели как свечи. Горели не несколько, а сотни домов и церквей сразу. Арбат был весь объят пламенем, и пожар двигался к Новинскому монастырю. Огонь двигался от Успенского оврага, где находилась церковь св. Леонтия. Потом шел берегом до Черторья; дальше пламя

неслось к Семчинскому сельцу. Таким образом, пожар охватил пространство в несколько верст.

Иоанн деятельно боролся с огнем. Работал, как простой крестьянин. Став лицом к огню на Успенском овраге, он, вместе с боярами и великим князем Владимиром Андреевичем, старался отстоять посад. Он не щадил своей жизни; осыпаемый искрами и вынося неимоверный жар, он хладнокровно отдавал приказания и сам, когда видел необходимость, не думая об опасности, лез на крыши загоравшихся зданий. Бояре не отставали от него и боролись с пожаром настолько, насколько это было во власти человека.

XVI

ПОДВИГ КНЯЗЯ НОГТЕВА

Муж Марии Васильевны, князь Данило Андреевич, работал на этом пожаре не меньше других. Оставив дома плачущую от испуга Марью Васильевну, он поспешил на пожар. За жену князь не тревожился, так как их дом был слишком отдален от горевшей части города и находился в полнейшей безопасности. Когда Даниил Андреевич поспел к пожарищу, пожар уже свирепствовал со страшной яростью. Князь не теряя времени принялся работать. Теперь он стоял на кровле одного из домов и старался отстоять сухое строение от пожара. Он с двумя другими боярами беспрерывно смачивал водой деревянную кровлю. Напротив этого строения большой дом был совершенно охвачен пламенем. Крыши уже не существовало: более тонкая, чем другие части дома, она сгорела раньше всего. Вместо нее остались только несколько медленно догоравших балок. Второй и первый этажи еще ярко горели. Наружные части стены были объяты пламенем, а изнутри лишь все чаще и чаще показывались языки пламени.

С этого дома на тот, который отстаивал Ногтев с товарищами, падали головни и снопы крупных искр. Бояре деятельно работали...

— Ой, лишечко, лишечко! Детки мои, детки! — раздался в это время отчаянный женский крик.

И, верно, ужасен был вопль несчастной матери, если он

заглушил треск горевшего дерева, шумные возгласы работавших и плач погоревших. Бояре и Данило Андреевич, как они ни были поглощены работой, обратили внимание на этот крик и посмотрели туда, откуда он доносился. Несмотря на то что уже давно наступил вечер, на пожарище было светло как днем, и они различили женщину, бившуюся в сильных руках каких-то мужчин, вероятно удерживавших ее от попытки броситься в огонь. Желая вырваться из державших ее рук, женщина каталась по земле и билась о нее головой, беспрерывно повторяя отчаянным голосом:

— Дети мои! Деточки милые горят! О-ох! Лишечко!

Ужасный крик этот до глубины души потряс молодого князя. Не сказав ни слова товарищам, он поспешно спустился с кровли.

— Где твои дети? — спросил он у вопившей женщины, подойдя к ней.

— Там, там! — горько рыдая, произнесла она, указывая рукою на охваченный пламенем дом.

— Вверху? — коротко спросил Данило Андреевич.

Женщина утвердительно кивнула головой.

— Сколько их и кто они — мальчик или девочка? — продолжал поспешно спрашивать князь.

— Две девочки... Одной пятый... другой четвертый годок,— прерывающимся голосом пояснила женщина и опять завопила: — Ой! лишечко! Деточки мои, деточки!

— Молись, чтоб помог Бог: я спасу твоих детей,— проговорил Данило Андреевич и направился к горящему дому.

— Князь, князь! — окликнул его один из бояр.— В уме ли ты? Нешто можно в огонь прямо лезть? Где их спасти — Божья, знать, воля! Себя только погубишь!

Ну, умру, помолитесь обо мне,— хладнокровно ответил князь, подставляя лестницу к одному из горящих окон.

— Бог тебе в помощь, княже, будет! Иди на подвиг! — молвил слышавший все Иоанн.— Господь не оставит тебя! — продолжал он.

— Одна просьба, братцы,— проговорил князь,— как влезу в окно, отымите лестницу от стены, что не сгорела, а только покажусь, коли Бог даст, снова, немедля приставьте опять... Сделаете? Не забудете?

— Ладно! Исполним, как сказываешь! — хором ответили ему.

Окатив себя водой, Данило Андреевич поднялся по лестнице и, перекрестясь, не задумываясь шагнул через окон-

ницу в наполненную дымом и огнем внутренность дома. Фигура его скрылась от глаз смотревших.

Минуты ожидания казались часами. Глаза всех не отрывались от окна, в котором скрылась, быть может, навеки фигура молодого князя. Но ни для кого не были так долги и так тягостны эти минуты, как для несчастной матери. Она стояла, словно окаменев. Вся жизнь ее, казалось, сосредоточилась в одном взоре, обращенном на роковое окно. «Спасет или нет? Вот, вот, кажется, что-то мелькнуло! Нет, то дым застлал на время пламя» — проносится в голове женщины, находящейся между горем и надеждою. «А вдруг он покажется один? О-о! Что будет тогда, что будет! Ума, кажись, лишусь!»

Страшны бывают эти минуты ожидания, когда вот-вот должен разрешиться вопрос, от того или иного решения которого зависит счастье или несчастье всей жизни. И как долго тянутся такие минуты! Сколько переживаешь в это время. То надежда шепчет, что — да, должно свершиться желаемое, то иной голос разбивает надежду и, напротив, сулит полную неудачу. А сердце колотится неровно и часто. И хочется сказать ему: не бейся так, зачем понапрасну тревожиться — сейчас все решится! Но видно, не сердце виновно в переживаемом волнении, а наш мозг, в котором гвоздем засела неотвязная мысль: «Что будет, что будет?»

Однако минуты длились, а князь не показывался. Толпа замерла. Не слышно было обычного говора, забыта была борьба с пожаром, все, от царя до последнего смерда, замерли в ожидании.

Несчастная мать не спускала глаз с окна, стояла неподвижно, только рука ее часто-часто творила крестное знамение, да губы тихо шевелились, шепча молитву. Уж у многих стало закрадываться сомнение в благополучном исходе, другие раньше решили, что князь пошел на верную гибель, и, уверенные в этом, потеряли даже ту тень надежды, которая невольно, одно время, закралась в их души.

Вдруг единодушный радостный крик вырвался у всех: в окне показался Данило Андреевич! Но один или с детьми?

Сомнение быстро разрешилось: князь что-то бережно держал в руках, завернув в снятый с себя кафтан.

Подставить лестницу было делом одной минуты. Князь быстро спустился и вовремя — второй этаж обвалился, и весь дом обратился в один пылающий костер. Как безумная, кинулась мать к возвращенным ее детям. Она плакала, смеялась от радости и в неистовом восторге целовала руки спа-

сителя ее детей. Дети были без чувств от дыма, но скоро пришли в себя и дико озирались помутившимися глазами вокруг, еще не сознавая окружающего.

— Бог сторицей воздаст тебе, благодетель, за доброе дело! — в последний раз поблагодарила князя мать спасенных и всецело отдалась детям.

Она их рассматривала, как будто впервые увидела после многолетней разлуки, и радостными слезами орошала их русые головки.

Дети вышли вполне невредимыми, если не считать маленького угара, но нельзя было сказать того же самого про их спасителя. Молодого красавца князя едва можно было узнать в стоящем теперь человеке. От золотистых кудрей не осталось и помину: они сгорели, едва Данило Андреевич успел вступить в горящий дом. Концы бороды тоже обгорели. Кожа на лице почернела от дыма и треснула. Местами видны были пузыри от ожогов. Наружная поверхность рук была вся сплошь обожжена и превратилась в сплошной пузырь. Платье изорвалось и местами истлело. Словом, Данило Андреевич довольно сильно пострадал.

Но зато каким счастьем светились его темно-голубые глаза, когда он смотрел на спасенных им малюток! Он их любил в этот миг, как мать любит новорожденное дитя: он страдал за них и вернул им жизнь. Глядя на них, он забывал о своих ожогах и пережитой опасности.

Кругом бояре расхваливали его. Сам царь подошел к нему.

— Ну, княже! Жаль, что это не на войне, а то пожаловал бы я тебе гривну золотую *! — сказал Иоанн, и в его светлых глазах, устремленных на князя, блеснула слеза.— Будь же и вперед ты таким же добрым молодцем, и я тебя не забуду! — продолжал царь.— А теперь поди домой к хозяйке: перевяжи свои обжоги... Нечего тебе здесь больше делать: ты уж поработал вдосталь!

— Спасибо, царь-батюшка, за милостивое слово! — низко поклонился Данило Андреевич.

Скоро все опять принялись за работу, а князь, только теперь начинавший чувствовать, как невыносимо болят обожженные руки, поспешил домой. Марья Васильевна сперва не признала мужа в этом лысом, черном и обоженном человеке, потом, ахнув от изумления и испуга, спросила, что

---

* Золотая гривна (медаль) была знаком отличия на войне.

с ним случилось. Данило Андреевич, нисколько не хвастаясь и не придавая особенного значения своему подвигу, рассказал, как было дело. Марья Васильевна, взглянув на него восхищенным взором, крепко поцеловала мужа в его потемнелый от дыма лоб и, обняв, тихо промолвила:

— Даниил! С этих пор я не могу не любить тебя!

Эти слова довершили счастье молодого князя.

Думал ли он, что спустя много лет другой человек, его враг, совершит такой же подвиг, как он сейчас, спасая его собственных детей и жену, и что слова женщины, сказавшей: «Бог сторицей воздаст тебе за доброе дело!», осуществятся тогда, когда великое бедствие посетит родную землю, когда будет гореть не одна частица, а вся Москва, зажженная руками воинов великого русского недруга!

XVII

КОНЧИНА ПЕРВОЙ РУССКОЙ ЦАРИЦЫ

Седьмого августа 1560 года погода была пасмурная. Со всех сторон над Москвою нависли тучи и грозили дождем, но дождь не шел, а небо хмурилось все больше и больше. «Ох, быть дождю!» — говорили московские граждане, глядя на хмурое небо, и все-таки, несмотря на это, редкий из них остался дома. И стар, и мал, все стремились к царским палатам. Тихо стояла толпа, собравшаяся перед дворцом. На лицах всех видна тревога и грусть. Казалось, свинцовое небо давило их своею тяжестью и заставляло тоскливо биться их сердца.

Нет, не погода, грозившая дождем, смущала народ: пойдет дождь и мочить-то ему будет нечего, кроме сермяг да рубах порванных, нет, иное, должно быть, что-нибудь поважнее, а к бурям и ненастьям, что к морозам, русскому человеку не привыкать стать. Что-то больно часто глаза столпившихся поглядывают на окна царского терема — там надо искать причину овладевшей народом кручинушки.

В первых рядах толпы стоят уже знакомые нам неразлучные «Микитка» и «дядя Хведот».

— Что, паря,— тихо говорит своему товарищу Федот,

одетый все в ту же неизменную синюю рубашку, только еще больше прорванную на локтях,— должно, неладно творится в палатах: чтой-то больно тихо.

— Н-да! — пробурчал Никита,— то есть ничегошеньки не слыхать! Ровно там вымерли все... Спаси Бог! и впрямь неладно, кажись!

— Неужели Господь попустит такому делу совершиться?

— Не скажи этого! На все Его воля, не нам-ста толковать об эфтом.

— Знамо дело, не нам!.. Эфто ты правильно молвил, а токмо все ж как не дивиться: была царица-матушка молода, здорова, взглянешь на нее, так глаз отвести не хочется: кровь с молоком, и вдруг на! Кончается, бают! Что твоя сказка, право!

— Какая сказка, коли мне сам истопник дворцовый намедни говорил, что царица больно плоха. Лекарей одних, немецких, бает, что согнано, так страсти,— говорил Никита.

— Ох, уморят ее, болезную, бусурманы поганые! Начнут зельями всякими пичкать,— произнес Федот, по-видимому, большой противник врачебного искусства и немецких лекарей, в особенности.

— Нет, лекаря что! Они хотя и немчины, а все значит от Бога сподоблены врачевать недуги, и средствия их и снадобья всякие, окромя пользы, ничего не принесут. Тут иное бают... Слышал, чай? Вот, эфто так, взаправду, царицу уморить может...

— А что такое? Ничего не слышал,— ответил Федот.

— Да, бают, что...— тут Никита наклонился к уху своего товарища и что-то тихо сказал.

— С нами крестная сила! Может ли быть? — воскликнул пораженный Федот.

— Стало быть может, коли толкуют.

— Гмм! Да кому же эфто надо, чтоб такого ангела Божия, как царица-матушка...

— Шшш! — прервал его Никита, закрывая рукою рот «дяди Хведота» и оглядываясь по сторонам,— нишкни! Аль хочешь, чтоб тебя на дыбу потащили, что среди народа такое орешь!

— Да что же... Да я ничего. К тому только, что негоже, а оно, конечно... того,— и Федот, смущаясь, не знал, что говорить и как оправдаться в своей неосторожности перед товарищем.

Но, видно, Никите самому хотелось поделиться с «дядей

Хведотом» тем, что знал, так как он, наклонясь ближе к уху его, тихо продолжал:

— Известно кому! Тем, кто около царя сидит да всеми делами заправляет: попу да Адашеву!

— Вот те и на! Да может ли быть, чтоб такие мудрые государевы советники и вдруг эфтакое дело замыслили... Не верится!

— Да и мне самому тоже, признаться... Так, думать надо, пустое болтают.

— Знамо дело! — уверенным тоном ответил Федот.

Таким образом, завистниками священника Сильвестра и Алексея Адашева уже распространялись исподволь слухи в народе о том, что эти мужи «извели» царицу. Но народ видел в этих двух царских любимцах только благодетельных для себя советников Иоанна и не верил слухам. К сожалению, нельзя того же сказать о царе: он не остался глухим к шепоту зависти, и, на радость завистникам, скоро злоба на бывших любимцев змейкой стала шевелиться в душе Иоанна.

В то время, как толпы народа теснились перед окном и с тревогой смотрели на окна царских палат, внутри дворца все, начиная с царя и кончая последним поваренком на кухне, были исполнены скорби и печали: царица Анастасия Романовна была безнадежна — это только что сообщили лекари царю. Иоанн, стоя на коленях у изголовья постели, не спускал глаз с бледного и исхудалого лица умиравшей жены и тихо шептал молитвы: люди отказались противиться болезни — она была сильнее их — оставалось только молить Бога, чтобы Он совершил чудо, исцелил безнадежно больную.

Анастасия Романовна лежала на спине, закрыв глаза. Нос ее заострился, вокруг глубоко впавших глаз протянулись черные полосы. Бледная, с закрытыми глазами — она уже и теперь казалась мертвой, только руки, протянувшиеся вдоль тела, изредка судорожно сжимались да грудь медленно и неровно поднималась.

Вокруг постели безмолвно, с бледными лицами, толпились приближенные царя и царицы. Лекари переговаривались друг с другом по-немецки, пытаясь найти еще какое-нибудь не испытанное ими средство. Но напрасно ломали они головы: лекарства против смерти не было в их распоряжении.

Болезнь с самого начала была тяжкой, испуг во время московского пожара еще больше усилил ее, и теперь спасения не было.

Больная сделала движение. Все встрепенулись: она чего-то хотела.

— Что тебе, родная? — прерывающимся от волнения голосом спросил Иоанн.

— Святых Таин... причаститься желаю,— слабым голосом, с долгими передышками, произнесла царица.

Царь немедля исполнил волю царицы. Анастасия Романовна исповедалась и приобщилась.

Глубокая ли вера, с которой больная приняла Святые Дары, или мысли о том, что ею исполнен последний долг, проносимый на земле христианами, подкрепили царицу, только она лежала, открыв глаза, со спокойным и просветленным лицом.

При виде перемены Иоанн начал думать, что Бог внял его молитве и вернет ее к жизни.

— Что, милый, тоскуешь? — медленно проговорила царица, смотря на Иоанна.

— Еще бы не тосковать! Что я буду делать без тебя, сирый, горемычный! — горько воскликнул Иоанн.

— Божья... воля!

— Бог возвратит тебя к жизни на радость мне!

— Нет... родной! Зачем... себя напрасно тешить? Не поправиться мне... Чудо! Сегодня уйду на суд... Божий!

— Анастасия! Не молви такого! Ты словно сердце мне на части рвешь!

— Зачем печалиться? «Там» свидимся. Все «там» будут... Я сегодня... другие позже. Помни только,— продолжала царица, и голос ее слегка окреп,— помни только, что... на тебе лежат тяготы великие! И за себя... и за народ твой... за... все... ответ дашь Господу. Знаю, не бабье... дело учить мужа... уму-разуму... но я теперь уж... почти стою перед лицом... Всевышнего... и могу сказать на прощание... Иван! — возвысила она насколько могла голос.— Запомни, что скажу... Велик ты можешь быть... и славен, только... только не дай овладеть... тобой духу тьмы... Он, говорю тебе, сторожит тебя! Не забывай Бога, слушайся только... Его да совести, а не советников льстивых... и благо ти будет! А ослабнешь... Ох, помыслить страшно... как далеко ты уйдешь... от лица Божия... Помни, Иван, и послушайся! Тяжко... опять... стало...

И, обессиленная долгою речью, царица закрыла глаза.

— Исполню, как ты повелела,— тихо ответил ей Иоанн.

Больная открыла глаза, благодарно взглянула на царя,— очевидно, уже язык не повиновался ей, и снова смежила веки. Больше она уже их не открывала.

И прежде бледное лицо больной стало еще бледнее... Грудь поднималась все реже и реже.

— Она кончается,— произнес лекарь, тихо взяв ее руку.

— Читайте отходную! — приказал Иоанн.

Раздалось протяжное чтение священного писания. В комнате было так тихо, что слышно было слабое клокотание в груди больной.

Глубокий вздох еще раз поднял грудь больной... и все было кончено! Первая царица русская Анастасия Романовна преставилась.

Крики и плач наполнили палату.

Иоанн, припав к еще не остывшему трупу, целовал руки умершей и, в страшном отчаянье, рвал на себе волосы. А за стенами дворца, в толпе собравшихся, слышались не меньшие вопли; то народ, уже узнавший обо всем, оплакивал своего «андела» — матушку-царицу.

* * *

Откладывать подольше похороны было не в обычае того времени. На другой день царицу хоронили. Целые толпы народа преграждали путь печальной процессии. Плакальщиц нанимать не надо было: плакали все!

Князья Юрий и Владимир Андреевичи, братья царевы, вели под руки обессилившего от горя царя.

Царь постарел за это время лет на десять. Сильное потрясение пришлось испытать ему.

Тринадцать лет, душа в душу, прожил он с царицей. Одна она умела смирить его порою бурные порывы: достаточно было ее кроткого слова или взгляда прекрасных глаз — и стихал гнев Иоаннов. Царь привык к мирной и спокойной, полной тихого счастья, семейной жизни. Давно уже забыл он буйные забавы первой молодости, страсти его смирились под давлением не властной, но любящей руки царицы. Теперь все пало! Расстроен его мирный семейный круг, нет более друга, с которым царь мог бы поделиться своим горем и радостью. Есть еще прежние советники... Но кто? Сильвестр, Адашев? Царь уже переставал верить им! Они мудры, да, но к какой цели стремятся? — давно мелькал в уме его вопрос. Могут ли они заменить любившую его до самозабвения царицу? Нет! Могут ли они теперь скорбеть,

как он, над телом Анастасии Романовны? Опять нет и нет! Они всегда были не расположены к царице — это не было тайной ни для него, ни для покойной. «Может быть, даже... даже они причиной служат смерти царицы»,— мелькает у Иоанна мысль, и злоба охватывает его сердце, но пока еще слишком сильная тоска, она осиливает злобу, не дает развиться неясному подозрению, и Иоанн, в отчаянье, пытается вырваться из державших его рук, чтобы броситься на гроб любимой жены и рыдать над ее трупом.

Плачет царь, плачет народ и вельможи, плачет даже митрополит, провожающий со всем духовенством Москвы тело царицы в Вознесенский монастырь.

Однако, хоть медленно, но все ближе и ближе подвигается процессия к месту вечного успокоения царицы. Из монастыря, навстречу телу, выходят рядами монахини. Слышится заунывное монастырское пение, голоса поющих монахинь мешаются с голосами митрополичьих и царских певчих и все вместе сливаются в один могучий стон.

А кажется, что это плачет сам город, сама Москва белокаменная испускает вопль из своих твердынь и отражает его в тысячах отголосков, чтобы каждый на Руси знал, что ныне день скорби великой, день погребения той, которая своей слабой, женской рукою часто спасала все огромное многомиллионное царство от бурного подчас проявления воли сердца Иоаннова. Да, плачь, плачь, Москва! Плачь, все русское царство! Не одну Анастасию, кроткую матерь всех обделенных судьбиной, погребаете вы здесь: вместе с ней зарываете вы надолго и свое счастье, и счастье отечества! Недаром уже второй день хмурится небо и прячется за тучами ясное солнце — это знамение вам, что закатилось на многие годы и ваше солнце. Но только завтра поднимется ветер, разгонит тучи, вновь на небе заблещет дневное светило и обольет горячими лучами землю, а ваше солнце еще не скоро взойдет! Еще теперь только хмурится ваше небо, только набегают тучки на небосклоне, а скоро они сольются в одну свинцовую тучу, и наступит для вас долгая, тяжкая ночь, полная страшных снов и кошмаров. Долго продлится эта тьма. Долго, до тех пор, пока не появится на престоле тот, в ком будет течь та же кровь, которая текла в жилах умершей царицы.

Последствия смерти Анастасии Романовны скоро начали сказываться. Не успели опустить в землю гроб царицы, не успели еще высохнуть слезы на глазах убитого горем царя,

как уже подняла свою голову долго молчавшая гидра зависти, раздора и злобы.

Вот подошел к Иоанну рослый, красивый, сановитый боярин. Это Алексей Басманов.

— Утешься, царь! — тихо говорит он государю.— Анастасия Романовна сподобилась преставиться, но у тебя еще есть верные мужи и советники. Они разыщут тех ворогов лютых, что извели царицу своими чарами.

Иоанну, привыкшему видеть всегда царицу веселой и здоровой, кажется невероятным, чтобы цветущая, полная сил Анастасия Романовна могла так безвременно скончаться.

«Есть причина, есть! — скользит у него мысль.— Она умерла не по Божьей воле, а по людской злобе!»

Эта мысль как раз совпала со словами наушника.

— Кто эти царицыны вороги и супостаты? Говори! — приказывает царь Алексею Басманову.

— Ты сам их знаешь, государь, лучше, чем я,— уклончиво отвечает боярин.

Царь догадывается, что Басманов метит на недавних царских любимцев, к которым царь уже с весны этого года почувствовал охлаждение и отдалил от себя, или, вернее, они сами отдалились: это священник Сильвестр, теперь уже монах, и Алексей Адашев, ныне воеводствующий в Ливонии, но ему хочется услышать из уст Басманова подтверждение того подозрения, которое стало слагаться в его уме.

— Говори, кто они такие! — строго приказывает он Алексею Басманову.

— Коли такова твоя воля — повинуюсь,— смиренно отвечает боярин.— Это Алексей Федорович Адашев да поп Сильвестр.

— Злые люди! — шепчет Иоанн.— Я ли им милостей не оказывал? Я ли не сделал их первыми после себя? За что они погубили голубку мою? — и грусть, и злоба мешаются в сердце царя, поднимается желание отомстить им, и глаза его сверкнули огнем.

Басманов с тайною радостью наблюдал действие своих слов.

«А, Алешка и поп,— думает он про Адашева и Сильвестра,— довольно вы царствовали да куражились над нами! Только б удалил вас царь — тогда он наш! Будет и на нашей улице праздник!»

Расчет Басманова оказался верным, но лишь с одной стороны: дурное семя, брошенное в душу Иоанна, дало быстрый и неожиданный плод. Не прошло и года, как царь стал не-

узнаваем. Он не только удалил бывших любимцев, но казнил всех сочувствующих им.

Слишком быстро и безостановочно зрел плод! Царь сделался подозрителен, никому не доверял и всюду видел врагов; он мучился от постоянной тревоги, что враги близко, подле него... Он страдал и, думая прекратить страдания, уничтожив всех своих недругов, искал их, и кровь лилась рекой, а враги все умножались, вместе с тем, как все больше разрасталась тревога царя.

Умерший в темнице, на чужбине, Адашев и его родственники были первыми жертвами, в этом расчет Басманова оправдался. Оправдался он также и в том, что настал на их улице праздник: Алексей Басманов, его сын Федор и еще несколько лиц: Афанасий Вяземский, Васька Грязной, Скуратов и другие — совершенно овладели царем и ворочали судьбами отечества. Но долго ли? Иоанн был не ребенок, не нуждался в опекунах и помнил, что он царь-самодержавец, владыка над своими подданными.

Скоро надоедали ему новые любимцы, подобно Сильвестру и Адашеву, и их постигала подобная же первым участь: они погибали или в темнице, или на плахе. Но горше всего пришлось тому, кто первый бросил злое семя в душу царя и раздул тот маленький огонек, который тлел в душе Иоанна, во всепожирающее пламя — Алексею Басманову: по приказу царя, он был задушен в темнице руками своего собственного сына, красавца Федора, царского кравчего, в свою очередь погибшего под топором палача. Недаром плакал народ над телом усопшей царицы: это были вещие слезы! Тяжелые времена наступили! Славные царские воеводы падали на плахе или бежали в чужие страны. Другие продолжали служить отечеству, ежедневно ожидая, что и им придется сложить под топором свои головушки или испустить дух в страшных истязаниях. Третьи, наконец, снедаемые честолюбием, стали служить не отечеству, а царским прихотям, потешая Иоанна на пирах и глумясь и ругаясь над безвинными страдальцами.

В числе первых был муж Марьи Васильевны, князь Данило Андреевич Ногтев, в числе вторых боярин Василий Иванович Темкин.

Данило Андреевич удалился из Москвы в свою вотчину и только тогда приезжал в столицу, когда нужно было идти в поход или ехать по какому-нибудь поручению царя.

Темкин остался в Москве и стал преданнейшим клевретом царя Иоанна.

Часть третья

I

ВЕСТЬ

Прошло двенадцать лет с той поры, как обвенчали Марью Васильевну с князем Данилой Андреевичем. Двенадцать лет — не двенадцать дней! Многое успело измениться за эти годы, настали на Руси времена такие тяжкие, черные, что если бы раньше какой-нибудь ведун старый предсказал, что наступит такое лихое времечко, ему бы никто веры не дал и в глаза ему рассмеялся.

Крут стал нравом царь Иоанн, всюду измену отыскивал да казнил нелюбых себе, а тем временем враги не дремали, и шли полки за полками на Русь. Поляки, шведы, ливонцы — все, словно сговорясь, напали на Русь, не забыл прежних поражений хан крымский, Девлет-Гирей, и готовился, говорили, к набегу на Москву.

А что Марья Васильевна? Утешилась ли она? Помогли ли ей протекшие годы забыть друга, или она все так же, как прежде, грустит и слезы льет, своего дружка милого вспоминаючи?

Время все лечит, все изменяет! Привыкла Марья Васильевна к своему кроткому, души в ней не чаявшему мужу и полюбила его, если не так, как раньше любила Андрея Михайловича, то иной, спокойною любовью.

И счастлива она была! Если когда и вспоминался ей Андрей Михайлович, если когда и туманились ее очи легкою грустью, так она сейчас же спешила к своему мужу, обнимала, целовала и в его ласках забывала то, что так некстати, не вовремя зашевелилось в ее душе.

Кроме того, не слыша в продолжение многих лет о Бахметове, после его внезапного исчезновения из Москвы, она думала, подобно многим другим, что он умер, и вспоминала о нем с уважением и легкою печалью, как о навеки потерянном для нее друге. Было ей послано богом еще одно утешение, которое больше всего помогло ей забыть былые страдания: это были ее дети — мальчик и девочка. Сыну ее Васе шел уже десятый годок, дочь же, Настя, была года на два моложе его. Марья Васильевна души не слышала в своих детях, прекрасных, как ангелы.

Вся отдавшись воспитанию детей и уходу за ними, она уже который год жила в вотчине мужа, на Оке, верстах в десяти от Серпухова, лишь изредка наезжая в Москву, чтобы навестить отца и мать, уже сильно постаревших. Однако за последние годы она стала гораздо реже посещать их, так как муж, не перечивший ей никогда ни в чем, с неудовольствием относился к этим поездкам. Причина была та, что он почти совсем разошелся со своим тестем Василием Ивановичем Темкиным.

Произошло это потому, что старик, забыв о своем высоком роде и обязанностях боярина: служить царю верой и правдой, но не забывать о своей чести и совести, вступил в число клевретов Иоанна, подобно князю Вяземскому, года за два до этого погибшему на плахе, и другим родовитым честолюбцам. Он ездил в Соловки, вместе с епископом Пафнутием и архимандритом Феодосием, для отыскания, по желанию царя, улик против великого пастыря, митрополита Филиппа, бывшего прежде настоятелем Соловецкой обители.

Такая деятельность, противная не только правилам боярской чести, но и честной совести, оттолкнула Данила Андреевича от старика. Если же иногда князь дозволял жене съездить в Москву к родителям, так он это делал, чтобы доставить маленькое утешение Анастасии Федоровне, которую очень печалили поступки мужа.

Впрочем, для Марии Васильевны, помимо нежелания мужа, являлось еще большим препятствием и то, что путь к Москве был далеко не безопасен, так как опричники разъезжали по дорогам, и упаси Бог было попасться им в руки! Были и еще причины: как оставить детей одних? Муж почти всегда в «поле» *, а того и гляди наедут, спаси Бог, татары, их уж давно ожидают, что тогда будет? Может и иное случиться: царь часто с челядью своей бывал в Серпухове, ворвутся опричники буйные в вотчину, так не лучше татар, а то и похуже, пожалуй!

«Уж коли надо случиться чему,— думала Марья Васильевна,— так хоть разделю с деточками моими беду, а то как уехать самой да сиротинками покинуть ангельчиков таких?»

Поэтому Марья Васильевна уже давно жила в вотчине безвыездно.

---

* В войсках.

* * *

Прошел слух дня три назад, что хан уже двинулся на Русь, и валит татар, как говорили, видимо-невидимо! Данило Андреевич спешно поехал в «поле» к князю Михаилу Ивановичу Воротынскому. Слух этот встревожил всех в поместье князя: близ Серпухова было лучшее место переправы через Оку, а татары, верно, прямо сюда повалят и не минуют князевой вотчины.

Марья Васильевна, успевшая за истекшие годы превратиться из стройной красавицы боярышни в дородную величавую боярыню, примеряла своему сыну новый кафтанчик, который она спешила окончить к празднику Вознесения, приходившемуся в 1571 году на 24-е мая.

Худенький и высокий мальчик, как две капли воды похожий на мать, послушно стоял, пока Марья Васильевна обсуждала с помогавшей ей работать Анфисой, нянькой детей, нужно ли сделать на рукаве, а пройме, поглубже выемочку или не надо, и так будет ладно. Боярыня, казалось, внимательно слушала Анфису, доказывавшую, что выемочка необходима, иначе под мышкой резать будет. Марья Васильевна возражала ей, а между тем словно какая-то дымка заволакивала ее взор, когда она взглядывала на мальчика, с живейшим интересом вслушивавшегося в разговор, происходивший перед ним, так как окончания кафтанчика он ждал с большим нетерпением.

Марью же Васильевну беспокоили невеселые думы. Мысль о близости татар не покидала ее. Напрасно она пыталась успокоить себя тем, что ведь татары уже не впервой набегают на Русь, а все Бог миловал: они еще ни разу не заходили в вотчину князя Ногтева.

К тому же, если б татары уже были близко, то верно Данило Андреевич прислал бы весточку. Однако вот уже который день, а никаких вестей от него нет.

Может, даже и говорили пустое, что хан крымский идет. Не всякому слуху верь!

Так успокаивает себя Марья Васильевна, а все, как взглянет на сына, так словно что в сердце ударит. « А ну, как вдруг»,— мелькает у нее в голове. И снова она старается себя успокоить и еще горячее начинает обсуждать с Анфисой вопрос о кафтанчике. В комнату вбежала, запыхавшись, хорошенькая девочка.

Ее золотистые волосы в беспорядке рассыпались по плечам, платье было смято и запачкано.

— Матушка! — кричала она, торопливо подбегая к матери,— вот сейчас я страху натерпелась!

— Что такое? — с беспокойством спросила Марья Васильевна.

— А вот послушай, что я тебе расскажу,— ответила девочка, блистая глазенками от желания заинтересовать мать.— Скучно мне стало одной бегать по саду... Братишки нет... Что делать? Дай, думаю, пойду к речке... И пошла. А там, знаешь, народу никого. На нашей стороне лес шумит, а на другом берегу только трава одна густая-прегустая да высокая. Тихо так кругом. И вспомнилось мне, что ты приказывала нам не ходить к реке. И жутко мне стало так, что даже дрожь пробежала.

— Видишь, Настенька, что значит матушки не слушаться,— с улыбкой проговорила мать.

— За то, мамусь, меня Боженька и наказал... Жутко, говорю, мне стало,— продолжала свой рассказ девочка,— и хотела уйти я домой поскорее, да глянула в это время на другой берег и затряслась вся! Прямо ко мне на коне, вижу, кто-то скачет! Бежать хочу — ноги от страха не двигаются! А он все ближе да ближе... Скрылся за кустами, да, слышу, в воду с конем прямо — шасть! Тут только опомнилась я. «Батюшки-светы! думаю, то татарин, должно, за мной скачет!» И что было сил бежать пустилась, а сзади слышу, как о земь конь копытами стукает, меня нагоняет...

— Да кто же это был? Неужто и впрямь татарин? — с тревогой в голосе спросила Марья Васильевна.

— Нет, нет! — смеясь, воскликнула девочка.— Как поближе к воротам я подбежала, глянула назад и вижу, что то был совсем не татарин, а Прошка! — сказала Настя и залилась серебристым смехом.

Однако ее рассказ произвел совсем не то впечатление, что она ожидала. Вместо того, чтобы смеяться вместе с нею, мать и Анфиса воскликнули в один голос:

— Прошка! Стало быть, вести с поля от князя! Что ж ты его не звала сюда?

Девочка с минуту глядела на них с недоумением.

«Как! Прошку звать сюда, в горницу? Да ведь он такой грязный!» — думала она, тараща глазенки.

Затем, сообразив, что должно быть, так надо, коли и матушка, и Анфиса, обе крикнули это, опрометью бросилась вон из комнаты за Прошкой.

Немного погодя в комнату ввалился Прошка, дюжий мужик, и, перекрестясь истово на иконы, низко поклонился боярыне и стал в ожидании, когда его спросят.

— Что князь? Здрав ли? — спросила Марья Васильевна.

— Здрав, Бога благодаря, и тебе, боярыня, кланяться низко наказывал... А еще наказывал передать, что татарове валом валят,— заговорил Прошка, только и ждавший вопроса боярыни, а стало быть и разрешения говорить.— А еще наказывал, чтобы ты, боярыня, не очень тревожилась, потому что сам царь хочет татар бить идти, и они скоро хвост-от свой подожмут да побегут восвояси. А еще он, боярин, мне наказывал тебе пересказать, что хоть пужаться и нечего, а все же опаска нужна и потому соберись скореючи да со всеми чады и домочадцы в Москву отъезжай. Последний же наказ боярский таков был, чтобы послание собственноручное его тебе передать. В ем, сказывал, все, что следует, подробно пересказано.

Прошка замолчал, видимо довольный тем, что наконец боярское поручение исполнено и что он ничего не забыл из этих «наказывал», «наказал», «наказал». Порывшись за пазухой, он достал послание Данилы Андреевича, бережно завернутое в тряпицу, и подал боярыне.

— Ахти, беда! — заголосила Анфиса.— Ах, татары проклятые! Ах, басурманы поганые! Житья от них, косолапых, нам, православным, нетути!

— Сейчас, стало быть, собираться надо да уезжать. Сколько сбору-то да хлопот! — произнесла Марья Васильевна, побледневшая от волнения.

— Вот тебе и кафтанчик мой новый! — грустно воскликнул Вася.

— До кафтанчика ли тут! — воскликнула Марья Васильевна.— Надо думать, как животы-то свои спасти! Анфиса! Не знаешь ли, кто в доме у нас грамоте обучен? Пусть письмо прочтет.

— Да, кажись, никого нет грамотного,— ответила нянька.— Семен знает грамоте — его пономарь из соседнего села обучил — да он вместе с князем Данилой Андреевичем в поход ушел, а больше никого. Может, ты сама, боярыня, разберешь кое-как, что там прописано?

— Нет, меня не обучили грамоте... Как же быть?.. Настя! — обратилась она к дочке.— Кликни Аксютке, чтоб за отцом Иваном в село сбегала. Боярыня, мол, просит пожаловать. Грамотку от мужа с «поля» получила, так прочесть надобно.

Настя не заставила мать повторять приказание, и вскоре слышно было, как она звонким голосом передавала Аксютке, шустрой дворовой девочке, приказ матери.

Аксютка, выслушав приказание, стремглав помчалась в село, быстро семеня своими голыми ногами.

Между тем весть о том, что татары близко, успела уже распространиться по дому, и поднялась суматоха. Бабы голосили, мужики, которые случайно остались в доме, не попав с князе́м в поход, пытались унимать их, а сами галдели еще громче, чем бабы.

Марья Васильевна приказала всем спешно собираться в путь.

Хотя было приказано брать с собой только самое необходимое, однако узлы и узелки быстро умножались, и скоро во всем доме царил такой развал, как будто татары уже успели побывать здесь, похозяйничать.

Среди этого шума, гама и переполоха пришел, сопровождаемый Аксюткой отец Иван, пожилой священник, с большой лысиной на темени и жидкими прядями длинных полуседых волос на затылке. Он, видно, очень спешил дорогой: крупные капли пота виднелись на его лбу и покрасневшее лицо его лоснилось.

Истово перекрестясь на образа и благословив боярыню, он спросил ее:

— Что, матушка-боярынька, весточку изволила получить от князя Данилы Андреевича?

— Да, отец Иван, пришел он него Прошка, холоп наш, да невеселые вести принес: татары, слышь, идут! — ответила Марья Васильевна.

— Слышал, слышал! Мне дорогой Аксютка все поведала. Только я думал, что это так еще, догадка одна. Да, видно, прогневался Господь на нас, грешных! Теперь только как бы нам животы свои унести от них, окаянных... Ох, ох! — тяжело вздохнул отец Иван.

— Да вот, батюшка, хочу тебя попросить, прочти ты нам посланьице мужнино,— сказала Марья Васильевна, подавая отцу Ивану письмо.

Тот осторожно развернул его и, перекрестившись и откашлявшись, приступил к чтению. Все в комнате сидели притаив дыхание, боясь пропустить какое-нибудь слово. Из дверей выглядывали головы тех, кому не хватило места в комнате.

— «Посылаю тебе, супруге нашей, Богом данной, низкий

поклон, а деточек моих целую жарко,— медленно читал отец Иван послание князя среди затихшей горницы.— А у нас вести есть не больно хорошие: татар уж на Руси видали. Идут они во множестве великом, и сам царь ихний с ними, да путь держат, говорят видевшие, прямо к Серпухову: там, должно, хан рать свою переправить чает. А в войсках у нас нельзя сказать, чтобы ладно было: недавно царь, чая, что о татарах лишь вранье одно идет, распустил добрую половину войска, и теперь людишек у нас не много, хотя все ж есть чем хана встретить... И побьем мы басурмана поганого, коли меж вождями рознь прекратится, а то они, вишь, родом своим считаются. Сам царь, бают, хочет супротив басурман нас вести... Коль будет так, то татарам и костей своих не утащить до Крыма. Пока же нужно заботиться, как от басурманов тебя, жену мою, да детушек уберечь, потому самому, что басурманы, коли к Серпухову пойдут, вотчины нашей не минуют и, чаю, спаси Бог! тебя с Васей и Настей и со всеми домочадцами в полон уведут. А мне тогда лучше жизни лишиться, чем терпеть такое! По сему и прошу тебя и даже впрямь приказываю скореючи пожитки кое-какие собрать да к Москве отъехать. Придешь в Москву, Анастасии Федоровне поклон мой низкий передай. Да в дорогу много с собой не набирай: возьми, что понужнее. Иконы с собой захвати, чтоб басурманы, коли заберутся, над ними издевок не учиняли. Остальное ж что в дорогу брать не сподручно, оставь так: добро — дело наживное — будем живы — снова все приобретем. Людишек наших с собой в город забери, потому что и их негоже татарам бритым на потеху да на добычу оставлять: все же души христианские и не чета им, басурманам. А Миколку-выкреста не бери с собой, потому он трус — тебе в пути пользы не принесет, напортит еще, пожалуй, а пришли ты его ко мне с Прошкой, гонцом моим: аз его, выкреста, вышколю издеся и от трусости отучу».

Громкие крики выкреста-Миколки прервали чтение письма...

Миколка был парень лет за двадцать, высокий, здоровый, как бык. Его еще десятилетним мальчиком захватили в плен русские, во время похода в Крым с Данилой Адашевым. Он забыл свою родину и обрусел совершенно. Всем своим обликом Миколка выдавал свое татарское происхождение: был скуласт и узкоглаз, но не унаследовал такого качества от своих предков, которое почти врожденно всем татарам — храбрости их, и был отчаяннейшим трусом.

Данило Андреевич, собираясь в поход, хотел взять его с собою, но Миколка, узнав об его намерении, заблаговременно запрятался в какой-то сарай, где и просидел да самого отъезда князя. Выкрест уже думал, что он счастливо избежал нежелательной и страшной для него поездки в поход, как вдруг это письмо совершенно разрушило его мечты. Теперь этот трусливый и глуповатый парень ревел, как бык.

— Ой, боярыня-матушка! Возьми меня с собою! Отправишь к князю — убьют меня там. Пожа-а-лей сироти-и-нку! — ревел он.

Несмотря на тревожную весть и грустное настроение, все невольно рассмеялись, глядя на этого здорового и сильного парня, плачущего, как баба.

— Ишь, дурень! — говорили вокруг него, смеясь,— рекой, ровно баба долговолосая, разливается! Людей-то, трусливая башка, постыдись хоть! Дурень, право, дурень!

— Да! Вам хорошо толковать! Вы с боярыней в Москву покатите, а мне каково! — окрысился на них Миколка.— Были б в моей шкуре — небось, не сладко б пришлось!

— Ишь ты! Не хаживали мы, что ль? Не знаем? Шкуру-то ты свою больно ценишь дорого, вот и ревешь ревмя. Эх, ты! Кабы все такие татары, как ты, были, не нужно б нам было теперь места родимые покидать.

— Оставьте его! Пусть поревет на прощанье, коли уж на парня не похож! Ну его! — улыбаясь, проговорила Марья Васильевна.— Читай, отец Иван, дальше,— продолжала она.

Миколка, видя, что на него перестали обращать внимание, понемногу смолк, и чтение продолжалось.

— «Поезжай же ты,— писал князь,— беспременно сегодня, как успеешь, немедля: пока до Москвы доберешься — здорово времени пройдет, потому — грязь невылазная, знамо дело, весеннее бездорожье. Скучать же да бояться тебе нечего, пронесет Бог грозу злую, и все пойдет по-прежнему. И ко мне, голубка моя, не грусти... Бог даст, цел буду и к тебе вернусь. Любя ж меня, деток наших береги пуще глаза: без них и жизнь нам не в жизнь будет! Посылаю им, детям моим дорогим, Васютке да Насте, мое родительское благословение, а тебя, супругу мою, крепко, крепко целую. Муж твой, боярин, князь Даниил Андреев сын Ногтев. Писано месяца мая в 20-й день. Лета от мира сотворения 7079-го».

Окончив чтение, отец Иван медленно сложил письмо, подал его боярыне и молча погладил рукой падавшие на плечи пряди волос.

— Что ж, надо немедленно ехать, как муж приказывает! — произнесла задумчиво Марья Васильевна.

— Ох, ох! — раздались вопли баб.— Приходится покидать места родимые. Разорит все татарин злой! Ох, ох, Господи! За что, за какие грехи караешь Ты нас!

— Полно вопить-то! — крикнула на них Марья Васильевна.— Знамо дело, нелегко, да, чай, воем да слезами не поможешь. Собирайтесь-ка лучше поскорей, чтобы выехать засветло. А ты куда, отец Иван? — обратилась она к священнику, видя что тот берется за шляпу.— Погоди малость! Я чай, как-никак, хоть и большой переполох, а все-таки кой-какую закусочку приготовим, да и травничка рюмочка найдется недалече... Закуси, нешто можно так, не перекусив ничего, домой отправляться? Анфиса! Принеси батюшке...

— Нет уж, матушка-боярыня, уволь! — прервал ее отец Иван.— Хоть и негоже от хлеба-соли отказываться, а уж прости, за обиду не сочти: не могу, как перед Богом! не могу!

— Да куда ж ты?

Домой побегу. Попадью снаряжать в дорогу надоть: вместе с тобой и до Москвы потащимся. Да и людишек в селе предупредить надоть, чтоб к приходу гостей незваных готовились, да подальше и сами утекали, пожитки прятали. Прощенья просим! До вечера свидимся, я, скарб свой забрав, сюда же приволокусь. Вместе и двинемся.

— А что мне, боярыня, прикажешь передать Даниле Андреевичу? — спросил у Марьи Васильевны Прошка по уходе отца Ивана.

— А ты бы отдохнул наперед да потом ехал,— сказала Марья Васильевна.

— Нет, боярыня, не можно! Данило Андреевич приказал, чтоб скорей ему ответ привезти. Да я уж малость поотдохнуть успел. К тому ж на коне я, а не пешью.

— Ну, что ж, если так, то поезжай с Богом. Боярину скажи, что я все сделаю, как в письме прописано, и сегодня же в Москву уеду с людишками моими, с кое-какими пожитками. Иконы, скажи ему, все сниму и с собой увезу. Ну, кланяйся от меня и детей и его за поклон поблагодари.

— А как с Миколой быть, боярыня?

— Ах, да! Про него-то я и запамятовала! Да где же он? — спросила она, ища глазами Миколку.

— Убег, надо полагать! — усмехнулся Прошка.— По-намеднешнему устроить хочет, верно. Ну, да я его разыщу.

— Да, да! Ступай поищи его да приволоки сюда,— сказала Марья Васильевна.

Прошка вышел.

Миколка, действительно, задумал поступить так же, как при отъезде князя. Пользуясь тем, что все заняты письмом, он незаметно шмыгнул в дверь. Побродив по двору, отыскивая укромного местечка, куда б спрятаться, он, не найдя ничего лучшего, вошел в один из дворовых сараев и притаился там в темном углу, за грудой какого-то хлама.

Прошка, выйдя из комнаты, принялся за поиски не торопясь и систематически. Решив, что если Миколка не убежал в село, то должен был спрятаться где-нибудь поблизости на дворе, он прежде всего тщательно осмотрел весь двор.

Убедясь, что Миколки здесь нет, Прошка пошел шарить по сараям, осматривая каждый уголок. Скоро он вошел и в тот, где неподвижно и даже притаив дыхание ни жив ни мертв сидел Миколка. На горе выкреста, Прошка скоро накрыл его.

— А, так ты прятаться! — проговорил исполнительный гонец Данила Андреевича, пребольно взяв беглеца за ухо.— Пойдем к боярыне, собачий сын!

Миколка упирался и не шел. Это разозлило Прошку.

— Да иди ж, тебе говорят! Есть мне время тут с тобой прохлаждаться! — вскричал он, угощая трусливого татарина изрядными тумаками.

— Да иду, иду! Чего ты? Ты не того... Я и сам могу... Ты не больно-то,— огрызался уже струсивший Миколка, медленно поднимаясь из своего убежища.

— Ладно, ладно! Не ерепенься! Иди знай! — проговорил Прошка, дав последний тумак Миколке при выходе из сарая.— Как ты хочешь, а я боярскую волю исполню! Хоть ты на дно реки спрячься — и там сыщу тебя и отвезу к Даниле Андреевичу,— продолжал он.

Миколка поплелся рядом с Прошкой, понуря голову, в душе ругая на чем свет стоит и исполнительного посланца, и своих соотечественников, вздумавших так некстати для него, Миколки, сделать набег на Русь.

— Привел бегуна, боярыня,— сказал Прошка, вводя в комнату Миколку.— В сарае, запрятавшись, сидел.

— И не стыдно тебе? А? — усмехаясь, спросила Миколку Марья Васильевна.— Будь же ты парнем, а не девкой красной, поезжай к князю.

Миколка стоял безмолвно, хорошо зная, что никакие просьбы не помогут.

— Так теперь можно ехать, боярыня? — спросил Прошка.

— Да, поезжай с Богом! И ты, Миколка, с ним. Да исправься, не будь трусливым таким. Ведь так ты всем хорош: и работаешь ладно, и непьющ. Одно, что трус большой! Так исправься! Слышишь? Ну, поезжай с Богом!

Бледный как полотно, Миколка подошел к ручке боярыни. Прошка тоже. Затем оба вышли.

Отпустив их, Марья Васильевна занялась уборкой. Работа закипела пуще прежнего. Количество узлов и узелков все возрастало. Как ни спешили со сборами,— даже Вася и Настя помогали по мере сил,— однако солнце уже начинало закатываться, когда все наконец было собрано и уложено на телеги.

Марья Васильевна невольно прослезилась, выходя вместе с детьми из опустелого дома и запирая дверь на замок.

«Удастся ли еще жить в нем,— думала она,— или скоро вместо дома останутся одни черные головни».

Тем временем приехал отец Иван с попадьей в сопровождении целой гурьбы крестьян и крестьянок с детьми, жителей села, которые тоже, опасаясь татар, потянулись к Москве.

Все были грустны и встревожены. Одни только дети радовались неожиданному развлечению — поездке — и, хлопая в ладоши и припрыгивая, весело смеялись. Закатывавшееся солнце кровавыми лучами обливало всю эту картину. Помолясь Богу, тронулись в путь, стремясь к Москве, как к самому безопасному убежищу от хищных татар.

Если бы знали путники, что ждет их в этой желанной Москве, то, верно, решились бы лучше с трепетом ожидать нападения татар, оставаясь в своих родимых насиженных местах.

II

МИКОЛКИНЫ БЕДЫ

Николай, Гассанов сын, или, как его все привыкли звать, Миколка-выкрест, был добрый и веселый парень, но труслив до невероятности. Над этой его слабостью все смеялись, про-

бовали отучать его от трусости на всякие лады, подчас довольно грубыми шутками, но все напрасно. Мало-помалу его оставили в покое, только стали относиться к нему с обидною насмешливостью. Миколка это замечал; несмотря на трусость, он был наделен изрядной долей самолюбия и страдал от насмешек, но ничего не мог поделать сам с собой. Порой парень утешал себя мыслью, что от трусости нетрудно отучиться.

«Есть чего бояться! — рассуждал сам с собой Миколка, сидя где-нибудь в лесной чаще, среди полной тишины, в жаркий летний полдень.— Нешто у меня силы мало али кулаков нет? Эвось! Небось на двоих бы хватило! Чего же трусить? Меня бить зачнут — сам отвечу. Уж покажу им я себя! увидят все, что Миколку не тронь! что он парень опасный и кулаки у него здоровенные: в зубы съездит, сразу половины не досчитаешься. Отучу я их! — размышлял парень, и в его уме уже рисовалась пленительная картина, как он, забитый, униженный Миколка, над которым теперь чуть не каждая курица смеется, стоит перед своими неприятелями, засучив рукава, принахмуря брови, и чуть не все село на бой с собою вызывает.

И радостно замирает сердце в груди Миколки от картины, рисуемой воображением. Но стоило в эту минуту чему-нибудь зашуршать в кустах или громко треснуть сухому валежнику под ногой прохожего в лесу, и Миколку прошибал жар или бросало в холод. И все его попытки исправить себя кончались неудачею. Он наконец, отчаявшись, сам сознал свою неисправимость и, откинув самолюбие, перестал обращать на насмешки, привык к ним.

Никогда, кажется, на долю трусливого потомка Батыя не выпадало более неприятного дня, чем тот, в который прибыл гонец к Марье Васильевне от князя. Хотя Миколку и тревожила мысль о близости татар, однако он питал сладкую надежду, что улепетнет от них, так как Марья Васильевна, верно, взяла бы его с собой в Москву, и, вдруг все его розовые надежды пали. Хуже того, они еще заменились горькой необходимостью предстать пред очи разгневанного его трусостью Данилы Андреевича и после вместе с ним с этим головорезом Прошкой идти на бой с крымцами. При одной мысли об этом мурашки начинали бегать по спине огорченного до глубины души выкреста.

Понуря голову ехал Миколка рядом с Прошкой, тихо мурлыкавшим про себя какую-то нескончаемую песню.

Миколка был довольно плохим наездником, а лошадь, на которой он сидел, была горячая. Волей-неволей, но татарин кое-как держался, ежеминутно опасаясь, что конь его сбросит. А Прошка, словно не замечая, как вертится в седле его спутник, продолжал оставаться невозмутимо спокойным, лишь изредка понукая свою смирную лошадь и поглядывая на дорогу.

Между тем время шло, и спутники незаметно для себя уже успели отмахать добрую половину пути, о чем Прошка не преминул сообщить своему невольному товарищу, словно ему в утешенье.

Сердце Миколки екнуло.

«Скоро, стало быть! Эх, кабы удрать! — мелькнуло у него в голове.— А что, если и в самом деле? — продолжал он размышлять на понравившуюся ему тему.— Вот ловко было бы! Прямо бы отселе домой, али еще лучше, взять немного поправей, да и подождать, как Марья Васильевна из дому тронется и к этому месту подъедет. Опосля замешаться в толпу и так до самой Москвы добраться. А там уж для меня ни татары, ни князья не страшны: пока отыщут — и поход кончится. Вот ладно б было! Только, как уйдешь от этого черта Прошки? Догонит, как пить дать! А может и нет? Вишь, его кобыла как замучилась. Попытаться бы».

Мысль Миколки продолжала работать в этом направлении. Надежда на избавление от грозящей ему необходимости предстать пред очи князя и участвовать в бою мешалась в его думе с боязнью отважиться на бегство. Однако мало-помалу все препятствия к исполнению задуманного бегства стали казаться ничтожными в сравнении с тем, что ждало его в стане, и он решился.

Бледнея от волнения, дрожащими руками стал он понемногу затягивать поводья. Конь начал умерять свой ход и отставать от лошади Прошки, шедшей все прежним ровным шагом. Постепенно расстояние между Миколкой и Прошкой стало увеличиваться. Татарин, глядевший с замиранием сердца на спину своего безмятежно едущего товарища, думал уже незаметно повернуть коня и, свернув в ближайший лесок, скрыться от своего сурового приставника, когда Прошка, заметивший удаление спутника, попридержал лошадь и оглянулся.

Миколка быстро принял самый невозмутимый вид.

— Ты чего это? — спросил Прошка.

— Что чего? Так... Ничего,— спокойно ответил Миколка, умевший когда нужно притворяться.

— Да отстаешь-то чего, спрашиваю?

— Конь маленько, знать, пристал, ну и пошел тише... А я не понукаю: почто зря гнать-то?

— Ты не лататы ли, паря, задумал задать? Смотри! — пригрозил ему Прошка.

— Вот те!.. Лататы! Эко слово молвил! С чего мне? — ответил Миколка, приближаясь волей-неволей к своему зоркому спутнику.

— Ладно! Болтай! Знаем тебя не первый день,— ответил ему Прошка, видимо не особенно веря его словам.— Вот так-то лучше будет! — добавил он, надевая поводья коня Миколкина на свою руку, когда тот приблизился к нему.

«Вот те и на! Вот и убег! — думал Миколка.— Эх, ты! А ведь как ладно задумал. Да, вишь, черт какой навязался, прости Господи! Уйдешь от него!»

А Прошка уж опять по-прежнему замурлыкал песенку и, казалось, думать забыл о своем спутнике. По крайней мере, он даже не глядел на него.

Между тем до русского стана оставалось немного — верст пять или четыре, не более.

Прошка пустил свою притомившуюся кобылу легким трусом.

«Хоть бы теперь, леший, выпустил поводь! Сейчас убег бы!» — подумал Миколка, решившийся на все, только бы избавиться от приезда в стан.

— Эх, испить бы! В горле совсем пересохло,— произнес Прошка, ища глазами, не найдется ли где-нибудь ручейка, и останавливая лошадь.

Сердце Миколки встрепенулось.

«Выпустил!,— подумал он.— Найти бы хоть лужу какую. Пусть бы его пил, а я тем временем зевать не буду».

Путники стояли на перекрестке дороги с длинной просекой, тянувшейся, казалось, через весь не очень большой, но густой лес.

— Мне и самому пить знатно хочется,— промолвил Миколка, озираясь.— А! — радостно вскричал он,— да вот вода!

Действительно, близ дороги, журча, текла струйка мутноватой воды, однако, по-видимому, годной для питья. Прошку мучила сильная жажда. Он быстро соскочил с коня.

— Смотри! Не убеги: все равно догоню,— сказал он Миколке, жадно припадая к воде.

Только этого и надо было Миколке.

Стегнув коня, он понесся по просеке.

— Стой! Куда, черт! — послышался за ним окрик Прошки.

Но Миколка не слушал, да ему и некогда было слушать: конь его, и без того горячий, ошарашенный неожиданным ударом, закусил удила и несся как бешеный. Миколка струсил и, не пытаясь сдерживать его бега, охватил обеими руками шею лошади. Это еще больше испугало коня, и он припустил бегу.

Постепенно седло стало съезжать набок. Всаднику пришлось сидеть прямо на холке. Впрочем, так, пожалуй, было ему даже удобнее: крепче можно было держаться; трусливый всадник обнял шею коня и руками и ногами.

Просека была усеяна пнями, конь спотыкался о них, но не умерял бега.

Ветки деревьев, низко спускавшиеся, хлестали беглеца по лицу.

Во время бешеной скачки вспотевший от ужаса Миколка забыл и стан, и гнавшегося за ним Прошку, и молился всем святым, чтобы не сломить себе шеи в такой езде.

Прошка, бросивший свое питье, услышав, что порученный его надзору Миколка задает «лататы», вскочил в седло и, проклиная на всякие лады труса, пустился за ним в погоню. Вдруг его словно осенила какая-то мысль.

— Эва! — вскричал он, ударяя себя по лбу.— Пусть его скачет: это мне еще на руку будет! — буркнул он, громко рассмеявшись, и спокойно пустил свою притомившуюся кобылку легкою рысью.— Скачи, скачи, дурень! Больше пару поддавай! — продолжал он, хохоча.

За шумом езды Миколка не слышал этого смеха, а то был он этим, конечно, немало озадачен. Конь его несся с прежнею быстротою, у всадника же затекли руки и голова кружилась от быстроты и качки. Просека, кажется, оканчивалась. Скоро глазам Миколки представилась обширная поляна, а то, что он увидел на ней, заставило его оледенеть от ужаса! Прямо перед ним раскинулся военный стан. Чей — русский или татарский — этого Миколка еще не мог определить, но скоро увидел, что его заметили из стана, так как целая толпа каких-то людей смотрела на несущегося коня — и поводья выпали из задрожавших рук беглеца, а из груди вырвался сдавленный крик: в толпе поджидавших Миколка ясно различил фигуру князя Данилы Андреевича.

Конь несся прямо на толпу. Видя, что всадник не правит, так как поводья болтались по обе стороны шеи лошади, не-

сколько человек вместе схватили коня под уздцы. От неожиданного толчка Миколка потерял равновесие и упал с коня прямо в лужу, где было больше грязи, чем воды.

— Да это никак ты, Миколка-выкрест? — вскричал князь, удивленно разглядывая, среди общего смеха, стоявшего перед ним человека, с ног до головы покрытого липкою грязью.— Как же ты один? Где Прошка? Чего ты так несся? — осыпал его вопросами князь.

— Я... прежде... Прошка... того... Там отстал... Скорей... чтобы...— лопотал, не зная, что сказать Даниле Андреевичу, перепугавшийся выкрест.

— Что он там лопочет? — раздался в это время голос Прошки, только что подъехавшего.— Э! да на него он похож! Хуже черта, право, хуже! Где это ему так помогло вываляться?

— Почему он раньше тебя поспел? Да и несся так, словно за ним погоня была,— спросил князь у Прошки.

— Да ведь погоня, Данило Андреевич, и взаправду была! — ответил Прошка.

— Ну! — в один голос воскликнули все.— Кто же гнался? Татары?

— Какой татары! Я за ним гнался! Ведь убег он от меня, собачий сын, не при тебе, боярин, будь сказано! — с сердцем произнес Прошка:

— Убег от тебя, говоришь ты? — удивился князь.

— Как же! Хотел, видно, домой удрать, да попал вон куда. И скажу я тебе, Данило Андреевич, не во гневе: давай ты мне какие хошь службы, все справлю, только чтоб трусов таких на поводу не вести.

— Так вот что, брат, про тебя я слышу! Следовало бы тебя выпороть сейчас, да Бог с тобой — на сей раз прощу: ты сам себя наказал довольно. А другой раз берегись! Не пощажу! Прикажу выпороть жарко! И так будет до тех пор, пока я из тебя трусость твою проклятую не выбью. Понял ты меня, али от страха и ума совсем лишился? — спросил Миколку Данило Андреевич, полусердясь-полусмеясь.— Теперь поди пообчистись да поешь. Тебе все укажут холопи мои, чай, их не забыл? Ступай! А ты, Прошка, иди ко мне в шатер да перескажи, что дома у меня деется. Просто душа вся изныла.

Прошка последовал за боярином, а Миколку повели в шалаш знакомые ему князевы холопи, все еще не переставшие смеяться над трусостью выкреста.

III

ТАТАРЫ БЛИЗКО

Уже с весны прошлого года до царя доходили слухи, что крымцы готовятся к набегу. Ему не раз доносили воеводы, что их люди видали в степи пыль великую, либо обильную сакму *. Бывали не однажды и легкие стычки с татарскими наездниками, в большинстве случаев удачные для русских. Царь тревожился, держал войско наготове и часто, вместе с царевичем Иваном, выезжал из стольного города в Серпухов, чтобы на случай быть ближе к месту действий. Но слухи понемногу смолкали, легкие татарские отряды, сразившись с русскими, исчезали в степях, и дело кончалось пустяками. Так прошел весь 1570 год и часть следующего в тщетных ожиданиях вторжения крымских полчищ. Девлет-Гирей хотя стал присылать к царю все более и более дерзкие письма, хотя грозил в них и требовал себе двух татарских царств — Казани и Астрахани — однако, по-видимому, не отваживался напасть на Русь. Иоанну надоело ждать, и он распустил, если не все, то добрую половину войска. Тут-то и грянул удар, неожиданный как для царя, так и для его воевод и советников. Девлет-Гирей со стотысячной ратью вторгся в Русь и с большой поспешностью шел к Оке.

Весть эта застала Грозного в Серпухове.

Царские воеводы с имевшимся войском пошли к Оке, чтобы помешать хану совершить переправу, но Девлет-Гирей, избегнув встречи с ними, переправился и шел к Серпухову.

* * *

— Государь! Царь крымский за реку перевалил и сюда идет,— вбежав в палату, где сидел Иоанн, произнес Василий Иванович Темкин.

— А что же воеводы? — спросил царь, слегка бледнея.

— Опоздали, государь! Крымцы обошли их!

— Ну, да! Всегда так, всегда! Все у них неладно! — про-

---

* Сакма — следы конницы.

говорил царь гневно.— Это верноподданные! Это слуги царя! Наемники они!

Василий Иванович безмолвно слушал гневную речь царя.

— Хорошо же! — продолжал Иоанн, помолчав,— если они не сумели остановить ворога, так я сам поведу войско... Тогда увидим, устоит ли басурман! «Мы, говорят, бояре, надежда царская!» Ан, смотришь, как пришла нужда, как настало время такое, что нельзя на словах одних выезжать, а показать себя надо на самом деле, так все они и головы потеряли... Вот те и надежда! Вот те и опора царская! Видно, хана-то задержать потяжеле будет, чем к царю с советами лезть да не в свое дело соваться! Ну, да ладно! Сам все без них устрою. Вели-ка, Василий, всей опричне снаряжаться: с нею я, с дружиной моей верною, пойду супротив татар, а бояре пусть другими полками начальствуют. Приспело, стало быть, время либо лечь костьми за царство свое либо спасти его от поганых. И я себя не пощажу, живот свой положу за землю родную! Бог дал мне царство, и Ему Единому ответ дам за все... Паду за родину, искуплю свои прегрешения,— говорил Иоанн.

Лицо его приняло иное выражение, не грозное, как за минуту перед этим, а умиленное; на глазах виднелись слезы. Видимо, все, что он проговорил, было искренно.

Выслушав приказ царя, Темкин, однако, не спешил его исполнить и по-прежнему стоял перед царем, слегка покашливая, прикрыв рот рукою, и искоса посматривал на Иоанна.

— Что же ты стоишь? — удивленно спросил его Иоанн.— Аль думаешь, как и те, что еще время терпит!

— Нет, государь, не потому... Есть еще вести,— ответил Василий Иванович.

— Какие? О татарах все?

— Нет, о наших, да и крымцах вместе.

— Вот как! Ну, что же, говори, послушаем, да и в поход.

— Плохие вести, государь,— медлил с окончательным ответом Темкин.

— Плохие? — насторожился царь.— Что же, побили татары наших, что ли?

— Нет, хуже.

— Да говори, не тяни! — крикнул царь гневно.

— Изменники отыскались. Передались хану...

— Измена! Опять измена! — прошептал Иоанн, и взор

его померк.— Всюду и везде! Кто же такие, говори! — тихо спросил он боярина.

— Царь крымский не сам идет, ему путь к Москве кажут перебежцы наши. На Злынском поле, бают, они к нему прибегли... А изменники эти дети боярские: Кудеяр Ратишенков, да Окул Семенов из Белева, да с Калуги братья Юдинковы, Ждан да Ивашка, с Каширы Федька Лихарев, да отселе, из Серпухова, перебег к нему Русик... И холопей ихних человек с десяток с ними туда же бежали. Вот эти самые изменники, как люди бают, и брод ему через Оку указали, и теперь к Москве напрямик поведут, знать...

Царь уже не слушал речи боярина. Он сидел бледный, тихо шевеля губами.

«Как! — думал он,— в такое время и нашлись изменники? Поганому басурману передались! И зачем? Почестей добыть себе от него хотят али денег? Нет! Не то! Меня им погубить сладко, вот что! Хотят они, чтоб я, властитель самодержавный, под опекой их жил, из рук их смотрел... А сему, пока жив, не бывать! Предадут меня бояре царю крымскому: не люб я им! — принимают мысли Иоанна иное направление.— Они изменники... Все ведь изменники!.. и хана-то позвали на Русь, и все ловко так устроили, что нагрянул он как снег на голову. Да, да! Они выдать меня хотят ему!» — шепчет Иоанн, и ужас овладевает его душой.

«Что же делать? Что же делать? Вести войска на хана? Но они, изменники, предадут меня, и войско! Меня ждет верная гибель, а коли меня, так и все царство... Нет! Надо уйти отсюда скорее, бежать! Пусть на их главу падет и кровь пролитая, и разорение родной земли! Бежать, бежать немедля отсюда!»

— Василий! — говорит, под влиянием этих мыслей, Иоанн Темкину,— вели в путь снаряжаться... Я отъезжаю отселе в Слободу, либо в Коломну, либо в иное место... Меня хотят погубить изменники... Я хотел спасти Русь, они мне не дали этого сделать. Не моя вина! Ты с опричиной пристань к воеводам да присматривай за ними, я же удалюсь: бояре заварили кашу — пусть и расхлебывают. Иди же, прикажи готовиться к пути!

Темкин поспешно бросился исполнять царский приказ, а Иоанн, снедаемый ужасом и тоской, метался по комнате. Приказ царя был быстро исполнен, и Иоанн, покинув Сер-

пухов, отправился сперва в Коломну; потом, минуя Москву, в Слободу, там дальше, к Ярославлю... Ему казалось, что враги гонятся за ним по пятам. Он уже не думал о спасении государства и желал одного, как можно дальше удалиться от Москвы, где все, казалось ему, было полно изменой.

Как не похож был этот трепещущий от страха беглец на этого человека, который печально склонялся над постелью больной жены, на того героя, который с опасностью жизни боролся со страшным московским пожаром в 1560 году, чтобы спасти жизнь нескольких десятков своих подданных. Теперь он бежал, оставя в жертву врагу город без войска, без главы, на грабеж и на сожжение. Жертвуя тогда своею жизнью ради спасения немногих людей, он теперь без колебания обрекал на смерть от рук врагов или пожара сотни тысяч их, боясь рискнуть своею безопасностью. За истекшие годы царь изменился и физически не менее, чем духовно. Кто бы узнал в почти лысом, исхудалом и согбенном человеке того красавца, прямого, как тополь, широкоплечего и здорового. Царя состарили не годы, он еще и теперь не был стар летами, его иссушили не заботы о благе государства и подданных, а тот внутренний огонь, который жег его со дня смерти первой супруги. Уже много лет Иоанн ни днем, ни ночью не знает ни минуты покоя — вечно тревога в душе, либо боязнь, либо гнев, либо раскаяние.

Когда царь уехал из Серпухова, Москва осталась совершенно беззащитной: войска стояли на берегах Оки, хан между тем приближался. Со всех сторон стекались в столицу, ища спасения, жители окрестных деревень: им казалось, что Москва недоступна для вторгшихся татар. Можно думать, какой ужас объял несчастных москвичей, когда они узнали, что царь удалился, что войска вблизи нет, а татары приближаются.

Но еще не настала для них минута отчаяния! Пока еще могла в их сердце зародиться надежда, потому что войска спешили на ее защиту. 23-го мая, накануне Вознесения, москвичи увидели и приветствовали радостными кликами подходящие русские войска.

«Спасены»,— думали москвичи, крепко веря в стойкость и храбрость ратников. Русские войска заняли московские предместья.

С трепетом стали ждать следующего дня: татары были близко!

IV

СТРАШНЫЙ ДЕНЬ

Настало 24-е мая 1571 года, день Вознесения.

Было ясное весеннее утро. Несмотря на то что солнце еще только взошло, в переполненном народом городе и в предместьях царило оживление. Слышались крики, плач женщин и детей. Войска готовились к бою и расположились таким образом: большой полк, под командой Бельского и Мороза, занял Варламовскую улицу, Мстиславский и Шереметев со своим отрядом стали на Якимовской, Воротынский, в войске которого находился и Данило Андреевич Ногтев, вместе с Миколкой-выкрестом, Прошкой и другими своими холопями, поместился на Таганском лугу, Темкин с опричниками — за Неглинной. Почему воеводы предпочли биться с врагами не в открытом поле, а среди тесных улиц, хотели ли они тем разделить силы татарские, зная, что татары любят действовать массой и тогда с ними трудно справляться, или думали, что за домами будет легче защищаться — неизвестно. Чем бы ни руководствовались вожди, им, конечно, и в голову не приходило, что они этим погубят город, как это показало будущее.

Татары подходили к Москве. Они уже были видны из города.

Данило Андреевич не ошибся, написав жене, что «идут татары во множестве великом». Действительно, кажись, со времен Тахтамыша не было на Руси такой огромной татарской рати, какую вел теперь Девлет-Гирей.

Лихо скачут молодые татары, сидя на сухих жилистых конях. Любо молодым витязям, что они впервые в поход отправились, а теперь на их долю выпало счастье подступить к Москве, самому сердцу Московии, некогда столь страшной, из недр которой, как стая соколов, налетали удальцы на их улусы. Теперь они сами идут на бой с этими шайтанами-урусами! О, ныне настало иное время! Пришла пора отомстить ненавистным врагам за все вынесенное от них, сторицей воздать за погибших от рук урусов татарских жен и матерей, за увезенных в далекую чужбину пленников. И они отомстят!

Медленно едут на крепких конях бывалые бойцы, осанисто держась в седле. Хочется им показать молодежи, что поход для них не диковинка, бывали они во всяких, хаживали и на Русь, и на Польшу, не привыкать стать.

Однако на самом деле и они далеко не так спокойны, как показывают: ведь перед ними не какой-нибудь незначительный пограничный городишко, а сама Москва, та самая, о которой урусы песни поют и славят ее на всякие лады. Добираться до Москвы, да еще с такой силою, как теперь у хана, не каждый день случается. Ведь если они ее возьмут, то какой праздник им тогда будет! Кроме добычи, сколько получат они наград да поместий в покоренных землях урусов. Пленительные картины рисует им воображение, и замирает сердце их от восторга.

Спокойнее всех кажется сам виновник похода, хан Девлет-Гирей. Величаво сидит он на коне золотистой масти, чуть играя поводьями.

Девлет-Гирей спокоен на вид, но лицо его бледнее обыкновенного, и в глазах порой словно видна тревога. Да и есть ему чего тревожиться! Удастся взять город — Московия почти его или, по крайней мере, Казань и Астрахань должен будет ему уступить Иоанн. Тогда снова под властью одного повелителя сольются воедино разрозненные татарские царства и возродится падающее могущество татар. Ну, а если постигнет неудача, тогда погибнет весь цвет ханского воинства, Крым останется беззащитным и долго не оправится от такого удара.

Как ни искусно скрывает Девлет-Гирей свое волнение, но видно, что не все обмануты его спокойным видом. Вон какой-то мурза уже давно наблюдает за ним и, кажется, понимает ханскую тревогу.

Красив этот мурза и мало похож на татарина — облик не тот. Даром, что голова его гладко выбрита, что на нем надето дорогое, расшитое золотом, татарское платье — всякий готов был бы голову позакладывать, что в жилах этого мурзы течет не татарская кровь. Слишком бело его лицо и нескуласто, слишком густа и окладиста борода для татарина. Глаза разве одни похожи, так и то не совсем. По всему видно, что это не татарин, а либо пленник русский какой-нибудь, еще мальчиком малым в полон взятый и обращенный в магометанскую веру, либо отступник, по доброй воле веру сменивший.

Этот мурза, действительно, был русский по происхождению и не кто иной, как бывший князь Андрей Михайлович Бахметов, вместе с ханом идущий теперь походом на землю родную.

Если этот татарский мурза еще наружностью много похож на бывшего русского князя, но зато ни в чем ином не

осталось и тени сходства между нынешним Алеем Бахметом и прежним Андреем Бахметовым.

Предавшись татарам, долго работал над собой князь Андрей Михайлович, чтобы выработать из себя истого мусульманина, и после многих усилий достиг своей цели: сердце его уже было глухо к воплям избиваемых христиан, все, что прежде он любил, стало ему ненавистным. Когда хан объявил поход на Русь, он радостно приветствовал это сообщение. Сердце его не сжалось болью при мысли, что ведь идут избивать его несчастных братьев: у правоверного мурзы Алея не было ничего общего с гяурами-урусами. И теперь, когда конь его ступал по родной Бахметову земле, когда уже виднелась Москва, облитая солнцем, сверкающая золотыми маковками церквей, сердце его не проснулось, он оставался по-прежнему холодным и равнодушным ко всему этому. Напротив того, в голове его созревал ужасный замысел, исполнение которого принесло бы сотни тысяч смертей его бывшим соотечественникам.

Алей Бахмет уже давно видел тревогу хана и понимал, отчего она происходит. Ему захотелось предложить Девлет-Гирею свой замысел, и он подъехал к нему.

— Повелитель,— начал он, приложив по восточному обычаю руку к голове и сердцу,— я вижу заботу на твоем лице.

Девлет-Гирей не отвечал и слегка нахмурил свои брови: ему показалось, что мурза Алей слишком смело себя держал с ним.

— И знаю причину твоей тревоги,— добавил Алей-Бахмет, нимало не смущаясь строгим видом хана.

Девлет-Гирей окинул грозным взглядом дерзкого мурзу.

— Давно ли ханские советники позволяют себе беспокоить хана своими разговорами? — гневно произнес хан.

— С тех пор, повелитель,— спокойно ответил бывший русский князь,— как они узнают, что могут обратить ханскую печаль в радость.

— Ты хочешь это сделать? Говори! — сказал хан, усмехнувшись.

— Хан, тебя смущает боязнь, что неверные урусы победят нас... Хочешь, я дам тебе такой совет, что ты возьмешь город и истребишь как всех жителей, так и войско, не потеряв ни одного из своих воинов? — произнес мурза.

— Говори! Я слушаю моего мудрого Алея,— уже совершенно ласково проговорил Девлет-Гирей.

— Ты знаешь, хан,— начал излагать свой план мурза,— что некогда я имел несчастье быть таким же неверным урусом, как те, против которых мы теперь идем, пока премудрый Аллах не обратил меня от мрака к свету. Я долго жил в этих местах и отлично знаю Москву. Посмотри, она отсюда видна. Ты видишь множество домов — они все сплошь деревянные. Войско урусов стоит на улицах между домами; оно там ждет нас — урусам будет легче биться из-за прикрытия... Но стоит зажечь несколько домов, и ты увидишь, что произойдет; ветер есть и потянет к городу, часа не пройдет, как вся Москва будет объята пламенем... Урусам будет не до боя: они поспешат спасать от пожара своих жен и детей... Город достанется нам без всякой битвы!

— Да, твой совет мудр! Спасибо тебе за него! Я тебя не забуду! Теперь же поспешим совершить то, что ты говорил,— проговорил хан и поскакал отдать приказания.

Скоро от главного войска отделился немногочисленный отряд всадников. У каждого из них был пучок соломы или сена и факел или горящая лучина.

Этот отряд быстро понесся к Москве. Навстречу им от города тоже двинулся отряд, но татары ударились врассыпную, обскакали встречный отряд, и, прежде чем русские могли опомниться, несколько домов уже запылали.

От них пламя передалось соседним, из десятка горевших зданий образовались сотни, там тысячи, и скоро вся Москва, переполненная народом, обратилась в один пылающий костер. Воины забыли о битве: они бросились на помощь к горевшим родителям, женам и детям.

Шум пламени, треск горевшего дерева, стоны, возгласы ужаса или отчаяния — все это слилось в один общий ужасный хор. Сами татары, начавшие было грабить, должны были удалиться, гонимые невыносимым жаром.

Воины и женщины, старцы и дети — все погибали в пламени: бежать было некуда — огонь был всюду.

Искали спасения в реке и, не умея плавать, тонули. Хотели скрыться в Кремле, высокие стены которого могли защитить от пожара, но только немногим, более ловким и сильным счастливцам удалось сделать это: остальные были раздавлены толпой в воротах или убиты падавшими со всех сторон обгорелыми балками. Спаслись только те, которым удалось проникнуть в Кремль.

Митрополит Кирилл, сидевший с казною и священными

предметами в руках в Успенском храме, едва не задохся от жара.

Прятались в глубокие погреба, и все-таки там погибали от жары и духоты: так погиб главный воевода, князь Бельский. Прошло не больше трех часов, и Москва была уже вся обращена в пепел и развалины.

В числе других домов сгорел и Арбатский или, так называемый, «Опричный дворец царя». Он находился вне Кремля, за Неглинной, на Воздвиженке, против нынешних Троицких ворот, тогда называемых Ризположенскими.

Погибших едва можно было счесть: более ста тысяч ратников, почти все жители Москвы и сбежавшиеся в нее перед приходом татар сельские жители.

Всего около восьмисот тысяч человек.

Прав был злой ханский советник, навлекший это зло на головы своих несчастных бывших соотечественников: не погибло ни одного татарского воина, а Москва в развалинах лежала у ног победителя.

V

НА КРАЮ ПОГИБЕЛИ

Марья Васильевна благополучно добралась до Москвы со всеми своими сопутниками.

Радостно встретила их Анастасия Федоровна.

— Детушки, внучата мои дорогие! Да как они выросли!.. Ишь, Васюта-то мне уже повыше плеча будет... Ах, милые! Слава Тебе, Господи! Пришлось свидеться еще, а я уж было умирать собралась! — говорила сильно постаревшая Анастасия Федоровна, обнимая детей и здороваясь с дочерью.

— Что это ты, матушка, Господь с тобой! С чего так говоришь? — испуганно спросила Марья Васильевна.

— Ох, родная, так подчас тяжело, что и сказать не могу... И недужится, да и тоскливо!.. Зажилась я на белом свете, пора в яму... Давно пора, вишь, теперь и порядки такие пошли, что волос дыбом становится... Знать, иное время пришло, новое, страшное для нас, старых людей,— грустно говорила Анастасия Федоровна, забыв, что, встречая усталых путников, не время вести такие беседы. Но, видно, очень уж

ей горько было и хотелось отвести поскорее душу с дорогим ее сердцу человеком. Марья Васильевна с тревогой смотрела на мать. Она нашла в ней большую перемену со дня последнего свидания: Анастасия Федоровна за это время исхудала и постарела.

— Эх, я, старая! — спохватилась Анастасия Федоровна.— Заговорилась про беды и скорби свои и про путников забыла!.. Скидайте одежду-то да садитесь... Устали, чай? Сейчас перекусим чем Бог послал. Устинья! Подь скорей сюда! — крикнула она одной из служанок, находившихся в горнице.— Пошли Марфушку послужить боярыне да внукам да стол изготовь скореича.

— Матушка! Уж попрошу тебя кое о чем.

— Что такое? — удивленно спросила Анастасия Федоровна.

— Видела, чай, с какой я оравой приехала? Сделай милость, дай приют им. А то где горемычным приютиться, коли здесь, в Москве, все дома людом переполнены.

— Господь с ними, пущай здесь остановятся. В доме, чай, места всем хватит, и не объедят — есть запасов вдоволь... Почто не пособить бедным людям. Авдотьюшка! — сказала она старой няньке Марии Васильевны, все еще бодрой старухе, хотя ей уже шел девятый десяток.— Подь, родная, распорядись! Устрой так, чтоб всем без обиды, а отца Ивана и матушку попадью сюда к нам зови.

Скоро все путники были размещены в обширном доме Темкина, напоены и накормлены, а отец Иван, вместе с попадьей, сидел за обильной закуской в боярских покоях и чинно беседовал с Анастасией Федоровной о наступивших тяжелых временах.

Незаметно пронеслось время. Наступило роковое 24-е мая.

Марья Васильевна еще спала крепким предутренним сном, когда поднявшаяся в доме суматоха разбудила ее.

«Ахти, уж не пожар ли случился, что в доме смятенье такое поднялось»,— подумала она и стала поспешно одеваться. Дети тоже проснулись. Однако, еще не вполне очнувшись от дремоты, сладко потягивались и не помышляли о вставанье.

В комнату вбежала Марфушка, приставленная для услуг боярыне и ее детям, вся бледная, трепещущая.

— Боярыня-матушка! Вставайте скореича! Татары окаянные к городу подходят! О-ох, горюшко наше горькое! — кричала она, плача.

— Идут татары? — с испугом повторила Марья Васильевна.— О Господи, Господи! — перекрестилась она.— Не предай нас, православных, в руки басурманов!

— Ох, боярыня! — продолжала Марфушка.— Конец, кажись, нам всем, грешным, подходит. Силища, говорят, татар валит страшенная! А наших много ль? Да и царь далече! О-х! Пропали наши головушки!

— Да полно, Марфа! Чего раньше времени убиваться? Никто, как Бог! Вечор муж мне говорил, что рать наша к бою приготовлена и устоит против татар.

Действительно, князь Данило Андреевич, только вчера пришедший к Москве с войском, поспешил в тот же день навестить жену, зная, что уж она должна быть у Анастасии Федоровны. Он, чтобы несколько успокоить жену, говорил, что татары наверно будут отбиты от города. На самом деле в душе Данило Андреевича далеко не был уверен в победе, так как решение воевод дать битву среди тесных улиц предместий казалось ему не совсем благоразумным.

— Вставайте, дети! — торопила Марья Васильевна Васю и Настю.— Татары идут.

Однако эта весть не особенно встревожила их: трусиха Настя спросонья не расслышала хорошо слов матери и сладко позевывала, а Вася, продолжая безмятежно лежать в постели, пустился в рассуждение.

— Что же, матушка, что татары идут? Нешто мы в вотчине, чтобы их бояться? Нешто пустят их сюда? Эвось, пробраться им через стены, как же! А пришли б — у меня сабля есть батюшкина. Старая она, а ничего, вострая! Я б их встретил! Небось! Жарко б им пришлось! Ты, матушка, не бойся! — говорил, блистая глазами, Вася.

— Ладно, ладно, не толкуй! — не могла не усмехнуться мать.— Знаю, что ты воин знатный у меня. Вставай-ка лучше!

— Сейчас встану, матушка,— ответил Вася и все еще не двигался.— А ты это правду сказала, что я воин! Вот подожди, сяду на коня, возьму саблю... Ого! Тогда держись, вороги! Жаль только кафтанчик новый не готов, а то все было бы ладно. Э-эх! кабы не эти татары, надевал бы я теперь новый кафтанчик! — говорил мальчик, вздохнув.— Они помешали его до...— Но мальчику не удалось довести свою речь до конца: его слова были заглушены такими страшными воплями и криками, поднявшимися в доме, что он вскочил в ужасе с постели.

Перепуганная Настя тоже сразу очнулась от своего полусна и, плача от страха, прижалась к матери.

Марья Васильевна была сама испугана не меньше детей и, не зная, что делать, крепко-крепко прижала к своей груди Настю.

— Спасайся, барыня! Татары запалили город! Вся Москва горит, и наш дом уже занялся! — крикнула, вбежав в комнату, Марфа и, не прибавив более ни слова, движимая одним чувством самосохранения, тотчас же бросилась вон из спальни Марьи Васильевны.

В первую минуту Марья Васильевна растерялась до того, что даже не изменила своего положения: она, словно окаменев, сидела неподвижно. Настя зарыдала. Вася, которого пожар испугал больше, чем татары, тоже заплакал. Слезы детей вывели Марью Васильевну из оцепенения.

«Бежать! Бежать скорее отсюда! — мелькало у нее в голове.— Но дети совсем не одеты — надо что-нибудь накинуть на них. Что бы такое?»

И Марья Васильевна озиралась во все стороны, отыскивая, чем бы прикрыть детей, и не могла найти, а тут же, около нее, лежали одеяла и шали. С перепугу Марья Васильевна не замечала их. Время между тем шло. Запах дыма становился не только слышным, но даже удушливым.

Когда же Марья Васильевна отыскала какую-то простыню и прикрыла ею детей, дом уже был объят пламенем. Но еще спастись было можно — выход был свободен: лестницы и сени только что начинали гореть.

Растерявшаяся Марья Васильевна сознавала только одно, что надо бежать, но куда, как — это не приходило ей в голову.

Мысли несчастной женщины путались. Она металась, держа за руки детей, по объятому пламенем дому, забыв расположение комнат, каждый угол которых был ей знаком с детства.

Уже давно все успели покинуть горящее здание. Анастасию Федоровну, лежавшую без памяти, вынесли и второпях забыли о Марье Васильевне и ее детях, которые находились с нею наверху. Она оставалась одна в доме.

На помощь ей никто не мог явиться, потому что все обитатели дома теперь стремились как можно скорее отойти на простор, к реке, к Кремлю от объятых сплошным пламенем улиц и затерялись в бесчисленной толпе бегущего люда, обезумевшего, подобно им, от страха.

Уже валивший густыми клубами в комнату дым кружил голову Марье Васильевне. Настя едва могла стоять на ногах — она почти задыхалась, Вася тоже. Вскоре огненные языки лизнули стены, и пламя со страшною быстротою объяло всю комнату. Свободною от огня осталась только небольшая площадка пола перед окном. На ней-то и поместилась Марья Васильевна с детьми. Все меньше и меньше становился этот, пощаженный ненадолго пламенем, уголок. Скоро огонь должен был поглотить свои жертвы.

Настя была уже без чувств, задыхаясь от дыма. Мать поддерживала ее. Вася еле стоял.

Кожа на лице и руках несчастных от жара темнела и трескалась. Платье Марьи Васильевны начинало тлеть.

Как утопающий за соломинку, ухватилась Марья Васильевна за мелькнувшую в ее голове мысль. Со всею силою, какую несчастная женщина могла собрать, удвоенною отчаяньем, она вышибла оконную раму. В окно ворвался большой язык пламени от горевшей внешней стороны стены. Не обращая внимание на ожоги, Марья Васильевна наклонилась и крикнула:

— Спасите! Спасите! Не меня, так детей!

Ужасен был этот отчаянный вопль несчастной женщины, но кто мог расслышать его среди шума пожара, стонов горящих и воплей толпы? Кто мог прийти ей на помощь, когда каждый был озабочен лишь тем, как бы самому избавиться от ужасной погибели?

Однако крик несчастной женщины достиг до слуха кого-то, потому что спаситель нашелся. Кто он был? Боярин или купец? Смерд или ремесленник? Нет, это был даже не русский!

VI

ПРОБУДИВШИЕСЯ ВОСПОМИНАНИЯ

Девлет-Гирей с высоты Воробьевых гор смотрел на пылающий город.

Над Москвою нависло огромное облако дыма; порою оно колыхалось от порыва ветра, расступалось, и взорам победителя открывалась, во всем ужасном величии, картина го-

рящей Москвы. Гордая улыбка играет на устах хана, глаза радостно блещут, и часто ласковый взгляд их останавливается на лице Алея-Бахмета, который, стоя рядом с Девлет-Гиреем, тоже смотрит на родной ему когда-то город.

Лицо Алея-Бахмета спокойно: по-видимому, вид горящей Москвы мало волнует отступника. Однако наружность часто бывает обманчива, и если бы хан, так ласково теперь глядевший на своего мудрого советника и преданнейшего слугу, мог заглянуть в душу Алея, то, по всей вероятности, ему бы очень пришлись не по сердцу те думы, которые таились в душе его мурзы.

Что же? Неужели отступник раскаивался в своих преступлениях? Возможно ли это, если прошло не более двух часов с той минуты, как он дал хану совет истребить огнем Москву?

Нет, отступник еще не каялся: слишком толста была та броня, в которую он заковал свое сердце, и оно не могло сильнее забиться от криков и стонов гибнущих в пламени его прежних братьев по вере. Нет, он еще не каялся, но у него пробудились такие думы, которые уже давно, казалось навеки, замерли в голове отступника.

Время не изгладило в душе бывшего князя расположение знакомого ему с детства города. Он ясно различает те части Москвы, где он некогда резвился ребенком или терпел беды и радости, став крепким юношей.

Вон Арбат, а вон там должен быть дом Темкиных.

Помнит он, на Арбате произошло его знакомство с Петром... Были они оба тогда ребятишки, лет по пятнадцати, не более. Друг друга они не знали, а среди московской детворы удалыми кулачными бойцами слыли... Раз и сошлись они вот тут, на Арбате... Петька сильно обижал своих противников, когда Андрюша к побоищу явился...

— Ты что это наших мальчишек бьешь? — подлетел к Петьке Бахметов, засучивая рукава.

— Стоят того!.. Да ты мне что за допросчик? — в тон ему ответил Петька и сжал кулаки.

— А, так-то! — воскликнул Бахметов и, не долго думая, съездил Петьке по уху.

Тот не замедлил ответить ему тем же. Драка началась. Скоро у Петра был уже расшиблен нос, а у Бахметова губа. Красные пятна появились на лицах обоих.

— Что ж, довольно с тебя? — спросил Петька.

— По мне, так хоть бы и еще, а только тебя жаль: чего

даром силенку твою надрывать: все равно меня не осилишь,— задорно ответил Бахметов.

Вдруг, неожиданно для него, Петька протянул ему руку.

— Чем драться, хочешь товарищем быть? — спросил он его.

— Ладно, для ча нет? Будем товарищи! — ответил Бахметов, который не прочь был подружиться с этим сильным парнем.

С этих пор попов сын, Петр Никольский, прозванный Долговязым, будущий запорожец, и Бахметов стали большими друзьями.

Вспоминается мурзе Алею и иное... Вон там был сад и терем Темкина. Теперь, верно, уж нет ничего. Дом, должно, сгорел, а деревья истлели в таком пожарище... Где им уцелеть! Жар-то должен быть какой там!

И хочется бывшему князю не думать о настоящем: таким кажется оно ему в эту минуту тяжелым. Понеслась мысль его к далекому отрадному прошлому, и тяжелый вздох вырвался из груди отступника.

«Побывать бы там, в городе... Посмотреть бы на все эти места,— думает бывший князь.— Только где! Разве можно!.. Горит все, весь город, не пробраться будет... Да, пожалуй, и проберешься, так не легче: все, небось, сгорело, и мест знакомых не узнаешь».

А хорошо бы в последний раз взглянуть на места, когда-то родные!..

Чувствует Бахметов, как что-то щемит его сердце давно забытою болью, и снова он тяжело вздохнул всею грудью. Девлет-Гирей услышал эти тяжелые вздохи своего мудрого советника.

— Что так тяжко вздыхаешь, Алей? Москву, что ли, жаль? Ведь когда-то ты здесь жил,— спросил Бахметова хан, зорко смотря на его лицо.

— Нет, не Москву жаль... Что мне в ней? — отвечал застигнутый врасплох, но не потерявшийся мурза Алей-Бахмет.— Нет, не о ней я вздыхаю... Я жалею, что в город пройти нельзя, что все сокровища гяуров даром пропадают в огне.

— Да, жаль... Но что ж! Зато мы отняли у царя лучшее сокровище — Москву!

— Я... я хочу попытаться пройти туда!

— В уме ли ты, Алей? — воскликнул пораженный хан.

— Что же? Разве уж это совсем невозможно?.. Я попробую... если, конечно, ты позволишь.

— Я не могу ничего запретить моему Алею, но прошу тебя, не делай этого.

— Почему?

— Мне жаль тебя: ты погибнешь! Ты посмотри: разве можно пройти через это море огня?

— Я буду осторожен... Так, прощай, хан! Иду, только товарищей надо подыскать...

— Хоть бы ты не нашел их! Да вряд ли и найдешь. Это остановит тебя.

— Тогда я один пойду!

— Ну, делай как знаешь! Да хранит тебя Аллах!

Бахметов отправился на поиски охотников сопутствовать ему.

Вопреки ожиданиям хана, смельчаков, мало заботящихся о своих головах, нашлось изрядное количество, и Бахметов, недолго раздумывая, спустился с ними с возвышенности и пошел к городу.

VII

СПАСЕНИЕ

Сперва татарскому отряду, с мурзой Алеем во главе, не встречалось особенных затруднений подвигаться вперед: сухие деревянные дома, с которых пошло начало пожара, большею частью успели уже сгореть дотла и представляли из себя груду дымившихся, полуистлевших балок и углей, начинающих покрываться тонким беловатым налетом золы.

Повсюду на пути лежали обгорелые трупы. Тут женщина, почти превратившаяся в уголь, лежала со скрещенными на груди руками, которыми прижимала к груди такой же черный уголь, как и она,— свое дитя, там раскинулся на земле, словно улегся спать после веселого пира, молодец — огонь мало его тронул: обгорели только ноги, вероятно, он погиб более от дыма, чем от пламени; вон группа обгоревших остовов — знать, погибла целая семья. Чем дальше, тем трупы становятся многочисленнее, и препятствия растут больше и больше.

Уже татарам приходится идти между двух сплошных ог-

ненных стен. Жар до того силен, что татары стараются закрыть свои лица, кожа которых начала трескаться.

Дышать почти нечем: дым перемешался со смрадом горящего человеческого мяса и отравил воздух.

Многие из сопутников бывшего князя, менее отважные и решительные, чем он, отказываются продолжать путь далее. С мурзой Алеем остается не более десятка человек.

Навстречу татарам несутся толпы испуганного, обезумевшего люда. Некоторые, увидя перед собою отряд врагов, в страхе шарахаются в сторону и опять продолжают свой бег, повинуясь лишь одному бессознательному влечению убежать как можно дальше от ужасного пожарища; другие смотрят, выпуча глаза, на татар и лезут прямо на них, очевидно ничего не сознавая, ничего не чувствуя, кроме подавляющего ужаса.

Татары не трогали бегущих и, напрягая все усилия, пробирались сквозь толпы, заботясь лишь о том, как бы им не разделиться, не затеряться в этом многолюдстве.

Несмотря на то что пожар все изменил, бывший князь узнавал прежде столь знакомые ему улицы. Воспоминания теснились в его голове, и он шел, значительно опередив своих сопутников.

Погруженный в размышления, всецело занятый новым ощущением, которое недавно появилось и овладело его думой, он инстинктивно направлялся к той части города, где стоял дом Темкиных.

Путники его изнемогали от жара, задыхались от дыма, а он, словно ничего не чувствуя, быстро проходил одну за другой горящие улицы Москвы.

Постепенно татары, шедшие за ним, стали отставать и понемногу затерялись в толпе; Алей не замечал этого — он вглядывался туда, где за клубами дыма должен был находиться сад Василия Ивановича.

«Нашел! Вот он!» — радостно подумал отступник, когда, пробравшись еще сквозь один объятый огнем переулок, он увидел искомый сад — частокол, который некогда окружал сад, исчез, и на месте его торчали только обгорелые головни. Алей перешагнул через них. Деревья-великаны стояли совсем почти обнаженными от той молодой зелени, которая покрывала их часа два тому назад; лишь кое-где виднелись на них листья, свернувшиеся от жара в сухие трубочки.

Чем-то мрачным и зловещим веяло на князя от этого полуистребленного огнем сада, и казалось ему, что ветви дерев

грозно машут над его головой, словно в бешенстве на то что к ним приближается виновник их гибели.

Как не похоже это на прежнее! Бывало, входил сюда молодой князь, веселый, полный ожидания горячих ласк души-девицы, и листья приветливо шептали над ним, словно говоря: иди! спеши! Она давно уже ждет тебя на заветной скамье. И князь, трепещущий от счастья, ускорял шаг.

Тяжело вздохнул отступник и, подняв опущенную голову, взглянул на то место, где находился дом. Он был еще цел, но уже весь охвачен огнем.

Князь подошел ближе и остановился, смотря, как с треском и шипением догорало строение.

Иногда порыв ветра раздувал пламя, столб его с завыванием поднимался еще выше, чем прежде, и на князя сыпались целые снопы искр.

Вдруг до слуха князя долетел отчаянный женский вопль:

— Спасите! Спасите! Не меня, так детей!

Верно, был дик этот крик, если он не смешался с шумом, не был заглушен им и дошел до ушей мурзы Алея.

Почему же так вздрогнул отступник? Почему лицо его вдруг так побледнело и дрожь потрясла его тело?

В этом вопле отступник узнал некогда дорогой ему голос: это кричала Марья Васильевна.

Взволновал этот крик жестокую и холодную душу мурзы Алея Бахмета. Он забыл о своем вероотступничестве, о татарском наряде и титуле мурзы. Он сознавал только одно, что там, наверху, в объятом пламенем тереме, гибнет «она», и не задумываясь, ни о чем не размышляя, кинулся к ней на помощь.

«Как пройти? Как проникнуть в терем?» — думал бывший князь и метался вокруг пожарища.

— О, Аллах! О Бог христианский! Благодарю тебя! — вдруг вскрикнул он.

Перед ним, невдалеке от дома, лежали две лестницы: одна длинная, другая много короче.

Взять первую и приставить к стене было делом одной минуты. О радость! лестница почти достигала до окна.

Мурза Алей, цепляясь, как обезьяна, полз наверх.

В своем крике Марья Васильевна, казалось, вылила последние силы. Теперь она стояла, еле держась на ногах. Дым кружил ей голову. Дети уже были без памяти. Она, обняв детей и закрыв их лицо краем своей одежды, поддерживала их слабой рукой, чтобы они не упали в пламя, а другой ста-

ралась как-нибудь защитить от жара свое лицо и, главное, глаза, на которые жар оказывал свое ужасное действие.

Пламя было уже совсем близко. Одежда Марьи Васильевны тлелась все сильнее... Вдруг в это время несчастная женщина услышала шорох за окном. Собрав силы, она взглянула в него: наверх поднимался какой-то человек. «Спасемся!» — радостная мысль мелькает в ее голове.— О Боже, благодарю Тебя! — шепчет Мария Васильевна и вглядывается в поднимающегося.

Крик ужаса исторгается из ее груди: к ним лезет татарин, она ясно различила его тюбетейку.

«О Боже! Смерть и там, и тут! Лучше уж тут умереть, чем попасться в руки басурмана. О Боже, Боже!» — в отчаянии проносится в ее голове.

А татарин между тем уже совсем близко. Голова его появилась в окне. Обезумевшая от ужаса боярыня не узнает в этом татарине Андрея Михайловича и в ужасе пятится от окна.

— Давай детей! — говорит мурза Алей глухим от волнения голосом.

Марья Васильевна смотрит на него расширившимися от страха глазами и крепче прижимает детей к своей груди. Ее не удивляет даже то, что слова эти были сказаны на чистом русском языке.

— Давай же их! — повторяет свою просьбу Алей.— Давай скорее! Лестница уже загорелась: сгорит она — спасенья нет! О, спеши же, ради Бога!

Марья Васильевна остается по-прежнему безучастной к его словам.

Тогда бывший князь вспомнил о своем татарском наряде и понял причину страха боярыни.

— Марья! — тихо говорит он, с упреком глядя на нее.— Неужели ты не узнаешь меня!

Эти слова, произнесенные знакомым голосом, заставили встрепенуться Марью Васильевну.

— Боже! Андрей! Ты ли это? — в недоумении прошептала она.

— Да, это я! Что же, перестала бояться? Давай детей! — сказал князь.

Не медля ни минуты, не колеблясь, Марья Васильевна исполнила его просьбу.

Осторожно спустившись вниз по начинающей уже гореть лестнице и положив детей на траву, Алей поднялся за Марьей Васильевной.

Неизъяснимое волнение испытывал князь, когда спускался сверху, держа в своих руках почти бесчувственную боярыню.

Что ему до того, что его платье горело, что огонь уж жег его тело! Он заботился только о том, как бы бережнее нести дорогую для него ношу.

Марья Васильевна, едва спустилась на землю, бросилась к неподвижно лежащим на земле детям.

Изнемогшая от испытанных душевных потрясений, она пыталась приподнять их с земли своею слабой рукой.

— Оставь их! Они сейчас очнутся,— сказал бывший князь и, нарвав травы, принялся растирать ею бесчувственных детей.

Результат скоро сказался. Настя, которой Алей Бахмет первой оказал помощь, скоро вздохнула и открыла глаза. Мать покрыла поцелуями ее побледневшее личико.

Потом Бахмет принялся за Васю. Мальчик пришел в себя еще скорее, чем Настя. Видя, что для детей уже не представляется опасности и что единственным последствием перенесенного пожара останется на некоторое время сильная головная боль, Бахметов, трепещущий теперь от взора голубых ясных глаз Марии Васильевны, которые поселяли в его душе какую-то смесь разнородных чувств, решил не медлить и довершить дело спасения.

— Пора в путь... Надо выбраться из Москвы,— сказал он, не глядя на Марью Васильевну и стараясь не называть ее по имени.

— Да! Да!.. Скорее отсюда прочь! — воскликнула боярыня, невольно вздрагивая при воспоминании о пережитых ужасах.

Спасенные и их спаситель отправились в дорогу. Впереди пошел бывший князь, неся на руках Васю, сильно ослабевшего, прикрыв его наготу полою своей татарской одежды, за ним шла Марья Васильевна, держа Настю.

Трудно описать, что испытывал в это время отступник. Стыд за отступничество, счастье быть опять вместе с Марьей Васильевной, боязнь, что скоро надо лишиться этого счастья, какое-то неясное ощущение тоски, не то смущения перед взором очей боярыни Ногтевой, все это перемешалось в его душе. Он был счастлив близостью некогда страстно любимой женщины, а сам боялся взглянуть на нее. Он спешил, чтобы поскорей выбраться из горящей Москвы, а сам проклинал ту быстроту, с которой они подвигались вперед: каждый шаг

подвигал его все ближе к разлуке навеки с Марьей Васильевной.

А Марью Васильевну в это время тоже теснили думы.

«Андрей жив, а все считали его умершим. Бедный! Милый! Как, должно быть, он страдал все это время! Сколько зла я ему причинила, а он — вот истинный христианин! — отплатил за это добром, да каким! Жизнь подарил! Чистая душа! Прости меня, родной! Судьба разлучила нас, а не я тому виной... Что делать! Не так живи, как хочется, а как Бог велит! Теперь я люблю своего мужа, своих деток, а все словно щемит что-то сердце, как вспомню былое! Особливо теперь, когда он здесь, мой милый, мой желанный! Была бы моя воля, да коли б не грех великий и обет, данный мужу, тоже милому, дорогому мне, так, кажись, сейчас бы обвила руками шею моего прежнего дружка желанного и целовала б»...

«А изменился он сильно за это время!» — принимают мысли Марьи Васильевны иное направление.

«Просто признать трудно, а все ж красавец писаный! Так-то строен, и наряд, расшитый золотом, к лицу ему. Да!.. А отчего он одет словно бы и татарину в пору? И тюбетейка на голове. Шапку-то, должно, забыл второпях... Голова выбрита гладко. Да и все так, как у татарина. Не лазутчиком ли он нашим среди татар пущен был, а как увидел, что, разузнавай-не разузнавай, все равно горю не поможешь, потому наши с ними биться не могут, коли город родимый горит, он и прибег от басурманов в Москву, чтобы помощь свою оказать кому-нибудь, вроде как нам: у него сердце доброе!»

«Так, должно, и есть. А все ж беспременно спросить надо, а то что за притча! Все был русский князь, а тут на! вдруг заместо его бритый татарин с тюбетейкой на голове очутился!»

Как раз в это время, когда мысли боярыни Ногтевой приняли такое направление, князь, пересилив свое смущение, обернулся к ней.

— Что, Марья...— по старой привычке назвал он ее одним именем и тотчас же поспешно добавил: — Васильевна, тебе, кажись, тяжело тащить девочку? Дай ее сюда — снесу обоих,— произнес отступник.

Марья Васильевна беспрекословно передала Настю в руки бывшего князя.

Для силача Бахметова подобная ноша не казалась очень обременительной, и он, посадив на одну руку девочку, на другую Васю, зашагал по-прежнему легко и свободно.

Однако теперь Марья Васильевна пошла с ним рядом, не зная, в какое смущение повергает она своего прежнего милого.

— Тебя узнать трудно, Андрей! Ты сильно изменился,— начала разговор Марья Васильевна.

— Да... Я думаю... Да ведь и было с чего! — ответил бывший князь.

Марья Васильевна поникла головой.

— Андрей! — сказала она, помолчав.— Ты во всем винишь меня и клянешь свою прежнюю любу желанную!.. Андрей? — продолжала боярыня, и в голосе ее послышались слезы.— Верь мне, милый, дорогой! Я ни в чем неповинна, видит Бог! Судьба разлучила нас...

— Марья! Теперь уж все прошло и быльем поросло. Не прежний я, не прежняя ты, а все-таки слова твои мне всю душу воротят! Как вспомню все — инда кровь закипает!.. Ах, милая, милая! Многого бы не случилось, кабы не покинула ты меня! Если бы ты знала, если бы ты знала! — волнуясь, говорил князь дрожащим голосом.

— Знаю, милый, тяжко тебе было, да и мне нешто легче! Легче, думаешь? О! какое времечко пережить пришлось! — воскликнула Марья Васильевна.— Теперь, конечно, не то,— добавила она,— двенадцать лет время не малое, все успело улечься, да и позабыться кое-что. Теперь есть муж у меня, и люблю я его, прямо говорю тебе, люблю, хоть не так, как прежде тебя, а все же крепко. И в детках Бог послал мне утеху не малую. Забылось все помаленьку... А раньше, раньше, ой, как не сладко было! И судьбу кляла, и людей! Но Он, Великий, наставил меня, и помню я Его слова: верь, люби, терпи и надейся! И, скажу тебе, Андрей, в этом вся жизнь! Отними одно слово отсель — и другие не нужны, и жизнь опостылит!.. С той поры я счастлива, Андрей! — говорила молодая женщина, и очи ее спокойно смотрели на побледневшее лицо князя-отступника.

Слова Марьи Васильевны как огнем жгли его сердце. Ему вспомнилось, что некогда юродивый, удерживая его от самоубийства, говорил то же самое. Если б князь последовал тогда совету старца! Но в нем кипела кровь, его душила злоба в то время, и он не мог постичь всей глубины этих слов. Он не знал тогда, что нельзя жить счастливо, заменив любовь ненавистью, терпение — жестокой местью... Он не знал тогда этого! Теперь он понял все!

Теперь ему ясно, почему за все двенадцать долгих лет он

напрасно стремился к счастью. Он стал богат, еще больше, чем прежде, знатен, славен и любим красавицей Зюлейкой, у него так же, как у Марьи Васильевны, были двое ангелов-утешителей, двое деток, и все же он не был счастлив. Чего-то не хватало; был призрак счастья, тень его, но, как и во всякой тени, в ней не было души, и она служила лишь отражением, пародией на то, что находилось у других в действительности.

— Я рад, Мария, что ты счастлива... Верь! Рад от души! А я... что мне сказать про себя? Я женат и любим женой, да и сам ее люблю. Есть дети: два красавца мальчика, но... но я несчастлив,— глухо сказал отступник.

— Как? Ты тоже женат? Может ли быть? Как же я не слышала о твоей свадьбе? Или ты женился не здесь, в Москве? — засыпала его вопросами Марья Васильевна.

— Да... Я женился не здесь,— уклончиво ответил ей бывший князь, избегая встретиться с ее взглядом.

— Где же ты женился? На ком? Молодая твоя жена, красивая? — продолжала она расспросы.

— Далеко отселе... А жена моя красавица,— нехотя произнес он.

— Что же ты не говоришь, где ты женился?

Князь не отвечал.

— Не хочешь, стало быть? Ну, твое дело! — сказала Марья Васильевна, несколько обиженная этою скрытностью своего прежнего милого.

— Нет не хочу, а зачем тебе знать? Слушай! Бывает так, что лучше, когда не знаешь всего. Так и здесь... Хочешь, я отвечу, но и тебе, и мне после этого только тяжелее станет.

Марью Васильевну мучило любопытство — этот общеженский недостаток. Ей казалось невероятным, чтобы слова князя могли бы действительно быть для нее неприятными.

— Андрей! В память прошлого, скажи! — попросила она его.

Князь решился.

— Изволь, я тебе отвечу! Я женился в Крыму! На красавице Зюлейке, дочери мурзы Саида.

— Как? — воскликнула Марья Васильевна и даже приостановилась.— Да что же это? Да ведь она татарка, стало быть? И не нашей веры? — продолжала изумляться Марья Васильевна.

— Татарка и, как все татары, мусульманка,— ответил мурза Алей-Бахмет.

— Значит, она приняла наш закон?

— Нет... Разве ей позволили бы?

— Так как же? Нешто можно православному на басурманке жениться? Полно! Этого не бывает! Ты, чай, Андрей, просто не хочешь сказать правды и морочишь меня.

— Я тебе сказал истинную правду!

— Да ты где же живешь с нею?

— Там и живу, в Крыму.

— В Крыму? С татарами? Да ведь они убить тебя могут!

— Не убьют!

— Сюда-то ты как попал?

— Пришел с ханом.

Марья Васильевна пристально посмотрела на него.

— Андрей! Что ты говоришь: неправду или...

— Ну, что ж или...? Договаривай! — проговорил князь, начинавший испытывать раздражение.

— Али ты татарин,— медленно проговорила Марья Васильевна.

— Да! Ты сказала верно! — тихо ответил князь.

Марья Васильевна остановилась как вкопанная.

— Андрей! — с укоризной и грустью произнесла она.— Ты отступил от нашей веры, ты стал врагом своей родины?

Князь, не отвечая, низко склонил голову.

— Отступник и изменник! — проговорила она, с презрением глядя на бледного как полотно князя.

— Мария! Тебе ли бросать в меня камень? Из-за тебя я погиб... О Боже! Если б я меньше тебя любил, нешто бы я решился на это? Слушай и суди! Я в Крыму, когда бился с татарами, когда проводил бессонные, тяжелые ночи в татарской неволе, думал лишь о тебе да о том счастье, какое выпадет мне на долю, когда я свижусь с тобой. И вот я дождался конца похода! Как я был рад этому! Сколько коней я переморил, чтоб поскорей добраться до Москвы! Приехал и что же? В Москве я не нашел моей любы желанной! Боярышни Темкиной не было, была лишь княгиня Ногтева! Повернулось в груди моей сердце! Не взвидел я света, чуть руки на себя не наложил! Грызла меня тоска, и ничем не мог смирить я ее! Опостылела мне родина и вера отцов. Куда деться? Чем заглушить тоску? Что мне делать на родине? А там, в Крыму, знаю, ждет, изнывает по мне девица красная. Нет счастья здесь мне, никому я не нужен, никто меня не любит, так прости же, прощай, родимый край. Так и по-

кинул я Москву и обратился в татарского мурзу. А думаешь, легко мне было? Не мучила совесть? О, не дай тебе Бог никогда пережить того, что я пережил. После привык и к новой родине, и к новой вере и преданным даже стал ей. Мало-помалу все позабылось: нашел я утеху в жене, в деточках милых... Настоящего счастья не бывало, а все же лучше, чем прежде. А теперь увидел тебя и нахлынуло на меня былое! Опять тоска щемит сердце и совесть проснулась. Эх! Да что говорить!

Ничего не ответила отступнику Марья Васильевна на его пылкую речь. Да и что могла она ему ответить? Вероотступничество и измену родине, казалось ей, ничем нельзя оправдать.

Мурза Алей глянул ей прямо в очи: его встретил суровый и холодный взор молодой женщины. Он отвернулся и быстро зашагал, опережая боярыню.

Весь остаток пути они прошли молча. Вот уже горящие московские улицы остались далеко позади, перед ними тянулись чуть дымившиеся, догорая, развалины предместий.

Прошли их, и на путников повеяло прохладой. Они вздохнули с облегчением.

«Однако как же быть с боярыней? — задал себе вопрос князь.— Куда доставить ее?»

В это время навстречу им попалась ватага татар, со смехом тянувшая под руки отчаянно отбивавшегося от них какого-то человека.

— А! Мурза Алей-Бахмет! — приветствовали князя татары.— Уже воротился из города? И с добычей, кажись? Ишь, какую красотку добыл, хоть самому хану в гарем!

— Это не пленница! Ее пальцем никто тронуть не смей! — сурово произнес мурза.

Услыша это, татары почтительно заговорили, что они не хотели оскорблять ханым, а что только подумали: не пленница ли.

— Кого это вы тащите? — спросил князь.

На лицах татар появилась улыбка.

— Мы здесь его нашли, недалеко,— отвечали они.— В луже он сидел, от пожара спасался. Трус, видно, страшный, да забавный такой... И по-нашему кое-что маракует.

Между тем пленник во время этой речи внимательно вглядывался в боярыню.

Внезапно он вырвался из рук державших его татар и подбежал к Марье Васильевне.

— Матушка-боярыня! Не выдай басурманам на пагубу холопа своего верного,— завопил он.

— Боже мой! Да это никак ты, Миколка-выкрест! — воскликнула Марья Васильевна.

— Я и есть, боярыня! Я и есть! Изловили меня, окаянные! Теперь пропала моя головушка, как пить дать, коли ты меня, матушка-боярыня, не выручишь! — продолжал вопить Миколка.

— Что, это твой человек? — спросил мурза Алей боярыню.

— Да, мой... При муже он был,— ответила она и обратилась к Миколке с вопросом: — Где же муж? Не погиб ли, Боже упаси! — спросила она с тревогой.

— Не! Боярин в Кремле, вместе с князем Воротынским,— успокоил боярыню Миколка.

— В Кремле? — вмешался в разговор князь.— Так, пожалуй, к нему боярыню доставить можно?

— Никак эфтаго нельзя сделать,— решительно произнес Миколка.— Потому что те, кто заперлись в ем, к себе никого не впущают, потому, как навалит народа тьма-тьмущая, так тогда никому не спастись — ни им, ни тем.

— Так как же быть? Куда же доставить боярыню? — недоумевал мурза.

— Мне бы лучше всего в вотчину мою попасть,— сказала Марья Васильевна.

— А где твоя вотчина?

— Недалеча от Серпухова. Десятка верст от него нет.

— Ладно... Устрою. Слушай ты, как тебя, Миколка, что ль? — обратился он к пленнику.

— Да, меня Миколаем звать,— ответил тот.

— Так вот что... Я тебя освобожу из полона.

Миколка радостно вскрикнул.

— Да подожди радоваться, наперед дослушай... Я тебя освобожу с тем, чтобы ты доставил Марью Васильевну с детками целой и невредимой... А коли что случится с нею, узнаю, нарочно из Крыма приду тебя наказать. Слышишь? — добавил князь грозно.

— Слышу! — печально ответил Миколка, для которого перспектива пути по заполненной татарами стране далеко не казалась привлекательной.

— А чтоб безопаснее всем вам было, дам в охрану воинов своих отряд, которые проводят вас до вотчины. Уж ты прости, боярыня, что не провожаю сам: к хану нужно,— сказал

Алей-Бахмет Марье Васильевне, по-видимому, спокойно, между тем как сердце его болезненно сжималось.

— Я уж и так тебе должна спасибо сказать большое: без тебя бы ни мне, ни детушкам не увидеть света белого! — ответила Марья Васильевна, сердце которой, несмотря на ее чувства, возбужденные его исповедью, было все-таки полно благодарности к князю.

— Есть за что благодарить! — ответил мурза и отвернулся, скрывая смущение, как будто для того, чтобы отдать приказание татарам привести лошадей для Марьи Васильевны с детьми и для Миколки, а также вытребовать отряд воинов для охраны.

Пока исполнялось это приказание, Бахметов, или мурза Бахмет, стоял против боярыни, не сводя с нее глаз. Он словно хотел укрепить в своей памяти дорогие черты некогда любимой женщины.

Марья Васильевна, напротив, смотрела в сторону: татарский наряд ее прежнего милого напоминал ей об его отступничестве, и в ее душе снова поднималось отвращение к вероотступнику, пересиливая чувство благодарности и заглушая прежнюю привязанность.

Наконец она подняла на бывшего князя свои очи, и столько грусти прочла она в его глазах, что ей стало его жаль, а совесть в глубине души шепнула ей, что сама боярыня, хотя против своей воли, но виновата в его измене родине и вероотступничестве.

— Что же ты скажешь мне, Марья, на прощанье? — тихо промолвил Бахметов.

— Что сказать тебе? Мне жаль тебя! — ответила она с чувством.

— Да! Жалей обо мне, милая, и молись за мою грешную душу! Если б ты знала, как тяжко мне, Марья! — воскликнул князь.

Между тем привели коней, и приехал небольшой отряд для охраны.

Бывший князь сам посадил Марью Васильевну на седло. С нею же сел и Вася, уже значительно оправившийся и теперь восхищавшийся, что ему придется править конем.

Настя была сдана на попечение Миколки.

— Ну, с Богом,— произнес князь дрогнувшим голосом, когда все были готовы к пути.

— Прощай, Андрей Михайлович! Спасибо тебе за твое добро! — сказала Марья Васильевна, протягивая ему руку.

— Прощай, дорогая! Прощай навеки! — грустно воскликнул князь.

— Кто знает? Все в руках Божьих! Прощай же и будь счастлив!

- Мне ли быть счастливым?

— Дети мои будут молиться за тебя, и Бог тебе поможет!

Отряд тронулся.

Застучали копыта коней, поднялось облако пыли, и скоро всадники уже далеко скакали от смотревшего вслед им князя. Крупные слезы сверкнули в глазах отступника. Он не смахнул их и дал им волю скатиться на свой расшитый золотом татарский наряд.

VIII

ПОИСКИ

Девлет-Гирей недолго оставался под Москвою. Услышав весть, будто из Ливонии идет русское войско на помощь, хотя запоздалую, столице, хан немедленно двинулся в обратный путь: мщение его было удовлетворено, добычу он еще сберег на южных окраинах, а теперь ничто не может мешать потребовать от Иоанна и отказа от Казани и Астраханского царства, и обильной дани. Таким образом не было причин хану медлить, и он поспешно отступил от Москвы и пошел обратно к Крыму.

Царь был в Ростове, когда ему донесли об удалении врага. Отправив в погоню за Девлет-Гиреем князя Воротынского, царь приехал в свою любимую Александровскую слободу и приказал очищать столицу от трупов.

Князь Данило Андреевич Ногтев, находившийся, как известно, при Воротынском, вместе с ним избегнул гибели.

Когда Воротынский получил приказание идти следом за уходившими татарами, Данило Андреевич не принял участия в этом походе: он попросил князя Воротынского отпустить его, чтобы узнать о судьбе своей жены и детей.

Грустный и задумчивый брел Данило Андреевич по Москве.

«Где жена? Что с нею и детьми? — мучили его неотступные вопросы.— Может быть, она и дети разделили участь

других несчастных и теперь, обугленные, неузнаваемые, лежат в груде таких же, как и они, мертвецов? — думал князь и невольно с большим вниманием вглядывался в валявшиеся по его пути трупы.— Цел ли дом, где жила она с Темкиной? Ах! И зачем я вызвал ее сюда, в Москву! Осталась бы в вотчине — ничего бы, верно, не случилось, а теперь...»— и князь чувствовал, что слезы подступают к его горлу. Он почти не надеялся на то, что жена его спаслась от пожара, и с ужасом приближался к той части города, где должен был находиться дом Темкиных.

Чем ближе подвигался к нему Данило Андреевич, тем более замедлял шаги. Он старался не смотреть в ту сторону, чтобы хоть дольше можно было бы надеяться, что дом уцелел.

Однако достаточно было взглянуть на то, что сделало пламя в этой части города, чтобы надежда поколебалась: не осталось ни одного целого дома, все подряд погорели. Мог ли в таком пожарище уцелеть старый, сухой, как солома, дом Темкиных?

Но наперекор рассудку Данило Андреевич хотел надеяться, и, когда сердце его сжималось недобрым предчувствием, он говорил себе, что все эти страхи вздор, что дом Темкиных мог уцелеть.

Вот сейчас должен он показаться... Сейчас выбежит к нему навстречу жена и в слезах склонит свою головку ему на грудь, потому что напугана всеми этими ужасами, и детки будут прыгать вокруг него и радостно кричать на весь дом: «Тятя приехал! Тятя приехал!» Тогда, кряхтя, выплывет навстречу зятю и старая Анастасия Федоровна... Славная она старушка, только грустит все последнее время.

Так думал, утешая себя, князь. Как раз в это время перед ним показались обгорелые остатки того невысокого забора, которым был окружен недавно громадный сад Темкиной.

Данило Андреевич остановился, словно ударило что-то его в сердце.

Ветра не было, и обгорелые деревья сада стояли неподвижно, словно предваряя князя о том, что он сейчас встретит. Несколько шагов, поворот по тропинке, и вот вместо высокого, обширного боярского дома князь нашел груду обгорелых развалин, вместо объятий молодой красавицы-жены Данилу Андреевича обвила струйка синеватого дыма, поднявшаяся от все еще тлеющей балки.

Все это было так ужасно, так противоположно тем

надеждам, которые только что питал князь, что словно туманом застлало очи Данилы Андреевича, кровь прилила к голове, и он в изнеможении прислонился спиной к близ стоящему могучему полуобгорелому дубу.

— Умерли! Сгорели! Ангелы мои! Деточки! — шептали невнятно его губы, между тем как глаза его уставились в какой-то небольшой черный предмет, лежавший около развалин дома.

Кругом князя был словно туман, и сквозь него он лишь и видел одну точку, резко черневшую на желтом песке. Данило Андреевич инстинктивно, сам того не сознавая, уставился в нее глазами, когда его охватил прилив ужасного горя.

Теперь этот предмет странной формы начал привлекать внимание Данилы Андреевича, и, как часто бывает при сильных душевных потрясениях, эта мелочь казалась ему чем-то необыкновенно важным. Князь напрягал зрение. Он был отвлечен от созерцания той муки, которая овладела его сердцем. Понемногу князь оправился и глянул вокруг себя уже не прежним, смутным, ничего не видящим взором, а ясным и сознательным. Пожарище напомнило ему о том, где он находится и какую понес он утрату.

Слезы сдавили его горло, и этот сильный воин заплакал, как женщина.

Слезы сделали свое дело: они превратили давившее князя жгучее горе в тихую скорбь. Теперь мозг князя заработал с удвоенной силою.

«Может быть, они и спаслись? О, дай-то, Боже! Неужели все погибли? Надо искать, Господи! Вдруг я найду их трупы! Несчастный я! За что такая кара? А искать надо: по крайней мере, буду все знать достоверно, а не томиться понапрасну»,— думал князь, готовясь приступить к страшной работе.

Вдруг он вспомнил о том предмете, который раньше привлек его внимание.

«Не померещилось ли мне в ту пору? — подумал он, оглядываясь и не видя ничего особенного.— Ничего, кажись, нет такого? А, стой! Вон там что-то чернеется!» — увидел он что-то черное на песке.

Данило Андреевич пошел к интересовавшему его предмету.

Князь подошел и поднял предмет с земли: это была высокая татарская шапка, та самая, которую Алей-Бахмет забыл впопыхах.

Эта находка поразила Данила Андреевича.

«Стало быть, здесь были татары! — думал он с ужасом.— Час от часу не легче! Значит, они, коли не сгорели, так в полон взяты!»

«О-ох, Господи! Да это еще горше! Мою Марию, красавицу, мурзе какому-нибудь отдадут, а детишек моих обасурманят, в татар обратят. Это горше смерти. Пусть бы уж лучше сгорели: по крайней мере, один конец, а там сколько муки претерпят! Ох! Думать страшно! Тут бы хоть кости их похоронил с честью, по обряду христианскому, скорбел бы, страдал бы, да уж не воротить былого, знал бы это и только об одном бы Бога молил, чтоб и мне смерть послал скорее, а теперь ведь каждый час будет дума гвоздить неотвязная, что вот я живу на родине, а детки мои томятся в неволе басурманской!» — и князь, опустив голову и заломив с отчаяния руки, бродил по пожарищу.

— Батюшка-боярин! Да это никак ты, Данило Андреевич! — окликнул его в это время какой-то человек, по-видимому из простонародья, только что подошедший к пожарищу.

Князь быстро оглянулся.

— Это — ты, Степан! — узнал он в подошедшем одного из холопов Темкиных.— Ты как сюда попал?

— Да пошел поглядеть, из пожиток чего-нибудь не осталось ли... Да где! Вишь, все, ровно языком, слизало, чисто да гладко!

— Стало быть, вы не сгорели? Спаслись? — радостно спросил князь.

— Спаслись, боярин! И как это Господь помог нам от погибели лютой уйти, диву даться можно! Выбрались мы из дому, хотим вон скорючи из города. Куда тебе! Народ так валом и валит! Меня инда сдавили так, что думал душу Богу отдать! Одначе и тут Господь помог: выбрались мы и боярышню на руках сквозь толпу пронесли... Без памяти она была...

— А жену и детей моих видел? Как она? Чай, перепугана? — быстро спросил князь.

— А вот, как перед Богом, не помню! Да и где тут, сумятица была страшная! Право, не запомню! Кажись, видел!

— Ахти! — начал опять тревожиться князь.— Как же так? Неужели сгорели?

— Нет! Зачем! Коли все спаслись, стало быть, и боярыня

молодая с детьми. Беспременно! А только мне видеть не пришлось...

— Да где вы все теперь находитесь?

— В вотчине боярской подмосковной... Знаешь, чай! От города рукой подать. Верст с пяток будет, не боле.

— Пойду туда, узнаю... Все, говоришь, там? Никто в другое место не попал?

— Все, все! Окромя тех, кто на тот свет угодил. Вот приезжего попа Ивана, чай, знаешь, боярин? Так вот он с попадьей сгорел. Это я уж сам видел. Дом в огне, а он мечется по палатам, ровно обезумел от страха. Зовем его, не выходит. Так и сгорел с женой вместе. Знамо дело, от страха ума лишился.

— Царство им небесное! А Анастасия Федоровна как?

— Да как мы ее без памяти вынесли, так она до сих пор в себя не приходит. Только, сказывали, стонет все легонько.

— Больна, стало быть, с испугу? — проговорил князь, отходя от Степана.— Пойду про жену разузнаю, ее, кстати, спроведаю... Да! — прибавил он, вспомнив про татарскую шапку, найденную им.— Как же вас татары пропустили?

— Здесь их не было!.. Они, бают, и в город не входили: пожар их не пустил,— говорил темкинский холоп, удивляясь, почему такая мысль пришла в голову Даниле Андреевичу.

— Не бывали здесь, говоришь? А это что? — указал князь Степану на свою находку.

Тот онемел от изумления.

— Дивное дело! И откель взялась! — бормотал он.

— Стало быть, татары были! — сказал князь.

— Да нет же, не были! Разве опосля. Нешто татар можно проглядеть? Не было их тут, кого хошь спроси, не было!

Князь только пожал плечами.

— Пройду в вотчину, порасспрошу еще кой-кого: может, ты и проглядел... Прощай, старина!

— Прощай, батюшка-боярин! Я тут маленько в мусоре покопаюсь... Может, и найду что. А про татар это, чтоб проглядеть, так не можно! Эко слово молвил! Татарина проглядел! Накось! И рад бы иной раз проглядеть, да он, бритый, не проглядит и саблей по башке съездит! Ну, знамо дело, молод еще боярин, пожил бы с мое — небось, не сказал бы эфтаго. Эх, эх! Грехи наши тяжкие! — бормотал старик, принимаясь за свою невеселую работу, между тем как Данило Андреевич был уже далеко от него.

IX

ПРОПАДАВШИЕ ОТЫСКАЛИСЬ

Во все время, пока очищали Москву от трупов, царь Иоанн Васильевич оставался вдали от нее.

В Москве же работа кипела. Думали скорее окончить очистку, скинув трупы в реку Москву и предоставив ее волнам унести их из пределов города, но надежда не оправдалась: трупов было такое множество, что они запрудили реку и лежали по-прежнему в Москве, заражая смрадом окрестность.

Тогда согнали крестьян из ближайших к Москве деревень, вытащили трупы из реки и зарыли их, где и как пришлось, без отпевания и христианских обрядов: этой чести удостоивались только самые знатные из мертвецов — не хватало для панихид ни времени, ни священников. Только 15-го июня царь Иван Васильевич приехал к Москве и остановился в Браташине, где был у него дворец.

Сюда прибыли два посла Девлет-Гирея.

Царь принял их в столовой избе.

Окружавшие его бояре и сам он были в обыденной одежде, чего никогда не делали при приеме послов, но в этот раз такая одежда служила знаком печали.

Не меньше царя волновались и присутствующие при приеме послов ханских бояре. В числе их находился и князь Ногтев. Бледнея от гнева, слушал он надменные речи и оскорбительные слова ханского письма. Гнев даже заставил князя на время забыть гнетущее его горе.

А люто было это горе! Данило Андреевич был в вотчине Темкиных. Там он нашел только бесчувственную, почти умирающую Анастасию Федоровну, окруженную десятком приживалок и сенных девушек. Расспрашивать старуху о дочери нечего было и думать. Он обратился к другим. Кого он ни спрашивал, все говорили, что не видели Марьи Васильевны с детьми и не знают, что с ней приключилось. Даже старуха Авдотья, без ума любившая свою питомицу, и та не могла ему ничего объяснить и только плакала да причитала.

Князь был в отчаянье. Он пробыл в вотчине Темкиных несколько дней, продолжая разузнавать у всякого встречного о судьбе жены и детей.

За это время Анастасия Федоровна успела немного оправиться. При первой возможности князь расспросил и ее.

Происшествие 24-го мая так потрясло старуху, что она ничего не помнила с той минуты, как по дому раздался крик о пожаре. Она могла поэтому вместе с князем сетовать на судьбу и убивалась исчезновением дочери.

Видя, что дальнейшие расспросы и поиски здесь бесполезны, Данило Андреевич уехал из вотчины Темкиных.

Думая немного рассеяться и забыться среди людей, он поехал ко двору царя и, таким образом, попал на прием ханских послов.

Данило Андреевич внимательно вслушивался в разговор царя с послами, стараясь не проронить ни одного слова.

— Данило Андреич! А Данило Андреич! — услышал он позади себя тихий окрик.

Князь с досадой обернулся: его окликал один из приятелей.

— Что тебе? — спросил молодой боярин.

Тот, наклоняясь к уху князя, тихо прошептал:

— Я сейчас только ко двору приехал, так видел, слышь, что тебя человек какой-то незнаемый перед дворцом дожидается. Холоп твой, бает, и прислан к тебе с вотчины твоей с вестями.

— Гонец с вотчины, говоришь? — переспросил Данило Андреевич, не веря ушам.

— Да, да, сказываю! — ответил ему говоривший.— Ты скореича — вести, баял холоп твой, важные!

Данило Андреевич поспешил незаметно покинуть «столовую избу», в которой происходил прием послов.

— Здравствуй, боярин Данило Андреевич! — радостно приветствовал его посланный.— Наконец-то Бог помог мне тебя сыскать!

— Миколка-выкрест! Ты отколе взялся? Я думал, что тебя уж и в живых нет! Нигде тебя не видно! — удивленно проговорил князь, узнав в гонце трусливого татарина.

— Нет, еще покеда Бог миловал! И от пожарища убежал, и промеж татар целым до вотчины твоей боярской пробрался, да и Бог привел спасти твоих...

— Что, вотчину мою, верно, татары разорили? — перебил его, не дослушав, князь.

— Не! — мотнул отрицательно головой Миколка.— Цела и невредима по-прежнему.

— Да ты откуда с вестями-то ко мне приехал?

— Да оттеда, с вотчины ж... Послан я боярыней Марьей Васильевной...

— Что? Что? Боярыней? Да разве она жива? — дрогнувшим от радости голосом произнес князь.

— И жива, и здорова, и тебя разыскать меня послала...

— Господи! Слава Тебе! А дети?

— И дети тож!

Больше Данило Андреевич уже не слушал Миколку-выкреста. Обезумев от радости, бегом бросился князь от него.

Видя, что конюх держит под уздцы вполне оседланного коня, дожидаясь выхода своего господина, одного из близких приятелей князя, Данило Андреевич вырвал из рук его поводья, вскочил на седло и, крикнув конюху:

— Скажи, что я взял! — что было мочи поскакал к своей вотчине.

Конь Данилы Андреевича летел как ветер, а князю езда казалась недостаточно быстрой, и он беспрерывно понукал скакуна.

Проскакав несколько верст, конь, покрытый «мылом», как хлопьями снега, начал задыхаться, дрожать, а Данило Андреевич все погонял его.

Наконец лошадь, словно споткнувшись, упала на передние колени, а потом перевалилась на бок. Данило Андреевич оставил коня издыхать и поплелся пешком, горюя, что нет запасной лошади. Однако скоро судьба помогла ему. Князь встретил какого-то проезжего купца, купил у него за тройную цену коня и снова полетел к своей вотчине. Наконец вдали блеснула узкой серебряною полосою речка, составлявшая границу его поместья. Не отыскивая брода, он переплыл на коне речку. Еще несколько скачков изнемогавшего коня, и вот князь перед воротами своей усадьбы.

Из дома его уже увидели. Тогда-то раздался тот крик, о котором Данило Андреевич мечтал в Москве, приближаясь к саду Темкиных.

— Тятя приехал! Тятя приехал! Тятя приехал! — кричали Вася и Настя, выбегая навстречу отцу.

Вслед за ними выбежала и Марья Васильевна.

— Милые! Дорогие! — мог только промолвить Данило Андреевич, попеременно обнимая и целуя то жену, то детей.

Марья Васильевна не могла говорить от волнения и лишь осыпала мужа бесчисленными поцелуями.

Когда первое волнение улеглось, с обеих сторон посыпались расспросы.

— Как Бог только спас вас, дорогие мои! — проговорил Данило Андреевич.— А я уж думал, что бобылем придется мне доживать век свой!

— Милый! Как я за тебя тревожилась, кабы ты знал! С каких пор послала Миколку тебя разыскивать... Ждала, ждала... Инда тоска всю душу вымотала! Наконец-то дождалась! — говорила мужу Марья Васильевна и снова покрывала поцелуями его лицо.

— Да поведай ты мне, как спаслась ты с деточками и сюда попала? То-то я тебя по Москве искал, а о тебе ни слуху ни духу,— продолжал расспрашивать жену Данило Андреевич, успев уже пройти в дом и опуститься на лавку отдохнуть после долгого пути.

Марья Васильевна подробно рассказала мужу, как она осталась одна с детьми в объятом пламенем доме, как и кто их спас и отправил в вотчину.

— Так князь Бахметов отступником сделался? Кто бы мог думать! — воскликнул Данило Андреевич, со вниманием выслушав рассказ Марьи Васильевны.

— Да,— произнесла она.— И скажу я тебе, много в этом и я виновата!

— Полно, милая! Знать, шатка была и допрежь сего его вера, коли он на такое решился! Ну, да Бог с ним! Не нам его судить! Он мне вернул жену и детей моих, и спасибо ему за это! Стало быть, в душе-то его еще не все заглохло... не осуждать нам его надо, а только жалеть да просить Господа, чтобы Он ему простил грех великий!

— Да, милый! Так я и думала и жалею его от всего сердца! — ответила Марья Васильевна.

— А больше ничего нет к нему в сердце твоем? — произнес князь, пристально ~~смотря на жену~~.

Марья Васильевна с упреком посмотрела на мужа.

— Нет, ничего, кроме жалости к нему, говорю, как перед Богом! — твердо ответила она.

— Верю, верю, голубка моя! Могу ль тебе не верить! — произнес Данило Андреевич, встав со скамьи.

Он обнял жену и крепко-крепко поцеловал ее прямо в алые губы, а сам между тем прислушивался к веселому говору детей, уже успевших заняться какой-то незамысловатой, но интересной для них игрой.

X

НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ

Весь отдавшись своему счастью снова быть с женою и с детьми, Данило Андреевич и думать не хотел ни о Москве, ни о шумном царском дворце — его не тянуло к городской жизни, ему не нужны были слава и почести: его прельщал тихий семейный круг. Однако ему вскоре пришлось поневоле расстаться со своей уединенной жизнью. Однажды, ранним утром, когда Данило Андреевич поспешно допивал последнюю кружку своего любимого сбитня из шалфея с имбирем, готовясь отправиться в поле на косьбу, в дверь той комнаты, где он сидел, просунулась голова Миколки-выкреста, ставшего, после спасения Марьи Васильевны, ближним слугою боярина Ногтева.

— Тут тебя, боярин, человек какой-то спрашивает. Приехал, сказывает, издалече с посланьем от кого-то,— проговорил Миколка.

— Откуда же это? — удивился князь.— Ну, да зови его! Увидим!

Голова Миколки скрылась, и через минуту вошел приезжий. Это был молодой, красивый парень, не похожий на обыкновенного холопа; скорее его можно было бы принять за купца или купеческого сидельца.

— Поклон тебе привез, княже,— низко кланяясь Ногтеву, сказал парень,— от купца Василия Степановича Собакина из Новгорода Великого и письмецо от него...

— А! От Василия Степаныча! Помню его, помню! Что, здоров ли старик? — промолвил Данило Андреевич.

— Благодарствуй! Здрав, слава Богу! Вот и письмецо его,— проговорил гонец, подавая князю письмо Собакина.

— Посмотрим, что в нем прописано,— сказал Данило Андреевич, разворачивая свиток.

Письмо было приблизительно такого содержания.

«Князю и боярину Даниле Андреевичу Василий, Степанов сын, Собакин, гость новугородский, челом бьет и низкий поклон тебе с сидельцем со своим Егоркой, прозвищем Ладным, посылает.

«Прошу я тебя, коли ты дружбы нашей не забыл и того не запамятовал, что знавал я тебя, боярина, еще юношей младым, будь благодетелем, окажи мне милость и просьбицу, кою из сего письма узнаешь, исполни не мешкотно.

«Ведомо, чаю, тебе, что царь наш благочестивый третьим браком пожениться хочет, и указ разослал по городам всяким, чтобы боярских да торговых людей дщерей везли к нему на Москву али в слободу Лександровскую на смотрины. У меня ж, как сам, чай, помнишь, окромя сына Каллиста, есть дочь Марфа. Девка на возрасте, лицом не дурна, и хочу я ее к царю везти. Да горе такое, что хоть дела торговые веду я немалые, но на Москве сроду не бывал и приеду туда — ровно в лес дремучий попаду. Знакомых же там, окромя тебя, у меня никого нет. Куда деться, по приезде, где найти кров и пристанище — не знаю. Тем паче, что Москва теперь спалена царем крымским и только из пепла, бают, подниматься начинает. Вот и надумал я в такой беде к тебе с просьбицей обратиться: найди ты, слезно молю, приют мне на Москве али в Слободе где-нибудь, а я уж век услуги твоей не забуду. Как надумаешь, то либо словами все гонцу моему расскажи — он парень толковый — либо письмецо с ним пришли. До возвращения же его, Егорки, с ответом от тебя я и трогаться из Новгорода не буду. На меня же старого не серчай, что хлопот да забот тебе наделал, потому, сердце мое отцовское болит о том, чтобы дочери моей в Москве спокойно было бы и обиды ей какой не учинили.

«Еще многажды челом тебе бьет приятель твой старинный Собакин Василий».

Окончив чтение, Данило Андреевич сидел над письменным столом в раздумье. Не особенно по сердцу пришлась ему эта неожиданная просьба, не хотелось ему снова покидать семью и ехать в Москву.

— Вот что, молодец,— обратился князь к гонцу,— ты ступай отдохни малость да подкрепись с дороги, а тем временем над ответом подумаю... Как надо будет — кликну.

Егор поклонился и вышел.

— Спит, чай, жена еще,— проговорил князь по уходу гонца, поднимаясь с лавки.— Марья! Спишь али нет? — окликнул он Марью Васильевну, подходя к двери.

— Ась? — послышался голос боярыни.

— Поднимаешься ты али еще почивать будешь?

— Да я уж встала. Вот только Богу помолюсь и к тебе выйду. Обожди маленько.

Ждать Даниле Андреевичу пришлось недолго — скоро Марья Васильевна вышла из опочивальни.

— А ведь мне, Марья, надо на днях в Москву ехать! — сказал Данило Андреевич жене, когда она вышла к нему.

— Это зачем? Али, со мной тут живши, по людям соскучился? — улыбаясь, сказала Марья Васильевна.

— Не я соскучился, а люди, должно, по мне соскучились! Сегодня чуть свет гонец приехал.

— Откуда? С Москвы? — тревожно спросила боярыня.

— Нет. Из Новгорода Великого.

— От кого же это?

— От знакомства моего старинного, от торгового человека Василия Степановича Собакина. Загадал он мне загадку! Едет, вишь, он с семьей в наши края, дочь свою на смотрины к царю везет, так просит меня найти в Москве ему пристанище. Вот об этом деле и хотел я с тобой потолковать.

— Да что ж тут особенно раздумывать,— ответила Марья Васильевна.— Ужели в Москве избы не сыскать?

— Да ведь теперь от Москвы-то белокаменной только огарыши одни чернеют заместо домов. Где ж тут найдешь? Уцелел бы хоть ваш темкинский дом, тогда бы туда можно б, а теперь и у нас самих в Москве приюта нет. Вот тут и делай, что хочешь! — с некоторой досадой проговорил Данило Андреевич.

Марья Васильевна допила чашку уже остывшего за время разговора сбитня и задумалась.

— А знаешь, муженек мой родной, что я надумала? — сказала она, помолчав.— Почто нам понапрасну голову-то ломать? Пусть купец твой в нашу вотчину приедет — уж не больно как от Москвы далече, все отселе ближе до нее, чем от Новгорода, а уж опосля мы его в нашей подмосковной Темкинской вотчине устроим. Так, по мне, ладно будет.

— И впрямь! Чего лучше? И мне пока что можно здесь остаться, а не рыскать по Москве зря. Миколка! — крикнул князь затем.

— Что твоей милости? — проговорил тот, выставляя свою голову из-за дверей.

— Кликни-ка ко мне гонца, что с Новгорода приехал. Скажи, боярин, мол, ответ на письмо хочет дать.

Голова Миколки так же быстро скрылась, как и показалась.

Через минуту гонец уже стоял перед боярином.

— Вот что, Егор: письма Василию Степанычу отписывать я не буду, а ты так сам передай, что скажу. Чай, не запамятуешь в дороге-то? — сказал Данило Андреевич гонцу.

— Чаю, боярин, что, как-никак, а мозгов упомнить сказ

твой у меня хватит! — тряхнув кудрями, улыбаясь, ответил Егор.

— Ну и ладно! Так, вишь ты, слухай! Просит меня Василий Степаныч пристанище ему в Москве сыскать. А ты ему скажи, что в Москве теперь домов раз, два и обчелся, пока же снова устроится она — и лето, да и зима минут. Потому пускай он едет прямо сюда, в эту мою вотчину, путь ему ты укажешь, а опосля, как отдохнет с дороги вволю, тогда переведу его я поближе к Москве в вотчину тестя, отколе до Слободы, где царь теперь, рукой подать. Понял, чай, и запомнишь?

— Как не понять! Дело не мудрое... Все от слова до слова перескажу...

— Ну, вот и весь мой сказ. Теперь ступай, хоть гуляй, хоть отдыхай, что хочешь делай — я свое дело справил и кончено! И думушки нет!

— А я, боярин, коли отпустишь, сегодня же вечером, али нет — лучше завтра поутру и в путь тронусь,— сказал посланец.

— Ну, как хочешь! Коли так — не держу,— промолвил Данило Андреевич, слегка дивясь такой торопливости гонца — истинную причину ее ему пришлось узнать позже.— Поклон Василию Степановичу не забудь передать!

— Будь спокоен! Все передам, как сказываешь! Прощенья просим, боярин, и ты, боярыня! Здравы будьте!

— Прощай! Иди с Богом! — отпустил гонца Данило Андреевич.

С этих пор в вотчине стали готовиться к приезду гостей. Однако, пока они прибыли, прошло немало времени — путь из Новгорода был не близок и не легок благодаря плохим дорогам.

— Ай, да ладно, Василий Степанович! Ай да ладно! К самому обеду в раз поспел! Вот что мне любо! — говорил Данило Андреевич, встречая приезжих.— Марья! Марья! Где ты? Подь сюда скореича дорогих гостей встречать! Батюшки! Да неужто это Марфинька! Ишь, ты, время-то! Какая раскрасавица душа-девица стала, а ведь помню вот этакой,— указал Данило Андреевич рукой аршина на полтора от полу,— девочкой бегала, когда я в последний раз в Новегороде был!

— Да, боярин Данило Андреевич, много сменилось с тех пор! Помню я тебя еще пареньком молодым, чуть ус пробивался, а теперь уж мужчина вполне,— ответил ему купец Василий Степанович Собакин, высокий, плечистый старик,

которому длинная седая борода и такие же волосы, сбившиеся надо лбом, придавали вид патриарха.

— Да и ты, брат, постарел изрядно! Да и мудрено ли, коли дочь уж такую вырастил да сына... Чай, сынок-от женат уж? — говорил Данило Андреевич, здороваясь с сыном Василия Степановича, Каллистом.

— Как же, как же! Вот и жена его! Прошу любить да жаловать!

Вошла Марья Васильевна.

— Вот и моя хозяйка. В свой черед, прошу любить да жаловать! Однако, устали, чай, с дороги-то, проголодались? Прошу к столу. Только не взыщите на скудной трапезе...

Так встретил Данило Андреевич прибывших. Он обошелся с ними, как со своими. Отделил для них несколько комнат и предоставил эти покои в полное их распоряжение. Словом, он не стеснял их ни в чем. Впрочем, гостям пришлось прожить в вотчине князя Ногтева недолго. Они торопились поспеть к царскому выбору, а потому Данило Андреевич отвез их сперва в подмосковное поместье Темкиных, а потом переселил их в Слободу, где отыскал для них подходящее пристанище. В этой же Слободе произошел выбор царем себе жены. Судьба решила так, чтобы Марфиньке, дочери Собакина, к ее счастью или несчастью, стать русской царицей.

С переменою судьбы дочери изменилась и судьба ее родственников. Василий Степанович немедленно был возведен царем в звание боярина, а сын его в кравчего.

Посмотрим же, как Василий Степанович, сделавшись важным человеком, отблагодарил Данилу Андреевича за его хлопоты, ласку и радушие.

XI

ВЕСТНИЦА ГОРЯ

Скучно было Марье Васильевне в вотчине, когда она осталась одна после отъезда ее мужа с Собакиным в Слободу. Только и отводила душу, когда какая-нибудь из соседских помещиц погостить заедет. Проведут вдвоем дня два, поболтают, посмеются, а потом и прощай! Опять на годик-другой! И опять Марья Васильевна одна сидит.

Больше же всего ее тоска по мужу крушила. Сама на себя дивилась боярыня, почему в этот раз она больше, чем прежде, по мужу тоскует. Бывало, в «поле» поедет он... Знает Марья Васильевна, что, того и гляди, там либо из пищали в него пальнут, либо саблей зарубят, тоскует она, убивается, а все не так, как ныне. И тоска какая-то иная, словно от предчувствия какого-то недоброго.

Однажды поутру вбежал к ней в горницу сын.

— Матушка! — кричит,— богомолка к нам пришла! К угодникам в Киев пробирается! Старушка старенькая-старенькая такая!

Марья Васильевна обрадовалась.

— Зови ее скорее в дом! — крикнула она сыну и сама спустилась в светелку.

Скоро в комнату вошла маленькая, худощавая, сгорбленная старуха, в лаптях, с котомкой за плечами и дорожным костылем в руке, на который она опиралась при каждом шаге. Лицо ее было покрыто, как маскою, сетью морщин, беззубый рот ввалился, а подбородок далеко выдвинулся вперед. Только глаза, уже давно потерявшие блеск молодости, еще были полны жизни и смотрели приветливым и, вместе проницательным взором.

Войдя в светелку, старуха, опустясь на колени, прошамкала короткую молитву, истово осеняя себя крестным знамением, потом кряхтя поднялась и, низко поклонившись боярыне, остановилась подле двери.

— Садись сюда, матушка! Устала, чай, с дороги, отдохни... . Сейчас и перекусить тебе подадут,— сказала Марья Васильевна.

— Благодарствуй, боярыня! Точно, притомилась я маленько,— ответила старуха, опустившись на лавку и прислонив костыль свой к столу.

— Издалеча идешь?

— От самого от Новагорода. В Киев хочу пробраться, коли Бог приведет... Да уж не знаю, удастся ли: времена ноне такие лихие настали, что Боже упаси!

— Да уж, баушка! Тяжеленько ноне... Перекуси-ка... Вот рыбка, тут грибочки... кваску не хочешь ли?

— Спасибо, спасибо! Кружечку коли дашь, не откажусь, с грибками-от...

Квас был подан, и старуха, очевидно сильно проголодавшаяся, принялась за еду. Марья Васильевна, не желая ей мешать, на время прервала свою беседу.

— Вот я и сыта! Благодарствуй, боярынька! — вскоре произнесла старуха.

— Что ж так ела мало? Только чуть к грибкам притронулась?.. Поешь еще! — потчевала ее Марья Васильевна.

— Довольно, родная! И то наелась до отвалу! Чуть не до самого Киева сыта буду! — шутила богомолка.

— Будешь в Киеве, за нас, грешных, помолись.

— Вестимо!.. Об этом не позабуду!

— Ты впервой на богомолье собралась?

— Какое впервой! С сорока лет хожу, с тех самых пор, как ляхи мужа убили... В Киеве раз с десяток была... Теперь в остатний иду: коли Бог поможет, в Ерусалим, ко Гробу Господню пойду...

— Сколько тебе теперь годов, баушка?

— Да вот в Покров без трех годков сотня будет!

— Неужто! Сотня лет! Долгою жизнью Господь тебя наградил!

— Взыскал меня не по грехам моим... Одначе, мне и в путь-дорогу пора,— поднялась богомолка.

— Чего ж ты? Посиди, а то и останься денек-другой... Отдохни.

— Нет, матушка, благодарствуй! Мое дело старое — мешкать нельзя... Того и гляди, помру, до Киева не дойдя... Нет, это не можно! Спасибо тебе, боярынька, за ласку да за угощенье!..

— Не на чем, баушка! И то, почитай, ничего не ела...

— Сытехонька! Тебя как звать?

— Марья.

— А муженька? Его, чай, дома нетути?

— Его Данилой... В Слободе он Александровской теперь...

— Молиться буду за рабов Божьих Данилу и Марию... А чем мне за угощенье тебе воздать? Ты меня не обессудь, старую: хочешь я тебе скажу, что ждет тебя? Не подумай, что ворожбой бесовской я занимаюсь. Упаси Бог! Нет! Сподобил меня Господь на старости лет по лицам примечать, что впереди будет — злое али доброе.

— Скажи, баушка! Коли это от Бога, так греха нет,— сказала Марья Васильевна, охваченная суеверным чувством.

— Все Бог дает нам, грешным! Он и карает, и милует... Сдается мне, боярыня, что ждет тебя беда через мужа: нагрянет она на него оттуда, откуда и ждать нельзя будет. Ворог есть у него, и тот ворог погубить его захочет. Но Бог все

устроит: чист боярин окажется, и беда в радость великую обратится... Надейся на Бога, боярыня! Прощай! Здоровенька будь!

И старуха медленно вышла из комнаты. А Марья Васильевна, взволнованная, шептала:

— Недаром чует сердце мое беду!

XII

ЛЮДСКАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Данило Андреевич, устроив Василья Степановича в Слободе, остался и сам тут же: его интересовало, какая судьба ожидает Марфиньку, не падет ли на нее царский выбор.

К нему часто заходил Егор Ладный, сиделец и гонец Василия Степановича, снова приехавший вместе с последним в Москву узнать от него, что с Марфинькой, скоро ли наступит день выбора. Приходил он к князю Ногтеву за справками по той причине, что ни у кого другого лучше узнать нельзя было. Впрочем, Собакины могли бы ему тоже передавать не менее подробно, но с некоторых пор Василий Степанович и Каллист стали очень враждебно относиться к своему сидельцу. Данилу Андреевича такое отношение удивляло. Он несколько раз пытался спрашивать об этом Собакина, но тот только рукой отмахивался от расспросов. Ногтев радушно принимал у себя Егора Ладного, несмотря на разницу положений. Ему нравился этот парень за его кроткий характер.

В тот день, когда уже всем сделалось известным, что Марфа Собакина избрана царем в жены, Егор пришел к Ногтеву.

— Что, слышал, паренек, Марфушка-то чести какой дождалась? — спросил Данило Андреевич Егора.

— Слышал... Как не слышать! — тихо промолвил Ладный.

— Садись, молодец, чего стоишь. Что ты сегодня грустен словно? — сказал Ногтев, глядя на задумчивое и бледное лицо Егора.

— Тоска, боярин! — глухо проговорил Ладный, опускаясь на скамью.

— Тебе ль, вьюноше младому, да тосковать? С чего же это тоска на тебя напала?

— Так... Тяжко, боярин! Не спрашивай... Душа вся изныла! Жизни своей я не рад!

— Господи! Вот дивно! И с чего бы! — воскликнул князь.

В это время вошел слуга.

— Боярин Василий Степаныч, а с ним царский кравчий, Каллист Васильевич, повидать тебя желают, Данило Андреевич. Прикажешь просить?

— Проси, проси! — быстро произнес Данило Андреевич, которого разбирало любопытство посмотреть на вновь испеченного боярина, будущего царского тестя.

Через несколько минут послышались мерные медленные шаги, и в комнату не вошел, а вплыл Василий Степанович Собакин, царский боярин, и следом за ним, не менее торжественно его сын, Каллист, недавно получивший звание кравчего.

Когда Василий Степанович и Каллист вступили в комнату, бледное лицо Егора Ладного стало еще бледнее. Он поднялся с лавки и, не кланяясь, насмешливо посмотрел на вошедших.

— Царскому боярину и будущему тестю государеву челом бьем! — произнес Данило Андреевич, идя навстречу к Собакину.

— Спасибо, голубчик, спасибо! Не забудем тебя, будь спокоен! Шепнем царю при случае — все для тебя сделает по просьбе нашей! — важно проговорил Василий Степанович, протягивая руку Даниле Андреевичу с таким видом, словно делает ему великую честь этим.

Трудно было узнать в этом чванном боярине того купца-патриарха, которого так радушно принял в своей вотчине Ногтев... Всем своим видом новоиспеченный боярин хотел показать, что он важная птица. Голова его была закинута назад и, казалось, потеряла способность наклоняться — можно было подумать, что боярская шея куда менее гибка, чем купеческая.

Тон Собакина, его надменный вид и чуть слышное рукопожатие покоробили Данилу Андреевича, однако он был слишком гостеприимен для того, чтобы показать чем-нибудь свое неудовольствие гостю, и как ни в чем не бывало поздоровался с Каллистом.

Потом он попросил гостей сесть.

Боярин и кравчий грузно опустились на лавки и развалились на них так, словно сидели у себя дома за вечерним сбитнем.

— Как здоровье Марфы Васильевны? — спросил князь, начиная беседу.

— Марфы Васильевны? — вопросительно вскинул на Данилу Андреевича глаза Василий Степанович.— Какая она теперь тебе Марфа Васильевна! — грубо заметил он потом.— Чай, слышал, что не сегодня-завтра она царицей будет русскою, а стало быть и твоею... Мог бы иначе как-нибудь, а то на! Марфа Васильевна! Словно знакомую какую простую.

Данило Андреевич вспыхнул, но опять сдержался, хотя это стоило ему порядочного усилия, и снес обиду, не желая ссоры.

— Как твое здоровье, боярин? — снова спросил Данило Андреевич.

— Слава Богу! Помаленьку здравствуем. Дочь за царя замуж хотим выдать — при таком счастье, коли б и болезнь какая приключилась, так пересилил бы! — ответил благосклонно будущий царский тесть.

— Ну, а ты как; Каллист Васильевич? — обратился князь к до сих пор молчавшему брату Марфы Васильевны.

— Здоров, слава Богу,— коротко ответил тот и опять погрузился в прежнее торжественное молчание.

«Что с этими мужиками говорить будешь? Нешто они теперь люди? Идолищи какие-то! Ишь, спесь-то напустили! Слышал я ляхскую пословицу: из хама не будет пана, и точно! Такими же хамами остались, как были и раньше, только спеси прибавилось, теперь их на престол посади да фимиам воскуряй перед ними — и то им нипочем будет!» — с досадою думал Данило Андреевич.

Некоторое время длилось молчание. Данило Андреевич придумывал, о чем бы спросить гостей. Наконец надумал.

— Давно ль царя видел? Как его государево здравие драгоценное? спросил он.

— Кажинный день царя вижу! Кажинный день! Для нас теперь это не диковинка! — хвастливо ответил Василий Степанович.— Ничего, здоров, слава Богу. Сегодня еще со мной весело так говорить изволил. А что, Данило Андреевич, признайся, так по душе, по совести: думал ли ты и в мыслях держать, каких ты особ в своем дому принимал, когда мы к тебе в вотчину из Новгорода приехали? А? Небось и не думалось, кто такие будут эти гости? — усмехаясь, добавил спесивый старик.

— Нет... конечно, не думалось,— ответил князь.

— Еще б думаться! А ведь шутка ль — царский тесть и царица будущая в твоем дому сидели, с тобой за одним столом кушали. Н-да! Тебе, чай, и во сне такой чести не снилось! А я, признаться, уж и тогда на кое-что надеялся, а только, конечно, не болтал зря и держал себя просто, как мое тогдашнее купецкое звание требовало. Я не чванился, и даже, когда ты меня в ту пору изобидел, я даже и виду не показал — снес обиду.

— Помилосердствуй, боярин! Да когда ж я тебя чем-нибудь изобижал? Кажись, как родных, тебя с семьей в своем дому принял,— промолвил изумленный князь.

— В том-то вот и дело, что уж больно как родных! Больно уж просто. Не токмо в первый приезд обеда не приготовил хорошего, каким гостей угощают, а...

— Да помилуй! — прервал князь, начинавший не на шутку раздражаться.— Ведь вы же к самому обеду подъехали, где ж мне было другого обеда взять, окромя того, что был? Я и попросил не осудить меня и откушать, что Бог послал! Да и обед же был вовсе уж не так прост, чтобы...

— Ты наперед дослушай, а не прерывай старых людей — молоденек еще! — в свою очередь перебил Данилу Андреевича Собакин.— Скажу тебе, что, коли б ты хотел гостей уважить, так беспременно сумел бы все устроить, и обед бы живой рукой другой состряпали. Ну, да ладно! Об этом мимо, и не обед меня тогда изобидел больше всего, а невежество твое. Помнишь, чай, сидели мы после обеда за сластями и разговор вели по душе, а ты вдруг среди беседы поднялся с лавки: «Не погневайся, сказал, Василий Степанович, я соснуть пойду!» Это мне-то, гостю, издалека приехавшему, молвил, да притом старцу седовласому! Вот это меня точно изобидело сильно! У нас так не водится! Н-да! Одначе я, конечно, и глазом не моргнул, виду не показал, что крепко ты меня изобидел. Само собой, ты это в том разуме сделал, что, дескать, купец! Все снести может! Ан, вишь ты! Купец-то в какого боярина оборотился! Почище тебя, пожалуй, будет! И мог бы я тебе зело напакостить, а только я не злопамятен и супротив тебя злобы не питаю... Так-то, батюшка!

Данило Андреевич побагровел от гнева, слыша такую благодарность за свою хлеб-соль. С языка его готово было сорваться гневное слово, но его предупредило неожиданное вмешательство Егора Ладного.

Когда Василий Степанович и Каллиста вошли в комнату,

они не заметили или не хотели заметить стоявшего у лавки Егора — они и глазом одним на него не взглянули. Ладный не счел нужным напоминать о своем присутствии и молча вслушивался в разговор. По мере того, как беседа гостей с Ногтевым принимала все более острый характер, Егор начал волноваться. Им овладел гнев при виде того, как отплачивает Собакин князю за его радушное гостеприимство. Он сдерживал себя, но наконец не выдержал и заговорил. Егор говорил быстро, горячо. Многое пришлось узнать Даниле Андреевичу из этой речи. Понятна теперь ему стала и тоска Ладного: Марфа Васильевна, как оказалось, была просватана уже за Егора Ладного, когда честолюбивый старик, услышав о царском указе, пожелал отправить дочь свою к царю на смотрины. Он так и сделал, не тронувшись ни мольбами дочери, ни просьбами Егора, который в свое время оказал немало услуг Василию Степановичу.

Долго говорил Ладный, а Василий Степанович и Каллист сидели, словно онемев. А Егор закончил свою речь:

— Загубил ты дочь свою, загубил и меня... Да я что! Я бобыль! Птица вольная! Сегодня — здесь, завтра — там... Забудусь в чем-нибудь — либо в потехах ратных, либо в молитвах монашеских, а она, болезная, сгорит с тоски, стает, как свеча воску яркого! Не выдержат ее силы женские слабые тяготы великой, и задавит ее кика царская, каменьями самоцветными унизанная!.. Жаль ее, голубку мою, а я что! — тихо докончил Егор Ладный свою речь, и голос его дрогнул, а на реснице повисла слеза.

Тут только опомнился Собакин.

— Вон! — прохрипел он.— Княже! Прикажи вывести холопа буйного! — обратился он к Ногтеву.

Тот не двинулся с места.

— Слышишь, Данило Андреевич? Прикажи вывести его да вспороть на конюшне!

— За что выводить его? Нешто он буянит? Да к тому ж я сам в чужом доме живу и слуги здесь не мои... Да коли б и мои слуги были, прямо скажу, не позвал бы их гнать его: не за что парня гнать — он правду молвил, а коли обижаешься на него, стало быть, это тебе правда глаза колет.

— Вот как! Стало быть, и ты его сторону держишь! Ай да боярин! — злобно проговорил Собакин.

— Да уж не тебе меня боярству учить — ты сам к нему еще и не приобык! — отрезал князь.

— Стой, Данило Андреевич! Не ссорься с ним из-за

меня. Он, пожалуй, еще тебе наделает бед — хлеб-то-соль твою, верно, он не больно помнит. Я уйду... И то уж давно сбираюсь; да все хотелось вот на ем сердце сорвать. Теперь меня ничто не держит... Прощай, княже! Не поминай лихом.

— Да куда же ты? — с недоумением спросил Данило Андреевич.

— Куда глаза глядят! Сам еще не знаю... Русь-матушка велика, чай, найду в ней и я себе уголок. А тут мне оставаться не приходится!

— Коли так, иди с Богом! Пошли тебе Господь счастья!

— Быть ли счастью, боярин, быть ли счастью! Об этом и думать не смею. Прощай же, боярин! Здрав будь на многие лета вместе с супругой своей и детушками! Пошли им Бог счастья! А тебе, Василий Степаныч, скажу: больно ты крепко радуешься — смотри, не больно заносись, чтоб слез горьких опосля не проливать!

— Проваливай, проваливай, пока цел! — пробурчал старик.

— Я-то уйду, не только отсюда, а и из мест родимых, а вот ты-то на радость ли себе останешься!

Не прибавив больше ни слова, Егор Ладный повернулся и вышел из комнаты.

Сейчас же после его ухода поднялись с лавок и старик с сыном.

— Спасибо, княже, за прием ласковый! Утешил, утешил старого знакомца,— злобно проговорил Василий Степанович.

— Не на чем, боярин! Что заслужил, то и получил! — равнодушно промолвил Данило Андреевич.

— С холопом заодно на меня напустился! А я думал ему честь оказать, пришел к нему, как добрый, а он на! — продолжал старик.

— Вот то-то и скверно, что ты честь пришел мне оказать! Пришел бы попросту, без чванства да спеси, иная б у нас и беседа была б! — ответил князь.

— Ну, ладно! Лайся, лайся еще поболе! За все тебя отблагодарю, будь покоен! — сказал Василий Степанович, злобно сверкая глазами на Данилу Андреевича.

— Чего от тебя и ждать! Вижу, каков ты человек! — спокойно произнес князь.

— Свидимся ужо! Только рад ли тому будешь! — злобно проговорил старик, готовясь уйти.

С этого времени Данило Андреевич ждал беды. Чтобы не

встречаться с Собакиным и не натолкнуться на новую ссору, князь на другой же день уехал в вотчину.

Об Егоре Ладном с этих пор ничего не было слышно. Его не встречали ни в Москве, ни на родине *.

Слова же Ладного оказались вдвойне пророческими. Не прошло и месяца, как по всей Руси святой разнесся слух, что невеста государева занемогла, что ее испортили. Царь был вне себя от гнева и старался найти виновников болезни своей невесты. В это время едва не скатилась с плахи и голова Данилы Андреевича: так ему отплатил за былое добро его старый приятель Собакин.

XIII

КЛЕВЕТА

Удалился Данило Андреевич от двора шумного, от хитрых и честолюбивых царедворцев, зажил опять в своей вотчине, как до приезда Собакина, тихою, мирною жизнью со своей женой и детьми.

Все, казалось, по-прежнему было: так же, как и прежде, вставал боярин поутру, чуть зорька на небе заиграет, выпивал сбитня, целовал жену и спешил на поле, подернутое беловатой пеленой росы, подбодрять своих работников не понуканьем грозным, а словом ласковым да примером своим: он сам зачастую работал с ними.

Все в вотчине шло по-старому, да не старое было на душе у князя!

Что-то больно часто он украдкой грустно-грустно на жену поглядывал и деток чаще прежнего к груди своей прижимал, целовал их жарче, и словно дымкой какой-то заволакивались очи Данилы Андреевича.

Видела все это Марья Васильевна, тревога закрадывалась в ее сердце, но она до поры до времени не спрашивала мужа, о чем он кручинится, а старалась скрыть зарождавшуюся тревогу.

---

* Дальнейшую судьбу Егора читатель узнает из романа «Воля судьбы», того же автора, героями которого служат Марфа Васильевна и Ладный.

А в голове Данилы Андреевича бродили невеселые думы. Чуял он, что натворит ему зла Собакин за его же, князеву, хлеб-соль: не таков старик, чтобы забыть обиду!

А и обида-то, обида: правда — в глаза сказанная!

И сжимала тоска сердце Данилы Андреевича! Чуяло оно-вещун беду неминучую!

Не за себя кручинился князь. Не знал он за собой никакой вины ни перед царем, ни перед родиной, а коли б пришлось умереть безвинно — что ж делать! Знать, так ему на роду написано: венец мученический принять!

Печалился он за свою жену молодую, за своих детушек, что сиротками останутся. «Что жена молодая, мужем покинутая? Словно былинка в поле одинокая, забытая: ее и солнце жжет, и ветер сердитый до земли сгибает — ни ей покрова, ни ей опоры. Плачется былинка, а помощи взять неоткуда! Так и жена. Кто защитит вдову молодую от людских нападок, от невзгод житейских. Никто! Одна ей дорога — в монастырь. А дети тогда как же? Али бросить их: растите, мол, как цветы полевые, без призору да без ласки материнской! А самой идти чин ангельский принимать, спасать свою душеньку от огня адского? Нет, нельзя так!

«Ох, дети, дети! Что с вами будет, с сиротками! И подумать — так дрожь по телу мурашками бежит, а каково вам-то будет! Страшно за вас! За души ваши чистые! Душа детская что воск: что хочешь, то и вылепи! Хочешь ангела божьего, безгрешного, хочешь беса хвостатого да рогатого! Да! В какие руки попадет. Так и дети — нежь их, голубь да на путь истины словами ласковыми наставляй — вырастут люди такие, что если б всем быть, как они, так тогда и зла на белом свете не было бы. А начнут с детства раннего колотушками пичкать, бранью да розгами поучать — не жди добра! Вырастет дитя — все обиды да пинки вспомянет и сторицею за них заплатит!

Такого рода думы тревожили Данилу Андреевича, и он худел, бледнел не по дням, а по часам.

Долго крепилась Марья Васильевна — уже промелькнул конец лета, начался листопад, пришла осень глухая с ее темными ночами да дождями, а она все еще не спрашивала мужа, но наконец не выдержала и спросила его, о чем он тоскует.

Произошло это в один из хмурых осенних вечеров.

Даниле Андреевичу было тогда особенно тяжко, словно предчувствие близкого и ужасного несчастья сжимало его сердце.

Марья Васильевна долго смотрела, как князь, сумрачный и молчаливый, медленно прохаживался по комнате.

«Бедный! О чем это он так убивается столько времени? И чего не скажет мне про свою кручинушку? Все полегчало бы! Спросить разве?» — думала Марья Васильевна.

Поколебавшись немного, она тихо спросила:

— Родной! Что с тобою? Поведай мне!

Данило Андреевич был застигнут этим вопросом врасплох.

— Со мной? Ничего! — ответил он, избегая взгляда жены.

— Ой, милый! Почто скрываешь от меня, от жены своей? — произнесла она с упреком.— Ведь вижу, что нелад-ное что-то с тобой творится. Родной мой! — продолжала молодая женщина, подходя к мужу и обнимая его.— Не таись! Открой свою душу! Ужели боишься, что тоски твоей я не пойму али не поделю с тобою?

— Нешто я могу таить али скрывать что-нибудь от тебя? Тебя кручинить без нужды жаль — вот почему тебе о своей тоске да горе горьком не сказываю! — ответил Данило Андреевич, тронутый словами жены.

— Хуже терзаюсь, родной, скорбь твою видючи! Скажи мне все, поведай без утайки, может, и у тебя, и у меня на сердце полегчает!

— Не хотел я смущать тебя до поры до времени, но будь по-твоему — все открою, ничего не потаю,— сказал князь и подробно рассказал жене о своем и Егоркином столкновении с Василием Степановичем Собакиным.

Безмолвно слушала молодая боярыня рассказ мужа и только бледнела от душевной тревоги.

— Не тоскуй, дорогой! Бог милостив! Может, и пронесет Он мимо бурю злую — не ради нас с тобой, грешных, так ради детушек! — проговорила Марья Васильевна, припав лицом к плечу Данилы Андреевича, когда он окончил рассказ. Утешала она мужа, а у самой на сердце словно камень тяжелый лежал, и сама она плохо верила в свои утешенья.

— Будем на Бога уповать! — коротко ответил жене князь, но предчувствие чего-то грозного, какой-то близкой и неотвратимой опасности не покидало его.

И предчувствие это было пророческим: на другой же день поутру приехал гонец к князю от Иоанна с требованием явиться к царю в Слободу. Гонец был опричник.

Когда Данило Андреевич спросил гонца, не известно ли

ему, по какой причине царь вызывает его к себе, опричник, стоявший перед князем, не снимая шапки, надменно ответил:

— Баяли, в измене ты уличен, так царь-батюшка требует тебя к себе.

Опричник усмехнулся.

— И что вы, бояре, за народ! — добавил он,— изменник на изменнике! Был бы я на месте царя — всех бы вас извел в один месяц... А он, наш милостивец, терпелив!

«Пришла погибель!» — думал Данило Андреевич, однако еще пытался успокоить жену, навзрыд рыдавшую, и плачущих детей, понявших, что их тятю постигло какое-то несчастье.

Данило Андреевич сам едва сдерживал слезы. Он чувствовал, что еще немного продолжись расставанье — и ему не совладать с собой. Поэтому он поспешил с отъездом.

Сопровождаемый толпой воющей дворни князь вскочил на коня и сразу тронулся полным карьером.

Конь несся как ветер, унося князя, может быть, навсегда от родимого крова, от жены его и детей. Что ждало князя у царя — об этом Данило Андреевич страшился и думать.

Когда князь приехал в Слободу и готовился предстать перед грозные очи царя, во дворце был торжественный прием какого-то посольства.

Замешавшись в толпу придворных, Данило Андреевич думал расспросить, не произошло ли чего-нибудь в Москве такого, что могло подать повод царю отыскивать изменников, и по этому отчасти предугадать, в чем его могли оклеветать перед царем, и приготовиться к защите. Однако привести задуманное намерение в исполнение оказалось не так легко: придворные сторонились от князя, как от зачумленного. Лучшие друзья едва кивали ему головой и спешили поскорее удалиться.

С грустью Данило Андреевич заметил эту перемену.

Он отошел от бояр и стал в стороне.

Однако не все бояре оказались одинаковыми — нашелся один из их числа, который подошел к князю, не боясь сам попасть под опалу вместе с ним.

От него Данило Андреевич узнал, что царская невеста тяжко занемогла и что теперь идут розыски тех, кто ее испортил, и что несколько вельмож, заподозренных в этом, уже сложили свои головы на плахе.

Екнуло сердце князево от этой вести.

«Так вот в чем, верно, винят меня враги! Тяжкую вину взвели на меня клеветники! Ой, тяжкую! Пожалуй, не миновать мне казни!» — подумал с тоскою Данило Андреевич и почти без надежды ждал себе неминуемой гибели.

Едва окончился прием послов, как царь, обведя внимательным взглядом толпу царедворцев, громко проговорил:

— А где здесь серпуховский наш изменник, князь да боярин нашей царской милости Данило Ногтев? Сказывали, приехал он.

С замиранием сердца Данило Андреевич приблизился к царю.

— А, вот ты! Здравствуй, здравствуй! Что, рад, небось, свидеться с царем своим? — говорил Иоанн, с усмешкой обращаясь к низко кланяющемуся боярину.

— Почто же не рад? Вестимо, мне и честь и радость свидеться с царем православным,— ответил Данило Андреевич, стараясь сохранить спокойный вид.

— Ага!.. Рад... Много мы этим довольны, что боярин наш рад с нами свидеться! — продолжал насмехаться над князем Иоанн.

Кое-кто из толпы приспешников и любимцев фыркнул от смеха в угоду царю, другие, кому это не удалось сделать или не сумели, старались вызвать на лице своем улыбку.

Данило Андреевич слышал этот смех, видел улыбки на лицах царедворцев, из которых многие были ему обязаны и, в былое время, клялись никогда не забыть услуг его, и горько становилось на сердце боярина от такой черной неблагодарности, но он стоял по-прежнему спокойным, глядя прямо в сверкающие искорками гнева глаза Иоанна.

— Меня рад видеть... Ну, а невесту мою нареченную тоже, небось, рад был бы повидать? Она, болезная, занемогла маленько,— продолжал Иоанн, пытливо смотря на Данилу Андреевича.

— Конечно, рад! Ведь, я ее вот какой знал,— ответил князь, указав аршина на полтора от пола.

— Как так? — спросил царь.

— Да я знаком много лет с Собакиным, Василием Степанычем, был... Марфа Васильевна, почитай, на моих глазах росла! Когда же ты, царь-батюшка, указал девиц к тебе для выбора везти, они — брат ейный, да отец и сама она — ко мне в вотчину приехали, и уж опосля я им нашел, где в Слободе поместиться. Посуди сам, царь-государь, могу ль я не желать видеть ее, невесту твою нареченную?

Видимо, Иоанн не ожидал услышать от князя ничего подобного, потому что лицо его выразило удивление, смешанное с недоверием.

— Ой, не врешь ли, боярин! — воскликнул он.

— Могу ль тебе говорить неправду!

Иоанн на минуту задумался.

— Что-то тут напутано,— произнес наконец он.— Ну, да мы сейчас разберем! Подь-ка сюда, Василий! Повтори, в чем ты винишь его,— обратился царь к Василию Степановичу Собакину, стоявшему в стороне от других бояр.

Собакин приблизился. Он был бледен, и, когда заговорил, то голос его слегка дрожал.

— Виню я князя Данилу Ногтева в том, что он, с моим наймитой «Егоркой» спевшись, задумал, злобствуя на меня, извести твою невесту нареченную, а мою дочь Марфу Васильевну,— проговорил глухим голосом Собакин, вперив глаза в пол.

— За что же я злобствую на тебя? — тихо спросил князь.

— С зависти, перво-наперво, а потому будто б из дружбы к наймиту моему. Ишь, пристало боярину дружить с холопом! — язвительно заметил Собакин.

— Что же ты на это скажешь? Чем обелишь себя? — спросил Иоанн, лицо которого не выражало гнева: царь был сегодня в духе.

— Все поведаю тебе по истине, ничего не потаю, царь православный! — горячо заговорил Данило Андреевич.— Как сказывал, знал я Марфу Васильевну с младенческих лет... Могу ль против нее я злобу питать и изводить пытаться? Да и как? Сам я в вотчине моей Серпуховской жил с самой той поры, как Марфа Васильевна невестой твоей наречена была, и Егорку, про коего Собакин бает, с того же времени в глаза не видел и, где он находится, не ведаю. И не я по злобе хочу извести дочь Василия Степаныча, а он меня погубить хочет, забыв мою хлеб-соль прежнюю... За что он гневается на меня — пусть сам скажет, чтоб ты не подумал, государь, что клевещу я на него!

— Сказывай! — обратился царь к Василию Степановичу, и в его голосе послышалась гневная нотка.— Водил ли ты хлеб-соль с боярином али нет, и почему винишь его?

Василий Степанович стоял безмолвный, не глядя на царя.

— Сказывай! — уже совсем гневно произнес Иоанн.

— Водил хлеб-соль в былое время, а потом у нас счеты

с ним кой-какие были... Да я не виню его прямо — может, он и неповинен... Так, подозрение одно имею,— бормотал струсивший, по-видимому, Собакин.

— А! Теперь только уж подозрение одно! Раньше, помнится мне, ты иные песни пел! — воскликнул Иоанн.

— Расскажи, Данило Андреевич, что у тебя с Собакиным было,— обратился царь к Ногтеву уже ласково.

Вздох облегчения вырвался из груди князя, он понял, что он спасен. Рассказал подробно Данило Андреевич царю о том, каким напыщенным сделался бывший купец Собакин, превратясь в царского тестя, как он отблагодарил Данилу Андреевича за прежнюю дружбу. Передал также и разговор Егора Ладного с Василием Степановичем.

— Из-за того, царь-батюшка, что я признал Егорку правее, чем он, тесть твой будущий, Собакин, и сердце имеет на меня! — закончил свой рассказ Данило Андреевич.

— Что ж, Василий, ведь выходит, что князь-то и в мыслях не держал того, в чем ты его винишь? — обратился Иоанн к сумрачному Василию Степановичу.

— Врет он! — прошипел тот.— Никакой ссоры у меня с ним не было, и не мог я на него по злобе клеветать!

— Спроси, государь, сына его Каллиста — они были тогда вместе у меня... Тот врать, думаю, не станет,— сказал Данило Андреевич.— Каллист здесь — вон он стоит в сторонке,— добавил князь, видя, что царь ищет Каллиста в толпе придворных.

Иоанн сделал Каллисту знак приблизиться.

Тот подошел, видимо сильно смущенный.

— Ссорился отец твой с этим боярином? — спросил его царь.— Смотри! Говори правду.

Каллист немного помолчал, как будто собирался с духом. Потом тихо промолвил:

— Да, отец ссорился с боярином!

Иоанн быстро обернулся к Василию Степановичу.

— Ты что же это, старик? — грозно проговорил он.— Так-то ты начинаешь свое боярство? Неповинно хотел погубить за его же хлеб-соль!.. Добро, я сегодня не гневен. Но помни! — погрозил царь рукой съежившемуся от страха Василию Степановичу.— А с тобой, Данилушка, свидимся еще на свадьбе моей... Смотри, приезжай! — ласково сказал Иоанн князю.

Данило Андреевич, радостный и довольный, низко поклонился царю.

Иоанн готовился уже удалиться во внутренние покои, но вдруг опять обернулся к Ногтеву.

— А скажи, княже, когда я еще с тобой разговор важный имел? Словно обещал тебе что-то... Давно это было — ты еще совсем молодым был... Помнится мне что-то, а что — запамятовал,— произнес царь.

— Да, царь-государь. Годов, почитай, двенадцать назад ты мне гривну обещал золотую, пожаловать за то, что я детей из пожара на Арбате вызволил. Ну, а после Анастасия Романовна, блаженной памяти супруга твоя первая, умерла, тут тебе не до меня было, то и забыл про гривну,— улыбаясь, сказал Данило Андреевич.

— Да, да! Вспомнил. Точно, ты и есть тот молодец, что за детьми в огонь полез. Как я раньше не признал тебя? Положим, времени прошло немало... Да ведь ты во дворец вхож, а вот не́ пришло же мне в голову вспомнить о тебе до сегодня! А давно это было, давно! Тогда еще Настасья моя жива была, только уж прихварывала... Ох, время, время! — проговорил Иоанн, и глубокий вздох вырвался из его груди, а по исхудалому и бледному лицу прошло светлое, слегка грустное, но спокойное выражение.

— А гривну ты получишь, будь спокоен! — продолжал он, очнувшись от своей задумчивости.— Теперь не забуду! Так помни: жду тебя к себе на свадьбу! — прибавил он, кивнув головой Даниле Андреевичу на прощанье и удаляясь.

Толпой окружили придворные князя, наперерыв поздравляя с царскою милостью. Какими добрыми и любезными сделались теперь все те, которые еще недавно избегали перекинуться с ним словом! Один звал князя к себе отобедать, другой — приглашал на крестины, третий на свадьбу, и так без конца. Князю было неприятно оставаться в толпе этих лицемеров, он поспешно ушел из дворца и поскорее отправил гонца к своей жене, чтобы порадовать ее доброю вестью. Сам же остался в Слободе ожидать царской свадьбы и обещанной царем гривны.

Свадьба царя состоялась 28-го октября 1571 года. Кто бы узнал в бледной, едва держащейся на ногах от слабости царской невесте еще недавно такую свежую, сильную Марфу Васильевну... Она едва могла достоять до конца венчания... ноги ее подкашивались. Данило Андреевич с грустью смотрел на Марфу Васильевну.

«Господи, Боже мой! Как она переменилась! С тоски, верно! Ох, болезная, болезная! Не жилица она на белом све-

те, кажись!» — думал Данило Андреевич. И он, к сожалению, угадал.

Недолго пришлось Марфе Васильевне быть русской царицей — всего около двух недель: тринадцатого ноября Марфа Васильевна скончалась.

Отец и родственники несчастной царицы приобрели себе через ее замужество богатство и почести, а сама она... гроб в монастыре Вознесенском, рядом с двумя первыми женами царя Иоанна.

Вскоре после кончины молодой царицы Данило Андреевич уехал в вотчину, надеясь, что теперь уже ничто не помешает ему наслаждаться тихою и спокойною жизнью.

Действительно, в этот раз ему удалось провести в вотчине безвыездно зиму и часть следующего года, пока не прошел слух, что крымцы опять идут на Русь.

Долг призывал князя к защите родины, и он немедля поспешил под знамена...

В это же время и мурза Алей-Бахмет снова явился с ханом на свою прежнюю родину, но уже не для того, чтобы добыть себе славу, а лишь для того, чтобы сложить свою буйную головушку на земле родимой.

Только этого теперь жаждал отступник!

Часть четвертая

I

ТОСКА ОТСТУПНИКА

Как уже было сказано, Девлет-Гирей в тот же день, в который подступил к Москве и сжег ее, поспешил в обратный путь, устрашенный вестью, будто бы из Ливонии идет на помощь стольному городу русская рать под предводительством Магнуса.

Хан не бежал из-под Москвы — он уходил гордый и спокойный: он сломил надменность Иоанна, сжег Москву, чего же еще надо? Правда, его воинам не пришлось попользоваться богатой добычей, которую они ожидали найти в Москве — этого не позволил сделать огонь, но что же? Они найдут ее на юге Руси: там добычи непочатый угол!

Так думал Девлет-Гирей и радостным взглядом оглядывал свое войско, из которого, шутка сказать, не потерял почти что ни одного человека.

Весел, доволен хан, но далеко не так довольны его мурзы. Своими руками спалили добычу... Да какую! Разве найдешь где-нибудь, кроме Москвы, столько золота и серебра, как в ней, столько тканей неоценимых и диковин всякого рода? Нет! Уж где! И думать нечего! Хан обещает добычу... Будет она, будет, конечно, да какая?

Рабы-христиане, прекрасные жены урусов, табуны коней и другого скота — что все это в сравнении со спаленным в Москве богатством!

И сердито хмурят свои брови корыстные мурзы. Мрачны они, но всех, кажись, мрачнее ханский любимец, красавец мурза Алей-Бахмет.

Глядит он мрачнее тучи черной, поводья коня бросил, сложил на груди руки могучие и двинул угрюмо свои тонкие брови: невеселые, видно, думушки бродят в его голове.

Дивятся, глядя на него, мурзы; не меньше их дивится и хан, видя мрачное состояние духа своего любимца.

«Что с ним? Обидел я его чем? Кажись, нет! Аль боится, что награды от меня не получит? Его не наградить, так кого же награждать?» — думает Девлет-Гирей.

А Алей-Бахмет ничего не замечает, и ни хан, ни мудрые мурзы не догадаются, что за смута творится в душе Алеевой.

Словно темная осенняя ночь, тяжелая, беспросветная, охватила душу. И ищет он хоть звездочки малой, чтоб хоть на миг лучом своим мерцающим озарила она эту тьму непроглядную, да нет! Не найти ему этой звездочки, потому что давно закатилась она!

Много думушек бродит в голове Алеевой, а пуще всего одна перебивает — тяжкая, скорбная дума о том, что не видать ему более во веки вечные Марьи Васильевны.

И раньше немало приходилось ему тосковать да кручиниться, а не так. Или надежда тогда еще не совсем исчезла, или привык он к разлуке, и черные очи Зюлейки заставили его позабыть лазурные очи прежней зазнобушки. Теперь же все позабытое опять вспомнилось, и всплыло наверх то, что, казалось, давным-давно на самом дне его души погребено было.

И совесть к тому же... Ох, совесть, совесть! Лютый палач, куда лютее самого лютого из них. Тому-то мук таких не замыслить, и тот только тело пытает огнем да железом кале-

ным, а до души не добирается! А ведь она, злодейка, всю душеньку воротит, все забытое на память приводит и сосет, сосет где-то там, глубоко внутри... Не спрячешься от нее ни за горами высокими, ни за лесами дремучими!

Низко опустил на груд Алей-Бахмет головушку удалую, и губы побелевшие тихо шепчут: — Что делать? Что делать?

Видит хан, как все мрачней и мрачней становится лицо его любимца. Хочется ему утешить своего мудрого мурзу.

— Алей! — говорит хан: — Алей! О чем затуманился? О том, что ль, грустишь, что о награде тебе я ни слова не молвил? Так, верно?

Но Алей молчит. Вскинул только на Девлет-Гирея глаза и снова потупился.

— Эх, Алей, Алей! Не знаешь, видно, ты меня! Когда ж это бывало, чтоб Девлет-Гирей своих слуг верных жаловать забывал? — гордо произнес хан.— Нет, мурза, не печалься: не забыл тебя! Забота только меня об одном берет, чем наградить тебя без обиды... Жаль Москва сожжена — отдал бы ее тебе всю в награжденье — не пожалел бы! Для тебя не пожалел бы! Вот что надумал я, Алей... Ты знаешь, я могуч, богат и славен — многим могу наградить тебя — избери сам себе награду!..

Слушает Алей-Бахмет ханские речи, а только не радуют они его, как в былое время. Прежде от таких речей забилось бы, затрепетало его сердце от радости, а ныне словно голос чей-то ему тихий незнакомый шепчет: «За что награда тебе? За что? За кровь христианскую, за души невинных загубленные?»

Слушает Алей-Бахмет этот голос, и не дает он ему вымолвить хану спасибо за награду да за ласку: язык словно прилип к горлу, не поворачивается!

— Что ж молчишь, Алей? Отвечай! — уже с некоторым раздражением говорит хан, не дождавшись ответа от Алея.

И вдруг злоба охватила сердце Алея-Бахмета. Сам не знает он, почему его сердце загорелось, только обернулся он к хану и молвил со злобой:

— Славен, могуч ты, хан, а того, что мне надо, дать в награду не сможешь! Другой же награды мне не надо! Спасибо за ласку! Так, слышь! Не надо, не возьму ничего!

И усмехнулся он дерзкой, ядовитой усмешкой в глаза хану, стегнул коня и понесся как ветер, только пыль столбом из-под копыт конских повалила.

Краской гнева вспыхнуло лицо Девлет-Гирея; смотрит он вслед дерзкому мурзе, и недобрые думы в уме его зашевелились.

«А! Старое вспомнил, урус-собака! К своим захотелось! Да поздно! Теперь не уйдешь! Ишь, лайдак! Сам своих, как зверь лютый, раньше мучил, а теперь нашел пору каяться, когда Москву сжег чуть не своими руками! Ха, ха, ха! Ну, да ладно! Благо, выказал себя! Теперь присматривать, брат, за тобою будем!» — думает хан.

Все чаще и чаще бьет нагайкой коня мурза Алей. Конь и то несется во всю мочь, а всаднику все мало... Ветер ударяет в лицо Алея и засыпает ему глаза пылью, но нипочем это всаднику! Он рад ветру. Думает он, что поможет это ему забыть тоску.

Но не развеять ветру кручины Алеевой, не смешать ее ему с пылью дорожною, не поднять, не осилить ее ветру: не легка кручина, не перышко — тяжела она, как гиря свинцовая!

И не унести коню Алея от тоски лютой. Тоска — не стрела каленая: прошипит стрела мимо уха и в сыру землю ударится, а тоска все тут, бессменно! Свила она, словно птица, гнездо себе в душе грешной и сидит там, не хочет покидать гнезда — боится на свет Божий показаться: знает, растает она от луча светлого солнечного!

Медленно совершали обратный путь татары, словно прогуливались, а не домой с победы возвращались.

Да это и была, пожалуй, прогулка для них и вместе жатва несеяного, а не поход!

Прошлись они по югу Руси, все выжгли, пограбили... Было у татар на этом пути много забав жестоких, да веселья и разгула, одного не было — битв да боев кровопролитных. Как же не прогулка? А добычи-то, добычи везли они с собой! Одних рабов более ста тысяч насчитывали, а табунов и стад конских и добра всякого и не счесть скоро!

Глядят мурзы на свою добычу необозримую и уж не хмурят, как прежде, своих седых бровей: не думали они, не гадали так поживиться от урусов! Теперь, пожалуй, не жаль и московского спаленного добра. Уж очень хороша да обильна добыча.

Один только Алей-Бахмет по-прежнему мрачен и задумчив и домой едет с пустыми руками — не везет жене ни парчи блестящей, ни колец золотых... Не узнать Алея! Бывало, больше всех в Крым добра привозил, даже завидовали ему

все, а в этот раз он близко к добру русскому не подходил, будто брезгал им.

Как ни медленно шло войско Девлет-Гиреево, а все-таки дотянулось до Крыма. Даже и возвращению домой не радовался Алей-Бахмет. Что ж, что он дома, коли душа его там, далеко, на Москве, осталась!

Но ошибался Алей-Бахмет, думая так,— не вовсе уж он к дому остыл. Только заслышал он голоса детей, как дрогнуло его сердце, но не тоскою, а чем-то иным: спрянул он с коня, прижал к груди деток и почуял, как с каждым поцелуем алых губ детских замирает все больше и больше тоска. Когда ж подошла Зюлейка и со слезинкой радости на темных очах обняла его любовно и жарко поцеловала, почудилось князю, что и совсем тоска гнетущая из души его куда-то вылетела...

«Есть еще, есть у меня утешенье!» — думал он, обнимая посменно то детей, то жену.

II

УДАРЫ СУДЬБЫ

С тех пор, как побывал мурза Алей-Бахмет под Москвою, не по сердцу стали ему кровавые ратные забавы. Целыми днями сидел он теперь дома, то болтая с детьми, то беседуя с Зюлейкой.

Косился хан на Бахмета, что обабился так.

Но Алей не обращал внимания ни на ханское недовольство, ни на насмешки. Понимал он также, что не за одно это хан на него сердится, а за ответ резкий, который Бахмет ему промолвил на пути к Крыму: недаром же Девлет-Гирей никакой награды ему за совет московский не дал. Но мало заботился об этом Алей. Ему теперь все равно — в чести ль находиться или в опале. Было бы только на душе у него легко: одного только этого и хочет. Легко же ему лишь тогда становится, когда видит он глазки ясные детушек своих да слышит речи их детские бесхитростные. Любил он тоже любоваться на мальчиков, стоя вместе с Зюлейкой перед их постелью, когда они засыпали. Видел он, как все больше и больше тяжелели веки детей, слышал, как сперва их живая

речь постепенно становится медленнее, несвязнее... вот замирал их лепет совсем, а вместо него слышалось тихое, ровное дыханье...

И казалось отступнику, что и в его душе так же засыпало все прежнее, и снова он чист становится, как в былое время.

Что ему опала ханская, как и слава, и богатство, и могущество? Нужны ль они ему, когда есть у него такая утеха? Что заменит ее ему? Ничто!

А тут еще рядом с ним стоит жена молодая, любящая, и дети с ним его тихую радость, как в иной раз поделит и горе горькое, и тоску лютую.

Но недолго пришлось так тешиться Алею-Бахмету своими детьми.

Промелькнуло лето, настала осень дождливая.

Сидят дети дома, скучают да через окно в сад поглядывают.

— Матушка,— просит старший,— пусти побегать маленько по саду: вишь, погода разгулялась!

А у самого в голове мысль такая таится:

«Лужи теперь в саду,— смекает он,— должно быть, большущие-пребольшущие! Вот по ним корабль пустить славно будет. Точно по морю поплывет! К тому ж ветер... По луже рябь пойдет, заместо волн морских это выйдет!»

И еще усерднее пристал мальчик к матери — больно уж хочется ему суденышко спустить.

Младший тоже не отстает от него, тоже гулять просится, только не у матери, а у отца.

У него иное в голове:

«Вот было б ладно, кабы теперь гулять пустили,— думает мальчуган.— В саду земля размякла и лужи есть... Сейчас бы я от лужи большой к другой, поменьше ее, прорыл бы землю и реку устроил... Большая лужа морем была б, а маленькая — озером... И река между ними, что та Волга, которая, как отец сказывал, в земле урусов бежит... Вот славно было бы да занятно».

И ласкается ребенок к отцу, просит да молит его погулять отпустить.

Глянул Алей в окно — видит: и, правда, небо прояснилось, дождя нет и даже солнышко из-за туч выглядывает.

— И впрямь, Зюлейка, чего мы ребят-то морим. Пусть пойдут погуляют... Нечего им тут в духоте сидеть,— говорит Алей-Бахмет.

Мальчикам только этого и надо.

— Стойте, стойте! — кричит им Зюлейка,— оденьтесь потеплее... Холодно, чай...

Куда тебе! Дети и слушать не хотят! Их уже и след простыл. Выбежали в сад, и каждый за свое занятие задуманное принялся.

Погода осенняя изменчива. Не больше часа прошло, как дети в сад вышли, а уж солнца нет, и тучи со всех сторон черные понависли. Там скоро и дождь мелкий да частый пошел.

Велела Зюлейка рабу позвать детей. Пришли они, глянула она.

Мальчики стояли перед нею, покрытые грязью, мокрые, нитки сухой нет. И холодно им: бледные, и зуб на зуб не попадает.

— Иг-рали,— говорит старший, трясясь всем телом от охватившего его холода, который он только теперь почувствовал.— Кораблик... я спускал!

Младший промок еще больше старшего.

Алей, когда увидел детей, тоже встревожился.

Мальчиков сейчас же уложили в постель, напоили питьем горячим, тело их шерстяной тканью вытерли.

На другой же день младший встал поутру кислым, словно не выспался. Капризничает, есть ничего не хочет, только пить все просит. К вечеру разгорелся, как огонь. Стал жаловаться, что горло болит. Видит Алей, что дело плохо. Зюлейка плачет. А что с болезнью поделаешь? Рад бы помочь, да как?

Дня через два заболел и старший, тоже на горло жалуется. Может быть, тоже тогда простудился, а, может, и от брата к нему зараза перешла. Лежат мальчики, стонут.

Света не видят от горя Алей и Зюлейка.

Не жалеет золота Бахмет: созвал он всех мулл мудрейших, каких знал, всех знахарей, в лечении опытных.

Стоят мудрецы над больными да только головами покачивают, поглаживают бороды седые.

Указывают они отцу с матерью на пленку белую, что в горле у детей с одного края до другого протягиваться начала, руками разводят и Аллаху молиться о спасении детей советуют.

Так и ушли.

Рыдает Зюлейка, склоняясь над постелью младшего сына, а Алей только смотрит так сумрачно, что, пожалуй,

его, не плачущего, более жаль делается, чем Зюлейку, рыдающую.

А мальчику плохо. Мечется он по постели, хрипит...

— Душно мне,— шепчет.— Душит!

И стонет тихо, чуть слышно. Потом замрет, раскинется весь и дышит тяжело.

— Ой, матушка! Батюшка! Родимые! Спасите! Душит! — уже не говорит, а кричит ребенок, снова начиная метаться.

Отец с матерью руки свои над ним ломают от горя, а помочь бессильны!

Вдруг приподнялся малютка, схватился руками за горло, широко открыл глаза и снова упал на подушку.

Кинулась к нему с воплем Зюлейка и обняла уже не сына, а его остывший труп. А отец смотрит, стиснув зубы от боли душевной, на мертвое дитя и в грудь себя ударяет.

«О Аллах! Вот начало кары! Вот оно!» — думает отступник с ужасом.

Погребли на другой день малютку. Еще не все отнято от несчастных родителей — может быть, старшего сына Бог помилует. Но плох и он. Мечется так же, как вчера его брат. Хрипит и на удушье жалуется.

— О, Аллах! — восклицает Зюлейка.— За что Ты казнишь нас?

— Алей! Помолись! Не Аллаху, а своему прежнему христианскому Богу! О, помолись! Ведь Он милосерд! Он простит тебя! Помилует сына!

— Мне ли, отступнику, молиться Христу! — шепчет Алей в ответ ей.

А Зюлейка уж не слышит его ответа: она уже распростерлась ниц, молясь Аллаху. Пробовал и Алей молиться, как жена советовала. Но страшно ему осенить себя крестом христианским! И рука, точно свинцом налитая, тяжелая, не поднимается.

Пересилил себя Алей, перекрестился, пал на колени и шепчет полузабытые слова молитвы Господней.

Но не удалось довести отступнику молитвы до конца. Дошел до слов: «яко-же и мы оставляем должником нашим» и остановился: предсмертный хрип сына прервал его молитву! В ужасе он кинулся к нему: мальчик уже отходил, и отцу только пришлось услышать его последний вздох.

Как безумный, упал на пол Алей-Бахмет, бился об него головою и дико выкрикивал:

— Проклят я! Проклят я Господом! Проклят!

III

БЕЗУМНАЯ

Грустно и мрачно в высоком и богатом доме мурзы Алея-Бахмета. Не слышно прежнего веселого говора мальчиков, их серебристого смеха. Вместо говора их поселилось в доме угрюмое молчание, вместо смеха — рыдания и слезы. Только стоном Зюлейки и тяжким вздохом хозяина дома нарушится тишина — и снова все замрет в тяжелом безмолвии.

В мрачной задумчивости полулежал Алей на одном из диванов. Он один — Зюлейка плачет на своей половине дома.

Прошло уже несколько дней, как дети погребены, а Алей-Бахмет еще до сих пор не может привыкнуть к тому, что навеки расстался с детьми.

Всего шесть дней ведь назад он сидел на этом же самом диване со своими мальчиками и рассказывал им про далекую Русь, про ее города многолюдные, про реки глубокие и широкие. Помнит он, с каким любопытством устремляли на него сыновья свои темные глазки, как жадно ловили каждое слово...

А теперь... О Боже! Да не сон ли это, не страшный ли сон, навеянный темною и унылою осеннею ночью? И невольно Алей вслушивался в окружающую тишину: вот-вот раздастся веселый смех его младшего сына или звонкий голосок старшего.

И забывается в мечтах на минуту Алей и еще внимательнее прислушивается. А за дверью и правда раздаются шаги. Кто-то идет к нему в комнату.

Поднялся Алей с дивана... Радостно бьется его сердце...

«Дети бегут»,— думает он, принимая свои мечты за действительность.

Дверь скрипит, отворяется, и, увы! вместо розовых детских личиков в дверях показывается голова седобородого старика раба.

— Что тебе? — упавшим голосом говорит Алей.

— С ханым что-то неладное творится! — шепчет ему в ответ раб, словно боясь своим голосом нарушить царившую в доме тишину.

— Что с ней? — испуганно спросил Бахмет и, не дожидаясь ответа, поспешил на женскую половину дома.

Когда Бахмет вошел в комнату жены, Зюлейка стояла, прижавшись спиною к стене, сложив руки на груди и устремив взгляд на какую-то точку в углу комнаты.

Зюлейка уже не плакала, как раньше, не стонала. Напротив, на бледном лице ее порою мелькала улыбка.

Она не заметила прихода мужа и стояла, словно застыв, в созерцании видимого одною ею.

«О Аллах! Что с ней?» — подумал Бахмет, удивленный странным видом жены.

— Зюлейка! — окликнул он ее, подходя к ней ближе.

Молодая женщина, казалось, не слышала его зова; она даже не шелохнулась, только губы ее теперь тихо что-то шептали, а улыбка не сходила с лица. Алей-Бахмет взял жену за руку. Зюлейка вскинула на него глаза, глянула каким-то странным, ничего не выражающим взглядом и снова приняла прежнее положение.

Алей вслушался в то, что шептала жена.

— Вы здесь, мои мальчики? Что же вы прячетесь? Ах, вы мои соколики! Играть, видно, захотелось? Что же! Играйте, балуйте, детки! Только, помните: в сад не убегайте! В саду холодно!.. Дождь, ветер... Лужи везде... Простудитесь!... Заболеть можете и... Ох, и вымолвить страшно! Пожалуй, умрете! Что я тогда буду делать без вас, без моих соколов ясных? И то я сон видела страшный, будто вы умерли, покинули меня навеки... Слава Аллаху, что это только сон! Помню, как я горевала... Детки! Подите поближе ко мне! Дайте мне приласкать вас! Идите же! Что же вы? — шептала Зюлейка, и при последних словах лицо ее приняло умоляющее выражение.

Было что-то таинственно-страшное в этой бледной, исхудалой женщине, ведущей разговор с незримыми существами.

Толпа рабынь, дрожащих от суеверного ужаса, теснилась у дверей, шепча молитвы. Даже Алей-Бахмет, этот храбрец, не робевший ни перед какими опасностями, почувствовал, как дрожь пробежала по его телу.

— Зюлейка! Опомнись! Опомнись, моя бедная! Лучше плачь и стони, но не зови детей, не улыбайся такою улыбкой! Эта улыбка — хуже плача! Умерли наши дети, наши ангелы! На небесах они теперь, у трона Аллы Всемогущего! Нет их здесь... Плачь, Зюлейка! Тоскуй и рыдай, но опомнись,— вскричал с дрожью в голосе Алей-Бахмет и с силой потряс руку жены.

Голос мужа и его движение оторвали Зюлейку от ее мечтаний.

Она как-то растерянно оглянулась по сторонам. Взгляд ее скользнул по толпе рабынь и остановился на лице Алея. Она, кажется, не узнавала его и пристально вглядывалась.

— Это я, Зюлейка! Это я — твой муж! — произнес Алей-Бахмет, обнимая жену.

Страхом и отвращением исказились черты лица Зюлейки, и, вместе с тем, в глазах сверкнула гневная искорка.

— Прочь! Отойди! Не касайся меня своими руками! — воскликнула она, стараясь освободиться от его объятий.— Я знаю тебя — ты гяур, урус!.. Что? Тебе надо моих детей? Не отдам я тебе их! Ты уже раз унес их от меня... Я плакала, горевала, а ты... ты смеялся! А все-таки ты не смог совсем отнять деток моих от меня! Они опять со мной! Вон они улыбаются... Видишь! Нет? Конечно, нет! Не видишь, потому что Бог их накажет, если они будут ласкаться к тебе! Ты ведь отступник! Ты проклят Богом христиан, проклят и Аллою, а они, мои малютки, ангелы безгрешные, чистые... Они ангелы! О детки! Подождите, не маните меня к себе! Я сейчас, сейчас!.. Смешно вам, мои соколики? Смейтесь, смейтесь! Видите, и я смеюсь!.. Ха-ха-ха! — засмеялась Зюлейка безумным смехом.— Ах, как я рада видеть моих деток! Как мне весело! Пусти же меня! Не держи!

И она вырвалась из рук мужа.

— Они ангелы, ангелы! А ты проклят Богом! Проклятый! Про-о-клятый! — выкрикивала она нараспев, начиная кружиться по комнате в безумной пляске.

Алей-Бахмет, бледный как полотно широко раскрытыми глазами глядел на безумную пляску жены, бессильно опустив руки.

«Новый удар судьбы! Новая потеря! О, горе мне, горе! Правду сказала она в своем безумии: проклят я Богом!» — думал он. А Зюлейка продолжала носиться по комнате все быстрее и быстрее.

Вдруг она остановилась как вкопанная.

— Дети! Дети! Где они? Куда ушли? — повторяла она с тревогой.— Мальчики мои, где вы? Откликнитесь! — и она тревожным взглядом обводила комнату.— Это ты их пустил, верно, гулять? — внезапно накинулась Зюлейка на мужа.— О проклятый! Ты все-таки хочешь отнять их от меня! Алла! Они убежали в сад! Там так сыро, холодно... Дождь, ветер... Простудятся! О Алла! Надо их вернуть! Дети, дети!

С этими словами Зюлейка, прорвавшись сквозь толпу оторопевших рабынь, выбежала из комнаты.

Алей побежал за ней следом.

Миновав несколько комнат, безумная выбежала в сени, а оттуда в сад.

Погода была бурная. Шел крупный дождь, и ветер гнул и ломал ветви деревьев. Пожелтевшие листья, кружась, как бабочки, в воздухе, падали на мокрую землю и снова взды-мались, гонимые свирепым ветром. Погода не остановила Зюлейку. Быстро бежала она по сырым дорожкам сада.

Дождь насквозь промочил ее одежду, влажные ветви де-ревьев хлестали ее по лицу, но она продолжала бежать, и ветер доносил до слуха Алея крики безумной:

— Дети! Дети! Ау! Где вы?

Алей-Бахмет едва поспевал за женой. Безумная, пробе-жав главную, широкую дорожку, свернула на боковую уз-кую дорожку, ведущую к фонтану и пруду, который уже был виден сквозь чащу деревьев.

— Они здесь! Они должны быть здесь! Кораблики, вер-но, спускают! Ох, дети, дети! Наделаете вы беды! — кричала Зюлейка, направляясь прямо к пруду.— Так и есть! Вон они, мои мальчики! — продолжала она.— Дети, идите домой! Здесь холодно, сыро! О, Алла! Они купаются! В такую по-году! Пруд глубок... Утонут! Великий пророк, они уж на сре-дине! — закричала Зюлейка, бегая по берегу пруда.

Вид ее был ужасен.

— Ты меня зовешь, малютка? — спрашивала она одного зримого ею сына.— Меня зовешь? Лучше сам скорей иди ко мне... Брось купанье... И так остыл ты весь... Вишь, какой бледный. Что ж не выходишь? Иди же скорей! Спасите его! Смотрите, он уже начинает скрываться под водой! О, рабы вероломные! Вас все еще нет! — кричала Зюлейка.— Так я сама его спасу!

И Зюлейка готова была броситься в пруд.

В это время сильные руки Алея-Бахмета охватили ее.

— Кто меня держит! Пусти! Сын тонет! — отбивалась бе-зумная.— А! Это ты, проклятый! — с злобой проговорила она, узнав мужа.— Ты, я знаю, хочешь, чтоб он утонул! Да нет, не будет этого! Я спасу его, моего малютку! О Алла! Он утонет у меня на глазах! Да пусти же, пусти меня, про-клятый! Или я убью тебя! — кричала Зюлейка.

Но Бахмет не уступал, конечно, ее мольбам. Он старался только об одном, как бы скрутить руки безумной и потом

отвести подальше от пруда. Однако это было не так легко сделать, несмотря на его железные мускулы.

Зюлейка защищалась с силою, утроенною отчаянием и безумием. Она увивалась, как змея, в сильных руках мужа, кусалась, царапалась.

Порою Алею-Бахмету казалось, что он уже вполне овладел ею, что теперь безумная не может больше сопротивляться: руки ее он крепко держит в своих. Он уже готов был поднять Зюлейку и оттащить от пруда, но она неожиданно вырывала руки, и борьба начиналась с новою силой.

Наконец безумная стала, по-видимому, изнемогать в неравной борьбе; Алей уже думал торжествовать победу; вдруг острая боль в боку заставила его почти выпустить жену: безумная до рукояти всадила в бок мужа небольшой кинжал, им же некогда подаренный Зюлейке, с которым она никогда не расставалась.

— Вот тебе, проклятый! Теперь выпустишь! — крикнула она.

Алей-Бахмет пошатнулся... Кровь алою тонкою струйкой потекла по одежде... В голове зашумело... Словно темная пелена покрыла его глаза. Он чувствовал, как какая-то неведомая сила толкает его, и грузно опустился на мокрую от дождя траву.

С диким криком радости вырвалась безумная из его рук

— Сейчас, мой сын! Я бегу к тебе! Я свободна... Подержись минутку! Ты не утонешь, мой ангел! Твоя мать здесь! Она спасет тебя! Иду! — проговорила Зюлейка, подбегая к краю крутого берега.

Раздался тихий всплеск, и круги заходили от берега до берега по поверхности глубокого пруда.

Раз-другой показалась голова Зюлейки над водою и снова скрылась. Высунулась рука... Мелькнул край одежды...

Тело прекрасной ханым медленно опускалось на дно.

А в это время луч солнце вырвался из-за туч. Заиграл радугой на каплях дождя, скользнул по неподвижно лежащему на траве Алею-Бахмету, по поверхности пруда, на котором круги уже перестали ходить: взамен их поднимались со дна крупные пузыри — то выходил воздух из трупа прекрасной ханым.

Снова сдвинулись тучи, и луч солнца глубоко скрылся в далеком свинцовом небе.

Только ветер по-прежнему завывал, колыхая деревья, да капли дождя с неумолчным шумом ударяли по листьям...

IV

ГРЕЗЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

В комнате больного полусвет. Он лежит один: рабы, пользуясь выпавшей им малой долей свободы, разбежались кто куда мог. Немногие остались дома, да и те почти не заглядывали в ту комнату, где лежит страдающий раной хозяин дома.

Рана Алея-Бахмета невелика, но опасна. Мудрые знахари, когда в первый раз делали перевязку, призадумались: выживет ли? Но больной выжил. Теперь рана почти затянулась, но Алей все-таки слаб настолько, что не может подняться с дивана. Лекари его дивятся: с чего бы такая слабость? А сам он знает, почему его хворь так упорна: не тело болит — страдает дух! Вот где кроется его болезнь, и не вылечить ее никаким мудрым знахарям.

Жарко больному, мучит его жажда. Пытается он позвать кого-нибудь из рабов, но голос его едва слышен, ленивые слуги далеко, и не слышат они его зова.

Давно уже — два месяца скоро, как лежит он таким заброшенным, покинутым всеми, ожидающим, как милости, когда вспомнят о нем его рабы и заглянут в его комнату.

Одинок, покинут... Думал ли он когда-нибудь, что наступит такое время, когда он — могучий и сильный — будет зависеть от самого ничтожного своего раба?

Ни детей, ни жены, вот она кара — страшная кара! О, хоть бы смерть послал ему Аллах Всемогущий!

Тяжело больному... Жажда томит его все сильнее... Мечется он в жару...

Вдруг точно прохладой повеяло на него. Словно морской ветерок — не бурный и свирепый, а тихий, ласкающий, обдувает его разгоряченное лицо.

Слышится больному отдаленный равномерный плеск морских волн, набегающих на низкий берег. Сладкая истома охватывает его, и он впадает в забытье.

Он не спит — глаза его полуоткрыты, но и не бодрствует. Он между сном и действительностью.

Странные грезы наполняют ум больного. Чудится ему, что он стоит на песчаном берегу моря. Лучи солнца играют по тихим морским волнам, и вся поверхность моря сверкает, как расплавленный металл. Жарко, но не душно. А на душе

какая-то благодать! Он молод, любим! Иначе отчего же бьется радостно его сердце, когда он вспоминает о красотке-боярышне?

Вот уж он в струге казацком. Быстро несутся по волнам легкие ладьи, с каждым взмахом весел все ближе и ближе становится родина, а вместе и она.

О, лети же быстрее, ладья! Жаль, что нет крыльев, а то полететь бы, как сокол, высоко-высоко в поднебесье и ринуться камнем оттуда прямо к терему стрельчатому боярскому, где сидит, пригорюнившись, красная девица, дружка милого своего вспоминаючи!

Греза сменяется грезой.

Видит он себя снова на морском берегу, только не залит солнцем берег, как раньше. Нависли на небе тучи свинцовые, дождем грозят. А ветер сгоняет облака в новые тучи и пенит синее море.

Темно и на душе у молодца.

Угрюм взгляд, брови сдвинуты, а руки в кулаки сжаты, будто грозят они какому-то врагу дальнему, неведомому. А думы недобрые гуляют в буйной головушке. Злобные думы. Кровью пахнет от них, христианскою кровью!

Мечется в тоске по постели больной мурза Алей-Бахмет. Напомнила греза ему о его грехе незамолимом. Чего бы он не дал, чтоб вернуть прежнее время, когда он еще не менял веры! Пусть тогда тяжко было — терпеть бы стал, и, может быть, не пришлось бы ему теперь лежать одиноким, оставленным всеми! Может, не потерял бы он милых детушек! Не погибла бы, обезумев от горя, жена, не проклинала бы его... И она верно сказала! Проклят он Богом, отвержен людьми.

К чему такая жизнь? Кому она нужна? Никому! Лучше бы смерть!

Как жаль, что он так слаб! Ведь вот тут же, на стене, висит кинжал... Страшный кинжал! Отравленный! Достать бы! Царапина — и готово! Нет жизни, нет и страданий.

Да зачем кинжал? Если он слаб, чтобы достать его, можно найти другое средство... На рану наложена перевязка... Сорвать ее. Рана ведь еще не совсем зажила — кровь потечет из нее, и капля за каплей будет уносить частичку жизни...

И рука Алея-Бахмета потянулась к перевязке...

Что же остановилась рука, едва коснувшись бинта? Почему больной откинулся на подушку и замер, словно слушая что-то?

Да, он слушает! Слушает внимательно! Знакомый голос шепчет ему что-то. Вслушивается Алей и уже не думает о смерти — он жадно ловит слова, и они, как целебный бальзам, успокаивают его исстрадавшуюся душу!

— Милый! Опомнись! Что делаешь ты? Ужели еще мало греха на твоей бедной душе? Ведь ты знаешь, отчего так тяжко страдаешь — то наказанье за грехи прежние. Неужели еще сильнее хочешь страдать? Опомнись, милый! Мука загробная — страшная, вечная мука! Не уйдешь от нее, не скроешься ни в пещерах темных, ни на горах высоких, где блещут на солнце льды и снега вековечные! Живи, пока можно жить! Исправиться еще не поздно... Молись! Ты говоришь: отверг тебя Бог христианский, а Аллах не внемлет мольбам. Не правда это! Молись и дастся тебе. Не молись Богу христиан, если ты боишься Его, не молись Аллаху, если ты не веришь Ему, а молись просто Единому Вечному Господу! Пройдет печаль, уймется тоска... Легко будет на сердце твоем. Тогда, просветленный, очищенный, будь готов к смерти, и Он пошлет ее тебе, как награду. А до тех пор терпи! Ты говоришь, я умерла, проклиная тебя... О, милый! Прости! Я была безумная! Я ведь тогда еще была земною, не знала тайны смерти, казалась она мне вечной разлукой... Вот почему болело мое сердце, рвалась душа от тоски. Виновата ль была я, безумная? Ах, если б ты знал, что я видела тогда, когда боролась с тобой у пруда! Я видела, что стонет мой сын, мой младший малютка. Бледнеет все больше и больше его личико... В глазах ужас... И вижу я, как он постепенно слабеет. Тянет его в пучину вода... О, скажи, какое бы материнское сердце выдержало это? Кто бы не кинулся на помощь своему дитяти? И я хотела кинуться... Бегу к берегу... Еще немного, и я буду в воде... Вдруг твои сильные руки охватывают меня, не пускают. Я рвусь, изнемогаю в борьбе... А малютка все жалобнее зовет: матушка! матушка! Силы мои слабеют, я изнемогаю... Тут вспоминаю о кинжале. Миг — кинжал у тебя в боку, я свободна! С криком радости бегу я к пруду на помощь младенцу. С глухим плеском раздаются зеленоватые воды... Что-то холодное охватывает меня, запирает дыханье»...

Это смерть.

— «Но, друг мой! Если б ты знал, как теперь я счастлива! Дети со мной, о горестях земных нет и мысли. Вечный покой, о каком ты и думать на земле не мечтаешь».

— «Милый! Не осуди же себя на вечную разлуку со

мной!.. Я жду тебя здесь, дети тоже... Пострадай до конца — и мы радостно встретим твой приход!»

И видит больной, как белые тени тихо проносятся в полусвете комнаты. Вон она — его Зюлейка, вон дети. Улыбаются мальчики, протягивают к нему руки и приветливо кивают головой на прощанье, а Зюлейка в последний раз шепчет: «скоро». И тени словно тают в воздухе.

— Милые, дорогие! — шепчет Алей, силясь протянуть к исчезающим сыновьям свои руки.— Чего я не сделаю для вас? Велите жить — буду жить, умереть — умру! Ангелы!

Нет уже на душе его прежней тоски — он знает будущее: от него зависит устроить свое счастье, и он устроит его!

С этого дня Алей-Бахмет стал быстро поправляться. Не прошло и недели, а уж он мог вставать с постели; через месяц он поправился совершенно. Но не тот это был Алей-Бахмет, как прежде. Похудел он, постарел... Ничто его не интересовало.

До него доходили слухи, что хан разгневан на своего любимца за то, что он не показывается к нему во дворец, не участвует ни в советах, ни в походах. Слыша это, мурза Алей-Бахмет только улыбался и не думал изменять своего образа жизни. Он жил затворником в своем пышном доме. Рабов почти всех отпустил на волю, оставил только двух самых преданных.

Друзья его не посещали и стали реже вспоминать о нем. Он не жалел об этом. У него были иные друзья! Незримые никем, приходили они к нему ночью. С ними он только становился весел, отбрасывал свою задумчивость и мрачность, и веселый смех его громко звучал по опустелому дому.

Со страхом внимали оставшиеся слуги этому смеху и спешили, обратясь к Мекке, сотворить молитву Аллаху: дивно им было, с кем мог беседовать в такую пору их господин.

Вот в каком таинственном мире жил Алей. До земного, до того, что творится вне его дома, не было ему дела. Впрочем, нет... Изредка и он соприкасался с миром. Это бывало по пятницам, которые у мусульман заменяют христианские воскресенья.

Чуть солнце вставало, как уже к дому мурзы Алея-Бахмета тянулись толпы убогого люда. Кого, кого здесь не было! Шли и старцы, согбенные прожитыми годами и недугами, шли стройные юноши, шли малые дети. Все они стремились за помощью к Алею, и всем им щедро помогал он.

Не по дням, а по часам таяли сокровища Алеевы, но он

не горевал, продавал один тысячеголовый табун коней за другим, и по-прежнему не было у него отказа беднякам.

Прошла зима, промелькнули следом за нею весна и начало лета, а мурза Бахмет все не изменял своего образа жизни, все по-прежнему был угрюм и задумчив днем и неистово весел ночью.

Однажды прибыл к нему гонец от хана. Сурово встретил его Алей-Бахмет.

Однако к удивлению рабов, переговорив с гонцом, хозяин в первый раз со времени смерти жены и детей вышел к ним с веселым лицом.

Щедро одарил посланца Алей-Бахмет, дал ему лучшего коня со своей конюшни и отпустил с миром.

После того вернулся он в дом по-прежнему веселым и кликнул рабов.

Недоумевая, зачем они нужны господину, поспешили рабы к нему. Их было оставлено всего двое: Сафа — дряхлый старик из перешедших в магометанство литовцев, и Ибрагим — его внук.

Смиренно стояли рабы перед мурзой Бахметом.

Некоторое время мурза молчал, как будто обдумывая предстоящую речь.

— Сафа! Ты давно служишь мне, ты был мне всегда верным рабом — скажи, чего ты хочешь в награду за твою преданность,— начал Алей, обращаясь к старику.

Тот с недоумением посмотрел на него.

— Господин! — ответил наконец раб.— Служба тебе мне лучше награды.

— Верю! Спасибо тебе, старик! — произнес Алей.— Но теперь пришло время нам расстаться: с завтрашнего дня ты и внук твой свободны! Да, свободны, и, мало этого, вы еще будете награждены мною... Завтра отправляюсь в поход на урусов: после моего отъезда вы свободны и... Подай-ка тот ящик! — приказал Алей Ибрагиму, указывая на средних размеров сундук, стоящий в одном из углов комнаты.

Раб поспешно исполнил его приказание.

— Вот, смотрите,— сказал Алей, взяв из рук раба сундук, поставив его на диван и отпирая.— Этот сундук был некогда доверху полон золотом, теперь в нем осталось только половина, но все-таки золота много... Вот, глядите! — и Алей приподнял крышку сундука.

Глаза рабов алчно блеснули при виде золота: его еще было очень много в сундуке.

— Я поставлю этот ящик здесь... Завтра, как я уйду отсюда, вы отоприте сундук и поделите между собой золото поровну...

Рабы остолбенели от такой неожиданной и щедрой награды.

— Кроме золота, возьмите себе и разделите всю мою землю и остальное имущество... Возьмите и табуны коней... Все ваше, все... кроме одного: не касайтесь дома! Поклянитесь мне, что, взявши золото, вы немедля уйдете из дома, запрете двери и ворота тяжелыми запорами, закроете ставнями окна и никогда не вступите в него сами и других не допустите... Вот чего я требую взамен наград!.. Согласны вы сделать это? Поклянитесь!

— Клянусь землею — подножием трона Аллаха, клянусь небом — Его вечным жилищем, клянусь всем видимым миром злых и невидимым миром добрых духов, клянусь самым великим Аллахом и Его пророком Магометом, что исполню в точности твой приказ и, пока жив я или кто-нибудь из потомков моих, ни один человек не войдет в твой дом, и пусть он будет свят и неприкосновенен во веки веков! — торжественно проговорил старик.

Внук его произнес такую же страшную для каждого мусульманина клятву.

— Хорошо! Теперь я спокоен! И сам клянусь вам священной бородой пророка, что каждый, вступивший в этот дом, потерпит страшную кару на себе самом и на чадах своих,— проговорил мурза Алей-Бахмет, и глаза его сверкнули мрачным огнем.

Невольный страх забрался в души суеверных рабов.

— Теперь, друзья мои, идите! Завтра простимся навеки... Сегодня последняя ночь вашего рабства: блеснет солнце, и вы превратитесь в богачей. Все будет вам доступно, все вы сможете купить! Но берегитесь! Помните прежнее ваше житье, не забывайте убогих и нищих — каждая поданная вами нищему медная деньга прибавит много пудов на ту чашку весов Аллаха, на которой будут сложены ваши добрые дела! Помните также, что все вы купите, кроме одного: душевного спокойствия! Его надо вам самим добыть, а не сумеете нажить его — не достанете нигде даже за горы золота!

Рабы, тронутые до глубины души щедростью господина и его речью, плакали от счастья. Они пали ниц перед Алеем и целовали ему ноги.

Наконец, когда рабы излили все, что было на душе, только тогда они поднялись с пола.

— Идите же, друзья, и спите спокойно! Вы мне сегодня больше не понадобитесь! — отпустил их Алей.

Они, отвесив еще несколько поклонов и пробормотав новые благодарности, вышли из комнаты. Но напрасно желал им Алей спать спокойно: ни Сафа, ни Ибрагим глаз не сомкнули в эту ночь. Им все мерещилось светлое будущее, и даже смех господина, особенно веселый в эту ночь, не пугал их, как прежде.

А господин их в эту ночь хохотал еще громче чем всегда...

V

НЕЖДАННОЕ СЧАСТЬЕ

Когда ханский гонец сообщил Алею о приказании Девлет-Гирея отправиться в поход против урусов, Алей-Бахмет понял, что судьба посылает ему стредство отделаться от ненавистной теперь для него жизни. Ему уже нечего было думать о самоубийстве, он решил, что не вернется с похода и падет от христианской руки. Вот почему так весел и доволен мурза Алей: близок конец его страданиям! Медленно прохаживался он по объятым полутьмою, тихим, опустелым комнатам. Он внимательнее, чем прежде, вглядывался во всякую мелочь, словно хотел все запечатлеть в своей памяти и унести воспоминание с собою в загробную жизнь. Он уже и теперь смотрел на все, что видел, как посторонний, как человек, совершивший свой житейский путь, все эти предметы: золото, парча, драгоценные камни — все это вещи мирские, чуждые ему. Его радость, его надежда жила «там», в синем небе, за облаками, в краю неведомом, а здесь оставались только грустная память да тоска о былом.

Но все то, на что он теперь так хладнокровно смотрел, было ему когда-то близко и дорого.

Вон на стене, на пестром узорчатом ковре, развешаны несколько шашек, тускло светящихся своею синеватою сталью. Эти шашки все взяты из рук убитых им польских панов.

Помнит он, как особенно яростно защищался один из этих поляков — его шашка висит в середине, она тяжелее и длиннее других.

Это был уже старик. Он был толст, но ловко сидел на коне и, несмотря на старость, лихо работал своею страшной шашкой.

Пробовали лихие татарские наездники ссадить с седла старого вояку, налетали на него, как соколы с высоты; бестрепетно, но со свистом поднималась панская сабля и рассекала голову наездника вместе со стальным шишаком.

Татары уже почти выиграли битву: часть поляков бежала, другая часть была побита; оставался только этот седой пан со своей челядью. Он и не думал сдаваться. Напрасно хан обещал горы золота тому из своих наездников, кто убьет этого шайтана-поляка. Никто не вызывался: пан, казалось, был заговорен от пуль и мечей, а разве можно одолеть нечистую силу.

Бледнел Девлет-Гирей, скрежетал зубами от злобы, а что поделаешь?

Видел все это Алей-Бахмет.

Не говоря ни слова тронул он своего коня и медленно поехал навстречу богатырю-пану.

Размахнулся пан, блеснула шашка, но вместо головы врага рассекла пустой воздух. В первый раз промахнулся седой боец: не ожидал он, что его противник успеет отпрянуть с конем в сторону!

Занес и свою шашку Алей, опустил ее, но она встретила лезвие панской шашки, пересекла ее наполовину, но не срезала, как всякую бы другую. Старик остался невредимым.

Рванул каждый из врагов свое оружие, звякнули шашки, блеснули и опустились обе сразу. Пошатнулся в седле пан, сделал усилие еще раз взмахнуть оружием, но рука его повисла бессильно. Шашка со звоном упала на землю, и сам он, вслед за нею, грузно рухнул под копыта коня Алея-Бахмета. С гиком бросились татары добивать панскую челядь, а голову старика отрубили, воткнули на копье и понесли, как трофей, перед войском.

Глядит теперь Алей-Бахмет на эту шашку, вспоминает битву, и дивно ему, как мог он в ту пору гордиться своею победой? Чем он гордился? Тем, что убил старика, которого раньше не знал, с которым врагом не был и к которому ненависти не чувствовал!

И другие вещи, на какие только он ни посмотрит, все также добыты кровью, убийством и грабежом.

Обвел взором мурза Бахмет всю комнату, перешел в другую, в третью — нет ничего, что было бы добром нажито.

Грустно становится на сердце Алея.

«Господи! — думает он уныло.— Как не карать было Тебе меня, грешника!»

В это время взгляд его случайно упал на небольшой ящичек из дубового дерева. Ящик был накрыт толстым слоем пыли: очевидно, к нему уже давно никто не прикасался.

Вполне недоумевая, что может находиться в ящике, Алей-Бахмет приподнял его крышку; в ящике лежало что-то, завернутое в пожелтевший от времени кусок холста. Алей вынул и развернул сверток.

Крик радости вырвался из груди отступника.

В его руках очутился крест и ладанка, которую дала ему Марья Васильевна при их расставании, двенадцать лет назад.

— О Бог великий! Бог христианский! Ты отверг мою молитву, когда я молился Тебе, оскверненный грехом, теперь же посылаешь крест спасения мне, раскаивающемуся! Это знаменье мне, что я могу быть прощен! О благодарю Тебя, Боже! — воскликнул Алей-Бахмет и надел на себя найденный крест.

Потом отступник опустился на колени. Он уже теперь не страшился молиться христианскому Богу — он знал, что прощение близко! И рука Алея уже без трепета, как прежде, творила крестное знаменье.

Он молился долго и жарко и чувствовал, как все злое, все тяжелое — и тоску, и грусть словно смыло набежавшей волной и, взамен этого, так тихо, так спокойно стало у него на душе, как не было ни разу за истекшие годы.

Солнце уже успело совсем закатиться, когда раскаявшийся отступник окончил молитву.

Настала ночь, темная южная ночь. Алею нравилась эта темнота, в которую были погружены комнаты: она позволяла ему более углубиться в себя. Он добрался до одного из диванов и опустился на него.

Вспомнились ему теперь две женщины, из которых одна заставила его ненавидеть жизнь, а другая на некоторое время привязала его к жизни для того, чтобы потом повергнуть в еще большие страдания. Которую из этих женщин любил он больше? Марью Васильевну? Да, он любил ее настолько сильно, что ни протекшие годы, ни испытанные превратности жизни не могли ослабить этой любви. Скажи Марья Васильевна, во время их последнего свиданья в объятой пла-

менем Москве, только одно слово «останься!» и он, не раздумывая, сорвал бы с себя расшитый золотом татарский наряд, снова принял бы полузабытое тогда им христианство и осудил бы себя на жестокие муки от палачей царя Иоанна — ведь царь не простил бы ему отступничества от веры отцов и измены родине. Он решился бы на все это и остался бы, а между тем... между тем его сердце разрывалось бы в то же время от тоски по покинутой Зюлейке и детям!

Что любовь Алея к Зюлейке была сильна, это доказывает его тоска по умершей жене. И эта тоска еще удваивалась при мысли о потере детей, о вечном исчезновении того счастья, может быть, призрачного, но все-таки счастья, которое он испытывал в своем домашнем кругу.

Каждый час, каждую минуту думал он об умерших; они являлись тотчас же по его желанию.

Вот и теперь, едва он, вспоминая минувшее, остановился на мысли о дорогих ему погибших существах,— внезапно перед Алеем появился ярко-зеленый светящийся кружок.

Кружок рос и, слабея краской, скоро залил своим светом всю стену; потом начали отделяться от стены словно светящиеся волокна и медленно поплыли по воздуху. Вся комната наполнилась странным зеленоватым светом: казалось, луч солнца проник сквозь толщу морской светло-зеленой воды и отразился каким-то чудом в роскошных, но темных и опустелых палатах Алея.

Алей пристально вглядывался в наполнивший комнату зеленоватый туман. Понемножку перед его взором обрисовывается человеческая голова, шея, плечи... Минут — и мурза не помнит себя от радости: перед ним стоит Зюлейка, веселая, полная жизни, а из-за ее плеч выглядывают головы сыновей Алея и весело кивают ему.

Встал мурза Бахмет, протянул руки к призракам.

— Вы снова со мной, мои милые, дорогие! — шепчут его трепещущие от радости губы.— Детки! Идите сюда! Какую игру я для вас придумал! Вот повеселитесь-то! — продолжает он, и его веселый смех разносится по дому...

Солнце вставало... Белый покров тумана медленно поднимался с равнин, а в глубине темного ущелья, у бегущей по его дну речки, мелкой и узкой, но быстрой и порожистой, еще висел неподвижной молочно-белой завесой.

Попал луч солнца в комнату к мурзе Алею-Бахмету. Побледнел под его светом зеленоватый туман, растаял и испарился под его теплотой. Образы Зюлейки и детей исчезли.

Мурза очнулся. Грезы уступили место действительности. Он поднялся с дивана, потянулся и подошел к окну.

Алея облил солнечный свет и ослепил на мгновенье.

«Вот так-то и жизнь очи слепит! — подумал он.— И кажется, что откроешь глаза — увидишь диво дивное, а на деле... Да нет! Что я жизнь хулю? Мне она еще матерью родной была, а есть которым она и вовсе злой мачехой бывает, и живут же!.. Стало быть, надо! Никто своего срока не прейдет!»

А перед ним, на его глазах закипала та жизнь, о которой он размышлял: все шевелилось, жужжало, чирикало, пело, издавало голоса... Все это жило, стремилось жить и на все лады славило жизнь!

Время шло. До слуха Алея долетело от крыльца ржание и стук копыт его боевого коня.

«Пора!» — подумал он и начал снаряжаться к походу.

Сборы были недолги. Сменив свою одежду на более удобную для похода, он надел шишак и подошел к стене, где висели шашки. Сперва он по привычке протянул руку к своей боевой шашке, но раздумал: очень уж часто она обагрялась христианской кровью!

Подумав немного, он выбрал длинную шашку польского пана и прицепил ее, вложив в ножны, к кушаку. Кольчуги Алей не надел: зачем она была нужна ему, если он шел не на победу, а на смерть?

Наскоро закусив, Алей-Бахмет решил отправиться в путь. Подойдя к порогу, он обернулся и окинул взглядом ряд покоев, видневшихся через открытые двери.

Великолепна, сказочна была роскошь покоев мурзы Бахмета, но сам владелец, стоящий на пороге, готовый удалиться навеки из своего роскошного жилища, холодным взглядом окинул всю обстановку.

— На всем этом кровь,— шептал Алей,— потому что все добыто кровью и омыто слезами несчастных. Пусть же сгниет это неправым путем нажитое добро! Пусть оно — покрытое пылью, изъеденное ржавчиной — лежит в опустелых покоях и рушится, рассыпается в прах вместе с ними. Горе тому, кто прельстится его красотою!

Окончил свою речь мурза Бахмет и навсегда вышел из своего дома.

Конь тихо заржал, узнав своего господина. Алей потрепал его по шее и вскочил на седло. Конь сделал несколько скачков и потом послушно пошел под привычным для него всадником.

Сафа и Ибрагим низкими поклонами провожали Алея-Бахмета.

— Прощай, старик! Прощай и ты, Ибрагим! Так сделайте, как я говорил вам... Не забудьте клятвы! Будьте счастливы! — проговорил Алей и тронул коня.

Некоторое время Сафа и Ибрагим смотрели вслед господину, словно боясь, не шутку ли вздумал он подшутить над ними. Но видя, что Алей быстро удаляется, они повернулись и опрометью бросились бежать к дому, где лежало заветное золото — теперь уже их золото!

Немало спорили они, бранились, вынимали ножи и грозили ими друг другу, разделяя оставленное им богатство, но наконец поделили золото, и сразу как рукой сняло всю их вражду. Они в точности исполнили волю господина: не тронули ничего из вещей, заперли тяжелым запором дубовые двери, заколотили ставнями окна и удалились навсегда от опустелого жилища мурзы Алея-Бахмета.

Прошли многие годы.

Покосился от старости дом, на кровле проросла высокая трава, ставни покрылись мохом. Но покинутое жилище по-прежнему стоит необитаемым, пугая окрестных поселян своим таинственным видом. Много толков идет между ними про этот дом. Говорят они, что там поселилась нечистая сила и смельчаку, который решился бы войти в это обиталище злых духов, грозила бы лютая смерть.

VI

ВРАГИ ИДУТ

Было раннее летнее утро, когда Данило Андреевич, напутствуемый просьбами жены щадить себя и громкими прощальными криками своих детей, выехал из ворот своей усадьбы. Ехал он на службу, «в поле», к своему давнему начальнику, князю Михаилу Ивановичу Воротынскому.

Отправился боярин Ногтев в поход не один: с ним было около сотни холопей, изрядно вооруженных, и в числе их Миколка-выкрест. Лихорадка трясла Миколку, этого выродившегося потомка диких покорителей Руси; рад был бы спрятаться в сарай, по примеру прошлого года, да нельзя

было. Волей-неволей пришлось трусливому парню покориться горькой необходимости. Теперь он ехал шагах в двух от князя и то и дело вскидывал глаза на прикрытый стальным шеломом затылок Данилы Андреевича: все еще надеялся выкрест, что, авось, что-нибудь его выручит из беды: может, князь дома позабыл кое-что передать боярыне и пошлет его, Миколку, с весточкой к ней! А уж только б попасть в вотчину! Там можно найти причину, чтобы остаться!

Путь Даниле Андреевичу и его челядинцам предстоял недалекий: войско стояло всего в трех верстах от Серпухова, стало быть, и от вотчины Ногтева почти что рукой подать.

Солнце еще только что стало на полдень, а уж перед путниками показался русский стан, и скоро они уже въезжали в гуляй-город *.

Данило Андреевич, сдав своего коня на попеченье Миколки, прошел в палатку главного воеводы, Михаила Ивановича Воротынского.

Князь Воротынский, старик лет шестидесяти, приветливо встретил своего более юного друга и ратного товарища.

— Что, Данило Андреевич, тоже на защиту земли родной поспешил? — сказал Воротынский, обнимая князя Ногтева.

— Еще б, княже, не спешить! Хоть и не больно прытка моя сабля, а все ж на поле брани в ножнах лежать не будет! — ответил Данило Андреевич, здороваясь с сидящим в той же палатке князем Дмитрием Ивановичем Хворостининым.

— Благо ты, Данило Андреевич, не забыл долга своего боярского. А трудное ныне время для Русского царства! Нужда великая в людях, в оружии, а враг силен... Ой, как силен! Только на милость Божию и надежда, чтоб не допустил Он, Всемогущий, земли православной до погибели конечной! — проговорил старик, и в глазах его блеснула слеза.

— А что о татарах слышно? Далече они? — спросил Данило Андреевич.

— Близехонько! Уже наши пыль заприметили, да и вести есть о них, что идут сюда басурманы, напрямик к нам прут: тут, вишь, для них переправиться ладнее будет,— сказал Михаил Иванович.

— Поглазеть надо-ть, сколько их сюда валит,— произнес Данило Андреевич, готовясь выйти из палатки.

---

* Гуляй-городом, т. е. передвижным городом называлось походное укрепление, устраиваемое из обозных телег.

— Пойдем! Мы тоже поглядим! — сказали Воротынский и Хворостинин.

Все трое вышли и направились к тому месту «гуляй-города», откуда можно было рассмотреть приближающуюся татарскую рать.

Крымцы были уже довольно близко. Можно было отчетливо рассмотреть их войсковые значки и стяг, который несли возле Девлет-Гирея.

Медленно, но безостановочно продвигалась татарская рать к Оке, которая синею лентою извивалась среди зеленеющих полей.

Русское войско стояло на левом берегу реки.

Хану во что бы то ни стало надо было переправиться через Оку: только тогда он мог свободно идти к Москве.

Однако, казалось, хану вряд ли удастся совершить свое намерение: русские решили не допустить врага до переправы. Они стояли на месте, самом удобном для перехода через реку,— иное место хану трудно сыскать — и пушки, зловеще выглядывавшие с «гуляй-города», грозили засыпать ядрами толпы ханского войска. Кроме того, помня московское прошлогоднее разорение, русские ратники рвались к бою, и если б части Девлет-Гиреевой рати удалось переплыть реку, то смельчаков татар ждала бы неминуемая смерть.

Однако в семье не без урода, и среди самой отборной травы всегда найдутся плевелы; так было и среди русского войска.

Когда князь Воротынский внимательно смотрел на подходящих татар, он был отвлечен от этого громкими криками, раздававшимися в стане.

Михаил Иванович с досадой обернулся.

— Что тут такое? — спросил он, нахмурив брови, видя, что толпа ратников с бранью и криком ведет к нему какого-то человека.— Ах, это опять ты! Верно, что-нибудь уже натворил, негодный холопишка? — промолвил гневно князь Воротынский, узнав в том человеке, которого вели к нему, одного из своих холопей, известного неисправимого вора и пьяницу.

— Да помилуй, княже! — завопил высокий, худой малый, одетый в грязную и порванную рубаху.— Сейчас две деньги* у меня стащил и водки на них купил у Пахома, который с Москвы бочонок ее, проклятой, захватил... Опил-

---

* Рубль делился на две полтины; полтина — на сто денег.

ся б, окаянный! — со злобой прибавил парень, тряся за плечо воришку — худого, черноватого мужика, производившего впечатление загнанного волка; сходство с этим зверем ему еще более придавали вороватые черные глаза, которыми он злобно сверкал порою исподлобья.

— На тебе взамен твоих денег! — сказал Воротынский высокому парню, подавая ему полтину.— А с ним,— кивнул князь на воришку,— расправьтесь по-свойски, чтоб неповадно ему впредь было чужое добро таскать!

Между тем ратники, должно быть, порядком помяли вора, потому что, когда он, избитый, извалявшийся в грязи, поднялся на ноги, то едва не упал снова на землю.

Однако он кое-как удержался на ногах, и если б Воротынский видел, какой свирепый взгляд бросил наказанный вор на него и как злобно прошептал: — Погоди! Ужо отплачу тебе за это, старый хрыч! — то Михаил Иванович, пожалуй, призадумался бы: мелкий, но подлый враг бывает иногда опаснее нескольких сильных! И воришка не на ветер кинул слова — он жестоко отплатил Воротынскому впоследствии.

Но не до него Михаилу Ивановичу: татары подошли уже очень близко — их отделяла от русских только река.

— Ну-ка, братцы! Попотчуйте незваных гостей нашим гостинцем! — приказал седой воевода пушкарям.

Воротынскому не надо было повторять приказа, пушкари живо принялись за дело.

Скоро грянул пушечный выстрел, за ним другой, третий, и ядро за ядром врезалось в самую гущу врагов.

Со своей стороны, татары не дремали, их пушкари были тоже не ленивы: быстро раскатили они пушки, и скоро ядра с глухим стуком стали врезаться и разрушать составленную из телег стену «гуляя».

Пальба продолжалась весь остаток дня и всю ночь, следующую за ним.

Особенно жаркой была она со стороны татар: враг словно хотел засыпать ядрами русских, разбить их «гуляй-город», принудить отступить и дать татарам возможность переправиться в этом месте через Оку.

Однако на другой день с тревогой и грустью узнал седой воевода, что ночная пальба татар была простою уловкой: пользуясь тем, что русские заняты этой пальбой, хан отыскал иное место, годное для переправы *, и теперь, в поне-

---

* Девлет-Гирей переправился у так называемого «Сенкина перевоза».

дельник 28-го июля, был уже на левой стороне Оки и спешно направился по дороге к Москве.

Воротынскому оставалось только постараться исправить результат своей оплошности: догнать татар и заставить биться, не допустив до Москвы.

Так воевода и решил сделать. Покинув «гуляй-город» он поспешил вслед за ханом.

VII

1-е АВГУСТА 1572 ГОДА

Мечтал Девлет-Гирей разорить снова Москву, как в прошлом году, и на этот раз не отступать от нее, а идти дальше искать Иоанна, хоть на край русского царства, захватить царя в свои руки и положить конец Руси.

Уже мечты хана начали сбываться, уже Москва была недалеко от него, и он, убежденный в предполагаемом успехе, уже назначал в Москве жилища для своих мурз, когда Воротынский нагнал его 1-го августа и принудил к бою. Битва произошла в пятидесяти верстах от столицы, у Воскресения в Молодях.

Татар было более ста тысяч, русских гораздо менее; но они жаждали битвы, и, со времен Дмитрия Донского и Мамая, никогда русские не бились с татарами с такой храбростью, как тут.

Пусть их меньше числом, чем татар: русские должны биться, победить или пасть — иного выбора не было!

Не было выбора и татарам.

Москва для них потеряна — оставалось воротиться на родину. Но враг теснил, не пускал их — надо было пробить себе дорогу или умереть.

Ожесточение с обеих сторон было равным. С одной стороны — жажда мести, достигшая высшей степени, с другой — не меньше по силе отчаяния.

Пищали и пистоли молчали, разве изредка раздавался треск их: пуля казалась неверным оружием. Хотелось рвать, терзать врага своими руками. Бились грудь на грудь. Рубились, кусали, как звери, один другого. Падали, облитые

кровью, на землю, снова поднимались и, стоя на дрожащих от слабости ногах, снова вступали в бой.

Ужасен был этот бой, и каждая рука, способная поднять саблю, была дорога, но еще дороже было благоразумие и хладнокровие: самая дикая храбрость еще далеко не создает победы.

Князь Воротынский, бившийся, как простой воин, не забывал о своей обязанности воеводы: то тут, то там являлся он в разных местах битвы, и если ему не было надобности возбуждать силы бойцов, то нужно было уметь направлять их — в этом и заключается искусство полководца.

Орлиным оком обозревал седой воевода поле битвы — заставлял татар двигаться прямо на скрытые пушки и вдруг губительным залпом орудий поражал их смятенную толпу и усыпал трупами землю. Увидел он слабые места татарского войска, и вот, с отборной дружиной обогнув незаметно, по дну оврага, поле сражения, неожиданно ударил в тыл татарской рати.

Не выдержали этого удара татары, дрогнули...

В самой середине побоища, где сражались отборные татарские наездники с лучшими русскими витязями, находился бывший князь Андрея Михайлович Бахметов. Но не для боя выехал он в середину врагов: его сабля оставалась в ножнах, как и до битвы: не хотел он больше проливать христианской крови. Алей-Бахмет искал смерти и, казалось, нигде не мог найти ее верней, чем здесь. Безоружный, с непокрытой головой,— шелом он держал в руках,— без брони или кольчуги, сидел он на белом коне и ожидал, что вот-вот сверкнет над ним булатная сабля и опустится на его голову.

Вокруг Алея-Бахмета вздымалась не одна сабля — сверкали десятки их, но все, словно сговорясь, щадили его, искавшего смерти, и, со свистом разрезав воздух, опускались на бритое темя какого-нибудь отчаянно защищавшегося и жаждавшего спасения татарского бойца.

Прошло уже довольно времени с тех пор, как началась битва. Уже больше половины татар было перебито, и оставшиеся в живых напрягали последние силы, а Алей-Бахмет по-прежнему сидел невредимым на своем белоснежном коне.

Отчаяние начало проникать в душу князя-отступника: смерть, казалось, бежала от него!

Он тронул своего коня, застывшего в неподвижности вместе с всадником и только шевелившего в испуге тонкими ушами, и врезался в толпу русских.

За ним, повинуясь бессознательному влечению, двинулись татары. Русские встретили их грудью. Бой закипел еще сильнее прежнего, а Алей-Бахмет остался невредим.

Вдруг он увидел перед собой красивое, возбужденное лицо князя Ногтева.

«А! Вот этот не пощадит меня! — подумал Алей-Бахмет, узнав мужа Марьи Васильевны.— Он знает, верно, что я его бывший соперник!»

С этой мыслью он направил своего коня к Даниле Андреевичу. Он подъехал к Ногтеву так близко, что почти задел своим стременем за стремя князя, но тот, занятый поединком с каким-то сильным татарским мурзой, не заметил Алея-Бахмета.

Увидя, что и тут потерпел неудачу, отступник отчаялся в возможности найти для себя смерть в этой сече и окончательно поддался охватившей его злобе: рука его нервно сжала эфес, и он до половины извлек уже шашку из ножен. В это время ему бросилось в глаза монгольское лицо Миколки-выкреста. Алей-Бахмет быстро обнажил шашку...

Миколка-выкрест, которому Данило Андреевич приказал следовать за собою в битву, в продолжение всего боя старался прятаться за спиной своего господина. Он был оглушен шумом сражения, подавлен грозившими ему со всех сторон опасностями, чтобы хоть не видеть ужасов битвы, закрыл глаза, сидел съежась на своей смирной, видавшей всякие виды кобылке, и, держа бесполезную для него обнаженную саблю в левой руке, правою безостановочно осенял себя крестным знаменьем и дрожащими губами шептал молитвы, какие только мог вспомнить.

Увидя лицо Миколки-выкреста, Алей-Бахмет, как мы сказали, быстро обнажил шашку. В душе его кипела злоба, и выкрест показался ему самым подходящим человеком, на котором можно было сорвать ее.

— А! — громко воскликнул он, бросаясь на Миколку.— Против тебя я еще могу драться! Ты такой же отступник от веры отцов, как и я! Защищайся, собака!

Миколка, услышав грозный возглас, широко открыл глаза. Увидев подле себя свирепого татарского витязя с поднятою шашкой, он взвыл от страха, еще больше съежился, чуть не лег на спину своей лошади, но инстинктивно схватил саблю и взмахнул ею. В его глазах все потемнело, помутилось. Он не мог различить лица врага, был почти без сознания, чувствовал только одно, что смерть близка, и с свирепым

отчаянием сжав рукоятку сабли обеими руками, он со страшною быстротою размахивал своим оружием во все стороны.

Вдруг он почувствовал, что клинок сабли врезался во что-то твердое. Ему в лицо брызнуло чем-то теплым!

«Убит я! Убит!» — в отчаянье подумал выкрест и выпустил саблю из рук.

Однако он не чувствовал никакой боли. Это ободрило его. Он немного успокоился и провел рукой по своему лицу: когда он после этого взглянул на руку, она оказалась запачканной кровью.

«Вот те на! Боли нет, а кровь есть! Откуда бы ей взяться?» — раздумывал Миколка и вдруг с ужасом вспомнил, что ведь подле него должен находиться сильный татарский богатырь, что его, верно, сейчас поразит смертельный удар.

Выкрест проклинал свою забывчивость и, бледнея от страха, глянул в сторону своего врага.

Кто опишет радость Миколки? Его противник, сильный татарский витязь, склонился к шее лошади, а из его глубоко просеченной головы алою струей стекала кровь на белоснежную масть боевого коня.

— Так это твоя кровь на моем лице, голубчик мой! Ай, да Миколка! — восхищался выкрест.

Конь Алея-Бахмета, чуя, что со всадником случилось что-то неладное, встал на дыбы. Тело истекающего кровью противника выкреста перекинулось назад и медленно скатилось с седла к ногам Миколкиной кобылки.

Был ли мертв Алей-Бахмет? Казалось, да. Но при внимательном осмотре можно было заметить, что грудь его еще поднималась, хотя еле приметно.

Битва между тем подходила к концу. Ряды татар поредели, а удачное нападение Воротынского привело татарских воинов в смятение. Им казалось, что продолжать бой невозможно, что остается искать спасения только в бегстве.

Панический ужас овладел татарскими воинами начиная от самого хана и его мурз до последнего конюха и жалкие остатки гордой татарской рати ударились в постыдное бегство, оставив в добычу победителям и ханское знамя, и пушки, и обоз.

Русские преследовали их по пятам.

Немногим крымцам удалось снова увидеть родные улусы, а из турецких янычар никто не добрался до Константинополя: они все полегли на поле битвы.

VIII

СМЕРТЬ АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

— Ты убил?
— Убил!
Ох, заливаешь!
— Вот те крест!

Такой разговор происходил между Миколкой-выкрестом и одним из холопов князя Ногтева, которому перекрещенец, после окончания боя, хвастал своею победой над татарским витязем.

— А ну, пойдем! Покажь своно супротивника!
— Пойдем! Я к тому и речь вел!

Они пошли к полю битвы.

Ужасен был вид побоища! Всюду трупы, обезображенные, облитые кровью... там лежала целая груда искалеченных, брошенных друг на друга тел: это погибшие от огня орудий; тут, ближе к идущим, трупы лежали поодиночке; лица убитых застыли с тем выражением, которое они имели в момент смерти: большинство этих мертвых лиц выражало беспредельную злобу — здесь кипел недавно рукопашный бой.

В этом месте должно было находиться и тело Алея-Бахмета — противника Миколки.

— Во-во! Вон и ен самый лежит! — трепещущим от радости голосом возгласил Миколка, указывая своему спутнику на одно из неподвижных тел.

Действительно, холопы князя Ногтева приближались к телу Алея-Бахмета. Широко раскинув могучие руки, лежал бывший князь Бахметов, обратясь своим прекрасным лицом прямо к далекому небу... Странно, но он опять не производил впечатление мертвеца. Правда, его глаза были плотно сомкнуты, лицо бледно, губы сжаты, выражение этого неподвижного лица было так спокойно, что можно было почесть князя спящим. Если бы не груды тел вокруг, ясно напоминавшие о недавней битве, и не запекшаяся полоса крови на бритой макушке головы Андрея Михайловича, то можно было бы усомниться, действительно ли он мертв.

Товарищ Миколки, когда взглянул на лежащего перед ними убитого, с сомнением покачал головой.

— Ой, паря! — молвил он.— Чтой-то как он на мертвеца

не походит? А как разодет-то! Вишь, наряд какой раззолоченный... К тому ж и шашка больно хороша! Ух, ладная шашка! — говорил Семен, выбирая из рук Алея шашку и помахивая ею,— а погляди-ка, погляди, Миколка, что у него на шее надето? Вишь, на цепочке! Ведь они, басурманы, крестов не носят, должно быть, ладанка заговоренная какая-нибудь.

Миколка, слыша эти слова, дернул цепочку, и глазам их представилась, действительно, ладанка, но вместе с нею и большой христианский крест, некогда подаренный Андрею Михайловичу Марьей Васильевной.

Миколка и его товарищ даже рты раскрыли от удивления.

— Да как же крест-то Христов на шею евонную попал?

— А уж эфтово не знаю! А только молодец он татарский, знатный, и что лег он теперь носом кверху, так эфто для нас, для русских, благодать. Нишкни! — говорил Миколка, все более и более восхищаясь своей победой над таким врагом. Он даже забыл свою трусость и, вздумав поглумиться над врагом, крепко схватил Алея за нос, произнеся:

— Вот и лежи, и лежи! И чихнуть не смей!

Но тут произошло что-то такое ужасное, что Миколка, заорав от страха во всю глотку, бросился бежать от тела Алея, как сумасшедший.

Оказалось, что предполагаемый мертвец открыл глаза и глядел прямо на них.

Словно с цепи сорвавшись, вбежал Миколка в стан и, обезумевший от ужаса, инстинктивно направился к палатке Данилы Андреевича. Тот как раз выходил из нее.

— Что ты? Ошалел, что ль? — воскликнул Ногтев, когда Миколка набежал прямо на него и чуть не сбил князя с ног.

— Там... Ожил... Я убил,— чуть слышным голосом проговорил он, трясясь от страха.

— Что такое? Где там? Ожил, говоришь. Аль убит?.. Ничего не понимаю! — в недоумении произнес князь.

В это время к палатке Данилы Андреевича подлетел и Семен, перепугавшийся не меньше Миколки, несмотря на то, что он не был трусом,

— Стой, стой! — окликнул его князь.— Ты куда? Еще второй! Да что с вами такое? — продолжал Данило Андреевич, когда Семен остановился.

— Открыл... глаза! — выпалил Семен, едва переводя дух.

— Так вы этого-то и испугались? — усмехнулся Данило Андреевич.

— Еще б, княже, не испужаться! Был мертвец мертвецом и вдруг на! глаза открыл! — оправдывался Семен.

— Стало быть, жив был, а покойником только вам показался.

— Оборотень он! Беспременно оборотень! Потому — чуден: сам по виду как есть татарин, а на груди ладанка с крестом... Нешто это где видано, чтобы у басурмана поганого крест надет был? — продолжал Семен, значительно успокоившийся.

Такое сообщение заинтересовало князя.

Пойдем посмотрим, что за чудо такое! — сказал он, отходя от палатки и поспешно направляясь к полю недавней битвы.

Семен и Миколка-выкрест не совсем охотно последовали за ним: им далеко не было приятно снова увидать оживленного мертвеца; что это был мертвец — они были уверены!

— Покажите, где ваш покойник,— приказал князь, когда все трое уже находились в середине поля.

— Вон ен лежит! — указал Миколка князю на Алея-Бахмета, сам между тем стараясь держаться за спиной Данилы Андреевича.

Ногтев подошел поближе к мнимому мертвецу.

Алей-Бахмет лежал в прежнем положении, только глаза его теперь были широко открыты, и в них виднелась еще не угасшая жизнь.

Данило Андреевич пристально вгляделся в лицо лежавшего перед ним. Тихий крик изумления вырвался из груди Ногтева.

— Да ведь это князь Бахметов! Вот где Бог привел встретиться! — с некоторой грустью проговорил он.

Бахметов, по-видимому, тоже его узнал. Губы его зашевелились: он как будто тщетно пытался что-то сказать.

Данило Андреевич, заметив эту попытку, наклонился к лицу лежавшего и старался прислушаться.

— Княже!.. Прости!..— расслышал он слова.

— Мне не в чем тебя прощать, Андрей Михайлович! Ты детей моих спас, спасибо тебе! — с волнением проговорил Ногтев.

Выражение радости мелькнуло в глазах смертельно раненного Бахметова.

— Хоть... одно... доброе дело... сделал! Слава Создателю! Но грешен я... ох, грешен! Покаяться хочется... Священника бы...

— Сейчас священник придет,— сказал Данило Андреевич и, подозвав все еще державшихся в отдалении Семена и Миколку, приказал им сбегать в стан за священником.

Те со всех ног бросились исполнять его приказание.

Между тем Бахметов продолжал шептать: ему, видимо, хотелось облегчить свою душу в этот великий час прощания с жизнью.

Тяжкий я... грешник!.. Изменник... отступник от веры... отцов...

— Бог видит, княже, твое раскаяние! Он простит тебя! — старался утешить его Ногтев.

— А кровь христианскую, которой... я залит не раз бывал... чем... смою?.. О княже! Тяжко... мне!.. И всю жизнь... было тяжко... И лют бывал я потому... что... совесть мучила... Ни дня, ни часа... покоя,— шептал Бахметов, и лицо его приняло скорбное выражение.

Ногтев с непритворною грустью смотрел на умирающего.

— Страшно... умирать, а жить еще... страшнее! О Боже!.. Прости мне грехи... мои! Ох, покаяться б... поскорей... привел Бог!.. Дождусь ли священника?

— Священник уже идет! — произнес Данило Андреевич, видя, что из стана спешно направлялись к смертельно раненному священник и еще несколько человек: очевидно, по стану разнеслась весть об ожившем басурмане, который хотел покаяться перед священником. Весть эта была так невероятна, что нашлось немало желающих убедиться в ее истине, и священника поэтому сопровождала целая толпа.

Священник, седой старик, поспешно приблизился к Бахметову и склонился ухом к его устам. Князь Ногтев отошел в сторону.

Долго шептал Андрей Михайлович свою исповедь, и, по мере того, как она близилась к концу, все спокойнее и светлее становилось лицо умирающего. Наконец, когда кончилась исповедь, священник, сотворив жаркую молитву о прощении грехов кающемуся, благословил его и причастил. Таким образом, отступник снова вернулся в лоно церкви. Татарский мурза Алей-Бахмет исчез навеки, и на место его явился умирающий, но полный веры Андрей Михайлович Бахметов.

С радостным выражением лица лежал умирающий. Уже смерть его была недалека, уже видно было, как постепенно угасала в нем жизнь. Но вдруг полузакрытые глаза Андрея Михайловича раскрылись, и он пристально посмотрел на Да-

нилу Андреевича. Тот принял это за знак подойти к умирающему и склонился над ним.

— Прощен... я, княже! — еще тише, чем прежде, зашептал умирающий.— К Богу иду!.. Не поминай лихом!.. И... Марье Васильевне... скажи... пусть... помолится... за душу... мою. Ладанку, что у меня надета, вместе с крестом... сними, как умру... и передай ей... ее... это, заветная... В давнюю... пору... была она мне... ею дана...

Умирающий помолчал, как бы сбираясь с силами.

— Еще... пред... тобой... не совсем... покаялся я... Грешен я пред тобою: питал... супротив тебя... некогда... мысли злые: убить хотел... Прости... каюсь... Потому все... это... что больно любил... Марью Васильевну... Ох... как... любил!.. Забыл... заповедь Божью... сотворил себе земного кумира... в ней! За то и... карал Господь... Прости меня... княже!.. Умираю... Уже... и очи... меркнут... Прости! Дай руку!..

Из раны Андрея Михайловича вдруг хлынула кровь. Он вздрогнул всем телом и судорожно сжал руку князя. Бледное лицо его еще больше побледнело, осунулось. Глаза плотно сомкнулись, рот полуоткрылся. Выражение полного спокойствия появилось на его лице. Еще раз дрожь пробежала по телу Андрея Михайловича, и он замер.

Князь Ногтев чувствовал, как холодели пальцы руки Бахметова, которую он держал в своей. Данило Андреевич выпустил его похолодевшие пальцы, сложил руки умершего крестом на груди, встал и, сняв шапку, перекрестился. Это же сделали и все окружающие. Священник приготовился служить панихиду.

Князь Андрей Михайлович отошел в вечность!

Тихая кончина его былого соперника в любви к Марье Васильевне взволновала Данилу Андреевича, и он украдкой смахнул со своих глаз не одну слезу.

Тело Андрея Михайловича с честью погребли, и над могилой покаявшегося отступника водрузили высокий крест.

Блудный сын вернулся в дом отчий!

СОДЕРЖАНИЕ

Брат на брата. 5

Заморский выходец.
Часть первая 136
Часть вторая. 200
Часть третья 330

Татарский отпрыск.
Часть первая 388
Часть вторая. 457
Часть третья 552
Часть четвертая 625

Алексеев-Кунгурцев Н. Н.

А47 Брат на брата. Заморский выходец. Татарский отпрыск. Исторические романы.— Екатеринбург, УТД «Посылторг», 1994, 672 с.

ISBN 5—85464—017—1

А $\frac{4702010100\text{-}64}{97\text{В}(03)\text{-}94}$ ББК 84Р1

Николай Николаевич
АЛЕКСЕЕВ-КУНГУРЦЕВ

БРАТ НА БРАТА

Романы

Ответственный за выпуск *С. Семухина*
Технический редактор *Т. Шабурова*

ЛР № 063365 от 19.05.94.

Сдано в набор 21.10.94 г. Подписано в печать 10.12.94 г.
Бумага для множ. аппаратов. Формат 84×108/32. Печать высокая.
Усл. п. л. 35,28. Уч.-изд. л. 40,03. Тираж 20 000 экз. Заказ № 792.

АО Уральский торговый дом «Посылторг»
620068, г. Екатеринбург, ул. Учителей, 38

ИПП «Уральский рабочий»
620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

Scan Kreider

Уральский торговый дом «ПОСЫЛТОРГ»

Новое время «ПОСЫЛТОРГА»

Сегодня **«ПОСЫЛТОРГ»** не только продает, но и производит продукцию высокого качества.

Стабильность системы **«ПОСЫЛТОРГ»** обеспечивают:

— **издательская деятельность**
выпуск художественной литературы различных жанров;

— **ювелирное и камнерезное производство**
создание оригинальных ювелирных изделий из серебра и натурального уральского камня;

— **тарное производство**
изготовление тары и упаковки для различных видов продукции и потребительских товаров;

— **швейное производство**
пошив верхней одежды разнообразного ассортимента, изделий бытового назначения и одежды для индивидуальной защиты рабочих различных специальностей;

— **торговая деятельность**
оптовая, мелкооптовая и розничная торговля промышленными и продовольственными товарами со складов предприятия и через сеть собственных розничных магазинов;

— **внешнеэкономическая деятельность**
экспорт и импорт из стран дальнего и ближнего зарубежья.

Марка «ПОСЫЛТОРГА»
испытана
временем!

620068, г. Екатеринбург,
ул. Учителей, 38
тел. (3432) 41-13-60
факс (3432) 41-17-50
телекс 721526 PRAIS SU

серия
ИСТОРИЧЕСКИЕ
РОМАНЫ

БРАТ НА БРАТА

ЗАМОРСКИЙ ВЫХОДЕЦ

ТАТАРСКИЙ ОТПРЫСК



